К84(2Рос)
Ш51



Юван Шесталов

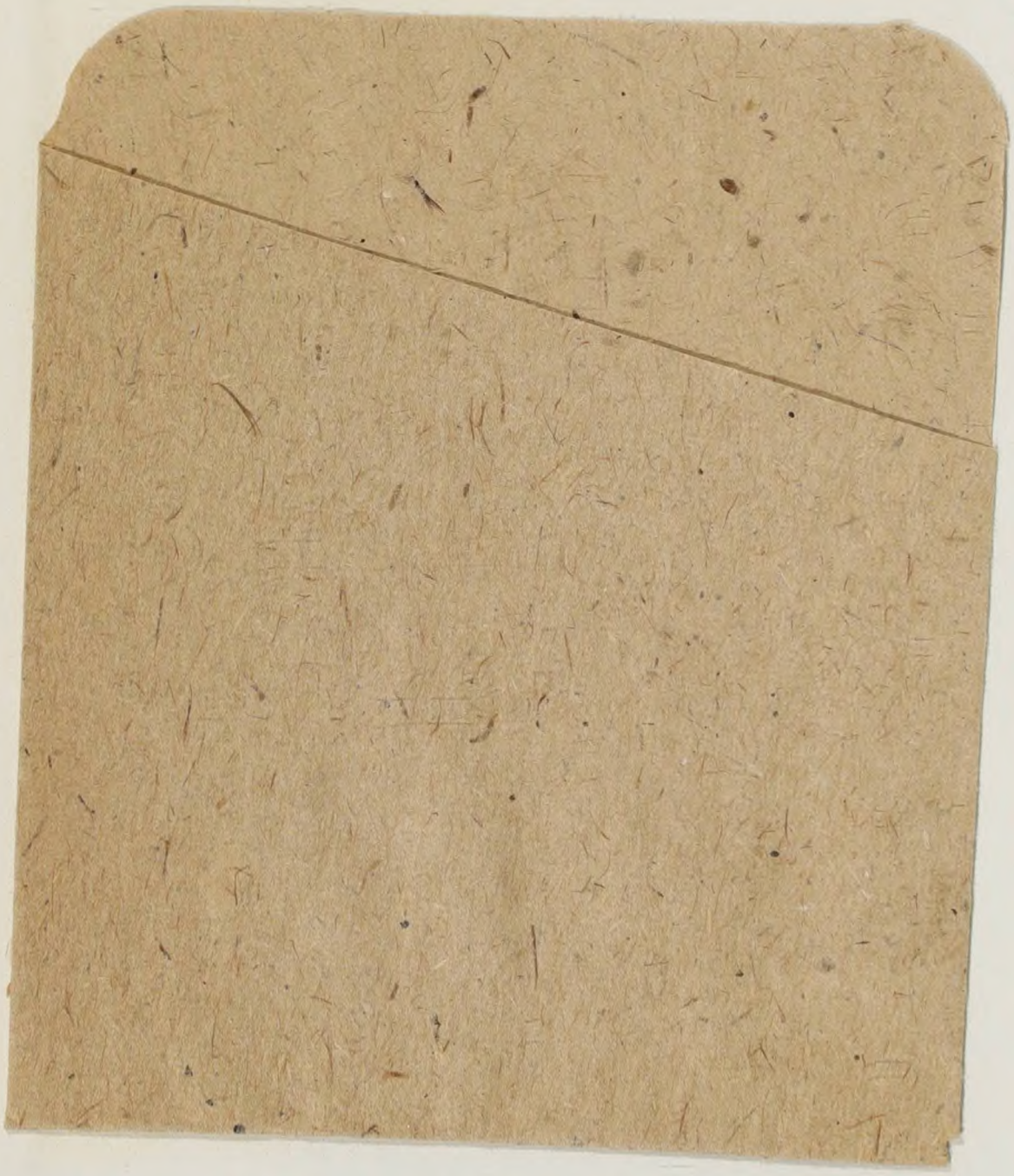
Когда качало меня солнце

Синий ветер касания

Владимир Санги

Женитьба Кевонгов

Ложный гон



Юван Шесталов

Когда качало меня солнце

Синий ветер каслания

Владимир Санги

Женитьба Кевонгов

Ложный гон

24279

Ханты-Мансийская
окружная библиотека
Тюменской области

Краеведческий
ФОНД

Свердловск
Средне-Уральское
книжное
издательство
1987

84(2Рос)
84 Ма
Ш 51

Контрпропагандистская
межиздательская серия
«Под полярными созвездиями»

Общественная редколлегия:

Г. И. Ломидзе (председатель)
Ю. И. Бурыкин, В. В. Дементьев
А. В. Ващенко, В. П. Зыков
Д. В. Кириллин, Н. К. Кирюхин
А. А. Пошатаева, В. М. Санги
В. И. Селиванов, Ю. С. Рытхэу
Г. Г. Хаджер, Л. Н. Шапкин
Ю. Н. Шесталов

Вступительная статья А. Пошатаевой.
Текст печатается по изданиям: Юван Шесталов. Синий ветер каслания. М.: Известия, 1985; Владимир Санги. Путешествие в стойбище Лунво. М.: Современник, 1985.

Ш $\frac{4702010200\text{-}103}{M158(03)\text{-}87}$ 53-87

© Средне-Уральское книжное издательство
1987, предисл

МИР И ТРУД ПИСАТЕЛЕЙ-СЕВЕРЯН

(Проза Ю. Шесталова и В. Санги)

В этой книге объединены произведения мансийского писателя Ювана Шесталова и нивхского — Владимира Санги. Оба принадлежат к одному поколению и к одному отряду литератур, самых молодых в нашей стране. Их публикации в 60-е годы стали заметным явлением в многонациональной советской культуре. Сегодня их имена известны не только в нашей стране, но и за ее рубежами.

Лауреат Государственной премии РСФСР Юван Шесталов начал свой путь в литературе с поэтических сборников, как бы выражая этим суть художественного сознания своего народа. Читая его стихи, мы попадаем в поэтический мир сказочного мансийского божества — лесной феи Миснэ. Той, что поджидает охотника в суровой тайге и одаривает его за трудолюбие.

Живая связь с древней культурой манси лежит в основе творчества первого писателя этого таежного народа. В одной из своих статей он отмечает: «Теперь я, кажется, начинаю чувствовать, что питает мой дух, мое творческое воображение, помогает мне познать и определить самого себя. Сибирь, страна моих предков, и Ленинград, страна моих современных дум, и вся земля с ее мифами и реальностью, каменный век и век скоростей, чело которого человек». Связь далекого прошлого и современности, загадочных тысячелетий и грандиозных революционных событий, открывших новую эпоху в судьбе древнего народа,— таковы смысл и содержание творчества Шесталова.

Ленинград... Этот город стал родным писателю. Здесь, на Мойке, он учился. Учился выражать свои мысли и чувства, мучился сомнениями: «Вдруг язык моего народа так беден, что он не сможет выразить сложный и многогранный мир человека нашего века?» Здесь на факультете народов Севера Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена, первом в истории центре подготовки спе-

циалистов высшей квалификации из среды северян, его учителем был Алексей Николаевич Баландин — русский человек, знавший язык таежных охотников. Здесь Шесталов сложил первые стихи на мансийском языке: «Нашел рифмы, их оказалось немало. Как в любом языке. Лишь бы чувства и мысли были, тогда любой, самый малый язык станет живым и сильным. Сегодня думаю и пишу на двух языках. Этими двумя крыльями научился пользоваться на берегах Невы, в городе, который народ назвал колыбелью революции...»

Когда в 1965 году увидела свет первая его повесть «Синий ветер каслания», она обратила на себя внимание и тем, что еще один поэт обратился к прозе. Шесталов объяснял это так: «Жизнь не укладывалась в рамки стихов и поэм, которые я пел. Мне хотелось вмешаться в нее, по силе возможности помогать своим пером изменять действительность». Ощущение деятельного, активного начала пронизывает повесть, обращенную к жизни и труду оленеводов. Каслание — это кочевье, это дорога длинная и трудная, от Оби до Урала. Оленеводство и тесно связанное с ним круглогодичное кочевье — традиционный промысел многих северных народов, смысл их жизни и способ самоосуществления. Но для многих молодых представителей этих народов, получивших среднее и высшее образование, исконный промысел перестал быть главным делом жизни. Труд оленевода кажется им не самым престижным. Не привлекает и путь в сотни километров, вышедший из тьмы тысячелетий, пролегающий и в современном мире по самым труднодоступным местам.

Судьба человека, влияние времени на целый народ и отдельную личность — так можно определить тему первой повести Шесталова. Ее герой — молодой учитель — не только возвратился в родное село, но и, побывав на комсомольском собрании, решил отправиться с бригадой оленеводов в путь: «Надо молодежи брать в свои руки древнее наше хозяйство. Недостает людей». И он погружается в сложные проблемы жизни своего народа. Пытливый взгляд молодого учителя подмечает многое. Вот — тетя Сана. Она вынянчила его на своих руках и в школу не смогла пойти. Совсем молоденькой она вышла замуж за оленевода и каслает всю жизнь по заснеженным далям Сибири. Неделю побудет в селе и снова в путь. Ей знакомы все тайны этого нелегкого труда, ей привычны условия походной жизни, которые натужно осваивает молодой учитель, отказавшийся от теплого городского житья. В то же время тетя Сана с трудом воспринимает то новое, что пришло в древние обычаи ее односельчан.

Герою Шесталова приходится самому решать, что из традиций и обычаев ему, молодому интеллигенту, надо брать в жизнь. Решать, так ли уж необходимо сегодня оленье стадо. Раньше эти удивительные животные были средоточием всей жизни северного человека. Олений мех — самый теплый, оленье мясо — самое сытное, оленьи глаза — самые красивые: «смолистые, ласковые, как у доброго человека... Свет их теплый и ясный. Они греют оленевода в пургу». Олени давали каюру крылья. Он летел на них, как стрела, и зимой по глубокому снегу, и летом по заболоченной почве.

Современному человеку легче. Мясо и теплые вещи он покупает в магазине, передвигается по тайге на вездеходах. А оленьи глаза — ему некогда в них заглядывать. Оленеводов почти нет, да и ягель убывает.

Шесталов-художник, человек яркого темперамента и гражданственности, не может с этим мириться. Проблема хозяйского отношения к природе — одна из животрепещущих в его творчестве. Любовь к родной земле, к исконному промыслу — будь то охота, рыболовство, оленеводство — лежит в основе нелегкого труда северян. Но не только это.

Глубокая традиция, заветы предков, от века живших в тундре и тайге и пользовавшихся их дарами, не нанося ущерба,— вот что в своей совокупности определяло образ жизни северного народа. А пока что бригадир Микуль, доставая новоиспеченного оленевода из сугроба, утешает: «Учителю не обязательно уметь управлять оленями и в сердцах добавляет: — Какой же ты манси, если не умеешь ездить на оленях!» Слова эти наводят героя на размышления о том, что это он, наверное,— учитель — виноват, что дети рыбаков, охотников, оленеводов учатся и становятся врачами, летчиками, геологами, нефтедобытчиками, учителями но почему-то никто не хочет стать оленеводом, да и профессии охотников, рыбаков становятся все менее популярными.

«Может в этом виноват и я? Виноваты и все учителя, нет внимания к профессиям древним». К этой мысли Шесталов будет приходить еще не раз, расширяя и углубляя ее. В своих произведениях автор полемически остро и доказательно говорит о необходимости возобновить традиционные промыслы, что повлечет за собой подготовку все новых и новых кадров — электриков, эксплуатационников, звероводов. Будет дело в тайге подрастающим поколениям. А как облегчится проблема снабжения промысловиков на нефте- и газоразработках! Живая мысль писателя пробивается вперед, как охотничья тропа. Его рассказ переливается, как речка на перекате. И повествование то вспыхивает поэтическим наблюдением, то глубоко светится философским раздумьем.

Читатель может подумать, что решение социальных проблем в публицистическом плане — основная черта творчества Ювана Шесталова. Но это неверно. Шесталов вышел из народа, чье устное творчество поэтично по самой своей сути. Художественное сознание манси отражает мировоззрение народа, органично слитого с природой, воспринявшего от нее всю свежесть и яркость красок. Здесь истоки метафоричности, богатства образной системы, строящейся на одушевлении природы. Глаза влюбленных обязательно сравниваются с черной смородиной. Как тут не вспомнить живые, блестящие глаза Катюши Масловой. Создание столь емкого поэтического образа оказалось по плечу не только великому художнику, но и древнему сибирскому народу. Красочная лирическая песня изобилует подобными сравнениями. Юноша, воспевая свою любимую, сравнивает ее с белой куропаткой, желая подчеркнуть ее молодость, свежесть и чистоту. Девушке, выходящей замуж, жалко оставлять «милую деревню с тремя елями, три яра с лицом невесты».

Красота и сила человека, первозданная прелесть природы, радость общения с ней — эти черты народного мироощущения свойственны и творчеству Шесталова. Одной из привлекательных черт его стиля является неожиданность мировосприятия: «В окошке золотым оленем стоит солнце. Из дверей золотой птицей летит ко мне солнце. Из дощатой будки выглянули разом два веселых солнца, два собачьих глаза» Потому так естественны для него самые яркие поэтические краски.

Не менее важную роль в формировании Шесталова — художника слова — сыграла сказка. Много задушевных слов сказал о ней писатель, характеризуя атмосферу, окружавшую его с детства в доме деда, где он воспитывался, и желая дать образное определение еще одной из сторон мировосприятия своего народа: «Сказка... Она как родник. Прильнешь к ней, мучимый жаждой, напьешься прохладной живительной влаги и снова чувствуешь себя человеком. Все станет ясным и понятным».

Сказка близка и понятна и его героям. Всякий раз сверяет со сказкой свои мысли и чувства герой повести «Когда качало меня солнце» (1972) — Солвал, чей образ особенно дорог и близок писателю.

В этой повести Шесталов показывает значение великого исторического поворота в судьбе своего народа. Как истинный писатель-лирик,

он раскрывает эту тему, рассказывая о жизненном пути своего отца Солвал — так его нарекли при рождении, потому что в таежной глухомани ничего не было дороже соли. Круто посоленной была и его жизнь. Писатель рассказывает о социальном прозрении Солвала. Сказка об Эква-пыгрисе — мальчике-сироте, храбром и удачливом, сопровождала всю его многотрудную жизнь. Он научился у Эква-пыгрися мужеству и находчивости. Солвал сравнивает большевика Сенькина с Эква-пыгрисем, поступки сказочного героя и живого человека-большевика. Таких людей, как Сенькин, Солвал еще не встречал в жизни. Ему кажется, что «в новой личине проснулся старый мансийский богатырь — человек из бедного рода». Мифологическое сознание определяет особенности видения мира шесталовскими героями. Характерно, что значение революции открывалось односельчанами из рассказа Солвала, полного ассоциаций со сказочными образами: «Меня спас Эква-пыгрись!.. У него сейчас другое имя: Сенькин. Под видом русского богатыря сегодня вышел в мир наш Эква-пыгрись. Если раньше он не побеждал, то только потому, что был один. А нынче он в Березове всех бедных скликнул в один Союз... И Эква-пыгрись — Сенькин — мне шепнул, что у него есть товарищ, кто мудрее всех. Его зовут Ленин... Эква-пыгрисю теперь легко: к его хитрости и находчивости прибавилась мудрость мудреца Ленина».

Вдумываясь в сказки об Эква-пыгрисе, Солвал обогащает приобретенный им в жизни социальный опыт. За строкой сказок и мифов, охотно пересказываемых Шесталовым, встает создатель этого духовного богатства — народ. Обилие так называемых «вечных сюжетов» в мифотворчестве говорит о развитом воображении манси. Обращение к сказке героя Шесталова, эти переходы в его сознании от действительности, ставящей перед ним вопросы, к сказочному сюжету придают повествованию широкое общественно-философское звучание.

Шесталов очень серьезно относится к мифу, народной песне, сказке. С их помощью он раскрывает истоки своеобразного видения мира своего народа, черты и свойства национального характера. Порой может показаться, что эмоциональная палитра художника ярковата. Шесталов, как бы предчувствуя возможное недоумение, пишет: «Этой сказкой... дышали когда-то все народы... Я ею дышал еще вчера». Ею и сегодня живут и дышат его герои, строители и созидатели новой жизни в тюменской тайге. За работой на буровых, в тайге на охоте они поют только что сложенные песни.

Автобиографичность повести «Когда качало меня солнце» не вызывает сомнения. По форме это лирический дневник-путешествие. Рассказ начинается со сна, звенящего шаманским бубном. Зачин насыщен тревожными предчувствиями горя. Сын, получив телеграмму из отчего дома о болезни отца, спешит к нему на самолете. Небольшие сюжеты-путешествия переносят героя в детство, он вспоминает об отце, смерти матери, перемежая эти воспоминания рассказом о движении в пути.

Яркими поэтическими красками рисует Шесталов детство с его ароматом и непосредственностью восприятия радости и горя. Возникают образы: отец и мать, бабушка и дедушка. Эти параллели определяют ритм повествования, его раскованность и эмоциональность. И в каждой линии свое. Бабушка и дедушка — это мудрость, особенная теплота микроклимата детства. Мать — яркий свет первых мгновений, как стал сознавать себя в жизни, и элегическая грусть раздумий о трудной ее доле; отец — организатор первых колхозов, защитник родной земли., прошедший Отечественную войну,— о нем вся повесть.

Неизбывный интерес к живому устно-поэтическому слову своего народа, к его культуре сохраняет и Владимир Санги, известный поэт и

прозаик, зачинатель нивхской советской литературы. С первых шагов своей писательской деятельности В. Санги собирал, изучал, публиковал мифы, бытовые и героические былички и сказки (тылгуры и нгастуры), в которых отражен труд и быт народа в условиях суровой природы («Нивхские легенды», 1961). Эти произведения устно-поэтического творчества воспевают мужество, упорство и находчивость человека в борьбе со стихиями и врагами своего племени. Вышедший в 1967 году сборник «Легенды Ых-мифа» еще раз показал стремление нивхского писателя к изучению исторического и духовного наследия своего народа. «Легенды Ых-мифа» — собрание образцов фольклора жителей острова Сахалин. Мифы и сказки, переложенные современным писателем, сохранили зоркое видение и мудрость нивхов, традиционные образы и структуры народной поэтики. Каждая легенда посвящена тому или иному проявлению народного сознания или общественного бытия, чертам психологии, домашнего уклада промысловиков.

Этот глубокий интерес к родной духовной культуре привел известного уже писателя в аспирантуру Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, которую он окончил по специальности фольклор народов СССР.

Дальнейшее обращение писателя к реалистическому повествованию было тем более успешным, что народный опыт и традиции, с молоком матери впитанные им и досконально изученные, наполнили произведения живой плотью.

Первый свой роман «Ложный гон» (1964) Санги пишет в современной манере, используя приемы ретроспекции, потока сознания, несобственно-прямой речи. Сюжет произведения — события зимней охоты, участниками которой стали представители трех поколений таежников, волей случая оказавшиеся в одной бригаде,— казалось бы, не располагал к традиционной орнаментовке. Но образ старого охотника Лучки получился наиболее достоверным благодаря некоторым этнографическим подробностям. Интересно, что отношение к народным традициям, и в частности к промысловой магии, активно характеризует каждого из персонажей произведения. Верящий в доброго лесного духа Пал-Ызнгу, старый Лучка настоял на проводах убитого медведя к хозяину гор. Его душе все еще близко понятие предков о природе дающей, дарящей человеку блага свои, поэтому он исполнил древний обряд благодарственного обращения к богу охоты и тайги. Средний по возрасту, удачливый браконьер Нехан, не верящий ни в добрых, ни в злых духов, норовит любыми способами отделаться от младшего из них — Пларгуна. Неханом руководит жажда наживы: если удастся избавиться от юноши, он сможет увеличить свою долю плана по добыче соболей. Пларгуна сближает с Лучкой бережное, хозяйское отношение к природе, свойственное народному мироощущению.

Сопрягая в образах Лучки и Нехана два диаметрально противоположных представления о жизни, помещая между ними юного Пларгуна, Санги как будто задается вопросами: кто есть кто? Какова она, теперешняя молодежь, выросшая на полном государственном обеспечении, вдали от тайги с ее законами и тяготами охотничьего промысла? Тревога о жизнеспособности молодого поколения переходит из произведения в произведение писателей-северян. И в творчестве Санги это один из ведущих мотивов. Кому, как не первому писателю Нивхии, создателю алфавита и азбуки родного языка, задумываться над подобными вопросами. Для его стариков, исполненных мудрости и доброты, думы о молодежи — это всегда мечты о будущем народа. Порой они несут некоторое недоумение и тревогу. Вот и старый Лучка, чьи сыновья погибли на войне, сокрушается, глядя на Пларгуна; поздновато взрослеют

современные мужчины. Сам он в эти годы был единственным добытчиком в семье.

И действительно, долгие месяцы зимнего промысла в жизни юноши стали натоящим испытанием на выносливость и силу духа. На белоснежной странице восемнадцатой зимы его жизни обозначились не только следы зверей, чьи повадки он понял как настоящий охотник, а значит, и выполнил план добычи пушнины, но, что самое главное, на ней обозначились контуры его будущего: учиться сохранять и множить природные запасы, в противовес браконьеру Нехану учиться у добрейшего Лучки быть хозяином на своей земле.

Настоящего писателя не может не интересовать история своего народа. Таким эпическим произведением, в котором воплотилось единство пространства, времени и бытия, подкрепленное мифом, «в его непреходящей поэзии и человечности» (Ч. Айтматов), стал роман Владимира Санги «Женитьба Кевонгов» (1975).

Сюжетная основа романа — одна из главных тем героической сказки: подготовка жениха и его семьи к сватовству, далекая поездка в другой род (в силу экзогамии — запрета жениться в своем роду), отстаивание женихом в борьбе с самым грозным противником своего права вступить в брак с девушкой, предназначенной ему традицией или древним обрядом. И как в нивхской богатырской сказке герой романа В. Санги юноша нивх Ыкилак из рода Кевонгов в смертельной схватке с медведем, окончившейся победой человека, пытается доказать свое патриархальное право на невесту.

Почему такое большое значение придается незадавшейся женитьбе юного представителя маленького нивхского рода? Стоило ли посвящать подобной теме целый роман? Вот что пишет об этом Юрий Рытхэу в статье «Сын Нивхии»: «В центре повествования род Кевонгов, точнее, семья — отец, мать и два сына. В их жизни происходит событие — женитьба сына — особенно важное в условиях родового общества, затрагивающее интересы не только этого рода, в который входят новые люди — в данном случае будущая жена, но и того, откуда они уходят. Брачные узы — это такая нить, которая часто из века в век соединяет замкнутые сообщества, позволяет слить воедино, в одну народность разных представителей одной этнической группировки» [1].

В романе В. Санги это тем более важное событие, что с ним связаны надежды на выживание и укрепление одного из родов, вымиравшей в начале XX века народности царской России. Но этим надеждам когда-то могущественного рода Кевонгов не суждено было сбыться. В патриархальные отношения двух семей, связанных узами не только старинного родства, но и договором о женитьбе Ыкилака из рода Кевонгов и юной представительницы из рода Авонгов — Ланьгук, вторгаются капиталистические отношения с их принципами наживы и чистогана. Все художественные средства романа подчинены изображению столкновения патриархальной этики и человеческих устремлений Кевонгов с бесчеловечностью и безнравственностью представителей капиталистического уклада — русского купца Тимоши Пупка и якута Чочуны. Исследованию существа этого конфликта в романе способствует фольклорная мотивация сюжета, определяющая композиционный строй произведения. Маленькие главки, напоминающие своей краткостью и законченностью народные были — «тылгуры» — кристаллизуются вокруг сюжетного стержня и воссоздают историю, образ жизни и быт маленького нивхского рода.

Использовав в качестве романного сюжета одну из тем героической

---

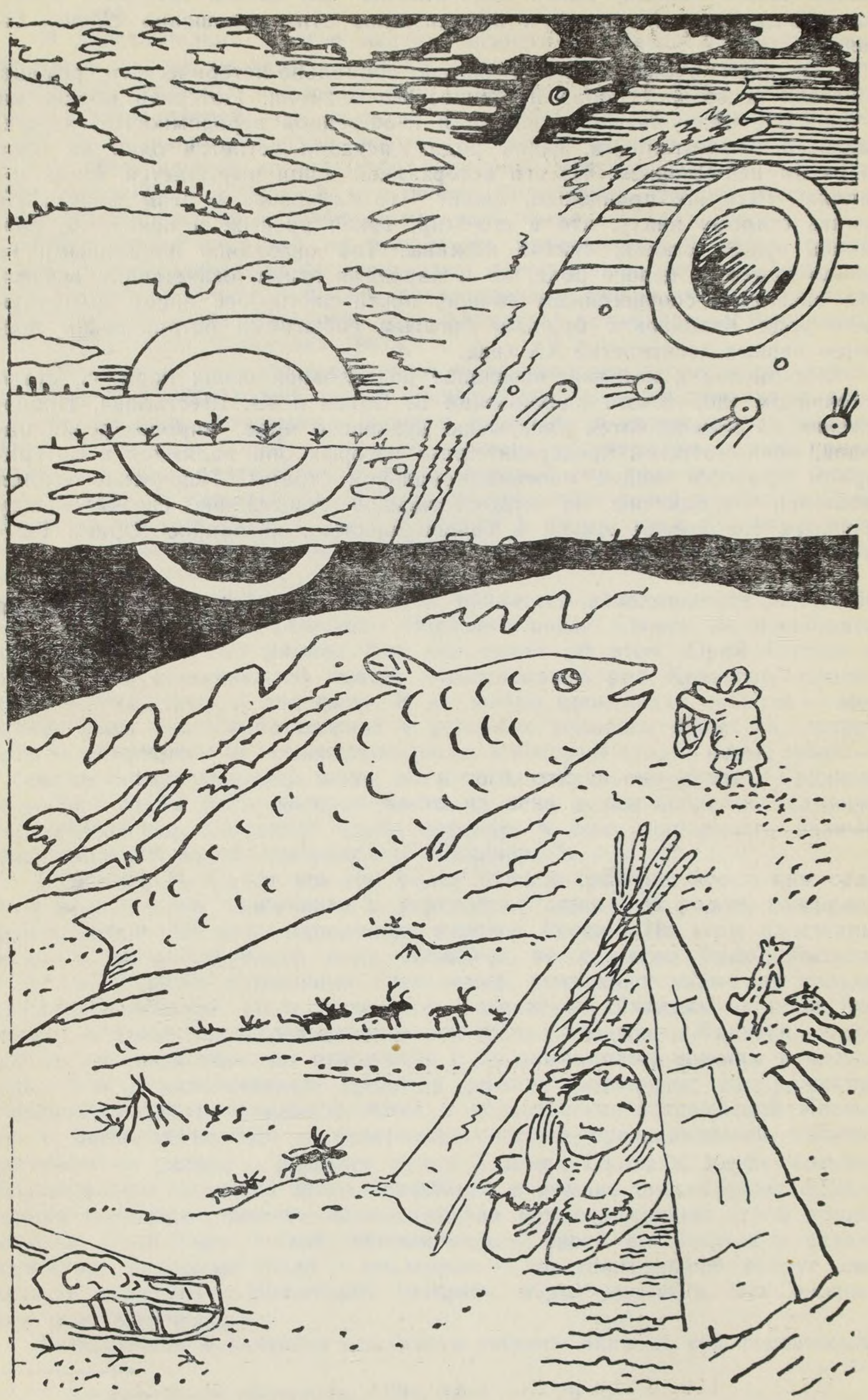
[1] Литературное обозрение, 1975, № 11, с. 29.

сказки своего народа, Санги подчеркивает тем самым элементы первобытнообщинных отношений и идеализацию этих отношений своими героями.

Создавая произведение в жанре социально-исторического романа, писатель воссоздает образ исторического времени. Потерпев поражение в борьбе с разрушительной силой и изощренной вероломностью зарождающегося капитализма, глава рода Касказик остается один на один со своим недоумением. Из его истерзанной души вырывается вопль отчаяния: «Что же произошло, люди? Что случилось в этом мире?» Не понять старому нивху, что в его мир, такой простой и понятный, ворвалась чужая стихия, стихия наживы. Так оказались попранными не только надежды целого рода, но и народная этика, освященная веками. Так оказалось соотнесенным личное, почти застывшее время вымирающего рода Кевонгов с бурным, богатым событиями историческим временем первых десятилетий XX века.

Обращение к истории, осознание родословной своих народов, стало источником творческого вдохновения В. Санги и Ю. Шесталова. Произведения их посвящаются раскрытию духовного мира, мировоззрения народов, полномочными представителями которых они являются в литературном процессе нашей многонациональной страны. Творческие усилия писателей направлены на художественное осмысление связей между прошлым состоянием жизни и современностью, названное Юрием Рытхэу «шагами через тысячелетия».

А. Пошатаева



Юван Шесталов

Когда качало меня солнце

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Стучали копыта. Вихрился снег. В белой мгле плясали рога. Свистел ветер. Звенели колокольчики. Бубном гудело небо. Летели олени. Бешеные олени куда-то меня мчали. Снег слепил лицо, глаза, уши. Бубном гудело небо. Звенели колокольчики...

— Телеграмма,— сказала тихо жена, подавая развернутый уже бланк.— Что так долго не открывал? Звонили, звонили. Не слышишь, что ли?..

— Олени снятся.

«Болен отец прилетай»,— было написано в телеграмме. В первое мгновение эти слова показались обыкновенными. Позевывая, как пустую бумажку, бросил телеграмму на лежащие в беспорядке дочкины тетради. Вдруг... рука потянулась к ней. Буквы словно ожили, зашевелились.

О — вздрогнуло.

Т — съежилось.

Е — согнулось, как от боли.

Ц — простонало.

Отец... Словно молния сверкнула и погасла.

Страшный мрак ударил в глаза. Сердце сжалось в комок. Будто его схватил какой-то злой дух.

Отец... Неужели?! Не может быть!.. А может, он просто болен?

Отец... Я помню то утро...

«Ветлю! Ветлю!» — поет один кулик.

«Хап-ти-юв! Хап-ти-юв! — вторит ему другой.— Лодка плывет! Лодка плывет!» — сообщает он.

И правда: лодка плывет. Большая лодка: саранхап. В ней много людей. На ней и мой атя — мой отец. Мама говорила, что сегодня он приедет.

На лодке много людей. Но который из них мой атя? Я не знаю. Он уехал, когда был еще снег. Далеко-далеко уехал. В самую большую деревню — в город Омск уехал. Там было большое собрание. Мой атя — председатель колхоза. А еще он — депутат Совета. Самого большого Совета.

— Наш атя — большой человек,— говорила мама. Она каждый вечер обо всем мне говорила.

Я всматриваюсь в лодку. «Кто из них больше — тот и мой атя!» — решаю я. Неужели этот высокий, белоголовый — мой атя? Нет! Не может быть! У ати волосы черные и курчавые, как у нашего барана. Я помню. Глаза у него, как небо. Щека у него, как жесткая оленья шкура, колется. Я помню, все помню. Ведь мы живем давно-давно. Как эти чайки, кулики, деревья, вода, небо, солнце.

Только почему-то я все время маленький, а атя — большой. Только почему-то я его все время жду, и мама ждет. А он все ездит. А может, он меня тоже ждет?! Плохо быть маленьким. Все время надо ждать и ждать!.. Но не беда! Знаю: тоже буду большим! Когда вырасту — атя станет маленьким. Потом он снова большим станет, а я — маленьким. И так вечно мы будем жить! Как чайки, белки, утки, лебеди, вода, деревья, небо, солнце... Мы будем жить долго-долго. И я атю знаю, только немножко забыл.

Острый нос лодки уткнулся в берег. Волна, пенясь и шипя, набежала на песок и укатилась назад.

Из лодки вышел человек в красивой русской одежде. Этот русский человек шел прямо ко мне, смотрел и улыбался какой-то очень знакомой улыбкой. Он схватил меня. Поцеловал. Поднял к солнцу. И сказал знакомым, вечным голосом:

— Мань-пыг!

Э! Я так и знал, что это мой атя! Он всегда называл меня так. Он вечно меня называл так! Мань-пыг — это значит маленький сын, маленький мальчик. Нет! Неправда! Я тоже буду большой!..

— Атя! — сказал я со слезами в голосе.— Называй меня яныт-пыг, большим сыном называй.

Он посмотрел на меня. Улыбнулся. Почему он ничего не сказал? Почему только улыбнулся?! Этот пронзительный, пытливый отцовский взгляд я запомнил навек. И улыбку запомнил. Так я познакомился с отцом своим. И теперь уже навечно. С этого мгновения я узнавал его в любой одежде и как долго бы он ни странствовал.

А наша жизнь проснулась на берегу этой таежной реки давно-давно. Вместе с этими летящими утками и плещущимися рыбами появились мы на свет. Вместе со счастливыми чайками мы смеялись задорно и со стонущей гагарой не раз горько плакали. С этими кудрявыми, могучими кедрами мы не боялись мороза. И солнце бывало щедрым. Летнее солнце всегда бывало щедрым.

— Здравствуй, атя! Как долго мы не виделись!.. Нам надо поговорить... Ведь мы будем жить вместе... Снова вечно жить!..

Солнце светит ярко-ярко... Утки куда-то летят, летят... Кулики на ножках тоненьких по песочку бегают, суетятся... Смеются беззаботные чайки, о чем-то курлычут лебеди, а где-то далеко-далеко стонет одинокая гагара...

— Здравствуй, мое утро!

— Приготовиться к посадке на самолет, следующий рейсом по маршруту Ленинград — Тюмень,— объявил диктор. Зал ожидания стал похож на растревоженный муравейник. Одни поднимались с кресел, другие садились. Я присоединился к тем, кто не торопясь направлялся к выходу на аэродром.

Душа у меня стала как будто не моей. В ней сидел какой-то неспокойный дух. Он то хватал меня за сердце крючковатыми пальцами, сжимая его до тех пор, пока не выжмет стон, то отпускал, точно дразня меня. Этого духа я скоро узнал. В первый раз он пришел ко мне, когда умирала моя мать. Было мне тогда девять лет. Двадцать четыре года он меня не тревожил. Где он был, этот коварный дух смерти? Кого давил, кому навевал слезы?

Все думают, что я совершенно спокоен. А во мне клокочет жизнь. Сердце стучит. А рядом с ним притаился дух смерти. Он наблюдает за движением моих чувств и мыслей. Я хочу освободиться от него, забыться хочу. Но не в силах. Беспокойный дух побуждает меня вспомнить то мгновение, когда в последний раз я видел мать.

Помню, я стоял перед ней растерянный и жалкий. Она лежала на больничной койке. Говорила, будто моли-

лась. В голосе — слезы. В глазах — боль. Глаза у нее большие и печальные. Но в них искрится еще надежда.

— Ничего, что Потепка отказался шаманить. Поезжай в нашу деревню. Иди к шаманке Алиовыл-экве. Она не откажется, поговорит с духами. Пусть пообещает им любую жертву. Курицу, даже теленка...

Я оледенел. Не шелохнусь. Боюсь сделать шаг... В дверях стоят. Они в белых халатах. Наблюдают за мной. Из-за них я не знаю, что и делать. Не смею подойти к маме. Она растерянно смотрит на меня. Я то оглядываюсь на дверь, то слушаю ее.

— О, зачем меня так мучают боги? В чем я провинилась? Пусть узнает, чего они от меня хотят. Пусть пошаманит!..

Она застонала. На мгновение закрыла глаза. Потом горящим взглядом потянулась ко мне.

Мне хочется подойти к маме. К моей маме. Но у дверей они. Смотрят, не спускают глаз. Халаты у них белые. И я — как ледяной.

— Ну, поезжай, попроси...

Ноги у меня отяжелели. Только глаза бегают, как шальные. Не знаю, что делать. Оживаю. Иду к двери. Не вижу ни матери, ни белых халатов...

О, почему я не подошел к ней, моей родной и вечной?! Почему не упал на грудь? Не поцеловал, не приласкал почему?! Может быть, я надеялся, что помогут духи?

О, если бы я знал, что вижу ее в последний раз! О, если бы не стояли у дверей люди в белых халатах!

О, если бы я был не так мал и глуп!

Почему она сама не подозвала меня? Может, она еще верила, что мы увидимся, будем жить, смеяться, радоваться солнцу, как и раньше?!

Она вставала с солнцем. Радовалась солнцу. Была моим солнцем!.. Хорошо, когда солнце!..

Она не позвала меня, не простилась.

Она заставила меня всю жизнь вздрагивать. Вспомню — вздрогну. Сердце съежится. Скорчишься, как от стыда, как от боли. Зачем она мне оставила вечную боль, вечные слезы, вечный стыд за мою холодность, за мою недогадливость?!

А может, она нарочно оставила во мне этого беспокойного духа? Оставила для того, чтобы я помнил, что и у меня была мама, которой я обязан жизнью, и сыновнего тепла от меня было мало. Человек должен быть

щедрым. Быть самим собой — а не ледышкой. Он не должен стыдиться ласки. Не имеет он права бояться постороннего взгляда. Сердечность и внимание, тепло и ласка — начало человека.

Может, она нарочно не простилась со мной, чтобы я всю жизнь чувствовал, что я в долгу перед людьми, как перед матерью?

Объявили посадку. Все, словно рыбы на перекате, поплыли. Шли друг за другом, держали наготове билеты и посадочные талоны. Я делал то же самое. Почти бессознательно. Я шел вместе со всеми. Видел всех и не видел никого. Вдруг — словно проснулся. У входа на взлетную площадку остались двое. Она обнимала его. С заплаканным лицом припадала к нему на плечо и о чем-то умоляла. Не старая еще, но и не молодая. Он — долговязый и какой-то неловкий — оглядывался по сторонам, будто стыдился ее ласки. Наверное, мать провожает сына. Может, в первый раз и в первую дальнюю дорогу. И быть может, надолго. А он, глупый, суетится...

Как смотрела вслед мне моя мама!.. Тогда. В больнице. Каким жгучим взглядом провожала! Словно оторвала от себя свое сердце. И кинула его вслед мне. Что-то шептала. Может, молилась за меня всем богам, обещая им самую дорогую жертву?

А может, перед смертью она со мной, будто с духом, по всей правде говорить хотела? Ведь только я мог понять всю ее материнскую ласку, ее любовь к жизни и солнцу. Знала она: жить мне без нее — как бескрылому утенку. А в небе коршуны злые. И лето теплое не вечно. Зима морозная приходит, как смерть, и все на свете леденит. Откуда знать все это глупышу утенку?!

Я уходил — не оглянулся. Не простился даже взглядом. Вспомню — вздрогну. Это ее боль, наверно, во мне просыпается. Какой мучительной, видно, была ее боль, если она во мне отдается даже через четверть века! А может, это поздний стыд за сыновний холод и невнимание?!

Скорее в самолет! Может быть, еще успею свидеться! С отцом. Моим единственным.

Самолет незаметно оторвался от взлетной полосы и крылатым оленем стал подниматься в небо. Но глаза мои устремлены на землю. Внизу — Ленинград. Город моей

юности. В нем я встретил Ее. Она заменила мне мать. Я снова увидел солнце тогда. Пел, как птицы утром.

Улицы этого города — мои лесные тропы. Я иду по ним — как по тайге. Каждый дом — знакомое дерево. У каждого дерева — своя история и тайна.

Прежде волшебным миром мне была тайга. Каждое дерево казалось живым. В одном мне чудился добрый дух, в другом — коварный и злой. Теперь такой же мир дома, улицы, площади, памятники.

Я брожу по улицам, как охотник по тайге. Но ищу не зверя, а добрые слова и мысли. Так мало в мире добра и тепла!.. Так много шума и грохота!.. Но в этом шуме городском я стал совсем другим. Во мне проснулся новый охотник.

...Здесь, где дождь и прохлада
Освежали мне лоб,
Отдыхал я когда-то
От охотничьих троп.

Здесь, как зверя лесного,
Я искал свой мотив
И заветное слово,
Стол рукой обхватив.

Пусть асфальт — не болота
И фонарь — не звезда,
Только эта охота
Вряд ли легче, чем та.

Город растаял в синей дымке. Самолет крылатым оленем скакал по облакам, как по белому снегу. Сквозь сугробы облаков вдруг выскочило солнце. Самолет качнуло, словно люльку. И опять сказка рядом со мной поскакала...

С мамы начинается земля.

В сказке продолжается земля.

А на земле — жизнь.

Жизнь... Какая тайна в ней заключена? Какой дух не дает мне покою? Что меня так волнует и нагоняет думу за думой?

Может, судьбы людей помогут мне понять себя и мир?!

2

Рядом со мной сидели мальчик с бабушкой. Мальчик ростом такой же, как и мой сын. Лет шесть ему. Не больше. Такой же шумный и беспокойный. Пристает к бабушке с вопросами:

— Это что, бабушка? Снежные горы?
— Это облака.
— Почему они внизу? Снег падает сверху, с облаков...
— Мы же летим.
— А до синего космоса мы долетели?

Он спрашивал о том, кто зажег солнце, почему на луну отправили луноход, а не человека, что будут пить на луне люди, если там нет воды, почему нельзя дышать космическим воздухом...

Бабушка выслушивала внука. И не спеша, глядя поверх очков внимательными, чуть усталыми глазами, отвечала на его вопросы. Эта чуть седоватая и спокойная бабушка снова навеяла на меня сны моего детства.

Моя бабушка пришла ко мне из дремучей тайги. В первый раз я запомнил ее в лесу. Была ли она до этого — не знаю. Наверно, была. Но я-то ее помню с того самого мгновения, когда черника росла высокая-высокая, и я узнал ее сладковатый запах, а голубика голубела. И я мог дотянуться и срывать губами круглые и сочные ягодки. О, как это было чудесно — брать ягоды губами! Собака Хулах бежала рядом. Она так же собирала ягоды, как и я. Мы были счастливы. А бабушка ругалась.

— Руками надо брать ягоды, а не ртом. Это одни собаки так делают: у них нет крылатых рук,— говорила она.— Потому они и собаки, что нет у них рук. Несчастные твари! Зачем делать, как они? Счастье человека в том, что у него есть руки. Все ими можно сделать! Вот вырастешь большой, выше голубики станешь и сможешь тогда влезть на самую макушку кедра и юркими руками срывать шишки будешь. А Хулах, твоя черная собака, этого сделать не сможет, у него ведь только лапы.

Но собака все равно была счастлива. Она бежала рядом со мной, юлила и весело взвизгивала. Она, может быть, не все понимала в этом мире. Но видела, наверное, не меньше меня и радовалась, наверное, тоже не меньше и этим таинственным лапам кедров, в которых качаются тяжелые шишки, и этим краснощеким грибам, которые наклонили к земле головы, и этим голубоглазым ягодам, которые дразнят нас тем, что их много и нам не под силу их съесть.

Вдруг собака залаяла. Мелькнуло что-то золотистое, и на качнувшейся кедровой ветке я увидел зверька с пушистым хвостом и остренькими усиками. Это была белка. Настоящая белочка! Живыми, любопытными глаз-

Ханты-Мансийская
окружная библиотека
Тюменской области
24279

ками глядела она на нас. И у нее, наверно, была о нас своя дума.

А вот прокричала ронжа — хозяйка кедра, кедровка.

— Созреют скоро шишки, и будет кедровка собирать орехи да зарывать их в землю,— говорит мне тихо бабушка.— На пользу нам эта ворчунья. Настанет зима, и забудет она, где зарыла свой клад, а в том месте на лето другой кедр, новый, будет расти. Вот какая полезная эта горластая птица. А старый хозяин тайги ходит где-то рядом. Вот его следы. Чтобы задобрить его, положи на его след ягодки. И сердце его растает. И не тронет он нас с тобой,— сказывает тихо бабушка и на следы медвежьи ягоды кладет. Я делаю то же самое.

Уплыло это сказочное время. И многое теперь кажется другим. И нет больше на земле голубики, которая выше меня. Бывая в тайге, я ищу такую голубику. И не нахожу ее. Может быть, мой сын ее увидит?

И еще я помню первую встречу с огнем. Он на поленьях плясал. А я на него глядел. Он стрелял искрами — а я не сводил глаз. Смола золотистая на поленьях кипела и, шипя, сгорала — а я на огонь глядел. Невидимыми руками, жаркими ладонями касался он моего лица — а я глядел и глядел. Смолистым дымком иногда прямо в глаза дышал он — и все же я видел его золотые зрачки.

И вдруг: земля под ногами качнулась, полетело небо, в голове закружилось синее пламя. И чьи-то руки схватили меня. Я очнулся: дедушка. Так я познакомился с огнем и с моим дедушкой.

Потом много раз я встречался с золотым огнем.

Замерзнешь на охоте, окоченеют руки, побелеют щеки, а разожжешь костер на снегу — щеки опять порозовеют, руки наливаются силой.

Промокнешь на рыбалке, до костей промокнешь — а огонь высушит тебя, вскипятит чай, даст силы уснуть, чтобы завтра ты снова улыбался и ловил рыбу...

И дедушку я узнал. Лицо у него было непохожим на другие лица. Одна сторона его была синей. Поцелуем неба называли его лицо. Откуда было мне тогда знать, что лицо дедушки кое-кто считал священным. А для меня он был просто милый дедушка, который умел увести в волшебный мир длинных-длинных сказок.

Еще я помню воду. Сверкающую на солнце весеннюю воду. Не помню, как ломался ревущий лед, какой в ту весну был ледоход, но помню, как атя мой в первый

раз столкнул с берега лодку и окропил мою голову еще леденистой, но уже открытой небу водой.

А вода струилась и искрилась, ходила кругами и журчала. И я словно услышал песню. Звонкую и нежную песню. А глаза увидели на ровной глади воды радужные ромбики, квадратики, причудливые узоры, похожие на орнамент, что на меховой шубе у моей мамы.

— А что в воде? — может быть, спросил я у ати, сидевшего на корме лодки-саранхапа.

— Вот сейчас ты увидишь, какую щуку поймаем.

И правда. Мы подъехали к запору. Запор — это перегородка из кольев в маленькой речке. Атя вытащил из воды большую гимгу — ловушку, сплетенную из кореньев. В ней плескались рыбы. И среди прочей мелочи была там огромная щука. Борода у нее зеленая. Видно, старая эта щука. А глаза у нее круглые, водянистые. И смотрят они холодно. Морозно становится. И рот у нее большой. Она его открывает и закрывает, словно в воздухе что-то хватает. И зубы, длинные, острые, готовые прокусить не только меня, но и весь мир. А живот у щуки тоже не маленький. И, говорят, она проглатывает своих сородичей — таких же, как она, щук.

«Неужели так?! — задумываюсь я.— Неужели можно убивать и есть тех, с кем только что плавал и играл?»

— А бывают еще и рогатые щуки,— говорит мне мама.— В сказках такие щуки бывают.

Хотя и рот у щуки большой, и зубы острые, хотя сказочные щуки и бывают рогатыми, но я их не боюсь — со мной рядом папа и мама. И я — самый сильный!

Опять наша лодка летит. От прикосновения цветных гребей вода стреляет. Звонко стреляет.

— А что под водой? — спросил я, наверно, маму.— Почему она такая звонкая?

— В воде тоже жизнь. Под ней хрустальные дома стоят. В тех хрустальных домах водяные люди живут

Непонятно было мне это. И понятно было мне это: всюду жизнь — и на земле, и в воде... И в сказочные времена была эта жизнь, и теперь она продолжается.

Теперь-то я знаю, почему манси и ханты по берегам рек селились. Вода — рыба. Вода — дорога. Вода — жизнь.

И снова вспоминаю вопрос, заданный мной маме:

— А что под водой?..

Теперь я знаю: нет под водой хрустальных домов, и водяные там не живут. Но жизнь есть всюду — и на

земле, и в воде. И в сказочные времена была эта жизнь, и сегодня она продолжается.

Атя... Помню, что он вставал очень рано. Еще темно, а он уже на ногах. То уходил он на рыбалку, то на охоту, то просто будить колхозников. Он был всегда среди людей. О чем-то толковал, что-то доказывал, чем-то возмущался, подкрепляя свои слова жестами и мимикой. О чем были эти споры — разве мне вспомнить?!

Знаю только, что все разговоры были о колхозе, где он был председателем. Помню только, как дедушку он уговаривал сдать в колхоз лошадь, трех коров и несколько овец.

— Молока захочешь — в колхозе возьмешь,— убежденно говорил он.— Надо будет куда съездить — лошадь возьмешь в колхозе. Чулки связать нужно будет — шерсть возьмешь в колхозе.

Помню: дедушка не верил. Возражал, говорил что-то свое. Но все же уступил своему упрямому зятю. Видно, понял, что если родные председателя откажутся сдавать скот, то другие и подавно откажутся.

Атя... Что мне вспомнить? Может быть, о том, как мы жили в старом доме в зимней деревне. Там стоял кедр. Издали он напоминал лицо великана из сказки. В деревне даже в пургу тихо — могучие кедры и ели закрывают своей грудью домики, и в древней деревне Хомрат-павыл тепло.

Атя... Что мне вспомнить? Может быть, то, как ты захотел создать для сородичей новую жизнь и осуществил свою мечту, построив на противоположной стороне реки новые, колхозные дома? Не верили сначала люди. Потом пришли строители, и вокруг озера, на берегу реки Пори-посал, выросла новая деревня, колхозная деревня.

— Откуда взял он столько денег, что плотников нанял? — спрашивали удивленные старики.

— Колхоз богаче самого богатого мансийца,— говорил им отец.— Колхозный карман опустеет — государство ссудой поможет.

В деревне был новый магазин, а главное — пекарня была. Белый хлеб на столе появился.

— Хороший колхоз, если белый хлеб дает! Спасибо! Будем работать, рыбу добывать, зверя бить будем.

Атя... Что вспомнить мне?

А в деревне и правда было весело. На крыльях белых лебедей прилетела весна, гоготанием гусей горланила весна, стаями диких уток садилась у крыльца весна.

Крыльцо наше было на берегу озера. А на берегу озера уток — темным-темно. Беру ружье. Ба-бах! И небо синее темнеет. Темным-темно. На берегу озера — струйка алой крови. На берегу селезень лежит. С трепетом охотника беру добычу в руки. А небо звенит и стонет от утиных стай. Принимай, озеро, крылатых, принимай! На берегу озера весна не убита. На берегу озера встречена весна.

Посреди деревни — тоже озеро. Как голубая плошка это озеро. А вокруг него, как квадратики с узорами, дома стоят, на прозрачной глади озера отражаются небо весеннее и добротные дома колхозников. Хорошо было на берегу озера! И на берегу реки хорошо! Где теперь то озеро и весна крылатая?!

Атя... Что мне вспомнить? Может быть, то, как ты уходил в другой колхоз? Партия хотела, чтоб ты его «поднял». Но не успел ты выполнить завет — грянула беда, черная война.

Атя... Что мне еще вспомнить?

Может, то, как ты уходил добровольцем на фронт? Помню я Березово, пыльные улицы.

— Раз! Два! Три! — ваш отряд шагает.

— Раз! Два! Три! — и я марширую.

— Раз! Два! Три! — улыбается ваш командир.

— Раз! Два! Три! — и вы улыбаетесь.

Атя... Что мне вспомнить? Потом вы сели на белый пароход. Ты махал мне рукой. Мама прятала лицо в шелковую шаль. Я знал: она плакала. Не было у меня шелковой шали, некуда мне было прятать лицо — и я не плакал.

Что мне вспомнить? Ты был под Москвой. Фашистский осколок не смог убить тебя, фашистский осколок ранил тебя. И, раненый, ты вернулся домой. Но недолго пришлось быть тебе в доме родном. Приезжал из района уполномоченный и о чем-то тебя просил. Несколько раз приезжал уполномоченный и каждый раз становился резче. Ты о чем-то подолгу говорил с мамой. Она в чем-то с тобой не соглашалась, спорила.

— С кем оставишь дедушку? Ему ведь сто лет.

— С кем оставишь бабушку? Ей тоже сто лет.

— На чем привезешь дрова? Нет у дедушки лошади.

— Где возьмешь молока? Нет у бабушки коровы.

— А в колхозе не допросишься — колхоз кормит фронт.

— Не оставишь дедушку, не оставишь бабушку...

И вот атя уже сидит в красивой казенной кошевке.

Полозья у нее железные, а постромки смоленые. А конь вороной пританцовывает, жаждет умчать вас в снежную даль. И уполномоченный сегодня весел. Он говорит:

— Ничего. Поднимешь колхоз и вернешься...

Никто отца не провожает. Я один его провожаю.

Снег уже летит, вихрится снег. Я вцепился в кошевку, надо мной вихрится снег. Он такой колючий и горячий такой. Кружится и вьется над головой моей. Залетает в уши и слепит глаза. А конь, как шальной, поднимает ветер и, почуяв дорогу, быстрее ветра летит. И деревня моя куда-то вдаль летит. Я кричу: «Ма-ма-а!»

И тяжелая отцовская рука отрывает меня от казенной кошевки. И казенная отцовская рука на снежную дорогу толкает меня. Долго еще надо мною кружится снег. На соленые щеки мои ложится снег. Потом все замирает, и в мертвой тишине я вижу ледяной взгляд морозного зимнего неба. И кедры на берегу как немые стоят. Они не видели ничего, как слепые стоят. И река замерзшая ничего не слыхала, она в этой тишине как мертвая лежит.

Смахиваю с лица остывшие слезы. Смахиваю с себя прилипший снег. Пятилетним мужчиной шагаю обратно. Многого, конечно, я еще не понимаю. Но одно чувствую: в доме нет мужчины. Хозяином быть должен я, чтобы был наш дом. Чтобы был наш дом, я должен быть мужчиной.

3

— Прошу приготовить столики! — проходя между кресел, сказала стройная стюардесса.— Сейчас вам будет предложен завтрак.

Самолет гудел, как рой комарья. Пассажиры дремали, как в знойный полдень. До большинства слова стюардессы будто не дошли. Лишь кое-кто лениво потянулся налаживать столики.

Только мальчик ликовал.

— А мороженое будет? А пирожное? А лимонад?! — щебетал он, вертясь, как птица в клетке.

Бабушка наклонялась к нему, что-то строго шептала.

Глаза его засияли, когда появился перед ним поднос. Но он не стал есть ни ножку курицы, ни теплый рис. Он едва притронулся к пирожному, глотнул вишневого сока и стал с удовольствием вертеть пакетики с перцем и солью.

Скоро кусок хлеба стал остовом самолета, пакетики — крыльями, косточки вишни — колесами.

— Жу-жу-жу! — зажужжал он.

Бабушка заставляла его есть. Он отворачивался от протянутой куриной ножки и продолжал жужжать. Мы летели...

Ходит по земле мороз. Стучится в каждый дом мороз. А откроешь дверь — вздохнет тяжело, выпустит изо рта белый дым и, не спрашивая никого, входит в дом. Еще холоднее становится. И на глазах замерзает крохотное пятнышко на стекле окна, которое я так старался разморозить своим теплым дыханием. Но я снова и снова приклеиваюсь к окну и дышу на снег и лед, чтобы можно было видеть дорожку, по которой, наверное, скоро придет с рыбалки мама. А ее давно нет дома. Целую вечность, кажется, ее нет. «Неужели только семь солнц нет моей мамы? — раздумываю я.— Дедушка мог ошибиться и на палочке, по которой он считает время, мог и пропустить зарубки. Ведь он слепой. Неужели только семь зарубок не было моей мамы дома, неужели только семь дней я ее не видел?!»

— Дров осталось мало. Лишь на ночь хватит. Когда же приедет мама?!

За водой мы ходим с бабушкой. У нее есть палочка. Подаст ее мне в руки — и за мной идет, следом санки катятся. В них бак стоит, в котором мы возим воду. Тяжело ходить с бабушкой по воду. Когда же приедет мама?!

А хлеб какой вкусный! Но моих двухсот граммов мне не хватает. И я твою, мама, норму съедаю. И все равно есть так хочется! Приезжай скорее, мама, привози рыбки свежей!

И молотая черемуха, черемуха с рыбьим жиром — варкой — тоже уже кончилась. Мы не можем найти с бабушкой, куда ты припрятала черемуху, вкусную черемуху с варкой!

Когда же ты приедешь, мама?!

А дедушка делает гимги, снасти рыболовные из прутьев и кореньев плетет. Председатель просит его научить молодежь.

— Позабыли,— говорит,— древнее ремесло. А ловушек,— говорит,— так не хватает.— Председатель почти каждый день ходит к дедушке. И за труд дедушке выписывают литр обрату. Вкусно и такое молоко. Приезжай скорее, мама! Может, и тебе молока будут давать? Ты ведь не простая рыбачка, а бригадир рыбацкий. Тебя, наверно, тоже уважают, как дедушку. Приезжай скорее, мама!..

И мама приезжает. Она приносит рыбу. Не муксуна, не нельму, а щуку одну приносит.

Мы не спрашиваем, почему так мало она принесла. Мы знаем: в бригаде есть особый уполномоченный из района, девушка там есть такая. Она смотрит, чтобы всю рыбу сдавали. Мы знаем: мама и сама не возьмет — она бригадир, она ведь тоже знает, что рыба-то идет не куда-нибудь, а на фронт.

И варится уха из этой щуки, как в сказке, варится. И запахом этой волшебной ухи мы долго наслаждаемся. Как будто едим не щуку, а мясо самого медведя. Как будто в нашем доме сегодня самый большой волшебный праздник, о котором позабыли мансийцы.

Хорошо, когда приезжает мама. Это мой самый большой праздник

— Кем ты хочешь быть? — спросил я мальчика, летевшего с бабушкой. Может быть, потому, что у меня такой же. И я невольно сравнивал его со своим.

— Я хочу быть Гагариным! — выпалил, как потребовал.— Полечу на луну. Буду космосом дышать.

— А не хотел бы ты быть рыбаком? — допытывался я.

— Нет! Мама будет смеяться, как над папой. Рыба в Неве не хочет клевать... Воскресенье пропадает. «Лучше бы в театр»,— говорит мама.

— А может, охотником хочешь быть?

— А что это такое? Когда с ружьем ходят? А кого убивать? Шпионов?

— Волков, медведей...

— Где? В зоопарке? Разве можно? Медведи, волки еще в сказке есть.

А я видел медведей и волков в тайге. Еще тогда, когда голубика была выше меня. И боялся я не только волков... У меня была совсем другая сказка.

Заболел однажды. То горю, как в огне, то дрожу, как на морозе. То ручьями льет с меня пот, как с тающей снежной горы. То в горле все пересыхает, как речка в сухое лето. То все кружится перед глазами, и я вижу причудливый и странный мир, который никогда не увидят люди. То звенит в ушах, и слышу я волшебную музыку, и мне хочется петь, и я говорю складно и непонятно, как, может, никогда не скажу.

То ко мне снова возвращается ясность, и вижу маму, наклонившуюся к моему изголовью. Она кладет на мой лоб мокрую сеть. Мне хорошо. Она смотрит на меня влажными глазами. И летят ко мне какие-то струи света. Теплые, ласковые, печальные. Словно она боится, что я опять уйду в иной мир и буду петь непонятное.

И я забываюсь. Вижу: моя голубовато-дымчатая душа корчится и вьется в чьих-то костлявых пальцах. А кругом темно-темно, как в глубокой яме. Пальцы давят; еще темнее становится. Душно. Но не замирает душа моя. Она рвется из цепких пальцев и кричит на самого бога Темного царства.

— Непокорный! — цедит сквозь гнилые зубы Куль. А глаза у него горят злобой, как угли. Он давит меня еще сильнее. Жарко. Я кричу и мечусь в жилистых руках Куля. Он вздыхает и со злостью расслабляет усталые старые пальцы. Мне легче. Я снова вижу печальную маму. А в углу, перед красной шелковой занавеской, сидит дедушка. Под напевную музыку слов у него в руках дрожит топор, повязанный шерстяным поясом. Он говорит с духами, с нашими домашними богами, которые сидят в сундуке за этой красной занавеской. Он говорит, как поет. А поет, как говорит. И слов его мне не понять. То слова божественные. И говорит он волшебным языком, который не многим дано понять.

— Сам Куль схватил душу нашего мальчика: значит, она чего-то стоит,— говорит испуганной маме дедушка.— Сам царь злых духов пытается завладеть душой нашего мальчика: наверно, дух что-то видит в невидимой дали жизни,— размышляет вслух дедушка. А голос у него хрипловатый, усталый.

Наши домашние духи не могут... Попробую попросить Мирсуснэхума — духа нашего племени. Силы у него больше. Он может сразиться с Кулем и вырвать у него из рук жизнь нашего мальчика, если душа его не коротка. Нужна большая жертва. Нет у нас ни теленка, ни овцы, ни белого жеребенка... Ничего... Пообещаем отцу нашему верную душу мальчика...

И топор, повязанный шерстяным поясом, опять дрожит в синеватых руках дедушки. И он снова поет. Сначала непонятно и далеко-далеко звучит его песня. Потом все ближе и ближе. И наконец я уже различаю слова:

На священной горе за тремя стенами,
В железном дворце, где еле найдешь двери,
Ты живешь, наш дух!

Твой небесный отец наказал тебе
Спасать души людей.
Споткнулась душа нашего мальчика.
Она в злых руках.
Как из темной бездны вырвать ее?
Семигранную твою прозорливость
Призываю на помощь!
Пусть выздоровеет мой внук!
И не только нога его будет крепка,
И не только рука его будет сильна,
Но да владеет он семикрылым духом!
Не сильный рукой знает сладость светлого дня,
А сильный душой знает сладость светлого дня.
Спаси во мне надежду мою:
Верни моему мальчику прозорливую душу!

Дедушка пел свою волшебную песню. И я видел жизнь, недоступную человеческому глазу:

На железном коне, что не больше соболя, скакал мой спаситель Мирсуснэхум. А был сам чуть побольше белки. Среди звезд летел, говорил с луной. Облетев свою землю, направил коня в подземелье.

Когда схватился он с Кулем, ох, мне жарко было! Душу мою тянули туда, душу мою тянули сюда: ох, больно мне было! Я горел, как в огне. И дрожал, как на морозе. Но все видел и слышал. Оттого сильнее стал.

Спаси, наш бог, душу моего внука!
Он тебя не забудет,
Благодарить станет
И темной ночью, и в светлый день.
Белой шерстью, шелковой нитью будет обшивать
Рукава твоей священной одежды.
Шелковыми словами, как теплой шерстью,
Будет охранять он твое высокое имя.

Потом дедушка поил меня каким-то напитком. И я видел, как Мирсуснэхум вырвал мою голубоватую душу из костлявых пальцев Куля. Мне стало легко. Легче облаков парил я где-то. И больше ничего не видел и не слыхал ни одного волшебного звука.

А когда я выздоровел, дедушка повел меня в священный угол, где под потолком на полочке стоит сундук, обитый железными полосками.

Когда он открыл крышку, на меня взглянули холодными глазами-бусинками наши домашние духи. В собольих шапках, в платьях из тонкого цветного сукна среди шкурок куниц, лисиц, соболей сидели они важно и чинно. Хотя они были не больше горностая, но простыми куклами они мне не казались.

Для меня они были живыми и сильными богами. И душа моя трепетала, как утка, попавшая в сеть.

И уже не мог я спокойно смотреть на потускневшие монеты с причудливыми изображениями, на сияющие кольца, на рюмки с золотыми узорами, на серебряные и медные амулеты, где в живом порыве замерли священные птицы и звери моего лесного края.

Дед щупал лицо каждого бога, а узнав, называл его имя, и я вслед за дедом должен был шептать это имя, как молитву.

— Вот твои духи. Ты будешь хозяином. А вот твой главный бог. Это золотая пластинка — священный амулет. Я нашел его на днях в сундуке. Крылатый лебедь — твой крылатый бог — прилетел издалека, с верховьев Сосьвы. Просит тебя быть его хозяином. Без прозорливого духа люди не могут жить, край может зачахнуть. Будь хозяином! А он тебе поможет: лебедь — сильная и вещая птица. Далеко летает, куда не могут ходить мансийцы, глубоко ныряет, где не могут бывать мансийцы. Бери амулет — и будешь сильным.

— Боюсь,— шепчу я.

А сердце мое трепещет, как рыба, попавшая в сеть.

— Эх,— вздыхает дедушка. И, закрывая крышку священного сундука, тянет: — Будешь опять болеть!..

Давно моего дедушки на свете нет. Иной век настал. И я задумываюсь: почему дедушка так мучительно старался обратить меня в свою веру? Неужели без веры на свете жить нельзя?

4

Мы сидим у жаркой железной печи. Бока у нее красные, раскаленные.

— К большому морозу это,— говорит мне Давидка, мой приятель.

Я к Давидке хожу почти каждый вечер. И неспроста: он чуть старше меня и знает не только это, а еще умеет так смотреть в книгу, что язык его выводит складные волшебные слова:

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах...

Говорит он, точно струны санквалтапа[1] трогает. И я

---

[1] Санквалтап — музыкальный инструмент.

вижу мир, невидимый моему глазу. Синее, как ветер, море, белые, как песцы, волны. Теплей, чем парное молоко, воздух. Хочется дышать этим воздухом и мчаться на кораблике под парусом самому.

— Не шаман ли ты, Давидка?! — спрашиваю я его тихо, вызывая на откровенность. А сам боюсь, что лезу с любопытством в такое святое дело.— Не хочет ли тебя мой дедушка сделать шаманом?!

А Давидка смотрит на меня, как большая собачка на ценка, и продолжает:

Белка там живет ручная,
Да затейница какая'
Белка песенки поет
Да орешки все грызет

— Не я шаман, а Пушкин! И никакой он не шаман, а поэт. Большой это человек. Самый большой на свете! Дедушка твой даже книгу не умеет читать... А еще нам говорили в школе, что шаманы — плохие люди. Хуже росомах они!

— Ты не знаешь моего дедушку. Он хороший!.. И не смей называть его росомахой. А то буду драться!

Я стреляю в него словами, как сухие смолистые дрова в печке стреляют искрами.

— А если хочешь знать, то и твой Пушкин тоже шаман. Он тоже уводит меня куда-то далеко, и я опять начинаю видеть и слышать то, что он хочет. Он тоже волшебник!

— Ну, это другой волшебник. Книжный волшебник, добрый волшебник,— объясняет мне Давидка, зажигая новую лучину.

А мне обидно. Очень обидно, что дедушка мой не такой.

— Ничего,— говорю я.— Все равно научусь читать. И увижу твоего Пушкина, и буду с ним спорить!..

А выйдя на улицу, по дороге к своему дому, я не хруст снега слышу, а плеск белых волн, и не чум цветистый — северное сияние — вижу, а бегущий по синему морю кораблик. Мне хочется повторять эти строки и найти свои слова. Но они, как великие духи, не идут ко мне. Мне больно до слез. И, несчастный, падаю на свою постель — на старую оленью шкуру, а во сне опять тот же мир. Вот оно, то синее море... Вот кораблик на просторе...

И опять я видел парус,
И хотел я стать, как ветер,
И завидовал мальчишке,

Что носил под мышкой книжку,
Ту, где жили строки эти!
Я мечтал о синем море,
Я мечтал о нем без страха.
Не беда, что скачут волны,
Злые, точно росомаха!
Я мечтал с великим морем
Подружиться, побрататься
И, вдыхая свежий ветер,
Легким парусом помчаться!

Долго жили во мне эти грезы. Долго я мечтал увидеть живого Пушкина. Больно было, когда узнал, что певец сражен злой пулей. И праздником стало мгновение моей жизни, когда я понял, что Пушкин жив и я могу говорить с ним, сколько хочу. А у меня теперь есть даже свои слова:

И теперь, когда навеки
Миновали годы детства,—
Снова дорогие строки
Быстрым ветром рвутся в сердце!
Снова вижу белый парус,
Полный ветра и задора,—
Он зовет меня и манит
В беспредельные просторы!
Друг степей и дети тундры
Повторяют строки эти,
Строки смелые, как парус,
Строки вольные, как ветер.

«Кто, сидя у теплой печки, далеко-далеко ходит, чудеса видит, мудрые слова слышит?»

Теперь я эту загадку знаю: тот, кто умеет читать.

А для меня книга — это лес, где я еще не был, строчки — дорожки, по которым я еще не прошел, слова — деревья, которых я не знал и не знаю, что на них растет, какие звери в ветвях их прячутся.

Ясно одно: надо идти в школу! Учится же там Давидка. Наверное, и я смогу.

И в одно морозное утро я с Давидкой направляюсь в школу.

Прозвенел веселый звонок, и все ребята словно приклеились к партам. И я рядом с Давидкой сел. И для меня нашлось место. Учительница даже не удивилась моему приходу. Она подошла, что-то участливо спросила, расставила на доске шашки и велела нам с Давидкой играть. Я был ни жив ни мертв. Окаменелыми руками двигал шашки, боясь взглянуть на ребят, которые читают, что-то умное рассказывают учительнице. А она их слушает

внимательно и серьезно Хорошо, когда тебя слушают! Но обидно, что мне она доверила только шашки.

Досадно охотнику, которому доверено лишь рубить дрова, а не идти вместе со всеми к берлоге — на медведя Досадно рыбаку, который только чинит сети в большой артели, которого не берут на живой и радостный промысел Глаз увидит — сердце захочет. Сердце заболит — слезы потекут. А я не плачу — с Давидкой в шашки играю Жду: что же дальше будет?

Медведя кусают комары, он на лес обижается, а лес и не слышит. А учительница, видно, меня понимала Кончился урок — подошла ко мне.

И говорит: будешь учиться в школе! Скоро. На будущий год... А нынче — ты опоздал: зима. И подрасти надо.

— Мне уже шесть! Хожу с мамой на охоту. Большой я! Большой! — твержу ей горячо и настойчиво.

Опять оленьими бубенчиками звенит звонок. Ребята садятся за парты, а мне разрешают... только играть в шашки.

Как долог этот школьный час, какие мучительные эти сорок пять минут, как ты придавлен, когда ты занимаешься не своим делом! Рядом с тобой жизнь — а ты бессмысленно передвигаешь шашки... Этих мыслей у меня тогда, наверное, не было, но тяжелое чувство осталось. А сегодня могу сказать вот что.

Не лезь в нарту, пока олени не в упряжке. Не ходи на медведя, если ружье дрожит в руках. Не иди в гости, пока тебя не зовут. Не пей напитков, которые сильнее твоего сердца, дурнее твоего ума.

Белая лошадь — дорогой подарок. Белая лошадь — счастье и радость. Белая лошадь самую добрую весть приносит...

На другой стороне реки белая лошадь стоит. На спине белой лошади стоит человек. В руках у него — красный флаг.

— Победа! Победа! — кричим мы. И всей деревней бежим на берег, к рокочущей реке.

— Победа! Победа! — кажется, выгорланивают гуси, высвистывают летящие утки.

И о том же где-то за озером лепечут лебеди. И вся оживающая природа лепечет, горланит, поет волшебную песню обновления, песню победы жизни!

Мы — красные. Потому над белой лошадью и развевается большое красное знамя. Вынес народ наш войну стоя. Потому и тот, кто принес праздник, стоит на спине белой лошади и крепко держит наше знамя. Один — за всех, все — за одного...

Хотя нас разделяет широкая весенняя река с рыхлым льдом на середине, с кипящими берегами, мы стоим словно рядом с ним и держим наше победное знамя. И хотя наша таежная деревушка далеко-далеко от «большой земли», мы чувствуем себя связанными со всем миром. У нас есть соседи. Они и поделились с нами радостной вестью о долгожданной победе.

Наше дело правое — мы победим! Это мы знали раньше. Когда недоедали — знали, когда добывали рыбу из-подо льда — знали, когда шли в бой — знали: наше дело правое — мы победим!

На песчаном берегу реки праздник. Мы пляшем Танец Победы. Мамы наши целуются, смеются, плачут. Деды наши вдруг словно помолодели, приподняли головы, как лоси рога. Мы кидаем кепки в голубое небо, брызжемся водою леденистой, как на празднике, когда зверя убивали.

Нет больше зверя! Гитлера больше нет! И мы дарим друг другу радость и о счастье мечтаем...

Прошло много лет с тех пор. Но каждый год Девятого мая в памяти моей выплывает белая лошадь, и человек на белой ее спине высоко держит развевающееся Знамя Победы!

И думается: не высечь ли из камня такой памятник, не поставить ли его на берегу той таежной реки?

Пришла настоящая весна. Прилетели утки. Весело-весело стало. Приехала мама с охоты и поставила ружье в угол. И я не свожу глаз с этого ружья. А в кармане у меня уже патроны лежат. Только вышла мама куда-то, я сразу хватаю ружье и — на улицу. Куда бегу? Подальше от любопытных глаз. За конный двор, на песчаный берег речки. Там на песке кулики бегают, по воде утки плавают. Шеи у них не вытянуты: не знают, что сегодня я иду не с луком и стрелами, а с настоящим ружьем.

Вот я уже целюсь в самую красивую утку. Она, наверное, самая вкусная. Левый глаз зажмурил, правым — ищу мушку. А руки дрожат, и ствол чуть покачивается, как талинка при слабом ветре.

А почему дрожат руки? Потому, может, что целюсь

в самую красивую? А может, пусть будет моей не эта, а другая, с красной головкой, с голубоватыми перьями? Самая красивая, наверное, самая жирная? А ствол опять покачивается. А может, всегда, когда убиваешь впервые, руки дрожат?

Но разве я об этом думал?

В то мгновение сердце мое плескалось веселой рыбкой. И душа моя замерла, когда сквозь пороховой дым я увидел свою жертву.

«Она моя! Я сильнее крылатых уток!» — искрилось в сознании.

— Вот и вырос сын,— скажет мама.

— Дождались охотника! — воскликнет дедушка.

— Подружишься с ружьем — не забудешь ли нас? — печально спросит бабушка.

И с уткой, заткнутой за шерстяной поясок, как настоящий охотник, шагаю домой. Гордый шагаю. С ружьем на плече шагаю. Пусть видят все, какой я охотник!

Нет еще и семи лет, а я большую утку убил.

«Жаль только, что отец не видит. Напрасно он уехал далеко от нас. Ничего! Пожалеет! Многих я еще убью!» — шагают мысли со мной.

Откуда мне было знать, что убивать — совсем не мое призвание...

В родной край я не приезжаю, а прилетаю. На крылатой лодке — самолете прилетаю. Мечта была у манси — осмотреть землю. Долго думали, как стать крылатыми, и однажды додумались. Кузнец выковал железного коня, семикрылого коня.

— Почему семикрылого? — удивится кто-то.

— О, семь — это волшебное число.

Но на этот раз волшебство семерки не помогло. Семикрылый конь валился набок, не мог летать. Подумал, подумал кузнец и выковал восьмое крыло. Восьмикрылый конь поднялся выше дымков островерхих чумов, рядом с облаками мчался.

В сказочных снах мансийцы были крылатыми.

Настало новое время. И мечты сбываются. Самолеты над тайгой летают. По-мансийски их крылатой лодкой называют.

«А почему не крылатым конем или крылатым оленем? — задумываюсь я.— Почему теперь самолет не кажется волшебным?»

И правда, сидишь, как в лодке. Облака — волны. Небо — море. Качнется волна — и лодка качнется и дальше по небесной сини плывет. Хорошая лодка! Хорошо плыть — лететь!

В аэропорту Тюмени — пересадка. И тут я встретил приятеля из нашей деревни. Он вчера видел моего отца.

— Здоров твой старик! — сказал он.— Собирался вчера на рыбалку. Это, наверное, сестренка над тобой подшутила. Озорница она у вас.

«Это ее проделки! — решил я.— Целых полгода не был у них. Соскучились, наверное. Вот и придумала...»

Снова летим, под нами тайга, озера, реки.

— Сколько леса! — удивился сосед.— И воды много... Наверно, болота. А в озерах, поди, много рыбы... А это что за море?

— Это Обь,— скажу я.

Он удивленно посмотрит на меня: точно я смеюсь над ним. И его смуглое неширокое лицо снова у окна.

И я смотрю на родные леса, озера, реки. Обь светится, кажется хрустальной. Плоты и теплоходы словно замерли в этом блеске. Плывут лишь редкие поселки.

— И где только не живут люди! — размышляет вслух мой сосед.

Наш АН-24 плывет по сини. Небо — как рыбий глаз: ни облачка.

— Удивительно, сколько солнца! Север — и солнце! Как-то не вяжется. Внизу, наверно, холодно.

Сосед в шерстяном свитере, в пиджаке, на коленях — плащ.

— А там купаются?

— Да,— киваю я.

— В ледяной воде?

Потом удивленно:

— И коровы... Значит, и молоко есть. А где же олени?

— Олени в горах, на Урале.

— А говорили, что здесь.

— К зиме спустятся с гор. Оленеводы каслают.

— Каслают? Что это такое? Шаманят?

— Нет, каслают — значит кочуют.

— А хорошо бы на олешках прокатиться!

...Олени мои, олени! Вы, как снежинки крылатые, летите, с ветром спорите. Но самолет — крылатый олень — быстрее вас скачет. Кони мои, кони! Вы, как искры крылатые, летите, и вас не догнать. Но самолет — крылатый конь — быстрее вас скачет. А сколько нужно было лун,

чтобы проехать край мой с юга на север? Ведь ни мало ни много, а тысяча верст. А сколько нужно было лун, чтобы проехать край мой с запада на восток? Ни мало ни много, а с седого Урала до Енисея протянулся округ на тысячу триста верст.

Много лун, наверно, надо было.

А сегодня за несколько часов из Ленинграда долетел до родного неба и даже недоволен такой скоростью. Хочется быстрее попасть туда, куда сердце уже улетело.

А может, мы уже избаловались?! Ведь совсем недавно на «аннушках» летали, и казалось — быстро. И на ЛИ-2 летали, казалось — быстро! А сейчас на АН-24 уже кажется: не летим, а плывем, как на медленной крылатой лодке.

А может, просто время наше такое крылатое и оно нам диктует свою скорость.

«Что быстрее быстрого?» — спрашивает северная загадка. «Самолет».— «А еще?» — «Ракета, космический корабль».

«Что быстрее быстрого? Не стрела, не ракета! — отвечает северная отгадка.— Быстрее быстрого — мысль!»

Летишь на крылатой лодке, любуешься землей. И вдруг сердце сжимается в комочек и, кажется, падает вниз. Там каждая протока шепчет сказки, навевает сны детства. В этом озере я ловил сетями сырка. А на том плесе убил первую утку.

Пори-посал — зовут эту протоку мансийцы. А в переводе — вспять текущая река. Странная река! То течет в одну сторону, то в другую. Когда на Оби большая вода — она течет к Сосьве, когда в Сосьве большая вода — она течет обратно, в Обь. Может быть, такие реки и есть в мире, но для меня она — единственная: на ее берегах я родился. А у этой излучины, в зеленовато-голубом бору,— могила моей матери.

А на том мысу с высоким белеющим обрывом — деревня Аргинтур. Там живет мой отец. Эх, знали бы вы, какой там пологий песчаный берег и какая теплая вода!

Сосед смотрит на меня пристально. О чем он думает?

— А где Пунга?

— Это там. в тайге, за Игримом. Недалеко...

Он вглядывается в горизонт, где синь неба сливается с сияющим лицом Сосьвы, с дымными глазами озер, с осе-

тровой спиной тайги. Все теперь знают Пунгу — там нашли богатые запасы природного газа.

— Недалеко! Я уже почувствовал ваше сибирское «недалеко»: час лети, два лети, семь лети!.. И все вам знакомые места, все родные....

Снова его лицо у окна.

В салоне самолета двадцать пассажиров. Напротив меня сидит Рыжая Борода. Это не имя. Я в уме его так прозвал. Наверное, геолог. Они такие бороды носят. Белокурая соседка заглядывает ему в лицо, расспрашивает о чем-то важном и любопытном. А слова у него, видно, дороже нефти, не фонтаны льет, а лишь слова-капельки роняет.

«А кто она?» — спрашиваю самого себя. И тут же отвечаю: «Может быть, учительница! Их ведь так ждут маленькие северяне! Может, врач — их ведь так ждут на Севере!»

Вот сидит девочка. У нее косички и полосатая куртка. Я еще такой куртки не видел. Модница? А может быть, просто она едет с родителями издалека, где одежда и нравы совсем другие. Со всех концов света сюда едут. А мальчик, сидящий на самом переднем кресле, что-то спрашивает у отца. Тот внимательно слушает и что-то разъясняет. Лицо у него обветренное, и, когда он молчит, кажется суровым. Руки большие, видно, сильные. А пальцы темные. Может, он строитель?

Города, газопроводы, железные дороги ждут строителей.

Земля моя, я хочу идти по тебе, как шли охотники! Пусть скрипят лыжи лосиным камусом и поет белый снег. Пусть лыжами будут и вертолеты, и самолеты.

Югра моя!

Мчусь я на железном олене. У него и ноги железные, и рога железные, и глаза железные. Мчусь я на железном олене по дорогам железным. Лишь одного хочу я: чтобы думы мои не стали железными.

Мчусь я на железном олене — не забыть бы мне звон копыт оленя с ветвистыми рогами! Коня не забыть бы мне! И еще — мечту об огне земли, которую лелеяла душа язычника:

Я мечтаю об огне,
Как о вздыбленном коне,
Как о скачущей удаче,
Кем-то посланной ко мне.

Раздуваю уголек,
Растопляю камелек.

И рублю, рублю дровишки.
Разгорайся, огонек!

То цветочки мне цветут,
То метели мне метут.
Но все время душу греет
Огонек и там, и тут.

Я за птицею — в полет.
Я за рыбами — под лед.
Резво прыгает удача —
Только в руки не идет.

Я за соболем — с ружьем.
Я забудусь тяжким сном.
Неужели я не справлюсь
С быстро скачущим конем?!

Вот и старость — на порог.
Прожил жизнь свою, как смог.
При прощанье на дороге
В гроб положат кремешок.

Там цветочки не цветут.
Там метели не метут.
Может, я хоть там сумею
Осветить всю темноту.

Но мороз мне тело жжет.
Частый дождичек сечет.
Я живой! — и во лесочке
Резвый конь зазывно ржет.

Я рублю, рублю дровишки,
Чтобы искру сохранить...

Я стал крылатым. Высоко лечу. Рядом с облаками и солнцем лечу. Время крылатое... Но неужели от этого счастья я ослепну, оглохну, стану бесчувственным?!

Неужели река безмолвно меня встретит и не подарит плеск свой живой? Неужели эти струи прозрачные могут стать жирными, липкими?! Неужели эти юркие рыбы лишь в загадках будут плескаться?!

Я знаю: будет новое утро. Знаю: однажды я снова проснусь. Но неужели все будет только в новой сказке?!

А может, и у старой сказки счастливый конец?!

6

Я припоминаю старую сказку.

Было в тайге много зверя. Больше деревьев было зверя. Больше ветвей было птицы. Смотришь: дерево стоит вы-

сокое. А пристальнее взглянешь — это стройный лось, красавец тайги стоит. Смотришь: коряга черная под деревом чернеет. Пристальнее взглянешь — сам царь тайги, медведь. А на каждой ветке кедра не пушистый мох, на каждой ветке — соболь. Там его пушистый мех золотится. И белки качаются на ветвях. Их — что кедровых шишек. А в таежной речке плавают бобры. Они строят хатки. И плотины даже строят. И в таежной речке появляется озеро. Его зеркальное лицо улыбается. А над озером бабочки летают. Их рыбы веселые хватают. Рыбы пляшут, резвятся. Кишит лесное озеро рыбами. Дышит лесное озеро. Живет.

А на опушке леса, на зеленой поляне,— глухариная свадьба.

А небо звенит, как струна многострунной мансийской арфы — лебедя. Вечное лебединое «курлы-курлы» плывет и плывет, не умолкая. А поднимутся утиные стаи в небо — солнце собой затмевают.

Много зверя в тайге, много рыбы в реке, много птицы в небе...

Радуются люди. Бьют птицу, бьют рыбу, бьют зверя.

Долго ли, коротко ли было так. Но однажды тайга дремучая будто помертвела. Сколько ни смотри: не оживет дерево, не взмахнет рогами, не помчится лосем. И коряга черная останется корягой. Увидишь пушистого соболя, подкрадешься ближе — мох пушистый на ветвях висит. А в таежной речке нет озер бобровых. И захламленная ветвями речка, как болото, дышит прелой гнилью. И где уж плескаться рыбам!..

Замолчало небо. Будто с многострунного лебедя сорвали самую звонкую и живую струну...

И люди присмирели... Обуял их страх. Великий страх. Задрожали люди, чуя свою смерть.

— Кто умертвил наш лес, увел зверя и птицу? — спрашивали они.

«Ха-ха-ха!» — смеялась сорока-белобока.

«Ха-ха-ха! — смеется она.— Лесной дух — Гнев тайги — вас наказал». (А сорока — птица особая. Она в грязной помойке копается. С любым человеком уживается. Лишь она одна из крылатых так может.)

«Ха-ха-ха! — смеется сорока.— Лесной дух вас наказал. Зверя били, птицу били, рыбу били. Много били. Радовались силе своей. Не думали. Вот и наказал вас Гнев тайги. Ха-ха-ха!.. Нет, мне не смешно. Боюсь и я вас. И до меня, пожалуй, доберетесь. Мое черное и грязное

мясо есть будете. Вы, люди, такие. На все способны! Боюсь вас. Ох-ох-ох!..»

Задумались люди: что же делать? Тронет горе — люди будто просыпаются. Коснется беда — люди словно прозревают. И глаза видят, и уши слышат, и душа оживает, и ум шевелиться начинает. А где же человек был раньше? Неужели он не видел и не думал?

Но среди людей был один человек. Звали его Тасманом. Однажды он шел по лесу. Вдруг в темной тайге раздался страшный рев. Это не гром гремел и не волк выл. Нет! Это не стон деревьев под вьюгой и не плач ребенка! Нет! Это ревел лось. От боли кричал, кого-то на помощь звал.

Не убежал Тасман подальше от горя. Не испугался он чьей-то злобной силы, которая зверствовала в лесу. Исполнил Тасман закон тайги: пошел спасать слабого, погибающего. И не случайно: ведь он был настоящим охотником. И видит Тасман между кедрами лося. А на спине лося — медведь. Острыми когтями шкуру на лосе рвет.

А как он на спину ему взобрался? Ведь лось высокий, стройный. И даже Хозяин тайги боится его ветвистых рогов, а угодит под удар копыта — и не встать ему больше. Но медведь хитрый. Он взобрался на кедр, под которым шла лосиная тропа. Притаился. Долго ждал медведь свою добычу. И дождался. Знал, что лось пойдет на водопой по этой тропинке. И когда тот проходил под ветвями кедра, медведь прыгнул на широкую спину таежного красавца...

Чуя кровь живую, радуясь добыче, счастливый зверь не заметил опасности. Тасман увидел несправедливость: один убивал другого. И он встал на защиту слабого. Потому что знал: убийцу надо усмирить. И натянул он лук старинный, и пустил старинную стрелу. С тех пор медведей стали убивать. Но мансиец не скажет: «Я убил медведя», а молвит: «Я низвел его». И не по имени медведя называют, а «в лесу живущим» величают.

Склонил лось величавую голову перед Тасманом, склонил он рога могучие и молвил по-человечьи:

— Спасибо! Ты человек!..

А на спине широкой — рана. И Тасман повел лечить лося в юрту свою лесную. Алыми струйками кровь лилась. И там, где лось проходил, где капли крови уронил, теперь ягода-брусника красными глазами каждое лето смотрит и каждое лето наливается новым соком. Вылечил Тасман лося. Поблагодарил лось Тасмана и спросил:

— Что для тебя сделать, человек?

— А вот соболь не играет, глухарь не поет, сырок не плещется, душа умирает... Как оживить душу, вернуть тайге и рекам жизнь?

— Садись на меня,— говорит лось,— ноги у меня длинные, крепкие, может, и доскачем до юрты Лесного духа — царя зверей, и птиц, и всего живого.

Сел Тасман на лося — и в дорогу. А дорога та была не короткая. Дремучие урманы встали на пути, высокие горы, топкие болота, широкие реки. Вьюга и слякоть не остановили Тасмана. Доехал он до царства Лесного духа. А царство это волшебное. Люди пройдут — и ничего не заметят. Обыкновенные сосны, может быть, только повыше обычного. Обыкновенные кедры, может, лишь чуть повет-вистей да постарше. Обыкновенные ели, может, лишь ветки ниже к земле мшистой тянутся. Обыкновенная тайга, может, лишь чуть-чуть таинственней...

А человек пройдет — чудо увидит. Не всякий человек. А лишь тот, в ком доброе сердце, мудрый ум, чистые руки. А у кого на руках хоть капля напрасной крови — не видать ему волшебного царства, где белки с соболями играют, где собаки с волками дружат, лоси и медведи не дерутся, в реках пляшут рыбы, а над таежными озерами день и ночь плывет лебединый лепет, не молкнет чаек звонкий смех, и гусиный гогот, и утиный свист.

На ветвях кедров узорчатыми чашечками висят рябчики, а на вершинах лиственниц неподвижными идолами глядят краснобровые глухари. И бобры плотины строят, выдры с гор катаются и так же, как в краю мансийском, в прозрачную таежную речку ныряют. Росомахи там не воруют, не рычат, не скалят зубы. Увидишь кустарник ветвистый, подойдешь поближе — оживет кустарник, зашагает кустарник ветвисторогим оленем. Увидишь корягу, черную корягу, подойдешь — и чудо свершится: перед тобой живой медведь. И он тебя не тронет. Как в старину улыбнется и восвояси зашагает.

Каких только зверей и рыб не увидел Тасман! И много их, как летом комаров, как зимой снега. А самого Лесного духа Тасман не увидел, а лишь услышал.

Дух есть дух. Тела у него нет. Прозрачно-голубоватой тенью подошел к старику Дух и молвил:

— Здравствуй, пришелец с далекой земли! Что тебя привело ко мне? Говори, я слушаю...

Золотую чашу дедов, чашу, из которой ели
Семь охотников мужчин, кто-то злобный утащил,
Горе, горе бедным манси! —

упав на колени, забормотал Тасман. Он молился от имени всех мансийцев, от всех рыбаков и охотников.

Верили духам древние люди. Думали, что все зависит от них. И в чашу верили. У кого эта чаша — тому и удача на промысле:

Если ты поймаешь вора, если ты вернешь нам чашу,
То тебя мы не забудем, будем мы тебе молиться —
Ночью, днем, зимой и летом —
Сколько будет мир стоять...
Коли жертвы ты захочешь, принесем тебе мы жертву
И последнего оленя, не жалея, мы заколем!

Зеленое эхо повторяло слова Тасмана и уносило их вдаль. Их шептали листья живых деревьев. Их повторяли струи звонких речек. А может, это птицы пели? Может, рычали медведи и сердились люди? Может, то юркий соболь мудро скалил зубы?! Может, трехсотлетний кедр думу думал? Может, это было, может, и нет. Только Тасман вдруг услышал:

— Человек! Ты не можешь жить без мяса, не знаешь счастья без рыбы. Знаю... Я верну тебе и зверей, если будешь хозяином на Земле, а не гостем... И еще скажу:

Человек!
Будь рыболовом с головой,
А если жаден ты и зол
И вовсе безголов,
Проткну тебя своим ножом —
Ножом из гневных слов.
Пускай ослабнут у тебя
Колени, хворый пес,
Чтоб не топтал траву, губя
Десятки птичьих гнезд.
Ты за спиной уродский горб
Почуешь на бегу,
Когда свирепый твой топор
Начнет кромсать тайгу.
Пусть примет на десять когтей
Башку твою медведь,
Когда муксуновых детей
Твоя наловит сеть,
И пусть, воздав тебе за злость,
Та молодь в рост пойдет
Внутри тебя — и рыбья кость
Насквозь тебя проткнет.
Будь рыболовом — с головой.
Охотником — с душой!

Слушал Тасман заклинания и чувствовал, как вслед словам слабли его колени, а на спине рос уродский горб, и медведи поднимали когти, готовясь схватить его, а в животе что-то росло. Неужели это молодая рыба, которую

ловили его сородичи, не дав ей вырасти?! Неужели кости этих рыб и вправду его проткнут?! Но ведь Тасман не виноват! Он ведь никогда не ловил молодь и понапрасну не бил зверей! Так почему же его наказывает Дух тайги?!

И вдруг лось заговорил человеческим голосом:

— Тасман спас меня. Он заживил мои смертельные раны. Вернул мне радость жизни... Не виноват Тасман!

В коленях Тасмана опять заструилось тепло: то возвращалась сила. Спина распрямлялась, медведи, стоявшие гурьбой под деревьями волшебными, опускали когтистые лапы... Вздохнул облегченно Тасман и опять услышал голос невидимого Духа тайги:

— Ты добрым был — тебе прощаю. Но знай, человек: ты за всех в ответе!

Семь раз эти слова повторил филин — волшебная птица. Еще семь повторила волшебная гагара. И эхо волшебное во все концы света разнесло вещие слова Духа тайги. Теперь все знали: Тасман — настоящий Человек. Теперь все знали: люди, оказывается, могут быть добрыми хозяевами. И опять Тасман услышал голос Духа:

— Люди, вы стелете сладкие молитвы. Но не за них я возвращаю вам птиц, зверей, рыб. А за то, что среди вас оказался Человек!

«Человек! Человек! Человек!» — кричал волшебный филин, ему вторила гагара, и разносило эхо: «Че-ло-век! Че-ло-век! Че-ло-век!»

Трещала тайга: это стада оленей и лосей зашагали на север, скакали соболи, летели белки. Шипела вода: это косяки рыб поплыли в родные реки и озера. Звенело небо: это летели стаи птиц в родную белую ночь, чтобы свить гнезда и вывести крылатых сыновей и дочерей.

Ехал на родину и Тасман. На вещем лосе ехал. В душе у него резвилось счастье. Но рядом с ним сидела глубокая дума: «А может ли человек быть Человеком?!»

Тайга моя! Разрисованная следами зверей, наполненная писком и пением птиц, ты так прекрасна! И я задумываюсь: нынче людям снятся города, космос, много говорят о нефти.

Но разве человечество забудет свое прошлое? Разве в наших потомках не шевельнется душа рыбака и охотника, брата природы?

Земля моя! Я хочу, чтоб твой снег был всегда искристым. Хочу слушать его хруст. И пусть дети и внуки мои играют в снежки.

Земля моя, верю, что в тайге всегда будут стоять твои

кедры могучие, не переведутся звери пушистые, птицы звонкоголосые, не иссякнут реки рыбные.

Вот что подслушал я у соболя:

Зажигает ветер ели
Диким пламенем весны.
Ни пожары, ни метели
Мне, красавцу, не страшны.
Много раз меня из лука
Убивали наповал —
Вопреки людской науке
Я, как в сказке, воскресал.
Иль на нефть меня сменяют,
Соболиный сгубят гон?
Но себе я цену знаю
На прилавках всех времен.
В мире мены-перемены:
То затменье, то заря.
Был я шубкою царевны,
Был я шапкою царя.
И Парижем был закуплен,
Щеголял я на Москве,
И сидел не раз на глупой
На боярской голове.
Был зверьком для жаркой ссоры,
Был подарком для любви,—
И за мной в леса и горы
Шли купцы на край земли.
Пусть за мной бегут пожары!
Я укроюсь от огня.
Только знайте: вздорожает
Шубка модная моя.

Земля моя... Тебя звали когда-то Югрой. «Дивное чудо нашли мы, о котором не слыхали раньше!» — восклицали древние новгородцы и по неведомым тропам старались проникнуть за каменный пояс — за Урал, где, им казалось, громоздятся горы золота и драгоценных каменьев, а соболи и белки пушистыми снежинками падают с бездонного неба.

Югра моя, каким нынче дивным чудом манишь ты людей? Земля моя! Ты помнишь, как мы поклонялись деревянному идолу Сорни-най — «Золотой бабе»?..

Время богов прошло. А время творцов настало? Кто же твои созидатели? Я хочу их понять.

Умирая, бабушка говорила:

— Закопайте меня в землю, но не забывайте обо мне Знайте, что душа моя хочет стать травой зеленой. Она во что бы то ни стало прорастет. Вспоминайте обо мне, когда лошадь щиплет траву. Вспоминайте обо мне, когда пойдете гулять по лугам. Мне будет приятно.

Умирая, дедушка говорил:

— Моя душа хочет стать камнем. Она переселится в тот большой камень, что за последним домом нашей деревни. В нем живут души моего деда и прадеда. Если хотите, приходите к нам, только без слез.

Предки мои были язычники. Они верили в переселение душ. Они уверены были, что нет на земле ни березки, ни травинки, ни камня, в которых бы не жила чья-либо душа. В детстве мы обходили стороной лиственницу, считалось, что в ней обитает злая душа.

Земля моя! Твои олени щиплют сочный ягель, и темные соболи резвятся на ветвях, мудрецами древними глядят на мир кедры, реки полноводные играют серебряными струями, рыбы юркие в струях звонких пляшут, а на небе синем белый-белый лебедь, как дитя, курлычет — не плачет, а поет.

Летишь на крылатой лодке, любуешься землей. И вдруг вздрагиваешь, сердце сжимается и, кажется, падает вниз. Там над обрывом стоит мой родной кедр. Наклонив трехсотлетнюю голову, стоит в глубоком раздумье мой кедр. Давно я под его могучей кроной не был, давно не сшибал с его ветвей смолистых шишек, чужие орехи щелкаю.

«Ко мне веками ходили за смолой душистой да за орехами сладкими,— слышу голос шелестящий.— Теперь вокруг меня с топорами ходят, вырубить норовят.

С молитвами ко мне ходили, с песнями, наслаждался я ими,— слышу голос его шелестящий.— Сегодня чаще слышу брань. Высоко летаешь, сын мой, далеко летаешь, сын мой, останови железную птицу, сын мой, походи вокруг, помолчи под моими ветвями, сын мой...»

А железная лодка несет меня дальше. Смогу ли я ее остановить? У нее строгий маршрут и расписание, как и у меня теперь.

— Найду, найду я время! — шепчу про себя кедру так, чтоб посторонние меня не слыхали.— Найду, найду время. И приду к тебе, как в детстве. Похожу вокруг тебя без топора острого, посижу под твоими могучими ветвями, но не с молитвой древней, а с глубокой думой. Пощелкаю орехи и скорлупки не разбросаю. В память о тебе уроню случайно орешек. И про себя скажу: «Расти, мой сын, расти!..»

7

— Ты говоришь мне: спой. Смогу ли теперь я петь? Голос мой стал скрипеть, как старый кедр,— вздыхает Солвал, глядя на берег Сосьвы, плывущий навстречу теплоходу. Солвал — так иногда зовут моего отца. Это наше родовое имя. Он говорит словно не мне, а соснам и кедрам, корнями, как руками, держащим берег мансийской реки, чтобы он не обваливался от озорных порывов ветра, от слез плаксивых туч, от радостных ручьев тающего снега. Будто эти вековые деревья только и могут его понять.

— Все сейчас поют. Большим стадом одну и ту же мелодию тянут. А настоящую песню один человек выводит. Поет так, как слезы льет, или смеется, как утреннее солнышко. И родятся слова, когда больно вот тут! — показывает Солвал на грудь пальцем.

Отец был вполне здоров и весел. Телеграмму придумала сестренка. Я встретил его на пути к теплоходу. Он собирался ехать в Игрим, чтобы посмотреть новый поселок газовиков. Решил поехать с ним и я. Хотелось послушать его мысли и думы.

— И у меня была когда-то песня. Своя, не колхозная. А пел ее весь колхоз, все мансийцы. Сейчас не могу. Старое дерево скрипит: из него уже не сделаешь звонкий санквалтап... Ты говоришь: рассказывай сказки. Неужели твоя голосистая машина,— с уважением кивает он в сторону моего магнитофона,— может запомнить легенды о каких-то чудовищах, зверях, сказочных людях, подземном царстве? А может ли она запомнить мою простую жизнь? И почему вы все, ученые люди, стараетесь записать эти узористые слова древних небылиц? Нет у меня сказки, нет у меня теперь и песни. Есть дума. Тяжелая дума о моей жизни, которую я прожил вот на этой реке.

И я таким был! — кивает он на ребятишек, веселых, как весенние оленята. Они не отрывают любопытных глаз от песчаного берега, где рыбаки тянут невод.— Пионеры. Смотреть родную Сосьву, наверное, едут. Сейчас всякие экскурсии для детей. Хорошо. А я вот пионером не был. Батраком зато был... По Сосьве бегают моторные лодки. Не скрипит усталое весло, не каменеют руки от тяжелой гребли. Теплоход возит людей, наш веселый «Шлеев». А тогда на греблях катали нашего хозяина. Хорошо еще, что была бечева. Окаменеют руки — ноги выручают. По берегу бежишь — и лодка плывет против течения. Даже бородатые старики были быстроногими. Голод шевелил людей — и

ноги становятся быстрее оленьих, и руки мастерами становятся. А всему хозяин — рот... Не бил хозяин. А было больно. Не ногам больно, не усталым рукам. А сердцу. Как вспомнишь — до сих пор корчишься, как рыба на снегу. О, жизнь, она — как крепкий чай. Напьешься — жарко станет. И добрый пот выступит. Хорошо... О, жизнь! Она бывает постылой, как мерзлая рыба. Наешься — кажется, и сыт, а холодно. Не чувствуешь сладостного тепла бытия. А жить хочется. Ой как хочется! Мне бы хотелось еще покрутить колесо. Как капитан «Шлеева». Двадцать лет стоит Черных у капитанского мостика, и никто его не меняет. А меня отправили на пенсию. Персональной ее назвали. А мне хочется, ой как хочется, еще порулить!..

О, да что это? Где твое колесо, Анатоль?! — обращается удивленный Солвал к добродушному капитану.

— Старик! Ты отстал. Колесо давно сменили,— с улыбкой говорит капитан «Шлеева», который, наверно, знает наперечет всех мансийцев.— Электричество вертит руль, а не руки. От старого «Шлеева» только название осталось. Теплоход теперь это, а не пароход. И скорость другая. Нельзя в новой жизни плыть старой скоростью. И руль сменили...

— О, как меняется жизнь! — вздыхает Солвал-ойка.— Глазам своим не веришь. Словно опять колдуны появились. Правда, новые колдуны. Посмотрите: каким стал Игрим! Не было такого Игрима даже четыре года назад. У этих полуобвалившихся домов висели сети. Вода журчала — не слышно было жужжания машин. Пахло рыбой, а не бензином. Птицы в небе летали, а не самолеты. И сколько домов понастроили за эти четыре года! Никогда еще мансийцы не имели столько теплых домов. И высокие какие — выше кедров древних. Выше лиственниц буровые вышки. И где моя тайга, в которой я когда-то охотился, чтобы наполнить сундуки Яныг-пуки соболями да белками? Леса нет — дома стоят. Хорошо ли, плохо ли — не ведаю. А то, что сын у меня там на газопромысле работает,— хорошо! Много денег получает. Был я председателем, начальником был — столько не получал. Простой рабочий получает. Не совсем я это понимаю. Видно, теперь рабочий — большой человек. От него зависит, видно, многое, раз его так ценят. А я думал: только начальник — большой, нужный человек. Времена меняются — и думы тоже.

У него была своя история, своя тэрни-эри [1], так не похожая на мою.

---

[1] Тэрни-эри — героическая песнь жизни.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Когда мир был сказкой

За шкурой ветхого чума визжала вьюга. Деревья скрипели, будто стонали. Сквозь щели пробивался в чум снег. Белым назойливым зверьком он полз к огню, который еле-еле горел посреди неуютного жилища. Головка зверька таяла, но ноги его ползли дальше. Вырастала новая голова. Струи тепла и ее слизывали. Но следующая голова звериная была уже ближе прежней. А за ней следом носились белые духи мороза. Они вились над снегом, плясали, кружились. То раскрывали жадные рты, то вдруг таяли. И женщине, лежащей на шкуре, казалось, что они исчезали, когда кричал ее только что родившийся сын. «Они боятся его! — думала она в какой-то волшебной полудреме.— Вон какой у него голос! Он им покажет!»

Она стонала от боли, но улыбалась сыну.

«Он волшебник! — думала она.— Маленькие все волшебники. Пока нет у них зубов, они могут то, что великий шаман не сможет. О будущем могут предсказывать... А какое у него будет будущее?!»

На старой потертой шкуре, где лежали она и ребенок, проступили кристаллики инея. С каждым часом их становилось больше. Но никто почему-то не шел к ним из дома. «Наверное, все уснули,— решила она.— Уморились. Уж слишком долго не было родов. И им, наверно, показалось, что они мешают мне родить. Духов ведь не поймешь, когда и что хотят они... Может, в Верхнем мире решили, чтобы сын мой родился в присутствии только духов, а не людей?!

И ему, наверно, предназначена великая судьба! Великим шаманом, наверное, он будет! Вон какой у него звучный голос! Нежней птиц поет, громче лося ревет, вьюга даже замолкает!»

А в большом рубленом доме, который стоял тут же рядом, знали, что родился ребенок, да не шли, чтоб не отпугнуть счастье.

«Пусть подольше поговорит с духами, пусть наладит с ними отношения,— сказал отец.— Может, судьба будет у него другая, чем наша... И норов мороза пусть узнает. Жизнь не сахар. Пусть заметит это сразу...»

Таким был обычай. Человек рождаться должен был не в доме, а в маленьком шалаше или в чуме. Потом эту постель уносили в чащу леса, считали ее священной. Ветер ее проветривал, дождь мыл. И тогда никто больше не мог

знать тайну: какой человек когда родился, какие беседы велись между новорожденным и духами, какая дума ими задумана.

Долго ли, коротко ли был малыш в своем священном гнезде, и вот за ним пришли. Взяли его на руки и понесли. Сначала свистел ветер, как великан, потом теплом повеяло, людьми запахло.

А где люди — там и слезы: лишний рот появился. А где люди — там и улыбка надежды: может, все хорошее с него начнется!

А где люди — там пир: какой человек не любит смеяться, есть и пить. И режут последнего оленя в честь нового человека. Пусть знают духи, что люди не так уж пали!

Пусть духи насладятся кровью, к дымку ароматного мяса пусть слетятся. Но и люди попросят их, высокомерных духов, исполнить свои обязанности: пусть защищают мальчика от злых духов — болезней коварных, и пусть рыба в ловушки плывет, и зверь далеко не уходит, а главное — хорошая судьба...

Зарезали последнего оленя. Пировали. На миг пришло счастье сытости, а потом вернулся голод. Кору варили. Шкуры старые варили. Без соли варили. Прозвали год этот смертельным, нарекли соленым. Не было соли. Мечтали о ней как о здоровье, о счастье... И новорожденному дали прозвище Солвал. И правда, оказался соленым: мороз и голод вынес и судьбу крутую осилил. Судьба потом сложилась. А пока он лежал в берестяной люльке со связанными руками, плакал и рос.

Растет северный мальчик быстрее кедра. Глаза — два сияющих озера — плещутся, до краев наполнены живым удивлением.

Руки — два бобра-мастера — мастерят с ранней зорьки и лук тугой со стрелами, и весло с узорами, и гимгу для ловли рыб.

Ноги — два оленя — несут его подальше от родного дома. Там, на берегу зеленом, камешки кидает другой такой же мальчик. И вода стреляет, и слова звенят, и мир загадочный в звуках раскрывается.

— Что находится под подбородком? — спрашивает один другого.

— Крыльцо дома.

— Что над крыльцом дома есть?

— Дверь.

— Что над дверью?

— Дерево лежащее.

— Что над деревом?
— Два озера с живой, сияющей водой.
— А над озером что?
— Над озером высится белолобая гора.
— А что на белолобой горе?
— На горе дремучая тайга раскинулась.
— А под тайгой что?
— Под дремучей тайгой два чутких слушателя сидят. Вслушиваются они в мир и хотят все понять.
— Это лицо, рот, глаза, уши,— говорит один.
— А где жилище загадок? — спрашивает другой.
— В голове!
— А что важнее: голова или сердце?!

И одна за другой загадки выплывают. А мир еще таинственней становится.

Солвал поднимает с земли стрелу с жестяным наконечником, прячет скорей за спиной со словами:

— Дружок! Что за спиной держу я?
— Дружок! За спиной у тебя железный город.
— А выше железного города что?
— Выше железного города — деревянный.
— А выше деревянного что?
— Крылатый город.
— А выше крылатого города что находится?
— Там — просека, по которой из озера в озеро летят утки-гуси, не поднимаясь над лесом.
— А по обеим сторонам просеки что находится?
— Два ушка бурундука торчат.

Ох, эти ушки. Хорошие ушки. Подцепишь на гладкую тетиву лука — не скользит стрела. Натянешь тетиву, отпустишь тетиву — стрела запоет. Миг — и бурундук у ног лежит. А шкура бурундука ой какая красивая!

Берет мальчик лук и целится в густую зелень кедра, и с пушистой ветки падает настоящий бурундук. Он был резвым и красивым. Плясал на ветках, шубкой полосатой перед мальчишкой хвалился. И смеялся с высоты над его худенькой одежонкой, сшитой из шершавой налимьей кожи. Солвал наказал его. Он теперь не мальчик. Он — охотник меткий.

А на «Медвежьем празднике» [1] в охотника играл Солвал. В доме большом было много народа. Все сидели и смотрели. И голова медвежья, что на столе сидела, кажется,

[1] «Медвежий праздник» — ритуальное игрище охотников по случаю охоты на медведя.

тоже за каждым шагом и словом его следила. Санквалтап звенел струнами — будто снег похрустывал; колотушка стучала — будто охотники стреляли из лука, копьями зверя кололи; бубен гремел — будто зверь ревел. И три брата, три охотника шли на медведя.

Вот они пришли к берлоге. Медведь черной стрелой вылетел из нее. Старших братьев как не было. Убежали. И медведь удрал.

Идет мальчик по лесу и думает: «Нож мой тупой. Надо бы его поточить!»

Достает точило. Точит лезвие ножа и напевает:

Кавк! Кивк!
Точись, мой нож!
Кок! Кок!
Точись мой нож!
Братья мои
За зверем бегут,
Звериный живот
Мне б распороть!
Печень медвежью
Мне бы съесть!
Кавк! Кивк!
Точись, мой нож!
Кок! Кок!
Точись! Точись!

Поточив, пошел дальше. Три смолистых, сосновых урмана отшагал. В одном месте срубил дерево. Из него длиной в две сажени копье для себя сделал. Выстругал копье и для среднего брата, в полторы сажени оказалось оно. А для старшего брата смастерил копье величиною лишь в одну сажень. Взял их и тронулся дальше.

В одном месте увидел березовую гриву. Белоствольные деревья стоят, будто красуются. Снял с березы бересту, чашечку берестяную сделал. Чумиком она называется и в песне так воспевается:

Чашечка моя,
Сивр! Сивр! Сивр!
Чашечка моя,
Щовр! Щовр! Щовр!
Кровью звериной
Тебя наполню!
Салом медвежьим
Тебя наполню!
Сивр! Сивр! Сивр!
Готовься быть полной!
Щовр! Щовр! Щовр!

Опять идет дальше, мерит ногами тайгу. В одном месте на середине высокого дерева лохмотья моха заметил. Обрадовался:

— О! Неспроста висит мох на широком стволе дерева,— воскликнул он.— Гнездо звериное там! Есть куда лететь моему копью! И нож мой поработает! И печенью нежной полакомлюсь!

Прошел немного и видит: братья на пнях сидят.

— Ну, где же ваш зверь? — спрашивает он их.

— Ты же изломал звериный след, запутал.

— Звериного следа я не касался.

— А что же так долго делал?!

— Я выстругал три копья, чтобы зверя насквозь пронзить.

И раздает братьям копья. Самое длинное себе оставляет. Показывает им и берестяную чашечку с узорами.

— А это что такое? — удивляются те.

— Это чашечка, берестяной чумик. Не видите, что ли?! Вы убьете медведя. В эту берестяную чашечку я солью жир его, буду лакомиться...

— Что ты, что ты раньше времени?! Услышит он, снимет с хвастливой головы шкуру! Прикуси язык!..

Санквалтап звенел струнами — будто снег похрустывал; колотушка стучала — будто охотники стреляли из лука, зверя копьями кололи; бубен гремел — будто зверь ревел.

Зрители были довольны: хорошо маленький Солвал разыграл хвастливого охотника. Кем же он сам будет?!

Трещит ли лучина в полутемной комнате в длинный зимний вечер, белая ли ночь плывет над тихой таежной деревней — в любое время мальчишек волнуют загадки жизни:

— Синичка, синичка! На что похож твой острый носик?

— Мой носик — острая пешня, которой долбят лед.

— Синичка, а крылья — что?

— Крылья — две метлы, чтоб избу подметать.

— Синичка, а кишки для чего?

— Кишки мои — тынзян [1], которым поймаешь оленей.

— А лапки — что?

— Лапки — ножки избушки лесной, где хранятся припасы охотника. Далеко пойдешь — заблудишься, избушку эту встретишь: там спички найдешь, сухари найдешь, кусок сушеного мяса найдешь, жизнь продолжишь.

Вот для чего я, синичка, живу! Вот для чего с утра до ночи летаю, пою!

---

[1] Тынзян — ремень, веревка из кожи для ловли оленей.

«А что такое жизнь! Для чего люди живут?» — задумывается маленький Солвал.

Ему семь лет. Но он уже давно ездит с отцом на рыбалку. На носу калданки сидит он. А руки его — два бобра — покоя не знают. Они летают, весело летают. А вода стреляет, и лодка плывет. Доволен даже отец...

Однажды, когда было тихо-тихо и плес улыбался серебряной улыбкой, они поймали большого осетра. Спина у него скалами зубчатыми громоздится, нос — стрелой, а голова жилищем таинственным кажется. Какие мысли там живут? Почему глаза осетра так задумчиво смотрят? О рыбьем царстве или о земной жизни думает осетр?

Мальчик помнит глаза маленьких братишек и сестренок. Они с такой надеждой смотрели, провожая рыбаков. Знали они: сели старшие в лодку — дома рыба будет, вкусно будет! Ой, как вкусно! Помнит Солвал голодные глаза братишек и сестренок! И вот осетр пойман. Счастье теперь в лодке. Улыбаться будут глаза братишек и сестренок. И осетр смотрит. И у него глаза...

— Домой сегодня не поедем,— говорит отец.— Будем еще ловить. Потом в Березово поедем. Там муку купим. В последний раз купец смотрел хорошо...

Опять легкая калданка замирает на спокойной глади реки. Опять отец берет калдан и тихо-тихо, словно совершая какой-то священный обряд, опускает снасть в воду.

А калдан этот такой: на шест с камнем сеть в виде мешка нанизана. Опускают этот калдан на дно реки, по течению плывут. Зайдет в него осетр — дернет ниточку, что на палец нанизана. Целый день, бывало, плаваешь по реке, десятки раз поднимаешься по течению, но не оживет волшебная ниточка, пока не зайдет в калдан сам осетр — царь рыб.

Поймаешь осетра — опять забота. Куда его сдать?! Не было тогда плашкоутов, которые теперь в каждом угодье стоят, рыбу принимают. Везешь этого осетра до самого Березова. А это порой за сотни километров от места лова. Приезжаешь — идешь к купцу. Предлагаешь ему купить.

И на этот раз было то же самое. На многих плесах опускали калдан свой. Хорошо, что стояла тишь. Лодку не качало, но и ниточку не дергало. Лишь один раз еще улыбнулось счастье. Еще одного осетра поймали.

К утру следующего дня они подъезжали к Березову Маленький Солвал никогда в городе не был. А слыхал о нем много. Березово казалось ему большущим городом И правда: домов много-много. Может, целых сто, а может,

и еще больше. Выше всех — два сверкающих чума. В лучах утреннего солнца золотом сверкают их островерхие шапки.

«Это, наверно, тот самый священный дом, в котором моют священной водой, дают новое имя, а главное, дарят рубашку»,— не отводя глаз от горящих золотом куполов, думает Солвал.

...Березово. По-мансийски: Халь-ус. Это значит: березовый город, город в березах.

На трех больших, обрывистых холмах, на которых стояли дома с зеркальными окнами, мальчик берез не увидел. Лишь лиственницы да кедры по берегу стояли. Как воины из мансийской сказки, как идолы на священном месте жертвоприношений. На том мысу, где стоят лиственницы и сверкают купола церкви, есть дерево с тремя руками. Мальчик о нем много слыхал. В дупло этого дерева любой проходящий манси и ханты кинет монету или кольцо, шкуру или хрустальный камешек. У этого дерева в старину, когда не было здесь попа в высокой шапке и с крестом на груди, были великие жертвоприношения.

А теперь здесь церковь. Поп хозяин, а не шаман. Но после церкви все равно манси и ханты идут к этому дереву и говорят другие слова, свои слова. Как ни мудр поп, он ничего в мансийском языке не понимает.

...Калданка уткнулась в травянистый берег. К лодке подходит какой-то незнакомец. Маленький Солвал еще не видел людей в такой одежде. Незнакомец толстый, как медведь. Лицо красное, жирное. А говорит на ломаном мансийском языке.

— Пася, рума! Пася! Пася! — здоровается он.— Здравствуй, друг! Здравствуй! Долго же тебя не было.

— Рыпи мала. И торока корот нет! — оправдывается отец.

Рыбы мало — нет и дороги в город. Всем это известно. Потому и отец не ездил в богатый город.

Здоровались хорошо! Навек это запомнил Солвал.

Торговались плохо! И это он навек запомнил.

Приказчика купца потом много раз видел мальчик. Но только первая встреча осталась в памяти.

Он подошел к лодке, нагнулся, раздвинул зеленую траву, которой были прикрыты два осетра. Взгляд его водянистых глаз не менялся. Он не воскликнул от удивления, как манси при любой добыче. Он посмотрел холодно, повертел осетра с боку на бок. Помял: нет ли в нем икры. В жабры заглянул. Чмокнул губами, изрек наконец:

— Нет! Этого не возьму!

— А другого?

— Тоже! Не икряный... А солить — куда больше. Баржи полны рыбой. Смотри,— кивает он на берег, где один к другому слепились почерневшие от времени склады.

По берегу пологому чаны и бочки стоят. А на воде баржи. Там копошатся люди. Что-то носят на носилках тяжелых.

— Видите, баржи какие полные. Да и рыба соленая — как дерево. Не тот у нее вкус. А вот икорка нужна была бы. Привози в следующий раз осетра с икрой! Сразу возьму! — ободряет приказчик отца.

Пока он дергал осетра — рыба сдохла. Сдохнет рыба — гнить начинает. Кому тогда она нужна будет!

— Возьмите, пожалуйста! — взмолился отец, увидев, что приказчик собирается уходить.

— Если за пятнадцать копеек — возьму!

Мрачнеет отец: видно, цену деньгам знает. И все равно соглашается. Звенят монеты. Приказчик отдает их с какой-то таинственной важностью, будто делает великое одолжение. Улов продан. Торг состоялся. Что делать теперь?

У каждого века свои законы и обычаи. Неписаный закон того времени повелевал им следовать в церковь.

«У, какой высокий небесный чум у русского бога!» — думает маленький Солвал, глядя на церковь, которая, кажется, сама плывет навстречу двум усталым рыбакам.

— У, какой белый и сияющий! И звонкий какой!

Нет! Это не олени мчались, позванивая веселыми бубенчиками. И не таежная речка играла камнями, и не ветер свистел, качая сосны, а будто синее небо щелкало синим языком, и над сияющим крестом, над красными крышами домов, над маревом спокойной Сосьвы плыла какая-то волшебная музыка.

Нет! Невидимый музыкант играл не на санквалтапе, и даже не на многострунном лебеде. Звон струн у них не такой. Солвал знает их голоса. И на удары бубна не похоже было. «А может, над городом, где живут богатые русские, духи великие летают! — думал Солвал, дрожа от удивления и страха.— Сильные духи, голосистые. Таких у манси нет!»

Синий дух все щелкает и щелкает звучным языком, и синие звуки торжественно и медленно плывут, проникая в душу и сердце мальчика. Пристально наблюдают за ним ледяные глаза плоских и незнакомых богов, но Солвал старается делать не так, как они хотят, а как дед наставлял и мать на дорогу шептала.

Он не плакал, когда его с какой-то девочкой купали в бочке со священной водой. Потом надели на Солвала новую рубашку. Тело его не чувствовало еще такой мягкой и нежной ткани. Налимья-то шкура шершавая.

«Хорошее это платье! Очень хорошее!» — подумал мальчик, но виду не подал. Даже не улыбнулся.

Новое имя Солвалу тоже понравилось.

— Миколка! Хорошее имя! — сказал важно отец.— Счастливое имя. Не каждому его дают. Кому оно достанется — тому счастье улыбнется.

Много плоских богов смотрит со стены, только Солвал наблюдает за указательным пальцем отца (уговор был такой). Вот палец сделал волшебное движение, и Солвал в такт отцу стал кланяться этому духу. Теперь он знал, что это свой, мансийский бог. Поп думает, что Солвал крестится и молится его богу. Нет! Он ошибается.

Солвал думает в этот миг о высоких деревьях, шумящих зеленой листвой, он солнцу молится, чтоб оно светило, реке глубокой дарит поклоны, чтоб та тоже была щедрой.

Выйдя из церкви, отец с сыном пойдут к священному мысу, где среди высоких лиственниц стоит священное дерево манси. Бросят ему монеты. И дерево вздрогнет, шевельнет ветвями, улыбнется удали и хитрости манси, над глупым попом посмеется. Но, услышав колокольный звон и увидев растревоженную душу мальчика, оно нахмурит зеленые брови и опять замрет, становясь неприметным среди других лиственниц.

А синее небо щелкает синим языком, синие звуки торжественно и медленно плывут над сияющим крестом, над красными крышами, над Сосьвой широкой, над тайгой зеленой. И сердце мальчика трепещет, как бурундук в цепких руках охотника. В языческой душе мальчика сегодня что-то произошло. Неужели так волшебен колокольный звон?!

— Что есть в городе уездном?

— Магазины есть в городе.

— А еще что?

— Кабак веселый есть. Там вино пьют, в карты играют.

— Куда идет рыбак после священного дома?

— В веселый дом идет рыбак, забыться хочет охотник.

В кабаке — как в дымном чулане. Люди — как веселые тени. И улыбаются они здесь не так, как на улице. Разговаривают совсем не так, как у костра во время весенней охоты. Нет, они здесь не пляшут. Но ходят, как пляшут. Говорят, как кричат. Смеются, как гогочут. Пьют...

О, как там пьют! Словно совершают какое-то волшебное таинство. Прозрачную огненную воду разливают по капелькам, как серебро делят. Кто больше выпил — тот и могущественнее и богаче чувствует себя.

И отец Солвала в кабаке стал совсем другим. Выпил стакан огненной воды, выпил другой, и будто его подменили. Веселым стал, как тетерев на весеннем току. Болтливым стал, как сорока на помойке, куда только что вылили остатки хорошей еды. Богатым стал, как приказчик купца. Монетами звенел, будто у него их целый мешок. В карты играли люди — он к ним подсел. Посреди стола положил свою монету.

Те ему карты в руки дали. Совсем довольным стал отец. Совсем веселым стал.

Говорили за тем веселым столом на мансийском языке. Очки считали на мансийском языке. Монеты считали тоже на мансийском языке. И в карты играли за тем столом манси. Только разные манси в карты веселые играли. Один был тонкий и костлявый, как засохшее дерево. Другой — толстый и жирный, как осенний налим. Он серебряные монеты на середину стола бросал, а иногда и золотые важно ставил.

Его, этого жирного, Солвал раз видел. Он приезжал в их деревню, нанимал себе работников. Богатый этот манси — все у него есть. И коровы, и лошади, и невода, и много лодок. Когда мороз играет и холод по земле бродит — он не варит кости, а хлебом питается, как русские. Кто у него в батраках — тот в голодную зиму выживает. Так говорят манси между собой.

Играет в карты и налимьими глазами на Солвала поглядывает.

— Хороший мальчик растет у тебя! — говорит он отцу.— Хорошего работника из него можно сделать. Да ведь ты пропьешь его!

— Мальчик не вино, не вода огненная. Как его можно пропить?!

— А вот ты, разгильдяй, пропьешь! И работника из него не сделаешь! Я по-родственному тебе говорю!..

Солвал слыхал еще дома, много раз слыхал, что этот жирный для них не чужой человек. Он какой-то родственник. И поэтому часто приезжал в деревню, распоряжался, брал кого и что ему нужно было и уезжал. Его все слушались, никто против него слова не мог вымолвить.

Один раз отец оказался счастливым. На столе лежала куча монет. Целая куча. Большая куча. Что-то случилось

такое, что его костлявые руки вдруг ожили и к деньгам потянулись. Звенели монеты, шумели, как пьяные, и в кармане в один миг оказались. А глаза у отца в тот момент горели каким-то совсем непонятным огнем. То ли счастливым, то ли шальным огнем пылали они.

Потом опять летали карты, звенели стаканы, и монеты журчали. Но теперь они уходили от отца.

Горели глаза у жирного. У других игроков глаза тускнели. Все возвращалось к нему, к Яныг-пуки. И он спокойно убирал со стола деньги, не так, как отец или другие игроки.

Наконец у отца не осталось ни копейки. Глаза его забегали, как шальные олени, одичавшие без хозяина. Руки его пошарили по карманам, а потом к сыну потянулись.

— Вот я его на кон ставлю,— выпалил отец.

И снова началась игра.

Ничего не понял тогда Солвал. Лишь потом понял, что его проиграли в карты.

И он теперь был в руках у Яныг-пуки. Яныг-пуки теперь его хозяин.

— Я его воспитаю. Сделаю из него человека,— сказал Яныг-пуки.— И это я делаю для тебя, как твой родственник, а не как купец. Вот тебе еще!..

Он сунул в карман отца красненькую бумажку!

— Сын твой отработает. А это детишкам твоим на хлеб! — сказал важно Яныг-пуки и повел мальчика к своей лодке, где ждали его гребцы.

В доме Яныг-пуки было много людей и собак. Счастливыми были только собаки. Не потому, что Яныг-пуки к ним относился лучше. Нет! Собаки просто не умели говорить и плакать. И еще у них зубы острее, чем у людей, и ноги быстрее. Их не просто обидеть.

Замахнется Яныг-пуки на какую-нибудь из них хворостинкой — собака зубы оскалит, зарычит. Разве простой человек осмелится оскалить зубы на хозяина?! А собаки могут. Они могут убежать даже в лес или в другую деревню.

А Солвал не смог убежать. Пытался не раз — да по дороге настигали. Долго потом горела спина от хворостины. Не сладко на земле людям. Собакам лучше. Их поутру только на охоту водят. А Солвала дрова таскать заставляют. Только засияет утренняя звезда — а он уже на ногах. Растопляет чувал [1]. Потом идет к речке, прорубь пешней тяже-

---

[1] Чувал — полукостер-полупечь, сплетенная из соломы с глиной.

лой долбит. А лед там как каменный. Долго надо долбить. Руки каменеют. Пальцы от мороза горят.

А потом ведет на водопой лошадей. Это забавно. На спине самого быстрого скакуна скачет Солвал. Остальных подгоняет. Фыркают лошади, по очереди пьют. Долго пьют, а Солвал, как богатырь из мансийской сказки, на коне сидит и командует лошадьми. Хорошо командовать. Плохо самому воду ледяную таскать. Ведра на глазах леденеют. Тяжелыми становятся. А воду домой везти надо. Хорошо, что собаки есть.

Солвал додумался: запряг в нарты собак. Бочонок на нарты поставил. И не надо было уже тащить самому — собаки нарту тащили. И вода домой приходила, как в сказке. «Хорошо быть и человеком! — решил маленький Солвал.— Собакой не всегда хорошо быть!..»

Только летом собакам лучше. Ничего они не делают, по берегу слоняются и не всякую рыбу едят. Жиреют они летом, важными становятся.

А Солвалу в летнюю пору даже некогда спать. В речке рыба плещется. Рыбаки невода закидывают. Солвал не последний среди них. Он тяжелые кибасья в воду бросает. Потом, когда лодка в берег уткнется и все начнут тянуть невод, он мокрый канат складывает кругами, вычерпывает воду, убирает рыбу, застрявшую в ячеях, нагружает невод. И так целый день.

И так целое лето. Собакам хорошо. Они летом на охоту не ходят. По берегу слоняются. Жиреют...

И все же человеком быть лучше. Собаки не знают сказок. Они никогда не слушали и не мечтали ни о чем. А Солвал много сказок слышал от бабушки, которая живет под горой в самой маленькой избушке.

Наступит долгий зимний вечер. Закружит вьюга, затрещат деревья. Солвал бежит к избушке и под треск смолистых сучьев в чувале слушает волшебные истории про волшебную жизнь. А больше всего Солвал любит сказки об Эква-пыгрисе.

Эква-пыгрись. Это обыкновенный мальчик из мансийской сказки.

У него нет ни отца, ни матери. Живет Эква-пыгрись с бабушкой в глухой тайге. Там, рядом с их избушкой, нет других домов. Стоят только кедры, ели, лиственницы. Высокие деревья. Летом они пахнут смолой, а зимой — снегом. Сквозь густые зеленые лапы елей синеет кусочек неба: так много на них хвои.

Рядом с избушкой бежит-звенит, играя камушками, узенькая таежная речка.

На снегу — следы.

«Какого это зверя следы? — думает Эква-пыгрись, рассматривая их.— Наверное, большого — вон какие крупные. А что, если какого-нибудь зверька поймать? Спрошу-ка я у бабушки, как это сделать. Она долго жила — наверное, знает».

И спросил.

— Научу я тебя, внучек, научу,— сказала бабушка.— Будешь ты сильным, смелым охотником.

И научила. Из жил оленя сделала петли. Рассказала, как их поставить: на Севере бабушки знают все охотничьи тайны.

Поставил Эква-пыгрись петли. Целый день не сводил с них глаз. Звери ходят мимо. Слева и справа оставляют следы. Смеются...

Загоревал Эква-пыгрись, ушел в избушку, спать лег. Утром смотрит: в петле рыжевато-черный зверь шевелится. Шерсть длинная, как у пушистой собаки. Скалит зубы, рычит. Испугался Эква-пыгрись, хотел убежать домой, да вспомнил, что собирался стать охотником. Стыдно ему стало. А зверь тянется к мальчику, глазами сверкает.

«Что бы сделал охотник? — думает Эква-пыгрись.— Может, зверя палкой пристукнуть?»

Стал искать палку. Нашел подходящий сук. Стукнул зверя раз — тот еще злее зарычал. Стукнул другой — еще сильнее зверь забился. Может, пожалеть его — и он будет добрым? Хотел погладить, а тот как бросился на Эква-пыгрися, как зарычит. Чуть не укусил.

«И вправду, оказывается, звери злые»,— думает Эква-пыгрись. Собрал все свои силы и ударил его сильнее прежнего. Зверь упал... Еле-еле взвалил Эква-пыгрись его на плечо и понес к избушке.

— Как звать этого лохматого? — спросил он удивленную бабушку.— Не росомаха ли?

— Отгадал ты, внучек. Росомаха это. Тулмах. Это значит: хитрый, злой вор. Как это он тебя не укусил? Видно, ты настоящий охотник.

С этого дня Эква-пыгрись каждое утро стал носить домой зверей. То принесет добычу в огненно-рыжей шубе. Это лисица — красный зверь. То в голубой — песца. Это голубой зверь. То принесет он добычу в шубе темной, как ночь. Соболя принесет. Это черный зверь. Шкура у него самая дорогая.

Настоящим охотником стал Эква-пыгрись, смелым, ловким. Однако бабушка не разрешала мальчику уходить далеко от избушки. Все время учила внука, говорила:

— Выйдешь на опушку, далеко не ходи. Там менквы-людоеды живут. Поймают тебя, съедят.

Но однажды он все же решил посмотреть мир. Идет, озирается вокруг, удивляется. Лиственницы словно выше стали, а кедры в своих зеленых кудрях прячут даже золотое солнце. Боязно ему, но так хочется узнать: что же там, дальше. И ноги сами шагают вперед.

Вдруг Эква-пыгрись замечает: среди самых высоких деревьев, в самом густом лесу стоит дом из толстых-претолстых бревен.

Страшно ему, а узнать, чей дом, хочется.

Вошел в дом. На нарах, на постели из шкур черных и красных зверей, сидит кто-то темный, большой.

Маленькое, как сосновая шишка, сердце мальчика дрогнуло. Но Эква-пыгрись сказал себе: «Если ты решил узнать, что делается на свете,— не одно существо к тебе еще навстречу выйдет. Если вернешься назад — никогда ничего не узнаешь».

«Это, наверное, менкв? — подумал он.— О нем рассказывала бабушка».

А менкв сидит, не шелохнется. Как пень сидит.

Эква-пыгрись у двери стоит. Он тоже осторожен. Прячет в груди стук сердца, в кулаке свое дыхание прячет. Мало ли, много ли стоял, вдруг менкв зашевелился, на нарах покопошился, и в руках у него оказался пятиструнный санквалтап. Тронул менкв струны крючковатыми пальцами — будто ветер заплясал среди осин, словно вода зажурчала среди тающих снегов. Из морщинистых уст старика крылатыми птицами полетели слова, крылатой рыбой песня поплыла:

Тэнгыль, тонгыль...
Пятилетний олень-красавец!
Где бы ни стучали
Твои звонкие копыта,
Пусть тебя приподнимет
Крылатый зверь,
Пусть крылатый зверь
Тебя ко мне несет!
Пусть ко мне несет!

Где-то вдали вдруг загремел гром. Гремел, гремел вдали — потом вдруг в доме загремел.

«Что-то большое свалилось!» — подумал, зажмурившись, Эква-пыгрись. Открыл осторожно глаза и увидел пятилетнего оленя.

Людоед-менкв встал на ноги. Ноги его — как два сросшихся дерева. Крепко стояли они на земле. Так крепко, что даже рогатый олень запрыгал от страха. Стукнул менкв оленя кулаком — из пенистого рта рогатого повис красный язык.

— Какое нежное мясо! — воскликнул менкв.

Отрезал он язык у оленя и отложил в сторону, чтобы съесть его сырым. Слюнки текут у него, да шкуру сдирать надо, не то кровь животного остынет, а менкв любит пить горячую кровь...

Пришел Эква-пыгрись домой и говорит:

— Был я в лесном доме. Живет там какой-то дедушка.

Испугалась бабушка, запричитала:

— О, большое золотое небо! А я и не знаю, где бывает мой внук... Не ходи ты туда больше. Менкв — великан-людоед там живет. Отца, мать, всех твоих родственников съел он. И тебя поймает. Не ходи туда...

— Если так, то не пойду, бабушка, не пойду! — успокоил ее хитрый Эква-пыгрись. А сам думает: «Так вот ты какой: оленей губишь, людей ешь. Ладно, посмотрим, кто из нас сильнее, кто хитрее...»

В сказке Эква-пыгрись победил менква. Он отобрал у него волшебный санквалтап. В руках злого духа этот инструмент принес людям много горя, слез. А мог бы приносить радость...

Думал над сказкой маленький Солвал, и ему казалось, что Яныг-пуки чем-то похож на менква. «А чем он именно похож? — размышлял Солвал.— Почему Яныг-пуки такой богатый? И над людьми издевается. Делает все, что захочет... Может, у него тоже есть какой-нибудь инструмент?! Мне бы такой инструмент. Не плакали бы больше братишки и сестренки!..»

Солвал хотел стать богатым, как Яныг-пуки. Только злым он быть не хотел... Но как стать богатым?! Может, в сказках об этом есть? И он опять слушает длинные, как ночь, сказки.

...Живет Эква-пыгрись с бабушкой. Охотится. Много мягких и пушистых шкурок стало в тесной избушке. И спрашивает тогда Эква-пыгрись свою бабушку:

— Зачем нам столько шкурок? Куда их девать?

— Внучек, да мы их потом в город повезем и поменяем у купцов на золотые и серебряные монеты. А на монеты купим себе то, что нам необходимо.

Услыхал об этом Эква-пыгрись и стал проситься в таинственный город.

— Куда ты один? — говорит она.— Заплутаешься. Там народу много, как в тайге зверя. Разные там люди.

Наконец бабушка собирает внука в большую дорогу, рассказывает:

— По нашей узенькой тропке пойдешь; долго ли, коротко ли пойдешь — широкую дорогу увидишь. Это царская дорога. Вправо пойдешь по ней — в царский город придешь. Одна золотая сторона его вверх лезет, другая золотая сторона его вниз спускается... Ты спроси у людей лавку купца Мань-вата-хума. Он у тебя все шкурки возьмет и деньги даст. Твой отец и мать всегда у него меняли.

Настало утро. Бабушка помогла запрячь в легкие нарты большую пушистую собаку и уложить мешки с драгоценными шкурками. И Эква-пыгрись зашагал по узкой тропе, петляющей меж высоких кедров и лиственниц. Тропка привела к большой, широкой дороге. Пошел вправо, как сказала бабушка.

Дорога привела в город. Никогда Эква-пыгрись не видел такого чуда: дома в одной стороне высокие, как горы, сияют окнами. В другой стороне дома низенькие и, как карликовые кусты, бегут под гору к долине речки. И народу много, как рыб весною в таежной речке. И шумно в городе, как в тайге, когда летает ветер. Идет он в центр города и спрашивает, где живет купец Мань-вата-хум. И видит Эква-пыгрись, как два глаза за ним наблюдают, не отстают от него.

«И чьи это такие глаза?» — думает Эква-пыгрись.

— Что ты ищешь, мальчик? — спрашивает наконец хозяин странных глаз.

— Я ищу лавку купца Мань-вата-хума.

— А что ты ему привез?

— Шкурки черных, красных, белых зверей...

— Так много! Нет у купца столько денег!.. Только у царя есть. Пойдем к нему...

Пришли к царю. Одежда у него переливается, сияет, как снег при золотом солнце. Борода — как хвост у сороки. Глаза гноятся. Удивленно он смотрит на пришельца и говорит:

— А я-то думал, ты человека привел... Где нашел этого мальчика?

— На улице.

— Ну, что привез в город? — спрашивает царь.

Эква-пыгрись вынимает из мешков шкурки черных, красных и белых зверей. Кладет их к ногам царя. Глаза у него расширились от удивления, стали как две мутные луны.

«Видно, это необыкновенный мальчик,— мелькнуло в его хитром уме.— Не найдет ли он живой воды? И как обмануть?»

— О-хо! И где ты столько зверей убил! Должно быть, ты ловкий охотник! Сколько за все это ты просишь?

— Сколько стоит, столько и прошу.

— Стоят-то они недорого! — умиленно говорит царь.— Да вот ты мне нравишься. Видно, ты мудрый охотник. Будешь жить у меня в царском дворце. Мои мед и золото — твои. Да только ты мне сначала принеси живую воду: глаза мои стали плохо видеть... А за шкурки зверей уплачу потом.

И велел он напоить, накормить Эква-пыгрися медовым питьем-едой и уложить спать в хоромах. А наутро Эква-пыгрись опять зашагал. Верный пес его, чувствуя путь-дорогу домой, радостно взвизгивал и удивленно поглядывал на пустую нарту.

Долго ли шел, коротко ли — пришел домой, к бабушке. Обрадовалась она, бросилась обнимать и спрашивает:

— Что, сынок, принес из богатого города, на что выменял дорогие меха?

— А ничего не принес. Купцов я и в глаза не видал. Зато был у самого царя. Если найду ему живую воду — с ног до головы осыплет он меня золотом, и будем жить с тобой в его сверкающих хоромах. Тогда царь уплатит и за шкурки...

Услыхала это бабушка, запричитала, заплакала:

— И зачем тебя я в этот город посылала! Опять обманули!.. И вправду говорят: кто в золоте живет — золото обещает, последнее возьмет — и пустым за новыми дарами пошлет... Ох ты хитрый царь! Ох, коварный!

Настало новое утро.

— А живую воду надо достать! — говорит Эква-пыгрись.

— С начала рождения земли ни одному не удалось достать живой воды ни стрелою острою и ни саблей стальной! Если только мудростью!.. А мудрость приходит с годами... Куда тебе, младенцу, до живой воды?! — причитает бабушка.— А озеро такое в мире есть. Я расскажу. Главное — будь внимательным. На закате смотри, запоминай, через какое плечо солнышко расплетает свои золотые косы. Которое плечо оно опускает ниже — в ту сторону и иди.

Долго учила бабушка своего внука. Внимательно слушал Эква-пыгрись. Выслушал он все, набрался ума-разума и пошел искать свою судьбу-дорогу...

Шел он и на быстрых лыжах, обшитых блестящей шкурой выдры, скакал он на оленях ветвисторогих, плыл на плотах и легких лодочках-калданках и просто пешком шагал... Семь раз настигала его морозная зима, семь раз расплывалась перед ним весна половодьем рек и голосами птиц, семь раз он шел под пустынным зноем лета, семь раз слышал хрустящую песню осени. На своем пути он пережил все невзгоды, испытанные человечеством, вдохнул и счастье дальней дороги...

Наконец он дошел и до места заката. Озеро сияло. Одна сторона его золотом туманилась в небе, другая — сверкала над землею зеленовато-огненными волнами. Подполз ближе к озеру, в зарослях тальника спрятался, смотрит и дивится чуду.

А вокруг озера ходят великаны-менквы. Головы их, как маленькие солнца, излучают свет. А в руках у них тугие луки и яркие стрелы. Под их ногами громоздятся целые горы костей птиц, зверей, людей; ни одну каплю живой воды никому не удалось унести отсюда. И вспомнил Эква-пыгрись наставления бабушки, и задумался:

— Наверно, все приходили сюда шумно. Видно, хотели они взять живую воду только силой. Потому и погибли.

А между тем солнце склонялось к закату. Спускалось, спускалось оно, и наконец крылатый олень, тяжело дыша, застучал копытами у берега. На него невозможно поднять глаза — и копыта, и рога пылают золотым пламенем. Под этим светом и травы зеленые, и тальник колючий, и дальние деревья светятся насквозь.

Эква-пыгрись от страха чуть не выскочил из зарослей тальника, чуть не побежал прочь. Но, вспомнив о наставлениях бабушки, он сильнее прижался к земле, подавил в себе страх... А менквы со стрелами в руках рядом ходят...

Солнышко слезло с оленя. Распустив косы свои, стало опускаться в воду. В сверкающей живой воде барахтался и олень. Накупавшись вдоволь, они вышли на берег.

Тряхнуло солнышко своими расплетенными волосами — и над озером, над дальними лесами, горами расплескалась алая вечерняя заря. Отпустив оленя на пастбище, уставшее светило медленно побрело в золотой туман, выплывавший из дальнего леса. Приоткрылась туманная дверь, взглянуло солнышко последний раз на мир и ушло спать. На земле стало темно. Уснули рыбы, звери, замолкли птицы, тише стали шаги великанов.

Тише соболя стал ползти Эква-пыгрись к озеру. «Наверно, пройду! — подумал он.— Они привыкли к шуму.

Видно, за живой водой раньше ходили лишь с оружием».

Подполз к озеру. Вытащил маленький мешочек, сшитый из стерляжьей кожи. Наполнив его живой водой, в карман положил. И не торопясь, по-собольи пополз обратно.

«Не думай о постороннем. Не пугайся случайного шороха. Не нарушая закона тихой ночи, ты иди к своей цели!» — вспомнил слова бабушки.

Исполнив этот завет, он был уже далеко от озера с живой водой.

Долго ли, коротко ли шел — до царского города дошел. «Пойти ли к царю? — думает Эква-пыгрись.— Или прямо домой к бабушке?»

«Слово дал — выполни!» — вспомнил завет бабушки. И сразу направился во дворец. Сидит царь на покосившемся троне. Острая борода стала белее чайки, а голова блестит как луна. Узкими щелочками глаз глядит на него царь и спрашивает своих слуг:

— Кого вы привели ко мне?

— Я — Эква-пыгрись!

— Что-то такого не слыхал,— усмехнулся царь, кривя беззубый рот.

— Вы меня отправляли за живой водой.

— Многие ходили за живой водой. Но никто не возвращался. А что ты оставлял?

— Красных, черных, белоснежных зверей. Жду расчета.

Царь прищурил глаза и с удивлением стал вглядываться в пришельца.

— Где же твоя живая вода?

Эква-пыгрись вытащил из кармана мешочек из стерляжьей кожи, развязал его и чуть приоткрыл.

Царский дворец озарился ослепительным светом.

— Хо! — воскликнули слуги, разбегаясь в стороны.

— О-хо! — вскрикнул царь, закрывая глаза руками.— Ты не живую воду принес, а камень, слепящий глаза ядовитым светом. Живая вода не сияет!..

— Неужели ты, всемогущий царь, не видел росистого утра, когда капельки маленькими хрусталиками светятся с трав и листьев? Неужели ты не знаешь, что в такой день солнце особенно яркое, все сияет и искрится? Это от живой воды, упавшей на землю. От нее распускаются цветы, растут быстрее шишки кедровые. Это даже маленькие дети знают.

Удивился Эква-пыгрись тупости царя, положил мешочек в карман и направился к выходу.

— Постой, постой, Эква-пыгрись! Если вправду живая вода — умойся!

Достал Эква-пыгрись из кармана волшебный мешочек, сшитый из стерляжьей кожи, помазал лицо живой водой — белее зимнего зайца стало оно, помыл глаза сияющей водой — яснее месяца стали они. Долгую жизнь прожил царь на земле, долго царствовал, но такого красавца еще не видел.

И бросился он к живой воде, как волк на добычу. Бросились и царевичи, и слуги. И с яростью зверей стали они тянуть в разные стороны волшебный мешочек. Засверкали сабли и ножи. С удивлением смотрел на них Эква-пыгрись.

А между тем все уже мертвые лежали: и царь, и царевичи, и слуги. От жадности друг друга поубивали.

Эква-пыгрись взял уроненный на пол мешочек с живой водой и, охваченный думами, направился в свой лесной край, к бабушке.

Пришел к избушке — не узнает: три угла ее совсем завалились. В четвертом углу у потухшего чувала маленькой высохшей куклой, сделанной из корня, сидит бабушка. Смотрит она на своего внука и не узнает.

Достал Эква-пыгрись волшебный мешочек, сшитый из стерляжьей кожи, брызнул живой водой на нее — и помолодела она, глаза стали лучистыми и добрыми.

И стали они жить в своем уголке леса. С тех пор бабушки живут вечно и сказки мальчикам сказывают...

Трещит лучина в полутемной избушке. За окном из налимьей шкуры кружится и стонет метель. У потухшего чувала сидит бабушка. Она только что кончила рассказывать сказку и теперь горящим угольком поджигает трубку. А трубка у нее черная и длинная, как зимняя ночь, как сказка.

Сказки все хорошо кончаются.

«А как в жизни? — задумался Солвал.— Для чего люди рождаются, растут?»

Хорошо синичке из детской сказки: она знает, для чего живет. Лапки у ней — ножки избушки лесной, где хранятся припасы охотника. Встретит заблудший эту избушку: там спички найдет, сухари найдет, кусок сушеного мяса найдет, жизнь человек продолжит... Вот для чего живет синичка! Вот для чего она день и ночь летает, поет...

А для чего живет Солвал?! Для Яныг-пуки, что ли?!

И кто он такой — Солвал?! Раб, что ли? И о рабах,

невольниках, которых забирали за неуплату ясака, он слыхал много сказок.

Страшные эти сказки. Солвал их не хочет больше слушать. Про Эква-пыгрися слушать хорошо. Он все время побеждает. Солвал, может быть, достанет волшебный санквалтап. Тогда дома все будут сытыми. Солвал хочет быть сытым. И богатым хочет быть Солвал. А от Яныг-пуки он все равно уйдет. А может, даже победит его, как Эква-пыгрись людоеда-менква.

Если волшебный санквалтап не достанет — Солвал пойдет искать живую воду. Если живой воды не найдет — то обязательно побывает в городе, встретится не только с приказчиками, но и с самими купцами. Уж он поторгуется с ними! Им придется оценить его резвость и ум.

И царя, может, самого увидит. Неужели он такой страшный, как в сказке? Тогда почему он стал царем? И почему люди повинуются ему?

А не стать ли Солвалу царем?! Но ведь Эква-пыгрись не раз побеждал царя, а почему-то царем стать не хотел?!

Может, лучше быть хорошим охотником?!

Но охотник всегда бедный. Не хочет Солвал быть бедным! Совсем не хочет!

Он хочет быть умным, находчивым, как Эква-пыгрись. Еще богатым хочет быть! Добрым и щедрым человеком хочет стать Солвал.

Растет северный мальчик быстрее кедра. Глаза — два сияющих озера — плещутся, до краев наполнены живым удивлением. Руки — два бобра — с утра до ночи покоя не знают. Ноги — два оленя — с утра до ночи его носят по земле. В голове — жилище загадок — комариным роем кружатся вопросы. А сердце, как охотник, стучит, день и ночь куда-то шагает. Куда оно спешит так?

А уши — два слушателя — любят слушать сказки. Лучше всего на свете слушать сказки: там жизнь волшебная и такая понятная!..

Камлание [1]

После трех лет работы Яныг-пуки отпустил Солвала домой. А дома было еще хуже, чем прежде. Отец пьяный. Сестренки и братишки — голодные. Но слез у них в глазах

---

[1] Камлать — шаманить, ворожить, священнодействовать.

нет. Нет! От зноя высыхают даже речки. А где вечное горе — там слезы высохли давно. На дне глаз их мертвым камнем лежала тоска. Они даже не обрадовались приезду брата.

Но хлеб оказался той силой, которая вернула глазам их озерный блеск и волнение. Пили братишки и сестренки чай — и оживали. Оттаивали их глаза, как озера на весеннем солнце. Будто ветерок прошелся по глади воды, заиграла рябь, и озера ожили, с удивлением глядели на небо синее, на мир зеленый.

А хлеб Солвал привез от Яныг-пуки, который на этот раз был необыкновенно щедрым. За три года батрачества он отвалил Солвалу два мешка муки, десять рублей денег, подарил даже теленка.

— Хорошо работал. Спасибо тебе! — сказал Яныг-пуки на прощание.— Будешь таким же, выйдет из тебя добрый хозяин. А теленка я дал не за труд. Жаль мне твою маму — мою двоюродную сестру... Будь строже к отцу. Не пей вина. Мансийскому краю нужен хозяин...

Не сразу дошел до сознания смысл этих слов. Но за три года жизни в богатом доме Солвал что-то почувствовал и понял.

На другой день, когда отец протрезвел и стал собираться на рыбалку, Солвал решил действовать. Он помнил тот злополучный день, когда проиграли его в карты. Теперь такая же участь ожидала братишку, который ездил с отцом на осетра. Поймает отец осетра — не домой плывет, а какая-то злая сила тянет его в город. А там приказчик и дурная огненная вода — мутит она светлую голову человека.

По совету старых Солвал пошел к шаману Яксе. Дом шамана был на краю деревни, у мыса, где стояли три священные лиственницы, на которых развевались черные и белые тряпочки. Белая тряпочка — белый йир — жертва добрым духам. Черная тряпочка — черный йир — жертва злым духам.

Здесь устраивались небольшие жертвоприношения. Седовласый и сухой старик внимательно выслушал молодого человека. Расспросил его о людях, о деревне, где жил Яныг-пуки. Он, оказывается, знал там каждого по имени. Знал их семейные и хозяйственные дела. И Солвала, оказывается, он помнит почти со дня рождения.

А насчет отца Якса посоветовал ему ехать в Березово, купить у того же самого приказчика три бутылки водки, а также достать петуха.

Как сказано — так и сделано. Солвал привез из города

что нужно. В один из летних вечеров все собрались у священных лиственниц. Горел костер. Рыжими лисицами прыгали языки пламени. Искры, словно духи, вылетали из огня и таяли в небе. К ним, наверное, и обращался седовласый Якса в своем непонятном, но очень звучном и таинственном слове после того, как отрубили голову жертвенного петуха и богиню огня напоили горячей кровью.

Потом он подозвал «подсудимого».

Отец Солвала подходит к огню, достает из кармана бутылку водки, наливает чарку вина и, глядя на пламя, начинает молитву, обращенную к Мирсуснэхуму:

Отец наш! От твоего солнечного взгляда
не ускользнуло мое горе.
Ты сам видел, как тянули меня злые духи
к дурной огненной воде.
Лишь твоя солнечная рука
может их остановить.
Ох, если бы не кружилась больше
моя голова от медового напитка!
Ох, если б мой язык не тянулся
к сладостно-горькой огненной воде!
Освободи меня от духов,
которые мутят мою светлую голову!..

Потом острием ножа проводит по мизинцу, и струйка алой крови льется в рюмку, меняя цвет прозрачной огненной воды. И пьяница теперь уже обращается к огню:

Семиязыкая золотая наша мать!
На твоих глазах я смешал
свою дурную кровь с дурной силой
этого напитка.
А теперь я вылью ее на тебя.
Твоих пылающих языков,
твоего беспощадного, горящего гнева
я боюсь!
Дрожу перед тобой,
как сухой стебелек!..

Сказав это, пьяница льет кровавую водку в огонь. Наливает вторую рюмку — пьет сам. Остаток в бутылке разливает по рюмкам и раздает всем. Теперь он уже знает: если не сдержит слова, данного перед глазами огня и перед всеми, то сгорит от вина или в огонь когда-нибудь упадет и, как болтун нечестный, сгорит в беспощадном и жгучем пламени.

С этого дня отец как будто родился заново. Возвращаясь из города, куда он ездил продавать пойманную рыбу, не был, как раньше, дурно-весел. Заготовлял к зиме дрова, даже косил сено. Прежде его невозможно было заставить это делать. Считалось это делом женским. Да и в кормах

раньше не было надобности. А теперь у молодого Солвала были корова и лошадь, овец завел. От мала до велика в доме работали. Отец и мать, братишки и сестренки с благодарностью посматривали на Солвала и безмолвно внимали ему

У старого Яксы не было детей. И он Солвала стал называть сыном. Ни одно жертвоприношение не обходилось теперь без Солвала. Якса просил его быть помощником. Жаловался Якса на молодежь и на время Мол, богов забыли, дурной водой увлеклись, будущего, мол, не будет. Все светлое — в прошлом, а в будущем лишь одни слезы и несчастья, если молодые не очнутся и не возьмутся за ум. Таинственный страх охватывал Солвала, когда он был рядом с Яксой. Но какая-то волшебная сила влекла его к шаману, и он жадно вслушивался в каждое его слово.

Но это нисколько не мешало земной жизни. Семья Солвала стала жить намного лучше. После каждого жертвоприношения в доме появлялись то кусок мяса, то пирог, а то и шкурка. Не мог это не заметить наблюдательный Солвал. Но Якса говорил больше о духах. Учил воздержанию от еды во время пиров и жертвоприношений, взывал к труду и самопожертвованию. Следовать этому было совсем нетрудно.

И теперь Солвал жил словно в каком-то возвышенном и потустороннем мире. Чаяния и стремления духов ему казались близкими и понятными. Иногда ему чудилось, что он с ними даже разговаривает, спорит, состязается в красноречии.

Нравился ему всевидящий дух — Мирсуснэхум. Знал Солвал всю его историю, все приключения и подвиги. Вот как об этом рассказывал Якса.

Как и все великие духи, Мирсуснэхум много раз рождался. Но первую колыбельную песню он услышал в небесном доме своего отца. Там и прошло его небесное детство.

Однажды отец, Великий Торум [1], говорит сыну:

— Я кое-куда схожу. Ты, сынок, жди меня!

Ушел. Как все дети, Мирсуснэхум играл, возился, лазал по всем углам дома. За пологом он заметил бочку. Раскрыл ее: мертвой водой запахло. Рядом стояла вторая. В ней сверкала живая вода. А раскрыв третью бочку, он услышал брань. Вода в той бочке шипела, пенилась. Все бранные

---

[1] Великий Торум, Нуми-Торум — верховное существо мансийского Олимпа. Он создал Вселенную, потом удалился на небо и уже не принимает участия в человеческих делах, управляя миром через своих подчиненных богов. Медведь — его сын — должен быть одним из этих богов-духов.

слова плохих людей в ней были замурованы. А в сторонке от них еще бочка стояла. Ярким шелком была она закрыта. Раскрыл Мирсуснэхум ее и чуть не ослеп: сквозь нее он увидел яркую светло-зеленую землю.

Там и зеленые леса, и сияющие озера, и искристые речки. Смотрит он на это чудо, и слезы катятся из глаз. Плачет Мирсуснэхум от зависти. Почему эта прекрасная земля так далеко от него? Почему он не на ней?

Возвратился отец домой и спрашивает:

— Почему ты плакал? Вчера я тебя предупреждал: не ходи за полог. Теперь твои глаза потеряли свет и зрение.

— Не потеряли они свет. Видишь — смотрят. Отпусти, отец, меня в средний мир, на светлую землю отпусти!

— Что на земле хорошего, сынок? Но если очень хочешь — иди! На земле не рай! Будет трудно — гляди на небо, вспоминай меня... Два живых драгоценных камня, два всевидящих глаза я подарил тебе. Просматривай ими землю, весь мир насквозь... Где горе — будь там ты, где счастье — будь там ты. Будь судьей и защитником людей! Борись со злыми духами... На неспокойной земле мне нужен надежный помощник... Созрел ли ты для этого?

Сказав эти вещие слова, Великий Торум уложил сына в золотую люльку. Зазвенела серебряная цепь серебряным звоном, засверкала, закачалась люлька между небом и землей. Дунет ветер горластый с белым голосом северным — в край горячего лета относит люльку. Дунет ветер горластый с желтым голосом южным — в Ледовитое море, в студеное море относит...

Долго качало люльку, но Мирсуснэхум не зарыдал, не пискнул. Тогда отец опустил люльку на землю. Так Мирсуснэхум появился на земле.

Знал об этом Солвал. Но сегодня в полусне, как наяву, он все видел снова...

А ночью Солвал был в дороге. Скрипел снег под копытами коня. Полозья саней то жужжали, то свистели, то пели заунывную несмолкающую песню. И шаман Якса, сидевший рядом, тоже что-то бормотал. И небо было морозное и звонкое, кажется, оно тоже пело. А звезды под эту музыку будто колыхались в плавном танце. А одна из них — самая яркая и красивая,— как золотая люлька, качалась на серебряных цепях. Солвал засыпал. А люлька опускалась все ниже и ниже. Иногда она качалась совсем рядом с их нартой. Тогда Солвал отчетливо слышал плачущий голос мальчика:

— Эй, отец мой, отец Нуми-Торум, меня укачало. Либо вниз опусти меня, либо втащи меня в небо!

— Сын мой! На земле давно богов забыли. Найдешь ли душу, верную тебе? — слышится спокойный старческий голос сквозь звон копыт и хруст снега.— Найдешь ли ты голову, где сможешь поселить свои волшебные мысли?! Найдешь ли глаза, которым ты смог бы подарить свой всевидящий взгляд?

— Нашел, отец мой! Нашел! Солвал будет моим хозяином. Он жадно ловит каждое слово шамана Яксы. Он готов вынести все муки и страдания, которые ложатся на долю великих шаманов, чтобы быть мудрым и всевидящим, сильным и богатым.

И люлька, качавшаяся между небом и землей, стала опускаться все ниже и ниже. Вот она коснулась снега. Качнулась в последний раз и, как лодка, стукнувшаяся о берег, замерла. Из люльки вышел маленький богатырь. Ростом он чуть больше соболя. На голове у него шлем железный, на боку — сабля. А глаза у него — как два драгоценных камня. Не горят они, а светятся каким-то пронизывающим насквозь светом. «Не сабля оружие Мирсуснэхума! — промелькнуло в уме Солвала.— А глаза! Ясные и всевидящие глаза. Смогу ли я овладеть ими?!» — дрожа от страха и холода, думал во сне Солвал.

Золотая люлька зазвенела серебряными цепями, качнулась и стала медленно подниматься вверх. А Мирсуснэхум, не мигая, глядел на Солвала, ослепляя светом драгоценного камня. Золотая люлька качалась и звенела, уменьшалась на глазах, удаляясь в небо. И потом опять стала звездой среди других больших и малых звезд...

От резкого толчка нарты об ухабину Солвал проснулся.

Звенели колокольчики на дуге, скрипел снег под копытами коня, визжали полозья... Над головой висело звездное небо. И одна из звезд была ярче других. Она и на самом деле словно качалась...

«Неужели этот сон вещий? — подумал Солвал, дрожа от страха.— Неужели и вправду Мирсуснэхум хочет, чтобы я был его хозяином?»

«У-ху! У-ху!» — стонет где-то филин.

И темно-зеленые кедры тревожно скрипят. А ветер, как усталый старик, то свистит, словно сквозь старые зубы, то сопит, будто успокаиваясь.

На поляне трещит костер. Над костром котлы продымленные висят. Над ними вьются струи. Пахнет свежим мясом. Под лапой кедра стоит большой деревянный идол. Губы

у него помазаны кровью. Он уже сыт. Может, потому и взгляд у него какой-то грустный. Чуть нахмурился, будто глубоко задумался над судьбой людей, которые пожаловали на священное место — в капище мансийских богов.

Чуть поодаль от него стоит другой. На голову он ниже первого. Лицо самодовольное. И смотрит свысока. Словно вот-вот скажет: я дух всесильный, а вы кто такие?! На губах у него больше крови, чем у первого идола. А третий, который всех ниже и корявее всех, вскинул гордо голову, глаза у него устремлены в небо. Выражение лица глуповато-восторженное. Губы, щедро помазанные горячей кровью жертвенной лошади, застыли в брезгливой улыбке. Этого глупого духа больше всего боятся манси. Они мажут ему кровью не только рот, но и бороду, и тело. Они приносят ему самую дорогую жертву.

Маленький дух, хотя и силу особую не имеет, но злость и недовольство его могут причинить немало несчастий. Маленький дух опасней большого. А Торуму — властелину Вселенной — никаких жертв люди не приносят. Ему не нужно ни золота, ни серебра, ни мехов. Великому богу зачем жертвы?

Лишь духи, с помощью которых он управляет миром, требуют к себе внимания и почитания.

Много помощников у Торума. Хороших, умных помощников.

Его кумирня, как большая птица, притаилась в зеленой тени кедров. На четырех ногах-столбах стоит кумирня. Дверь ее сегодня открыта. На золотой огонь смотрят глаза Торума. И лицо его вылито из чистого золота. На голове соболья шапка. На шубе, сшитой из самого дорогого меха, узоры волшебного письма. И то письмо волшебное лишь шаман великий может читать. Говорят, оно бывает каждый раз новым. Причудливые фигурки, медные и железные, на шубе его висят. Они изображают разных животных. То исчезают, то появляются вновь. И по ним шаманы узнают многое.

Дерево, около которого притаилась кумирня, украшено цветными сукнами, шелками. Вершина кумирни обита белой жестью, а на ветвях висят колокольчики. Они качаются на ветру и день и ночь поют. На ветвях других деревьев висят шкуры оленей, лошадей, овец, принесенных в жертву. Под ними горы котлов, чашек, рогов с табаком.

Мирсуснэхум сидит на возвышении, похожем на стол. В стол тот священный воткнуты копья и сабли. Под шубой у него волшебный мешок. Служит он туловищем. Каждый,

кто приходит в капище, несет подарок: кто шкурку соболью, кто лисицу, кто монету медную, кто кольцо золотое. Сегодня особенно много несут. Живот у Мирсуснэхума стал толстым, как у богатого купца. Толстеет его живот, когда на земле тревожное время. Тогда люди, которые вечно хотят что-то понять в этом сложном мире, идут к капищу.

Тревожное время настало. От чума к чуму, от стойбища к стойбищу, от деревни к деревне летит трехгранная стрела. Старики все знают. В сказочные времена, когда у манси были свои богатыри, полет трехгранной стрелы означал начало бедствия и войны. Тогда все мужчины надевали свои богатырские доспехи и шли к святому месту на совет богов и воинов.

Времена богатырские прошли, но бедствия остались. Летит трехгранная стрела — значит, в мире мены-перемены, горе какое-то новое в край мансийский идет. Летит трехгранная стрела — надо собраться вместе, послушать предсказания шаманов и принять решение, как жить дальше.

Летела трехгранная стрела. И она принесла весть, что великий шаман Якса видел волшебный сон.

Будто в вороний день — в первый день весны северной — прилетела не ворона черная, а белый лебедь. Еще белый снег хрустел, как сахар. И солнце золотое не превращало снега в ручьи, а лебедь прилетел.

То был, конечно, необыкновенный лебедь. То была священная птица, которая при появлении злодея Кучама на земле древних югров улетела в дремучую тайгу, а когда пришли попы с крестом и пищалями, когда они построили в городах небесные дома-церкви, священный лебедь взмахнул золотыми крыльями и улетел из своего капища в небо — в приют согнанных с земли богов и духов.

И вот много веков спустя он снова прилетел. Он весело курлыкал и лепетал, как ребенок, плакал от счастья и пел. Кружился над деревней, где жил великий шаман Якса, и говорил новость:

— На земле нет больше царя Белого. Его дух — Христос — тяжело ранен. На земле теперь появился новый дух. Его звать — Революца. Какой этот дух — никто пока не знает. Добрый или злой — даже священный лебедь не знает. И птица вещая наказала людям разобраться самим. В мире мены-перемены. Хорошо ли это? Лебедь белый прилетел — это хорошо. Лебедь курлыкал весело и пел — это хорошо.

Новое время настает. Но какое это время? Кто друзья, кто враги?

Надо собраться на священное капище, принести богам жертвы, послушать шаманов, подумать сообща о жизни, о времени... И летит трехгранная стрела. От чума к чуму летит, от юрты к юрте летит, от деревни к деревне летит.

И вот на священный мыс со всех концов края тянутся люди. У кого олени — тот гонит тучные стада к священному мысу, у кого лошади — на лошадях едет, у кого ничего нет — пешим идет. Но и у него маленький подарок есть. Серьга или кольцо, аршин холста или просто полоска сукна. Любят боги живую жертву. Но если ее нет у бедного человека, то душе его верной рады.

Оленеводы подвели к общему огню трех белых оленей. Подвязали их к жертвенному столбу, а сами направились к капищу. Каждый из них молча поклонился. Потом звенели монеты, живот у Мирсуснэхума стал больше от принесенных пешек — мягких шкурок молодых оленей. За столиком у капища стало больше бутылок водки. Мирсуснэхум хотя огненную воду, дурманящую светлые головы людей, не любит, но полакомиться не прочь. Его золотой рот мажут водкой, в золотую табакерку кладут терпкого табаку.

Потом шаман оленеводов раскрывает уста и, как весенний глухарь, токует:

Светлого дня щедрый наш отец!
Дух твой золотой
К нашим чашам пусть прикоснется.
Ум твой золотой
В думе новой пусть проснется!

Одежда шамана сшита из белого-белого пыжика. Только на ней много металлических крючков, колец, бляшек, погремушек. Шевельнется шаман — звон стоит. А на голове у него не шапка, а железный обруч. И неспроста это. Говорят, от сильного чародейства без обруча голова могла бы развалиться. Этот шаман молодой, задорный. Звать его Потепка. Будет, наверное, состязаться с великим Яксой.

Кара-кий-я! Хос-хос!
Ка-ра-кий-я! Кара-кий-я! —

прыгая у огня высокого, стуча колотушкой по бубну, запричитал молодой шаман. Никто не понимал этих слов. Но волшебные звуки, как меткие стрелы, поразили всех. Вздрогнули даже взгляды самых спокойных и мудрых стариков. А глаза молодых загорелись каким-то неспокойным огнем. А трое из оленеводов запричитали в такт ударам

колотушки, вслед за шаманом выкрикивая не понятные никому слова. Потом они упали на снег, крича и дико визжа, катались в снежной пыли.

Другие уже держат за рога оленей, третьи стоят с натянутыми луками и копьями.

Вот шаман три раза повернулся кругом по солнцу. Потом на мгновение замерла колотушка. Удар по бубну — и три стрелы полетели в сердца трех оленей. Миг — и три копья уже пьют оленью кровь. Еще миг — и сердце оленя вынуто. Кровью сердца поят Мирсуснэхума, на его золотых губах капли алой крови. Горячая и живительная кровь плещется в кружках деревянных, теперь уже все наслаждаются божественным напитком жизни.

И все это случилось в один миг. Духи, видно, теперь довольны. Любят они, когда кровь жертвы коснется их губ, не успев омрачиться страданием погибающего животного.

А колотушка летала, и бубен громкий гремел. Огонь прыгал, и шаман плясал. И слова звучные и непонятные все летели и летели. И трое на снегу, забывшись в неистовом крике, валялись как завороженные. И Солвалу теперь казалось, что изо рта шамана вылетает голубой дым. Рядом с ним пляшут голубые духи. И они в ухо шаману что-то шепчут, говорят.

Сегодня Солвал был как во сне. Мир ему казался причудливым и странным. На грани новой жизни он чувствовал себя, и эта жизнь сулила ему что-то особое, возвышенное и страшное.

Голова его кружилась. И снова и снова возникали перед глазами видения ночи.

Качалась звезда, как золотая люлька. Солвал своими ушами слышал звон серебряных цепей. Два живых камня, два светлых глаза глядели на него с надеждой. Они совсем рядом сияли. «Наверное, этот сон и вправду вещий!» — мелькнуло в уме Солвала, когда под ударами колотушки в громе бубна качнулась земля и голубой дым, вылетавший изо рта пляшущего шамана, закрыл глаза голубым мраком, а голубые духи, крича и беснуясь, давили на сердце и горло. Ему было тяжело дышать. И, изнуренный видениями и долгим воздержанием от еды, он упал на холодный снег. Шаман Якса был тут как тут. Он склонился перед ним и, устремив к небу красные глаза и старческие руки, запричитал:

Не печальтесь, не горюйте!
Знаю песню я иную,
Песню радости великой!

Пусть откроет каждый сердце,
Пусть откроет каждый душу
И прислушается к песне...
Все в прошедшем, все в грядущем,
Все проходит, умирает
И родится в новом свете —
В царстве вечного Торума.

Он вещал о том, что на глазах простых смертных происходит чудо: дух великого Мирсуснэхума вселяется в душу молодого Солвала. И отныне у манси будет молодой и сильный ясновидящий. Не навсегда покинули землю боги, не разуверились они в духовной силе манси. Белый лебедь прилетел, принес весть, что Кристос ранен. А Кристос — смертельный враг Великого Торума. Не смог Кристос победить Торума, и Торум не смог взять верх.

Кто же победил Кристоса? Об этом не сможет сказать старый Якса. Об этом сможет поведать только молодой Солвал. И он призвал всех озолотить божественную чашу, чтоб отправить в дальнюю дорогу прозревшего Солвала, который и узнает, что представляет из себя новый дух Революца.

Трещал огонь. Гремели бубны. В серебряную божественную чашу сыпались монеты, серьги, кольца, ожерелья из бисера. А охотники несли свое пушистое золото: кто горностая белого, кто соболя черного, кто лисицу красную, кто песца голубого. У каждого своя драгоценная жертва. Каждому хотелось знать, что его ожидает. Не нагрянет ли снова «бешеная старуха» — оспа? Не отберут ли промышленники последние угодья, где еще рыбка плещется, зверь следы рисует? А может, и вправду наступит счастливое время, когда жены, как икряные нельмы, будут полны и плодливы, лес даст мясо всем в избытке, реки — рыбу золотую?!

Очнулся Солвал на руках людей. Его куда-то несли. Торжественно скрипели ветви кедров, звенел колокольчик, хрустел снег...

Солвал заметил, что выражение лица у маленького деревянного идола было все такое же глуповато-восторженное, только на губах крови стало больше... Взгляд второго идола был самодовольным и высокомерным, словно ничего не произошло.

Только самый высокий, который стоял ближе к священному капищу, кажется, нахмурился еще больше прежнего, будто глубоко задумался.

«О чем он так думает? — мелькнуло в уме Солвала.— Может, обо мне?

Почему люди подняли меня на руки? Куда несут?»

В отблесках огня сверкнуло золотое лицо Мирсуснэхума. Солвал понял, что несли его к капищу. Он не вскрикнул, не стал говорить, что пришел в себя. Солвал знал, что теперь судьба его в руках людей: захотят — подымут, вознесут к небу, захотят бросить — в болото столкнут...

Увидев, что Солвал пришел в себя, старый Якса воспрянул. В красных узорах его глаз сверкнули искры. Он, как весенний тетерев, затоковал. Над зимнею тайгою поплыла певучая молитва жизни, волшебное пророчество о завтрашнем дне манси... И великий шаман Якса говорил теперь от имени Солвала, будто он это все видел и слышал от духов, пока был в их мире. Старый Якса благодарил судьбу, бога, что он послал им юношу с такой чуткой и божественной душой.

Нур и щар! [1] Клянусь медведем!
На земле, на Маа, будут
Все народы вновь свободны.
Страшно будет! Вы не бойтесь!
Будет смерть, пожары, голод...
После этого наступит
Время новое, иное.
Ваши жены будут в чревах,
Словно нельмы икряные,
Будут полны и плодливы.
Лес немой деревням вашим
Даст добро свое в избытке.
Даст вам мясо, шкуры, ленгын, [2]
Реки с мутною водою
Будут полны рыбой разной...
...Вы годов не бойтесь черных,
Что несут чуму оленью,
Истребляют разом стадо,
Их не тронет эта гостья...
И настанет снова время,
Вновь великие шаманы
Будут жить в народе вашем.
И на солнечных полянах,
На протоках, чащах тала,
На горах и на увалах,
На реках, озерах, тундре —
Всюду, где укажут духи,
Встанут идолы — шайтаны... [3]

---

[1] Нур и щар! — клятва.
[2] Ленгын — белка.
[3] Из мансийского эпоса «Янгал-маа».

В своей молитве-песне великий шаман Якса благодарил людей за то, что в течение долгой жизни внимали ему, а не попам-обиралам, у которых борода как веник, а живот как бездонная бочка. Ругал он и мансийских шаманов-кривляк, которые своим кривлянием наводят на людей страх. А народу нужно живое слово, которое согреет душу и даст телу силу. Чтоб бороться — нужна будет добрая сила добрых духов.

— Кто их позовет на помощь народу манси? — восклицал он.

— Прозорливая душа молодого шамана! — отвечал он.

Якса сегодня отрекался от себя. Мол, стал уже старый, и говорящий дух, который был при нем и помогал сноситься с великими богами, покидает его. Он не будет больше шаманить.

А в следующий раз люди пусть слушают молодого и сильного шамана Солвала. В его душу поселился говорящий дух.

— Вот священный амулет, образ говорящего духа! — вытащив из-за пазухи золотой слиток с изображением летящего лебедя, пропел Якса.— Я получил его от деда, деду досталось от прадеда, а прадеду — от прапрадеда. Нет у меня детей. Но есть у меня прозорливая душа — Солвал. Пусть этот амулет помогает вам сохранять дух предков!

Выкрикнув несколько непонятных божественных слов, он вручил этот амулет Солвалу.

Качались кедры, блестела жесть, гремели бубны, плясал огонь, летели искры, сияла богиня, на губах самого маленького идола стало еще больше крови. Взгляд второго был самодовольно-равнодушным. Только высокий идол о чем-то снова думал.

Солвал сейчас ни о чем не думал. Его опять куда-то несли люди с горящими фанатичными глазами. Люди, боги, жизнь, смерть, огонь, кровь, летящие стрелы, деревянные идолы, жадные губы, качающиеся звезды, золотая люлька, говорящий дух, молитва-плач, молитва-прозрение — все смешалось в душе Солвала. И что он мог понять?

На этом камлании двух молодых шаманов, Солвала и Потепку, решили направить в Тубыл-ус, чтобы они своими всевидящими глазами посмотрели, что происходит в мире. Если духи и на самом деле борются, если правда в мире опять наступит жестокий богатырский век, когда не только духи воюют, но и человек на человека идет не с улыбкой, а с топорами и копьями,— лесные люди должны подумать, как им быть. По пути в Тубыл-ус Потепка и Солвал должны

были заехать в Белогорье, чтобы поклониться и принести жертвы духам самого большого, самого великого священного места всего Севера.

Недалеко от этого селения, там, где Иртыш свою желтую воду уже смешал со струями великой Оби, в глухом урмане, на холме высоком, среди священных лиственниц и кедров, стояла избушка на курьих ножках. В той избушке было гнездо Золотого лебедя. Эта огненная птица, говорят, умела предсказывать будущее. И потому около нее люди держали меж собой совет. Каждую весну они спешили сюда. Плыли на лодках. Лодок было много-много, чуть поменьше комаров. У яра лодки останавливаются. Людей встречает шаман — великий, старый, мудрый предсказатель. Он смиренно принимает дары и для каждого находит свое слово ласки, слово вещего значения дней грядущих, дней прошедших, что он ясно видел взором в царстве духов легкокрылых.

И когда наступала ночь, с темной части неба, сияя огненным светом, спускалась золотая птица в свое капище. Тогда и начиналось великое камлание. От костров сияла даже безбрежная Обь. Как бабочки, мелькали человеческие тени. Бубны громкие отбивали дробь. Тихо-тихо, непонятно начинал с птицей вещий разговор мудрый старец, духов друг...

И у одного священного огня думали боги, птицы, люди. Ведь у всех одно небо, одна любимая земля, одна жизнь...

В Белогорье давно уже жили русские. Но урман священный, где когда-то было капище, манси не забывали. И каждый год шаманы со своих родов собирали мех и с мешками направлялись в Белогорье на поклонение. Простые люди теперь туда уже не ездили, передоверив сношение со священной птицей своим шаманам.

Камлание у капища Сорни-най в этом году прошло удачно. Много меха принесли люди в жертву. Доволен был не только Якса, но и другие шаманы. Не понимал пока Солвал ничего, но в его доме тоже появился мех.

Удивлялся Солвал, спрашивал Яксу: почему священная жертва для богов в его бедный дом попала? Сердился Якса на такие вопросы своего ученика. Видно было это по его лицу и глазам, но слова у него были тихие.

— Это подарок богов! Ты заслужил его! Все объясню потом! — говорил Якса каким-то особым и таинственным голосом.

Ждал Солвал большого разговора, который обещал Якса, но так и не дождался. Настало время отвозить в Белогорье жертвы великим духам, предкам великим. Целый мешок шкурок соболей, белок, куниц, лисиц, горностая,

выдры должны были отвезти молодые шаманы Потепка и Солвал. А потом надо было съездить в Тубыл-ус и узнать про таинственную и незнакомую Революцу.

Революца... какой это дух?

Кто такой Революца? Если человек, то какие у него глаза, руки, голова? Головой он силен или руками? А есть ли у него сердце?! Можно ли с ним договориться лесным людям? Ценит ли он мех соболий и беличий?

Кто такой Революца? Если он дух, то какой дух? Черный или белый? Злой или добрый? Какую жертву он просит? Большую или маленькую? Жертву с кровью или без крови? Откликнется ли он на молитвы? А может, как многие духи, на жертвоприношении побывает, полакомится кровью и улетит, не оказав помощи страдающим?

Кто такой Революца? Неужели и вправду этот дух — красный? Разве такой бывает? Никогда не было такого духа! В видениях великих шаманов не видано, в сказках-былинах не слыхано! Откуда выплыл? Чего он хочет? Куда поведет людей? К добру или злу? Но тогда он был бы белым или черным! Нет! Это новый цвет. Непонятный для таежников цвет. Надо узнать его. Надо быть очень осторожным, чтобы не спугнуть. Не настроить бы его против таежных людей!

Кто такой Революца? Самые противоречивые слухи доходили до таежной деревеньки Хомратпавыл, запрятавшейся от недоброго взгляда среди снегов и тайги дремучей.

Сначала говорили, что Красный дух победил Белого царя. Но этому никто не поверил.

Сам Мирсуснэхум вот уже сколько ведет борьбу с духами Белого царя и не может победить. Неужели какой-то никому не известный Революца оказался сильнее?

Потом пошел слух, что Белого царя держат в священном доме — церкви. Одни говорят, что там его бьют, выгоняя из него злых духов. Другие судачили, что, наоборот, там его ласкают, чтобы стал он добрее и добрым духам дал волю.

А происходит это все не на небе и не в центре земли, где обычно живут самые именитые, а совсем недалеко от манси — в Тубыл-усе, который русские называют Тобольском. В этом звонком городе, сверкающем куполами священных домов, летящих в небо, не раз пили чай не только бога-

тые манси, но и простые охотники. Ярмарки там бывали веселые, шкурки собольи там ох как любят. Чай там ой какой крепкий!..

Каждой весной на Север плывут огненные лодки с большими баржами. Привозят соль — увозят осетров, нельм, муксунов.

На этих огненных лодках веселые люди — купцы — плавают. И самый именитый среди них — купец по имени Плотник. Это так его манси называют, а для русского уха он Плотников. Большой это человек! Богатый!.. У, какой богатый!.. Много у него огненных лодок, много неводов, много соли... По всей Оби он хозяин. Рыбаков у него тысячи. И его люди рыбу не только ловят, но и в железо заворачивают. Консервами это называется. Когда ешь такое чудо — чуть железом пахнет. Но все равно это не железо, а рыба. Наша вкусная обская рыба...

Веселый человек этот Плотник. У него всегда вода веселая есть. Пристанет к берегу сияющая огненная лодка — праздник приходит в селение. Угощает он всех веселой, горькой водой. И люди не скупятся — кто соболя подарит, кто икру осетровую. Веселый купец! Хороший! Главное, он говорит на языке манси. Хоть коряво, но говорит. Это очень хорошо, когда даже сам Плотник хочет быть на манси похожим!

И зачем это в Тубыл-ус, где живет веселый купец Плотник, привезли Белого царя? Не хотят ли обучить царя мансийскому языку? А может, веселым его сделать хотят? Таким, как купец Плотник? А может, Плотника хотят сделать царем?

Непонятно! Совсем непонятно. Зачем привезли царя в Тубыл-ус? А может, это совсем не так? Надо съездить в Тубыл-ус и узнать и про Белого царя, и про Красный дух — Революцу! Все надо узнать самим!

В одно прекрасное зимнее утро Солвал и Потепка тронулись в дальнее путешествие. Зима повернула лицо свое к весне. Солнце поднималось все выше и выше. Днем снег становился мягким, ночью твердел как сахар. Наступало время звонких и длинных дней, хороших дней для дальней дороги.

Скрипел снег, пели полозья, звенели колокольчики. Но Солвал теперь не думал о богах, не задавал себе вопрос: «Кто такой Революца?» Слишком все это сложно и запутанно. Он с наслаждением думал о земле своей. Хотя далеко никогда не ездил, он, кажется, ее знал как родную мать. В привычном и волшебном мире сказок она казалась

чуть таинственной. Но все, что происходило на ней, объяснялось в сказочном мансийском слоге.

Сказка... Она как родник. Прильнешь к ней, мучимый жаждой, напьешься прохладной живительной влаги и снова чувствуешь себя человеком. Все станет ясно и понятно.

Земля... Как она появилась? Где начало всех начал? Кто такой Революца?!

Не знает об этом сказка.

Кто такая Земля?

Все о Земле знает сказка.

А появилась Земля вот как.

Жили старуха со стариком. Кругом вода, вода, вода... В хрустальных струях тонет звездное небо. На зыбких волнах моря колышутся и жаркое солнце, и ледяная луна, и маленький их домик. Старик со старухой начали уж было глохнуть от безумолчного плеска волн. Но вдруг до их ушей долетели неведомые звуки. Глаза старца устремились за дверь. И видит старый — сверху летит железная гагара.

Пролетела семь кругов — опустилась на волны. Оправила крылья и нырнула в воду. Долго ли, коротко ли была под водой — вынырнула. В клюве у ней ничего нет. Второй раз исчезла под волнами — вынырнула: в клюве у ней лишь тяжелый вздох. И только в третий раз принесла она в клюве крохотный кусочек земли. Бросила ее у порога и, расправив железные крылья, снова заскользила по воде. Семь раз повторила над домиком вечный путь солнца и растаяла в лазури неба.

На третий день любопытные глаза старца выглянули за дверь и видят: у порога появился маленький кусочек земли. На седьмой день опять выглянули: земля уже немного выросла. Старец захлопнул дверь и, удивленный, стал рассказывать старухе сказку о рождении чуда вселенного — земли. Долго, видно, рассказывал. Потому что, когда вышли старик со старухой из домика, моря уже не было.

— Куда оно делось?— спрашивали древние.

— Наверное, под землей...

Земля... Какая она? Идешь, идешь, а она не уходит из-под ног. Только небо над головою с ярким солнцем — днем, с глазастыми звездами — ночью. Плещут синими

волнами реки, зелеными ветвями шумит дремучая тайга, и не раз на пути встанут горы, вросшие камнем в небо. Какая она, земля? Было о ней много дум, длинных, как зимняя ночь.

Сказывают, сначала земля, выросшая из крошки, которую достала со дна священная гагара, качалась на море, плавала.

Тогда Торум, создатель Вселенной, опустил на землю свой пояс. Пояс его украшен тяжелыми пуговицами. Под его тяжестью земля осела глубоко в воду и стала неподвижной. На том месте, где лег пояс, теперь Уральские горы. Это самая середина земли.

А пояс тот был не простой. Золотые пуговицы горели ярче солнца, а серебряные светились полной зимней луной. Хрустальные камни ослепительно сверкали, как снег под весенними лучами. Звездным Млечным Путем мерцали украшения из меди, олова. Причудливые мраморные и гранитные фигуры висели на золотых цепях, как фигурки, сделанные из кости мамонта,— на поясе охотника.

Богатый Урал — как пояс с драгоценными камнями. Центром земли считали его манси.

Но не там «шумел» таинственный дух Революца. Это русский дух. А у русских свои сказки, свои тайны, свои глаза... Для них Урал, может, и совсем не центр земли. И Тобольск для них — город не царский. А для манси и Березово не чум, а город.

Туда и держали путь Солвал с Потепкой.

Березово было не узнать. Здесь произошло что-то загадочное. Звонкие колокола на церквах молчали. На улице было людно, шумно, как на берегу реки во время большой путины. Никогда столько народу ни видел Солвал в Березове. Раньше по улицам прогуливались лишь в меховых шубах и собольих шапках. Теперь на улице — люди в худенькой, неприметной одежонке, но такие веселые, будто какой-то праздник.

Своим глазам не поверил, когда увидел, как Ванька Дровосек под ружьем вел самого толстого приказчика. Рядом с Ванькой Дровосеком шагал еще один. Сначала Солвал думал, что это солдат Васька. Одежда у него была такая же, как тогда, когда тот вернулся со службы царской. Когда подошли ближе, заметил, что это другой. Русский солдат, значит... Но почему они ведут приказчика под ружьем?! Ведь это большой человек! Главный помощник купца... Как посмел Ванька Дровосек подняться против своего хозяина?

— Пася, рума! — поприветствовал его весело Ванька Дровосек, когда они поравнялись.

— Здравствуй, друг! — ответил Солвал, но тут же осекся, поймав суровый и невеселый взгляд приказчика.

— Не бойся его! — подбодрил Ванька Дровосек.— Теперь мы здесь хозяева. Приходи вечером в наш нардом. Вон в тот дом. Тебе, темному, все объясню!.. Не забыл еще русский язык?

Ничего не понимал Солвал. Или мир перевернулся, или с ним что-то случилось. Ничего не понимал Солвал с той поры, как связался с шаманом Яксой. Раньше все было просто...

С Ванькой Дровосеком Солвал подружился в доме Яныг-пуки. Каждое лето приказчик, у которого работал Ванька Дровосек, отправлял его вместе с другими ловить сосьвинскую селедку на самых лучших угодьях Яныг-пуки. Богатый манси не всякому разрешал ловить золотую рыбку в своих угодьях. Приказчику купца, его людям — разрешал. В свободную минуту Солвал и Ванька Дровосек разговаривали. От него Солвал многое узнал, русские слова складывать научился. А Ванька Дровосек удивлялся мансийским словам...

Вечером приятели встретились. Ванька Дровосек привел Солвала в большой дом, который называл таинственным и непонятным словом «нардом». Там было много народу, как на большом камлании. Только не было костра. Но огонь был: на столе, что стоял в дальнем углу, горела лампа.

«Все же без огня люди не обходятся... Даже русские!..— заметил про себя Солвал.— Без огня не сделать большого дела. Огонь все видит и слышит...»

В нардоме накурено. В неярком свете лампы ясно виделось, как летают синие духи, синие струйки дыма. Дверь открывалась и закрывалась. Заходили белые духи мороза, а следом за ними — странные люди. Глаза их горели, как у шаманов во время камлания. И почему-то многие из них — с ружьями. Ружья большие и совсем маленькие. Некоторые из них — чуть больше ладони.

— Кто это такие?— шепотом спросил приятеля Солвал.

— Это наши из Рабочего союза — красногвардейцы!..

Слова эти Солвалу были незнакомы. Только слово «рабочий» о чем-то смутно говорило. Он слыхал его раньше от приятеля, еще там, на рыбалке.

— А это товарищ Сенькин! — сказал как-то по-осо-

бому Ванька Дровосек, кивком указывая на человека в кожаной куртке. Лицо у Сенькина было энергичное, а глаза спокойные, задумчивые, чуть усталые.

— Председатель Совдепа. Большевик. Революционер!— прошептал в ухо приятель.

Первые два слова Солвал слышал в первый раз. Они ничего не говорили его таежному уму. Как прилетели — так и улетели. Последнее слово заставило его вздрогнуть. «Революца!.. Это и есть Революца?!— воскликнул он в душе.— Так это же не дух! А человек!.. Лицо, глаза, руки... Обыкновенный русский. Значит, он любит соболя Живую жертву, кровь любят только духи. Русский кровь не пьет. Только увидит соболя — на духа похожим становится. Не на доброго, а на злого духа похожим становится.

Революца... Не отберет ли он охотничьи угодья? Не займет ли все лучшие рыбацкие пески, как веселый купец Плотник? Не разрушит ли священные капища?— забеспокоился Солвал, обратив внимание на наган, который висел у Сенькина на боку. Знал он, что маленькое ружье стреляет, насмерть убивает.— Нет у манси такого ружья, нет такой силы! И народу мало. А русских много, ох как много! Вон сколько людей собралось только в этом доме! — мыслил он, прикидывая взглядом.— А сколько их на улице, в других домах!..»

Заметив испуганный взгляд Солвала, Ванька Дровосек стал его успокаивать:

— Ты не бойся! Это свои люди, такие же, как мы с тобой, батраки, рабочие!.. Теперь мы будем хозяевами, а не он! — И показал пальцем на человека, которого двое с ружьями только что втолкнули в нардом.

Присмотревшись, Солвал узнал в том человеке старшину инородческой управы[1], который не раз приезжал в деревню, собирал с охотников ясак. Это был большой человек. Самый большой среди манси. Он мог присудить к битью кнутами, розгами. Был судьей в мирских и бытовых тяжбах.

Совсем недавно этот старшина с двумя помощниками мировщиками[2] приезжал в деревню. У Потепки будто бы

---

[1] Инородческая управа — орган управления инородцами до революции. Этот орган возглавлял старшина, получавший такое звание наследственно или по выбору. Управа подчинялась царской администрации. Это была патриархальная форма самоуправления, с помощью которой царизм эксплуатировал малые народы.

[2] Мировщики — помощники старшины, которые обязаны все неважные ссоры в народе решать мировою сделкою.

потерялась кривда[1]. Двери у манси не знают замков и никогда ничего не терялось. Сети манси далеко от деревни стоят, и не только снасть, но и рыбы чужой никто никогда не возьмет. А здесь будто бы потерялась кривда, которая стояла у дома. Потепка обвинял в этом страшном грехе Анха-Ваську. Это, мол, он, бездельник, у которого нет ни лодки своей, ни ружья, утащил и продал русским кривду. Мол, это его родовая привычка, недаром к его имени прилепили слово Анха![2] Еще дед его заслужил такое прозвище за снятую с чужого силка куропатку.

— По его следу и внук пошел, стал таким же вором! — кричал Потепка по деревне. И между домами вспыхнула ссора, грозившая вылиться в кровавую драку.

Каким-то образом в таких случаях известие доходило до Березова, до инородческой управы. И старшина с двумя мировщиками был тут как тут. Видно, у них было дело и поважнее этой глупой ссоры. Но и это они не оставили без внимания, устроив суд у священных лиственниц, которые стояли рядом с домом Яксы.

Сначала шаман говорил о той страшной каре, которая ждет и преступника, и лжесвидетеля, и обвинителя, если они будут говорить неправду и присягать против своей совести.

Потом обвиняемому Анха-Ваське Якса велел, чтобы он взял в руки острый нож и отрезал у деревянного божка нос, выковырял глаза и произнес за ним такие слова: «Если я в этом споре не прав и если, дав клятву, покривлю своей совестью, то так же, как у этого идола, у меня пусть не будет носа. Если я на самом деле похитил кривду, то быть мне топором изрубленным, медведем в лесу изорванным, силами нечистыми преследуемым и гонимым...»

То же самое проделал и Потепка.

Благодаря этим мировщикам и старшине стало всем жителям деревни ясно, что Потепка действительно потерял кривду, но Анха-Васька здесь совсем ни при чем. Если бы он на самом деле похитил эту снасть, то кара бы его не миновала! Все знали: манси никогда не присягнет ложно, а если это случится, то от одного страха и угрызения совести он с ума сойдет...

«Большие люди — мировщики! Большой человек —

---

[1] К р и в д а — рыболовная снасть.
[2] А н х а — куропатка.

старшина! Без него манси не может разрешить спор, развеять ссору, узнать, кто прав, кто нет!»— думал Солвал, глядя на побитого, помятого старшину.

— Зачем его так? Разве так можно с большим человеком?— вскрикнул Солвал на ломаном русском языке. Хотя в нардоме стоял шум и гам, голос его услышали и на него обратили внимание.

— А это кто такой?— спросил строго человек в овчинном полушубке, подойдя к Ваньке Дровосеку.— Откуда ты его выкопал?

— Это мой товарищ. Мы с ним вместе рыбачили. Такой же, как я, батрак.

— Для батрака у него слишком роскошная одежда! — разглядывая белоснежную парку[1], кисы[2] с узорами, произнес подошедший.

Солвал был действительно хорошо одет. Собирая в дальнюю дорогу, Якса о нем позаботился. У него нашлись и эта чудная парка, и малица, и кисы. Разнарядил он своего преемника, считая, что и внешний вид того, кто хочет завладеть сердцами, имеет не меньшее значение, чем его речь...

«Глаза человека — два зорких стража, два защитника. Но они таят и слабость. Глаза человека любят наслаждаться. Они от красоты млеют. Узоры волшебные их уводят от мира, над которым надо задумываться!» — говаривал Якса.

Красивая одежда Солвалу очень нравилась. Когда он во все это нарядился, то почувствовал себя самым счастливым духом.

Никак не мог понять, почему эта «роскошная одежда» не по душе русскому со строгими глазами. «Неужели его потертый, измызганный овчинный полушубок лучше этой белой как снег, мягкой как пух парки?! — думал Солвал.— А может, он хочет, чтобы все ходили в рвани? Нет! Солвал так не хочет! Красивой жизни жаждет Солвал!..»

Отойдя от Солвала, Ванька Дровосек о чем-то горячо говорил с человеком в полушубке, то размахивая руками, то озорно улыбаясь. О чем он говорил — было не слышно. Но глаза строгого в полушубке чуть потеплели. В этот миг чем-то он был похож на шамана Яксу, когда тот поучал, остерегая от неверного шага.

---

[1] Парка — верхняя меховая одежда.

[2] Кисы — меховая обувь.

Долго потом журил Ванька Дровосек своего приятеля за сочувствие «классовому врагу»— старшине. Он старался объяснить, что старшина не только не хотел добровольно уступить революции власть, но и оказал вооруженное сопротивление. А потом вместе с купцами, попами, чиновниками старой администрации принимал участие в подготовке мятежа против революции. Увидев, что до приятеля не все доходит, Ванька Дровосек в меру своих сил старался втолковать «язычнику», что в стране произошла революция и у власти теперь будут не мансийские старшины и не русские богачи, а бедняки, такие, как Ванька Дровосек или как бывший рабочий Тихон Сенькин, сосланный царем за то, что он боролся за хорошую жизнь бедных.

В Березове он и возглавляет Совдеп — Совет рабочих и солдатских депутатов. И хотя он с виду не богатырь — сила у него немалая: пятьсот сердец, пятьсот человек объединились в Рабочий союз. И это — революционный кулак Сенькина!

Синие духи дыма струились, летали. Их стало больше, чем в тот момент, когда вошел Солвал. Стало больше и народу. Они говорили, говорили, говорили... Их было не понять, как и великих шаманов. Их можно было только чувствовать, как и великих шаманов. О чем-то светлом и радостном ведали эти люди в ветхой одежонке с узорами смолы и копоти, будто они собрались на пир по случаю окончания удачной летней путины.

Под конец они все пели хором, как счастливые весенние птицы пели:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный...

Солвал не был тупицей. Но мир, в котором он рос, был настолько далек, что все это он воспринимал как священнодействие нового, не ведомого еще никому шамана.

В дороге

Солвал и Потепка ехали на лошадях, мчались на оленях, тащились на собаках, шли пешком. Даже за пушистый мех не всякий хотел везти странных путников,

отправившихся невесть куда в такое тревожное время. Поэтому нередко от одного дымка до другого приходилось надеяться лишь на свои ноги. А ноги охотника — два выносливых оленя. Пушистый снег — не пушистый мех. Но оленю не страшен сугроб. И тайга дремучая ему не страшна. И белая снежная равнина, бескрайняя снежная даль под ноги стелется — шагать вперед зовет.

Для того и снег, чтоб скрипеть под ногами путника. Для того и земля, чтоб шагал по ней человек и открывал для себя святую тайну. А в каждом уголке земли великой — своя маленькая и большая тайна. А для манси на земле слишком много тайны. Солвал и Потепка шли, чтобы разгадать ее маленькую загадку: что происходит на земле и с кем манси быть, как вести себя?

Солвал и Потепка продвигались вверх по Оби.

...Еще в сказочные времена задумывались манси: «Кто же живет в верховье великой реки? Какие там люди? Не съездить ли нам туда?»

Собрались люди, поехали. На лодках вверх по Оби поплыли. Видят: по сверкающей глади реки плывут плоты. На всю реку плоты.

«Кто их сделал?— думают они.— Наверно, великаны какие-то?»

Припасы кончились. Голодать стали.

— Хватит,— говорят.— Вернемся назад. Пусть двое едут, смотрят землю. Много ли им, двоим, пищи надо!

Снарядили двоих, а остальные отправились обратно. Плывут два манси, смотрят землю, реку, небо. А плоты, как тучи, плывут и плывут. Кажется, еще больше становятся. Однажды слышат звон топора. Видят: мужик что-то рубит. Только он какой-то необыкновенный. Высокий и большой. Тело у него в шерсти, будто беличий мех на нем. Сам голый. Видно, от жары одежду скинул. Лишь у пояса тряпочка.

— У, какой великан. Может, это менкв?! — говорит один.— Страшно даже смотреть! Не повернуть ли нам назад?

— Обь смотреть плыли, вести привезти ехали,— говорит другой,— вернуться назад?! Что нам скажут люди? Кто с полдороги раз вернулся, тому никогда больше не увидеть счастливого пути!..

Подъехали к берегу. Один остался в лодке, другой пошел к великану.

— Пася, дедушка! — кланяется манси.

— Здравствуй, здравствуй, внучек! Что это твой при-

ятель не выходит из лодки? Вы меня уж не бойтесь! Хотя мой отец и менкв — злой Лесной дух, но я люблю топор и труд, а не человеческое мясо. Не трогаю я людей.

Вышел из лодки и второй манси.

— Вы куда это путь держите?— спрашивает великан.

— Мы едем смотреть верховья Оби. Все манси хотят знать: кто живет в начале нашей великой северной реки, какими людьми облюбованы ее песчаные да лесистые берега.

— Здесь и дальше людей нет. Мы, менквы, хозяйничаем. Что это вы так долго ехали? За три дня до этого я уже почуял, что вы на лодочке плывете. Мы эту Обь в два шага перешагиваем... Вы уж дальше не ходите! Возвращайтесь к своему берегу и передайте: в верховье Оби злые лесные духи живут, людоеды хозяйничают,— говорит добрый великан, протягивая что-то большое пришельцам.— Берите, не стесняйтесь, ешьте! Это я кусочек мяса на обед брал...

— Ну и кусочек! — вздыхают оба.— До лодки не дотащишь, за неделю бедному человеку не съесть!

«Как это мы возвратимся назад? Для чего тогда нас посылали? Может, пойдем в их деревню, посмотрим их дома, узнаем, как они живут?»— задумываются манси.

— Внучата вы мои! Не послушаетесь — пожалеете! Пойдете — не возвратитесь: не отпустят они вас, убьют.

А человек хочет знать. Что за деревьями — хочет он знать! Что за рекою — хочет он знать! Что за горами — хочет он знать! Что в небесах — хочет он знать! Что под водою — хочет он знать! И манси поехали дальше.

Долго ли, коротко ли ехали — увидели деревню. Дома большие, выше деревьев. Пристали. Зашли в один из них. Из угла в угол великан ходит.

— Па! Па! — восклицает он, поглаживая бороду, похожую на веник.— Па! Па! Таежные птички прилетели.

Растопляет он каменную печь. Напевая песенку, поглядывает на пришельцев. Когда пламя разыгралось, он хватает одного из путешественников, переламывает ему спину — и в печь. Долго ли, коротко ли жарил — вытащил свою жертву из печи, очистил от копоти и, чавкая, жадно стал есть.

Второй манси был ни жив ни мертв. Своими глазами он видел ужас, своими ушами он слышал стон человека и звериный лязг зубов людоеда, своей живой душой он пережил смерть товарища. И за одно это мгно-

вение он пережил семь смертей и семь раз воскресал. Семь раз был в темном подземелье — могильном царстве страданий и ужаса, семь раз мысленно возвращался в родной мансийский край, где плещет жизнь. И не одну думу передумал! И не одну истину успел понять!

А между тем людоед молвил:

— Сердце мое насытилось. Того завтра съем!

Свалился на нары, захрапел.

А манси тем временем — к двери. Дверь большая, тяжелая. Толкает ее, толкает — никак не открыть. Наконец появилась щель. Еле выкарабкался из нее. И бежать к лодке.

Оттолкнулся от берега и по течению поплыл. Доплыл до доброго великана. Тот спрашивает:

— А где же твой приятель?

— Его убили!— отвечает манси.

— Я же говорил, какой ужас ждет рискнувших узнать больше себя.

Этот манси добрался до дому. Он и рассказал, что в верховьях Оби нет людей. Там одни людоеды-менквы живут.

А земля, как в сказочные времена, дышала невероятными слухами. Вести черные неслись по земле быстрее вьюги черной. Чем дальше — тем тревожнее становились они. И Солвалу казалось, что черные духи где-то совсем рядом, и вот-вот что-то произойдет прямо перед его глазами, и его таежный ум прозреет, и наконец-то он сможет принести народу своему весть, достойную правды, увиденную своими глазами, понятую своим сердцем.

Но недалеко от Белогорья Потепка исчез. Вместе с ним исчез и мешок с мехами. Солвал остался ни с чем. Но решил не ворочаться назад, пока не узнает, что «представляет из себя Революца», какой это дух и где правда... Пришлось продать узористые кисы и белую парку с нежным мехом молодого оленя.

Часто голодал. Нанимался на несколько дней на работу к кому-нибудь зажиточному, зарабатывал кусок хлеба, мяса или рыбы и шел дальше.

Он знал предания, как много веков назад посланники манси ходили пешком даже до самой Москвы и решали с царем волнующие народ вопросы.

Почему исчез Потепка, Солвал не знал. В последнее

время ему казалось, что он пытался с ним поссориться. Но Солвал не шел на ссору. Знал: не за этим послали люди. В каждом новом стойбище, в каждой деревне, хантыйской или мансийской, Потепка выдавал себя за великого шамана, требовал жертвоприношения... То прикидывался певцом и танцором, то важным и прозорливым всевидящим, которому народ доверил «своими глазами прозреть мир и принести народу правду».

А в небольших деревеньках, где дома были одни старики, женщины и дети, он прикидывался сказочным героем Эква-пыгрисем и даже сыном бога — самим Мирсу-снэхумом.

Он устраивал камлания, каких Солвал еще не видывал. Когда не помогал бубен и люди оставались равнодушными, он творил невообразимое. Выворачивал нижние и верхние веки, красными глазами глядел на каждого усомнившегося... глотал кольца и согнутые железные гвозди. Через нос просовывал тесемку из оленьей кишки. Вытащив ее через рот, завязывал концы наподобие петли, заставлял таскать себя вокруг огня... Делал вид, что ткнул себя ножом в живот, и тут же показывал на ладонях кровь... А порой накладывал на горло петлю из веревки, заставлял четырех мужиков душить себя. Сам притворялся на время умершим. Потом вскакивал и перед возбужденными и удивленными людьми снова продолжал свое кровавое священнодействие. Испуганные люди несли страшному волшебнику все, что есть.

Немало прошел с ним Солвал. И от его пытливого взгляда не ускользнуло, что эти штучки он выделывал не для того, чтобы задобрить духов и улучшить жизнь людей. Он видел, что Потепка заботится, чтобы больше стало в его мешке. Да и перед ним он уже не играл волшебника, а порой откровенно говорил о цели своих проделок. В отличие от шамана Яксы Потепка считал, что люди глупы, они боятся даже своей тени, не только духов. И поэтому их надо, мол, больше стращать.

«Если научишься делаться страшным, непохожим на людей, то будешь великим шаманом и богатым человеком! — говорил он.— Если понадеешься на один свой ум и священные слова, которым тебя учил Якса,— не многого достигнешь!..»

Солвал видел, как по утрам Потепка приводил себя в «волшебное состояние». Нет! Он не духам молился! Он прыгал как необъезженный конь, извивался всем телом, как скользкий и вьющийся налим, летал на ногах, ходил

на руках. Шевелил бровями и ушами, расширял ноздри и ледяными глазами долго-долго глядел в одну точку...

Не забывал и слово. Священные молитвы старался произнести по-своему. Долго над одним словом возился. Он говорил как щелкал орехи. Пока скорлупа не лопнет — он не бросит орешек. Пока слово не приобретет певучести волшебной, он не перестанет им играть...

Был у него и пятиструнный санквалтап. На нем он тоже каждый день играл... И про голос свой не забывал... Он пел песни. Одни из них невозможно было понять. Другие песни простые, с обыкновенными мансийскими словами и мелодией.

— Где ты научился всему этому?— спрашивал его Солвал.

— На земле, а не на небе,— отвечал он.— В каждом крае земли — свои шаманы. У каждого шамана — свои тайны и хитрости. Я много ездил по земле, много узнал, выпытал...

Потепка ругал старого шамана Яксу. Поносил его за высокомерие к нему, твердил, что Якса бездарен, что он не может даже глотать кольца и извиваться в танце, а надеется лишь на силу волшебных слов да на мягкую душу манси.

Он рассказал случаи, как Якса беспомощно, неумело «творил чудеса», бессовестно обманывал людей.

Солвала возмущала откровенная наглость Потепки. Было больно за Яксу, который с таким вниманием отнесся к нему, совсем еще молодому и бедному. Ему было жаль своего учителя. Но после всего увиденного и услышанного он уже не мог бы боготворить великого Яксу, стал задумываться о шаманах.

Много увидели глаза Солвала. Многому он в этой дальней дороге удивился. Но это?!

Человек убил человека. Убил, не вздрогнув. Будто раздавил комара. Человек убил человека и вынул сердце. Живое сердце ежилось в его больших руках. Дрожало, как на морозе. Плакало сердце. Красными слезами заливалось. Не задумывался он над красными слезами, которыми истекало сердце. Нет!

Человек вонзил в живое тело другого человека отточенную сталь штыка. И теперь уже не на грязной ладони корчилось сердце, а на горячем лезвии. Он поднял свое чудовищное железо над головой и пустился в пляс.

Он хохотал, как счастливый весенний халей[1]. Руки его в горячей крови, а он почему-то был бесконечно весел.

Нет! Это было не похоже на человека!

И даже на зверя не похоже! Зверь плясать не будет Не посмеется он над смертью. Кровь попьет, насытит чрево и поплетется восвояси.

Убьет охотник росомаху. И за кровь пролитую он извинения попросит. За жизнь, отнятую у злого зверя, он прошепчет молитву. И хотя он не устроит игрище искуплений, он с почтением кладет шкуру низведенной росомахи в священный ящик, где идолы богов хранятся.

— Росомаха — зверь зверей. Не от нее происходят люди. Но росомаха — младший брат медведя. А медведь — таежный дух — людям очень близок. У всех одна на свете радость — жизнь. Разве можно так жестоко отнимать святую радость?! Корчилось сердце человека на лезвии штыка. Чудовище с лицом человека винтовкой размахивало, бешено хохотало, плясало.

— Кто это?! — вскрикнул Солвал.

— Белый! — прошептал сосед.

А соседей было много. Всех согнали на берег большой реки. Там стояла большая огненная лодка — пароход. В этой огненной лодке люди с ружьями ходили. «Нет большой охоты летом. Зачем же тогда оружье людям? Неужели на земле стало мало зверей пушистых? Зачем же люди стали охотиться друг за другом? Неужели весело глядеть, как разрывают грудь и вынимают сердце?! К чему это игрище затеяно?! Неужели боги так упали, что стали просить в жертву человека?!»— думал в смятении Солвал. Резвыми оленями скакали мысли, копытами острыми стучали в душу, давили сердце тяжелыми полозьями...

Сияло солнце. Но не в глазах. Сияло солнце на штыках. В каждом доме таежного селения в это утро сияло солнце на штыках. Из каждого дома выводили мужчин и на берег гнали. Кого-то в огненную лодку сажали, кого-то в воду бросали, кому-то сердце вырывали, а потом плясали...

— У кого вырывают сердце?— спросил со слезами в голосе Солвал у соседа.

— У красных! — прошептал тот.

---

[1] **Халей** — большая чайка. Она промышляет у сетей рыбаков, портит попавшую в сеть рыбу.

Раньше Солвал знал про белого и черного духа. Но почему добрый белый дух стал злым и коварным?!

Может, мир перевернулся?! Может, начался священный потоп?! А может, у русских просто свои понятия?!

— Кого вталкивают в пароход?! За что?!

— Он сочувствовал красным.

— Кого бросили в воду?!

— Красного!

— За что?!

— Он хорошей жизни хотел!..

— Разве это плохо?!

Солвал мечтал о хорошей и богатой жизни. Длинные вечерние думы были длиннее зимнего вечера. Сладкие утренние сны были слаще спелой морошки. Снилась ему жизнь светлая, как весеннее утро, богатая, как рыбистое лето. Богатой жизни хотел бедный Солвал... Неужели за это и его схватят и под огонь железа поставят?!

И его схватили. За что?! Не понял этого Солвал. То ли за то, что хотел заступиться за женщину, которую волокли по земле два пьяных чудовища с железными руками, то ли за то, что крикнул какое-то слово, не понравившееся им.

...Его втолкнули в темный трюм. Прокатившись куда-то вниз, он хлюпнулся обо что-то твердое и скользкое. От удара на мгновение потерял сознание. Но скоро стал приходить в себя.

Нет, до «себя» ему было еще далеко. Он был в каком-то странном состоянии. Ему казалось, что он уже на том свете. В душе его ожили видения темного царства — царства мертвых. Чуть заметно колыхались тени. Чьи-то стоны и вздохи. Кто-то пел — как будто плакал. Кто-то плакал и шептал страшным шепотом могилы...

«Будьте милостивы к мертвым,— так гласит одно предание.— Чтите память вдаль ушедших, помня, что в темном царстве тени их живут и помнят вас, оставшихся на земле. Чтите память ушедших, поминайте в чумах чаще, соблюдайте все законы, и тогда народ не вымрет...»

Свято соблюдают манси заветы дедов. Кладут в могилу посуду для еды, одежу, лук и стрелы. Все, что нужно человеку на этом свете, то и должно быть там: нитки, шило, трут и кремень, сети, нарта, острый нож.

«А меня не так похоронили,— мелькнуло в мыслях Солвала.— Ничего у меня не будет! Неужели душа моя исчезнет бесследно?!» И как бы в ответ он слышал ве-

щий голос шамана Яксы: «Будьте милостивы к мертвым, смерть и вас на перепутьях караулит терпеливо... Все рожденное не вечно, все умрет, и день вчерашний не придет и не вернется... Только сильные шаманы вновь рождаются, приходят, но в других уже личинах, под другими именами...»

Тяжелый комок подкатил к горлу. Слезы зависти к живущим душили его. Ему было жаль расставаться с жизнью. Ведь он лишь одним глазом увидел солнце. Человеком еще не почувствовал себя. Не стал настоящим шаманом...

Голос Яксы таинственно исчез. Нет! Никакого Яксы и не было. Это просто его слова, запавшие в душу, в нем на миг проснулись и снова уснули.

...А в темном царстве было душно и жарко. Пахло навозом. Чувствовалось движение чьих-то теней, раздавались чьи-то вздохи и стоны.

Сон Мирсуснэхума

...Туча черная закрыла золотой глаз солнца. Ветер — мужик на звонкой нарте — проехался по туче. А потом, надув щеки, начал дуть на нее с краю. Черная туча дрогнула и тихо двинулась в сторону, где снег рождается.

«Э-ге-ге!»— крикнул ветер на своих оленей и помчался вслед.

Когда хореем гнал оленей — тогда молнии сверкали. Когда быстро мчались нарты — тогда гром гремел. Уставали когда они — туча плакала дождем. Мирсуснэхум не слышал грома, не чуял ветра и дождя. Он спал богатырским сном и видел вещий сон. Будто у огня сидит старец. В руках у него бубен и колотушка. Под ритмичный звон бубна он такие слова говорит:

— Я вижу, о чем ты думаешь, я знаю, что ты хочешь сказать. Я твою душу читаю как книгу белую. Только мне никакой книги не надо. Я так все помню. Много лет прожил я на свете и мудрость копил, как некоторые копят монеты.

Слушай,— продолжал старец,— в твоей душе глубокой я вижу духа. Но дух тот еще не созрел. В твоей душе белый дух воюет с черным. Белый дух — добрый дух. Черный дух — нежелание делать доброе живущим. И теперь ты на распутье двух дорог жизни.

Слушай, сын мой,— продолжал он,— запомни, что тебе скажу. Изгони из сердца слабость, не бойся испытаний как храбрый воин. Валяться на шкурах в чуме, есть оленину и рыбу, запивать все теплой кровью — и глупец умеет. Лишь тот, кто выберет дальнюю дорогу и пойдет вслед за мечтой, кто дерзнет похитить тайну, скрытую от живущих, тот имя доброе заслужит.

Собирайся в дальнюю дорогу. Побывай в Нижнем мире — в царстве теней. Там хозяйничает злой Куль. Души людей умерших в его власти. Послушай мертвых. Ты, Мирсуснэхум, можешь видеть мир насквозь. Но если твои глаза будут скользить лишь по вещам, равнодушно пройдут мимо горя, то какая цена твоему громкому имени?! Если сердце твое примет чужую боль как свою и, наполнив мысль пережитым, будет искать исцеления других — богатырем можешь стать. Иди, борись с врагом людей — менквом. Поднимись в Верхний мир — на небо. И все расскажи небесному отцу Торуму.

В этом великом подвиге ты не бойся смерти. При встрече с Торумом держись смело. «Бог велик — ничтожны люди»,— так обычно говорят. Но кто первым из живущих войдет в небо, перед ним боги бессильны. Кто заслужит бессмертие, тот будет подобен богу. Воспользуйся этим не для себя, а для народа. Пусть он укажет путь к счастью.

Хватит спать. Просыпайся. Колыбель свою — дом отцов, родную речку — вспомни. Подыши настоем детства, но долго в нем не оставайся. Собирайся в дальнюю дорогу...

В царстве теней

Из толстого и высокого кедра вырубил Мирсуснэхум легкую лодочку-калданку. Весло с узором вырезал. Сел на калданку, как рыбак, и поплыл вниз по течению.

Плывет он по Оби. Волны плещутся, скачут белыми песцами, рычат росомахами. В одном месте он увидел великую заводь. Там вода кружится, будто кипит. Пролетит случайно над заводью птица — ее закружит, завертит, и белая пучина вмиг ее проглатывает. Подойдет к тому берегу зверь — и его втягивает прожорливая заводь...

Не миновал ее и Мирсуснэхум. Закрутило его лодочку. Миг — и он был уже в Нижнем мире, в царстве

теней. Там было не темно. Нет! Там мгла белесая лежала. Будто вечная белая ночь замерла над тихими реками и озерами. На болоте паслись олени без охраны, торопливо мох искали. Их рога колыхались, как кустарник в сильный ветер. Возле речки на поляне вился дымок костра. Чум пустой стоял, две тощие лайки смотрели грустными глазами.

В молчании напряженном Мирсуснэхум чувствовал движение, трепетание чьих-то крыльев: кто-то пел тоскливо. И до его слуха доносилось:

«Моя молитва собольим мехом уже не стелется. Мои глаза высохли, как осенние реки, я уже не могу плакать слезами. Пришелец с живой земли, выслушай мой замирающий стон.

Два начала на земле — это волки и олени. Зло с добром, как волк с оленем, всегда враждуют. Волка кормят волчьи ноги, и зубы у него, как железо, охраняют волчье логово. Олень же беззащитен, как простой рыбак перед купцом, как охотник перед сборщиком ясака. Осетра в сажень берет купец за медную копейку. А ясак... Вспомнить страшно! Десять соболей с живой души, да еще «на поминки», да еще для «поклона царю белому» ...Наши лучшие угодья отобрали, сменив на бутылки огненной злой воды. Обложили наши дымы данью. Черной птицей пролетела смерть, посылая нам болезни.

— Горе! Горе! — причитали грустным шепотом в народе.

«Горе! Горе!»— лес скрипел.

«Горе! Горе!»— стонали птицы.

«Горе! Горе!»— рыдали звери.

«Горе! Горе!»— шептали рыбы».

Жутко стало Мирсуснэхуму от этой песни и равнины с мертвым мраком. Захотелось ему увидеть родную землю, послушать нежный плеск волн живых.

Но не скоро пришлось ему увидеть это. Долго он еще был в царстве теней. Много ему еще привелось испытать.

Однажды захотел он есть. А в реках подземелья также плещется рыба. Ее также ловят. Неводами, сетями, кривдой ловят. Все тем же занимаются души умерших, что и на земле, да только печальнее они и грустнее. Порыбачат, намерзнутся — и к костру. А над костром висит большущий прокопченный котел. В нем уха варится.

«Вот бы душистой ухи поесть!»— думает Мирсуснэхум.

Тени мелькают перед ним, приглашают садиться за столик низенький, быть гостем просят.

Садится Мирсуснэхум, берет кусочек рыбы, жует, жует,— никак не прожевать. Смотрит: трава зеленая. Берет другой кусок. С виду жирный и свежий такой — пожует, смотрит — трава. А уха — как гнилая болотистая вода. Мертвечиной пахнет...

— Вот такой едой питаемся! — стонет кто-то.— Куль — царь подземелья — так вот издевается над нами. На земле не сладко было... А здесь... разве соленым плачем передашь?!

Комариным писком пищат тени. Комариным роем шумят. И молитвы стелются ниже травы, мягче собольего меха. Мольба. Стон. Плач...

С тяжелым сердцем уходил Мирсуснэхум с этого места. Он шел в дом Куля. А дом Куля находился в темном каменном ущелье. Вздохнет Куль — тянет Мирсуснэхума в ущелье, выдохнет — назад относит.

«Не съест ли и меня?— думает Мирсуснэхум.— Может, вернуться назад? Но как же быть тогда с моим именем?! Нет, надо его увидеть! Узнать его слабости надо!..»

Добрался Мирсуснэхум до жилья царя подземелья. Вошел в дом — а там светлым-светло: на стене висит луна, на потолке — солнце. На мягких шкурах лежит Куль. Дышит как курит: из носа и рта вылетают искры. Будто горячий газ выдыхает. Душный газ, смрадный газ. «Откуда у него луна и солнце? Неужели он их стащил, пока Мирсуснэхум странствовал? Как будут жить люди без солнца?!»— забеспокоился Мирсуснэхум.

— Ты зачем пришел сюда?— спрашивает Куль, продолжая лежать.

— Хочу что-то спросить.

— Что ты хочешь спросить?

— А почему у тебя так много комаров?— как бы между прочим проговорил Мирсуснэхум.— В твоем царстве их много, и на земле жужжат, кусаются, жизни от них нет... Убери ты их!..

— А как же я без крови буду жить? Ведь это мои духи! Моя жизнь!..

Помолчал немножко. Потом, ухмыляясь, тянет:

— Наконец-то я зажил: солнце и луна в моих руках. Я их сегодня утащил. На земле вашей теперь темно. Затмение. Солнечное и лунное затмение. И поработают там мои духи! Коровы ревут, лошади ржут. Даже звери сто-

нут. А люди? О них и говорить нечего. Эх! Хорошее время для Куля наступило. Вы все теперь в моей власти!..

Пока Куль бахвалился, Мирсуснэхум вытащил из кармана табакерку. И как только тот поднял на него красные глаза, он дунул в них терпкого табаку. Оба глаза Куля табаком запорошены, оба глаза злого духа смотреть не могут!

Схватил Мирсуснэхум солнце и луну — и бежать из подземелья. Куль за ним погнался. Вот-вот догонит злой дух. Тогда он оборачивается в железного ястреба, а Куль — в чайку.

Летит Мирсуснэхум к проходу в Средний мир — к небольшому отверстию, которое находится между корней золотой березы, что растет на горе у истока Оби.

Чуть его не схватил Куль — да был он уже в Среднем мире, из-под ветвей золотой березы выплывало золотое солнце. И луна на краешке неба повисла. Не успел Куль схватить Мирсуснэхума в своем царстве, в мрачном подземелье, а на земле он той силы уже не имел. Да и Торум уже обнажил свой сверкающий меч.

Куль заплакал:

— Вы будете жить в светлом месте, а я опять — к темноте! Души людей ко мне будут попадать — и пусть тоже в темноте будут.

— Ну, тогда я полсолнца дам,— говорит Торум сверху.

— Какой свет от половины солнца!..

— А не хочешь — так живи совсем в темноте!

Земля под солнцем снова заулыбалась серебряной улыбкой рек, зеленой улыбкой леса, голубой улыбкой лазурного неба. Коровы успокоились, мирно щипали траву. Лошади изредка помахивали хвостами, отгоняя оставшихся комаров, которые не успели спрятаться в тень от ярких лучей солнца. На ветвях кедров плясали белки, птицы защелкали, рыбы заплескались.

Земля опять пела вечную песню жизни.

Но людям и под солнцем было нелегко... Живущих ожидала тяжкая участь мертвых...

Солвал будто очнулся от страшного сна. Он вскочил. Голова его стукнулась о что-то твердое. Откуда-то сверху ползла струйка света. Она прорезала мрак. Солвал видел уже чьи-то тени. Не во сне, а наяву. И стоны, и вздохи были тоже наяву. В этом мраке были люди, а не тени мертвецов.

«Но зачем их заточили?» — чуть не выкрикнул Солвал.

Ощутив рядом лесенку, он пополз вверх, туда, где был свет. Он огляделся вокруг.

Да, это были люди. Скоро Солвал стал их различать. Одни сидели, другие лежали. Одни молчали, другие стонали. И лица у них странные, будто разрисованные красной и синей краской. Словно они только что с Медвежьего игрища, где нарочно разукрасили себя, чтобы духи не узнали их. Но с Медвежьего игрища никого не замуровывают в такую яму, где душный полумрак и пахнет навозом. А одежда у них разодрана.

Смотрит Солвал и глазам своим не верит: перед ним лежит Ванька Дровосек. Лицо его тоже разукрашено, но можно его совсем легко узнать. Это его волосы. Золотистые, как пожелтевшая осенняя трава. Это его лицо — широкое, с веснушками. Это его русский нос, его брови. Только под глазом у него еще одна скула. Синяя, жирная скула. Такой скулы у Ваньки Дровосека не было. И кровяного родимого пятна, что на всю шею расплылось, у приятеля не было. И Ванька Дровосек не может быть здесь. Теперь он уже не батрак. Веселая жизнь у него началась. Не может быть здесь Ванька Дровосек! Это опять ему кажется.

Но человек перед ним вдруг застонал, зашевелился, открыл глаза. Это были его глаза. Озорные глаза Ваньки Дровосека. Только спросонья они еще ничего не видели в полумраке. А Солвал видел.

— Ванька! — вскрикнул Солвал, радуясь встрече.

Внезапным выстрелом, громом прозвучал этот возглас. Все встрепенулись, повернулись к нему. А Ванька Дровосек преобразился. Он словно из другого мира вырвался и принял свой обычный облик.

— Пася, рума! — воскликнул он, совсем как прежде. Будто не было этого полумрака, духоты и множества людей в одной яме.

— Ванька! — произнес опять ласково Солвал, словно поздоровался с ним, словно удивился неожиданной встрече.

— А ты как сюда попал?! — тяжело поднимаясь, проговорил человек в кожаной куртке. Лицо его тоже было изуродовано. Но Солвал сразу признал в нем Революцу. Да, это был он, Сенькин! Председатель. Большевик...

В тот березовский вечер Солвал запомнил его, кажется, навек. Энергичное лицо, задумчивые, чуть усталые глаза...

Нет! Не это. Много раз он слыхал это имя потом,

в своей дальней дороге. В мансийских и хантыйских деревнях судачили всякое. Одни говорили, что это новый русский богатырь, который хочет изменить жизнь на Севере. Другие говорили, что он совсем не русский, а манси. Не простой манси, а древний. Это тот самый Эква-пыгрись, который вечно боролся с купцами и попами, который своим умом и находчивостью не раз побеждал даже самого Белого царя. Только Эква-пыгрись не был белым. Поэтому не мог стать вечным царем, добрым царем. И манси снова оставались бедными. Теперь Эква-пыгрись, наверно, стал еще хитрей: он обернулся в русского богатыря, чтобы спасти все народы от царя.

— Не знаю, как сюда попал! — ответил Солвал.— Совсем не знаю!

Человек в кожаной куртке рассмеялся и каким-то пронизывающим взглядом посмотрел на странного манси.

В этот миг Солвалу показалось, что во взгляде этого человека есть что-то близкое и тайное. Он ему, манси, хочет что-то сказать. Но Эква-пыгрись никогда зря слова не вымолвит, не выдаст свою сокровенную тайну. Тем более что здесь много чужих, непонятных личностей... Лишь глаза его говорят... «Похож на Эква-пыгрися»,— окончательно утвердился в своей мысли Солвал.

Эква-пыгрись никогда не унывал. В любой обстановке шутил, смеялся. Из любой ямы вылезал, из любой западни уходил...

Слышно было, как о борт баржи бились волны, журчали и звенели струи воды. А на палубе иногда раздавался топот. Будто кони стучали копытами. Но ржания не было. На коней это не похоже. Порою что-то там кричали...

Совсем рядом была жизнь. Живая, настоящая...

«Разве трудно уйти волшебному богатырю из такой небольшой ямы, когда рядом настоящая жизнь»,— думал Солвал. Вспомнил он сказки, как Эква-пыгрись уходил от смерти, от своих врагов.

...Однажды царь приказал казнить Эква-пыгрися. Слуги схватили его, втолкнули в кожаный мешок, повезли в церковь, чтобы там казнить. Вся надежда была лишь на священный дом, где духи языческие не смогут помочь Эква-пыгрисю. А то из других мест, как это случалось уже не раз, он убегал. Все думали, что ему нечистая сила — дух — помогала. Привезли его в церковь. Бросили мешок в угол. Поп куда-то торопился.

— Завтра будем казнить!— сказал он и запер желез-

ную дверь на замок. Утром пришел поп. Слышит: в мешке что-то звенит.

— Что ты там делаешь?— спросил он.

— Деньги считаю, золото перебираю.

— Какое золото?!

— Полезай в мешок. Сам увидишь. Чем больше сижу — тем больше денег...

Не дает попу покоя звон золота. Захотелось ему заглянуть в мешок.

Развязывает он тугой узел, всматривается, шарит глазами.

— Ты не глазами, а руками... Золото со дна мешка течет,— говорит Эква-пыгрись.— Залезай сюда...

Не удержался поп. Полез.

— Куда лезешь!— ругается Эква-пыгрись.— Дай мне выбраться. А потом считай, сколько хочешь!..

Выкарабкался Эква-пыгрись. А когда нетерпеливый поп сунул голову в мешок, он втолкнул его и завязал на крепкий узел. Снял Эква-пыгрись с ног кандалы, которыми звенел, как золотом. Нарядился в наряды попа и по сияющей церкви ходит. Между тем явились слуги царя.

— Казнить надо нечистого! Казнить!— молвил Эква-пыгрись.

И повелел он повесить мешок посреди церкви и бить дубинами. Бьют палачи, слуги царя, по мешку дубинами. Качается мешок, ревет мешок. Палачи радуются, что наконец-то удалось им казнить неуловимого манси.

А Эква-пыгрись стоит в сторонке и посмеивается над жадным попом, незадачливыми слугами и над самим царем...

Не раз волшебного Эква-пыгрися хотели сжечь на костре — он уходил. Не раз его бросали в кипящий котел со смолою — он оставался живым. И в яму глубокую замуровывали — оттуда выкарабкивался и снова боролся с попами, купцами, старшинами, с царем...

«И отсюда уйдет,— смекал про себя Солвал.— Глаза у него во какие: насквозь видят!»

Человек в кожаной куртке расспрашивал Солвала о жизни в мансийской деревне. Интересовался рыбаками и охотниками, но не осетрами и соболями. Его пытливый ум хотел знать не об оленях, а об оленеводах. На шамана был похож этот странный русский. Но о шаманах он говорил осторожно, почти с неприязнью...

Не сразу, но Солвал это почувствовал. Ему было обидно за себя. Ведь мечтал быть шаманом. А этот хороший

русский человек таким тоном говорил о властителях мансийских душ!..

И в этом он был похож на Эква-пыгрися, который своей простотой, смекалкой и хитростью не раз побеждал шаманов — земных служителей богов.

Медные ворота [1]

В небе звезды летают. Над землей птицы летают. Почему бы и человеку не летать?! Ведь интересно же знать, что за пятна на луне: то ли это горы, то ли моря, то ли силуэты мальчиков с берестяными ведерками, как повествует об этом сказка.

Нет у человека крыльев — можно выковать из железа коня с крыльями.

Пошел Мирсуснэхум к кузнецу и говорит: «Скуй мне коня, чтоб у него было семь железных крыльев».

Такого коня кузнец сковал. Сел Мирсуснэхум на коня и полетел. Чуть оторвется конь от земли — набок клонится. Невозможно лететь. Привел его обратно и говорит кузнецу:

— Сделай по-другому. Восьмикрылого коня мне сделай.

Кузнец выковал восьмое крыло.

Сел Мирсуснэхум на восьмикрылого коня и полетел. Быстрее птицы летит, быстрее ветра летит, и вся земля перед глазами стелется, и серебряные чаши озер, и зеленые шкуры леса, и голубые ниточки рек увидел сверху Мирсуснэхум. Хорошо ходить по земле, наслаждаться ее красотой. Но издревле человек летал и стремился почувствовать Вселенную.

Долго ли, коротко ли летел Мирсуснэхум в сторону, где солнце спать ложится, кто ведает. Однажды он увидел высокую небесную стену. Но не стал он удивляться ни зубчатой стене, ни столбам, обитым медью, у которых сходились тяжелые ворота на крепких железных петлях. Видел он это в первый раз в жизни. Но старался не показывать виду: боги высокомерны, насмешливы. Увидят — засмеют. Железного коня в карман положил. Подошел к воротам, напрягая дух, постучал и крикнул громко:

— Отворите, кто здесь слышит!

За стеной высокой никто не отозвался. И не скрипнули

Медные ворота — в легендах говорится, что у манси были в древности медные города.

ворота. Он крикнул еще раз. Но никто не отозвался. Тогда в гневе поднял тамгу [1], которую бросил ему Торум, когда спас он солнце и луну. Семь раз ударил ею о медь и потребовал властно: «Отворите мне ворота!»

— Если ты дух, то зачем тебе ворота?— отвечал кто-то высокомерно.— Если пришел смертный, то покажи тамгу. Только смертных я здесь никогда не видел. Лишь слышал издали их слезливые молитвы. Вечно они чем-то недовольны, эти трусы и лентяи.

— Мне удалось отобрать у Куля солнце и луну, которые он похитил у нашего небесного отца. Мне сам Торум дал тамгу.

— Ты прости меня,— взмолился хранитель входа,— эти ворота перед слабым человеком никогда не отворялись. Я вижу, ты и вправду богатырь!..

Поприветствовал его Мирсуснэхум и помчался счастливый к шатрам Торума. Сердце его пело, чувствуя близкую победу. Когда он опять вернется в родную тайгу, на берега журчащих рек, он принесет тамгу жизни. Только какой там будет жизнь? Может быть, там будут такие же города с высокими домами, каменными дворцами? Только зачем дворцам ворота — высокомерные привратники? Неужели и на земле должны быть владыки? Неужели и там владыки отгородятся медными воротами, высокими воротами от простых смертных?! И что будет на земле зеленой?!

Богатырское имя

И вот наконец долгожданное мгновение настало. Мирсуснэхум увидел самого Владыку мира. Он сидел на нарте со спинкой из белой мамонтовой кости. Это был его трон. Рядом улыбалось солнце. И серебряная луна сверкала, как седая голова создателя Вселенной. В синей дымке благовоний, которыми дымились костры, мелькали духи. В окружении божественных духов восседал Торум на троне и правил миром. То один дух наклонялся к его уху и что-то шептал, то другой. То они хохотали, то хлопали в ладоши, то все падали к ногам Торума, то дружно чему-то кивали.

Незамеченный духами Мирсуснэхум с любопытством ребенка наблюдал божественную жизнь.

---

[1] Тамга — клеймо, метка. В данном лучае — знак свободного прохода в царство Торума.

Вот что услыхал Мирсуснэхум.

— Здравствуй, Торум, наш Небесный отец!— кланяясь, говорил пришедший.

— Здравствуй, здравствуй, сынок!

— Дай мне богатырское имя.

— А что, и дам. Без имени — как без глаз. Ты многое сделал и первым пришел. Тебе и дам.

Еще о чем-то говорил Торум с важным слугой.

Потом пришедший трижды склонился к ногам Торума и счастливый пошел прочь.

Дорожка к Владыке, наверно, никогда не зарастет травой. Не успел уйти один — на пороге уже другой. Шапка у него вкривь надета. Видно, этот дух не знает, что шапка у него на голове криво сидит.

— Дай мне богатырское имя!— требует у Торума пришедший.

— Богатырское имя я уже отдал, а другого у меня нет.

— Я первый на своей земле. Первый и сюда пришел. Отдай мне богатырское имя!

— Я же говорю, что отдал. Почему ты думаешь, что только ты первый?

Но дух не унимается и все просит и просит.

— Ладно!— говорит Торум.— Сейчас проверим, кто из вас достойнее. Его я видел по делам,— кивает он на первого.— А тебя еще мало знаю. Раз так настаиваешь — и тебя испытаем.

Привели крылатого коня, которым владел Торум. Связали этих духов за волосы и положили на спину коня. Взмахнул Торум серебряной плетью с вещими словами: «Кто из вас завизжит, тому не будет богатырского имени».

Возил, возил их конь, назойливый дух не выдержал, завизжал от боли. Владыка и говорит:

— Я же говорил, что нет у меня богатырского имени. А разве простое хуже? А может, труднее иметь простое, честное имя?

Глазами ребенка наблюдал Мирсуснэхум суетную небесную жизнь и с грустью думал о грядущем своей молодой земли.

А на ней будет все.

И опять думал: богатыри или обыкновенные люди станут творцами на земле? А может, обыкновенные люди своими мозолистыми руками сотворят чудеса? И они, не требующие богатырского имени, сложат самые задушевные песни, придумают сказки, музыку? Может, они и есть настоящие волшебники?

Духов избирают

Человек не может жить без веры. Женщина верит в любовь. Мужчина — в удачу на охоте. Сын не предаст мать свою, как не предаст и родину. Дочь мечтает о счастье.

А в старину еще верили духам. Дух по-мансийски — Пупыг. Пупыги бывают добрые и злые. Будто от них зависит здоровье, удача на промысле и даже счастье в любви. Духа глазами не увидишь. Лишь образ его — деревянную куклу — ты можешь увидеть в сундуке манси, что стоит в священном углу дома.

Но духи всегда рядом с человеком. Так манси в старину думали. Они, как чиновники, разные должности занимают, разную силу имеют. Торум не вмешивается в жизнь людей. Он управляет миром с помощью своих наместников — легкокрылых Пупыг.

Но Пупыг не всесилен. Каждую весну Пупыг уходит. Куда уходит? На небо. Пока кто-нибудь из людей не изберет его своим. Пупыг — представитель неба на земле. Пупыг — посланник людей на небе. Их избирают, как в старину старшин избирали.

Все можно было попросить через духов, все потребовать; если нужен дождик свежий, чтобы росла молодая трава,— просят люди дождик; если рыба плохо ловится — требуют люди рыбы; если зверь не идет в ловушку — просят помочь.

Если не справляется Пупыг со своими обязанностями, то его сгоняют раньше времени, до весны. С позором сгоняют! Идола несправившегося духа сжигают на костре, разрубают топором или бросают в воду.

Духам верили и не верили. Духам доверяли и не доверяли. Духов выбирали и убирали.

А сейчас? Никогда не гасла у человека вера!.. Только раньше он ждал помощи от духов... Неужели он не дождется ее от людей?

Владыка слушает Мирсуснэхума

Долго ли, коротко наблюдал Мирсуснэхум небесную жизнь, кто ведает. Да только очень устал от этой суеты. Решил скорее высказать свою просьбу — да и на землю.

— А это кто?— удивились духи, когда он подошел поближе к трону.

— Я сын земли. Прошу Небесного отца выслушать

меня,— с этими словами он встал на колени, выкладывая перед Торумом Белый йир, который он принес как жертву.

— Пусть он встанет,— молвил Торум каким-то далеким-далеким голосом, обращаясь к своим духам.

«Неужели Владыка говорит с миром лишь через своих приближенных, через болтливых духов?— подумал Мирсуснэхум.— Ведь они могут закрыть ему глаза на правду».

— Встань, сын земли!— вскричали духи.

Растерялся было богатырь перед ними. Да их чванливость и грубость словно вдохнули в Мирсуснэхума силу.

И воскликнул он:

— Вы такие же, как я, слуги Владыки. Я вам равен. И отец Великий может говорить со мною так же, как с вами.

Переглянулись духи. Уставили молящие глаза свои на Торума. Ничего подобного они не слыхивали от смертных.

И бог заговорил. Он обвинял Мирсуснэхума в незнании законов, обычаев земли и неба, требовал убрать Белый йир: мол, Владыке не нужно подачек. И наконец назвал его безумцем и невежей.

А Мирсуснэхуму словно это и нужно было. Заговорил с ним сам Владыка. И никакой божественности! Даже досадно ему стало. «Кому, как не богу, быть рассудительным и мудрым?— подумал Мирсуснэхум.— Кто, как не бог, может выслушать внимательно пришельца с несчастной земли? А он шумит...»

Мирсуснэхум встал и громко сказал, что он пришел не как невежа и не богатырское имя ему надо, а хочется ему знать: как избавить народы от горя и несчастий. И больно ему, сыну, что Отец печется о каких-то обычаях, а важную весть о своих детях не хочет выслушать. Торум виноват в том, что на земле нет счастья.

Хозяйничает на земле Куль. Он на золотистых оленях скачет по небу — и гром гремит, молния сверкает, золотыми стрелами людей убивает. А комаров в тайге тьма тьмущая. Кровопийцы они. Мучители людей и зверей. А что творит злой дух в царстве мертвых, как он мучает души людей!..

И ни один помощник бога, ни один дух не осмелится вступить в борьбу с Кулем... И только он, Мирсуснэхум, спас луну и солнце. Не испугался и дальней дороги, первый из смертных достиг божественного жилья, первый принес горькую правду о земле, а Отец Вселенной кипятится, не хочет выслушать.

Опустил виновато свою седую голову Торум. И может быть, первый раз глубоко задумался: «А что происходит на земле?!»

Топал-ойка

В глубоком раздумье сидел Торум. Не обращал внимания на духа, который что-то шептал ему в ухо. А у того духа голова чуть стала лысеть. А на бородке три белые волосинки... Это был сам Топал-ойка. Большой это дух. Он с Торумом всегда рядом. Большая у него власть.

Наступает осень. Лед застывает. Сколько в этот месяц можно рыбы добыть? О, не столько, сколько захочешь! Ведь река-то бездонная!

Торум Топал-ойке дает бумагу, где написано: сколько рыбы отпущено на месяц ледостава. Дает Отец Вселенной бумагу и говорит Топал-ойке: «А уж распределить между людьми — твоя воля. Сколько кому хочешь — столько и дашь!»

И весной, в месяц ледохода, Топал-ойка получает заветную бумагу. И в синий месяц ледохода он занят важными людскими делами. Золотую рыбу дает одним, серебряную другим, крупную — одним, мелкую — другим. Знает дух: все хотят кушать. Знает дух и то: не у всех людей вкус одинаковый. Одним пожирнее, другим понежнее. Знает дух и то, что не все рыбы достойны. Силен и могущ Топал-ойка! Потому у него и имя такое.

Ойка — это значит мужик. Но это не простой мужик, как вы все, наверно, уже поняли. Топал — другая сторона. Топал-ойка — потусторонний мужик! Вот какой Топал-ойка. Вот какой дух.

Владыка обещает

Долго думал Торум, опустив голову. Наконец он молвил:

— Спасибо, сын мой, пумасипа! За подвиги твои — пумасипа! За горькую правду — пумасипа! Что думал — в глаза сказал,— пумасипа. Мои духи так не осмелились бы! Не затуманил мой ум красивой ложью — пумасипа! Где мои зоркие глаза, которые должны просматривать мир насквозь? Может, их от жизни земной отводят мои предприимчивые духи? Где мой острый слух, который должен слышать плач земли?! Может быть, уши мои оглушены суетливым жужжанием духов, окружающих меня?! Пумасипа, сын мой! Пумасипа, что задумался я!

Ты пришел с земли просить мою защиту, и путь к счастью указать ты просишь. Ответ мой готов.

На пути ко мне ты проезжал царство теней, где души предков живут без врагов, нужды, болезней, отдыхают от тяжелой земной жизни. Ты видел реки чистые с прозрачною водою; леса, полные зверей; тундру с оленями; чумы со спокойными дымками. Там ветра и мороза нет. Грома и молнии с огневыми стрелами нет. Там не воюют, как на земле. Нет там бедных и богатых. Души светлые ушедших все равны на том спокойном свете. Ты передай народам, что Владыка мира слышит слезы всех живущих и обещает великую награду за страдания земные в царстве мертвых!..

— Нет, такой ответ нам не нужен,— молвил печально Мирсуснэхум.— Какая радость может быть в царстве мертвых! Разве это награда? Так и так они там будут, мои бедные народы... Такого «счастья» им не надо!

Опечалился Мирсуснэхум. Последняя его надежда рухнула.

— Я пойду, скажу народам, что на небе бога нет! Есть чванливые там духи... Я скажу: не верьте им! Не приносите больше в жертву ни лошадь белую, ни курицу живую. Не молитесь солнцу и огню. Вас никто нигде не слышит!.. Я пойду, скажу народам: «Думайте о своей судьбе сами!»

— Успокойся, сын мой,— молвил опять Торум.— Ты герой и богатырь. В смелом поединке ты победил Куля, вернув на небо яркие светила. Ты достоин первого богатырского имени. И я его даю тебе.

Но напоминаю, что и ты виновен в несчастии людей. Ведь я отправлял тебя в Средний мир, просил быть главою над всеми духами, что землею правят. Но ты не исполнил мои заветы. В житейских мелочах забылся, как и твой брат Медведь. И духи без присмотра остались, творя порою неправый суд.

И ты скитался по земле и под землею, нарушая часто законы жизни. Тебя спасало от вечного исчезновения лишь высокое божественное происхождение, да и имя мое громкое... Умерь свой пыл, сын мой! Успокойся!

Я тебя прощаю. Снова сыном называю. Имя громкое возвращаю. Отныне снова ты Мирсуснэхум — мой первый помощник, правитель земли, глава всех духов. Отвечай же: что надо делать на земле?

— Мирсуснэхум, Мирсуснэхум!— зашептались духи.

— Оказывается, жив он.

— Где же он пропадал?

— Почему его так долго не было?

— Может, не он?

Торум обнимается с сыном. Он-то уж знает, кто есть кто! И Мирсуснэхум словно переродился, смутные видения небесного детства ожили в его душе. И он потянулся к Отцу, и все божественное в нем вновь проснулось, а земное — растаяло, как туман под взглядом жаркого солнца... В один миг позабыл и про молитвы землян, и про свое обещание принести на землю счастье.

«А почему боги не хотят дать людям счастье?»— задумался Солвал.

С молитвами обращались манси к Торуму. Не раз просили Мирсуснэхума поведать небу о горькой доле землян. Молили бога избавить народы от бед и несчастий. Выдумали сказку о восьмикрылом коне.

Человек в кожаной куртке расспрашивал и о мансийских богачах. Их можно пересчитать на пальцах. Немного было их, а Солвалу хотелось, чтобы все были богатыми. Не понимал он, почему хороший человек в кожаной куртке с такой желчью говорил о богатых. В этом он, правда, был схож с Эква-пыгрисем.

Солвал очень обрадовался, когда услышал, что и человек в кожаной куртке — новый русский богатырь — тоже хочет хорошей жизни. Только непонятно, почему его за это схватили и заперли в эту яму и куда-то везут. И Ваньку Дровосека, оказывается, тоже схватили за то, что он не захотел быть вечным батраком, а решил бороться, чтобы все были сытые и свободные...

Многое Солвалу казалось еще туманом утренним. Лишь от слова к слову, которыми они так щедро обменивались, становилось ясно, что перед ним сам Эква-пыгрись. О нем много-много сказок.

Эква-пыгрись... Это не имя. Эква-пыгрись... Это значит: сын женщины, внук бабушки. У него нет ни отца, ни матери. Одна лишь бабушка, да и та старая-старая. В одних сказках он живет в лесу, а в других — под горой в избушке, которая вот-вот свалится. А на горе хорошие дома стоят.

В ту деревню Эква-пыгрись бегает лишь играть да шалить. Эква-пыгрись — смелый, находчивый мальчик. Ничто не ускользнет от его острого зрения, чуткого слуха.

Однажды сыновья богача возвращались с охоты.

— Знаешь, я нашел дом священного зверя — берлогу нашел. Пойдем завтра утром на медведя!— говорит один другому.

Услыхал это Эква-пыгрись и говорит им:

— Вы идете завтра на медведя? Возьмите меня с собой!

— Какой из тебя охотник! Иди прочь!— смеются те.

Эква-пыгрись упрашивает их, умоляет. Один из них сжалился:

— Ладно, пусть идет!

Обрадовался Эква-пыгрись, побежал к бабушке. А у нее дома валялась большая трехгранная игла. Вычистил ржавчину, поточил — получилось копье. В углу лежало еще какое-то тупое железо. Поточил его — топор получился.

Рано утром, когда солнце только-только расплетало золотые косы, три охотника пошли в тайгу.

Как только из берлоги выскочил разбуженный медведь — засверкали пятки братьев, и Эква-пыгрись остался один на один со зверем. Идет зверь на него, Эква-пыгрись идет на зверя. Заносит топор над головой — и ударяет соперника. Потом копьем острым колет. И лежит священный зверь у ног мальчишеских.

Снял Эква-пыгрись с таежного собрата шубу, уложил его в люльку из трех черемушьих обручей, на нарту поставил и с восклицаниями таинственными, с криком звериным к городищу покатил.

А там, услышав эти вещие звуки, все радуются: «Одним добрым духом больше стало, одним зверем диким меньше стало!» Все бегут навстречу, снегом друг друга моют, водой плещутся, собаки лают, старики, как дети, играют...

А бабушка, счастливая бабушка, посреди улицы стоит и улыбается внуку, людям улыбается. Сыновья богача, хвастливые сыновья, за углами домов прячутся. А Эква-пыгрись — вчерашний уличный мальчик — у головы медведя сидит. Он сидит молча, как настоящий охотник, вернувший лесного зверя в мир божественных духов...

А когда душистое медвежье мясо задымилось на столах, трусливые богатые братья были тут как тут. Губы их лоснились от жира, а в глазах млела тупая сытость. А соседям шептали:

— Это мы низвели в лесу живущего!..

Скоро об этом знали уже все.

Эква-пыгрись не стал спорить. Чтобы не делить шкуру убитого медведя, он отдал ее им. Они себе и лучшие куски мяса отобрали.

Был Эква-пыгрись сиротой — лучшим охотником стал. Убивал медведя один, а шкура досталась другим...

Вспомнил тут Солвал и сказку, в которой Эква-пыгрись первый раз увозил в большой город шкурки, а привез домой

пустую нарту. Вспомнил и про живую воду, и про царя, который забрал мех и ничего не дал взамен.

В памяти всплыли и жирное лицо приказчика купца, и хитрая улыбка Яныг-пуки. С такими Эква-пыгрись боролся. Русский богатырь Сенькин тоже встал на этот путь. И он хочет, чтобы Солвал за ним пошел. Об этом он говорит прямо, не таясь. Не как шаман Якса, которого не сразу поймешь, чего он хочет.

— Сколько лет ты батрачил у своего мансийского богача?— спрашивал товарищ Сенькин Солвала, по-особому спрашивал, как будто будил.

— Три года,— отвечал Солвал.

— Что заработал?

— Два мешка муки. Десять рублей денег. Теленка...

— А сколько на тебе заработал богач? Подумай...

Солвал думал. Но разве можно сосчитать, сколько тысяч верст пробежали мальчишечьи ноги, поднося хозяевам дома одно, унося другое?! Разве человеческий труд может иметь какую-то цену?

Раньше Солвал над этим не задумывался. Был он будто не самим собой. Были у него руки юркие, ноги проворные, лишь головы, оказалось, не было. Головой его был Яныг-пуки. Он и думал за него. Куда укажет хозяин — туда бежали ноги. Что скажет хозяин — то делали руки.

Потом его головой стал шаман Якса.

«Неужели нельзя жить своей головой?— думал теперь Солвал.— Неужели человеку нельзя быть свободным, самим собой?!»

Словно уловив его мысли, Сенькин сказал примерно вот что:

— Человек должен быть хозяином своей судьбы, а не рабом. Чтобы стать самим собой — надо ему освободиться. Один человек никогда не освободится от власти богатых. Поэтому рыбакам и охотникам, батракам и рабочим надо вместе выступить против богачей, которые веками жили их трудом. Богачи власть свою просто так не уступят. Штыками и пушками, железом и сталью будут они защищать право быть хозяевами над другими!.. Но если угнетенные все будут заодно, то богачам несдобровать!.. И наша революция тогда победит!..

Многое Солвалу было еще не ясно. Но что-то важное он уяснил себе. Теперь он знал, что Революца — это не один человек. Революца — это много людей, решивших сделать жизнь другой. Революца — это большая охота на волков. В старину волков считали священными. И поэтому

они безнаказанно убивали оленей, пили кровь... Смотрели, смотрели люди. Терпели, терпели люди. Всякому терпению есть предел. Переполнилась душа людей гневом и ненавистью. Ринулись люди на волков, сломав священный завет старины. Уничтожали кровопийц. Стадо оленье было защищено. Нарушен древний обычай, но жизнь от этого стала лишь лучше. Революца — это когда нарушают старые обычаи... Революца — это когда жизнь становится лучше!.. Знал теперь Солвал: Революца не дух! Знал теперь Солвал: Революца — жизнь!

Смотрел Солвал на Сенькина, на Ваньку Дровосека и других товарищей и думал о человеке.

Не все такие, как вертлявый Потепка или прожорливый Яныг-пуки, как поп Иван или пузатый приказчик. Есть, оказывается, настоящие люди, которые думают не только о себе. В этом полутемном и смрадном трюме побитые, израненные люди называли друг друга добрым и светлым словом: «Товарищ!»

Здесь поддерживали друг друга не только теплым словом, но и по-братски делились скудной похлебкой, которую иногда подавали сверху вооруженные железные идолы. Сильные не забирали себе большую часть еды. Наоборот, они старались накормить сначала самых слабых и больных. Ведь многих изуродовали так, что трудно было узнать...

Но эти люди продолжали верить не только в свое спасение, но и в счастливое будущее всех, кто еще вчера был гоним и беден.

Человек... Какой он? Нет, совсем не права старая мансийская сказка, что человек слаб и зол.

«Нет. Не права сказка. Эти люди даже в беде красивы и сильны»,— думал Солвал.

— Мы спасем тебя,— сказал однажды Сенькин.— Делу революции, делу Ленина очень нужны верные товарищи в таежных деревнях и стойбищах. Выберешься отсюда — сразу уезжай в свою деревню. Расскажи людям, что видел и слышал. Передай сородичам, что у простых рыбаков, охотников, оленеводов есть большой рума, верный товарищ Ленин!..

Ленин... Про него Солвал вроде бы не слыхал раньше. В тайге свои сказки, легенды, свои богатыри и герои. Дремуча она. Дика и глуха. Звуки новые непривычны таежному слуху. Свист ветра, шум ветвей, хруст снега — лишь эти вечные звуки ему ясны и понятны... Но и в тайге зима не вечна. Приходит весна — и зеленое таежное небо звенит, курлычет, поет... Даже таежный глухарь поднимает к небу

красные брови и вслушивается в незнакомую песню перелетных птиц. Но что поймет глухарь во внезапно возникшей музыке весны?! И небо остается небом, тайга — тайгой...

Ленин... Это имя Солвал слыхал в своей дальней дороге. Звучало это слово для Солвала как таинственная и волшебная песня весны. Было оно непонятно. Но его произносили люди как молитву и заклинание, как надежду на счастье.

Много рассказывал Сенькин о Ленине. Солвал слушал это, как когда-то сказки. Слушал и думал. Понял одно: Ленин не похож ни на одного из сказочных богатырей. Главное оружие его — не огнедышащее железо, не стрела ядовитая, не копье острое, а слово... Многого Солвал не понимал, но ясно было ему одно: бедные должны объединиться и сообща бороться за свое счастье.

Ленин не похож даже на Эква-пыгрися. А вот Сенькин похож. Он, наверно, и есть настоящий Эква-пыгрись. Новое время настало — в новой личине проснулся старый мансийский богатырь, человек из бедного рода.

Новое время настало — новые дороги к счастью. Помощником мудреца Ленина захотел быть Эква-пыгрись, товарищем Ленина захотел быть Эква-пыгрись. Хорошее слово: товарищ.

Не стать ли Солвалу тоже товарищем?!

Возвращение

Есть ли на земле счастье?

Есть! Это счастье возвращения на родину!

Сердце Солвала плеснуло в груди большущей рыбой, когда он увидел устье родной речки, где прошло его детство. Берега Оби такие же, как и берега речки детства. Но по незнакомым берегам лишь любопытный взгляд скользил, а сердце дремало. За многие дни путешествия, когда он плыл на лодочке вниз по Оби, примелькались эти низкие, однообразные берега с кустами черемухи и тальника.

Но такой же зеленовато-желтый тальничек, по колени плескавшийся в такой же желтовато-мутной, разлившейся обской воде, вызвал в груди Солвала невообразимое волнение. Он глядел на тальничек, как на родного братца, с которым вместе играл и рос. Маленьким был тальничек — помнит Солвал. Маленьким был Солвал — помнит тальничек. Повзрослел тальничек — видит Солвал. Возмужал Солвал — видит тальничек.

А старая черемуха качнула корявыми ветвями, приглашая осенью опять отведать черноглазых ягод. А тропинка узкая, лежавшая в тени черемушьих ветвей, поманила Солвала опять пройтись. А тропинка та живая бежала, осторожно обходя густые кусты смородины светло-зеленой. Она опять привела Солвала на берег круглолицего озера. Улыбнулось озеро серебряной улыбкой. От радости неожиданной всплеснуло руками: подняло к небу острокрылых уток!

И долго-долго держало крылатые руки свои над головой седой. Долго говорило, причитало, крякало голосами уток, гусей, куликов.

«Не забыл ли, сын мой, как получил ты здесь первую добычу — золотистоголовую утку?»— проквакало озеро лягушачьим голосом.

— Спасибо тебе, озеро! Как забыть такое!— ответил тихо Солвал.

Склонив три раза голову, к лодке своей направился. Опять вода журчала, звенела, смеялась, пенилась. Это журчание милое ему вдали снилось. В заводи кружащей звонко плеснула рыба. И эта рыба не раз плескалась в снах его далеких, тяжелых. И кедры зеленокудрые, что стоят на берегу высоком, не раз во сне шептались: «Вернись-ка, сын, вернись. В краю родном тепло. Тебя заждались люди. Жаждут они узнать, какие вести привезешь ты им». За кедрами — дома. А в домах — люди. Заждались они. В мире мены-перемены. И люди хотят знать: на какой стороне им стоять?

Но какая бы мена-перемена ни произошла в мире, встреча с родной колыбелью — счастье!

Приезжает человек из дальнего странствия — к его огню люди тянутся. Кто поприветствовать, кто узнать новости, а кто и просто погреться у его огня. А огонь в доме Солвала сегодня щедрый. Рыбаки приехали. Солвал приехал, и рассказ его длинный, как дорога, как жизнь. Он поведал сородичам все, что видел и слышал.

...Удивились сородичи его рассказу. И особенно побегу с «баржи смерти».

— Наверно, добрый дух помог!— рассуждали они.— А то как выбраться из этой «ямы», где люди превращаются в «тени»? Попадешь в лапы злых — не уйти живым... Чудом ты спасся...

Солвал сам еще толком не разобрался, как случилось это волшебное освобождение.

...Однажды среди ночи раздались выстрелы... Топот, крик, стон, шум... Открылся люк — и все ринулись на палубу.

В белой мгле белой ночи сияли красные звезды... Этих волшебных людей с волшебными звездами на шлемах обнимали те, кто томился в барже... А вчерашние хозяева этой баржи были связаны. На пароходе, который стоял подальше, раздавались еще выстрелы.

— Ты свободен!— сказал торжественно товарищ Сенькин.— Езжай скорей на родину! Расскажи о революции. Новую жизнь надо строить...

Вдали виднелась деревня. А на берегу стояла лодочка... Вода в реке журчала. Струи пенились, звенели... Солвал знал: поплывешь по течению — будешь дома.

За чаем из душистой чаги Солвал узнал и о событиях в Хомрат-павыле и в других мансийских селениях.

— Солдата Ваську повесили...

— Как? Разве люди могут так поступать?

— Может, он сам лишил себя светлой жизни?

— Нет, не сам!

— Тогда, наверно, духи — людоеды менквы?!

Это тот самый солдат Васька, который в царской армии служил и первый принес весть, что царя больше нет, а есть Революца.

Повесили солдата Ваську, двух молодых манси с собой забрали, порезали коров, лошадей угнали, порылись в сундуках — шкурки искали...

Нет, это были не духи, не менквы! Даже злые лесные духи менквы — вечные враги манси — никогда так не ожесточались.

У этих были глаза, руки, ноги... Но глаза их высматривали не красоту земную, а искали жертву. Руки их искусно держали не нож мастера, а нож убийцы. Ноги их шли по земле не для того, чтобы познать ее волшебную тайну.. Кто же тогда они?

— Белые!

Духов злых много. Но белых было больше. Где прошли они — весенний снег превратился в черный камень. Где касались их руки — выступала кровь из земли...

А привел их в деревню березовский старшина. Он и указал на солдата Ваську... Нет, он больше не манси! Он даже не зверь! А ведь был главою манси. В поисках справедливости шли к нему люди. С двумя мировщиками он разбирал житейские тяжбы. В нем искали правду и защиту... А на деле вот что в нем оказалось...

Не хотят больше манси старшинам верить. Подумают теперь они о своей власти... Но кому доверить власть? Заговорили о боге и шаманах...

Все посмотрели в сторону Яксы и Солвала. Солвал рассказал, что был в Белогорье. На месте, где, по преданиям, было капище и гнездо вещей птицы — Золотого лебедя, теперь пепелище. Там и трава не растет, и деревья не веселят глаза своей свежей зеленью. Нет теперь самого большого священного места всего Севера.

Шаман Потепка, который и раньше увозил туда дары народа, еще не доходя до Белогорья, исчез. Рассказал о нем Солвал. Кто-то и призадумался.

— Смутное время настало,— заговорил Якса.— И все из-за того, что люди богов забыли, жертвы не приносят, молодые старших не слушают, сквернословят, бранятся. Что такое Революца?— хитровато блеснув глазами, продолжал Якса.— Это же всемирный потоп. И был на земле он уже не раз.

И Якса рассказал...

Человек давно живет на земле. Жил еще до ледяного века, когда вся земля была зеленой и теплой. Потом наступил век вечного льда. А затем век священного потопа... Сначала солнце не уходило с неба. О зиме и холоде люди совершенно не имели представления... Все были сыты и счастливы...

Но от безмерного счастья люди слепнут, глохнут, становятся бесчувственными. Зато язык у них вертится лопатой, бранные слова вылетают. Над обычаями эти люди смеются, куражатся и руки в ход пускают.

Долго был человек сытым и счастливым, так долго, что весь белый свет, вся Вселенная наполнилась человеческой бранью. Не щадили ни отца, ни матери. Тяжко стало честным ушам.

Помутилась душа и у Отца Вселенной. Задумался Торум: как очистить мир от сквернословия? И решил он: пусть в течение семи дней во всей Вселенной станет темно, семь ночей и дней пусть гуляют по небу каменные тучи и вместе с дождем на землю падают камни. И деревья высокие пусть трещат и ломятся, и трава низкая пусть не сможет устоять. Грязное и злое тогда с земли смоется. И людишки ничтожные под водой бурлящей превратятся в прах. А у кого нет вины — тот останется. Человеку, чистому душой, не страшен священный потоп. От него и продолжится новый людской род...

От оставшихся людей, видно, и пошел род манси. Потому что о потопе много говорят старики, много помнят. И счет времени нового человека с потопа ведется. А это было много тысяч лет назад. Вот какие манси.

А потоп тот, сказывают, был страшный. Не было дерева, вершина которого осталась бы незатопленной. Лишь седая голова старика Урала осталась недоступной воде, сметающей на своем пути все живое и вечное.

И часто на одном плоту плыли ящерица и волк, змея и человек. Волк не скалил зубы на ящерицу, лось не поднимал рога на медведя, соболь не пытался есть белку, росомаха не рычала, не показывал свою ловкость человек. Он присмирел, как и все звери. Что их всех примирило? Может, вчерашнее зверство и сегодняшний страх? А может, жизнь, которая уходила из-под ног, заставляя всех задуматься?

Было на земле вечное солнце. Был на земле вечный лед. Был на земле священный потоп... И сейчас он надвигается... И имя у него Революца!..

— Побойтесь, люди, неба, опомнитесь!— закончил свою речь Якса.

Солвал возразил Яксе. Он сказал, что видел Революцу. Это никакой не потоп. И не дух, как раньше думали. И не человек. Революца — это много людей, которые захотели изменить жизнь, сделать ее хорошей для бедных. Правда, Революца похожа на потоп. Но это другой потоп. Не водой смываются жадные и плохие люди, которые все себе захватили, а силою бедных. А бедные могут стать сильными, когда они объединятся, будут вместе. Солвал своими глазами видел, как русский батрак Ванька Дровосек был сильным. Он под ружьем вел даже старшину...

Кто-то засмеялся, сказав, что это все старые сказки. Сколько раз Эква-пыгрись делал то же самое, не раз добивался успеха, но другим от этого было не легче. Бедные оставались бедными...

— Меня спас Эква-пыгрись!— волнуясь, сказал Солвал.— У него сейчас имя другое: Сенькин. Под видом русского богатыря сегодня вышел в мир наш Эква-пыгрись. Если он раньше не побеждал, то только потому, что был один. А нынче он в Березове всех бедных скликнул в один Союз. Попа, купца, старшину — все власти обхитрил, запер их в тюрьму. Только внезапно появился какой-то новый злой дух — Колчак. И он схватил Сенькина и его товарищей... Словом «товарищ» они все зовут друг друга. Это очень хорошее слово и похоже оно на наше рума! Эква-пыгрися — Сенькина — захватили. И меня захватили. В одной тюрьме-трюме нас куда-то везли. И Эква-пыгрись — Сенькин мне шепнул, что у него есть товарищ, кто мудрее всех. Его зовут Ленин. И с ним бедным людям теперь можно будет победить богатых навсегда!.. Эква-пыгрисю теперь легко:

к его хитрости и находчивости прибавилась мудрость мудреца Ленина...

Про Эква-пыгрися никто не сомневался. А про Ленина многие слышали впервые. И на слово не хотели верить, что есть такой мудрец, который делом может помочь людям...

Видя, в какую сторону клонится речь, Якса забеспокоился. Он затоковал весенним глухарем. Слова его ручьями звонкими текли. Казалось, он молился Торуму, клялся в своей верности. Заклинаниями, как гвоздями, прибивал тех, кто в своем невежестве усомнился в вечном законе бытия: без богатых не могут прожить на свете бедные, не будет и богатых без бедных, исчезнет жизнь земная...

Не в погоне за животом, а в борьбе за веру приобретут люди свое земное счастье. Он говорил, что есть враги у манси: это Кристос могучий и его слуга — хитроумный поп. Если хотят манси счастья — с ними надо бороться!..

Якса говорил как камлал. Даже огонь, который чуть-чуть не потух в старом чувале, заплясал, стреляя искрами, загорелся каким-то тревожным пламенем! И люди словно воспламенились, они внимательно слушали старого Яксу, который лишь один кровяной взгляд уронил на Солвала, а потом заклинал какого-то ничтожного духа, не обращая на него внимания.

Солвал чувствовал, что эти безымянные проклятия летели к нему...

Песня любви

Есть ли на свете любовь?

О, это тайна! Тайна эта неведома даже богам. А людям — тем более! Но люди повторяют жизнь богов. Всем известно: боги больше всего ошибались в женщинах.

Женщина... Она неведомое существо и для тех, и для других. Но без нее не могут жить ни боги, ни люди.

Когда золотая люлька коснулась земли, Мирсуснэхум глазам своим не поверил: земля, казавшаяся сверху красивой, была болотистой, ржавой.

Сюда ступит — вода, туда идет — деревья обугленные, съедены пожаром. В одном месте Мирсуснэхум нашел толстое бревно. На него и лег. Уснул. Проснулся — жарко. Руки протягивает — тепло, ноги протягивает — мягко. Смотрит — в доме он, а не на улице. Да в каком доме. Высоком и светлом, как у Небесного отца! Начал жить в нем Но однажды стало ему скучно.

«Не посмотреть ли мне землю, не поискать ли мне край, где женщины поутру оставляют следы на росистых травах, где мужчины живут не скучая?»— подумал он.

Оделся, подпоясался и пошел по дремучему лесу. В одном месте видит: охотничий лабаз стоит. За одноногим лабазом — изба. Вошел в избу. Хозяин дома, седоглавый старик, говорит:

— Ты почему не послушался наставлений отца? Вот где приказал он мне — там и живу. Семь зим надо было выдержать!

Мирсуснэхум промолчал. Хозяин тогда велел ему войти в полог. Там была девушка. Глаза у нее — две черные, спелые смородины. Волосы у нее — два пушистых соболя на плечи ползут. Лицо — белее первого снега, губы — краснее сочной брусники. Груди — два теплых чума. Ноги — две жирные нельмы.

Остолбенел Мирсуснэхум. Девушка пришла на помощь: она велела раздеться. Потом сама стала наряжать его в соболье, кунье платье. Коснется щеки — горит щека. Коснется плеч — руки наливаются неведомой силой. Молвит слово — он безропотно внемлет. Стелет постель соболью, и он забывает все на свете: и про небо, и про землю, и про суровые наказы отца, и про свой божественный долг...

Долго ли, коротко ли жили, однажды старик и говорит:

— Что ты за человек?! Почему не разговариваешь? Может, ты злишься на меня, хочешь меня убить?!

Мирсуснэхум молчит как камень. Старик опять за свое:

— У тебя, наверно, есть своя земля, своя вода, наверно, есть! Иди в край родной!..

Наутро молодые собрались в путь-дорогу. Долго ли, коротко ли шли — в свой дом пришли. И стали в нем жить да поживать. Муж охотился, рыбу ловил. Жена родила ребенка и стала ходить в лес за трухой, что в дуплах сухих деревьев бывает. На этой мягкой трухе, в берестяной люльке, все малыши Севера спят, растут, набираются силы.

Однажды жена пошла в лес. Поставила санки у дерева и только подняла топор, как кто-то ее схватил, свалил на санки, и в один миг она подкатилась к двери своего дома. И тут кто-то ехидно прокаркал:

«Вот позорище на всю тайгу: санки женщину катают!»

В другой раз пошла. Нарубила деревьев сухих, из дупел вытащила труху, сложила в санки и в обратный путь тронулась. На середине дороги санки вдруг зацепились; посмот-

рела назад — никого нет. Зашагала дальше. А санки тяжелые-тяжелые стали. Обернулась: незнакомый мужчина сидит.

— Слазь с санок!— возмущается она.

— Если душа твоя повернется ко мне, если ты полюбишь меня — тогда слезу. Если нет — убью. Я Бессердечный. Нет у меня ни сердца и ни печени!

— Ум мой повернется к тебе,— молвила негромко она.

Незнакомец слез с санок и говорит:

— Если ум твой со мной — убьем мужа. Я тебе дам бутылку вина. Придет муж домой — вскипяти чай, в чай налей рюмку вина. Второй чайник вскипятишь — вторую наливай. На третий чайник — остаток вылей. Муж твой опьянеет, упадет. Я приду — прикончу!

...Пришел домой муж. Она вскипятила ему чай. И напоила... Сделала все так, как сказал незнакомец без сердца и печени. Опьянел муж, явился незнакомец, и они Мирсуснэхума убили. Не пощадили даже ребенка.

Бессердечный нарядился в платье убитого. Его меч и кольчугу забрал и вместе с этой женщиной направился в Нижнее царство, в подземелье.

Через семь лет Отец спустился с неба, решив посмотреть, как живет на земле сын. Пришел в его дом и видит: сын убит и внук убит. Поднялся снова в небо. Из бочки с живой водой взял живую воду, опять спустился на землю. Вымыл Торум сына и внука живой водой... И они снова ожили.

— Отомщу я Бессердечному!— пообещал Мирсуснэхум.

И снова зашагал по земле. Навстречу ему идет человек.

— Убей меня!— говорит ему Мирсуснэхум.— Мне это очень нужно.

Удивился человек. Но раз просит — выполнил просьбу. Зарыл его в землю. Из земли травка зеленая пробилась. Шелестит она, радуется солнцу, тянется к свету. Все умирает, и все снова рождается. Ничего бесследно не уходит. Только рождается все в новом свете...

Выпустили люди лошадей на волю. Щиплют они сочную траву и силы набирают. И ту травку, в которую превратился Мирсуснэхум, съела одна из лошадей. Скоро она родила жеребенка с золотистой шерстью, с серебряными копытцами.

А это была лошадь Бессердечного. Вышел он на улицу и говорит жене:

— Когда ты была еще на Белом свете, когда с мужем тем жила, ты ведь не имела такой лошади, которая рожает

жеребят с золотой шерстью! Вот какой у меня дом, вот какие мои животные!..

И велел он разрубить этого жеребенка на части и сжечь на огне. Слуги его покорные вмиг это исполнили. Но разве можно убить жизнь?! Жизнь продолжается в новом виде. На месте, где пылал костер, на котором сожгли жеребенка, березка белая выросла.

— Вот на какой земле я живу,— хвалится опять Бессердечный перед женой,— даже березы растут в нашем Нижнем мире.

А утром на месте, где была березка, вырос дворец удивительной красоты.

— Вот какие чудеса происходят в моем подземном царстве!— хвалится опять Бессердечный.— На земле разве такое бывает?!

Пошли они с женой во дворец. А посреди дворца кто бы вы думали ходит?

Тот самый, которого они когда-то убили! Как хозяин он расхаживает по сияющему дворцу. Вокруг него вьются легкие тени мертвецов. Они что-то шепчут ему. Видно, жалуются. Кому скажет слово — тот оживает. Кому кивнет легонько — тот из тени в богатыря превращается. Когда стало много железных богатырей, они схватили Бессердечного. Отрубили его разбойничью голову и на костре сожгли.

Богатыри вернулись вместе с Мирсуснэхумом в Средний мир на светлую землю.

А ведь все это случилось из-за того, что Мирсуснэхум завет отца нарушил: рано пошел за женщиной!.. Надо было выдержать и найти ту самую, единственную, которая роднее и вернее сестры.

Есть на свете любовь?

Солвал об этом не задумывался. Она пришла к нему сама. Подкралась тихо и незаметно. Как болезнь, как рысь, как весна. Северная весна... Ее сначала трудно отличить от зимы. Днем светит солнце, тает снег, а ночью морозец. Снег становится твердым, как сахар. И звезды морозно звенят на ночном небе.

И вдруг теплый ветер, ливень. Чернеет снег, набухают реки, летят утки, горланит небо лебединым голосом. Вчера был белый снег — сегодня белый лебедь... Вчера была зима, а сегодня — весна...

Так и любовь... Она в одно мгновение озаряет человека. И белый снег летит белым лебедем. Зима плывет жарким летом. И солнце смеется в небе шальной и дерзкой девчон-

кой. С утра смеется, до самой ночи смеется, расплетая и заплетая золотые косы...

Солнце, солнышко, постой!
Что ты делаешь со мной?!
. . . . . .

Молится Солвал на светило, которое мешает ему тянуть невод, перебирать мережу, убирать с ячеек сосьвинскую селедку. Привычное с детства дело кажется ему то необычайно трудным, то невероятно легким. Все зависит от взгляда солнца...

Солнце, солнышко, скажи:
Как смогло ты превратиться
В эти брови и ресницы,
В этот взгляд из-под платка,
Напоенный светом ясным,
В эти на лугу атласном
Млечных, нежных два стожка?

Он сам удивлен, что высокое и далекое светило кажется ему девушкой, которую он увидел в этой маленькой деревушке на берегу Сосьвы.

«Не сошел ли я с ума?» — думает он, ловя себя на том, что разговаривает с солнцем, как с ней:

Чудная моя загадка,
Тайна нежная моя!
Мне и больно, мне и сладко.
И смеюсь, и плачу я.
Солнце, солнышко, постой!
Что ты делаешь со мной?!

А она тут как тут. Прибежала на притонение невода Мотня приближается к берегу — счастье приближается. В мотне рыбы плещутся — счастье плещется. Все к счастью тянутся. Даже собаки. Они ходят уже по песчаному бережку, на плещущуюся воду поглядывают, рты раскрывают, счастливыми языками трясут...

Все приходят на притонение. Потому и она пришла. И совсем не из-за Солвала. Она на него даже краешком глаза не посмотрит. Рыбы пляшут в мотне. Пляской рыб она любуется. Брызги радужные летят. В них она купается... Хороша вода — когда солнце светит! Хороша жизнь — когда кто-то смотрит...

А вечером, когда июльский зной уляжется теплым туманом на травы, когда небо укроется синей шалью с едва заметными кистями-звездами, когда невод усталый уснет на вешалах, они случайно встречаются у молчаливой воды. Она шла по воду, он — за рыбой. Вкусна селедка, нежна. Но не жаждал Солвал...

— Как твое имя? —
Спросил ее вдруг. И вот
Ждет его сердце, как дверь,
Ну, когда ж ее имя войдет?!
Растет вечерний туман,
И солнце поднимается,
Тьму разрушая и грея...
Шепни свое имя,
Шепни свое имя скорее...

Три слова произнес он. Три простых и ясных слова. Но прозвучали они в синей тишине как начало песни, сказки, легенды...

Песня росла в его душе. Но мог ли он, заколдованный какой-то тайной силой, выплеснуть ее? Он смог спросить лишь ее имя.

— Оринэ! — сказала она, взглянув лукаво на него. Сказала так, как будто подарила волшебный ключик к своей волшебной тайне.

Закачались ведра на коромысле, звонкие косы ее зазвенели, и на росистой траве остались лишь следы от босых девичьих ног.

Солвал знал ее. Еще тогда, когда он в первый раз с отцом приезжал сюда рыбачить, он знал ее имя. Но тогда она не хотела с ним играть. У нее была лисица. Живая, настоящая лисица с пушистым рыжим хвостом и с хитрющими глазами. Она играла с лисицей. А еще она играла с уткой. Утка плавала в речке, как дикая. А произнесет она какое-то слово — та плывет в свой домик, сколоченный из досок, стоявший на берегу у травы.

Она была тогда дерзкой девчонкой. Лишь со зверьми играла. И имя могла иметь другое...

Теперь она иная. Нет у нее ни утки, ни лисицы. Зато глаза — спелые смородины, грудь высокая, косы до пят... Это по ней он тосковал, когда пел:

Я ищу, я ищу, я ищу,
А найду ли — не знаю.
Шапку ниже на лоб опущу —
Против ветра шагаю.

Против ветра шагаю. Гребу
Против волн и теченья.
Ты мою перестроишь судьбу,
Ты мне дашь облегченье.

Я на месяц смотрю золотой
И на солнце слепое,
Не в аду ты живешь, под землей,
Не в раю, над землею!

Ты живешь среди белых снегов,
На руках — рукавицы.
Средь охотников иль рыбаков,
Русских или мансийцев.

Нет! Она жила не на небе. В рай такую бы не пустили. Слишком молода: шестнадцать лет.

И в темное царство ее пока не за что. Она живет на земле. В маленькой деревушке Квайк-я. Там всего шесть домиков. Стоят они на красивом таежном мысу. Издали их сразу не увидишь. Они притаились в тени могучих богатырей-кедров, над кудрявыми головами которых лишь несколько елей взметнули к небу свои острые пики. Меж домами — светлые зеленые полянки с мягкой, пушистой травой. Двери домов распахнуты к речке, которая струится совсем рядом. Двери домов распахнуты к речке, потому что по ней лишь приезжают гости. Двери домов распахнуты к речке, потому что по ней лишь приходят вести.

Двери домов распахнуты к речке, потому что лишь она дарит людям жизнь. В ней, темноводной Сосьве, разлившейся широко-широко, гуляет золотая рыбка — сосьвинская селедка. Не всюду ее поймаешь, воды много. Не всюду ее поймаешь, не всякий берег она любит. А этот песчаный берег она облюбовала давно. Сколько помнят себя манси — столько и ловят ее здесь.

Когда отшумят белые ночи белыми черемушьими метелями и вода, разлившаяся серебряными блюдцами в заливных лугах-сорах, пойдет на убыль, к песчаному берегу подойдут первые косяки селедки. К тому времени подъедут рыбаки из других деревень. Они объединяются в артели из четырех-пяти человек и рыбачат одним неводом. Ловят они сосьвинскую селедку. Это самая нежная, самая вкусная рыбка всего Севера. Разве с ней сравнится великий осетр или серебряная богиня Оби — нельма!

Нет! Сосьвинская селедка несравненна! Потому-то и рыбаки сговариваются друг с другом, достают невод, просят разрешения у хозяина песка рыбачить. Жителям этой деревни, их роду принадлежит это богатое угодье, но с того соленого года, когда люди от голода умирали, настоящим хозяином стал Яныг-пуки. Он жителям этой деревни одолжил немного муки и соли, но выпросил себе право распоряжаться, кому ловить рыбу, а кому нет. С той поры уже не всякий может отведать и заготовить впрок золотой рыбки.

В этом году жителям деревни Хомрат-павыл посчастливилось: Яныг-пуки по-родственному разрешил ловить

селедку с условием, что половину добытого отдадут ему. Он был нынче на редкость щедрым: одолжил даже мережи.

Повезло и Солвалу: он ощущал не только радость удачного промысла, но и своими глазами видел каждый день ее, а в короткие мгновения рыбацкого сна она к нему являлась богиней. И в душе его зрела песня-сказка, песня-легенда:

Мне снится русая богиня,
Ее глаза, как ручейки,
Струятся в памяти, но имя
Не вспомнить: сны, знать, коротки.
Она не та, что из легенды,
Не та, что средь лесов живет
И сполохи, как будто ленты,
На волосы свои кладет.
Вся в соболях, в шелках. Сережкой
Ей служит ранняя луна.
В избушке на лосиной ножке
Который век совсем одна.
Но ни один смельчак
Пока к ней не пришел: пути темны,
И нравы дикие, как вьюга,
Все в шубу тайн облачены.
И беспокойные поверья
Как те леса...
Но я иду
К богине-идолу.
Деревья
Шумят, как птицы на лету.
И вот она! Пред нею низко
Склоняюсь, опускаюсь в мох.
Но даже камень обелиска
Теплей ее спокойных ног.
Как страшно мне! Хочу скорее
Прервать немое забытье.
Ее я лаской не согрею,
И сказкой не согреть ее.
.....
Мне снится русая богиня.
(Я в сон по сердце погружен,
И он сбывается уж ныне:
Наверное, то вещий сон!)
Она зовет меня: смелее!
И приближается ко мне.
Я, словно ветка, пламенею
На обжигающем огне.
Я напрягаюсь, замираю,
В душе моей — и свет, и грусть.
И наконец-то я сгораю
И человеком становлюсь.

Но человеком он чувствовал себя лишь в снах. Как появлялось солнце и рыбаки шли на берег опять закидывать невод, он терял свое могущество.

Без тебя мне плохо.
Хорошо — с тобою.
Как олень без меха,
Ничего не стою.
Без тебя и лыжи
Не идут по снегу,
И олень обижен
И не годен к бегу.
Без тебя не слышно
Песенки тумрана[1],
Появись, чтоб вышло
Солнце из тумана,
Чтоб скользили лыжи
И олени мчались.
Сядь ко мне поближе,
Приласкай в печали.

А ее тумран по вечерам звенит чуть слышно. Поет, как будто вздыхает. Поет, как шепчется. Поет, как будто зовет. Солвал не видит ее, но слышит. Он чувствует, как она подносит к алым губам тонкую пластинку, выточенную из кости. Как пластинка вдруг оживает, вздыхает, шепчется, зовет. Хороший тумран! Лишь с помощью его Солвал что-то знает о ее состоянии. Он слушает, как она играет, и ему кажется, что он ей уже сказал:

Чтоб согреть — огнем я стану,
Чаем жгучим и румяным.
Буду греть тебя огнем,
Буду чайным греть теплом.
Хочешь ласки — ветром стану,
Щек коснусь твоих желанных,
И водой могу я стать,
Чтобы всю тебя обнять...

Нет, совсем не то! Зачем ей огонь?! И разве она о чае мечтает? А в месяц жирной рыбы, когда солнца много-много, ветер тоже ласков. И не объятий воды июльской она, наверно, жаждет!

Ей надо бы сказать другое.

Два весла в ладонях у меня,
Две ноги — иду, снежком звеня.
Уха — два, затем чтобы слова
Мог воспринимать! И глаза — два..
...Только сердце у меня одно,
Ожидает твоего оно.

Сердце... О нем ей надо и говорить... Но как? Может, поможет песня?

---

[1] Тумран — губной музыкальный инструмент, сделанный из кости На нем обычно играют девушки

И однажды вечером, когда усталый невод спал на вешалах и по воде спокойно поплыл туман молочный, он запел. Плыла его калданка легкая, и песня плыла. Сначала он пел тихо, стесняясь воды и тишины. Но вода по-прежнему журчала. Казалось, она тоже пела и говорила: «Пой и ты».

Он громче выводил слова, вслушиваясь в тишину таежного берега. Никого там не было. Одни деревья стояли, навострив зеленые уши-ветви.

Пел он о сверкающем плесе, серебряный покой которого изломала гагара, пробежав по нему, рассыпав хрустальные брызги. Потом о лодочке легкой, сделанной из белого елового дерева, лилась песня. И о том, что в лодочке есть одно место. Грустит это место, что не занято никем.

«Ох, нам бы сесть в одну юркую лодочку! И вместе бы плыть нам! О, если бы четыре спелые смородины, четыре наших глаза, друг на друга смотрели вечно! Десяти пальцев с сияющими кольцами мне бы касаться! Твою белую лебединую шею мне бы обнять!»

Песня-мечта, песня-признание плыла по Сосьве. Слышали ее и вода, журчавшая у калданки, и песчаный берег, притаившийся спящим, и сосны, игольчатыми ушами ловящие каждую новость. Они шептали ей, перебивая друг друга, про Солвала, про его первую песню, произнесенную им вслух, про мечту и тоску по ней...

А Оринэ и сама без них все это знала. Да только не думала, что песня такая сильная, что с помощью ее можно открыть друг другу сердце.

Да только петь как-то неловко. Стыдно. Смешно... И странно слышать свой голос в тишине, в шуме ветра, в журчании реки... Но почему ветру не стыдно болтать, птице петь, листьям шептаться о чем-то очень тайном и сокровенном? Все они никого не стесняются. Почему Оринэ надо стесняться своего голоса, своей песни, своей тайны?.. Она может отложить тумран и запеть в полный голос. И Солвал пусть послушает.

Мой друг, мой друг, что делать нам?
Зачем ты вдруг приехал к нам?
В деревню, в гущу наших дел,
Как утка на воду, слетел?
С утра на улице пустой
Звенит синицей голос твой.
Взглянул — как будто приласкал
И жизнь, как воду, расплескал.
С тех пор я молча слезы лью,

Ты печень нежную мою
Как будто колешь острием...

Пусть все слушают: и кулики, которые носятся у воды по песочку, и ронжи, трещащие на темных ветвях кедра, и филины, стонущие где-то далеко-далеко. Все равно они не знают, о ком поет Оринэ. Это совсем не ее песня.

Все поют, когда шестнадцать лет.

Ох, хороший мой, любимый мой дружочек,
В эту ночь ко мне украдкой приходил ты
И морошкой меня сладкою кормил ты,
У груди моей сидел, как легкий сокол,

Целовал меня и руки мои трогал.
Как проснулась я — ой, где ж ты, мой дружочек?
Синим облаком растаял, мой дружочек.
Зыбкой тенью улетел ты, мой дружочек.
Счастье девичье умчал ты, мой дружочек.

Как проснулась я — ко мне вернулся разум,
Мерзлой рыбою нога — ой, что мне разум!
Веткой сломанной рука — ой, что мне разум!
Белы груди холодны — ой, что мне разум!

Будто не было в руках тепла и силы,
Будто ласки я ни разу не дарила,
Все стучало мое сердце, все стучало,
Будто филин в глухомани, все кричало...

Солвал услыхал ее зов, понял ее тоску девичью.

И когда выпал снег и река надела белый плат пуховый, зазвенели свадебные колокольчики. Весело звенели колокольчики: лето было богатое, щедрое, немало рыбы насолили, навялили, насушили рыбаки. Весело звенели колокольчики: ягод и орехов набрали немало. Весело звенели колокольчики. и осенняя охота была доброй — немало соболей и белок принес Солвал. Весело звенели колокольчики: Ванька Дровосек приезжал в деревню и сказал, что в Березове открыт хлебозапасный магазин для северян. Весело звенели колокольчики: не к Яныг-пуки, не к купцам пойдут теперь за хлебом манси. Весело звенели колокольчики: счастье Солвала где-то рядом, близко... Весело звенели колокольчики: в санях-розвальнях разнаряженные сваты и жених, отец и мать...

Весело звенели колокольчики:

Как по лесу темному,
Малая Медведица
Вперевалку по небу идет.
Снег крупчатый мелется,
Вьется и метелится —

Свадебные сани у ворот.
Эти сани-розвальни
За тобою посланы,
Эта ночь таится у дверей.
И дорожки звездные
Тебе в ноги постланы...

Сват стучится в дверь...

— Я пришел привязываться! — говорит он отцу.

— Привязывайся не привязывайся, а дочери для вас у меня нет! — отвечает хозяин дома небрежно, будто он бросает слова бродяге-ветру.

— Не говори так, отец! Не надо!

— Сам знаю, как мне говорить. Привязываться ты привязываешься, а хватит ли у тебя силенок?!

— Если бы не хватило, не рискнул бы тревожить.

Сват идет к жениху, к его родителям, которые на морозе замерли в таинственном ожидании.

— Силы хватит или нет?! — передает он слово отца Оринэ.

Это добрый намек. Лица всех будто просыпаются.

— Иди узнай, сколько просят! — торопит нетерпеливый жених.

Снова открывается дверь дома, где трепещет девичье сердце, жаждущее уйти от своей девичьей тайны...

— С какой силой хотите вы мериться? Сколько просите за вашу лесную богиню? — говорит повеселевший сват.

— Сорок оленей белоснежных. Сорок рублей денег! Эти слова и унеси тому, кто хочет сердцем дочери владеть.

— Откуда у нас олени?! — вздыхает мать.

— Может, поедем, другую, подешевле, найдем?! — вставляет кто-то.

— Постойте. Мы что, с детьми своими играем?! Кто смеет над нами насмехаться? — говорит отец.

— Предложите ему лошадь, корову и двадцать рублей! Если не понравится ему и такой калым — тогда уже кони наши пусть летят по мансийской земле. Велика земля — невест хватит.

И снова морозец вползает вместе со сватом в дом. И снова сват торгуется:

— Лошадь, корова и двадцать рублей! Если не согласны — жениха ждет дорога!

— Мне не нужны ни лошадь, ни корова. Мне нужен сын! Если он согласен жить в моем доме — без калыма отдаю ему дочь. Иди, сват, зови гостей в дом. Хватит им мерзнуть посреди деревни...

И начался бы пир великий. Да родители Солвала не захотели отдавать сына, который вернул семье «уплывшую рыбу, сбежавшего зверя». Да и Васька-ойка не очень-то уж хотел отдавать дочь за человека, который не смог воспользоваться улыбкой судьбы, вниманием великого шамана Яксы. Если бы из дальнего странствия он принес не смутные слухи о каком-то неведомом Революце, а ясное божественное предсказание о будущем, то быть бы ему Большим Человеком тайги и тундры! Тогда бы Васька-ойка отдал ему не только дочь, но и свое волшебство.

Васька-ойка — отец Оринэ — всеми уважаемый человек. Со всех концов края манси и ханты едут к нему. Заболел ли кто, праздник ли какой — его приглашают. За сотни верст к нему ездили. И не случайно.

Когда приносят в жертву белую лошадь — то нужен и жертвенный ковер, расшитый искусными руками художника. А это умеет делать не всякий, лишь Ваське-ойке дано такое волшебство.

Его привозят в дом за неделю до священнодействия. За это время на цветном и дорогом сукне он выводит узоры, пишет жизнь и думы сородичей, рисует просьбы людей. Его угощают. Но подают ему скромную и неприхотливую пищу. Вино и другие напитки, дурманящие голову и душу, ему нельзя пить. Одурманенный напитком разве в мир иной сможет написать послание о жизни на земле?! Согретый не своим теплом разве может разогреть других и навеять на них думу?! Насытившийся огненной водой умертвит даже волшебные узоры, сделанные его мастерскими руками.

Васька-ойка не такой. Он умеет долго в тишине и уединении шаманить. А потом, когда ковер ляжет на спину белой лошади, которую будут кружить семь раз вокруг священного дерева, люди не смогут оторвать глаз от говорящих узоров. Если так заворожены люди, то духи тем более. Волшебник волшебника поймет и исполнит для него его первую просьбу.

И когда белая лошадь испустит кровь свою горячую, а шаман-говорун будет петь молитву, благодаря волшебному ковру его услышит дух, кому предназначена жертва.

Один глаз белой лошади подносят шаману-говоруну, другой — шаману-художнику. И чарку вина теперь ему подносят, самой вкусной пищей угощают, дарят самые дорогие дары.

Уважают на земле Ваську-ойку. Неужели любимую дочь он отдаст за человека, у которого, наверно, и собак-то

добрых нет? А без собаки — какой охотник, какой манси, какой человек!..

По морозной наледи, по метельной замяти мчались кони. В гривах у них плясал полумесяц. Снег звездный вился и метелился. Но в свадебных санях-розвальнях не метелилась ее шелковая шаль. И по дорожкам звездным, постланным для нее, никто не шел. Грустно звенели колокольчики. Мороз леденил душу Солвала.

Он слыхал, что сватался к ней еще Киркури. Богат Киркури, не то что Солвал. Сорок оленей предлагал за невесту богатый отец Киркури, да еще деньги, шали шелковые, бусы дорогие... Не отдал Васька-ойка дочь свою и за него. Помешала песня... О, это грустная история.

Была у Киркури жена. Певуньей веселой слыла до замужества. А вышла замуж — повесилась... Она умерла, но ушла не вся. Оставила людям душу свою — песню, которую спела перед смертью. Плачем поплыла та песня по мансийской земле, тронула каждое сердце, каждой души коснулась.

— Не зря прожила на свете: оставила людям песню! — говорили старики.

— А зачем она повесилась? — задумывались молодые.

Черная девичья коса разве дана девушке для того, чтобы обвивать ее вокруг шеи?

Ветви кедра над землей распластались разве для того, чтобы качать тугую девичью косу?

Не отдал отец свою дочь за того, в доме которого родилась песня, но ушла жизнь.

Тяжело сложить песню, но и жизнь дается лишь однажды.

Только великие шаманы способны вновь и вновь рождаться.

Только душа певцов может долго на земле оставаться, переходя из тела в тело, из края в край.

Дочь не шаман. У отца немного дочерей. Какой отец не позаботится о душе родной и близкой?! Не зря растил и лелеял. Даже за калым хороший не отдал он дочь свою за Киркури. Говорят: Киркури хороший. Да в доме у него сварливых сестер много. Довели они невестку. Выплакала песню и повесилась. Кто может сказать, что с новой невесткой будет?!

Не отдал Васька-ойка свою дочь в богатый дом молодого Киркури...

А Оринэ думала.. Думала о Солвале Сердилась на родителей.

«Не слишком ли они разборчивы?— мыслила она.— Как в той сказке о Филине...»

Оринэ знает много сказок. Они помогают ей разбираться в жизни.

...Жили-были три Миснэ. Три лесных духа, три девушки в своей избушке жили.

Однажды забежал к ним Йипыг. Это злой дух. В лесу много деревьев. Много и духов. Йипыг пугает человека. В образе филина летает. Забежал Йипыг в дом, где жили Миснэ, подсаживается к старшей и говорит:

— Старшая Миснэ, пойми меня!

— Нет у меня братца, ты будешь им!— отвечает она.

— Нет, Миснэ, так не хочу!

Рассердился. К средней подсел со словами:

— Ты меня пойми!

— Нет у меня братца. Братом будь!

— Нет, Миснэ, братом не хочу быть!

Подсел к младшей и опять говорит:

— Может, ты меня поймешь?

— Нет у меня братца. Так мне нужен братец. Будь им!

Рассердился Йипыг, стал грозиться:

— Отца своего — Восточного ветра — позову, мать свою — Снежную метель — позову. Они заметут ваш домик снегом!

— Зови. У нас есть семь железных лопаток, семь деревянных. Разгребем!

Йипыг вышел на улицу, залез на крышу и кричит на восток:

— Отец мой — Восточный ветер, мать моя — Снежная метель, просыпайтесь, в этот край летите! Лив! Лив! Лив! [1] Этот домик заметите.

Засвистел ветер, в диком танце закружилась метель. Заметает снегом лесную избушку.

Миснэ стараются открыть дверь. Но ее так замело, будто каменной стала.

Человек, если он захочет, перевернет и камни. И Миснэ осилили эту дверь. Открыли ее. Взялись за лопаты. Долго ли, коротко ли летали лопаты, да снег не убавляется. Сколько кидают — столько снова падает. Поломались деревянные лопаты, не выдержали и железные. Зашли домой. Сидят грустные.

---

[1] Лив! Лив! Лив! — непереводимые восклицания.

Вдруг опять Йипыг забежал. И опять обращается к старшей Миснэ:

— Теперь-то ты, старшая Миснэ, меня, наверное, поймешь?

— Нет у меня братца. Братцем будь!

Ну что хорошего может сказать Йипыг? Идет к средней Миснэ. Та то же самое говорит. Тогда идет к младшей. И молит ее, чтобы она поняла. И, к удивлению своему, вдруг слышит:

— В начале большой дороги есть дорожный знак. В начале моей дороги будь ты! У кровати моей будь ты! Спутником моей жизни будь ты!

Обрадовался Йипыг.

— Ти, ти, ти!— восклицает он.— Милая Миснэ. Ти, ти!..

Потом вылетел на улицу. Крыльями широкими туда взмахивает, сюда взмахивает. В три стороны три раза взмахнул крыльями — и снега как не было.

Зашел домой и говорит:

— Ну, Миснэ, собирайся, одевайся! Ко мне поедем.

Оделась Миснэ. Простилась с сестрами и в нарту села. А нарту не олени потащили и не собаки, а сам Йипыг.

Долго ли, коротко ли тащил он ее, въехали в густой и темный лес.

— Милая! Ты не проголодалась ли?— спрашивает он ее.

— Проголодалась. Да что у тебя есть съедобного?

— Ты побудь здесь. А я схожу что-нибудь принесу.

Ушел. А в лесу хруст и треск. Будто кто-то стонет. Пришел. Охапку сухой коры лиственницы принес. И все это перед Миснэ бросил:

— Кушай, милая!

Озирается Миснэ, в этой куче ищет съестное. Удивляется она: ничего нет!

«Почему же тогда он говорит «кушай»?» — думает Миснэ.

Поехали дальше. Йипыг опять ее везет. Как резвый конь, опять везет нарту. А в нарте, как богиня, сидит Миснэ.

Приехали к какому-то дому. Йипыг взял Миснэ на руки, внес в дом, а сам исчез. А на Миснэ налегла какая-то тяжесть. Ко сну потянуло. Положила голову с черными косами на сосновый стол и забылась.

Долго ли, коротко ли спала — проснулась. А мужа нет! Миснэ так проголодалась, что готова была съесть целого оленя.

Вдруг видит: по одну сторону избы лежит березовое полено. Кора у березы белая, живая. И думает про себя Миснэ: «Кушать так хочется. Не построгать ли?» Идет с ножом к дереву березовому, резанула — кровь струей брызнула. Испугалась. Не стала резать.

Смотрит: по другую сторону избы лежит еловое бревно. Тронула ножом кору лишь — кровь брызнула. И с кедровым бревном случилось то же самое. Совсем испугалась. Бросила нож. Прильнула к столу и опять уснула.

Долго ли, коротко ли спала — опять проснулась и видит: в трех углах дома три женщины стонут: «А-на-на! А-на-на!» И говорят со слезами:

— Что за женщина нас порезала? Откуда ее привезли?!

В это время открывается дверь лесной избушки и в дом вваливается сам хозяин, лесное пугало Йипыг.

Стоит в дверях, будто удивляется чему-то. Сестры его лесные спрашивают:

— Откуда ты привез эту женщину, которая чуть нас всех насмерть не перерезала?!

Берет он веревку, которой тащил нарту. Эту веревку, сплетенную из сырой кожи лося, привязывает к дверной ручке. Второй конец на плечо кладет и тянет, тянет, будто что тащит. Потом идет к Миснэ, будто бороться готовится, словно драться хочет. И такие слова говорит:

— Вот ведь какое горе! Вот ведь какая беда! Широкоплечие пять мужчин меня поймали, широкогрудые пять мужчин меня пленили. Если бы не пленили — быть мне другим!

Ничего не понимает Миснэ. Загадкой остаются эти таинственные слова.

Таинственным кажется и этот танец, и все выходки Йипыга.

Потом он убирает с плеча веревку, снимает с себя одежду лесного пугала.

Смотрит Миснэ и чуть не слепнет: перед ней стоит не пугало лесное, а человек! Удивительной красоты мужчина стоит перед ней. Взглянула на бревна — глазам своим не поверила: красавицы сидят. Одна красивей другой, одна другой прекрасней! Оказывается, это его сестры.

Вот ведь как бывает: смотришь на мужчину — пугало, да и только, а поближе узнаешь — человек! Да еще какой! Вот ведь как бывает. Не оттолкнешь влюбленного, постараешься понять его — зацветет человек, снимет свою маску, самим собой станет! Вот ведь как бывает: не так уж много злых духов, как их изображают. И в тайге,

и под водою, и на небе много, видно, добрых духов. Только многие из них в злых масках ходят!

«Чего боится отец?— думает Оринэ.— Может, Солвал ему показался Йипыгом? Да так ли важен калым?!»

По Сосьве плывет белая ночь. Склонившись к воде раскрыв белые лепестки-ресницы, удивленно смотрит черемуха на журчащие струи. А струи кружатся, пенятся, позванивают, будто передразнивают птиц, щебечущих на зеленом берегу. А берег низкий. А деревья — в воде. Над гладью реки — чайки. Они то замирают над струями, висят как заколдованные, то вдруг камнем вниз — и в клюве рыбка. Живая, трепещущая.

Где-то хохочет халей, захлебываясь от счастливого смеха. Видно, жирную рыбу поймал. Видно, лето будет жирное, щедрое. Где-то лепечут лебеди. Как дети малые горланят, выводя по складам свое старинное «курлы-курлы». Видно, счастье будет. «У-ух! У-ух! У-ух!» — где-то далеко-далеко на темных ветвях какого-то большого дерева стонет филин. Неужели и горе будет?! Дрожащей струной прозвенело небо — стая уток пронеслась. Хорошо: мясо будет!..

На каком-то суку опять колдует кукушка, считая чьи-то годы. Солвал ее не слушает. Солвал сердце свое слушает. А сердце спешит куда-то. А еще слышит Солвал черноголового кулика, который кричит: «Хап ти юв! Хап ти юв!»

«Лодка плывет, лодка плывет!» — кричит черноголовый кулик, вылетающий навстречу калданке.

«Хап ти юв! Хап ти юв!» — кричит кулик, и все птицы и звери поднимают головы, слушают последнюю новость: по лесу лодка плывет.

А знает ли Оринэ, младшая дочь Васьки-ойки, что по Сосьве плывет калданка?! К ней плывет...

А весло у Солвала голубое, с красными узорами. А калданка Солвала легкая, ходкая. А плывет Солвал на свидание с невестой. Не везет Солвалу.

Трижды ходили сваты, трижды просили старика Ваську-ойку выдать дочь за молодого Солвала — трижды приезжали в свою деревню Хомрат-павыл с тяжелыми словами.

Теперь Солвал не будет просить Ваську-ойку. Сердце любимой будет умолять. Он не пристанет к деревне, где лодки уткнулись к берегу и, как усталые олени, дремлют

Он подъедет к дальней песчаной косе, где никто его не увидит. Подойдет к вечнозеленому кедру, в священное дупло уронит звонкую монету и позовет любимую своим трепещущим сердцем. Если она спит, то ей он приснится плачущим от любви. Она вздрогнет и проснется. По росистым травам побежит к кедру любви и встреч. Если ей снится сон о другом пане — она перевернется на другой бок, другую половину сердца во сне послушает, и вздрогнет, и проснется. И росистые травы уронят счастливые слезинки под ее босыми девичьими ногами. Если она не спит и о нем думает, то разве она каменная, разве не услышит его мольбу?!

Кто любовью тронут, в том проснулось сердце. Кто пленен любовью, в том душа, как озеро, растаявшее под солнцем,— от легкого дуновения встрепенется такая душа. Слышит такая душа. За семь озер чует, за семь таежных речек слышит. Росинки будут лететь и сверкать, травы будут гнуться и, распрямясь, удивленно покачивать зелеными головками вслед бегущей куда-то девушке...

Недалеко от кедра, увидев его, она каменеет. Нет, она просто останавливается. Замирает. Как дерево, стоит на месте, не решаясь сделать шаг ни вперед, ни назад. Как живое дерево, трепещет. От какого-то неведомого страха дрожит, как белая березка на ветерке. И одна за другой искрятся мысли: «К кому бегу?! Какой стыд! Разве мать и отец вынесут это?! И я нарушаю обычай предков?! Неужели это я — тихая Оринэ?! Какой злой дух в меня вселился?! А Солвал... Кто он такой?!»

Он стоит, склонившись к могучему кедру. На шершавой коре выступила смола. Смола янтарная, прозрачная. Как слеза. Дерево плачет. Оно понимает человека.

«Почему же люди не понимают друг друга?— думает Солвал.— Почему одни — бедны, другие — богаты?! Почему Васька-ойка не хочет отдать за меня дочь?! Неужели и она меня не услышит?!»

Она услышала. Сделала шаг в его сторону. Кедр смахнул слезу, улыбнулся, шевельнул ветвями в ее сторону. Оглянулся Солвал. И они полетели друг к другу. Как две волны встречные слились, обнялись...

Нет, не в эту ночь он увез ее. Дерево то шелестит ветвями, то замирает в зное. Человек то просыпается, то спит, то оживает, то замирает перед силою обычаев. А какие обычаи? О, эта сказка длинная, как жизнь, как судьба!.. В одной песне не расскажешь. Оринэ нарушила обычай предков: убежала с молодым Солвалом.

Рядом с лодкой плыла белая ночь. Склонившись к воде, раскрыв белые лепестки-ресницы, удивленно смотрела черемуха. И струи кружились, пенились, позванивали, будто свадебные колокольчики. Свадьбы не было, но начиналась жизнь, полная тайны и загадки.

Берег низкий. Деревья в воде. Неужели ресницы будут вечно мокрыми от слез?

Над гладью реки — чайки. Они то замирают над струями, висят как заколдованные, то вдруг — камнем вниз, и в клюве — рыбка. Живая, трепещущая. Где-то хохочет халей, захлебываясь от счастливого смеха.

Где-то лепечут лебеди. Как дети малые, горланят, выводя по складам свое старинное «курлы-курлы».

Неужели и счастье будет?!

«У-ух! У-ух! У-ух!» — где-то далеко-далеко на темных ветвях какого-то большого дерева стонет филин.

Неужели и горе?!

А без него разве нельзя прожить?!

Дрожащей струной прозвенело небо — стая уток пронеслась. Лето мясное — зима сытая... Разве одной сытостью хороша жизнь?!

На каком-то суку опять колдует кукушка, что-то подсчитывая. Тридцать раз прокуковала кукушка. Через тридцать дней приехали в деревню Солвала отец и мать Оринэ. Через тридцать дней они смирились с дерзким зятем. Через тридцать дней началась новая история новой жизни, полная тайны и загадки...

Однажды...

Однажды приехал в деревню Ванька Дровосек. Был у него вороной конь. И имя у него новое. Одни звали его Совет-ласть, другие — Милица. Лишь Солвал называл приятеля по-старому. И было у него еще маленькое «пу-пу», которое имело великую силу. Все это знали и не шутили...

На этот раз Ванька Дровосек был особенно важен. Видно, важную весть привез. И эту весть он выложил не сразу. Лишь выпив чашку густого чая, настоянного на чаге, он сказал:

— У вас в деревне будет магазин, где вы сможете купить настоящий чай, сахар, масло, соль, хлеб... Нужен продавец. Посоветуйте, кто грамотный, кто хорошо умеет считать деньги?

— Читать русскую бумагу никто не умеет,— подумав, ответил Солвал.— Но считать деньги — сможет каждый. Только бы они были...

Магазин, лавка... И это в мансийской деревне?!

Хлеб, соль, порох, дробь, ружья... Неужели это все можно приобрести, не выезжая никуда, не тратя драгоценного времени, так необходимого в дни большой путины?! Неужели возможно без купцов и их коварных приказчиков самим торговать?! Но чем торговать? Манси не знают даже, где растет соль, откуда берется сахар, как делается порох... У манси есть соболь и белка, осетр и нельма, орехи и ягоды... Но в деревне их никто не будет покупать. Если надо орехи или ягоды — манси в лес пойдет, в «лесном магазине» купит. Если надо рыбы — манси к реке пойдет, в «речном магазине» купит. Если соболя надо — можно найти и «соболиный магазин». Нет у манси лишь хлебного магазина. Не найти в деревне грамотного приказчика!..

Все эти размышления и сомнения Солвал высказал приятелю. Ванька Дровосек нахмурился. Но ненадолго. Глаза его загорелись озорным огнем, и он выпалил:

— Если нет среди вас грамотных, но все умеют считать деньги,— продавцом будешь ты!

Солвал возражал. Но тот его и слушать не хотел. Он приводил в пример себя и других своих товарищей, которые не так-то уж грамотны, но власть сумели взять в свои руки. И хорошо держат власть, крепко держат, потому что учатся. Вчерашний батрак сегодня стал милиционером, вчерашний рабочий — председателем Совета... Почему рыбак не может стать продавцом, советским продавцом?!

Свою длинную речь Ванька Дровосек закончил многозначительно, будто говорил он какие-то волшебные слова: «Учиться, учиться, учиться!.. Завещал нам наш вождь — Ленин!»

Слова «Совет-ласть» оказались не пустыми. Скоро подошли обозы. Приехали и представители Советской власти. Ванька Дровосек по старой привычке привел их в дом Солвала. Эти интересовались нуждами людей, а не шкурками и рыбой. Они были не так щедры, как веселый купец Плотник, не угощали водкой, но и руки у них были не длинными — ничего не забрали. Наоборот, они спрашивали: что привезти для манси, какие товары больше нужны...

Они попросили Солвала быть представителем Интег-

ралсоюза [1]. К этому чудному и непонятному слову скоро манси привыкли. Даже полюбили. И не случайно. Если раньше за солью нужно было ездить к купцу за сотни верст, то теперь пойдешь в дом Солвала, дашь ему деньги, он тебе отвешает соли. И сахар можно купить, и материю на платье, и шелковую шаль... Любят женщины шелковую шаль и к бисеру цветному неравнодушны... Зачастили они в дом Солвала... Юноши приходили, разглядывали ружья. Луками и стрелами многие еще охотились. Теперь можно взять и ружье. Если нет денег — в кредит можно!..

И шкурки белок, куниц, горностая увозить никуда не надо было, приезжал приемщик пушнины — товарищ Солвала по работе — и принимал золотой мех. Тут же вручал деньги. С ним не надо было торговаться, как раньше с купцом: теперь стали твердые цены на мех.

«Хорошая новая власть — она дает магазины с хлебом! Хороший Совет-ласть — у него можно взять и ружья, и порох, и соль, и одежду! Хорош Солвал — он все может дать!»

И Солвала теперь звали по-новому: Совет-ласть!..

Услыхав про успехи Солвала, Яныг-пуки не приезжал из своей деревни, не предлагал свою помощь, свои услуги, да и в нем теперь никто не нуждался. Присмирел и шаман Якса...

Но люди помнили большое камлание. И перемену в жизни всей деревни многие восприняли как результат великого священнодействия. Побаивались Солвала. Знали все, что шаман Якса предсказывал ему великую судьбу, большую жизнь...

Однажды Солвал с односельчанами поехал в Березово за товарами. Сделав дела, как обычно, он забежал в раймилицию проведать приятеля.

— Слушай,— обрадовался Ванька Дровосек,— приходи сегодня в нардом. Там собирается все Березово. Увидишь чудо!..

Вечером в народном доме, правда, было много людей. Все шумели, говорили, посмеивались.

«Балалайки по улицам наставили, пугала вороньи»,—

---

[1] Интегралсоюз — кооперация смешанного типа, которая занималась всеми сторонами хозяйственной деятельности (производство, торговля, кредит) и бытом народов Севера.

указывая на столбы с натянутыми проводами, смеялся кто-то.

«Как это в проволоке может быть огонь? Нет, этого не может быть! Врут русские! Верить нельзя!» — шептал ханты из соседней деревни.

«Старые люди жили, и мы будем жить. Керосин горел. Керосина не было — жир горел и гореть будет. Много рыбы в старой Оби. Жирная рыба. Хватит жечь»,— говорил какой-то незнакомый манси.

«Огонь священный, древний. Разве можно над ним насмехаться? Никогда железо не освещало. Неужели сейчас оно может осветить наш Север?» — рассуждал другой.

Даже русские не верили.

Быстро наступали зимние сумерки. Зажгли керосиновую лампу. К столу подошел партийный секретарь. Он приезжал в деревню, пил с Солвалом чай и долго с ним говорил. Как шаман Якса, он умеет говорить!

Воцарилась тишина. Напряженная тишина, как перед большим камланием.

Заговорил партийный секретарь.

— Товарищи! То, над чем мы работали столько времени, завершено. Мы добились своего. Мы победили. Вот результат нашего труда...

Партийный секретарь взмахнул рукой. И словно по его волшебному мановению, зал озарился небывалым светом. Нет, это было не северное сияние. Меркнет оно перед этим светом! Нет, это была не белая ночь. Разве сравнишь ее с этим светом?! Нет, это была не луна. Потухшей лучиной кажется луна в сравнении с этим чудным светом!

Нет, это было не солнце. Свет этот казался ярче солнца, сильнее солнца, волшебнее солнца! Ведь появилось это озарение по мановению человека. Это чудо!

Все ахали и охали, жмурясь от небывалого света. Кричали «ура», пели, хлопали в ладоши. Не дали говорить партийному секретарю. Зачем слова — если есть свет! Зачем слова — если глаза видят! Зачем слова — если на глазах у всех свершилось чудо!

Потом каждый подходил к выключателю и сам вершил чудо. И Солвал своей рукой касался этой волшебной штучки, которую все называли выключателем. Повернет ее — наступает мрак, еще повернет — все вокруг озаряется. Своими руками можно делать людям свет.

«Но чей это свет? Кто послал его на Север?» Вопросы комариным роем кружатся в голове, не дают покоя душе.

Нет. Нужны слова. Очень нужны слова партийного секретаря. И когда воцарилась тишина, он ответил на удивленные вопросы северян:

— Свет послал большой человек — Ленин. Это светило называется «лампочкой Ильича».

— А-а! Ленин! — кивали люди.

Теперь было ясно: Ленин — это не дух! Теперь было ясно: Ленин — это свет! Это новая жизнь! Жизнь с простыми чудесами, которые делают умелые руки человека.

Однажды вечером на глазах Солвала люди Ленина свершили чудо — зажгли новый свет, о котором даже нет намека в мудрых сказках и легендах манси. Значит, люди Ленина мудрее сказок и легенд? Однажды вечером у таежника зародилась мечта самому овладеть этим волшебством, чтобы принести свет и в свою темную деревню.

Однажды вечером захотелось ему быть вместе с людьми Ленина — ленинцем вечным твердо решил он стать!..

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Кай-о! Кай-о!

Я — Солвал!

Я — Большой Солвал! У меня много песен. Но песни мои старые.

Кай-о! Кай-о! Я — Солвал. У меня еще есть глаза — они видят. У меня еще есть уши — они слышат. У меня и сердце есть — оно поет.

Есть у меня песни об Игриме.

Юхрим... Это твое старое имя, Игрим. Твое мансийское имя, Игрим. Почему ты сменил свое имя? Не слишком ли богатым стал ты? Не слишком ли знатным стал ты?

Юхрим... Где старая мансийская деревня?

На узкой полоске земли сидели дома, как черные глухари, копошащиеся в песке. Стаей глухарей чернели они на песчаном берегу Сосьвы.

«Тюр-тюр-тюр»,— журчала вода. Почти у дверей плескались шипучие волны.

«Атлув-атлув-атлув» — так пел кулик, радуясь весне.

— Пять лошадей, пять лошадей, пять лошадей!— слышали мансийцы. Что могли они еще слышать? Самой сильной машиной была лошадь, а не трактор...

О, как пахло травами, мокрыми сетями, рыбой!..

Какой запах у тебя теперь? Ой, какой большой стал Юхрим!

Когда я жил рядом, в Люлюкарах, когда председателем колхоза работал, не маленький был Юхрим, может, тридцать стояло домов, а может, целых пятьдесят, оттуда в Юхрим приезжал,— село стало больше, может, сто домов, может, даже больше.

Экспедиция пришла, железные деревья — вышки — посадила, машины привела, землю сверлить стала...

А когда с Аргинтура стал приезжать, когда тихим пенсионером стал ходить — приезжаю в Юхрим, не узнаю его. Столько домов — сосчитать не могу!

— Кто тут живет?— спрашиваю я.

— Это рабочие конторы бурения, служащие Игримгаза, строители,— говорят мне.— Новые люди...

— У, какой большой Юхрим!

«Что тут удивляться!— может воскликнуть кто-то.— Разве деревянный Игрим велик? На свете есть, мол, каменные города с медными воротами...»

Простите меня...

Глаза мои — два охотника: за зверем таежным бегут, кедром зеленым любуются, а каменный город, наверное, уж не поймут. Уши мои — два рыбака: в вечерний плес вслушиваются, плеском рыб наслаждаются и колыбель свою — юркую лодку — на трактор разве сменяют?

А Игрим пахнет железом. Не ржавым железом пахнет Игрим, а новым, сияющим железом.

Разгружаются баржи, звенят топоры, рычат бульдозеры, урчат тракторы, лают машины, скользя по песчаным улицам, и небо кажется песчаным, и солнце кажется песчаным, раскаленным. Все движется, кружится, вьется... Жарко!— вот чем пахнет в Игриме.

Что я делаю в Игриме? Хожу, слушаю, спрашиваю...

— Как называется железная лестница, что в землю упирается и в небо упирается?

— Буровая,— отвечают мне.

— Как называется чудовище, железными зубами хватающее землю, сосны, бруснику?

— Бульдозер,— отвечают мне.

Все должен знать старый человек, входящий в новый век!

Рыбу добывавший мужичок, зверя догонявший мужичок, что на своем веку я еще умел? Не похваляясь скажу: хозяином быть умел, грамоте больших начальников

завидовал, над словами больших начальников думал, а руководил колхозом своей головой.

И вот думаю: а ведь можно жить сейчас очень хорошо! Бывшие колхозники манси и ханты ловят рыбу, охотятся, доят коров, ухаживают за лошадьми, выращивают картофель... Только называются теперь рабочими. И получают большую зарплату, как и все рабочие газопромыслового управления. Бывший колхоз подсобным хозяйством стал. Только думаю: рыбак — все же рыбак, манси — все же манси. Есть у него что-то, непослушное бумаге. Чутче лося надо быть начальнику, чтобы слушать многим неслышимое, прозорливее орла надо быть начальнику, чтобы видеть многим невидимое. А доярка-манси и рыбак-манси хотя считаются уже рабочими, они остаются все же манси, есть у них все же свое. На то ты и начальник: услышь, пойми человека. Тогда будет тебе и рыба, и молоко, и мясо! И люди скажут: спасибо, директор, ты манси рума, ты друг манси, а не начальник. Мы народ сговорчивый. Но только смотри, начальник, чтобы твоя дума была не легче рыб, которые мы сдаем в подсобное хозяйство, не жирнее молока, которое доят наши доярки, не дешевле соболя, который так трудно дается охотнику.

Твоя голова пусть будет не меньше всех наших голов — вот какой директор нам нужен!

Кай-о! Кай-о!

В Игриме часто сетуют: мол, большие начальники к мнению маленьких не прислушиваются. Мол, начальники управления на газ лишь глаз имеют, а на подсобное хозяйство смотрят, как рыбаки на охотничьих собак.

Может, это правда, а может, совсем не так!

Знаю одно: хозяйство любит хозяина, а не начальника.

Добрый хозяин поладит и с малыми, и с большими!

Верю: можно найти язык и с новыми людьми!

Аргинтур мой, Аргинтур! Большая моя деревня!

На твой песчаный берег садятся еще утки, а самолеты — железные птицы — еще не садятся! Аргинтур мой, значит, еще маленький.

Юхрим мой, Юхрим! Над тобою летают не только стрекозы-вертолеты, но и самые великие лебеди — АН-24, значит, ты уже большой. Ты сияешь, Юхрим, яркими огнями, по тебе, Юхрим, ходят новые люди, ты живешь, Юхрим, мечтами, которые нам не снились, тебе, конечно, надо называться по-новому!

Пусть тебя зовут Игримом! Пусть это имя станет светлым!

Мой древний Юхрим, я верю: ты станешь светлым. С этими людьми я жил. У них не только дух, но добрые руки и сила. Ты будешь, мой Юхрим, светлым, ты будешь Игримом!

Вот какой я, Солвал. Вот какая моя новая песня! Кай-о! Кай-о!

— Кто нашел газ? Кто открыл нефть? Имя его — геолог. Хороший был мужик. Я ему даю лошадь, а он мне — бензин...— говорит напевно Солвал, отвертывая ключом замасленную гайку мотора длинной лодки — саранхапа. В курчавых, коротко остриженных волосах — ниточки инея. На бледном обветренном лице — морщины. Но из-под тяжелых век льется еще озорной свет голубоватых глаз. Они внимательно, испытующе смотрят то на меня, то на своего спутника: не смеются ли?.. И продолжает: — Все ведь теперь про это знают. Лавриатом, говорят, он стал. Премию Ленина получил. А вместе работали. Я в колхозе, председателем. На пленумах встречались, на сессиях...

И он рассказывает, как охотник о своей удачной охоте, о встречах с начальником партии глубокого бурения, которая открыла в Березове первый газ Сибири.

— Геолог тот был, как мы, северяне, росту невысокого. Плотный мужик. Но проворный, что рыба. Большую машину-лестницу привез. Около Березова поставил. Место выбрал — как в землю глядел. Газ вырвался, загремел, заплясал. На много верст кругом слышен был его рев, испугались сначала многие. Геолог счастливый ходил: голубой огонь нашел. Люди говорили: «Уж не колдун ли он, не шаман ли? Как знал, куда поставить буровую? Ведь потом, говорят, совсем рядышком пробурили, а газа не нашли». А геолог счастливый отвечал: «Пусть что хотят болтают, а газ-то есть, а нефть-то есть, а бензин-то есть!» Вот какой геолог!.. Хороший был мужик. Да только как нашел он этот огонь, так сразу народу стало много, а рыбы-то меньше. Сваришь ее — так иногда машиной пахнет. Хороший мужик тот геолог. И зачем он это сделал?!

— А на каком горючем вы ездите?— спрашивает мой спутник, удивленный поворотом разговора.

— На бензине. Быстро саранхап бежит!

— Так этот бензин из той самой нефти, которую в округе добывают.

— Понимаю!— холодно откликается моторист, всем своим видом показывая, что далеко не только это пони-

мает.— Нефть — золото! И рыба — золото! И без мотора плохо, и без рыбы плохо!

— А как быть?

— Как быть? Как быть? Человеком надо быть! Хозяином на земле надо быть, а не гостем!

— Вот к нам, на Север, приезжают люди,— размышляет вслух Солвал.— Побудут — уезжают. Не понимаю я этих людей. Что они ищут? Что им надо?! Где-то и у них, видно, есть край родной. Не на луне, наверное, родились.

Речка, в которой плескалось детство, разве можно ее забыть? Деревья, которые шептали колыбельные песни, разве можно их забыть? Дом, единственный в мире дом, потолок которого двигался, разве может сын забыть?

Потолок этот сначала кажется высоким-высоким. Недосягаемым кажется. День проходит, год проходит — видишь: ближе стало. Движется к тебе высокий потолок. День проходит, год проходит — ты уже коснулся потолка День проходит, год проходит — тебе уже тесно под ним Такой потолок лишь в родном доме бывает. Лишь в отчем краю самые высокие потолки снятся!..

Я не говорю, чтоб каждый сидел в своем гнезде Пусть человек ездит, пусть свой потолок ищет! Настало время — стало тесно и мне в родительском доме. Позвала меня жизнь — и я пошел пытать силу. Трудной дорогой пошел, своей дорогой пошел. В каждом новом месте потолок казался высоким. Дотягивался до него, рос. Много бессонных ночей мне это стоило, много. Но вырастал я и этот дом становился для меня родным. Вырастал я и снова меня звали в новую дорогу. Не сам бежал — жизнь звала.

По семь, по восемь лет в каждом колхозе работал Председателем был. Я расту — и колхоз растет. Смотришь — люди чаще улыбаются. Смотришь — люди лучше одеваются. А то вначале... Ах! Всяко бывало! Глядит на тебя, а смотрит росомахой. Будто ты, новый председатель пострашнее росомахи зверь! И пришел ты сюда, мол, не работать, а лазить по лабазам, охотничьим амбарчикам да по колхозной кассе шарить. Косо вначале смотрят на начальника. Сам им был. Знаю. А вот поработаешь, годок-другой повертишься — иными глазами начинают глядеть. Как лайки, ласково люди смотрят, кошками вокруг тебя трутся. Хорошо!..

А если бы сразу ушел — этого бы и не видать сроду!

Коли приехали новые люди в наш край, то пусть живут, работают. Только пусть не бегают.

А край наш богатый, ой, какой бога-а-тый!.. Все, что хочешь, все есть у нас! Нефть надо — нефть есть. Газ надо — газ есть. Хрусталь надо — хрусталь есть. Соболь надо — соболь есть. Медведь надо — медведь есть. Грибы есть. Орехи есть. Тайга наша — еще нехоженая.

Ягоды надо — в лес иди. Какую хочешь ягоду — такую и выбирай. Красными глазами брусники, голубыми глазами голубики, золотистыми глазами сладковатой морошки взглянет на тебя земля и скажет: человек, будь хозяином!

Осетр надо — осетр есть. Нельма надо — нельма есть. Муксун надо — муксун есть. Реки наши, как море, полноводные. Плещутся в них рыбы, как играют. Темнеет небо весеннее не от туч, а от утиных стай. Гремит небо не громом, а гоготом гусиным. И белая ночь, может, оттого белая, что белые лебеди плывут и плывут над весенней тайгой.

Комаров надо — и их не занимать! Мошкару надо — и ее на всех хватит! Все есть у нас.

Грешно такой край не любить! Дом надо строить. Не временный дом, а родной. И чтобы потолок в этом доме двигался. Это самое главное богатство!..

2

Сейчас я понял, что не прав был старый шаман, когда он говорил, что Мирсуснэхум сотворил рыб, зверей, птиц... Не было никакого Мирсуснэхума. Была сказка: ехал Мирсуснэхум по земле. Однажды слышит сверху:

— Внучек!

— Что?

— Куда едешь?

— Землю посмотреть, силу свою попытать.

— Силу не пытай, я тебе работу дам.

— Какую работу?

— Птиц, зверей делать.

— Как же я смогу делать зверей?

— Э!.. Сынок, все узнаешь...

Поднял с земли два круглых камушка, потер их друг о друга — появилась собачка и, виляя пушистым хвостом, побежала за Мирсуснэхумом. С белой березы сорвал три листочка, свернул их в трубочку, дунул — и появился зверек: лесная мышь. Все вместе идут дальше.

Отломил от кедра щепочку, обстругал ее — прыгнул пушистый соболь. Тоже с ними пошел. Увидел корягу с засохшими ветвями, подтолкнул ее — и по лесу зашагал лось с могучими рогами. Так, идя по дороге, делал Мирсуснэхум все новых и новых зверей. Куда клонится его голова — туда и идет. Куда Мирсуснэхум идет, туда и звери бегут.

Долго ли шли, коротко ли, Мирсуснэхум говорит своим зверям:

— Сейчас разойдемся! Ты, собака, иди, ищи человека. А ты, мышь, ступай, может, где найдешь кучу травы, там себе сделаешь гнездо. А ты на берег реки беги,— говорит он лисице.— Увидишь мышей — убивай. А ты, соболь, в лес скачи... А ты, олень, будешь возить людей на охоту...

Звери разбежались по тайге.

Сейчас я понял: прав был старый Якса, когда говорил, что сильным рукам нужен сильный ум.

Однажды Мирсуснэхум увидел озеро... Вода в нем прозрачная, хрустальная... Видно даже, как плавает рыба. Нельмы, как серебряные луны, важно шевелят плавниками. Осетры, как хрустальные хребты, по дну песчаному идут, задумчивые такие. Видно, говорят о чем-то важном, может быть, о своем будущем по-рыбьи рассуждают. И лишь глупая мелочь пляшет, плещется на поверхности, заливается счастливым смехом...

Смотрит Мирсуснэхум вверх. Видит — осина стоит. Ветвей на ней нет, ствол голый. Лишь на самой вершине один листок дрожит. Взял в руки лук и стрелу.

— Собью с осины лист. Попаду или нет?

Натянул тугой лук, и запела стрела. Полетела стрела, попала в середину листа, пробила его насквозь.

— Хорошие, оказывается, у меня руки! Я самый сильный на свете!..— И, наслаждаясь своей силой и могуществом, он задремал на берегу озера.

И вдруг слышит — кто-то бранится: «Вот тоже мне — герой... Вырастил такие сильные руки, вырастил такие сильные ноги и дает им полную волю. Ну зачем ты пробил кусочек моей постели?»

Открыл глаза Мирсуснэхум, смотрит вверх, видит: на листочке букашка сидит. И поучает его, сильного:

— Для тебя этот листочек ничего не значит, а мне жизни стоит. Я на нем и сплю, и думаю, и работаю. Зачем ты, такой большой, не думая ходишь по земле?!

Права сказка: сильным рукам нужен сильный ум!..

3

Не шумите, что продрогли,
Не кричите, что замерзли,
Я еще ведь только-только
Разжигаю свой костер.
Нет еще тепла нисколько!
Затевают только-только
Языки его живые
Свой веселый разговор.
Не шумите, не пляшите:
У огня — глаза и уши.
Говорили предки манси:
Пламень слышит и глядит.
Если глаз ему проткнете —
Он ослепнет, он погаснет.
Если уши прожужжите —
Он не вспыхнет, зашипит...

И вот я у рыбацкого костра. Красная корова лижет черную корову. Отгадка этой загадки перед глазами: языки огня лижут прокопченный котел, висящий на перекладине.

Веет смолистым дымком и душистой ухой. Сосьвинская селедка... Долго ли ей надо вариться? Вкусная она и свежая. Бросишь ее живую в соль, а через часок будешь чувствовать сказочную нежность золотой рыбки. А уха-а! Но я сегодня не об ухе, даже не о сосьвинской. У костра — люди, у костра — жизнь. А у жизни — своя история. История грустная или веселая, большая или маленькая. Костер не любит молчать. Он отплясывает на смолистых ветках огненный танец, стреляет искрами, шипя и вздыхая, греет людей, кипятит наваристый чай.

Но разве первый говорящий знает, какая дума у последнего? Костер любит слушать и других. Отдавая свое тепло, он навевает людям желание говорить, смеяться, исповедоваться. И перед глазами золотого огня оживает одна история за другой. И не только о рыбе...

— Была война. Большая война. И на той войне я был не маленьким человеком. Не таким, как сейчас,— рассказывает Йикор.

— Ты и сейчас высокий, Йикор. Ростом ты удался. Не ниже русских над землей стоишь. А вот другим...

— Не мешайте ему. Пусть рассказывает. Рыба-то сегодня все равно нас не веселит — не плещется в мотне. И песок отдохнет. Вода отстоится. Может, к закату боль-

ше будет нашей золотой,— говорит Солвал, успокаивая молодых, которые нет-нет да и кольнут Йикора то лукавым взглядом, то словцом.

— А на войне-то вот что было,— не унимается Йикор, не обращая ни на что внимания.

Хотя дымок костра чуть и колюч, но глаза Йикора, глядящие на огонь из-под тяжелых век, сегодня не слезятся. И весь вид его словно говорит, что он и не таких сопляков видывал. Закуривая очередную папироску «Север», он продолжает:

— Привезли нас однажды в Москву. Веселится народ, победе радуется. В небе ночью огни ходят, будто северное сияние зажглось. Хорошее сияние! Лучше нашего. У нас загорится зимой, краски бегают, как дикие олени. В Москве прямыми, ясными лучами; лучи в небе сходятся, пересекаются, расходятся.

Иду по Красной площади, слышу — где-то в окно стучат. А окон много. Хорошо, что снайпером был,— увидел: сам Климент Ефремыч стучит в окно — в гости меня зовет. Пришлось завернуть к нему. А времени тогда у меня, как у всех больших людей, не хватало. У Ленина еще не был. Он в Мавзолее живет — к нему всегда очередь...

Мало было у меня времени, а к Клименту Ефремычу заглянул. А как же! Разве можно пройти мимо друга и не остановиться, не заглянуть в его дом хотя бы на минутку?

Обнялись. Он по-русски здоровался. Я по-мансийски. Уж очень нравится Клименту Ефремычу наше «пася, рума»! Хороший он для людей рума — друг хороший! Как не скажешь ему наше мансийское пася — здравствуй!

— По случаю встречи надо бы...

— А-а,— догадался я.

Климент Ефремыч ставит на стол «Столичную». Человек в столице живет, «Столичной» угощает. А я достаю из вещмешка бутылку нашего северного спирта. Еще с дома как-то осталась... Тушенку на стол ставлю, свиную, союзническую.

Чокнулись... Сразу веселее стало. Хорошо с друзьями встречаться!

А вечером было собрание. Большое собрание, как в колхозе. Выступал товарищ Сталин. Долго выступал. Складно и ладно. А потом и говорит: «Кто из манси и хантов выступать хочет?» Я поднял руку.

— Тише, тише, товарищи! — говорит товарищ Сталин.— Йикор будет выступать.— Сам зовет меня рукой к столу и готовится слушать.

Вожди внимательно слушают народ.

Делал доклад я. Как вожди говорят, как с вами сейчас беседую. Было время — рядом с большими людьми ходил!.. Выступал...

— А что на войне было! То не пересказать за один костер. Много костров надо, много огня, много чаю...

...Бой был однажды. Страшный бой!.. Как осенние лоси дерутся — такой шум стоял.

Мы стреляем, и фрицы стреляют. Метко стреляют. А немец еще и бомбит. Упала около меня одна бомбочка. Смотрю: крутится, вертится. На солдатскую фляжку похожа. А пить хо-очет-ся!.. Думал, там спирт. Чуть не схватил — она разорвалась. Засыпало меня землей, наверно, метра на два.

Думаю: все! Кончился твой светлый день, Йикор. Не будешь ты больше пить спирт, Йикор. Не будешь рассказывать свою историю, Йикор.

А история моя вот какая в тот момент была.

Лежу под землей и хочу курить. При смерти, наверное, все курить хотят... А «Север» у меня в кармане был. Мы, северяне, только наш «Север» курили. Другие то ли махорку, то ли мох курят — кто их разберет. Еле достал папироску из кармана — земля-то в могиле тяжелая.

Лежу, курю, думаю: затопчут фрицы нашу землю, побьют оленей, соболей, осетров. И конец нашему Северу. И папирос таких не будет.

«Нет,— думаю,— мне лежать под землей никак нельзя. Драться мне надо с фашистами, а потом снова курить мой «Север».

С такими думами вылезаю из-под земли. Когда у человека есть дума, ему ничего не страшно. И с того света вылезет, а своего добьется...

Вылезаю с того света, смотрю: никого нет. То ли вперед все ушли, то ли сзади остались. Вдруг вижу: у костра сидит наш командир, с пулеметом возится. Увидел меня, пальцем к себе подзывает. Я к нему. Докладываю.

Похвалил он меня, что успешно вылез с того света. Хотел дать орден, да вдруг увидел, что у меня ружья нет. А без ружья какой солдат?

Иду, откапываю ружье. И мой командир прицепляет на гимнастерку серебряную медаль «За отвагу». А ведь хотел дать орден. Ружье подвело...

А впереди уже фрицы опять в атаку пошли. Прямо

на нас лезут, как волки голодные. Командир к пулемету прилег, а я уже целюсь в фрицев. О, вы не видели мое военное ружье! Не то, что наши двустволки охотничьи. Раз зарядишь — много раз стреляешь. На медведя бы с таким ружьем ходить...

— Будем прикрывать наших. Они временно, до прибытия главных сил отступают! — объясняет мне командир.

Строчит пулемет — фрицы падают, как трава от острой косы. Наш командир как хороший косарь. Красиво косит. И я не отставал. Стрелял не так уж плохо. Когда-то белкам в глаз попадал, а тут фрицы. Они большие. Во много раз больше белок. И я их бью, бью... А они падают, падают, как белки с веток. Не знаю, сколько я их уложил там. Столько белок я, наверно, не брал.

Отступили фрицы.

«Молодец»,— хвалит меня командир.

И к груди моей прилепляет знаете что? Настоящий орден прилепляет. Золотой орден.

Сидим мы с командиром, жжем костер, кипятим чай из снега. Совсем как на охоте. Пьем чай и рассказываем друг другу разные истории.

Много припасено историй у старого Йикора. Сидя у костра, он не торопясь продолжает:

— Однажды слышу: над плесом жужжит мотор. По-особому жужжит. Смотрю: лодка. Бежит, как гагара. Ноги еле воды касаются. Бежит лодка, догоняет мою. Наверно, думаю, это сам Рыбнадзор.

И правда, подскакивает к моему деревянному саранхапу железная лодка. На корме сидит он. Мой друг. Глаза его зорко смотрят. В лодке моей рыбины лежат. Драгоценными слитками сияют. Смотрит Рыбнадзор на рыбу и не видит рыбу. Глаза друга всегда сияют. А когда глаза сияют, то ничего не видят. Хорошо!

А подружились мы с ним вот как. Слышу однажды: на Севере новый хозяин появился. Рыбнадзором его зовут. Звонкое у него имя, громкое. Все его боятся. В кармане у него «пу-пу». Стрелит — только пулька тумкает. Все это знают! А лодка у него, что гагара крылатая. Только брызги летят да рыбаки вздыхают.

— Не рыбаки, рыбакам кто запретит рыбу ловить?! — обрывает его Солвал.— Тебе, может быть, тяжело. Ты же не рыбак, а шаляй-валяй. И больше ты на купца похож: теплоходы останавливаешь, рыбу продаешь. Такому, правда, только «пу-пу» и надо!

— Думаю: как мне дальше жить? — не обращая внимания на Солвала, продолжает Йикор.— Подлетит к моим сетям Рыбнадзор, вместе с рыбой сдернет мои стоглазые ловушки. И буду я плакать. А дома не поверят. Скажут: сети продал.

— Пропил,— поправляет кто-то.

— Принимаю решение: Рыбнадзор пусть меня боится, а не я его! А как это сделать? Сам себе колхоз, сам и решаю: хоть из-под земли, но надо достать красивую форму, которую носит Милица. (Так Йикор милиционера зовет.) И фуражку... Козырек у нее пусть, как у Милицы, сияет. И синие штаны... Какой Милица ходит без синих штанов!

Выполнил я свой план и поехал на рыбалку в Милициной одежде.

Подъезжает к сетям моим Рыбнадзор. Только собирается снимать их, как я из кустов на своем деревянном саранхапе к нему подъезжаю. Увидев мою сияющую фуражку, вздрагивает его железная лодка. И стоит он передо мной, вытянувшись, как стройная сосна. Чуть ли не честь мне отдает, да, видно, вспоминает, что у него-то самого такой формы нет... Улыбнется рыбьей улыбкой. Отведет глаза от рыб. Рыбы шевелят ртами, видно, хотят что-то сказать ему. Спастись от меня, видно, хотят. Да Рыбнадзор теперь не хочет их слушать. Рыбнадзор теперь моим другом хочет быть! И опять жужжит его сказочный мотор. И кто-то там лишится сети. Даже если она у него единственная. Все сдирает Рыбнадзор — в рыбном краю в большой цене капроновые ловушки... Закон, говорят, такой есть: нельзя, мол, ловить рыбу тем, кто на сухом месте работает, имя рыбака не носит. А мой друг и у рыбаков втихомолку цапает. Ловкий был Рыбнадзор!

— Не городи, Йикор! Не взводи напраслину! Одну-две сети всем разрешают ставить. И никто, даже Рыбнадзор, не имеет права их брать! — пытается кто-то урезонить разболтавшегося Йикора.

— Ты слушай. Однажды мой друг предложил прокатиться с ним. Ну кто же откажется полетать по воде на самой быстрой лодке! «Сосьвинскую селедку кушать хочешь?» — спрашивает он меня. Ну кто же откажется от такой сладости! Даже Черчилль, говорят, за золото хотел купить нашу Сосьву. Уж больно ему понравилась наша сосьвинская селедка!.. Даже империалист Черчилль растаял от ее нежности. И, попробовав ее, на Крымской конференции другим языком заговорил. А на той конферен-

ции большие вопросы стояли. Военные. Гитлера надо было быстрей давить. Сговорчивее стал Черчилль. Не стал вилять хвостом, как раньше. Помогла, видно, наша рыбка.

Ну, поехал я тогда с моим другом и удивился его искусству. Вот подлетаем к берегу, выходим из лодки. Рыбаки невод тянут, а Рыбнадзор по бе́регу ходит, лодки смотрит, рыбу глазами мерит. Увидит селедку — глаза его особым огнем загораются. Лицо строгим становится, а шаги — важными. Будто он самый большой начальник и принес он самую новую весть, самый строгий закон. Тянут рыбаки невод и поглядывают на него с опаской. Не впервые, видно! Селедки, конечно, мало. А мелочи прочей много. Селедку в ведра убирают, мелочь снова в реку вываливают...

И тут-то начинается.

— Почему у вас в лодке много нестандартного сырка? — начальственным тоном задает вопрос Рыбнадзор.

— Такого сырка всегда принимали,— говорит бригадир, старается снять с лица хозяина реки строгость.— Или есть новые указания?

— Штраф будете платить! — еще важнее говорит Рыбнадзор.

Быстро кончаются разговорчики. А в лодочке Рыбнадзора — уже селедка. Два ведра, а может — целых четыре! Настоящей селедочки! Самой золотой, самой сосьвинской!

Довольные рыбаки нам руками машут. Как же не быть довольными, если теперь им штрафа не будет! Как же и нам не быть довольными, если в нашей лодке, летящей крылатой гагарой, столько живого золота, от которого таял даже Черчилль.

Вот какой у меня был друг! Вот какого друга у меня теперь нет! И вынужден я сидеть у вашего костра, в ожидании жалкого полпая...

— Нельзя ронять на землю даже кусочек сладкого сахара, даже каплю горького вина! Был когда-то такой обычай у манси,— глядя на огонь, словно думая вслух, тянет слова Солвал.— Где уронил сахар, там могила вырастет, страдать и плакать будут. Сладость горем прольется. Где горькое вино пролили, там сладкое тоже не вырастет... Не сласти землю, Йикор. Не мути воду, Йикор! Если бы все было так, не горел бы перед нами наш золотой огонь. Давно бы мы разучились чувствовать его тепло и ласку.

— А разве не правду говорит Йикор?! — возмущается кто-то из молодых рыбаков.— Было же такое: поставишь сеть — исчезнет. Украдут, а на Рыбнадзор валят. А почему? Это тот Рыбнадзор дал повод: у всех без раз-

бора снимал сети, нужно и не нужно, а снимал. Что прикрывать-то!

— Не браконьеры и тунеядцы страдали, а люди,— поддакивает ему другой.

— И правда! — поддержит третий.— Плохо было тем, кто на земле работал. Кто сено косит, коров доит, картошку убирает, с трактором возится, где им взять рыбы? В магазине ее нет: мол, у большой реки живете. А в большой реке Рыбнадзор не дает ловить: мол, вы не рыбаки. Где начало, где конец — никто не разберется. Плохой закон!

— Такого закона не могло быть! Рыбнадзор такой мог быть. Это, может, и правда. Но и правда-то бывает разная,— поучает Солвал. Видно, привык он на своем веку поучать.

— И в том правда, что манси без рыбы жить не может. Когда жизнь человечья зачиналась, спросили Торума: чем будут на земле питаться люди? Отец Вселенной ответил: в тайге дремучей — черные звери, в реке широкой — белые рыбы. Мудрыми будете — сытыми будете. Рыба — начало жизни манси. Как можно манси этого лишать?! Но и в том правда: рыбы все меньше и меньше! Браконьеров ловить надо? Надо! Значит, Рыбнадзор нужен! Только умный Рыбнадзор, грамотный, хороший!

Трещит костер, стреляет искрами. Разве может у костра молчать Йикор? Пока не потушишь костер, его не остановишь.

Трещит костер, трещит и Йикор:

— Хороший был у меня друг! А лишился я его вот как: приехал он однажды в нашу деревню. Куда ведет манси гостя? Не в ресторан и не в шумное кафе, а домой настоящий манси ведет гостя. Вот и я повел домой.

Удивляется Рыбнадзор, что на столе моем много спирта. Стол хороший — друг будет хорошим! А какой стол хорошим называется?

Если на столе не лежит нархул — сырая трепещущая рыба с живой и сладкой кровью,— это стол не мансийский! Если на столе не лежит ехыл — сушеная на солнце рыба,— это стол не мансийский! Если стол широкий не пахнет свежесоленой рыбой, или крепкосоленой рыбой, или малосоленой рыбой, или рыбой чуть-чуть с душком — он не мансийский! Вареная рыба, мерзлая рыба, жареная рыба, живая рыба — вот стол мансийский!

За таким столом и сидел мой гость. От такого стола хмелел мой гость. За таким столом не только говорят, но и чокаются.

Раз чокнулись — граненые стаканы звенели. Сам слыхал.

В третий раз чокнулись — слышен был плеск. Так вода в реке плещется.

Седьмой раз чокнулись. А что слышно было? Только дух знает.

Видели ли мои глаза? Заяц косоглазый, наверно, больше видел. Слышали ли уши мои? Дерево глухое, наверное, больше меня слышало.

Думал ли мой ум? Дикий медведь, наверное, больше меня думал. И все же думка одна в сознании моем, видно, не гасла. Теплилась. Больная думка...

Была у меня красивая форма Милицы. Не было у меня только маленького «пу-пу». В правом кармане его носят.

Больная думка от спирта не гаснет. Больная думка с огненной воды растет, гореть начинает. И голова в пламени этой думки. И вот уже рука моя в правый карман к другу лезет и достает оттуда маленькое «пу-пу».

Моя красивая форма вдруг оживает: на правом боку на ремешке — маленькое «пу-пу».

Иду счастливый по деревне.

Дети смотрят на меня — завидуют, женщины смотрят на меня — как коровы — ревут, мужчины смотрят на меня — как волки — лают.

А я не обращаю на них внимания. Гордый иду. Вижу — теплоход стоит. И теплоход — белая лебедь — далеко-далеко от Рыбнадзора везет, далеко и от дома.

И кто-то меня поймал, кто-то меня связал. Проснулся: в темном доме сижу. Там я и протрезвел. Там и понял я, что друга потерял. Его тоже, как и меня, наказали — с той хорошей работы убрали! В тюрьме той я и поумнел. Там наконец я понял, что спас вас, глупых манси, от этого Рыбнадзора.

Есть теперь разные рыбнадзоры. Умные, грамотные. Друзьями моими не хотят быть! Хорошо ли, плохо ли это — пусть скажут манси. А я помолчу. Много дров сожгли — хватит; много костер трещал — хватит!

— Ну и щука рогатая! — вздохнет кто-то.

— Ну и сорока-болтунья! — молвит второй.

— Ну и налим скользкий! — скажет третий.

— Если был такой Рыбнадзор — пусть его не будет больше! — говорит Солвал.— Если опять заведешь такого друга — сами тебя засудим. А Рыбнадзор нам нужен! Только грамотный, сердечный, мудрый! Пусть он ловит браконьеров, рыб наших стережет, а манси зря не трогает!

— Ну как, ребята,— заключает Солвал,— дадим Йикору полпая за сказку?

— Ладно,— тянет кто-то.— Вон солнце на деревья начинает садиться. Не упустить бы рыбку! Пошли, ребята, пошли!

— Вы кидайте невод, а я на гармошке буду работать,— нашел выход Йикор.— Рыбы любят музыку. В журнале прочитал. Не читаете ничего — вот и не ловите рыбу. Мое рацпредложение: с музыкой надо ловить сосьвинскую селедку. Вы закидываете невод — я сажусь у волны и играю на гармонике. Сосьвинская селедка тоже стала современной — не всяким инструментом возьмешь. Звуки старого мансийского санквалтапа ее не тронут. Только гармошкой ее теперь и можно взять!..

— Может, лучше на пианино! Манси-то теперь больше на пианине да баянах играют. Отстал ты, Йикор! — смеется кто-то.

— Сосьвинская селедка — это еще не манси. Ей пока и гармошка — новость! — находится Йикор.

...И вот уже скрипят греби, стреляет вода, стукаются о борт лодки поплавки — и над тихой вечерней Сосьвой вдруг оживает рыбацкая музыка.

Чешуей стальной блистая, хэй-я,
Пляшет в струях рыбья стая, хэй-я,
Кипит вода, кипит вода...
Э-гэй, друзья! Скорей сюда!
Хэй-я, хэй-я, хэй-я, хэй-я!

Голубоватые глаза Солвала зорко следят за каждым движением лодки. Знают они, эти глаза древние: закинешь невод чуть подальше — селедки не будет; чуть недотянешь до положенного места — не будет золотой!

Мы проворными руками
В плес закинем невода...
Хэй-я, хэй-я, хэй-я, и-йа!

Может, эту песню поют руки Рыжего Солнышка, сынишки Солвала. Руки его летают, рыжие волосы летают — сияющая вода звенит, брызжется, расходится кругами. Рыжая улыбка летит, стоглазый невод с надеждой уходит в воду.

Гей! Потянем сеть дружней мы.
Гей, друзья! Быстрей! Быстрей!
Нету лакомства вкусней,
Чем серебряная нельма!
Хэй-я, хэй-я, хэй-я, и-йа!
А селедочка нежней...

Может, эту песню поет сам Йикор, идущий впереди петовщика, перебирая лады старой гармошки-хромки. Он зовет в невод рыб.

Хэй-я, хэй-я, хэй-я, и-йа!

Лодка на полном ходу вскакивает на песок, за ней шипящая волна, и руки рыбаков бегают — тянут невод, и босые ноги рыбаков бегают — тянут невод. Вот уже первые рыбы застряли в ячейках. Значит, в мотне что-то будет. Неужели и сосьвинская будет?! Глаза рыбаков сияют, как эта Сосьва под лучами заходящего солнца...

Плеск и гомон ввысь летит...
Хэй-я, хэй-я, хэй-я, и-йа!
Счастьем каждый взор блестит.
Хэй-я, хэй-я, хэй-я, и-йа!

И правда, в мотне плещутся и серебряные сырки, и золотистые язи, полосатые окуни, ершики колючие...

Среди этой суетливой мелочи важно ходят рыбки снежной белизны, удивительного спокойствия. Это она, сосьвинская селедка. И какая дубина назвала эту нежную рыбку селедкой? И что общего у нее с тихоокеанской?!

А еще зовут ее тугунком. Манси же ее золотым мальком, рыбкой золотой величают.

— Хорошо! Золотой нашей рыбки почти ведро, наверно, будет. По нынешним временам совсем хорошо! Спасибо Сосьве, что подарила нам свое золото!

— И тебе спасибо, Йикор! За музыку спасибо! Смешно ты звал рыб в наш невод... Чтобы золотая зашла, может, и вправду что-то надо придумать?!

Шутки, хохот над рекою...
Видел ты хоть раз такое?
Хэй-я, хэй-я, хэй-я, и-йа!

4

Письмо... Пришло однажды Солвалу письмо. И каждое утро, на заре, когда глухари будят уснувшую тайгу, он достает чуть помятые, но еще не пожелтевшие страницы. То глядит он в синие строчки букв, то в серебряную даль разлившейся Сосьвы устремляется его взгляд. Отсюда, с этого обрывистого берега, где стоят вековые кедры, он многое видит, и вспомнить есть о чем.

О днях незабываемых поет это письмо. Жизнь была полноводной, как эта сверкающая в лучах утренней зари Сосьва...

«...Помните суровую зиму 1944 года, когда в поселениях Обского Севера бушевала эпидемия сыпного тифа? Нам с врачом И. Ф. Гладких пришлось около трех месяцев бороться с этой инфекцией. Около ста дней трудились мы днем и ночью и победили ее».

Как не помнить тот суровый год!

Война была. Большая война. Мужчины на фронт ушли. Немногие с поля боя вернулись. А он, Солвал, хоть и раненый, но вернулся. Недаром род его нарекли соленым. Соль все выдержит: и мороз, и Гитлера, и тиф!

...В таежной деревеньке, куда направили вернувшегося с фронта коммуниста, свирепствовал тиф. Почему эта старая болезнь опять проснулась? Может, ее подбросил Гитлер? А может, потому, что ханты — жители глухой тайги — по суеверию не хотели мыться в бане?!

Да и бани доброй в деревне не было. Новый председатель с нее решил начать свою деятельность. В тайге деревьев больше, чем людей. Срубили люди баню. А печь Солвал сложил сам. Потому что мастеров не оказалось.

Из Березова, районного центра, приехали «люди в снежных шапках», «в снежных платьях». Врачи. Вернее, мужчина-врач — Гладких, так его фамилия звучала,— и девушка, его помощница. Голубоглазая, светлолицая зырянка казалась волшебницей. Колола иглой тонкой и сияющей, давала таблетки, спрыскивала дома какой-то таинственной жидкостью. И люди оживали, на лицах смугловатых появлялась улыбка. Вот какой была тогда эта девушка. А теперь она уже врач!

«Я никогда не забуду ваше предсказание, Солвал, что буду хорошим врачом... Вы меня назвали тогда «дохтуром», но я была только фельдшером».

Да, была она тогда еще молоденькой... Малицу наденет — северянка, да и только! А снежную шапочку наденет, шприц возьмет — преображается, на дохтура похожей становится. Сильной и могучей кажется, как сам Гладких.

Да, Гладких был герой. Спас других, а сам погиб. От тифа и погиб. И на Севере был фронт. И на Севере была война. Война была с болезнями и предрассудками. Спасибо голубоглазке, что вспомнила старика и написала весточку.

...Думы стариковские воскрешают живую и кипучую жизнь...

Наизусть знает Солвал это письмо, хотя и не умеет читать. Люди помогли. Сейчас все грамотные. И он мог бы быть таким же, да родился рановато! Но кто сказал, что

он необразованный? Есть и у него свое образование, своя грамота.

...Это письмо обычное. Бумага белая, как снег. Буквы синие, как следы утром. Как сплошные росомашьи следы, обведенные пушистым хвостом.

Не умеет он различать эти буквы. А вот след любого зверя он угадает без ошибки. И старинные надписи на деревьях читает. Но там не буквы, а волшебные рисунки. В них — целые слова и предложения. О жизни таежника повествуют эти знаки. На скалах крутых их можно увидеть и на маленьких дощечках, которые носит с собой охотник, делая какие-то зарубки, понятные только ему.

А узоры на шубах и кисах женщин — это тоже не просто орнамент. Не только для красоты нарисованы они. Они повествуют о жизни тайги. Вот рога лося. А вот лягушка. Она — хозяйка рода, волшебный амулет семьи. И все другие должны знать об этом. И крылья гагары, и след медвежьих лап, и длинная шея журавля говорят о многом... Солвал каждый знак знает. Старинное это письмо читает, как молодые — новое.

Солвал всю свою жизнь пользовался этим таинственным письмом. Оно его ни разу не подвело. И когда делал доклад перед большим колхозным собранием, и когда на пленуме райкома выступал, и когда на сессии окружного Совета держал слово. Когда говорил о рыбаках, о славных их трудовых делах — в орнамент рыбы глядел, когда говорил об оленеводах — в орнамент рогов глядел, когда пел о пушнине, о золотых мехах, добытых далеко в тайге,— орнамент тоже помогал.

Об этом, наверно, и вспоминает голубоглазка: «А ваши выступления на пленумах и конференциях — всегда самые толковые и злободневные — заканчивались бурей аплодисментов в любой аудитории. А помните наши поездки на сессии окружного Совета? ...Ездили на лошадях в Ханты-Мансийск, ходили пешком. Но являлись всегда вовремя...»

«Эх, была жизнь! Настоящая, большая! — подумает Солвал с удовольствием и сожалением об ушедшей молодости.— Да только в одном маху дал: не захотел учиться. Орнаментом хотел все понять и постичь!.. Э-эх!.. Жаль!..»

Возили Солвала на курсы, учиться заставляли. Слушал он преподавателей окружной колхозной школы, внимательней лайки был. Звонкие слова пропускал мимо, а умные — записывал. Волшебное мансийское письмо помогало. Учителя удивлялись: человек не писал, а рисовал — и все по-

нимал. На любой вопрос отвечал председатель северного колхоза. Хорошо отвечал.

Одного не мог — писать по-новому. И еще одного не мог — жить в городе, где мало свежей, очень свежей рыбы и мяса звериного нет. И убегал он из города в свою деревню. И руководил колхозом по-своему. А рыбу добывать в его колхозе умели: два-три годовых плана за год давали. И звери с золотым мехом от колхозных охотников не уходили. И картошку научились выращивать. Все северяне поняли тогда, что это — второй хлеб. И коров завели, и черно-бурых лисиц. Дома всем понастроили. Новая жизнь пошла...

На дымной, прокопченной корме мотолодки любил стоять председатель. Важно он стоял. Знал: ни в одном колхозе района не было еще такой железной силы. Угадывал, что за железной силой — будущее Севера. Лишь с помощью машин, мудрых и мощных, северяне возьмут богатства своего еще таинственного края. Чувствовал он это, и, гордый тем, что первый обладает такой силой, под ритмичный треск мотора пел песню.

Много раз с тех пор прилетали утки, неся на крыльях новую весну. Много раз улетали утки, унося с собою время. Те далекие дни стали мутной памятью, те далекие люди живой легендой стали. Может быть, что и не так, по-другому было. Но легенды живут. Жизнь была. И счастье было! Большое счастье коммуниста, организатора первых северных колхозов! Четверть века проработал он председателем. Много колхозов поднял. Не позабыла об этом голубоглазка. Она ведь стала тогда секретарем райкома партии и редактором районной газеты. Не раз Солвал бывал с ней в ближних и дальних поездках...

«Спасибо!» — шепчет Солвал, обводя пальцем строки:

«Я помню, району было очень тяжело. Война... В рыбартелях одни женщины, дети, старики. А артель выполняла план по добыче рыбы, пушнины... Ваш образ организатора-самородка... останется со мной навсегда...»

«Навсегда»!.. Это слово неточное. Знает об этом Солвал. Ничто на свете не вечно. Все рождается и умирает, но Солвал знает одно: дети продолжают дело отцов и ценят сделанное ими.

— Жизнь... Она вечна. Только бы она пошла по пути, проложенному нами, старыми коммунистами!..— Солвал задумывается, и снова воскресает в его памяти прожитая жизнь...

«Когда-то мечтал стать богатым. Таким, как Яныг-пуки.

Сытой жизни каждый хочет. А другой мечты тогда и не было. Колхозы, социализм...— это потом появилось. Это потом загорелись манси новым огнем, от которого было жарко и друзьям, и врагам. А тогда!.. Что там говорить!

Видят люди: хозяйство наше в гору пошло. И лошадь появилась, и коровы, и овцы... Стали со мной разговаривать даже старики. А им почет был особый. Молодой человек за счастье почитает обращение к нему старика, даже самого последнего.

Стал на меня поглядывать сам шаман. В гости приглашает. С трепетом вслушиваюсь в таинственные слова молитв и заклинаний. И кажется мне, что живу я в волшебном мире. Иногда забываюсь. Причудливые видения вижу во сне. Как и шаманы, я умел забываться. Сейчас я узнал, что у меня была какая-то нервная болезнь. А тогда!.. Трясет меня. И люди думают, что в это время меня посещают духи. Если буду верным старому шаману — духи смогут мне открыть желания неба.

А шаман — это не простой человек. Не дурачок какой-то, как часто на сцене изображают. За семь озер его глаз должен видеть, за семь лет вперед его ум должен думать. Лечить он умел и погоду предсказывал. Но и коварный был, как зубастая рыба. Преступишь обычай — как щука: проглотит, детей своих не пощадит. Скользкий был, как налим! Голыми руками не поймаешь. говорил, как пел. Как весенний тетерев токовал. Заслушаешься, забудешь себя и свое горе. И ты уже в его власти. И несешь ему не только свое добро, но и сердце. В руках шамана плясали манси и ханты. И я мог сделаться таким владыкой. Обладал я еще хорошей памятью. А это большое дело! Много должен знать шаман — больше, чем сто манси, а может, и тысяча. Он должен «на языке держать» все заклинания и молитвы, богатырские песни предков и плачи о сказочном прошлом...

Учили меня старики, посвящали в священное таинство. Но посредником между небом и землей не суждено было мне стать. Пришла новая жизнь.

Коммунисты... Далеко было мне и до них. К тому же в нашей деревне коммунистов не было, как и грамотных. Но когда из района приезжали уполномоченные — я чувствовал, что эти люди по мне. Они такие же, как я, «соленые» и упрямые. И слова у них огненные, как у шамана, но не усыпляющие. Они звали к деятельности. Большой и огненной деятельности, какой еще не знали манси. А мне этого и хотелось. И я стал коммунистом... И не жалею.

Спасибо. Я узнал такую жизнь, что вы мне еще не раз позавидуете! В борьбе за жизнь людей, а не только за свою жизнь, есть сладость. Ее невозможно нарисовать словами, ее надо почувствовать самому...

Избрали меня председателем — хозяином колхоза. Я сначала не очень хорошо знал — что делать с этой властью? В руках ли держать ее, людям ли раздать или запрятать так, чтобы никто и духу ее не почуял? На всей земле никогда раньше колхозов не было. И такую жизнь мы начинали впервые. Не сразу все у нас наладилось.

И хоть не стал я шаманом, а Сорни-най, нашу золотую богиню, темной ночи светлую красавицу, я все же держал в святом ящике, который стоял в углу нашего нового дома. Что правда — то правда. Не могу кривить душой при заходящем огненном солнце. Унесем-ка свой ум в то далекое время.

Дела в колхозе были не совсем удачные. И вот рассердился я на нашего домашнего духа Сорни-най. Наверно, она, не верящая в коммунизм, во всем виновата. Из-за нее, наверно, мало ловим рыбы и премии не получим. Если плохо работает бог, зачем тогда он нужен? Утоплю нашу богиню в проруби. Пусть она там мерзнет. И посылает в наши ловушки рыб, пока не поймет, как хорошо быть в теплом углу мансийского дома.

Поехал по дрова на своей белой лошади и захватил с собой золотую богиню. Какое там золото! Это кукла. Лицо у нее деревянное, две дырочки — два глаза, красный, мазанный кровью рот. Шелковый платок на шее и соболья шуба.

Ругать ее не стал: грех ругаться на божественного духа. А просто, без слов, толкнул ее в прорубь. Сам поехал в лес, чтобы вывезти срубленные дрова. На обратном пути лошадь моя провалилась в полынью, и сам я чуть не оказался в ледяной воде.

«Мстит мне богиня и другие духи, от которых я отрекся,— подумал я со страху.— Сегодня она лошадиную душу захотела взять, завтра потребует жертву побольше. Будет мешать, как злой дух. И не успею я доказать, что колхоз лучше. И путь наш к коммунизму затруднится. И из-за чего?! Из-за собственной дурости — не смог сговориться с каким-то духом! Если богиня есть на самом деле — пусть будет мне другом, а не врагом. Пусть и духи помогают строить светлый коммунизм!..»

Достал ее из проруби, отвез домой, посадил на прежнее место. И сказал ей:

— Не буду больше приносить тебе в жертву ни белой лошади, ни барана, ни курицы. Смиловался я над тобой, посадил тебя в угол теплого дома. Но если не будешь помогать — тогда гляди!

Не знаю, помогла ли мне богиня, но мои колхозники в тот год поймали много-много рыбы. Два колхозных плана за один год выполнили. И слава о нас пошла по всему округу.

Когда рассказываешь сказку — и то запинаешься. Нужное слово не сразу с языка летит. А жизнь складывать еще труднее. Борьба была. Настоящая драка. Яныг-пуки не хотел быть колхозником. Сыновьям и внукам завещал то же самое. За ним тянулись и некоторые старики. Рыбу все ловили, а сдавали государству не все. В лесу прятали, гноили. Сами не ели и другим не давали.

— Преступники! — сказали бы сейчас.

А тогда не каждый решался сказать это в лицо бывшему богачу. Помнили люди его былое могущество. Еще злых духов назовет, и несчастья посыплются... А главная беда — манси и ханты не будут ловить рыбу в священном озере. А сырка там много, как летом в речке мальков. И никто это добро не ловит. Обычай запрещал. Священная, мол, рыба. И ловить ее могли лишь Яныг-пуки, шаман да их приближенные. Простые манси и ханты, как деревья на ветру, трепетали, даже близко к этому озеру не подходили.

Мы, молодые — коммунисты и комсомольцы,— решили сломать древний обычай. Не пропадать же добру. Но большинство колхозников были против.

— Накажут вас боги за то, что хотите порушить древний обычай! — сказали старики, женщины повторили. Лишь семь смельчаков нашлось. Тоже священное число. «Что-то будет»,— говорили суеверные.

И сами-то трясемся. Ведь духи, быть может, вправду есть. Накажут они не только нас, но и детей наших. И все же вышли на лов серебряной заповедной рыбы.

Дрожим. Холодно под сердцем. Кажется, душа ушла от нас. И все же ловим рыбу. А ее в озере много-много. На самолетах ее возят. Начальники большие нас, смельчаков, хвалят. В газетах о нас пишут, а старые манси на нас самые тяжкие проклятия сыплют.

Вернулся домой — жена слезами умывается. Стонет и кричит на меня: «Ах ты, убийца! За тебя мы наказаны. Дочь наша умирает...» Ругала меня, проклинала! А дочь моя маленькая и вправду при смерти. Кричать уже не может, красная вся. Животик — как надутый мяч. Я к врачу бегу.

Пришла к нам фельдшерица наша, голубоглазка... Она что-то сделала, и девочка уснула. И выздоровела в конце концов!

Богател колхоз. Слава добрая о нас слыла. И видит Яныг-пуки: духи шамановы ему не помогают. Шаман Якса к нему на помощь приехал. Тогда, видно, решили они силой со мной расправиться.

Приехал я в деревню к Яныг-пуки. Хожу, как начальник, ищу в лесу ямы, в которых рыба спрятана. Лазаю по лабазам, где мешки с мукой лежат, шкурки звериные висят. Хозяйничаю. Приказываю сдать все это государству. Видно, глаза мои были затуманены колхозной славой. Не чуял беды. Схватили меня мои недруги. Били. Скрутили назад руки, привязали к кедру.

Сосут меня комары и веселые песенки напевают. Их много, длинноносых кровопийц. Горит лицо огнем, и тело полуголое горит, и силы гаснут. Лишь душа моя не гаснет.

Видел я, как из-за кустов смотрел на меня шаман красными глазами глухаря. Жгли меня комары, сосали мою кровь, но я не молил о помощи, а вспоминал заклинания. Цветистыми заклинаниями стал я крыть шамана, Яныг-пуки и весь их род.

По коре кедра стекали янтарные капельки смолы, а из глаз шамана — слезы. Он плакал, но меня не отвязывал. Может, ему показалось, что я говорю с богами? И они мне дарят такие яркие слова, а он бессилен против меня. И колхоз богатеет, и не он, а коммунисты на Севере хозяева...

Струсил Яныг-пуки — отвязал меня. Понял, наверное: коммунисты не простят его...

А Север наш богатый. Ой, какой богатый... Все, что хочешь,— все есть у нас! Счастье — жить на такой земле!

Зверь скачет в лесу, рыба в речке плавает. Без зверя жить нельзя: ноги лыжи потеряют, глаза зоркость потеряют, не за кем будет охотиться! Скучно будет...

Без рыбы жить нельзя: без плеска рыб — оглохнут уши, без рыб — река замрет. И человеку нечего будет ловить. Скучно будет...

Без коммунистов жить тоже нельзя! — так я думаю. Как человек может жить без головы? Без головы жить человек не может! Чтобы жизнь была мила — нужна светлая голова.

Есть у нас на Севере жир земли — черная нефть. Не расплескать бы ее по ручьям, не замутить бы речки!

Есть у нас на Севере дух земли — горючий газ. Не про-

дымить бы наши леса, не затмить бы солнце. Нашему Северу ой как нужна мудрая голова!

В лесу еще токуют глухари, в Сосьве играет сырок, хватая бабочек над плесом...

Хорошо!..»

Так думает старый манси, старый Солвал.

Глаза его были раньше синими — я помню. Теперь уж поблекли. Волосы его были чернее соболя — я помню. А теперь в кольцах кудрей — белый мех...

Он держит в руках письмо, и вся его жизнь проплывает перед его глазами, звенит в сердце щемящей песней...

5

Меня качало солнце. Большое и яркое солнце детства качало меня. Я снова был в родной колыбели...

Сердце мое плеснуло в груди большой рыбой, когда снова увидел я зеленовато-желтый тальничек, по колено плескавшийся в разлившейся реке. Я глядел на него, как на родного братца, с которым вместе играл и рос.

Маленьким был тальничек. Помню. Маленьким был и я. Помнит тальничек.

Возмужал тальничек. Повзрослел и я.

И старая черемуха качала корявыми ветвями, приглашая отведать черноглазых ягод с костяным сердцем. И тропинка узкая, в тени черемушьих ветвей, манила меня пройтись. Тропинка бежала, осторожно обходя густые кусты светло-зеленой смородины. Тропинка привела меня, как в детстве, на берег круглолицего озера. Улыбнулось озеро серебряной улыбкой. От радости неожиданной всплеснуло руками — и взмахнула к небу стая острокрылых уток. И долго-долго держало крылатые руки свои над седой головой. Долго-долго говорило, причитало, крякало озеро голосами уток, гусей, куликов. Помнило, наверное, как подполз в первый раз карапуз к его стоячей зеленоватой воде и пустил свою дерзкую стрелу.

«Не забыл ли, сын мой, как подарило я тебе первую добычу — золотоголовую утку?» — проквакало озеро лягушечьим голосом.

— Спасибо тебе, озеро! Как забыть такое! — шепчу я тихо, наклоняя голову.

Белая ночь плыла. Склонившись к воде, раскрыв белые лепестки-ресницы, удивленно смотрели цветущие деревья на свое отражение.

Все это снилось мне не раз в далеком городе.

Низкий берег. Деревья — в воде. Звонко всплескивает рыба...

«У-ух! У-ух! У-ух!» — где-то далеко-далеко на темных ветвях большого дерева стонет филин.

На каком-то суку опять колдует кукушка, считая чьи-то годы. Чьи годы считает вечная колдунья?

Кедр зеленокудрый, что стоит на берегу высоком рядом с отцовским домом, не раз шептал мне во сне: «Приди ко мне, сын, приди! В краю родном — дыхание твое. Надышись запахом кедровой хвои — и ты прозреешь...»

Я все помню... Волосы у отца были черные и курчавые. Глаза — как небо. Щека кололась, как детская оленья шкура. Я помню. Ведь мы живем давно-давно. Как эти чайки, кулики, деревья, вода, небо, солнце. Только я был маленьким раньше, а атя — большим. «Плохо быть маленьким,— думал я тогда,— все время надо ждать и ждать!»

Может, плохо быть и стареньким? Может, так же, как дети, они ждут кого-то?! Но я тогда знал, что вырасту, буду большим. А что думает о своем будущем отец? Как хорошо, что мы увиделись снова! Молодец сестренка, что придумала телеграмму. Я рад был увидеть снова и ее, и отца, и родные края.

Постарел отец, но еще много в нем сил. И я смотрел на него с гордостью, как в далеком детстве,— вот он какой, мой атя!

Порой мне казалось, что все это мне чудится. Но когда я слышал его слова, звучные и ясные, как крик чаек, когда ощущал на плече его руку, мне дышалось легче. И это было не в сказке, а наяву. Мы сидели у одного костра. Вместе плыли по Сосьве, смотрели на берега, где проснулась новая жизнь. Я рассказывал отцу о далеком городе, о моих новых друзьях. Старый Солвал слушал меня не перебивая. А потом я слушал его рассказы — о тайге, о Сосьве, о новых и давних временах. Мне кажется, я стал намного богаче. Жизнь моя словно удлинилась Будто не он, а я жил в те далекие годы, когда впервые его качнуло веселое и яркое солнце жизни.

Рядом с отцом все было и проще, и сложнее. Все казалось понятнее, но тут же возникали новые загадки... Жизнь играла свою вечную игру. Рядом с отцом мне она казалась полноводной рекой, выходящей из берегов. И жизнь моя снова была полная чаша.

И вот я снова лечу в крылатой лодке. Высоко лечу. Рядом с солнцем лечу.

Солнце осталось и на земле. Золотым язем плескалось солнце в серебряном плесе. И чайки смеялись, унося в тонких клювах рыбок. И рыбы ломали сияющее лицо воды расплывающимися кольцами...

Земля моя, где олени бегали, где резвились соболи, где мать моя качала берестяную люльку, где отец мой на широких лыжах из лосиного камуса оставлял узкий след, снова навеяла мне свою сказку.

Крылатая лодка несет меня вдаль. Смогу ли я ее остановить? У нее расписание и строгий маршрут.

Там, внизу, над обрывом стоит мой родной кедр. Наклонив трехсотлетнюю голову, в глубоком раздумье стоит он. Нашел, нашел я время и пришел к тебе, как в детстве. Походил вокруг тебя без топора острого, посидел под могучей кроной — но не с молитвой древней, а с глубокой думой. Пощелкал орехи и скорлупки не разбросал. В память встречи уронил орешек.

Крылатая лодка несет меня в новую сказку. Какой-то она будет?

Синий ветер каслания

Повесть

Тайга... День идешь — конца не видно, год идешь — конца не видно. Только кедры стоят как завороженные, жмутся к земле карликовые сосенки, смотрят в небо лиственницы. Снег слепит глаза. Снег, снег, снег...

И словно все здесь омертвело, ничего живого нет и никогда не было. Стоят одни деревья, да над ними небо, да вечно сияет снег... И некого спросить, и не о чем вспомнить. Снег, снег, снег...

Так ли это?

Нет! Это только кажется...

Вот стоит обыкновенная лиственница, запорошенная снегом лиственница. Можно проехать мимо и ничего не заметить.

А если остановишься, пристальнее взглянешь на толстый стройный ствол — многое узнаешь.

Все это на дереве написано. И писали не лось рогатый, и не медведь косматый, и не злобная росомаха, а человек, убивший их.

На стволе фигура зверя: голова, круглая, как луна, короткая шея, туловище и шесть ног. Это медведь. Он хозяин. И все враги удирают от него, как на шести ногах.

Над затеской пять зарубок — значит, было пять охотников. А внизу семь косых зарубок — семь собак было с ними.

А разные метки, что стоят в центре,— это «катпос», знаки руки, личные подписи охотников.

И можно прочитать, где убит лось, а где росомаха, где было пиршество, а где постигло людей горе...

Край наш не без истории. Только надо смотреть, только надо слушать...

Ты слышал, как шелестит кедр зелеными иголками, когда играет ветер? Ты слушал хоть раз таежную музыку? Знаешь ли что-нибудь об оленеводах?

Олень... Словно дерево ветвистое растет на его голове. Глаза его смолистые, ласковые, как у доброго человека. В них нет ни высокомерия, ни лжи, ни укора. Свет их теплый и ясный. Они греют оленевода в пургу, дают ему крылья,— и он летит на своей нарте, словно вьюга.

Оленеводы бывают разные. Одни мужественные, как сказочные герои, другие трусливые, как слабые плотвички, мелкие рыбешки. Таких мало, потому что каслание — кочевье оленеводов — дорога длинная, трудная...

Я был в такой дороге. Кочевал с оленеводами от Оби до Урала. Далеко от Оби до Урала: не семь раз поставишь на пути теплый чум, а больше; не семь болот надо перейти, а больше; не в семи озерах придется попить воды, а больше; не семь дум передумаешь, а больше; не семь раз испытаешь себя, а больше!..

Длинна эта дорога, как жизнь. Трудна эта дорога, как жизнь. Сложна эта дорога, как жизнь! Только в каслании я почувствовал, кто я такой!..

Тебя манят звезды. Далекие, таинственные звезды...

Кажется, они низко-низко ходят по синему снегу на тоненьких ногах. Сквозь длинные ресницы они пристально смотрят на тебя.

— Скоро ли к нам? — спрашивают их светящиеся глаза.

И ты летишь... Хорошо!

Но звезды есть и рядом с тобой. На твоей земле. И часто ты проходишь мимо, не пытаясь даже заметить. А ты можешь, можешь разгадать их тайну! Тайн еще много-много...

Моя тетя

Дремлет лес, легко дыша,
В нем живет, я знаю,
Миснэ, добрая душа,
Женщина лесная.

Моя тетя. Ты ее, конечно, не знаешь. Звать ее Сана. Она мне кажется странной и интересной. Я спрашиваю ее:

— Далеко ли наше стадо?

А она мне:

— Нет, совсем близко!

— А сколько километров?

— Наверное, десять.

— А сколько часов езды?

— Наверное, час.

А стадо находилось в ста километрах. И ехать надо не час и не два.

Сколько километров — ей все равно. Ей бы ехать и ехать. Только серебристые сосенки мелькают, широкоплечие кедры из-под белых шапок удивленно смотрят, любуясь ее вечным движением. И тетя, наверное, тоже ими любуется. Поет им тихо песни, здоровается с каждым. И они ее от ветра укрывают и в огне горят — дарят ей тепло... Вечная дорога. Тетя к ней привыкла. И сколько километров — теперь ей все равно. Она — жена оленевода...

Ей тридцать шесть лет. Мы родились в одной мансийской деревне. Росли в одном доме. Она качала мою берестяную люльку и рассказывала мне сказки.

И я засыпал под медленные звуки древней жизни. Вместе с ней катались с высокой горы на ледяных санках. Вместе падали и смеялись, радуясь снегу, ветру и жизни...

Помню, как мы вместе встречали весну. Я маленький, а она уже большая. Сначала солнце пригрело снег. Потом забурлила и запела вода. Посинела река. Медленно зашевелились льдины. А потом река заблестела под солнцем до самого горизонта, спокойная и нежная река. И поплыли по Сосьве калданки с разноцветными веслами. И тетя Сана пела песню:

Почему летает
Острокрылый стриж?
Лодка-белогрудка,
Ты куда спешишь?

Кто там так умело
Взял весло в ладонь?
Чья рубашка в лодке
Блещет, как огонь?

Все в хрустальных каплях
Алое весло,
И от глаз горячих
На сердце тепло.

Потому, быть может,
Сосьва так блестит
И от счастья сердце,
Словно стриж, летит.

Она радовалась жизни какой-то новой, непонятной мне радостью. Смотрела на птиц, что-то отсчитывала, темные глаза ее летели вдаль. Вдруг показалась лодка. Гордым гусем плыла она меж задумчивых берегов сияющей реки. Я помню грустную песню, поплывшую вслед за лодкой:

Лодка, лодка, если б ты
К берегу пристала,
Как бы радостно тогда
Сразу сердцу стало.

Я бы милого дружка
Обняла за шею,
Целовала бы его,
Как одна умею.

Пусть любовь в его глазах
Звездочкой заблещет,
Пусть же сердце у него,
Как мое, трепещет.

Только б он в мой дом вошел
С островерхой крышей,
Вместе сели бы за стол
Рябчика не выше.

И сидели б допоздна —
Я и мой любимый...
Лодка, лодка, что же ты
Проплываешь мимо?

Лодка, как дикая птица, проплыла мимо... Зато с первым снегом прилетели олени. Я помню ночь, сверкавшую, как бусы на груди моей тети. Светила луна. Деревья спали. И никто не слышал и не видал, кроме меня, как скрипнула сонная дверь, как подбежал неслышными шагами колючий морозец, как наклонилась надо мной моя молодая тетя Сана и шептала таинственные слова:

Он меня нашел. Я его искала. Уезжаю, завтра скажешь отцу. Прости меня. Нас ждет дорога...

На моем лице горел поцелуй. Приоткрылась дверь. В лунном свете видел я, как выходило тепло из нашего дома, как плясали морозные струи. Потом прозвенел снег И все замерло. И мне было больно и радостно, и смеялся я, и слезы текли...

Утром долго гадали в доме: куда она делась? А я молчал, как дерево. И был горд ее доверием. Просмотрев вещи Саны, отец начал понимать.

/Кто он, наш зять? Каков собою? — спросил он

Я сказал, что «он нашел ее» и улетели они на оленях..

Стало все ясно. Оленеводов в колхозе не так уж много. Конечно, только самый удалой мог так ловко украсть Сану мог увлечь сердце девушки.

Никто не шумел, никто не бранился. Времена теперь другие. Сами виноваты. Не поняли Сану.

Зима. Ночь. Сухой, приятный, пахнущий кедром морозец. Тишина. Все спит: и дома, и деревья, и снег. Даже чуткие собаки и те не заскулят, словно их нет.

Ночь. Нельзя тревожить ее волшебное спокойствие. Это понимают даже собаки. Но молодые манси и ханты сдревних пор почему-то старались нарушить это спокойствие. Девушки убегали ночью из родительского дома. Их увозили на легких калданочках по сверкающей глади Сосьвы и средь бурных волн Оби, увозили на быстрых оленях средь пляски снега.

Почему ночью? Может быть, потому, что в старину ночью не надо было платить калыма. Убежала — и все А может, ночью просто красиво. И звезды на снегу, и на луне, кажется, целуются двое, и даль — она зовет и манит, и люди — особенные, и олени бодают небо, и звезды меж рогами пляшут, и сердце летит...

Так моя тетя стала женой оленевода — молодого ханты Микуля, так стала она вечной кочевницей.

...Вчера тетя Сана с мужем приехали из стада в деревню. С недельку они поживут в своем доме. Будут собираться в большое кочевье. А потом опять уедут на семь-восемь месяцев, будут весну, лето и осень кочевать в предгорьях и горах Урала.

Вечером все родственники собрались вместе. У южного угла дома убили оленя для пиршества. По обычаю, на этом месте были одни мужчины. Вун-ай-ики бормотал что-то непонятное. Кружками и стаканами с наслаждением пили свежую кровь. Голову оленя сразу отдали варить.

А сердце, печень и легкие, разложив на две большие тарелки, подали на стол. Там уже стояли две бутылки спирта. Они были еще не раскрыты.

У стола хлопотала тетя Сана. Она укутана от головы до пят в сиреневую шелковую шаль с переливающейся бахромой. Что было в ее глазах: светилась ли ласковая улыбка, искры злобы ли сверкали или просто равнодушие застыло в них — никто ничего не видел. Лицо ее закрыто шалью. Лишь сквозь маленькое отверстие между складок ткани она видела кого и что ей нужно было. Особенно она сторонилась Вун-ай-ики — дяди Микуля. Он, по поверьям манси и ханты, не должен был видеть лицо невестки.

Мне было странно. Ровесницы Саны, Матра и Олена, которые тоже были должны закрываться, сидели с открытыми белыми лицами, веселыми глазами смотрели на древних дедов, подмигивали парням, будто они лоси, играли острым словом, улыбкой убивали...

А моя тетя Сана, Вун-ай-ики, Микуль и Яныг-турпка-эква говорили тихо, почти полушепотом. Лица их торжественны, движенья осторожны, а в глазах тайна.

Ловким ударом Микуль открыл бутылку спирта, стакан наполнил, сказал:

— Найт-отрыт [1], хоть на мгновение приблизьтесь к нашему праздничному столу.

На столе стояли большие чаши. Ароматным паром дымилась голова оленя, разрубленная на куски. Из одной деревянной чаши смотрели глаза рогатого. В другой лежал его язык.

Восторженные лица, плавные движенья, таинственный полушепот наполняли торжественностью мансийский ужин. Кажется, стол расширился, кажется, дом расширился, кажется, весь мир огромный сегодня в этом доме. Кажется, над этим паром, что чуть не светится радугой при тусклом электричестве, вьются наши боги, в которых верит моя тетя, в которых я не верю.

— Ойнга-писинга! Счастья-удачи! — звенят стаканы.— Ойнга-писинга! — пьют одни мужчины.— Ойнга-писинга! — Пьют уже и женщины.— Ойнга-писинга! — И я пью вместе со всеми.

Вдруг тетя Сана, словно вспугнутая куропатка, сорвалась со своего места и наклонилась к Микулю.

— Ты, как эти деревенские, тоже все забыл. Надо бы сначала подняться вам на крышу и отнести шайтану,

---

[1] Найт-отрыт — боги, духи.

хозяину нашего дома, дымящиеся глаза оленя да хотя бы чарочку пылающей воды. Все забыли. Накажут нас за это шайтаны,— шептала с дрожью в голосе встревоженная тетя.

— Ийсынга-нотынга! Века вечные жить! Да ладно с этими шайтанами. Если шайтаны хотят быть с нами — пусть спускаются к людям, гостям всегда мы рады, стол наш для всех накрыт.

— Ийсынга-нотынга! — Звенят стаканы, хрустят кости.— Ойнга-писинга! — Вкусные глаза.

— Ийсынга-нотынга! — Целуются женщины.

Играет санквалтап.

Эй, «Куриньку»[1] заиграли —
Все поджилки задрожали.
Пляшет девушка, смеется,
Как налим, скользит и вьется.
Ноги гнутся в рог олений,
И плывет, что гусь весенний,
Скачет, как лесной лосенок...
А напев-то звонок, звонок,
Санквалтапы в звоне, в звоне,
Бей в ладони, бей в ладони!
Пляшет, как в медвежий праздник,
Всех напев крылатый дразнит,
Пляшет, пляшет платье-пламя,
Так и плещет языками,
Чтоб глаза у всех пылали...
Где такое вы видали?

— Ийсынга-нотынга! — Льются песни.

Тетя поет.

— Ийсынга-нотынга! — Играет уже и радиола.

Молодежь танцует. И тетя танцует «Куриньку».

— Ийсынга-нотынга! — Богов забыли...

— Ойнга-писинга! — Мы просто живем...

...Утром разбудил меня возбужденный голос тети:

— Эти люди совсем уж заплутались. Кто это их щекочет, побуждает к дурному? Вон, смотрите, Татья на коне верхом несется. Женщина на чистое животное залезла. До чего дожили!..

Я взглянул в окошко. Размахивая плетью, наклонясь вперед, как настоящий охотник, гоняющийся за лисицей по свежему первому снегу, несется верхом комсомолка Итья Татья — конюх колхоза. Она, видимо, погнала молодых коней на водопой. Погода за ночь резко изменилась, подул север, разыгралась вьюга, и жеребята не хотят

---

[1] «Куриньк а» — женский танец манси.

идти навстречу летящему снегу и ветру, их так и тянет назад, к теплому конному двору. Но Итья Татья (недаром зовут бесстрашной) словно летает на своем тонконогом воронке, и жеребята вынуждены ей подчиниться, они рысцой бегут к водопою.

Тетя Сана возмущалась ее поступком, жители деревни уже давно привыкли к этому. Правда, даже мне, учителю, окончившему институт в Ленинграде, сначала как-то непривычно, странно было видеть мансийку верхом на лошади.

Но я рад за Итью Татью: она победила!

Тетя Сана, наверно, еще не знает, что ей придется жить в одном чуме с этой девушкой: позавчера у нас было комсомольское собрание, на котором решили, кого из молодежи отправить пастухами в оленеводческое стадо, и, к общему удивлению, первой откликнулась Итья Татья.

Из парней никто не изъявил желания стать пастухом. Пришлось обязать комсомольца Ларкина. Он недавно вернулся с армейской службы, больше толка от него будет — так решили мы.

Организатором просветительной работы решил поехать я. Надо молодежи брать в свои руки древнее наше хозяйство. Недостает людей. Одни болеют, другие показывают на белую голову: мол, и глаз не тот, и ноги не те, и хорей [1] дрожит в руках, и тынзян летит не туда, а стадо большое, а волки злые, а дорога на Урал бесконечная, а сам Нер, Камень-Урал, высокий. Вот и обратились колхозники к комсомолу. Мы решили. Теперь дело за общим колхозным собранием...

Мне жаль мою тетю. Живет по старым обычаям и законам. Закрывает лицо платком от родственников мужа, не поднимается на крышу дома, верхом на лошади, как Итья Татья, не проскачет, над вещами мужскими не пройдет. Она верит в Сорни-най — золотую женщину. Лес для нее живой, населенный духами. Есть духи злые, от них зависит многое — так думает она. Но есть в лесу и добрая лесная женщина — Миснэ.

Я говорю тете, что это сказка. А она:

— Нет, правда. Миснэ не сказка, ее много раз видели люди, много добра она им сделала. Да, вот я тебе расскажу историю...

Это было во время войны. Тогда не только хлеба было мало, но и зверей в лесу словно кто-то сглазил, и птица

---

[1] Хорей — шест, которым управляют оленями.

не шла в ловушки, и не ловилась рыба. Однажды мы весь день неводили — и поймали только одну щуку да мелочь разную. Щука, правда, была крупная, но до того старая, что росла у нее борода и глаза позеленели.

Уже звезды зажглись, когда мы повесили невод. Был холодный осенний вечер. Мы продрогли до звона в зубах. Развели костер. И скоро была готова уха. Поели, попили чайку. И тепло, как в летний вечер, стало. Погуляв немного, начали устраиваться спать в пологи, в шалаши из просохшего сена. В бригаде было пять женщин: мужчины на фронте. Я уже легла... Устала и от воды, леденящей руки, и от тяжелого невода. Другие еще копошились у теплого костра. Вдруг раздался чей-то крик: «А щуки нет в лодке: кто-то утащил!»

И не слышно стало, как трещит костер, как у берега струится говорливая вода,— все наши женщины заговорили, застрекотали, будто птицы ронжи, когда на кедрах поспевают шишки. Самые тяжелые слова кидали друг в друга. Вспомнили пороки отцов и матерей. Бабушки в гробах, наверное, перевернулись: стыдно было им и за себя, и за таких внучек. Куда тише тайга, даже когда глухари токуют, когда стонут деревья от острых клювов дятла или когда из чащи несется зычный голос филина. Ругани не было конца...

...Вдруг из лесу, что темным зверем чернел на мысу реки, вышла стройная высокая женщина. Глаза ее черные-черные, лицо ее белое-белое. Одета была она в мансийскую шубу с яркими узорами и колокольчиками. Шла она по густой траве, покачивая головой, недовольная руганью: «Чего вы ссоритесь из-за какой-то одной щуки, разве она стоит ваших добрых сердец? Вот настанет утро, и если вы будете дружны и добры друг к другу — добудете много-много рыбы...»

Сказала — и растаяла в голубом лунном свете. И все вдруг поголубело: и лица женщин, и звездное небо, и лунная река...

А утром мы действительно поймали много-много рыбы: лодка была полной, даже невод пришлось оставить в воде.

Вот как бывает, зря ты говоришь, что нет на свете Миснэ. Она есть, как солнце, как лес, как ты, как я...— горячо говорила тетя, стараясь убедить меня.

Она верит, а я не верю, поэтому я не умею так рассказывать о Миснэ. Так взволнованно, так поэтично!

...Миснэ, кто она такая? Ты, конечно, не знаешь. А знал бы, если бы скользил по склонам Камня-Урала, вросшего

прямо в небо, если бы спал под снегом длинной таежной ночью, что длиннее самой плохой дороги, если бы брод между кедров и лиственниц, таких высоких и белых, что не проникает сквозь них зимнее золотое солнце, только лучи его скользят яркими пальцами на серебристых вершинах могучих деревьев. А под ними таинственно и тихо не хрустнет снег, не шелохнется ветка. Лишь ели, да кедры да небо, да снег, снег, снег без конца и края.

Тебе может показаться, что в лесу совсем нет жизни. Но это не так; идешь, идешь — и вдруг с ветки сыплется серебряная радуга: то белочка щелкает кедровые орешки. Она их нанесла в свое теплое гнездо еще осенью.

А что это за снежный вихрь среди безветрия, на синем морозе? Это с гулом и шумом взлетел старый глухарь. А вот здесь волк протащил свой хвост по снегу, а под этим кедром резвился соболь.

Есть жизнь в тайге.

А вечером, когда разожжешь костер на хрустящем, как сахар, снегу и посмотришь на деревья, тебе покажется, что они ожили, зашевелились ветки, от тепла людского вдруг зашептали... Шепчут сказки и навевают сны. Ветки деревьев и хлопья снега укрывают снежной шубой человека. И он засыпает... Деревья своими вершинами смотрят в небо, разговаривают с ним. И на небе появляется большеглазая луна.

Она освещает голубым светом все деревья, чтобы человек даже ночью мог видеть и крадущихся волков, и злых духов великанов менквов, и добрую лесную женщину Миснэ.

Луна сияет, стоят деревья на страже, как старые верные воины, в руках их пляшут белки на заре, скачут горностаи, сидят очкастые глухари, и поют маленькие лесные птички.

Сияет луна, стоят деревья... А ты спишь, и ночью тебе обязательно приснится Миснэ. Еще днем, когда ты шел ты, наверное, заметил, что недалеко от ночлега лес особенно темный и густой. Там стройные лиственницы уходят за облака, плечистые кедры обнимают землю так, что не видно неба. Там мало снега — весь он на густых ветвях. Туда не проникает озорной шалун — Луи-вот-пыг,— сын северного ветра. А сам дедушка северный ветер, коль дерзнет войти, сразу теряет свой холодный длинный нос. Этот дремучий лес — дом доброй лесной женщины Миснэ.

Ходит, веточки стройней,
Где-то в снежной дали.
Шубка вышита на ней
Птичьими следами.

Пусть ни солнца, ни лучей,
Воет вьюга злая,
А у Миснэ из очей
Льется ласка мая.

Все согреет это взор,
Все растопит, синий,—
Холод сердца, лед озер,
Старых прядей иней.

Если больно от обид,
Миснэ, беспокоясь,
«Тюпын, тюпын»,— говорит,
«Милый, милый» то есть.

Дремлет лес, легко дыша,
В нем живет, я знаю,
Миснэ, добрая душа,
Веточка лесная.

Только где ее искать?
Лесу много, много!
Слышишь, сердце, хватит спать,
Нам пора в дорогу!

— Если бы ты все это испытал, к тебе обязательно пришла бы Миснэ,— говорит тетя,— как приходила ко мне в детстве.

Какая древняя сказка! А моя тетя Сана верит в нее. Попробуй, докажи тете, что это сказка!

Но и она, смешная моя тетя, очень хочет разгадать тайну говорящих крючков и много других тайн. Однажды, по дороге в чум, под грустный скрип полозьев, она мне спела песню про жизнь, про свою мечту.

— Вот возьмешь газету, большой лист бумаги,— пела она в песне,— какие-то крючки с тобой заговорят словами такими мудрыми, что одним умом ты увидишь мир, невидимый моему глазу. Для меня просто бумажка, для тебя — говорящая. Я словно немая, без глаз, а ты с четырьмя глазами. Когда учился ты, я хотела в город к тебе съездить, но как найти тебя без глаз? О, как хотела быть такой же, как хотела я учиться! — пела тетя со слезами в голосе.

А потом тетя Сана рассказывала мне, как все случилось. Это было в тридцатых годах. Молодые учительницы-комсомолки, отважные русские девушки, ездили по мансийским и хантыйским стойбищам, собирая детей в школы-

интернаты. Родители, не понимая смысла учения, отдавали детей в интернаты с неохотой. К тому же шаманы распространяли слухи: «Из детей северян готовят слуг чертей». Тогда были уже культбазы. Шаманы переиначили это слово.

Слово «куль» — по-мансийски черт. Культбаза — «чертова база», так растолковали шаманы это слово. Этого, конечно, уже не рассказывала тетя Сана. Я это знал сам.

Но она поведала мне, как за ней приезжали ласковые, настойчивые учительницы, как они беседовали с родителями, а потом увозили ее в интернат. Там она и по палочкам считала, и узнала несколько букв. Но вдруг заявились родители и тайком забрали маленькую Сану. Снова приезжали настойчивые учительницы, снова что-то доказывали, родители наконец соглашались и отдавали им дочку. Но через недельку они опять приезжали и втихомолку увозили обратно.

Так повторялось несколько раз.

— Надо было качать, нянчить тебя, плаксивого,— кивая на меня, с нежной грустью укоряла тетя Сана.— Если бы не ты, я, наверно, была бы тоже другой. И не разговаривала бы только с одними кедрами, не надеялась бы на одних оленей, не жила бы тогда в чуме, с тобой умела бы спорить, и других по книгам, может быть, учила, и не смотрели бы на меня, как лоси, свысока...

Эх, моя тетя Сана!.. Как она не похожа на своих ровесниц, Матру и Олену, и словно на целое столетие старше Итьи Татьи и всех других девушек и женщин нашей деревни Аргинтур.

Почему тетя Сана так отстала от других? В деревне в каждом мансийском доме сияют маленькие зимние солнышки — электрические лампочки. Их зажигает Миша Неттин — электрик колхозной электростанции. Зимой целыми днями не умолкает гулкая песня тракторов, а летом — моторных лодок. Вечерами в большом и светлом клубе после трудового дня вся деревня смотрит кино, слушает лекции, песни поет, танцует. А в просторных классах школы сидят за мудрыми книгами утром юркие дети, а вечером их старшие братья, матери и отцы. И каждый знает, что крылья дает человеку учение.

...А удел моей тети — оленья нарта и бегущий снег, снег, снег... В руках у тети Саны хорей, а не книга. Олени бегут, бегут, бегут... Вечером она ставит чум, утром убирает его — и опять в дорогу. Олени пощипывают ягель,

как тысячи лет назад. Вместе со стадом движутся древние сказки. Тетя Сана их шепчет... А я? А мы?..

Нет. Так дальше нельзя. Надо идти в оленеводство нам, комсомольцам.

Первое утро

Звезды падали, звенели.
Крался луч луны.
Ах, какие в той постели
Виделись мне сны!

Светит яркое-яркое солнышко. Светит жаркое-жаркое солнышко. А я купаюсь в ледяной воде. По спине скользят холодные струи. Барахтаюсь. Теплый песочек близко-близко. Еще одно усилие — и я на берегу. Еще одно усилие — и опять со мною тепло. Я барахтаюсь... Я просыпаюсь...

Где я? Во рту ощущаю оленью шерсть — я укрыт шубой тети Саны, лежу на мягком — оленья шкура. Над моей головою серый сумрак — это тоже шкура, гладкая, посеревшая от времени. Я рассматриваю ее. Она наклонно убегает от моего глаза, все выше и выше... Наверху я вижу синий узор. Это на связанные черные жерди наброшен лоскуток синего неба. Где я? Я в чуме.

Рядом со мной кто-то похрапывает... А, это Микуль, рядом — тетя Сана. Головы наши лежат на одной белой парке. У нас одна постель. В ногах шевелится что-то теплое. Это Питюх — собака моей тети.

У моих ног высится что-то темное, горбатое. Я вглядываюсь в серый сумрак и смутно вспоминаю вчерашнее щедрое тепло железной печки.

Вчерашний день... Он был слишком длинным и коротким. Долго собирались, прощались, пили спирт, пели песни, плакали, целовались... Такого длинного дня и такого короткого мгновения, полного впечатлений и разнообразия чувств, я еще не знал... Сегодня тяжело. Какая-то пустота в душе и сердце. Кажется — все в прошлом. Кажется — все в будущем. Сквозь связанные жерди смотрят на меня бледные звездочки. Греет мои ноги свернувшийся в калачик Питюх. Горбится посредине чума холодная железная печь.

«Зиус, зиус, зиус, зиус!» — звенит в ушах, звенит на улице. Что это такое? Это звенят не звезды — звезды весною тихие. Это звенит не луна — она весною мягкая. Это

звенит морозный, весенний снег: олени, наверно, подошли к чуму, под их копытами поет снег. Это новая для меня песня. Долго ли придется мне ее слушать? Полгода, восемь месяцев... Каждое утро по спине будут скользить холодные струи, снится жаркое солнышко, теплая постель... Каждое утро будут глядеть на меня звезды, звенеть за чумом снег, и этот однообразный скрип будет будить меня и навевать раздумья... Мне холодно и одиноко. Не вернуться ли сегодня, пока не поздно, назад, не заняться ли привычным делом?

Легкий озноб прошел по спине, побежал к ногам, потом вернулся и остановился где-то около сердца. Холодно-холодно стало. Я натянул на голову шубу, стараясь надышать теплого воздуха. В это время Питюх отодвинулся от моих ног — и стало еще холоднее. Шуба была теплой. Но она не прилегала плотно к спине. Вздувалась. Из-под еловых веток, под которыми царствовал снег, ползли струи холода. Невидимые, они подбирались к ногам, к спине и сердцу... Я приподнял голову. Стало светлее. Вон я уже вижу потертую шубу Окры. Под ней спят, наверно, Окра и Ай-от. Рядом с ними ночная люлька. В ней спит их сынишка Мань-пыг. Где-то среди шкур должна быть и дочка Мань-аги, что постарше года на два. Подальше еще кто-то спит прямо на малице. Это, наверно, Ларкин. Вчера было жарко от железной печки, и он приговаривал: «Я все кочевье буду спать на малице, а не в малице. Все говорят, что чум холодный. А здесь жара... Испечься можно...»

Ларкину, может быть, и жарко, а мне холодновато. Я отыскал свои белые кисы, подаренные тетей. Они теплые-теплые. В любой мороз ноги — как в печке. А сейчас натянул одну — ледяная-ледяная, натянул другую — такая же. Еще холоднее стало. В снежной яме спал — там теплее было. Может, не надо было раздеваться. Но если так все время спать, то тело не подышит, не отдохнет как следует. А может быть, этот холод — только сон? Ведь остальные спят спокойно: и дети, и взрослые. Даже не шелохнутся, как листья, когда нет ветра. А может, это просто с непривычки? Ладно, поживем — увидим!..

Меня удивил сонный чум. Еще два десятилетия назад в центре пылал костер, дым которого выходит прямо в отверстие. В некоторых чумах до сих пор царствует костер...

Чум спит. Люди спят. Их головы лежат словно по окружности. А сами они будто радиусы, тянущиеся от окружности к центру. У всех ноги сходятся у печки, у центра.

Удивительно, ни один не лег головой к печи. Даже я и то почему-то лег, как все. Странная геометричность спящего чума немного отвлекла меня, и я забыл про холод. К тому же я ведь не ледяная сосулька — ноги отогрели теплую шерсть кисов, стало отогреваться и пальто. И я задумался о другом. Вот передо мной лежат люди, которые, может быть, каждое утро испытывают эти же ощущения и не замечают их. И не философствуют. А я почему-то философствую и возмущаюсь. А они нет. Разве они не люди? Нет, они такие же, как я и все. Мечтают, ненавидят, радуются, плачут, поют песни, любят, страдают, восторгаются... Я пришел к ним не с луны ведь. Во мне течет та же кровь, что у них. Мой детский язык впервые пролепетал те же слова, что и они произнесли впервые. На одном языке нам пели песни наши матери. Мы — люди одного племени. Так почему меня возмущает этот чум, этот холод, это неуютное промозглое утро?..

Бег моих хмурых мыслей прервал внезапный плач ребенка. Серая шуба с потертым орнаментом зашевелилась, и вынырнула лохматая голова Окры. Она наклонилась к ребенку. Но голос самого маленького человека уже возвестил всем остальным обитателям чума наступление нового дня.

— О, долго спали сегодня,— поднимаясь с постели, громко произнес Микуль.— Белый день уже в чуме. А ты уже оделся? Совсем как оленевод. Что ж ты нас не разбудил? Или хотел один погнать оленье стадо на Урал? Ничего не выйдет! У нас вон есть маленький вещун, он о любой опасности предупредит,— отстукивал слова Микуль.— Да, я совсем забыл. Ты ведь не оленевод, а учитель. Понятно. Ты как наставник решил показать ученикам пример. Хорошо!..

Я, убитый холодом, хмурым видом чума и своими ненастными мыслями, молчал. В эту минуту я, наверно, был смешон...

Между тем все встали: Итья Татья, и тетя Сана, и Ай-от. Тетя Сана копошилась у печки. Вот она берет сухие, приготовленные еще с вечера лучины. Чирк спичкой — и вспышка падающей звезды в руках у тети. Мгновение — и она держит луч солнца. Еще мгновение — трещит железная печь, через щели дверцы летят искры, и уже струится мягкое, нежное тепло, без которого чум будто холодное подземное царство. И совсем другой покажется жизнь, когда перед тобой возникает, как в сказке, столик.

...На столике железная зеленая чашка. В ней хлеб на-

резанный, сухарики, печенье. А у столика уже улыбается Мань-аги. Глаза ее синие, как солнечное небо, тоже улыбаются. Косички ее, до пояса, с кольцами, с блестящими железками, сплетенные шерстью в две веревки, прыгают, звенят.

Мань-аги, маленькая девочка, почему так ласково все тебя зовут? Может быть, потому, что только ты проснулась — не стал я видеть чума холодного, забыл свои мысли хмурые. Ты лепечешь и играешь — сердца у всех теплеют, ты лепечешь и играешь — жизнь звенит в чуме!

Мань-аги улыбается: видно, что-то вкусненькое ждет. В стороне от чума, куда печь смотрит железной решетчатой дверцей, зашевелилась шкура: в чум вошел Ай-от. Он что-то несет. Вот он садится к столику, скрестив перед собой ноги. Берет охотничий нож, и на стол ложится тоненькими стружками вкусная-превкусная, мерзлая-пре-мерзлая печень оленя.

Самая тоненькая стружка уже в руках у девочки, купается в соли, насыпанной на стол, и тает на ее губах... Темно-красные стружки печени пляшут и в руках Ай-ота, и у Окры. .

Мне тоже захотелось вкусной мерзлой печени... А вот и тетя Сана. Она несет в руках то, что мне сейчас увиделось, что вдруг я захотел. Микуль, я и тетя садимся за свой столик. Микуль приглашает за стол Итью Татью и Ларкина. Оба они какие-то хмурые, непохожие на себя. Наверно, они так же, как и я, приуныли. И все утро, наверно, думали длинные думы. Может быть, и они уже сожалеют, что сменили привычную уютную жизнь в деревне на холодный чум?

Но стружки темно-красной печени тают на языке. Кажется, просыпается в теле каждая жилка — так вкусно! И всякие мысли — и летающие на легких крыльях, и бредущие тяжелыми шагами — исчезают, как тени. И этот низенький столик кажется самым богатым: ведь на нем сегодня лакомство богов. У жителей деревни — у рыбаков и охотников, трактористов и доярок — такой стол бывает не каждый день. А у оленеводов... другое дело. С ними олени... Глаза у Ларкина стали острыми, веселыми. Ожила, словно рыбка в воде, Итья Татья. Потеплел и я. Стал уютным чум. Улетели ненастные мысли. Мы уже просто наслаждались. Печени одного оленя нам не хватило. Тетя Сана принесла еще кусок. Потом долго тянули чай из блюдец, круглых, как луна. Один чайник выпили — не хватило. Тетя Сана поставила второй. Огонь пылал и тре-

щал, кажется, еще задорнее, словно он стремился быстрее вскипятить чай и утолить нашу жажду. Мы снова пьем крепкий и пахучий напиток, вкуснее которого никогда я не пил...

Говорим ли мы? Наверно, говорим... Говорит чай, говорим и мы... О чем поют звуки, слетающие с уст, вплетающиеся в пар над блюдцами? Они поют, наверно, о сегодняшнем дне, об оленях... О чем же говорить еще оленеводу?

Вот какое ты, первое утро нашего большого кочевья. Ты нашептало мне многое-многое. Я даже не в силах сразу разобраться. Сначала мне все показалось холодным, странным, диким, словно я из другого мира... А потом все вдруг потеплело, стало близким и даже чем-то родным. Кажется, дышал я тысячу лет этой жизнью, кажется, и совсем не жил я. И не хочется видеть все это, как в детстве не хотелось видеть волка, и хочется, как во сне, очень хочется. Так что же это такое? Как объяснила бы тетя Сана? Может, Танварпеква — старуха, делающая нитки из мальчишечьих жил,— ночью нащекотала мне дурные мысли, а потом Миснэ нашептала добрые сказки? И потому чувствую себя так, как будто текут во мне две бурные речки. Но я ведь древним сказкам уже не верю. Не знаю, что это такое. Только это было не в сказке и не век тому назад — это было во мне и в первое утро нашего касания.

Полет оленей

Голубого снега стрелы
Вьются под копытом белым.
«Вий-ю, вий-ю!» — ветер злится.
«Вий-ю, вий-ю!» — нарта мчится!

Нет весны ослепительней, чем северная весна!.. Солнце светит с сосен, с белых шапок кедров, каждая снежинка ярче солнца светит, ослепляет радугой,— глаза мои слезятся... Под ярким взглядом солнца стал мягким-мягким снег, он не хрустит уже, и он не звенит уже под копытами оленей, как утром, когда было небо темно-синим...

Не успел я коснуться снега руками, не разглядел как следует поляну, над которой чум наш выдыхал голубой дымок, а олени были уже запряжены. Микуль берет хорей — шест тонкий, сияющий, и мы садимся в нарту.

Впереди Микуль, а я за него держусь. Рванулись олени от страстной пляски хорея, и мы помчались.

— Иу-иу-иу-иу-и! Иу-иу-иу-иу-и!..— поет Микуль.— И-и-и-и-у-у-ииий! И-и-и-и-и-у-у-ииий!..

А хорей все пляшет, пляшет! А собаки все лают, лают! Рядом с нартой летят, летят... Копыта оленей в снежном тумане, тумане... Мокрый снег слепит, слепит глаза... Ветер поет, поет в ушах!.. Кедры пинают, пинают нарту... Я прячу ноги... Дорога узкая, узкая, узкая... Деревья летят, летят сквозь нас!.. Олени в тумане, в тумане... Становлюсь я ветром, ветром... Становлюсь снежинкой, снежинкой... В снежном вихре кружусь, кружусь... Мимо скользят, скользят нарты. Скользнул хореем Ай-от... Скользнула улыбкой Татья... Гогот гусиный растаял в радужном снежном тумане — это смеялся Ларкин.

...В глаза мне глядело небо спокойным глубоким взглядом. Неподвижно, как идолы, стояли вокруг деревья... Рядом со мной лежали тихие синие тени... В уши мои стучалась немая тишина... Все замерло, все онемело... А мгновение назад был я порывом ветра, и вокруг меня все вертелось, искрилось, летело... Полной грудью вдыхал я жизнь. И не знал я цену счастью...

Вот так бывает в жизни: летишь, летишь — и свалишься, коль поворот попадется круче, коль держишься за чужую спину, коль счастье жизни создаешь не своим уменьем...

...Нет, не все замерло и не все онемело. На лице своем я почувствовал движение — это таяли пушинки снега. Тоненькие ручейки бежали по щеке, сползали к подбородку, подбирались к горлу. Вот один ручеек — наверно, самый юркий — проник за теплый воротник и щекочет, щекочет, стараясь согнать с меня безразличие.

Море солнца, детство без мучения
Получило наше поколение.
До того уютно нам живется,
Что иной уж и не ценит солнца...

Тишина растаяла, как тает облако в сини неба, и я уже слышал, как где-то вдали скрипят полозья и стучат копыта... Это Микуль возвращался за мной. Он загадочно улыбался.

«Ну как, понравился полет на оленях? Что ж ты не встаешь? Или ушибся? Ничего, с нами бывает не такое. Все впереди, на Урале. Еще не такие там будут полеты. Нам, может быть, завидует сам Гагарин: мы по обыкновенной земле летаем, по синим горам летаем. Летаем не

два-три дня среди безмолвия и тишины, летаем восемь месяцев, летаем круглый год. Тебе надо научиться самому управлять оленями. Кто держит хорей в своих руках, кто сам управляет — ни при какой скорости не свалится с летящей нарты, с летящей жизни!»

Не знаю, кто это говорил. Говорил ли Микуль, подъехавший ко мне, говорили ли струйки, скользящие по лицу, говорило ли мое сердце?

Я встал, отряхнулся. Микуль дал мне в руки хорей и тынзян. Я, конечно, не умел еще легким и чутким вздрагиванием тынзяна вовремя подсказывать, в каком направлении двигаться оленям, но уже умел заставить хорей плясать по их спинам и задним ногам. Странное дело: управлять тонко и умело животными мы не умеем, а бить умеет каждый, бить даже самого близкого, бить оленя, который и возит человека, и кормит его, и одевает. Хорошие мысли ходили в голове, но, подгоняя оленей хореем, просто-напросто их бил: надо было догнать остальных, да и показать, что я умею быстро ездить... Странно: из-за этого «показать» мы часто делаем такое!..

Если бы олень умел говорить, он бы побил меня словами, наверно, больнее, чем я его бью хореем. Интересно, а не жалко ли бывает Микулю оленей? Не думает ли он, что и им больно? Не успел я и подумать, как он меня упрекнул:

— Ты бьешь оленей. Хорей не палка. Это язык оленевода. Оленевод подумает. Передаст мысли хорею. Хорей коснется оленя, и тот уже знает, что хочет человек. Олень все понимает... Особенно вожак! С хорошим вожаком не пропадешь ни в пургу, ни в мороз...

Нам надо было ехать быстро. А нарты тащились еле-еле. Другие уже, наверно, на месте. И солнце уже склоняется к верховью речки [1]. А дел еще много: часть стада, состоящую из важенок и годовалых оленят, надо было перегнать на новое пастбище по направлению к Уралу, к летним пастбищам колхоза.

Микуль попросил остановить оленей. Я потянул к себе веревку — вожак остановился. Микуль опять взял свой хорей и сел на свое место, а я снова поместился позади. И как бы в утешение он сказал:

— Учителю не обязательно уметь управлять оленями. Это уж наше дело. Ну, а если хочешь, то научим со временем. Какой ты манси, если не умеешь ездить на оленях!

---

[1] Солнце склонялось к обеду

Дернулась веревка, подпрыгнул хорей, и нарта полетела, полетела не как дикая, разъяренная вьюга, а со скоростью спокойного, крепкого ветра.

Хорошо ехать на оленях! Лучше, чем на тракторе. Не пропахнешь бензином, не застрянешь в сугробе. В любую погоду олешки крылатые не подведут... Трактор хороший, очень нужен людям. На нем возят и сено, и дрова, и лес и пашут целину... Трактор сильный — не сравнишь его с оленем. Но на нем на охоту не поедешь. Не пролетишь в соседнюю деревню за одно мгновение. И не станешь есть железо — мясо трактора. Олень на Севере нужен, как и трактор. А вот некоторые этого не понимают...

Дети рыбаков и охотников — мои ученики — все хотят стать трактористами. Это хорошо! И хотят стать космонавтами, капитанами, учеными, врачами, учителями, рыбаками и охотниками. Это хорошо!

Только никто почему-то не хочет быть оленеводом. А все любят нежное оленье мясо, при виде мерзлой сырой печени у всех слюнки текут. Почему у них текут слюнки и почему не хотят быть оленеводами?

Может, в этом виноват и я? Виновны и все учителя: нет внимания к профессиям древним.

...А вот и сами красавцы! Они как легкие сны: подумаешь — приснятся, подумаешь — появятся. О, сколько их, безрогих, и белых, как снег, и серых, как мох, и пятнистых, как тундра... Снежной лавиной спускаются они с лесистого холма в долину речки.

Милые олешки, вас любят воспевать в стихах поэты, скульпторы возносят вас на пьедестал — и вы красуетесь на площадях больших городов. А вот тех, голос которых эхо носит по тайге, тысячи раз повторяя звонкое «о-о-о-оооо!», тех, кто пасет вас, милые олешки, защищая от волков, перегоняя на богатые вкусным ягелем пастбища, всегда ли мы понимаем?.. И может быть, в один из дней вы окажетесь без пастухов: стариков уже не будет, а молодые не захотят возиться с вами,— поинтереснее вас в мире есть дела!..

Ночь на снегу

Звезды осыпали небо.
Месяц в звездах исчез.
О, рыжие лисенята
На синем лугу небес!
Они идут в обнимку
Широким Млечным Путем.
Ах, если бы, дорогая,
Нам так же идти вдвоем!

К вечеру, когда небо стало как разорванная шкура медведя, наш караван наконец остановился. Было необычно тепло. Снег был мягким-мягким,— казалось, даже вечером, без ласковых рук солнца, продолжал таять. Но это, наверное, только казалось. К утру снег даже в любую теплую ночь покрывается хрустящей корочкой.

— Тепло! — поглядывая на небо, сказал чем-то встревоженный Микуль.— Не пошел бы дождь, а то не успеем перевести стадо через большое болото. Беда будет. Разольется болото, скользить будут олени. Да и здесь маловато корма для оленей. Надо спешить!.. Может, обойдемся сегодня без чума?

— А дети не замерзнут? Хотя и весной пахнет, а снег еще толстый и холодный,— проговорил я, вспомнив прошлую ночь, когда чудилось, что звезды позванивают, как холодные льдинки под копытами оленей.

— Дети-то не замерзнут: они не впервые по этой дороге едут. Не такое видели. А вот ты...

Мне было обидно, что меня считают слабее детей. С чего это взяли? Я ведь тоже северянин, а не какая-нибудь там ворона, улетающая в теплую зиму от сурового северного ветра. А может, слабыми, невыносливыми считают всех грамотных? Микуль смотрел на меня не то жалостливо, не то с вопросом.

— Если детям хорошо будет спать под открытым небом то мне тем более,— сказал я ему.

Уже горел костер. Белый конь облизывал черного: в пламени висел большой медный котел. «Наконец-то горячее! — подумалось мне.— А то одно сырое мясо с мерзлым хлебом. Надоело».

Самый маленький человек, Мань-пыг, улыбался огню. Тянул к нему ручки. Мань-аги подносила к костру сухие еловые веточки. Они загорались ярким пламенем, трещали, как стрекозы в жаркий день. Мань-аги смотрела и слушала, как яркие языки огня превращали в летящие звезды и в

пламенеющий уголь ее веточки. Она, наверное, очень радовалась, что наконец-то не надо сидеть спокойно в нартах, можно бегать, как олененку, играть с любимой маленькой собачкой Хулах и даже подбрасывать ветки огню. А девятилетний Епа уже строил себе из снега и еловых веток маленький чум для ночлега, приговаривая:

— Вот увидите, замерзнете, коль не захотели ставить чум. А я не замерзну!

Рядом с котлом пыхтел огромный чайник. Когда пыхтит чайник, люди веселее: без чая какая сила!

Микуль, Ай-от, Вун-ай-ики, Силька еще возились с оленями. Тетя Сана, Окра, Яныг-турпка-эква копошились у своих нарт. Они приготавливались к ужину и ночлегу. Только Итья Татья, Ларкин и я вместе с ребятишками сидели у костра. Почему-то мы молчали. Может быть, эта дорога нас всех заставляет думать, рождает невеселые мысли? Но почему я думаю, что у других должны быть тоже невеселые мысли? Итья Татья не кажется подавленной. Она, может быть, молчит оттого, что ей нравится этот теплый вечер, этот костер на снегу?

Итья Татья... Она склонилась над костром, большой деревянной ложкой снимает пену с варева. Я говорю ей:

— Ты ведь так уберешь весь жир.

— Я убираю не жир, а плохую пену, которая всплывает раньше жира.

Смуглое лицо ее, освещенное яркими языками огня, кажется румянее и белее. А большие раскосые глаза черные-черные, как дужка котла, живые и глубокие. В них отражается, как в зеркале, пламя костра. А может, это ее собственное пламя? И оно сильнее огня этого костра?

Ларкин — мой ровесник. Но сегодня он выглядел старше. Тонкий длинный нос, кажется, стал еще длиннее. На покатом и узком лбу сплелись чуть заметные морщинки. Подперев правой рукой щеку, он как-то безразлично глядел на пляшущие языки огня. Глаза его напомнили мне взгляд усталого оленя...

Ларкина я знаю с детства. Вместе росли, в одном классе учились, играли, иногда ссорились. И как маленькие собачата, только что подравшиеся друг с другом, опять играли, бегали, веселились. Мне он тогда нравился: глаза его были такие острые,— кажется, летят на тебя маленькие невидимые стрелы, вот-вот уколют. Мы вооружались еловыми шишками, тонкими прутьями и нападали на укрепления «фашистов». Мы скакали верхом на лошадях, на тоненьких прутьях, увидев «укрепления врага» из досок

или подгнивших лодок, громили их. На них летели шершавые еловые шишки. Когда противник отступал, мы разрушали до основания его укрепления...

А как мы ходили на охоту и рыбалку! Это не расскажешь в сказке, выдашь за быль — не поверят.

Потом наши пути разошлись. В каком-то классе Ларкин отстал, рыбачил, служил в армии. Как одного из самых выносливых, повидавших жизнь, привыкших к трудностям, комсомольская организация направила его в оленеводство. И вот он сидит у костра, взглядом усталого оленя смотрит на пляску огня...

Постепенно все собрались. С удовольствием чихнув два раза после очередной дозы терпкого табака, который он так любит нюхать, Микуль бодро пробасил:

— Ну как, маленькие люди, сердца ваши у костра стучат?

— Скоро наши сердца достучатся до того, что растают, как снег под костром,— неожиданно выпалил Ларкин.— Едешь-едешь и не видишь ни конца, ни края. Сколько дней мы уже в пути — а что видели? Один костер да иногда чум. Когда будет конец?

— Конец будет, когда умрем.

— Ну, бригадир, мы умирать не собираемся!

— Тогда живи! Кто тебе запрещает? Ты дышишь — значит, душа твоя с тобой.

— Но так жить я не хочу! Дорога, костер, опять дорога. В армии хоть знаешь: пройдут учения, опять начинается нормальная армейская жизнь с увольнениями, с книгами, кино, радио, телевидением. А тут не видишь просвета.

— Я не служил, не знаю, как там у вас. А у нас, оленеводов, своя армия: тысяча двести оленей — солдаты, а мы с тобой — генералы,— говорил, чихая, Микуль. Был он важный, как олень-хор. Смотрел на нас снисходительно: мол, вот какая нынче молодежь пошла.

— У костра на снегу — как на пляже под солнцем! — с улыбкой кинула Итья Татья.

Значит, она ждала удобного случая вступить в разговор.

Что такое пляж, Микуль, конечно, не понял, но он не стал показывать, что не знает этого слова, а с тем же важным видом продолжал:

— Вы говорите «у костра на снегу». Вам не нравится костер? Тининг мань махум! Дорогие маленькие люди! — продолжал он.— Если бы не было этого огня, старики такие,— он кивнул в сторону Вун-ай-ики,— до седых волос

по земле, по лесу и не ходили бы. Наши олешки одичали бы, как звери. Может быть, только оттого в наших душах сила, что выросли мы у такого костра: он топит снег и растит сердца!

Не понять мне Микуля. Он то поддерживает нас, молодых, то старых. Учился в школе, а нюхает табак. Я спрашиваю, почему он любит эту гадость. А он мне:

— Чтобы чихать. Чем-то надо заниматься в свободное время оленеводу. Ты читаешь книги, а я чихаю.

Не понять Микуля.

— Я ж не о костре, а вообще об условиях, о дороге,— говорил с раздражением Ларкин.

— Дорога... Хорошему оленю большая дорога не страшна, а плохому и маленькая тяжела. А ты, Ларкин, хотя и новичок, но я бы не сказал, что ты слабый: ты ведь наравне со всеми обходишь следы с утра до ночи, и не видно твоей усталости. Будет из тебя настоящий оленевод! — сменив важный, снисходительный тон на внимательный, серьезный, заключил Микуль, принимаясь за дымящийся паром кусок мяса.

Перед нами тоже стояла большая эмалированная чашка. Итья Татья, Ларкин, Микуль, тетя Сана и я образовали свой полукруг на левой стороне костра. Мы всегда ели вместе. Нашей хозяйкой была тетя Сана. Я взял большой кусок с мозговой костью. Когда-то я очень любил такую кость с чуть-чуть жестковатым, недоваренным мясом. Переваренное мясо соскальзывает с кости. Это не вкусно. А когда чуть недоварено — сказка!

Трещит костер. На его противоположной стороне под ударами тяжелого ножа Вун-ай-ики трещит большая мозговая кость. Вот уже она разбита, и по седым редким усикам, напоминающим сухой ягель, текут жирные капли...

— Аен, аен, Епа (пей, пей, Епа), мозг оленя,— приговаривал Вун-ай-ики, обращаясь к внуку и наблюдая, как тот с аппетитом сосет кость.— От оленьего мозга умнее будешь!..

...Во мне, кажется, что-то шевельнулось. Я не мог больше есть. Тетя Сана посмотрела на меня, как важенка на только что родившегося олененка.

— Ты что, заболел? — спросила она участливо.— А может, дать тебе русской еды?

Не дождавшись ответа, она встала и принесла из нарты холодную блестящую баночку с надписью «Котлеты». Я открыл баночку складным ножом. Ко мне присоединился

Ларкин, не удержалась и Итья Татья. Нам не хватило и трех банок...

— Если вы будете опустошать банки с такой быстротой, то русской еды не хватит вам и на неделю! — проговорил молчавший до этого Микуль, с аппетитом пивший мясной навар.

«Вот если бы была база, где можно было приобрести свежие продукты. Ну хотя бы на середине пути,— вдруг подумалось и мне.— Совсем хорошо было бы...»

Потом мы долго с наслаждением пили густой темно-коричневый напиток, настоянный на чаге. Чага... Недаром люди говорят о ней: растет на дереве, люди любят. Конечно, люди любят не чагу, а кипяток, настоянный на ней... Чай... Я вспомнил стихи.

Мы белее мерзлой рыбы.
Без тебя пропасть могли бы!
Выручай, выручай,
Кипяти всесильный чай!
С первой капли —
только тронь! —

Будем жечься, как огонь;
Со второй-то мы небось
Станем быстрыми, как лось;
С третьей капли — чудеса! —
Полетим через леса;
Мы с четвертой капли будем
Танцевать на радость людям;
С пятой капли ночью зимней
Целоваться захотим мы,
А с шестой —
Вспыхнет кровь,
Запоет в груди любовь!
А с седьмой горячей капли
Будем вечно жить, не так ли?
Эй, трещи, огонь, трещи,
Сердце нам разгорячи!
Выручай, выручай,
Выручай, всесильный чай!..

Чай действительно всесильный. От него стало теплее, чем от костра. Теперь глаза говорили на самом веселом в мире языке... Но разговаривать некогда: завтра снова утро. Снова дальний путь. Поэтому надо спать.

Все стали устраиваться на ночлег. Маленький Епа уже потащил в свой небольшой чум шкуру оленя. До того был велик чум, что часть шкуры торчала на улице. Но Епа не огорчался. Он сегодня самый умный и заботливый оленевод: ни у кого нет чума, а у него есть. Да еще какой! Не куропачий чум, а конусообразный. Куропачий чум де-

лается из одного снега. А Епа срубил колья. Связал их наверху тынзяном, как шесты над настоящим чумом. Покрыл еловыми ветками и снегом. Получился настоящий, смотрящий в небо чум. Епа, довольный своей работой, был веселее осеннего сытого оленя. Раньше других он устроился на ночлег.

Рядом с чумом Епы копошились Вун-ай-ики и его старуха. Тоже готовились ложиться спать.

Ночь... Небо оделось в торумсов, в яркую небесную одежду. Там бредут сияющие звери — уй. Это звезды. Они движутся медленно-медленно, словно сонные, навевая людям яркие сны... Их, наверно, уже видит Микуль: он храпит на всю тайгу. Даже звезды, наверно, его слышат. А он себя не слышит... Устал. Целый день на лыжах...

Рядом со мной лежит Ларкин. Под нами оленья шкура, под шкурой снег. Под головой парка с мягким-мягким мехом. Легли мы так, как были одеты: в малицах и кисах. Единственное покрывало наше — узорчатое небо.

Лес стал голубой, лунный. Далеко-далеко звенят ветви деревьев. Звон все ближе, ближе... Это поет, наверное, снег под копытами. Олени рядом. Звон все ближе, ближе... А может быть, это острый луч луны. Он, синея, скользит через сугробы. Все ближе и ближе подбирается ко мне. Я вижу его уже рядом. Я чувствую его прикосновение. Чудится, этот луч стремится проникнуть в мое сердце и ледяным цветком прорасти в нем!.. Я уже мерзну... Переворачиваюсь с боку на бок.

А под голубеющей елью, дальше всех от костра, спокойным и глубоким сном спит семья Ай-ота. Посредине Мань-пыг и Мань-аги. По краям отец с матерью. Берестяная люлька Мань-пыг завернута в сахи [1]. Но лицо его открыто, как и лица сестренки, матери, отца. Над ними скользят синие лучи луны. Но они спят спокойно, как будто нет мороза, как будто это все обыкновенно...

Я мерзну... Подхожу к еле тлеющему костру. Подкладываю дрова. Чувствую на себе чей-то взгляд. Это смотрит на меня не холодная луна, а проснувшаяся Татья.

— Не спится? — тише лунной ночи спрашивает она.

— Холодно! — отвечаю я.

Она молча встает. Берет дрова. И на расстоянии трех метров от костра разжигает другой. Сухие, смолистые ветки быстро загораются ярким пламенем. На снегу появляется новое светило. Может, даже небесные светила зави-

---

[1] Сахи — верхняя женская одежда, шуба.

дуют его свету и теплу. Костер сильнее звезд, костер нужнее людям. Солнце и то уступает костру: золотые языки огня не только греют в любую погоду, но и делают вкусную пищу, кипятят лучший на земле напиток — терпкий и душистый чай.

Я не понимаю, зачем разожгла Татья второй костер. С недоумением гляжу на нее. Она молчит. Берет шкуру, на которой спала, и стелет ее между кострами. Из нарты несет другую, свернутую шкуру. Теперь я догадываюсь: эту положит она под голову. И правда, постель готова.

— Ложитесь,— говорит она почему-то строгим голосом.

Может быть, это потому, что ночь? Обыкновенно озорная и веселая, Татья сейчас кажется суровой. Не дожидаясь ответа, она идет опять к нартам, несет еще одну шкуру. Стелет ее тоже между кострами. И, положив в огонь по два толстых бревна, молча ложится. Ложусь и я. Наши головы лежат на одной постели, а ноги врозь. Я и не думал, что между кострами так тепло, хоть раздевайся. Не догадался бы я никогда, что между двух огней можно спать.

— Кто тебя научил такой мудрости? — спрашиваю не громче потрескивания дров.

Головы наши рядом,— зачем ночью разговаривать громко?

— Это не мудрость! Все так делают, когда очень холодно. Так еще, наверное, делали и наши деды.

— А ведь все же опасно спать между двух огней.

— Зато тепло! Бояться будешь — от одного страха превратишься в ледяную сосульку.

— Огонь не спросит, боишься или нет, протянет длинный язык — и запылаешь, как сухой мох.

— Когда стоит лунный мороз, искры летят к звездам, не сгоришь.

Правда, языки огня тянулись к небу и искры не летели в стороны, как в ветреный или пасмурный день. И дым костров прямым столбом уходил ввысь, словно стояли две высокие стройные девушки с золотыми теплыми ногами, с тонкими талиями и с платками звездно-узорчатыми на голове. Я почему-то думал об Итье Татье. Хотелось коснуться ее руки, почувствовать ее тепло... Тепло, когда рядом люди...

— Что за красивая ночь!

И мне кажется, что это говорит не Татья, а мое сердце. И кажется, нет на земле больше мороза. И никто не

мерзнет: ни седой, как старик Урал, Вун-ай-ики, ни бригадир Микуль, ни пастух Силька, ни даже самый маленький мужчина Мань-пыг. Разве можно мерзнуть, видя эту дивную красоту? Ели под лунным светом присмирели. Рядом с ними лежат на снегу длинные тени. Они будто живые, даже дышат. Нет, это дышат не они, а олени. Я вижу, как играет луна синими лучами у их ноздрей. Олени не боятся мороза. Они любят красоту.

Олени! Да что олени! А те, кто спит на снегу, под елью, вдали от костра, с лицом, обращенным к небу, к морозу, кто они такие? Каким словом их назвать?

Мне стыдно за себя: я чувствовал только холод, только тяготы, а красоту не заметил, пока не подсказали другие...

Среди каких людей, оказывается, живу! Какую красоту приходится видеть!

А я вспомнил старую глупую сказку... Замечтался о базах, о домах на пути оленеводов, о свежих продуктах, о тракторах. Тогда, быть может, исчезнет эта красота? Какая красота на земле без костров, без снов на снегу, без сказочно-холодной лунной ночи?.. Согретый теплом костров и баюкающей красотой ночи, я уснул...

И, став чище телом и душою, опять я шел вперед. Опять костры сияли. Бодали небо олени. И сказка не кончалась.

Хорошее волнение

Кто простит мне молчание,
Если длинен язык у огня,
Если скачет огонь по тайге
Вороватою рысью?
Кто простит мне, скажите,
Молчание чувства и мысли?

Вот бывает же так: уснешь радостный, довольный собой и другими, а проснешься — словно камень в груди. Все кажется холодным, серым, чужим... Даже если весеннее солнышко играет на верхушках елей, даже если Епа смеется, как чайка над Обью, когда рыбы пляшут в струях, даже если олени ластятся к тебе и дарят самый добрый в мире взгляд. А тебе все равно, как будто кто-то навалился на тебя и давит, давит...

— Эх, вы! Отчего вы такие дохлые?! Как рыбы, вытащенные из воды! — укоризненно бросает нам с Ларки-

ным Итья Татья. В глазах ее не то жалость, не то презрение.— А еще комсомольцы!..

Над утренней тайгою эхо носит звонко: «О-о-ооо!» Это Микуль и Ай-от обходят стадо оленей. А олень-хор, мудрый вожак, уже настраивается, он знает по голосу хозяев, в каком направлении вести стадо. Потепка и Вунай-ики запрягают в нарты оленей.

Яныг-турпка-эква копошится у потухающего костра. Тетя Сана моет снегом чашки и складывает в специльный ящик для посуды. Окра усаживает в нарту детей... Каждый занят своим делом. Торжественны их движения.

Какая мудрость в них живет? Почему им кажется все это обыкновенным? И эта морозная ночь, и это солнечное утро, и этот мерзлый хлеб и мясо... Может быть, их успокаивает, радует дорога, стадо, движущееся по ней, вечное движение? А может, они просто привыкли жить, не думая? А может, они просто мудрее?

Думы мои, думы...

— Так много мы любим говорить!.. Романтика... Комсомол... А что сделали мы? Да скоро нас презирать будут! Йикор, и тот...— Итья Татья не договорила.

Она словно захлебнулась от еле сдерживаемого волнения. Слова больше не летели. Наверно, они слабее... Говорили ее лицо, глаза. Кажется, я все понял, даже в окаменевшем Ларкине шевельнулось что-то живое.

— Что ты от нас хочешь? — усмехнулся он.

В глазах его сквозила древняя улыбка мужчин, снисходительно относящихся к женщинам. Но она не заметила этого. Татья вдруг приблизилась, особенно ее глаза. Они словно прилетели издалека, из страны презрения и отчуждения, и замахали теплыми крыльями. Они тянулись к нам, словно руки друга. В них было столько желания сказать, объяснить...

Впервые я видел ее такой взволнованной, сердитой, какой-то далекой и недосягаемой.

— Я... я ведь умею готовить. Готовить обеды по-новому, по-современному. А то я вижу, как вы едите. Так не протянете... Разрешите мне готовить для всех!

Подобрел и Ларкин. Но он высказал сомнение: мол, оленеводы обидятся, да и не захотят есть наше.

— Ведь они привыкли по-своему. Привычка — как тяжелый камень. Его трудно убрать с пути, камень обычно обходят... — философствовал Ларкин.

— Ну если не захотят, то я буду готовить для вас. А их буду учить. Они постепенно привыкнут...

В душе я был согласен с Татьей. И я люблю мерзлую печень, тающую на губах, и мозговые кости, и глаза оленьи, и строганину из нельмы, и соленого муксуна. Но одно мясо, мясо, и только сырое, надоедает. Я уже привык к другому. И Ларкин, и Итья Татья — тоже. И оленеводам нужно разнообразие.

Хорошее волнение у Итьи Татьи. Но что скажет моя тетя? Не обидятся ли остальные пастухи? Не будут ли неприятности?

Неприятности, может, и будут. Но если бояться всего, то нечего мечтать. Какие же мы тогда комсомольцы?

Хорошее волнение у Итьи Татьи.

Действительно, сколько мы уже каслаем с бригадой, а что полезного сделали для них? Ничего! Просто слоняемся, не знаем, за что взяться. Просто мы, наверное, им мешаем. Скоро действительно они будут смеяться над нами.

Оленеводы — мастера! Они нас научат пасти оленей. Но мы комсомольцы — мы много нового знаем, можем учить их.

Мы поговорили по душам. Решили жить не в чуме, а в палатке. Она есть в бригаде, только не используется. Оленеводы относятся к ней с улыбкой. «Дом старушки, делающей нитки из жил,— говорят они о палатке.— В жилу в ней превратишься от холода...»

Нет, мы будем ставить ее на каждой стоянке. В ней будет чисто и уютно. Не будет той тесноты, что в чуме. В чуме трудно навести порядок. Очень трудно. Итья Татья пыталась что-то в чуме сделать. Но все безуспешно. А в палатке можно... Там можно поставить и столик для газет и журналов. И радиоприемник. Наша палатка будет красным уголком, новым Красным чумом. Говорили еще о многом, спорили, предлагали, мечтали...

Хорошее волнение. Даже Ларкин словно оттаял. Это и было, наверное, наше первое комсомольское собрание, хотя не вели мы никакого протокола. Впрочем, почему должен быть обязательно протокол и прочие формальные признаки «мероприятий»? Ох, как это все надоело! Было бы хорошее волнение. А оно уже есть, есть!

Олени, запряженные в нарты, нетерпеливо постукивали по хрустальному утреннему снегу, лайки весело повизгивали в предчувствии новой большой дороги. Хорошее волнение...

Все росли в люльке

...Станет мальчик с бурей биться,
Пробираясь к маю.
Станет падать, подниматься,
Станет плакать и смеяться...
Путь искать средь ночи,
О как жить он хочет!

На стоянке мы пытались поставить палатку. Не вышло. Тетя Сана набросилась на меня.

— Что это вы за существа такие? Кто вас чешет? И это вам не так, и то не этак. Нипочем вам боги и духи! — тянула тетя Сана тягучие мансийские слова.

Голос ее вздрагивал. В нем чувствовались и слезы, и гнев. В глазах ее погас тот ласковый огонь, который так грел меня в детстве. Они смотрели растерянно, словно потеряли что-то дорогое, но с надеждой, что, может быть, и найдут потерянное. Мне стало жаль тетю. Я не пытался больше настаивать.

Только Итья Татья не отступала.

— О, да ты уже старик! А я считала тебя молодым! — колет словами она Микуля.

— Да дайте им палатку, пусть живут как хотят! — добродушно говорит почему-то веселый сегодня Силька.

На противоположной стороне чума сидит мать Сильки, костлявая Яныг-турпка-эква. Уставив бесцветные глаза на Сильку, с большой дымящейся трубкой в руках, она цедит:

— Силька, Силька! Шел на поводу у жены. Мужчина! Жил под поганой крышей. А сейчас идешь на поводу у этих!.. — Она с презрением кивает в нашу сторону.

Отец Сильки, Вун-ай-ики, сидит тихо, насупив брови. Исподлобья посматривает на Сильку. Глаза так и колют. Сердцу холодно становится. Но скоро будет жарко. Йикор бьет ладонью по поллитровке. Звенит стекло: звякнула отлетевшая пробка.

Спирт... Он хороший, когда горе. Все забудешь. Горе? Да, горе. Жена Наста опоганила дом, Силькино имя, честь. Доброе имя — честь! Манси любят доброе имя. От зари до луны, от луны до зари бегут за широкими лыжами, обгоняя друг друга, две дорожки. Если они бегут — доброе имя у охотника. (А Силька был охотником.) Если спят — плохое. Если белка не висит за поясом, если не смотрит с плеча лисица, если не качается росомаха — плохое имя у охотника.

А летом, когда запляшет рыба на Сосьве, забурлит от всплеска Обь, плохое имя у манси, если он может спать в такие ночи.

Какой сон! Ему больше надо рыбы наловить, обогнать других.

А хороший дом, хорошая жена? Что за манси, если нет у него хорошего дома, жены?

А у него, говорят старые люди, нет хорошего дома. Опозорила Наста. Лазила на крышу. Старики говорят: «Ты, Силька, мужчина, а жил и ходил под крышей, где женщина ходила». Эх, Наста!

Звенят стаканы. Йикор любит чокаться. Сегодня и Силька не прочь. Горе! Горе! Горе пришло в дом Сильки, в сердце Сильки.

Йикор сверкает не только граненым стаканом, не только коростливой плешью на голове, но и ехидной улыбкой. Он смеется и над пьяным Силькой, и над старушкой корягой, и над нашей неудачей. И хотя глубокая ночь давно навевает уставшим за день сны, он гогочет, как гагара...

Словно вихрь пронесся над Микулем. Волосы взъерошились. Глаза сузились. Он весь побагровел, как закат, обещающий бурю.

— Товли! Довольно! — вырвалось у него, как гром.

Подлетел, как вихрь, к гогочущему Йикору. Одно мгновение — и гагара стонала уже за чумом.

В ночь ушел и Силька.

Еще холоднее стало в этом чуме... Разве можно спокойно спать в такую ночь?!

Меня разбудил детский плач. Это кричал Мань-пыг, спеленатый в берестяной люльке. Наверно, мокрый; наверно, надоело лежать связанным... В лапах медведя побывал и то не кричал... А тут кричит...

Еще заспанная мать вынимает его из люльки. Он потягивает от удовольствия толстые белые ножки с прилипшей мокрой шерстью и, довольный, машет ручками... Он поблескивает, как мокрая нельма. К нему ластятся белесые струи: в чуме еще холодно:

Мой горластый, узколицый,
Ты зачем родился?
В мир тайги, где ветер злится,
Ты зачем явился?

На полу, где иней талый,
Там родятся дети.
Сколько горя испытала
Мать моя на свете!

Буря выла, буря злилась,
Ветер дул упрямо.
Радость, как цветок, раскрылась
На губах у мамы.

Нежность, радости, печали,
Снежное ненастье...
Люди, вы бы мне сказали,
Что такое счастье?

Мань-пыг, маленький сыночек, выйдет ли из тебя оленевод, захочешь ли ты жить в чуме, будешь ли ты кочевать, как твои родители? Кто знает, кем ты будешь и чего захочешь. Сейчас тебе все равно. Жизнь твою никто не сможет придумать.

Жизнь теперь бежит не шагами лыжника, несется не оленьей рысью, а летит космическим кораблем. И тебя, быть может, подхватит скорость этого корабля, пусть ты еще каслаешь, пусть даже спишь в древней люльке. Люлька...

Мать вытряхивает мокрую труху из ночной люльки. Ноздри щекочет острый запах. Но никого это не тревожит. Все спали в такой люльке, со связанными руками и ногами. Шевельнуться даже нельзя. Можно только повернуть голову набок.

Зато ночью не мерзнешь... Хоть и неудобно, зато живешь, в чуме живешь, на нарте живешь, когда поет вьюга — живешь, когда всех клюет дождь — а тебе тепло, а ты живешь! Вот какая ночная люлька, сделанная из бересты, с узорами леса, оленьих рогов, следов лягушек и птиц.

Но есть еще и дневная люлька. Она тоже из бересты. На ней тоже узоры. Еще ярче. И красные, и желтые. И сделаны они гораздо аккуратнее. Ведь это дневная люлька. На нее смотрят люди. Смотрит и дитя. А на люльке навешаны бляхи, и колокольчики звенящие, и разноцветная бахрома.

В отличие от ночной, в дневной люльке есть спинка. Ребенок не лежит, а сидит в ней. Люлька обычно висит на кожаной веревке, подвязанной к потолку или к жерди, как в чуме. Когда ребенок плачет, люльку качают — и ребенок успокаивается, засыпает. Когда маленький человечек проснется, он старается освободить ручки, потрогать бахрому, висящую перед ним, и голос звонкого колокольчика хочет послушать. Малыш плачет. Тогда его развязывают по грудь, освобождают руки, и он успокаивается, играет...

Эту люльку манси называют апа. Апа! Хорошая апа. Пусть лежал в тебе связанным и я, пусть не давала ты мне свободу и простор, но ты прятала меня от холода, защищала

от длинноносых кровопийц-комаров, под твое мерное качание я засыпал, забывая детские обиды и желания. Благодаря тебе, милая апа, я был всегда с мамой. И тогда, когда она вынимала из сети серебристых сырков и лодочка качалась, качалась на волнах, я был опять с мамой — мне было и не холодно, и не кусали комары. Я был с мамой и тогда, когда она косила сено в жаркий июльский полдень и когда везла дрова из дремучего леса на ленивой лошаденке. Апа, ты, может, была чересчур тесной. Но лишь благодаря тебе я стал ценить простор и свободу...

В такой же люльке рос и Вун-ай-ики, в такой же люльке он баюкал Сильку, из такой же люльки улыбалась Итья Татья. Но не в этой ли люльке Яныг-турпка-эква стала такой ворчливой, не в этой ли люльке у милой тети Саны родилось суеверие, не в этой ли люльке разболтался Йикор, не в этой ли люльке Потепка стал шаманом? Все росли мы в одной мансийской люльке. И, как стороны света, такими разными стали...

Волки

Снег сухой они хватают,
Мчась среди стволов,
И все злей глаза сверкают,
Звонче лязг зубов.
«Дай нам крови», — небо просят,
Поднимая вой.
Но мороз сильней заносит
Кнут над ними свой.

Утро. Звезды уже откочевали с проснувшегося неба. Лишь тонкий месяц, как пастух, ожидающий смену, еще бродит по верхушкам коренастых кедров-мужичков. Где-то близко-близко за деревьями идет солнце. От его приближения небо позолотело, заулыбалось, а тонкий месяц, уставший за ночь, побледнел. И как только солнце кинет свой золотистый взгляд на верхушки кедров, он уйдет на отдых до вечерней смены. Трудная все же у месяца обязанность: ему приходится работать ночью.

А ночью — темень. Хоть глаз выколи — ничего не видно! Ночью только волки становятся зорче, чтобы видеть свою добычу — тонконогих оленей.

Ночью злей мороз. В темноте наглеют его ледяные языки. Лизнут щеку — и она побелеет, как мерзлый сырок, лизнут

кончики пальцев — и чуткие пальцы не слышат ничего, словно глухие. А как взойдет месяц — все заголубеет, засияет. Месяц яркий все видит: ведь он пастух, ему доверено охранять всю землю, все добрые стада звезд, все стада оленей...

Трудная профессия пастуха!

Как на смену месяцу приходит солнце, так и Микуля и меня, дежуривших всю ночь, сменяет пастух Ай-от. Вот он уже идет...

Трудная была ночь. Как больные в жару, метались олени. Их беспокоили волки.

Волки... Раньше о них я слышал лишь в сказках да в длинных, как ночь, охотничьих рассказах. И не совсем без спроса нападают они на людей и на тучные оленьи стада. Перед тем как напасть, они завывают голосом вьюги, плачут, умоляя небо, прося разрешения указать им, кто больше всего грешен, кому пришла очередь оказаться в волчьих зубах, расплатиться за содеянные грехи.

Волки воют — говорят с небом. Волки напали — это желание неба, судьба. А от судьбы никуда не свернешь, не спрячешься... Так думали раньше манси и ханты о волках.

И вот, когда за карликовыми соснами на голубоватом лунном снегу мелькнула серая тень, лыжи мои словно онемели, остановилось, кажется, сердце. В мыслях быстрее самолета промелькнуло — судьба! (Как сильны все же суеверия, навеянные в детстве!)

Но волк несся не на меня, он стрелой летел на почуявшего опасность оленя, вцепился клыками в ляжку. Олень остановился, присел, наверное, от испуга и боли, передними ногами на снег. Мгновение — острые клыки впились в горло, и на синеватом снегу в судорогах бился олень. А волк летел уже к другому, к третьему... Вторая и третья головы оленей плясали на снегу, второй и третий ручей крови журчал из перегрызенного горла...

Олени метались. Они бежали почему-то в мою сторону. И я чуть не побежал. Но волк был уже совсем рядом. Только тогда, когда он перегрыз горло первого оленя, надышался теплой кровью нового и был готов броситься на следующую жертву, только тогда волк заметил меня. Глаза его зажглись зеленым огнем. Они горели, кажется, ярче луны. Волк ощетинился, оскалил зубы. Острые клыки сияли в лунном свете. Он словно улыбался над моей растерянностью.

Не помню, как я выстрелил. И не помню, из какого ствола двустволки сначала выстрелил: то ли из заряженного пулей, то ли крупной дробью.

Но когда дым рассеялся, на шее оленя лежала голова волка. Она еще раскрывала пасть и скалила клыки. Но злобный, зеленый огонь в звериных глазах уже погас...

Услышав выстрел, с лаем прибежала собака. А за ней и Микуль. Он, не обращая на меня никакого внимания, подошел к подыхающему волку.

— Твари! — процедил он сквозь зубы.— Опять появились!

Я ожидал, что он меня похвалит: ведь я впервые убил хищника, да еще какого! Четырех оленей растерзал он на моих глазах.

Но Микуль на меня даже не взглянул. «Обидно! Неужели и это обычное дело?!» — подумалось мне.

Не теряя ни секунды, Микуль срубил топором высохшую сосну, набросал сухих веток. Только чиркнул спичкой, как сухая хвоя вспыхнула ярким пламенем. Высоко в небо летели искры. При свете костра голубая лунная ночь, кажется, посинела.

«Собаки лают — волки близко», — говорят в народе. Собаки наши визжали, стукались о серебряные стволы деревьев, жались к ним. Видно, не один и не два волка напали на стадо. Микуль стрелял из ракетницы. Красные и белые ракеты вспыхивали и рассыпались над верхушками деревьев, освещая на мгновение необыкновенным светом тайгу. Олени жались к костру. Много костров разожгли мы в эту ночь, пока не откочевали звезды с проснувшегося неба. Много раз обходили мы огромное пастбище. Но усталости не чувствовали.

И вот верхушки кедров уже пылают в лучах солнца. Месяц ушел на отдых. Волки исчезли, как тени. И мы с Микулем, почувствовав наконец усталость, направились к чуму.

Волки... Нет, исчезли не насовсем. Вечером с появлением теней они опять приблизятся к стаду, опять будут резать оленей.

— Вот ведь твари! — вслух возмущается Микуль.— Ну, загрызли бы одного-двух оленей... Так нет, режут подряд. Кровопийцы! Надо усилить охрану, наставить пугал, капканы, сделать отравленную приманку. С волками справимся! — почему-то вздыхая, говорит Микуль.— Труднее наладить положение в бригаде...

Поскрипывают лыжи, похрустывает подмерзший снег. «О чем это Микуль? — думаю я.— Наверно, о вчерашнем происшествии».

— Погорячился я,— продолжает он.— Не надо было выбрасывать Йикора из чума. Все же человек...

Поскрипывают лыжи. Хрустит снег...

Но сколько можно терпеть?! — словно оправдываясь, восклицает он.— Вечное кривляние, расхлябанность, болтовня. Когда это кончится?! А все из-за вас! Раньше, когда ходили одни старые оленеводы, не было у нас никакой грызни. Все делали дружно... Складно. Не было враждебности, непонимания...

Поскрипывают лыжи. Хрустит снег...

— Что-то надо делать! — заключает он.

Поскрипывают лыжи. Хрустит снег. Месяца давно уже нет. Его сменило солнце.

Но кто сменит бригадира? Ночью он боролся с волками. Днем новые заботы — бригада, люди. У каждого душа. А что в ней?.. Бригадиру надо, надо знать все... И все уладить. Но как? С чего начать?

А может, и он виноват. Трудно сказать, кто виноват. Ясно одно — в бригаде беспорядок. Так жить нельзя. Волков можно уничтожить, а люди...

Солнце золотым глазом уже осматривает землю с ее лесом, со стадами оленей, с людьми. Всякая нечисть при свете ярких лучей прячется, спит до темноты, а все доброе начинает жить.

Вот уже дымок чума: оленеводы встали. Микуль не месяц. Он не может и не имеет права отдыхать, если в бригаде беспорядки.

Поскрипывают лыжи из блестящего камуса. Похрустывает снег... Микуль задумчив... Много надо думать бригадиру..

Самый большой оленевод

Нет, не буду как речная гладь,
Буду я волной большой, как дом,
Пусть мне в сердце постучится мать,
Что ловила рыбу подо льдом.
А костры родительских сердец
Сберегу, чтоб век не догореть им,
Ведь не зря же дрался мой отец
С медно-рыжим кулаком — медведем.

Что за шумное веселье над тайгой? Неужели небо звенит от полета уток? Неужели юг на Север прилетел? Не может

быть: рано! А может быть, удачливый охотник убил хозяина лесных дебрей и в чумах и во всей тайге Медвежий праздник?

Гремит тайга дремучая веселым собачьим лаем, а над кедрами столетними летят, летят слова: «Самый большой оленевод приехал!»

Проваливается мокрый снег под широкими легкими лыжами, но я не обращаю на это внимания — я спешу навстречу голосам. Вот уже вижу дымок над чумом. Вот и чум, и поляна. На поляне олени, собаки, люди...

«Самый большой человек, охраняющий оленей, приехал!» — поет поляна.

А я большого человека и не вижу. Вижу только оленей. У них бока колышутся, как мехи старой гармошки. Отвисли красные длинные языки — видно, долгую дорогу пришлось осилить!

Но где же он, этот человек? Разве тот, что в объятиях пастухов?.. Да он вовсе не большой, не выше карликовой сосенки. К тому же это и не оленевод, а обыкновенный горожанин: одет в короткое модное пальто коричневого цвета. Очки с роговой оправой... Какой он оленевод с такими глазами: очки упадут в снег, если бегут нарты, и он слепой, как сова днем! Настоящий оленевод, наверно, уже в чуме. Приезжего я где-то видел. Но когда, где? Взгляд... Знакомый и незнакомый. Где я ощущал на себе этот взгляд? В памяти возникает черная доска, черная парта и серые глаза...

И мы летим друг к другу, как две встречные волны. И обнимаемся, как две волны. А потом смотрим друг на друга, и, наверно, каждый из нас думает о том, какими мы были в школе и как изменились теперь. Хорошо ли, плохо — встретились; хорошо ли, плохо — вспомнили...

Арсентий... Мы учились и жили в одной школе-интернате. В восьмом классе сидели за одной партой. Потом он куда-то исчез. Всегда как-то сам собой забывается тот, кто до конца не идет вместе с остальными. Потому, наверно, Арсентий выпал из памяти и никто из сверстников не вспоминал о нем. А может быть, потому мы забыли его, что он в школе был каким-то тихим, словно сонливым. Его почти не видно было. Даже тогда, когда он отвечал на вопросы учителя, он не привлекал внимания ни плохими ответами, ни хорошими. Он был незаметным, как свет днем. А вот теперь его называют самым большим, самым главным оленеводом, хотя он и совсем не похож на пастуха. В чем дело?

Мы сидим за маленьким столиком с короткими ножками.

Рядом пылает костер. А на небе солнце. Тает снег от костра, солнца и от нас. Даже столик вот-вот провалится в снег. Но мы не идем в чум. Там нет солнца, костра, этого чудного бескрайнего простора. Квартира под голубым небом — лучшая квартира в мире: самая светлая, просторная, чистая. Костер — лучший друг людей. Костер — самый интересный собеседник. Но приезжий человек интересней.

Глаза всех оленеводов, больших и маленьких, женщин и мужчин, невидимыми нитями тянутся к глазам Арсентия, словно они необыкновенные две звезды, засиявшие в небе днем, при ясном солнце.

Даже Вун-ай-ики сегодня какой-то мягкий, словно весенний снег под теплыми лучами солнца. Он с почтением задает вопросы приезжему и, дождавшись ответа, рассуждает с ним, как равный с равным. С Ларкиным и со мной он так не разговаривает. Он с нами — как лось с лосенятами. А с ним — как рогатый с рогатым...

Чем он заслужил такое уважение и старцев, и всех оленеводов?

Не историей ли, которую мне рассказали люди?..

Когда Арсентий окончил техникум, когда стал ветеринаром, он вернулся в родной край. В районном центре ему дали работу. Там он встретил ее. Глаза ее были как две голубые ночи. А шея — тонкая и белая, как заснеженная веточка. По ночам Арсентию снилась стройная березка. И он потянулся к ней, к ее трепету. Скоро справили свадьбу, необыкновенную, комсомольскую. Сразу дали квартиру. Счастлив был Арсентий, как птица в полете. Счастливая жизнь началась.

Но вот весной, когда оленеводы стали собираться в большое каслание на Урал, ему предложили ехать за стадом. Там не было ветеринара. Долго думал Арсентий... По ночам снились олени. Нет, они не грозились ветвистыми рогами и не стучали копытами, а просто смотрели большими грустными глазами, будто шептали: «Арсентий, нам без тебя будет плохо!» Потом появлялась березка. Она трепетала ветвями. Опять было тепло-тепло... Но грустные глаза оленей звали...

Он уехал с оленями. Семь месяцев он кочевал по Уралу. Побудет в одном стаде, полечит оленей, даст советы пастухам, переезжает в другое стадо. Там опять работа...

Отзвенела ручьями весна. Так же быстро, как наливается соком красная морошка, прошло лето на Урале.

Долго-долго плелась осень, снежная, холодная, со звездными длинными ночами, с песней вьюги.

Но Арсентий не замерзал. Он шептал стихи:

В морозном небе звезды
хохлятся,
Лучами зябкими звеня,
А ей, березоньке, не холодно —
Пригрелась в сердце у меня.
Теплей и сердцу с русским
деревцем,
Не страшно встретиться с пургой,—
Куда оно, пустое, денется
Без этой ноши дорогой?
Снега лежат,
А сердцу хочется
Заслышать легкие шаги.
В морозном небе звезды
хохлятся...
Как ночи зимние долги!
Хочу, чтоб звезды мне
напомнили
Сиянье глаз березки той,
Чтоб были сны мои наполнены
Ее лебяжьей теплотой!
Пугай, зима, гляди волчицею,
Бураном вой, гуди в трубе,
Я сберегу березку чистую,
Я не отдам ее тебе!

И он возвратился. И она его встретила, как может встречать весну только березка. И они были снова счастливы.

Зимой он был дома. Только изредка выезжал в стада. Изредка командировка — хорошая жизнь. Изредка командировка — счастливая жизнь!

И вот опять весна. Опять олени. Они не грозят ветвистыми рогами, не стучат копытами, просто смотрят грустными глазами...

Трудно найти им друга такого, как Арсентий. Некем заменить Арсентия... И Арсентий едет на Урал опять...

А березка? У нее уже маленький сын... Она снова в трепете. Ветви ее шумят, но шумят по-зимнему. И слетает иней... Но он — комсомолец! Ехать больше некому! Уехал!..

Снова весна, лето, осень, снег... Снова в морозном небе хохлятся звезды, снова сны наполнены только ею.

И снова Арсентий шепчет:

Пугай, зима, гляди волчицею,
Бураном вой, гуди в трубе,
Я сберегу березку чистую,
Я не отдам ее тебе!

Зима, что глядела волчицею, не тронула его березку — зато тронула жизнь. Когда вернулся, в доме было пусто, как после похорон. По стенам ползли белые грибы, по полу стелился иней — вот что осталось...

Умерла она? Нет! Ее увез в теплые края, в большой город человек. Он любил не оленей, а людей. Он не кочует годами в дикой тундре, а живет, как все...

Зима, что глядела волчицею, не тронула березку — тронула жизнь...

...Солнце смотрит уже с запада. Его руки ласкают верхушки древних кедров. Над ними струится теплый голубой дымок. Дымок нашего костра тоже голубой, тоже теплый. Голубой дымок струится и в руках Яныг-турпка-эквы: она курит и задает приезжему вопросы.

А Арсентий спокойно и медленно рассказывает новости: и о том, что на третье стадо совхоза напали волки, а в седьмом потерялся пастух, и о том, что нужно делать оленеводам этой капризной весной, как спасти стада оленей, когда от раннего дождя и частых новых снегопадов образуется толстый наст, а местами просто ледяная корка. Трудно доставать оленям вкусный ягель. Мудрые оленеводы, древние оленеводы в тупике. А Арсентий знает. Он думает вслух, предлагает, советуется со стариками. Те тоже думают вслух, говорят...

Говорит и моя тетя Сана, зашивающая дырочку в кисах, и повеселевший Силька, стругающий ножку нарты, и Микуль, с наслаждением нюхающий табак, и Вун-ай-ики, приводящий в порядок тынзян, и маленький оленевод Епа, приучающий к чему-то собаку, и даже Мань-аги, озорница белочка, прыгающая у костра,— все думают вслух, говорят... Интересная беседа.

На другой день мы встали рано. Арсентию нужно было обойти стадо, чтобы посмотреть, как выглядят олени, насколько изранены их копыта.

На стороне нового, завтрашнего дня, на востоке, небо было розоватое, а над нами голубое, холодное. И мысли словно застыли. Мало говорили мы.

А лес уже говорил. «Т-р-р-р-р-р-р-ру!» — пело вдали дерево. «Т-р-р-р-р-р-р-р-ру! Тр-р-р-р-р-ру!» — пело рядом другое. Весь лес выводил многоголосую песню. Каждое дерево говорило, радовалось.

Поет лес, очарованный ясным утром. Шуршит под нашими ногами наст. Перестукиваются с деревьями дятлы...

И понемногу оживляемся мы с Арсентием. Вспоминаем

школьные годы, ровесников.. Вспомнили Иосифа. Не того, которого все ласково звали Оська, а того, что звали Усюп или Усюп-йив. По-мансийски Усюп — имя, йив — оглобля

— Усюп!.. — усмехнулся Арсентий.— Зимой, когда я был в отпуске, видел его в Тюмени. На улице встретил Потом несколько дней у меня в номере он жил. Жалко, совсем пропал Усюп. Попугаем стал. Переменил имя... Его теперь как-то по-другому звать.

Не знали манси раньше такого слова — «попугай». Не было такой птицы в сказках, не было такого слова даже в песнях. А теперь всем известна стала эта птичка. Летом на теплоходах привозят иногда люди железные клетки с болтливыми пестрыми попугаями.

— А знаешь, как разодет Усюп?.. Не знаешь! Такого не придумают и самые остроумные на Медвежьем празднике! Не отличает ерша от окуня. Только помнит, что уха из ерша вкуснее. Забыл он и свой родной язык...

Рассказывают, как-то приехал домой и со старой матерью разговаривал на непонятном ей языке. Она, как испуганная зайчиха, таращила на него глаза. Вздыхала. Видя, что она не понимает, он показывал, изображал слова руками... Ты видел такого! — смеясь, воскликнул Арсентий.

— А он какой институт окончил? — спросил я Арсентия.

— Какой там институт! Он не окончил и восьми классов! Даже курсы не может окончить. Поступил в медучилище — убежал! Учился на курсах радистов, киномехаников, дизелистов, трактористов, баянистов — ни одни курсы не окончил. Сейчас, кажется, поступил на курсы экскаваторщиков-бульдозеристов. Поживет, поболтается в одном месте, надоест — махнет в другое. Курсов много. И поступать легко — везде северянам льготы: одежда, бесплатное питание... Всюду танцы, музыка... Не жизнь, а сладкая морошка!.. Не то что мы с тобой бродим по глухой тайге да по тундре голой... А в общем, нам ему завидовать нечего! Оглобля и оглобля! Не для него и рыба, и олени, и лес, и нефть!

Над деревьями уже вставало бодрое и веселое солнце. Пели деревья, щелкали птицы — и над всей тайгой звучала музыка света, весны, жизни. Арсентий в эту минуту мне казался поэтом.

Под ногами хрустел мерзлый снег. Иногда ноги скользили... Арсентий хмурился и продолжал:

— Обо всем этом я говорил Усюпу. И о настоящем и будущем нашего края. И что ему надо возвратиться в родные места, там работы хватит всем. А он мне в ответ: «Там нет условий для культурного отдыха!» Вишь какой, на го-

товенькую культуру зарится! А кто в его родном краю должен строить, создавать новую культуру? Тогда я попытался тронуть главные чувства человека, которые лежат где-то глубоко-глубоко, в самом сердце. Чувство к матери, которая дала ему жизнь, к земле, по которой он сделал первый шаг в жизни, к народу, на языке которого он сказал первое слово. На мои слова он ответил высокомерно: «Моя родина — планета Земля. Мой народ — земляне!» Тогда я выпроводил его из номера. Не мог дышать с ним одним воздухом...

Похрустывали под ногами снежинки, а иногда ноги скользили, и мы чуть не падали, но, увлеченные разговором, ничего этого не замечали.

— Есть попугаи среди наших соплеменников! — тяжело вздыхая, словно размышляя вслух, протянул Арсентий.— Мало, но есть!.. А ты знаешь, что о таких попугаях говорят в народе: «Ничтожные люди готовы считать родной народ свой ничтожным и пытаются отмежеваться от него. От таких людей отворачиваются свои, не признают их и другие... Сильные люди борются за то, чтобы прославить родной народ, сделать его счастливым».

— Даже когда на всей планете будет коммунизм и космические корабли полетят вон туда...— указывая на солнце, говорил Арсентий,— даже тогда в душе каждого из людей будет жить своя родина — та земля, где родился человек, тот народ, из глубины которого он вышел на дорогу жизни.

Народы Севера маленькие, как орешки на огромном и величественном кедре. Но и у нас есть свое, то, чего нет у других народов: свои легенды, песни, умение с улыбкой жить в суровых условиях нашего Севера. Кто быстрее поймает в тайге соболя, в Оби — осетра, в стаде — оленя? Конечно, северяне!

Вот стадо. В нем две тысячи оленей. Их пасет всего шесть пастухов. А сколько таких стад на бескрайних просторах тайги, тундры! А сколько соболя, белки, горностая добывают в тайге следопыты-охотники! Сколько серебряной нежной рыбы каждый день сдают государству наши славные рыбаки! Так что совсем не прав Усюп, отвернувшись от матери, от своего народа. Вот ты — манси, и я — манси...— повернулся ко мне Арсентий.— Мы родились на этой земле. Наши соплеменники привыкли к долгим каслания м. Но нам с тобой иногда бывает нелегко, правда?

В знак согласия я кивнул головой Арсентию. Да, уже привыкли к другой жизни...

— А как на нашем месте почувствовали бы себя, к примеру, узбек и молдаванин? Твоя тетя всю жизнь кочует, живет в чуме, а нам с тобой этот чум опротивел... И мы с тобой, как этот Усюп-йив, могли махнуть куда-нибудь на юг. А кто будет пасти оленей, помогать соплеменникам «стать с веком наравне»?

Лесная речка

В пушистом инее леса
Сверкают золотом насквозь,
Костром в кустах мелькнет лиса,
В снегу по грудь проходит лось.
Зима спешит, снежком пыля,
И сердце с ней, и счастье с ней.
Люблю тебя, моя земля,
И стук копыт, и скрип саней.

Мы остановились в долине одной из маленьких лесных речек, по-мансийски называемых «я». Кругом холмы с зубчатым бором, как спина осетра. В бору пихта, сосна, кедр. К берегу склоняли тяжелые лапы ели, белые сверху, черные, как смола, снизу. Между холмами сияет под ярким солнцем большая поляна. Только посреди поляны, будто ленты, извиваются, бегут рядом две черные полоски. Это из-под снега .смотрят карапли-йив — тонкие ивы, окаймляющие лесную речку.

Лесная речка... Ты навеваешь сны, шепчешь сказки моего детства. По звонким холмам такой же речки мы с мамой бродили по первой снежной пороше. Впереди бежала лайка. Как, бывало, почует на ветке озорную белочку, сразу лает. И мы с мамой не торопясь идем на ее страстный зов. Никуда белка не убежит.

Я несу ружье мамы, как настоящий охотник. А мне всего шесть лет...

На снегу пылает солнце,
В небе — синь без края,
Белка резвая на ветках
В серебре играет.

Белка скачет, звездный иней
Сыплет в глушь лесную.
А под сосенкой кудрявой
Старый пес тоскует.

Старый Ханси кружит с лаем,
Ствол кусает, крошит;
Ждет, когда придет хозяин,
Друг его хороший.

Наш Ханси все лает и лает. Он уже видит нас: то бросается к нам навстречу, то опять кусает кору высокой стройной сосны. Это Ханси говорит: «Вот белочка, которую мы ищем, которая нам троим так нужна». Потом мама вскидывает ружье. И белочка, с золотистыми усиками, с пылающим золотистым хвостом, лежит уже у наших ног. И мы все радуемся. Особенно Ханси и я...

Облетает звездный иней
С молчаливых сосен,
Запахом зверька живого
Нос щекочет песий,
Хочет пес, чтоб трепетала
Белка в черных лапах,
Хочет он вдохнуть седого
Дыма горький запах.

Лесная речка... На твоих каменистых перекатах, где и в звонкий осенний мороз беспокойная вода журчит и лепечет голосом монет, стояли наши гимги, плетенные из тонких прутьев и корней кедра. Когда солнце уже собиралось спрятаться за спину тайги, мы шли к перекатам, вытаскивали из воды гимгу, посаженную между камнями. В ней плескались огромные щуки, у которых на спинах цветут причудливые узоры с зелеными и белыми полосками, и крылатые рыбы — хариусы.

Лесная речка... На твоем берегу обязательно стоит избушка на курьих ножках. В нее несут свою добычу охотники. Ни один зверь, даже медведь, лазающий по деревьям, не может забраться в нее. Рядом с избушкой на курьих ножках обыкновенная изба, стоящая на земле. Загорится заря — в домике появляются охотники. Первыми, конечно, приходим мы с мамой. Рубим дрова. Растопляем чувал и готовим ужин. Потом приходят другие охотники. При свете жаркого чувала охотники снимают шкуры белок, развешивают на просушку. Варят суп из нежного беличьего мяса...

О лесная речка, ты напомнила мне запах вареной беличьей головы. Как давно я не слушал у чувала, стреляющего искрами, длинных, длинных, как ночь, сказок!

Новый шаман

Женщина родного края,
Пробудись, взгляни вокруг
На дела твоих подруг!
Мир гордится их судьбою.
Что же ты живешь рабою,
Что же ты зимой и летом
Под платком не видишь света?
На моей земле весенней
Кто, скажи, тебя священней?

Всю ночь кричал Мань-пыг. Лицо его было красное и круглое: он тужился и плакал. И казалось, вот-вот сорвется голос его...

Яныг-турпка-эква квакала, как лягушка, и плевалась зелеными плевками на Итью Татью.

— Агум-варнэ-ут! Агум-варнэ-ут! (Дух, насылающий болезни.) Это ты принесла нам несчастье; не соблюдаешь законы предков! За тебя наказывают нас боги, отнимают душу нашего внука. Тебя надо наказать!

Ворчала и тетя Сана:

— Из-за нее может погибнуть стадо: за мужское дело взялась, не бережет в чистоте хорей, через него перешагивает. Разве мансийке можно?!

Потом говорит Окре:

— Попроси Потепку, пусть пошаманит. Он ведь был большим шаманом. Много людей вылечивал, спасал от смерти. Над маленьким, чистым человечком духи, наверное, смилуются, если их задобрить... Пусть пошаманит Потепка... Проси, проси его, Окра.

И Окра просила, умоляла Потепку, чтоб он поговорил с богами, узнал причину, за что мальчика наказывают духи, чем провинились оленеводы...

Потепка сидел лицом к железной печке, в которой играл, трещал огонь. Его почти бесцветные глаза были печальны.

— Не могу я вылечить мальчика, не могу... Знаете ведь, я больше не шаман... Надо съездить в соседнюю бригаду за фельдшером.

Неизвестно, что было бы дальше, если бы не Итья Татья. Она посмотрела на всех долгим глубоким взглядом. А потом попросила у плачущей Окры разрешения подержать ее сына. Даже та, молодая, на Итью Татью косилась. Но сына все же дала.

Итья Татья прильнула смуглой и румяной, как яблоко, щекой к лобику мальчика, заглянула в ушки и ротик, потро-

гала его ручки, круглый живот и попросила мыла. Отрезав тоненькую стружку, она положила ревущего Мань-пыга животиком на свои колени.

Стружка мыла оказалась чудом: вскоре мальчик оправился, успокоился и заснул глубоким сном.

Яныг-турпка-эква больше не плевалась. Окра целовала Итью Татью и роняла на ее сверкающие бусы счастливые материнские слезы.

Все так же играло пламя в печке, все так же потрескивали смолистые дрова, все так же сидел Потепка у огня, только в глазах его словно плясали теперь озорные искры.

— Вот вам и шаман! Вот вам и новый шаман! — говорит он, кивая седой головой в сторону Итьи Татьи.

Потепка

Ветры свищут, вьюга рыщет,
Вьюга в сердце рвется,
Чуя горе, вьюге вторя,
Сердце рыбой бьется.
В те слепые дни былые
Знал ли я, болея,
Что ведь доктор счастье мог бы
Мне вернуть быстрее?

Потепка! Какой манси не знает этого имени! Как имя зверя, как имя рыбы, знакомо оно манси. Но почему же мужчины при виде Потепки смотрят поверху, словно гордые лоси, а женщины косятся по сторонам, подобно трусливым зайцам? Почему это имя такое быстроногое, что всюду знают его на моей земле?

Слушайте.

В годы, когда я был маленьким, внимали манси темным словам Потепки. Слова же эти были такие:

— Я всесильный шаман и могу говорить с небом. Дружат со мною шайтаны, речи мои доходят до бога. Не забывайте неба, манси, иначе счастье никогда не найдет к вам дороги. В домах же ваших поселятся болезни и нечисть!

В те дни, когда слушал народ манси речи шаманов, умер мой дед. А потом заболел я и стал слабее утенка, только что вылупившегося из яйца.

Сказали соседи родным:

— Душу мальчишки унес в могилу дед. Ступайте к ша-

ману, он вернет мальчику душу, и тогда сын ваш снова станет здоров и весел.

Послушались родные соседей. Повезли меня к Потепке. В жертву богам зарезали теленка и внесли его в дом шамана. В доме увидел я много народу. Старики с головами белее снежных вершин; старухи с морщинами, точно трещины глинистых берегов Сосьвы; ребятишки, юркие, озорные, как белки; степенные мужчины, пугливые женщины — все собрались у Потепки и сейчас смотрели на меня.

И вот затлел где-то в доме сэныг [1]. Наполнился дом волшебным воздухом, которым дышат только шайтаны в небе. Как исчезает в бурном прозрачном потоке мутная струйка воды, так исчезли, когда затлел сэныг, дурные запахи в доме Потепки.

Потепка же взял в руки топор и сел в переднем углу. Но прежде чем сесть, шаман потушил лампу. Стало в доме темно, так темно, точно не было никогда на небе луны, точно солнце само себя поглотило!

Было темно, было тихо, все боялись дышать. Знали, в эти минуты шаман собирается говорить с небом, подбирает слова, понятные только богам.

Вдруг услышал я дробные звуки: э-кэ-кэ-кэ-кэ! э-кэ-кэ-кэ-кэ-кэ!

А потом донесся до нас голос Потепки:

— Слышите? Это шайтан бросает в меня стрелы. Сердится, что долго слов небесных не нахожу!

И опять наступила тишина, такая тишина, точно не было на земле ни людей, ни зверей, ни птиц, ни ветра, ни волн, ни шума лесов.

А потом тихо, почти неуловимо, точно робкое токование тетерева, поплыла по комнате песня. Ее пел Потепка. Медленно, подобно каплям тающего снега, возникали непонятные слова. Постепенно слова становились громче, громче, и вот уже наполнили весь дом пронзительные, непонятные, таинственные слова.

Неожиданно песня разом оборвалась, и Потепка сказал:

— Недоволен небесный шайтан, недоволен. Маленького теленка принесли ему в жертву. Надо еще одного теленка принести ему завтра в жертву... Ждите! — раздался в темноте голос шамана.— Сейчас прилетят шайтаны. Вы не увидите их, но вы услышите их! И первым прилетит шайтан Ялпус-ойка! Ялпус-ойка! Он единственный, кто может под-

---

С э н ы г — нарост на березе или осине (когда горит, распространяется приятный запах).

ниматься к богам в небеса и спускаться в подземное царство нечисти. Вот он! Он близко! Он летит! Всесильный Ялпус-ойка превратился в железную птицу лули. Замрите! Он летит!

И я услышал, и все услышали, как железные крылья лули рассекают со свистом воздух. Свист приближался, становился сильнее, потом вздрогнули стены дома и кто-то ударился о священный стол в священном углу. Я услышал частое тяжелое дыхание. Так дышит человек после долгого бега с непосильной ношей на спине. То явился шайтан Ялпус-ойка!

Вслед за ним стали являться другие боги. По-разному являлись они. Кто приезжал на оленях — мы слышали скрип полозьев на мерзлом снегу; кто приезжал на конях — мы слышали грузные шаги под окнами дома. И каждый раз из темноты раздавался голос Потепки. Он выкрикивал имена шайтанов!

— Ялпус-ойка! Отец всех шайтанов!

— Ас-котиль-яныг-ойка! Повелитель Оби!

— Тагт-талих-отыр! Повелитель верховья Сосьвы!

Называл он и других шайтанов, но я уже не помню сегодня их длинных и трудных имен. С каждым из них Потепка здоровался:

— Здравствуй, из дальних земель пришедший шайтан!

И все мужчины повторяли в темноте:

— О здравствуй, здравствуй, из дальних земель пришедший шайтан!

Когда собрались все боги, Потепка начал шаманить. Снова затянул он песню на небесном языке. Мы же все сидели в страхе, не понимая языка богов. Но потом появились в песне слова понятные, и я разобрал, о чем пел шаман.

— Мало, мало приносите жертв вы богу! Гневаются на вас шайтаны — сыновья небес!

Опять появились в песне таинственные слова, понятные только небу. Но вдруг оборвалась песня, и Потепка сказал:

— Поведали мне боги: душу мальчика унес в могилу его дед. Цепкими, костлявыми пальцами держит он душу парнишки и не хочет ее выпустить. Но говорящий шайтан Ялпус-ойка внял моим просьбам. Он полетел к могиле старика. Сказали мне шайтаны: еще немного — и умер бы мальчишка. Потому что не может долго жить человек без души.

От этих слов пот начал струиться по моему лицу и волосы зашевелились на моей голове. Вдруг дед не выпустит моей души? Тогда я умру сейчас же, здесь, в доме

шайтана! В темноте мерещился мне лежащий в гробу дед, и в скрюченных пальцах его извивалась голубовато-дымчатая душа моя...

Вещи, лица — все кружится
В зареве багряном.
Счастье чище глаз ребенка
В топоре шамана.
Пламя стало по металлу
Кровью растекаться,
То недуги — злые духи —
Топора боятся.

Опять послышался где-то неясный, далекий звон. Я понял, что Ялпус-ойка летит обратно. Снова железные крылья лули рассекли воздух, снова кто-то ударился о священный стол, и опять послышалось частое дыхание человека, бежавшего долго с тяжелой поклажей на спине.

— Ему было нелегко! — воскликнул Потепка.— Ялпус-ойка долго бился за душу мальчишки!

Я сидел, цепенея от страха, и мысли мои путались в голове. Вдруг в священном углублении едва слышный писк.

— Спасенная душа пищит в руках сына бога,— пояснил шаман.— Подведите мальчика к священному столу.

В темноте меня подвели к столу. Я знал, что за столом сидят все шайтаны. Сердце мое, подобно трепещущей рыбке, готово было выскочить из груди. Каждая жилка во мне ликовала: «Я не умру, снова душа живет в моем теле! Потепка, всесильный Потепка вернул мне душу!»

Опять услышал я в темноте голос шамана:

— Боги не забыли тебя, народ манси. Небо смотрит на тебя, народ манси. Не дерзай нарушить древние законы и обычаи своей земли. Слушай шаманов, народ манси!

Старухи, что сидели вокруг меня, зашептались:

— Счастье, что живет среди нас такой шаман!

— Без шамана наши души иссохли бы, как сохнет вяленая рыба!

— Боги слушают нашего шамана. Они вернули душу мальчишке!

Двадцать удивительных лет прошо с тех пор. Жил я в самом красивом на земле городе — Ленинграде. Жил я в Ленинграде и вспоминал иногда о шайтанах. И мне не бывало при этом смешно. То было детство... Детство мое и моего народа. А в детстве случается все. В таинственных

лесах живут удивительные феи. В деревьях — злые духи. Реки населены водяными людьми...

Да, в детстве веришь всему. Теперь-то я знаю: не шайтаны меня излечили, и без них бы не умер я. Все знают теперь, что шайтанов на свете нет. Просто случилось так, что болезнь прошла сама. Я же поверил неграмотным старым манси, что Потепка спас мне жизнь. Поверил, потому что был я тогда ребенком, а в детстве веришь всему.

Но детство не вечно. Я вырос и стал другим. Смотрю на изменившийся мир, и прошлое кажется мне сном ребенка, где страх и радость, где горе и счастье всегда живут рядом. В иные дни мне казалось, что ничего этого не было: ни шайтанов, ни Потепки, ни жертвоприношений.

Прошлым летом вернулся в свои родные места и увидел Потепку. Я не сразу узнал его, потому что встреча моя произошла так. Из окна отцовского дома заметил я на высоком берегу Сосьвы толпу мальчишек. Среди толпы малышей вертелся кто-то большой и неуклюжий. Можно было подумать, что это медведь исполняет мансийский танец.

Мальчишки прыгали вокруг танцора, корчили рожи и гоготали, как осенние гуси. Я вышел из дому посмотреть, кто пляшет в такую рань на берегу Оби. Это оказался Потепка. Глаза его излучали веселье, неутомимые руки извивались, взлетали вверх. Он танцевал и пел. А вокруг него прыгали ребятишки. Они прыгали и задавали Потепке вопросы. А он отвечал, продолжая плясать.

Мальчишка, не выше маленького олененка, спросил протяжно, напевно:

— Почему Гагарин летает по небу? Он не шайтан, он человек. Почему же он так высоко летает? Почему мой отец не может взлететь к небу? Мой отец грамотный, он учитель, а подняться в космос не может.

Потепка не прервал пляски. Он только чуть-чуть замедлил ее и запел в такт своим движениям:

Маленький, точно палец, мальчик
Задал мне, старику, вопрос:
Почему не шайтан, а человек Гагарин
В небо взлетел, поднялся в космос?
Слушай, маленький, точно палец, мальчик.
Носит Гагарин имя священной птицы гагары,
Потому и взлетел он до самого неба.
Лули эту птицу зовут по-мансийски,
По-русски гагарой ее называют.
Выше шайтанов летает в небе Гагарин!
Хорошо, что он носит имя священной птицы
лули!
Хорошо.

Гортанные звуки певца вернули меня к далекому детству. Это был он, шаман Потепка. И ребятишки, ростом с маленьких оленей, смеялись над ним, прыгали вокруг него, корчили ему рожицы и ничуть не боялись его. Им было столько же лет, сколько было мне, когда привезли меня, умирающего, в дом Потепки. Сердце мое трепетало тогда от страха, как трепещет живая плотвичка в руках человека! О, как я боялся шамана Потепки, как верил в него тогда!

Потепка кончил плясать и, тяжело дыша, опустился на берег. Я подошел к нему и поздоровался. Он посмотрел на меня хитрыми выцветшими глазами и спросил, кто я такой. Я сказал:

— Я тот, кому шайтан Ялпус-ойка вернул когда-то душу. Помнишь?

Он снова вскинул на меня быстрый взгляд и отрицательно мотнул головой. Тогда я спросил:

— Что делаешь ты теперь? Разве идут к тебе больные колхозники? Разве привозят они к тебе детей? Вчера я видел больницу в нашей деревне. В больницу, а не к шаману идут нынче больные.

Потепка легко вскочил на ноги и выкрикнул:

— Больше я не шаман! Теперь я артист!

Сказал и снова пустился в пляс. И снова вокруг него запрыгали ребятишки. Они смеялись над Потепкой, они гоготали, как гогочут, взлетая, осенние гуси...

Потепка сказал правду. Он действительно стал артистом, может быть, лучшим артистом манси.

Каждый год проходит теперь в мансийских деревнях смотр художественной самодеятельности. И на сцене нашего сельского клуба, что построен позади школы, я увидел певцов и танцоров родной деревни. Сначала вышел хор. Это был маленький хор — всего десять человек. Он исполнил много песен на мансийском и русском языках. После хора на сцену вышли две девушки в платьях, расшитых мансийским узором. Девушки плавно, подобно орлицам в небе, кружились на клубной сцене. Они танцевали «Куриньку».

Наконец на сцене появился Потепка. В руках его был санквалтап. Потепка провел слегка пальцами по струнам звонкого санквалтапа и запел:

Живу, думаю, думаю:
«Трудно человеку жить без колхоза,
Очень плохо жить без колхоза!»
Живу, думаю, думаю:

«Плохо на лодке плыть без мотора!
Грести веслом, как в старину,—
Очень плохо!»
Живу, думаю, думаю:
«Трудно человеку жить без колхоза!
Как зимою пойдешь в селенье далекое?
Пешком, как в старину?»
Живу, думаю, думаю:
«Зачем в старину народу шагать?
Вперед, не назад человеку шагать пристало!»
Живу и думаю, думаю, думаю!

Потепка пел, а санквалтап его звенел, как ручей, завывал, как буря, как лес на ветру, щебетал, как птицы на рассвете.

Он пел и рассказывал в песнях о своей извилистой жизни. Пел о том, как ушел он от новой жизни в тайгу, чтобы жить с одними деревьями, чтобы жить с деревянными идолами. Но затосковал он в тайге. Нет, не понимали деревья человека. И птицы человека не понимали. А идолы без людей оказались бессильными и не могли творить никаких чудес. И тогда вернулся Потепка в деревню, чтобы жить со всеми, чтобы веселить песней сердца и души людей.

Кончил Потепка петь, замолк его санквалтап. И тогда все стали говорить, что Потепка пел хорошо, что Потепка пел правильно, что Потепку надо отправить в округ, куда съедутся лучшие артисты манси.

А древняя старуха с головою белее снега не отрывала колючих маленьких глаз от Потепки. Она следила за каждым его движением и, кривя беззубый рот, злобно шамкала:

— Пляши, пляши! Шайтан покинул тебя и никогда не вернется к тебе! Смотрите, до какого позора дошел Потепка!

Снова услышал я Потепку в окружном центре. Он вышел на сцену, и многие усмехнулись в зале. Помнили люди: Потепка — бывший шаман.

Потепка скользнул пальцами по санквалтапу и запел «Песню летящих гусей».

И все, кто был в зале, услышали, как сильные, гордые птицы рассекают крыльями воздух, и мы ощутили бескрайний простор небес и счастье полета под облаками.

Я прикрыл глаза и вновь, как в детстве, оказался во власти Потепки. Снова услышал я, как железные крылья

Ялпус-ойки рассекают со свистом воздух, вновь ощутил я дыхание шайтана, прилетевшего в темную комнату шамана.

Наваждение растаяло, когда я открыл глаза. Передо мною была большая сцена, украшенная благородным орнаментом манси. А на сцене пел и играл на древнем мансийском инструменте седоватый человек. Зал восторженно слушал его, забыв мелочные заботы. Все, о чем пел Потепка, люди начинали видеть своими глазами. Только подлинный талант может свершить такое чудо. И я был свидетелем этого чуда...

«Шайтан покинул тебя и никогда не вернется к тебе»,— вспомнил я слова старухи.

Неверно сказала старуха. Не боги покинули Потепку, а Потепка не захотел больше жить с богами. Он ушел к людям.

Будет ли Йикор человеком?

В ту памятную ночь волки загрызли двенадцать оленей. На следующую ночь охрану усилили. Один серый попал в капкан. Но к отравленной приманке волки так и не притронулись: хитрые твари, нажрутся в первую ночь.

Хоть и ярко горели костры, и чернели на лунном снегу пугала, хоть и освещали небо ракетницы, волки все же подкрались к стаду и загрызли еще трех оленей. Но пастухи не дремали. Ай-от и Потепка меткими выстрелами уложили трех зверей. Два других волка, почувствовав свою кровь, убежали. На следующую ночь они не появлялись.

В эти дни олени были возбуждены, плохо щипали вкусный ягель. В сторону Урала мы продвинулись лишь километров на десять. Оленям нужен был отдых. Обойдя стадо, Микуль заметил, что нет некоторых оленей. Видно, отбились от стада, когда волки напали. Надо найти и вернуть их, пока на след не напали звери.

По одним следам вызвался идти Йикор, по другим Потепка.

Потепка вернулся в тот же вечер, пригнав десять оленей. Они, оказывается, были совсем недалеко, километрах в пятнадцати от чума, на южном берегу лесной речки, где снег подтаял, щипали зеленоватую прошлогоднюю траву. Олени любят зелень!

А Йикора не было. Думали, придет к утру, но он не пришел. Не вернулся Йикор и на следующий день. Мы уже откочевали очередные семнадцать или двадцать километров. Не могли же стоять на одном месте. Весна наступает. Скорее нужно добраться до мест отела. На месте стоянки чума оставили записку. Да и не так уж далеко отошли. Йикор сразу нашел бы нас по следу.

Стали волноваться. К тому же ночью была метель. Следы замело. В тайге легко заплутаться. Особенно неопытному и подслеповатому Йикору. Да еще волки. Ближайшие сорок — пятьдесят километров объездили вдоль и поперек, но не нашли ни оленей, ни Йикора.

Микуль хмурился. Он, наверно, ругал себя, что согласился послать Йикора. Погибнет человек. Хоть плохой Йикор, но все же человек.

Йикор... Он не любит работать в колхозе. Летом ловит в Оби серебристых муксунов, граненых осетров и не сдает государству, а садится на огненную лодку — белый теплоход: там любят рыбу...

И ездит Йикор на белых лодках далеко-далеко, слушает песни, разные истории. Даже в городах каменных бывает. Он знает обо всем. Приезжает домой, долго рассказывает, над всеми сородичами смеется.

Приедут судьи — Йикор, как налим, выскользнет из их рук: все законы знает!

Люди говорят: не Йикор продает рыбу, продает рыбу злой дух Куль, который сидит в нем! Не Йикор над людьми смеется — смеется дух подземного царства Куль! Надо выбить из него этот дух, надо сделать Йикора человеком! Ведь каждый может найти свою совесть и искупить вину перед людьми.

И колхозники решили расправиться с ним своим судом — направили в кочевье, на Урал. Тяжелый труд и безлюдная дорога выбьют из него злого духа Куля. Так вот Йикор и оказался с нами.

Каждый воспринимал исчезновение Йикора по-своему. Тетя Сана ругала Микуля:

— Тоже нашел кого посылать. Лучше сам пошел бы!

Микуль хмуро молчал.

— Куль, злой дух, наверно, водит его по тайге,— говорила, вздыхая, Яныг-турпка-эква.— Такая у него, уж видно, судьба. Бедный человек!

— Куль, конечно, Куль его водит. Да он и сам Куль,— смеется Ларкин.— А мы еще столько ищем, беспокоимся... Стоит ли? Ведь все равно судьба!..

— Человек!.. Даже самый плохой. Он все же человек! Его надо найти... Хотя бы косточки. Похоронить надо... А то грех. Людям так нельзя!..

Я не узнавал Вун-ай-ики. Он с почтением говорил о Йикоре. Только вчера косился на него, презирал. А теперь...

А может, все старики так относятся к мертвым?

— Если человека не уважали живым, то надо хотя бы теплее проводить его в другую жизнь, в подземное небо. У него тоже сердце. Все же человек! Нельзя смеяться над горем,— продолжал Вун-ай-ики.

Когда Микуль предложил мужчинам отправиться на поиски, Ларкин отказался.

Мне было стыдно за него. С недоумением смотрели на него Арсентий и Итья Татья. Она вызвалась идти на поиски Йикора.

Мы уже собрались, когда за чумом раздался дружный, радостный лай собак. Все стрелой вылетели из чума. Даже Яныг-турпка-эква и Вун-ай-ики вышли. Собаки радостно повизгивали в сторону таежной речки. Скоро показались олени, а за ними и Йикор. Он тяжело передвигал лыжи по хрустящему утреннему снегу. В усталых, слезящихся глазках его — искорки счастья.

Микуль сразу как-то преобразился, словно сбросил тяжелый камень, с восхищением смотрел на него маленький Епа. И даже всегда недовольный Вун-ай-ики потеплел.

Как же не потеплеть сердцу, если даже смешной Йикор смог выстоять против морозных ночей в безлюдной тайге, спасти оленей от волков и, несмотря на метель, найти дорогу к людям.

Старики когда-то говорили: не Йикор продает рыбу, продает рыбу злой дух Куль, который сидит в нем! Не Йикор над людьми смеется — смеется дух подземного царства Куль. Надо выбить из него этот дух — надо сделать его человеком! Ведь каждый может добрыми делами искупить вину перед людьми!

Никакого Куля, конечно, нет. Это сказки. А плохой человек Йикор был. И правда, каждый сможет найти свою совесть и стать человеком! Будет ли Йикор человеком?..

А тайн на земле так много...

Нужны мне крылья да еще дорога,
Которой нет и не было длинней.
Пусть бьется в сердце радость и тревога,
Пускай звучит, как песня, скрип саней,
Пускай метель шаманит в исступленье,
Пускай заносит мной пробитый путь —
Стучите в сердце мне копытами, олени,
Дыхание земли, в мою врывайся грудь!

Это играет санквалтап?

Нет! Это поют и рассказывают сказки восемь женщин, а двое пишут.

Кто эти женщины?

Женщин нет: это поет нарта с восемью ногами и двумя полозьями. Нарте подпевает тающий снег. Песня ее длинная-длинная,— я уже устал слушать. Песня ее монотонная-монотонная, как старинная жизнь. Не хочу я жить такой жизнью. Что это такое: изо дня в день олени бредут, бредут, перекатываются, как тяжелые камни. Где-то летят космические корабли — и жизнь летит. А мне медленно, как мамонты, вросшие в землю, кивают древние кедры.

Сколько этим кедрам?

Наверно, лет триста!

Кедры кивают мне и нараспев рассказывают сказки, которые они слышали еще от своих дедов. Они рассказывают о дороге, по которой мы движемся к Уралу.

«Не первый ты едешь по этой дороге,— тянет кедр под скрип полозьев.— По этой дороге ездил еще Тэк-ики. Это было давно-давно — во времена песен, во времена сказок».

В мансийском ли городе, в хантыйской ли деревне женщины, как обычно, кололи дрова, носили воду или просто гуляли меж домами. Вдруг на чистом зимнем небе выросло облако. Оно стало расти, расти. Над деревней превратилось в тучу черную, закрыв своей спиной солнце. Туча, как ястреб, рванулась вниз, схватила когтями самую молодую, самую красивую женщину — невестку Тэк-ики, и полетела...

Это была не туча, а Курк — орел огромный.

Люди всполошились.

Тэк-ики схватил лук, натянул тетиву и стрелой с толстым наконечником отбил у Курка с правой ноги три когтя.

Но Курк улетел, унес самую красивую молодую женщину. Курк летел — сияние слабело. Вот оно превратилось в ма-

ленькую-маленькую звездочку. Люди заметили: он стал приземляться за Уралом, в стране, где живут саран [1] — торговые белые люди.

Тэк-ики сказал брату Ай-ас-торму:

— Почему ты свою жену не защитил? Надо пойти искать ее.

Брат сказал:

— Какой силой я ее буду защищать? Пойду — убьют!

— Ты хочешь, чтоб наш народ был уничтожен, а богатыри появились за Уралом: ведь твоя жена рожает богатырей, поэтому ее и утащили,— сказал Тэк-ики.

И Тэк-ики запряг оленей и поехал в сторону, где погасла звезда, погасло сияние красоты снохи.

Долго ли снег хрустел под его нартами, коротко ли кедры кивали ему кудрявыми головами, наконец доехал он до высокого дома, что стоял на берегу лесного озера за большими болотами на середине пути до высокого Кевики — старика Урала. Дом этот был не простой: в нем жили двести менквов. Нарта Тэк-ики пела песню еще за семью болотами, а менквы-людоеды уже спорили. Самый молодой говорил: «Я съем его глаз!» Другой говорил: «Нет, я!» Третий говорил: «Да что вы спорите — разве вы почувствуете запах капли крови! Что для нас, людоедов, один глаз!..»

Не успел менкв закрыть рот, тяжелая дверь открывается, как пушинка,— на пороге стоит отыр-богатырь Тэк-ики. Заносчивые менквы вдруг оробели: один прячется за спину другого.

— Ну, кто будет есть мои глаза? — говорит Тэк-ики, вынимая из ножен сияющий серп луны — богатырскую саблю.

У всех словно уже отрублены языки — ни слова.

Ходить стала сабля по головам менквов, как вода между травами. Всех людоедов перерубил Тэк-ики. Тела их лежали в шесть рядов, как бревна, сложенные в плоты.

Хотел уже уходить Тэк-ики, как вдруг подумал: «А если убрать всех убитых, помыть дом — на обратном пути будет где остановиться и отдохнуть: ведь дом лучше, чем чум. И другим охотникам будет хорошо!»

И как подумал, так и сделал. Прибрал, помыл — все засверкало. И сил стало так много, словно отдохнул в родном доме, пахнувшем янтарными каплями смолы.

И сказал Тэк-ики громче грома, чтобы слыхали все

[1] Саран — коми-зыряне, с которыми угры в древности часто вели войны из-за невест, пастбищ.

деревья, чтоб несли звуки все ветры во все стороны и во все века:

— Когда настанет доброе время, когда родится счастливый человеческий век, там, где менкв-людоед уронил печень, там, где отыр Тэк-ики набирал силу, пусть будет место отдыха людей, пусть будет там дом доставать до туч, пусть люди видят хорошие сны и набирают силы для большой дороги!

Сказал и поехал дальше за невесткой. Долго ли ехал, коротко ли ехал — перед ним выше туч засверкали волосы Нер-ойки — старика Урала. Как проедешь мимо, как не зайдешь в небесный город, коль в нем живет друг людей — Нер-ойка!

Город со звездами на крышах, с острыми башнями, над которыми вьются разноцветные пылающие платки дочерей Нер-ойки[1]. Хозяин угостил Тэк-ики мороженой крылатой рыбой — хариусом и горячим чаем, пахнущим морошкой. И сказал Нер-ойка:

— Биться-воевать за родного человека надо. Только не разрушайте жилища. Разрушать жилище — как дунуть на мыльный пузырь; построить — как вырастить кедр. Воюйте, но мой каменный город не разрушайте! А еще лучше,— наказывал Нер-ойка,— воевать умом, а не силой. Поедешь ты сейчас, спустишься с моих плеч — увидишь широкий плес реки и длинный мыс с деревьями, чуть касающимися белых облаков. За мысом — город. В нем живут саран. У них и твоя невестка. Ты до города не езди на оленях. Оставь оленей над обрывом у мыса. Это тебе пригодится.

Так и сделал Тэк-ики. Не поехал на оленях в город. Привязал своих рогатых помощников над обрывом в густом ельнике. Пошел в город пешком.

Вошел он в дом невестки. Она выходит из-за шелкового полога, обнимаются-целуются.

— Зря ты пришел один,— говорит она.— Тебя убьют.

Входят две женщины в платках, повязанных вокруг головы. Говорят долго-долго на непонятном языке. Потом выходят, приходят снова, и опять говорят, и не смотрят на Тэк-ики. В третий раз вышли. Собралась выходить и невестка.

— Тебя хотят убить дымом. Дом подожжен. Будет тяжело — иди в мой полог. За пологом доска — открой и там спасешься,— сказала шепотом невестка.

Только-только вышла она, как уже душно стало от дыма.

---

[1] Пылающие платки дочерей Нер-ойки — северное сияние

Дым щекотал ноздри, из глаз бежали ручьи. Душно стало. Пошел Тэк-ики за полог невестки, открыл доску, свалился в какую-то яму в рост человека и побежал. Долго ли колола темнота его глаза, коротко ли колола глаза темнота — наконец показался свет. Тэк-ики отпрянул от него, подумал: «А может, враги стреляют яркими лучами». Посмотрел — нет никого. Впереди тот самый обрыв. Над обрывом — ельник, в ельнике — олени, у оленей уже стоит невестка.

Сели они в нарту, поехали на другую сторону реки. Напротив города Тэк-ики остановился и закричал:

— Из вашей ловушки, приготовленной для меня, я ушел; а как вы уйдете из моей ловушки, которую я придумаю для вас?

Сказал, и застучали копыта, заиграла вьюга — так полетели нарты, помчались к дому родному олени.

Мчались они той же дорогой через горы, болота, леса... Много раз солнце раскрывало глаза и сияло над деревьями. Устали, наверно, плясать луна и звезды на ветвистых рогах — так долго летели олени... уже тонкой ниточкой только что народившегося месяца стали глаза Тэк-ики — так долго он не спал.

И не долетели бы олени до родного дома, и не родила бы больше невестка сыновей-богатырей, и не было бы на свете манси, если бы не тот дом, который вымыл Тэк-ики на пути вперед, если бы не подумал он тогда о будущем. В том доме они отдыхали семь ночей и дней, и сила пришла в тело, и разум просветлел, и душа снова приготовилась к битвам.

И сказал тогда опять Тэк-ики громче грома, чтобы слыхали все деревья, чтоб ветры несли пророческие звуки во все стороны и во все века:

— Когда настанет доброе время, когда родится счастливый человеческий век, там, где менквы уронили печень, где отыр Тэк-ики набирал силу, пусть будет место отдыха людей, пусть стоит дом вышиной до туч, пусть люди видят хорошие сны и набирают силы-разума для большой дороги!..

Доброе время настало, счастливый человеческий век родился: теперь я еду не за невесткой, которая должна родить богатырей, а чтоб из двух тысяч оленей на щедрых плечах Нер-ойки стало три тысячи рогатых. И нет ни у кого сабель, и злобы нет ни у кого. Лучшие друзья мои — саран Их стада сзади нас идут. Мы кочуем по одной дороге. Доброе время настало, счастливый век пришел: в дружбе живут все народы.

...А дом дружбы, дом отдыха оленеводов на этой дороге будет. Хорошая мечта сбывается.

А было время — здесь сверкали не рога тучных оленей, а сабли. И ходила по ней злоба и вражда. Манси и ханты воевали с соседями — коми и ненцами. Кровь лилась. Страшно!.. Но все это было, было, было. Это я знаю по легендам, которые таит каждое священное место, каждое кладбище, каждый камень, каждое дерево...

...На этом островке, что возвышается над лысыми топкими болотами, в лесу, стройном и тенистом, священное место оленеводов. Средь высоких деревьев, как одноногий таежный глухарь, стоит сумьях [1]. Толстый ствол кедра — надежная нога — крепко держит его над землей... Перед сумьяхом — место для костра и пиршеств. А вокруг деревянные идолы. Их столько, сколько раз приносили люди жертвы и пировали. Средь тенистых ветвей вытянуты тугие луки. В домике тоже идолы. Только они нарядные. В соболиных шапках, в цветных сукнах. Это духи. У них есть имена... Много шкурок соболей, лисиц, куниц... И конечно, множество монет: и самых древних, и не древних, и золотых, и серебряных, и медных. Много и других драгоценностей. Веками сюда несли люди свои дары, чтобы в случае народной беды было чем воспользоваться. Здесь хранилище добра, священное место.

А на берегу речки — кладбище. Когда-то тут жили манси. Они или вымерли, или ушли. Осталось только кладбище. Оно тоже много расскажет. Ведь на кладбище все так же, как и в деревне у живых. Могилы, как домики, стоят рядом. В центре — площадка для разжигания костра, для пиршеств и плачей. В могиле — небольшом деревянном срубе — лодка. Это гроб. Ведь душа будет плыть. Отбыв какой-то срок в могиле, душа поплывет за море, в новое свое царство. Потому покойников хоронили в лодке и ставили в деревянный сруб, похожий на домик. Сверху засыпали землей, чтобы вода стекала в обе стороны. У изголовья — маленькое окошечко. В него можно просунуть руку и положить табаку, если человек курил, покрошить рыбки. Словом, приносили во время поминок и плачей все, что человек любил.

Вот лежит камень с загадочными рисунками. Проезжий остановится, в молчании опустит голову, бросит монету звенящую или кольцо блестящее. И камень заговорит тихим каменным звоном, что богатырь Тэк-ики тысячу лет назад пролил здесь свою кровь и победил чудовище, ко-

---

[1] С у м ь я х — домик на стволе кедра (домик на курьих ножках).

торое пришло на землю его со злым, коварным умыслом.

И до сих пор манси и ханты каждые семь лет в одной из деревень вспоминают героя, славят его торжественным ритуалом и страстной пляской.

А что это такое? Надо думать, думать, думать... А чтобы думалось — надо искать и ехать! Близко ли, далеко ли — только ехать и пристальным взглядом вглядываться в жизнь. И тогда все раскроешь, все поймешь! А все понять — счастье!..

Перекатываются, как камни, олени, скрипят полозья, под кедрами кружатся снежинки. Снежинки тихие-тихие. Их много. Они что-то шепчут. Это сказки и легенды. По земле ходят легенды. По дороге ходит жизнь. Надо о ней рассказать.

Стучат копыта оленей. Полозья поют песню...

Я еду, еду, еду...

Сказка

Голова моя — ковшик для чистой воды.
Крепкий хвостик — корытце для псиной еды.
Язычок мой — веселой калданки весло,
А крыло — самолета цветное крыло.
Лапка — курья ножонка курьей избушки лесной,
Спинка — лодка рыбачья с красивой каймой.
Острый носик мой по льду стучит, как пешня...
Зачирикал, забулькал я — слышишь меня?

Белой птицей летает вьюга, белым клювом в чум стучится, и завывает, и завывает...

Кажется, нет конца этой песне, кажется, нет конца этой сказке... А в чуме — тоже сказка.

— И золотое солнце по земле ходит, и злая вьюга по земле ходит. Есть в мире добрые духи — Миснэ и Мисхум, есть и злой дух — Куль. Вот вы не верите, не верите, а Куль все же есть. Даже среди людей,— рассказывает в лад вьюге Яныг-турпка-эква.— Было это в деревне, где дома, как деревья, стоят на месте, не кочуют, как чумы.

Жила там одна добрая женщина. Пошла она в лес за дровами. В светлом лесу, где одни березы, она вдруг слышит не плач гагары и не плач щенка, а жалобный детский плач. Посмотрела — правда ребенок! И как мо-

жет пройти добрая женщина! Стала она кормить его, стала матерью.

Голова у него большая, больше чугунного котла. А туловище маленькое, меньше вяленой щуки. Однажды взял его дедушка на рыбалку — Куль рыбу съел. Взяли его на охоту — все, что убили, один съел. Проходил мимо хозяин леса, лесник,— он и лесника убил.

Белой птицей летает вьюга, белым клювом в чум стучится, и воет, и воет. Яныг-турпка-эква тоже завывает. Жилистые руки ее дрожат. Дымок почерневшей трубки дрожит. Бледные потрескавшиеся губы ее трясутся, и вся она в ужасе дрожит.

Потепка, подшивая прохудившиеся свои кисы, лукаво поглядывает на окружающих: не обвинят ли остальные и его за такое невежество? Кто теперь верит в Куля? Разве только тетя Сана и Окра? Кто всерьез в этот бумажный век воспринимает такие легенды? Потепка подшивает кисы, бывшие кисы жены, женские кисы. Нельзя было мужчинам носить обувь, которую надевали «поганые» женщины. В бригаде и теперь никто не надевает женские кисы, а Потепка уже носит.

Завывает вьюга, завывает Яныг-турпка-эква.

Потепка, конечно, косится. Люди долго помнят прошлое...

— Приехал в деревню высокий человек, большой человек, как главный олень, кожаными ремнями опоясанный,— продолжала Яныг-турпка-эква.— На боку у него маленькое ружье. Зовут этого человека Милица. Это сильный человек, смелый человек. Смелее волка он, сильнее медведя. Увез он Куля в темный дом[1], где держат людей, потерявших совесть. Думали: уж этот человек справится с нечистью!

Увезли... Там Куль стал хитрее росомахи, наглее росомахи. У мудрых людей взял их хитрость. У наглых людей взял их наглость. У мудрых людей есть говорящие ящики — радиво. И он себе тоже сделал радиво. Радиво его маленькое, как муха. Летает оно, как муха, жужжит оно, как муха.

Когда Милица спит, радиво подлетает к нему и жужжит. Слова Куля жужжит, мысли Куля жужжит. Пугал Куль Милицу, навевал ему тяжелые сны, звал его в темный дом...

Йикор, сидящий на бревнышке, ухмыляется. Красные,

---

[1] Темный дом — тюрьма.

как у тетерева, глаза его сделались еще краснее. В них сверкают две крупные слезинки. Это, наверное, слезы смеха: городит старушка чепуху, все на свете перемешала — и Куля, и мать, и лесника, и радио, и милицию.

— Пришел в темный дом Милица — то же самое слышит. Куда ни повернется, говорит злое радиво, и Милица тоже стал говорить, много говорить...

И все люди сказали: «Язык у Милицы неправильно вертится. Коль язык вертится, то и голова вертится. Надо голову поставить на место». И Милицу связали, а Куля отпустили домой.

Милица — сильный человек, он справился бы с медведем, справился бы с волком. А с нечистью, с Кулем, даже Милица не справился. Куль есть Куль... Даже самых сильных валит, превращает в подстилку, которую топчут ногами. Появится он рядом — летят уже плевки и ехидный смех... Даже самых сильных он валит!..

Белой птицей летает вьюга, белым клювом в чум стучится, стучится и завывает, завывает. И хотя трещит от смолистых дров печка, и хотя жар легкими руками ветерка касается лица моего, мне холодно. Другим, быть может, тоже холодно?

— Пришел домой Куль. Пришел к той, которая его вскормила. Много видел Куль. Много речей слыхал он. Многому научился, многому разучился. Хороший человек берет от других доброе. Дурной человек берет себе подобное.

Пришел домой Куль — места себе не находит, возится со своим радиво, над матерью смеется. И говорить мать стала, как радиво, плакать, смеяться стала. И люди сказали о матери: «Между двух сторон попала она, помешалась». Смеяться стали плохие, а хорошие доброго не могли сказать... Хорошее дитя запах молока до седин помнит, у доброго человека цвет молока пробивается под вечер жизни в волосы, в седины...

Белой птицей летает вьюга, белым клювом в чум стучится, и завывает, и завывает... А Яныг-турпка-эква уже не завывает. И дымок почерневшей от времени трубки уже не дрожит, бледные потрескавшиеся губы сжаты, лишь из поблекших глаз с морщины на морщину медленно перебираются тяжелые слезы.

Холодно. В углу глубоко вздохнул Силька. Он сидит с опущенной головой. Давно он ходит с опущенной головой. Кажется, давно-давно потерял он улыбку и язык. Лишь иногда вздыхает и все молчит... Молчит как камень... Неужели он камень?

Силька

Над кедрами кружится снег, по кедрам гуляет ветер, под кедром скачет соболь. То он, как кошка, согнет спину, то летит, как белка, то пляшет на ветвях, как бурундук. На утренней и вечерней заре он выходит из гнезда. А гнездо теплое, надежное. Нехс пити — зовут манси гнездо соболя. Нехс пити — называют манси свой дом, если в нем есть счастье, тепло. Тепло соболиного дома охраняют корни могучего кедра. Из-под них соболь выходит осторожно, прислушиваясь: не сыплется ли снег с веток, не резвится ли там белка или бурундук?

А может быть, здесь есть враги: острокрылый ястреб и охотник? Он боится ястреба. Когти. Боль в боках. А охотник? У него есть собака. Не уйдешь, если снег неглубокий.

А сеть охотника — она стоглазая. Не заметишь ее — запутаешься. Охотник навалится. Потому соболь осторожен. Лапки его неслышно рисуют узоры на снегу. Соболь жаждет мяса и крови. А охотник — его шкуру. Он тут как тут.

А кто охотник?

Селька... Селиверст... Лучший охотник колхоза.

Не уйдет соболь! Охотник — манси! Глаза чуть с прищуром. Брови — как крылья ястреба. И во взгляде что-то ястребиное. Не уйдет соболь!

У Сильки пояс с узорами. На поясе — сипаль [1] с острым ножом и зубы медведей. Зубов много. Медведи не уходили. Немцы от его выстрелов не уходили. Соболь не уйдет!

Немцы... Фашисты... Сорок первый год. Подмосковье. Курская дуга. Варшава, Берлин... Фашисты... Тяжело! Но он манси. Всегда снег и ветер, дорога и шалаш. Ему ли привыкать к трудностям и непогоде! Он плакать не умеет. Но он не кедр. Сердце есть у Сильки. Иногда оно плачет. Но Силька не плачет. Он стоек, как кедр. Ему ли привыкать бороться, искать и побеждать! Манси он! Недаром в роте называли: «Молодец! Снайпер!» Соболь не уйдет.

Тихо, тихо. Лишь поскрипывают обтянутые золотистым камусом лыжи да похрустывает снег. И вдруг лай собаки!

Мелькнул пушистый хвост соболя. Мелькнул и растаял в искрах утреннего голубого снега. Издали доносится жалобный визг. Скулит собака. Снег глубокий. Вязнет она. А запах соболя дразнит ее.

---

[1] Сипаль — ножны.

Соболь ушел. Но найдено его жилище — нехс пити. Нехс пити есть — счастье есть! Соболь не уйдет! Такой характер у Сильки.

Вернулся он из армии после войны. Влюбился. Влюбился в Насту. Она за годы войны подросла. Глаза, как спелые смородинки, черные. Лицо — белее зимнего зайца. А косы длинные, звенящие[1].

А любила ли она?

Откуда знать Сильке. Она ведь — как зимняя речка. Неизвестно, что под снегом и льдом. Может быть, там играют веселые струи нежной воды, которые так умеют ласкать человека в жаркий летний полдень. А может быть, там только лед и песок.

Не понять Насту. Все она с этим молодым учителем. Под вечер соберут народ в клубе, и учитель, сверкая стеклянными глазами, приставленными к настоящим, доказывает, что нет никаких богов, что их придумали попы, шаманы, богачи, чтобы удержать простых людей в повиновении. Конечно, не все верят. Особенно старухи. Но молодые верят: так красиво, так понятно он говорит. Трудно возразить, Сильке он нравится. Он даже иногда завидует учителю: ведь почти рядом с ним за столиком, покрытым красной материей, сидит Наста. Она председательствует.

Хорошо учителю: он с Настой как рыба в воде. Сидит Силька. Тяжело сердцу. В голове, как белки, скачут мысли:

«А не любит ли она учителя? Что в нем она нашла? Может, любит за то, что тот читает книги и говорит красиво?

Ну что же. Пусть! Умеет ли он, как Силька, стрелять, управлять оленями, ходить на лыжах, ловить рыбу? Сумеет ли справиться с медведем? Нет, не сумеет! Как же может мансийка любить его?»

Всю осень по снежной пороше, как ветер, гулял по тайге, охотился. Гонял соболя и бил белку. А любовь, как мороз в зимнюю ночь, все подступала к сердцу, морозила. Нет, не остынет Силька! Не такой у него характер. Соболь не уходил. Наста не уйдет!

Он сказал ей о своей любви. И женился быстрее, чем в сказке. И не потому, что только он хотел этого. Нет. Он видел и раньше, что ее глаза теплее солнца смотрели на него.

Оказалось, легко жениться. Жить труднее. Не остывала ревность к молодому учителю: у него книги, очки... Как с ним состязаться? Силька пошел в оленеводческую бригаду колхоза. Там, где горы, где человек достигает облаков,

---

[1] Мансийки в косы вплетают кольца, монеты.

там выше человек, там виднее человек. Наста узнает его лучше и любить будет крепче.

Два года они ездили по Уралу. С марта, когда солнце становилось щедрее, а снег ярче, они уезжали на Урал.

И каждый день раздавалось милое: «Э-э-эй! Э-э-эй!»

И тысячи копыт стучали о мартовские звезды, снега. Стадо по тайге двигалось к Уралу. А сзади нарты с хлебом и одеждой, радиоприемником и сахаром.

В одной из нарт, в красивой сахе, расшитой узорами, сидит Наста — медик бригады. Снег, снег, снег... Глаза ее кажутся еще чернее. Они сияют. В руках хорей.

Мчатся олени
Кованым настом,
В нартах, как дома,
Девушка Наста,
Скачет хорей
У нее в рукавицах.
Мчится упряжка,
Мчится, как птица.
Ветер родился,
Ветер вздохнул,
В облаке снега
Путь утонул.
Наста дорогу
Сызмала знает,
Вьюг не боится,
Верст не считает.

И впереди снег и солнце, кедры и дорога... Дорога, дорога!

А там где-то вдруг выскочит Урал. Зашумят прозрачные, как бусинки, речки. На оленей и на Насту они сыплют прозрачный бисер...

Урал. Склоны. Цветы. Хорошо! По склонам — олени. Их тысячи. Как цветы они. И белые, и с черными пятнами, и серые. Гордые, ходят над облаками. И воздух чистый, легкий, и ягоды вкусные, и Силька нежен.

Эй, жизнь!— восклицает Наста.— Емас! Силька, емас!

А он, гордый, ходит там, над облаками. Силька спустится с гор. Обнимет. У Насты сияют глаза!.. Любовь...

Зачем же тогда горы, если есть любовь?.. В тайгу! В тайгу! Туда, где сияет Обь серебристой гладью, где плещется сырок и стреляют язи. Туда, туда! В край соболя!

Стали жить в деревне. Силька построил дом. Колхоз помог. Дом красивый. С белыми покрашенными окнами. Как крылья, над домом взвились лосиные рога. «Охотник

живет здесь,— говорят они.— Манси живет. Счастье в этом доме есть».

Дом большой, в нем четыре комнаты. Налево — кухня, направо — комната для гостей. Третья — мансийская комната: в ней висят ружья, шкурки лисиц и горностая. Четвертая — русская комната. Между двух окон — большое зеркало. В него смотрится Наста. Перед зеркалом стол со скатертью. Так Наста придумала. В углу этажерка. На ней часы. Они стучат днем и ночью. А утром звонят. И Наста встает. Умные часы, и Наста умная. Хорошая Наста. Она подарила Сильке сына. Сын! Он будет охотником! Настоящим мансийцем!

Зимой он убьет медведя. Вся деревня — и мал, и стар, и председатель сельсовета, и учитель — будет встречать его. Комья полетят в него, лицо раскраснеется, загорится. А люди, как дети, будут резвиться, играть, и снег заиграет. Счастье будет.

Молодой охотник едет,
Слышен крик из края в край:
«Я убил в лесу медведя!
Сэли воли йо! Встречай!»
Открывают люди двери,
Выбегают из домов —
На лесного смотрят зверя,
Не боясь его зубов.
Зверя трогают руками,
Зверю смотрят прямо в пасть,
И снежками, и снежками
Все хотят в него попасть.

А может, сын станет председателем колхоза? Не нравится Сильке этот председатель. Слишком мягкотел. Лодыри не слушаются. А сын — он будет твердый. Сказал — и все! И колхоз еще богаче станет. Моторы стучат. Люди невод кидают. Рыбу сдают. Работают машины. Людям легко. Хорошо!

А может, сын будет ученым? Как тот, что приезжал с мудрой машинкой и записывал песни. И глаза умные, как у оленя.

Живет Силька. Хорошо ему. И дом, и сын, и соболь скачет, и Наста любит. Наста! Она какая-то странная, непонятная. Вовсе не манси она. И отец манси, и мать манси А она? То тихая-тихая. Смотрит в книгу, о чем-то думает То вдруг глаза ее засияют, заискрятся. Будто звезды летят И она смеется и ласковая такая Сядет рядом. То погладит чуть вьющиеся волосы, то заглянет в глаза. Тепло-тепло станет Но нет, бывает и холодно Странная она ансий

ка, а как будто мансийских законов не знает: лазила на крышу. Ведь она женщина. Разве можно? Сейчас старые манси не хотят в дом войти. Заходят только молодые.

Приезжают отец с матерью с каслания и недовольны. Особенно мать. Она старая. При белом царе была уже взрослой. Посмотрит на Сильку с укором, скажет: «Эх, Силька, Силька! Женился. На ком женился! Мансийка, а лазит на крышу. Урас! Урас!» [1]

С тех пор начались нелады в семье. Семьи не стало. Наста ушла. Ходит Силька один по дому. Дом опустел. Холодно. За окном, распустив белую бороду, поет дед Север — северный ветер. Раньше Силька его не замечал. А сейчас он надоел. Так и поет. «Эх, Си-и-и-и-илька! Соболь от тебя не уходи-и-и-ил. Фашист от тебя не уходил! А жена ушла-а-а! Эх, Си-и-и-и-и-илька!»

И Силька тоже ушел из дому. Думал, в каслании — в вечной дороге — будет легче. Да и родные рядом... Но и средь мелькающих деревьев тоже оказалось холодно.

Холодно сердцу. А почему? Потому что Силька старался сохранить в чистоте представление о мансийской чести, угождая матери? Теперь холодно... Неужели в сердце Сильки родится ненависть к матери, к той, что родила его, носила за спиной и в берестяной люльке, вырастила? А за чумом поет и поет дед Север, и по земле расстилается его белая борода. В ней запутались деревья, теплые струйки дыма. Запутался и Силька. Холодно. Соболь не уходил, а жена ушла. Ушел от него близкий, родной человек. Прожить ли ему без ласкового ветра, без солнечных теплых глаз? Нет! Она перед глазами, она в памяти. В чем же виновата она, в чем же виноват он?

Как лодка из-за мыса, выплывает в памяти ревность к молодому учителю. Ревность безглазая, глупая. Ничего не было. Была простая дружба двух людей, связанных общей работой. А он ревновал. Терзал ее тяжелым мансийским молчанием. Кого терзал? Терзал Насту, простую мансийку, доверчивую, как котенок, ласковую, как весна. Но все это было давно. Все, наверно, сгладилось.

Холодно Сильке... Вдруг... он услышал в душе знакомый поющий голос. Нет, это пел не дед Север, не северный ветер

Вспомнилось ему детство. Тогда было тепло. Как хорошо было валяться на теплой постели из шкур и слушать седого, как Урал, гордого деда! К нему ходили манси. Они просили его, чтобы он поговорил с богом. Боги все могут: и разогнать

---

[1] Урас — беда, наваждение, несчастье

злых духов, разносящих болезни, и дать хорошую добычу на охоте и счастье в любви и в жизни... И дед исполнял желания людей. Он садился на низенькую скамеечку, что не выше дикой утки, брал в руки топор, связанный мансийским поясом, и, устремив острый, как солнечный луч, взгляд в угол дома, где на полочке почти у потолка стояла священная голова медведя — хозяина тайги, начинал бормотать что-то непонятное. Это он говорил с богами на божественном языке. Потом его песня становилась мелодичней и понятней, и люди вслушивались в таинственное предсказание богов.

В загадочном мире этой песни был и Силька. Он забывался. Он жил в мире богов, что ростом не выше беличьего хвоста. Они маленькие, но обладают великой силой. Пред ними трепещет и маленький Силька, и все манси. Он мечтает быть похожим на своего деда, который призывал людей следовать старым мансийским законам, уважать и слушаться своих богов. Они ведь так обижены невниманием.

— А теперь,— говорил дед,— многие не признают бога, не приносят жертвы, разоряют капища, борются со священными законами.

Но это было давно, в детстве. Многое изменилось. Ведь Силька окончил четыре класса школы. Правда, маловато. Не как другие. Но все же! Многое увидел он, шагая по дорогам войны от Москвы до Берлина. Теперь во многом он не согласен с дедом. Навсегда исчез страх перед богами. Но что-то все же осталось. Может быть, уважение к деду, к его умению, таланту, как обычно теперь говорят. Ведь дед так пел, говорил, что невозможно было не верить ему. Он мог своей песней сделать глаза людей мокрыми — мог заставить плакать; он мог спустить солнце в глаза людей — вселить в них радость, и на земле становилось светлее и теплей. А сколько он знал сказок, преданий про древнюю жизнь людей, о том, как они родились, откуда жизнь пошла, как жили! Он был похожий и не похожий на других. Он овладевал сердцами людей. В его власти было и детское сердце Сильки. Это было давно. Но и теперь эта власть дает знать о себе. Голова древнего медведя, что стоит в углу их нового дома, больше не приносит манси счастья и удачи в жизни. Она только ссорит Сильку с Настой. Наста не хочет, чтобы шайтан жил в их доме. Человек сам все может. Не нужны ему шайтаны.

И теперь, перебирая в памяти былое, копаясь в своей душе, как запутавшийся в сети, он вдруг увидел свою обыкновенную Насту необыкновенной. Ведь теперь к ней ходят

люди, а не к шаману. Она вылечивает их от недугов и болезней. Возвращает песню молодым, а старым — улыбку. Уколет длинной блестящей иголкой — и больной начинает выздоравливать. А раньше при такой болезни люди умирали. Шаман был бессилен. Зато он красиво говорил и обещал. А Наста вылечивает. Раньше было много слепых. А теперь и не встретишь, как комаров зимой. Сколько их вылечила одна Наста! Наста действительно все может. Она действительно необыкновенная. Почему необыкновенная? Обыкновенная. Таких теперь много.

Теперь все обыкновенны: и Наста, лечащая людей, и буровой мастер Урусов, нашедший в наших краях «огненную воду»— нефть, да и герой Гагарин, летавший в космос. Он ведь тоже обыкновенный человек. Совершил чудо. Раньше, когда верили богам и идолам, таких чудес не слыхивали и не видывали.

Теперь верят человеку — и чудес становится больше и больше.

Раньше Силька не поверил бы, что человек может полететь на Луну. И вот Гагарин заставил Сильку верить в это. Теперь он знает, что скоро другие полетят до самой Луны, а потом и дальше. Чудес стало много. И теперь никого не удивляют электричество в домах, радио на мансийском языке, гудящие железные нарты, поезда или даже капроновые сети.

А ведь совсем недавно сам Силька ахал: обыкновенная сеть, похожая на мансийскую, но не гниет в воде, не надо ее сушить каждый день! И рыбачить стало легче. Теперь у Сильки, как у многих других, моторная лодка. Быстрее самых быстрых рыб мчится его лодка по полноводной Оби. И никто не удивляется: все так быстро ездят. Теперь уже Силька мечтает о крылатой лодке, которая неслась бы по воде бегущею гагарой. Такие лодки, ракеты, уже летают по Оби, пассажиров возят.

И люди стали теперь другими. Много они умеют и знают. Когда-то его дед, самый умный и многознающий манси, не смог вылечить своего сына — он умер от простой простуды,— а вот Наста, мансийка, умеет. Великий шаман, придумывавший всякие чудеса, не умел летать, а сын бывшего батрака маленький Епа стал летчиком реактивного самолета, летает выше самых высоких облаков, дальше самых дальних морей. Мудрый дед не умел изобразить свой ум на бумаге, а теперь это умеет делать даже Силька.

Наста обыкновенная. Простые люди стали делать необыкновенные вещи. Такой уж век. А дед действительно был

не таким, как все. Он наводил страх на людей, они дрожали, как на морозе, слушая его священные речи, делали так, как он скажет. За это он брал с них и собольи шкурки, и мясо...

Пел он красиво для того, чтобы не опустела его лесная избушка, стоявшая на лосиных ногах, чтобы сытым быть, как осенний гусь.

Кто теперь так делает? Никто.

Наста лечит людей для того, чтобы не ходили по земле болезни, чтобы люди были здоровыми и жили бы счастливо.

Дед и Наста — совсем разные люди, как луна и солнце. Солнце светит и греет. А от луны лишь холодный, обманчивый свет.

Соболь ходит по лесу. Соболь — зверь. Он от Сильки не уйдет. А люди от Сильки уходят. Соболь такой же, как и сто, может, тысячи лет назад. Только люди стали другими. Теперь нельзя так жить, как жили прежде. Старые, может быть, и не понимают. Держатся за свои старые привычки. А Силька еще не старый, нет ему еще и сорока лет. Надо начинать жизнь сначала. Это понимал Силька и раньше. Но привычки, обычаи дедов... Не хотелось обижать своих стариков. Теперь все. Из двух надо выбирать одно: или Наста, или старое мансийское имя, честь.

Наста тоже мансийка, а у нее новое доброе имя, за хорошее отношение к работе, к людям ее любят и уважают почти все манси. Русские говорят: «Наста новая, хорошая мансийка. Высоко несет она честь советской женщины».

У Насты есть новое имя и честь. А Силька держался за старое. Был настоящим старым манси и новое не отрицал. Почитал шайтана и верил в коммунизм. А теперь вот Наста задала задачу.

Сразу не разберешься. Есть мороз и тепло, есть добро и зло. Все же больше добрых. Тяжело. А то было бы тяжелее. Соболь от человека может уйти. А человек без человека не может жить. Если уйдет один — другие будут рядом. Только без Насты Силька все равно не проживет, как манси без рыбы, как рыба без воды. Нет! Манси все же проживет и без рыбы. Но какая это жизнь! Силька так не может.

Вот возьмет он топор и разрубит злого шайтана; наверное, тогда Наста вновь к нему вернется. Но не разрубит он веру древних манси. Топором лишь сердце можно разрубить. Разрубишь сердце — кровь струею брызнет и польется злоба. А там, где льется злоба, правду трудно отыскать. Просто он снимет с полки чучело шайтана и поставит его на колючий мороз. За любовь разбитую пусть мерзнет под ветром, за вековой обман пусть занесет его снегом.

Коли древний верующий человек найдется и этого идола «счастья» унесет к себе, Силька не будет злиться. Но нет! Так очень долго придется человеку жить в самообмане. Надо ему раньше глаза на мир раскрыть. Здесь нужно лишь слово, что сердечней сердца и прямей стрелы. Силька мало знает таких слов, не умеет, как дед, острым словом убеждать людей. А надо знать!.. Надо ехать в свое село родное. Там народу много, как в тайге деревьев. Где народу много — там и ума больше.

Надо к Насте ехать! Надо поучиться! Надо жить по-новому.

Камень... Нет, Силька не камень! Просто он запутался... Ты слышишь, как воет вьюга? Не скоро утихнет вьюга... И попробуй в такую погоду отыскать дорогу.

В медведя слепо верил и в коммунизм шел... А мать прозорлива: «Какой ты коммунист, коль в медведя веришь?! И старую честь позволил растоптать,— какой ты манси?» Кто же тогда Силька? Одно наверное: Куль!.. Нет уж, Силька не камень! Тем более уж не Куль!

К Насте надо ехать! В будущее ехать! Между двух огней человеку не ужиться!

И Силька уехал. Запряг оленей — и уехал!..

Урок

Отец мой, правду сказать,
Книг не умел читать,
Отец мой за жизнь свою
Не научился писать.

Не потому ли мне
Стало от книг светло?
В книгах сердце мое
Крылья себе нашло.

Школьный звонок... Кто не знает этого волшебника! Он запоет — и не летят снежки. Молкнут шумные голоса. Все преображается. Голосистый волшебник уводит ребят в новый, неведомый мир...

Над тайгой и тундрой звенят колокольчики, как и в школе. Но они зовут не в класс, а лишь говорят, как много оленей у людей.

Я никак не могу привыкнуть к этому богатому неумолчному перезвону. Наверное, скучаю по волшебной тишине, которая воцаряется в классе после звонка.

В каслании, где на каждом шагу загадка, а новости говорит только ветер, где каждое дерево кажется живым и думающим, урок приходится вести по-особому. И обычно у костра.

На обугленной перекладине висит котел чернее темной ночи. Его кусают красные лисицы. Котел шипит, дымится паром... Ноздри щекочет запах свежего оленьего мяса. Вокруг костра сидят оленеводы. Они смотрят на пляску красных лисиц, греются их теплом и слушают шипение котла.

В эту музыку осторожно вплетают свои мысли.

Тете Сане я подсовываю мансийский букварь.

— Са-ли... [1]— произносит она. Широкие глаза ее, как два щенка, смотрят удивленно.— Са-ли... И правда, подходит!— восклицает она торжественно, словно наконец-то поймала самого непокорного оленя, самого быстрого, стройного.

И она поет, как песню: «...Сали, сали, сали...»— и показывает на оленя, изображенного в букваре.

— Ворт-олнут [2],— читает она по складам.

Раньше она не смела назвать медведя по имени. А теперь читает...

Шипит котел, дымится паром. Прыгают красные лисицы. Трещит костер. Пламенеют лица... И, может быть, ярче всех узкое лицо Микуля. Глаза у него сегодня особенные. Словно два растаявших озера с обеих сторон одной сопки смотрят на меня.

А еще недавно они были ледяными, насмешливыми. Мол, зря ты решился каслать с оленеводами: учителю в стаде делать нечего. Олени не станут смотреть в бумагу — им надо щипать сочный ягель. Коротким, птичьим сном спят оленеводы. Листать книгу — отдать волкам лучших оленей. Мало у людей времени. А ты их хочешь отвлекать...

Так был настроен Микуль — наш бригадир. Время действительно словно бежало. Часто спали под открытым небом, ели сырое мясо, мерзлый хлеб... Лишь горячему чаю уделяли немного времени...

Теперь стоянки стали продолжительнее. С неба дольше не уходит самый светлый человек, самый жаркий человек — солнце. И свободного времени теперь стало больше. Можно посмотреть, как бегает по ветвям самый быстрый олень — быстроногий ветер; можно послушать пение птиц и жаркий разговор костра.

---

[1] С а л и — олень.

[2] В о р т-о л н у т — медведь.

Теперь Микуль чаще задает вопросы. И я рассказываю о древних греках, о горе Олимп, состязаниях, играх...

Потом я показываю ему учебник истории. Он листает книгу, читает, смотрит картинки, удивляется и снова задает вопросы. И слушает, и все слушают о далеком, невозвратном времени...

Я рассказываю о климате Греции, о вечном лете, об одежде, которую носили древние греки. Все удивляются, что есть где-то другая земля, непохожая жизнь...

— И все же наша земля лучше, богаче!— говорит Микуль.— И снег, и белые ночи... А сколько в реках рыбы, а в тундре — оленей! А сочная морошка, кедровые орехи!..

...Нельзя слушать сразу двух шаманов: острый ум тупей земли станет. Нельзя класть щуку рядом с осетром: дети не будут слушаться, люди не будут слушаться — так говорят в народе. Поэтому, быть может, Микуль при людях со мною спорит, говорит, как лось с лосенком. Все должны видеть: бригадир много знает и лучше всех умеет не только брать оленя за рога, но и говорить с книгой. А когда нет никого, Микуль меня слушает, словно сам читает. С некоторых пор он стал брать меня с собой пасти оленей. С некоторых пор он стал меня слушать...

...Как перевести в четвертый класс Йикора? Он не признает учебников. Мол, по ним пусть учатся ровесники оленят. А он только газеты читает да журналы смотрит. «Надо этот интерес учесть»,— думаю я.

— Давай расскажу эту статью. Она интересная,— говорит Йикор.

Со мной он говорит только по-русски. И на ломаном русском языке начинает пересказывать содержание фельетона, прикрашивая его мансийскими сравнениями. И фельетон становится ярче. Потом Йикор пишет изложение. Я правлю его ошибки. Их много. Йикору нравится переписывать правленые слова...

Занимаюсь я и с Итьей Татьей. Хотя с ней мы занимаемся по обыкновенной программе десятого класса и мне не надо выдумывать особенной методики, но и с ней трудно· она единственная девушка в нашей бригаде. Когда на меня смотрят черные глаза Итьи Татьи, сердце стучит, а голос, как колокольчик, звенит.

Самый любопытный, самый прилежный ученик — Епа. Ему девять лет. Но он уже пастух.

Плохо оленеводам без собак. Особенно когда нужно ловить оленей. Собаки останавливают стадо. Не дают сбежать оленям с поляны, где их ловят юрким тынзяном

Но не всегда ведь можно лаять. Дурным лаем можно разогнать оленей. Собаке ум нужен, собаке глаз нужен. Чтобы собаки лаяли вовремя, гнали оленей в нужном направлении — это обязанность Епы. И он с ней хорошо справляется: и собаки умно лают, и не разбегается стадо!..

Епе девять лет. Но он еще не учится в школе. Он, конечно, очень хотел бы слушать песню волшебного звонка. Но Яныг-турпка-эква не хочет отдавать его в школу.

— Я его вырастила, я и буду учить, а не ваша школа,— так сказала она.

А теперь вот Епа уже читает по складам. Не оторвешь от букваря. С ним он даже спит... Я рассказываю ему о светлых классах школы, о кино, телевизоре, теплоходах и космических кораблях... И Епа мечтает учиться в настоящей школе. А бабушка Яныг-турпка-эква смотрит на нас пристально. Не говорит ни слова. Только трубку свою сосет и плюется.

Молчит и Вун-ай-ики. С тех пор как ушел Силька, он молчит, словно камень, и редко выходит из чума... Глаза его смотрят глазами оленя, когда земля покрыта ледяною коркой. Много у Вун-ай-ики есть своих оленей, много есть колхозных.

Много, много мяса есть у Вун-ай-ики. Вун-ай-ики сыт. Так почему же Вун-ай-ики смотрит глазами голодного оленя?!

— Хочет стать бумажным,— ехидно смеется Окра над своим мужем.— Скоро в бумажных кисах ходить будешь — до чего доучишься!

Круглое лицо ее румяное и розовое, как закатное солнце. На приплюснутом, словно обрубленном, кончике носа желтыми цветочками горят веснушки. А голова ее — как лохматое воронье гнездо. Она кажется седоватой от прилипшей к волосам шерсти.

Я смотрю на Окру и думаю: «Такая молодая (ей всего двадцать семь лет), а мыслит, как старуха! Как к ее сердцу найти ключи? Как вырвать ее из цепких рук Яныг-турпка-эквы?»

Я уже знаю, что она родилась в каслании, и росла вместе с оленями, и никогда не жила в деревне, и не слышала волшебного звонка новой школы... Поэтому, быть может, узор из лягушечьих лапок, который она осторожно выводит тоненькими лоскутками сукна на блестящем меху, ей кажется красноречивей букв и мудрее книг. Окра

только их читает, а на меня кидает колючий свет своих раскосых глаз.

Нет, Окра совсем не злая. Она по-своему добрая. Если ворчит, как лягушка в пруду, то только потому, что она женщина, имеющая детей, женщина, занятая важными делами. До пустой бумаги ли ей! «В бумагу не оденешься, ею сыт не будешь!»— так она рассуждает.

...Бедная Окра, древняя Окра... Как к ней подойти? Как увлечь ее в наш мир? К тете Сане, кажется, я подобрал ключи... Надо искать пути и к душе Окры... Надо искать, думать.

Это интересно! В нашей необычной жизни, когда рядом кочуют синие ветры, столько нерешенного, загадочного!..

Переправа

Солнце встало, свет деля.
Снег подталый пьет земля,
Заплывает кедр смолой,
Тает, тает лед резной.
Крыльев уток слышен свист,
Воздух чуток, свеж и чист.
Лед-преграду речка рвет...
Что за радость настает!

«Хал-хал, тень-тень, хал-хал, тень-тень»[1],— это голосистые гуси поют песню радости, песню счастливого возвращения на родину. Они цепочкой серых бус тянутся над тайгой. Любуются не налюбуются голубыми глазами озер, синими лентами речек, зелеными руками кедров. А небо плачет счастливыми слезами весеннего дождя. С зеленых ресниц слезу радости смахивают и старые лиственницы, и молодой тальник, под которыми вьют гнезда гуси. От нахлынувшей нежности снег размяк, а лед стал рыхлым, зазвенели ручьи и вздулись реки.

«Тень-тень-тень»,— поют лужицы под каплями дождя. «Тень-тень-тень»,— поют уже широкие забереги последней большой реки.

«Хал-хал-хал»,— поет рыхлый лед под копытами оленей.

---

[1] «Хал-хал, тень-тень, хал-хал, тень-тень»— «С южной земли, теплой земли на дорогую землю, родную землю мы прилетели» (песня гусей).

— О-о-о! — поют пастухи.— Быстрее надо переправить стадо, пока река не раскрылась до конца...

«Пуш-пуш-пуш...» Тонут три оленя. Их уже не спасти: попали в полынью...

«Пуш-пуш-пуш...» А не утонем ли и мы?

— Э-э-эй! Надо быстрее переезжать!..

«Тюр-тюр-тюр»,— поют сани в воде.

«Сюр-сюр-сюр». Мы по пояс в воде.

«А-на-на!» Не уплывут ли дети?

Нет, дети не уплывут: впереди едет сам Микуль. Если что, то сначала его не будет.

«Пуш-пуш-пуш...» Олени фыркают в воду. Мы уже на берегу. «Сюр-сюр-сюр». С нас стекает вода...

«Ого-го-го-го-о-о! Ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи-хи!» Летят в лица мокрые снежки, бусинки брызг, купаются олени, купаются люди. Смеются в нартах дети... Как из мокрого корыта, вытаскиваем мы их. Стрелами летят снежки, струями — брызги. Купаются олени, дети, пастухи,— у нас сегодня праздник: перешли большую реку, недалеко Неройка, старик Урал...

Уже пылает костер. А рядом ставят чумы. Хорошо!.. Вымокли хлеб, сухари, сахар. Плохо.

А были бы дюралевые ящики в нартах, какие есть у оленеводов Чукотки,— продукты были бы сухими. И нарты были бы легче. Людям хорошо, и оленям неплохо! Правильно подметил это Арсентий в Магадане на совещании оленеводов! Правильно твердил об этом деле Арсентий! Председателю надо было прислушаться...

Красный чум

Может быть, живем мы скромно,
Но имеем дом огромный.
Несравним он с чумом душным.
Наш богатый дом радушный
Выше туч и шире моря.
Мы живем, поем, и вторит,
Вторит дом наш громким эхом,
Полон дом наш юным смехом...

На берегу светлой, словно бусинка, реки стоянка будет дольше. Здесь мы решили начать новую жизнь...

Микуль и Йикор уже ставили чум. Вун-ай-ики вынимал из нарт шесты. Наверно, они с Ай-отом поставят

свой: тесно всем в одном чуме. Мирились с теснотой, когда нужно было беспрерывно двигаться со стадом вперед, к старику Уралу.

Я попросил брезентовую палатку. Микуль удивился.

— Что это вы задумали? Ведь Вун-ай-ики специально свой чум ставит, чтобы было посвободнее. Кто же в нашем чуме останется?

Но палатку дал.

Мы с Арсентием принялись за дело. Пригодились навыки, полученные в туристских походах. Ставить палатку помогла Итья Татья. Она вносила какой-то задор, вдохновение. Узкие брюки, заправленные в резиновые сапожки, темно-синяя кожаная куртка, энергичные руки, летающие глаза делали ее непохожей на мансийку.

Новое жилище наше получилось уютным. Посредине просторной палатки стоит стол, накрытый зеленой скатертью. На столе — журналы, газеты. Правда, они старые, вышли два-три месяца назад, и их многие уже перечитали, но все же... В отличие от чума в палатке светло: у нас настоящие окна. А главное — у нас говорила Москва: Арсентий отремонтировал радиоприемник. В чуме и так мало места. Поэтому приемник больше в нарте стоял, чем говорил новости. Мы не были уже оторваны от Большого мира.

Тетя Сана сначала сердилась, что мы ушли от них. Она все хочет, чтоб я был около нее. Ей приятно что-нибудь делать для меня. А я отделяюсь. И многое мне не нравится. Ей, наверно, это больно. По хмурому лицу и глазам я понял, что обидел ее, хотя она не сказала ни слова. Когда же услыхала музыку в нашем чуме и увидела простор, уют и чистоту, воскликнула:

— Правда хорошо. Светло!

И, кажется, подобрела. Но что-то все же осталось. Просто сожаление, что она не может радовать меня, как в детстве.

С этого времени по вечерам все стали собираться в нашем чуме. Разговаривали, спорили, читали книги, слушали Москву. Даже Яныг-турпка-эква приходила... Рассказывала сказки. И все слушали старушку: кто всерьез, а кто с улыбкой.

Москва всем нравится. Тетя Сана говорит:

— Долго же у них медвежий праздник продолжается. Весело там жить!

Все, конечно, смеются... Странная моя тетя. Как отстала она от своих подружек, живущих в деревне! Мо-

жет быть, это не она виновата, а оторванность оленеводов от жизни остальных колхозников! Виновато каслание.

В палатке живем четверо: Итья Татья, Ларкин, Арсентий и я. Наше жилище все зовут Красным чумом.

Не было вертолета — придумали вертолет

Веками спали звезды
Над белою тайгой.
Тяжелые ресницы
Заметены пургой;
И даже в звонких песнях
Молчали звезды те
И не летали в сказках
В небесной высоте.

Над тайгой летит большая зеленая стрекоза. Олени подняли головы, навострили уши. Лают собаки. Радуются необычной птице Епа и Мань-аги. Старуха Яныг-турпка-эква поглядывает на голубое небо с опаской: грех летать над чумом, над чистыми оленями — что-то опять будет! Арсентий, Итья Татья, как и я, не могут скрыть волнения: вертолет летает над чумом. Значит, к нам летят люди и радостные вести!.. И правда, к нам летели.

Лишь древняя старуха
Подумать так могла,
Что это злого бога
Разящая стрела.
Моя тайга в восторге,
Ей незнаком испуг,
И если это чудо,
То чудо наших рук.

Когда железная стрекоза успокоилась на небольшой поляне, летчика, секретаря райкома комсомола Ай-Таранти и киномеханика Зосима обнимали, целовали.

Бахромой платка женщины вытирали слезы. А мужчины умеют радоваться и без слез... Не было конца радости свежим журналам, газетам и добрым вестям, а главное — кинокартинам, которые будет показывать на живой машине, рисующей жизнь, киномеханик Зосим.

Давно мечтали оленеводы о кино. Аппарат был. Но не было киномеханика: кто пойдет каслать на целых восемь месяцев, кто оставит привычную шумную жизнь?

Долго не находили киномеханика. И тогда решили оленеводы своего выучить и послали на курсы Зосима.

Вот он и приехал. Теперь кино будет.

И в нашем Красном чуме жизнь закипит по-уральски ярко!..

Давно олени щиплют ягель. Давно они бродят по земле. И появились они на земле, наверное, вместе с людьми. А вертолета не было: его придумали люди.

И в оленеводстве что-нибудь тоже придумают!..

Итья Татья

Вертолет доставил оленеводам и продукты: хлеб, картофель, капусту, малосольный муксун, консервы, даже лимоны.

Итья Татья приготовила ужин. Все собрались в нашем Красном чуме. На столе муксун, нарезанный тонкими ломтиками и аккуратно сложенный в эмалированную тарелку, дышащий паром картофель и котлеты в соусе, лимоны, компот из черешни, спирт.

И хотя скатерть заменяли обыкновенные газеты, стол получился богатым, праздничным.

— Ничего, ничего! Оказывается, тоже вкусно. И тебе надо поучиться готовить такое кушанье,— говорит Микуль, обращаясь к тете Сане.

Тетя Сана ревниво поглядывает на Итью Татью.

— А что учиться тут! Надо — так я и сделаю.

Она ела больше малосольный муксун с картофелем. Видно, соскучилась по родной Оби.

— А соус-то! Соус!..— удивлялся Ай-Теранти.— Такого нет даже в ресторане! Вот это кадры! Вот это комсомольцы! — шутил он.

Широкое, чуть скуластое его лицо расплывалось в добродушной улыбке.

Все ели с аппетитом. Благодарили Итью Татью. А она, как настоящая хозяйка дома, нисколько не смущалась, отвечала шутками.

С восхищением смотрел на нее Арсентий.

А я словно онемел...

Каждый раз Итья Татья кажется мне другой. Давно знаю ее — и вроде совсем не знаю.

Была она рыбачкой...

...Над белым, запорошенным тальником жмурится ску-

пое солнце. Слева и справа радужные круги. Это золотые рукавицы — говорят в народе. Солнце мерзнет. Потрескивают деревья. Кажется, трещит яркий, искрящийся снег. А зарумянившееся небо словно звенит... Нет! Это звенит не небо — это поют льдинки под тяжелой и острой пешней, пляшущей в руках девушки. Прозрачными хрусталиками ложатся они на шершавый снег... Долго не смолкает песня хрусталиков: лед толстый, местами промерзает больше метра. Еще удар — пешня устремляется вниз, вверх летят струи холодной прозрачной воды. Через мгновение они заполняют лунку. Итья Татья продалбливает до конца. Очищает от остатков льда. Потом принимается за вторую, которую надо продолбить метрах в пяти от первой.

То же самое делают другие девушки звена. Потом они долго-долго тянут невод. Над прорубью струится белый дым. Это мороз играет с водой. Живыми и подвижными сначала кажутся и тетива[1], и ячейка[2]. Но через мгновение тетива леденеет, а ячейки кажутся сухими. Это их высушил своей игрой мороз.

Почему же девушки не мерзнут? Не ледяные ли они? Может быть, и мерзнут, и, конечно, не ледяные они. Только рыба-то нужна. Вон она плещется в мотне: и щуки полосатые, как осенняя трава, и язи тупоголовые, сверкающие солнечным светом от золотого заката, и усатые налимы со слизистыми хвостами, и нежные сырки, что серебрянее снега...

Солнце в золотых рукавицах, потрескивают деревья, звенят льдинки, струится радужный дым над прорубью — хорошая погода!..

А иногда... Луи-вот-пыг рассердится, станет злой-презлой, загудит, завертится ледяной юлой. И свищут ветры, и танцует снег...

А северянки и в такую погоду не пляшут от мороза. А северянки ловят рыбу.

Итью Татью я видел и на плавном песке[3], когда она убирала сеть, полную рыбы, а волны кусали лодку.

Где над отмелью низкой
Обь взлетает дугой,
У рыбачки мансийской
Сеть дрожит под рукой.

---

[1] Тетива — веревка, в которую вплетена мережа.
[2] Ячейка — клетка мережи, в которую попадает рыба.
[3] Плавной песок — плес, где устанавливают донную сеть.

И сережки похожи
На птенцов из гнезда,
И нежней ее кожи
Разве только вода.
Ее брови, как рыбки,
Друг от друга плывут,
Ее губы улыбку
От меня берегут.
Что-то скажут они мне?
Постою, подожду.
Темен взор ее зимний,
Словно прорубь во льду.

Вот какая Итья Татья. Я знаю ее с детства...

Я тоже был рыбаком. У меня была калданочка с разноцветными веслами. Лодочка ходкая, но очень верткая: неосторожное движение — и ты в воде. Надо быть осторожным и точным, как гимнаст. Но я был уже большой — мне было десять лет. Поэтому я рыбачил, как взрослый. И все мои ровесники рыбачили. У всех были лодки и сети. Мы ловили рыбу и сдавали в план колхоза.

Калданочки наши маленькие, а Обь — река широкая: такая гладь, что небо сливается с водой на горизонте. А ветер сильный, а волны высокие. Они пенятся и шипят...

Однажды посреди Оби захватила меня гроза.

Лютым зверем лодку
Искусали волны,
Белые, как пена
На губах шамана.
Под слезами тучи,
Под кнутами молний
Бредил я, мальчишка,
Берегом желанным
Словно рыба в сетке,
Прыгало под громом
Маленькое сердце
В бессердечных водах,
Но стремилось сердце
К берегу родному,
Где леса синели,
Обещая отдых.
И рукою слабой,
Как крыло гусенка,
Я в весло вцепился,
Превозмог усталость
И налег на бурю
Всей моей силенкой,
И помчалась лодка —
К берегу помчалась

С волнами Оби, с бурей боролись и другие ребятишки. Боролась и Итья Татья. Ведь тогда не было моторов, которые теперь носят лодки по волнам, словно на крыльях. Тогда надо было грести...

Все равно очень интересно было нам ездить на рыбалку. Часто мы рыбачили в сорах за маленькой деревней Ситам-тур. Там жила Итья Татья...

Зимой мы учились в школе-интернате. Итья Татья тоже училась. Но из пятого класса она ушла. Ушла в родную деревню Ситам-тур. Почему она ушла? Может, ей просто приснился сон?..

Белая вьюга, как седой сказочник, поет и поет сказку.

Два белых домика, как два белых оленя, по крылатые рога занесенные снегом, мерзнут и слушают сказку. Слушают сказку маленькие братишки и сестренки Итьи Татьи. Их много-много, как снежинок над домом. Они зовут ее... В доме прибавится еще одно родное сердце. Теплее будет... И сказки станут еще веселее... А как она приедет — деревья вздрогнут и уронят на землю снег. Снежинки упадут и зазвенят, зазвенят ручьями... Все кругом запоет: небо — голосами птиц, реки — звоном льдинок, а лес — голосом кукушки.

«Надо ехать, ехать»,— решает во сне Итья Татья.

«Правильно, правильно, дочка! — говорит тихим голосом отец.— Ты окончила четыре класса. Хватит тебе учиться! Совсем уже грамотная!» И его продолговатое лицо с чуть заметными скулами превращается в белое облако и улетает в сказку...

Итья Татья ушла из школы...

Потом приходилось наверстывать упущенное. Днем работала, а вечером училась. В каслание она взяла с собой учебники за десятый класс. Но как мне заниматься с ней, если перед ее глазами я то немею, то голос предательски звенит...

Интересные все же люди: они каждый день могут быть новыми! Давно я знаю Итью Татью — и, кажется, совсем не знаю...

Таежник открывает город

Я впервые в нем... Вот летят машины
Фары бьют огнем ярче глаз звериных.
Он глаза слепил и гудел, как улей,
Он вертел, кружил в суматохе улиц.
Ни реки лесной, ни лесного хора,—
Красотой какой дорог людям город?
До поры таясь, он слепил сияньем,
Он плясал, смеясь над моим незнаньем.

Когда лес стал темным, как медведь, а небо покрылось бледными весенними звездами, Зосим сказал:

— Теперь можно начинать кино.

Затрещал мотор, загорелась в палатке электрическая лампочка, но никто не бросился в палатку, все смотрели на полотнище, повешенное между двумя елями: и стар, и мал знали, что здесь появится чудо — люди, другая жизнь...

Все смотрят на Зосима как на волшебника. А он копошится у мудрой машины, присматривается. Что-то потрескивает, щелкает.

Вдруг бледное полотнище засияло, словно зажглось дневным светом. И все померкло: свет жаркого, яркого костра, и сияние звезд, и влажные глаза весенней ночи...

На экране плыла сверкающая полноводная река, одетая в гладкий камень. И дома — словно каменные горы... И народу тьма, словно рыбы в море...

— И зачем столько народу собирается вместе?— удивляется тетя Сана.— На праздник какой, что ли?

— Ни травинки, кругом камни... Больно, наверное, ногам? Не с копытами ли они?— спрашивает хриплым голосом Яныг-турпка-эква.

— А это что за коромысло над Обью?

— Это мост. И река эта не Обь, а Нева,— разъясняет Ай-Теранти.

— И машин много...

— Как муравьи в муравейнике...

— Кругом камни, камни... И как здесь люди живут?

На экране плыл город моей юности — Ленинград. Он мне сначала тоже показался некрасивым и жестоким...

Ленинград... Мой Ленинград... Ты раскрывайся им, а я расскажу, как тебя открывал таежник.

И свою песню мне хочется начать с извинения. Ты мне в первый раз показался жестоким и некрасивым. Да да жестоким

Твои улицы показались мне шумными, как сварливые старухи, они кишели людьми, как муравейники — муравьями. Я натыкался на людей. Они с удивлением смотрели на меня. И я смотрел на них. Нет, не смотрел я, а глазел. Глазел на разукрашенные витрины магазинов, на стены домов, на асфальт. В кино и на рисунках они были такими чистыми, красивыми, твои улицы, мосты, дворцы. Я так мечтал это все увидеть!

Асфальт твоих улиц виделся мне сияющим, зеркальным. Вот, думал, как хорошо — не надо зеркала: посмотришь вниз — увидишь себя.

Я был в недоумении, почему асфальт показался в кино другим. Но однажды вечером этот секрет раскрылся. Я шел по твоему воспетому поэтами Невскому, и вдруг откуда ни возьмись хлынул ливень. Я прижался к стене, под навес.

— Опять небо прорвалось,— сказал кто-то рядом со мной.

— Сейчас перестанет,— откликнулся другой.

Правда, немного погодя асфальт перестал пузыриться и кипеть, как котел. Зажглись огни! И словно тысячи лун сразу осветили Невский. И асфальт сиял, как в кино. А в радужных брызгах летели такси. Их зеленые глаза — ярче глаз звериных. Все блестело, искрилось...

Но это еще не примирило меня с тобой, мой город!

Дома твои мне показались выше снеговых гор. И на твоих улицах я был словно в ущельях. Кругом камень. И не видно солнца, хотя где-то над домами оно лениво бродило в дымке. Я привык к другому солнцу — солнцу, отраженному в зеркальной глади воды, солнцу, дробящемуся в листьях деревьев на тысячи маленьких светил. Солнце глядело в мою постель. Оно будило меня, звало на улицу, туда, где небо звенит птичьими голосами, вода искрится, и плещутся дикие утки, и простор синий, безбрежный, и новый день не похож на вчерашний.

Такого солнца я поначалу не увидел. Грустно было, очень грустно.

Вот и автобус...

Хочешь, я расскажу мансийскую сказку?

Однажды по Оби ехали манси на большой лодке — саранхап. Было тихо-тихо. Вода блестела, как жир. Вдруг гладь воды стала гнуться и ломаться, а потом забурлила, запенилась: навстречу манси неслась гигантская рыба-зверь. Она плевалась струями воды и проглатывала все, что попадалось на пути. Проглотила и эту лодку с людьми.

Сидят манси в животе этой рыбы и думают, что де-

лать, как выбраться из этой тесноты. К счастью, в лодке были острые топоры. И когда прорубили люди рыбий бок, долго радовались они свежему воздуху, высоко вздымались их груди и сияли глаза!..

Такую же радость испытал я, когда вышел из автобуса.

Вот таким ты показался, Ленинград. Плохо было. Все видел сны... Ночью ко мне являлось солнце. Оно смотрело в мою постель. И утки летели, и небо звенело, и сияла вода. А то вдруг зажигался небесный огонь — северное сияние. Оно вставало над моей головой огромным разноцветным чудом, переливаясь всеми цветами... Сияло небо, плясали краски, горел снег, потрескивал спокойный сухой морозец. Опять было хорошо, как в сказке, как в жизни.

...Но я просыпался — и сказка кончалась. В окно на меня смотрели тусклые кирпичи соседнего дома.

Однажды ты познакомил меня со своей дочерью. Она почему-то напоминала пушкинскую Татьяну. Я ее полюбил еще там, среди снегов и ярких северных сияний. Я мечтал встретить такую же. И вот она вправду явилась и повела меня по твоим проспектам, мостам и паркам.

Сразу все преобразилось. Ожили во мне строки твоего гениального певца. И мосты повисли над водами, и Медный всадник поскакал, и Адмиралтейская игла стала казаться светлей. И бродил я, как заколдованный самым сильным в мире шаманом.

...Эрмитаж. Я и раньше слыхал об этом сказочном дворце искусства. Но как я был поражен, какие видения возникли и навсегда врезались в память, когда все это предстало перед глазами. Словно передо мной было северное сияние — самое яркое, живое, вечно движущееся искусство природы.

...Однажды твоя дочь повела меня на Кировские острова. Я был увлечен, смотрел в ее тихие смолистые глаза и не заметил, как мы очутились в зелени деревьев, среди щебета птиц и в окружении прудов. Я снова почувствовал солнце, оно с веселого пруда улыбалось мне: «Узнаешь?» Я был благодарен ему, что оно не забыло меня и в далеком городе улыбнулось мне, как в детстве.

— А вот и пляж,— сказала моя спутница, кивнув в сторону сияющей глади воды.

Это была Нева. Она нежилась под солнцем. На берегу люди. Наверное, здесь тысячи людей. Я никогда не видел так много народу. Как чайки на песчаном берегу Оби, белели они на пляже.

— Это и называется пляж?— спросил я.

— Это и есть пляж. Здесь можно купаться. Хочешь?

Не дождавшись ответа, она быстро разделась и оказалась в воде. Плыла она, как золотистый бобер. Барахталась. От брызг — радуга. Хорошо стало. Словно я был опять на родине. И брызги летели, и солнце смеялось, и песок хрустел, и листья светились. Как хорошо! Не так уж жесток и неприветлив ты, каменный город. В тебе, оказывается, есть запах и моей родины: запах воды, солнца, трав. В тебе, оказывается, есть даже и простор: вон какая гладь — конца не видно.

С тех пор я дышал свободнее. И ты, Ленинград, для меня стал светлее и просторней...

Институт. Мойка, 48. Здесь я учился. Интересно быть студентом. Новый мир раскрывается перед тобой.

В детстве мне казалось, что рыбаки и охотники — самые мудрые люди на земле. Лес, небо, медведи, соболи, олени, рыбы — это главное, что есть на земле. Моя деревня — это центр земли.

Настоящие люди на земле — манси, так же как среди светил — солнце, среди рек — Обь, среди рыб — осетр. Есть на земле народ хатань. Это татары. Есть еще ненцы, скачущие на оленях, зыряне, привозящие из-за Урала различные драгоценности и сукна, и где-то далеко-далеко тунгусы. И есть русские... Они учат манси смотреть в бумаги и лечат их.

Такое представление пришло ко мне из сказок, которые каждый вечер рассказывал мой дедушка. Как я ошибался в детстве! Каким широким оказался мир! Сколько тайн было недоступно, неведомо для ума и сердца охотника! Он ведь хорошо знал то, что видел глазами. А много ли увидишь глазами, пусть они даже самые зоркие. И много ль земель исходишь ногами. Много снежинок на земле... Не сосчитать даже тех, что хрустят под ногами. А откуда знать мир! Он бескраен и огромен. Манси знал землю до Урала, а дальше она казалась ему сказочной, непонятной.

В школе мир широко раскрылся передо мной. И тебя, мой Ленинград, я уже чувствовал. Любил слушать песни о тебе, мечтал у тебя учиться.

И приехал к тебе. Ты познакомил меня и с ненцем, и с тунгусом, и с чукчей, и с эскимосом, и с нанайцем. Много у меня стало друзей.

Мы живем и учимся в одном доме. Тунгус такой же, как и манси. Он не нюхает пищу, а ест, как все. И не-

нец — хороший человек. Старая сказка, оказывается, бывает лживой. Ты помог мне распознать эту ложь.

Ленинград! Ты хороший учитель. Ты меня научил слушать сердца твоих больших людей.

Блок... Странно... Человека давно нет в живых, а я разговариваю с ним, слышу его сердце. Всю ночь мы бродим с ним. А ночь белая. И мгла, и синь, и мосты... Со мной простая книга... Это она говорит со мной. Я волнуюсь, люблю и ненавижу, плачу и смеюсь. И кажется, я слился с этой набережной, с этой синью и с людьми. Но нет! Вон там двое. Они целуются. А я — один! И Блока нет. Со мной — книга...

Я слушал сердце Блока и чувствовал себя. Я — человек...

А что, если послушать себя, свое сердце? Я — северянин, у меня возникают мысли, которых, может быть, у других нет. Даже у Блока. А если все перенести на бумагу? И она, быть может, заговорит языком моего маленького народа. Я стал вслушиваться в себя...

Странно... В Ленинграде, далеко от родных мест, я вдруг почувствовал красоту языка моего маленького народа.

О город каменный, ты помог нам увидеть то, чего мы не видели раньше и не чувствовали. Нет, мы совсем не перестали быть северянами. Наоборот, мы стали как-то ярче. Ты нас научил слушать себя, и мы чаще стали спрашивать: «Кто мы?»

Кто мы? И ненец Василий Лебедев, и хант Гена Раишев, и эвенк Владимир Хромов. Кто мы? Мы однокурсники. Мы — студенты. А до этого были маленькими охотниками и маленькими рыбаками. И матери и отцы наши были охотниками и рыбаками. И, кроме этого, очень мало что знали. Студент... Наши родители не слыхали такого слова. Когда моего отца спрашивали, где учится его сын, он отвечал: «В конституции».

Ему негде было учиться. Он батрачил у кулаков. Его проиграл в карты мой дед. Деду нечем было платить. Сыну приходилось отрабатывать... А кто же был мой прадед?

Только в самых древних сказках и песнях манси жили в дворцах из сияющего камня. Тогда умели мои предки ковать железо, сеять хлеб. Скакали на быстроногих огненных конях и пасли стада овец. Потом потеряли солнце и дворцы. Пошли искать их, забрели в тайгу и болота Обратной дороги не нашли. Холод, снег, бессердечный лю-

доед менкв преследовали их, выгоняли из насиженных обжитых мест, оставляя золу и пепел. И манси разучились ковать железо, прясть из шерсти красивую одежду позабыли запах вкусной еды, а стали есть сырое мясо и рыбу. В своих песнях они уже пели:

Мы уйдем, покинем землю,
Чтобы больше не родиться
И на быстрых конях-лыжах
Не скользить за соболями.
Наши лодки, как могилы,
На песках сгниют тоскливо,
И в деревнях опустелых
Будут жить одни лишь мыши.

«Бу́дут жить одни лишь мыши»,— вырвалось когда-то из истерзанного сердца моего далекого предка... Я — мышь? Нет! Я — человек! Так, значит, я все же выжил! Выходит, что предки все же верили, что олоду не вечно царствовать... И взойдет однажды не холодное, а теплое, щедрое, разноцветное сияние. И тьма растает. И люди станут братьями.

И потому, наверно, северные женщины, завязав в берестяные люльки своих малышей, закинув их за спину шли в болота. Туда, куда никто не доберется... И там начинали новую жизнь.

Так много раз, наверно, умирал я, так много раз, наверно, вновь рождался, и женщины несли меня, веря, что взойдет волшебное сияние и я заговорю, раскрою сердце древних, а добрый мир будет слушать древнюю исповедь. Вот кто мы!..

А сегодня, как тепло сегодня!

Ленинград! Ты меня слушаешь? Слушаешь меня и всех моих братьев-северян. Пумасипа! Большое спасибо!

Капли рождают реку, реки рождают море, ширь и глубину. Ленинград! Твоя река стала моей родиной! И чем-то напоминает мою Обь. И я невольно шепчу:

А теперь в полдневном солнце
Предо мной Нева смеется,
Кажется, у ног сверкая,
Катит волны Обь родная,
Плечи мне обвив руками.
Так же щедро ветерками
Невскими я зацелован,
Той же ширью очарован...
Пусть не люльку у причала —
Ты, Нева, мой ум качала.
Крылья мне дала навечно.

О, спасибо, друг сердечный!
Схожи рек различных воды,
И добры сердца народов,
Потому я всюду дома,
Все родные, все знакомо.

Реки сливаются. Сливаются и судьбы народов. Жизнь становится глубже и шире... Тепло...

На твоих улицах, во встречах с твоими сыновьями, в беседе с легендарной «Авророй», с вечным огнем Марсова поля яснее и яснее чувствую, что такое Россия, Ленин, Октябрь...

О город мой! Не рассказал тебе я сказку,— ты ярче любых сказок! И не сложил тебе песню,— песня моя впереди.

Только скажу одно: ты великий учитель. Ты научил нас писать книги, рисовать картины, говорить голосом учителя перед любознательными детьми.

Ты открыл глаза нам, как младенцам. Мы проснулись, словно после тысячелетнего сна.

И оленеводы нам кажутся странными, словно они пришли с другой планеты. Как они могли остаться такими? Почему мало движения в их жизни?

Преобразился ведь мой родной Север. Ярче северных сияний блестят фонтаны нефти. И в домах тепло не от дров, а от пламени земли — синего газа. И ночью ярче звезд светятся окна — в поселках играет электричество.

Рыбаки и охотники, лесорубы и плотники, доярки и конюхи живут новой жизнью. Читают газеты, смотрят в клубе кино, веселятся и работают.

В новой дружной стае, летящей в будущее, оленеводы как белые вороны... Меня это очень волнует. Не могу быть равнодушным!

Дорогой учитель, я опять обращаюсь к тебе, как всегда в трудную минуту: разъясни мне, как быть, как по-новому устроить жизнь оленеводов. Разъясни, ведь ты все можешь.

Ведь ты так благороден!..

Давно потух дневной свет на белом полотнище, опять ярко, как прежде, горит костер. К его ласке льнут оленеводы. Их лица пылают светом жарких лучей. От черных лап елей пахнет сырой, ранней весной... Я рассказываю о великом городе.

— Неужели так живут люди? Неужели все это правда?— удивляются оленеводы.— Это просто хорошая сказка!..

Да, оленеводы пока воспринимают многое еще как сказку. Но они откроют, откроют тебя, Ленинград, и будут благодарны, как я...

Май

Всю ночь я слышал музыку. Она звенела травами, колыхалась знаменами и пахла цветами... Это май. В сердце — ожидание... Ожидание чего-то светлого, особенного...

В детстве, в школьные годы, мне снился май таким. И вот, как тогда, я много раз просыпаюсь. И жду не дождусь утра. Словно у нас в касланнии также будет веселая демонстрация в колонну по четыре, со знаменами, с медными трубами оркестра.

Чего очень ждешь — рано или поздно придет, наступит. Наступило и это первомайское утро.

...Я вышел из чума. На просыпающемся небе — ни облачка. На реке по-прежнему синий лед. Только забереги, кажется, стали шире. Они струились, дышали. Лужицы словно хрустальные, а земля твердая. Подморозило...

Где-то совсем рядом токовали глухари, радуясь солнечному майскому утру. Это праздничная песня тайги маю. А синяя речка говорила голосом чаек. Они летали над струями заберег, заливались счастливым смехом, видно, нынче будет много рыбы и для чаек, и для людей. А над чумами носились стаи уток. Они то камнем падали друг на друга, то разлетались: то ли дрались, то ли целовались. Наверно, целовались! Небо звенело. Это свадебный танец. Праздничный танец...

И я стою, зачарованный весенней песней тайги, счастливым смехом реки, свадебным танцем неба.

Стойбище уже проснулось. Посреди поляны между чумами горит костер. Арсентий и Ларкин обтираются холодной и прозрачной водой горной реки Бусинки. Маньаги, Епа, Итья Татья, как резвые оленята, носятся по поляне. Не успели встать — уже играют. И Татья как маленькая. Что это с ней сегодня? Наверно, оттого, что праздник.

На берегу реки обыкновенная картина. Ай-от держит белого оленя тонким, как дождевой червь, тынзяном, олень мотает головой, чуя топор в руках Микуля. Топор на мгновение коснулся головы оленя, и копыта его с трепетом протянулись к зеленому небу, к голубым кедрам, к ласковому утреннему солнцу...

Кровь у белого оленя как виноградное вино. Пили ее из граненых стаканов спокойно и медленно, как жизнь, как сказку. Ай-Теранти в этот момент тоже тихо и медленно, как сказку, стал рассказывать о возникновении праздника трудящихся, о первых сходках рабочих в лесу, о красном знамени...

— А знамени-то у нас ведь нету,— тихо сказала Итья Татья.

И сразу наша поляна, наше стойбище с оленями и людьми, показалась пустой.

Арсентий словно проснулся. Он поставил свой стакан с недопитой кровью на пожухлую, прошлогоднюю траву, пробившуюся словно сквозь тонкий слой льда, и направился к чуму. Скоро он вернулся. В руках Арсентия было полотнище под цвет зари ветреного утра. Через мгновение полотнище на остром конце хорея уже плыло над нашим стойбищем.

Новое светило горело рядом с нашим древним солнцем. Без него нам невозможно, оказывается, встретить майское утро. Это светило — наше, кровное. Даже старая Яныг-турпка-эква воскликнула, когда взошло это необыкновенное светило: «Мана Яныг хорам!» («Что за большая красота!»)

Да, это красота жизни, красота наших сердец.

Это цвет нашей жизни. Под красный флаг становились наши отцы и братья в дни испытаний. Сегодня мы стоим. Это наше счастье!

Всю ночь я слышал во сне музыку. Она звенела травами, пахла цветами, колыхалась знаменами, смотрела глубокими голубыми глазами. И вот настало долгожданное праздничное утро. Оно казалось совсем не таким, каким встречалось в городах. Оно неповторимое. Такое бывает только в пути, на большой, трудной дороге.

Майская вьюга

Жизнь — как битва с морозом!
Не окончена битва, не ждите!
Нет, елейный язык не сумеет
тепла отстоять!
Вы браните меня, вы лесной
росомахой рычите,
Но порывистей ветра взлечу я
над красной трибуной,
Чтобы правду свою отстоять.

Однажды ночью вдруг разыгралась вьюга. Майская вьюга страшнее зимней. Привыкнешь уже к ласке солнца, звонкому полету уток, говору веселых ручьев — и вдруг колючие стрелы снега, пронзительный, сшибающий с ног ветер и жгучая злоба мороза! Зимой, может быть, это было и не заметно. А после теплого весеннего дождя и гогота гусей невыносимо...

И утки, превратившиеся в снежки, стрелами летят на крыльях вьюги к югу. И где-то камнем падают в снег, в прошлогоднюю траву, греются. Они верят, что мороз пройдет. Это просто прихоть старика Урала. Скоро наступят настоящие весенние дни, и опять не будет краше края, чем милая родина.

К утру и мы продрогли в своем Красном чуме. Печки у нас не было. Потому мы грелись шутками, смехом. Возились, играли, как дети. Оледеневший брезент палатки плясал, зычным голосом филина выла вьюга, а нам было весело и тепло. Может быть, это потому, что в нашем «чуме» говорила и пела Москва, а главное — мы все были молоды. Если бы хоть одна старуха была в нашей палатке, настроение было бы совсем другим, как в остальных чумах. Кто там сейчас поет и веселится? Все подавлены и дрожат. И мы дрожали бы, если бы не отделились. Зачем старух и стариков берут в кочевье? Им уже трудно, и оленям приходится возить много лишнего груза. Сто шестьдесят оленей занято на одну перевозку. А сколько мяса нужно, чтобы прокормить всех? И получается больше мясоедов, чем пастухов-оленеводов. Незаметно шутки превратились в серьезную беседу о проблемах оленеводства.

Итья Татья говорила, что главное для поднятия оленеводства — это создать новый быт: надо разрушить чумы. В них, как ни старайся, чистоты не наведешь.

— Я вот долго думала: может быть, мне жить в го-

роде. Город большой — там много разнообразного, не наскучит. Но нас позвали в каслание, мы нужны — и я поехала. И правда, хорошо кочевать: каждый день новые места смотрят на тебя, и радостно оттого, что столько красоты на земле. А в деревне каждый день одно и то же... Только если здесь останутся чумы и эти старухи, я больше не поеду!

— А новый быт, о котором ты твердишь, кто будет создавать?— повысил голос Арсентий.— Медведицы, что ли?

— Ни один, у кого ум на месте, не пойдет в оленеводы. Только мы, дураки! В деревне сейчас такая весна! — прорвало наконец Ларкина, который все утро молчал.

Странно, как быстро меняются люди! В детстве он был живым, веселым, а теперь угрюмый, как пасмурный день.

Арсентий вспыхнул, как костер из сухих еловых веток, и заговорил горячо:

— Что, наш доктор Мария Долгушина тоже не здравомыслящая? Врачу в любой деревне найдется работа, а она вот ездит по стадам круглый год — и не жалуется! Конечно, нелегко, зато какая благодарность, какое тепло. Про тебя кто-нибудь песню сочинил? А про нее оленеводы не только песни поют — сказки уже сказывают. Слыхал сказку «Как русская девушка Агум-Варнэ-ут [1] победила»? Вот так-то!.. Не одним уютом живут люди!

Арсентий нахмурился и замолчал. Видно, он не хотел говорить общеизвестное, что человеку надо быть на своем месте, найти себя — тогда в самый глухой край придет счастье. Ибо счастье всюду есть, в каждом человеке, только его надо искать, и прежде всего в самом себе, а не ждать от других.

— Конечно, я не против уюта, нового быта,— опять спокойно, как ни в чем не бывало продолжал Арсентий.— Наоборот, я за это! Все мы привыкли жить по-новому.

И это было правдой. Я не могу жить в чуме; тяготились, наверно, и Ларкин, и Итья Татья... А вот Арсентий спокоен. Он живет по-новому, может и как все оленеводы...

— Для каслания надо приспособить легкие дюралевы домики. Или придумать новые световые чумы из пластмассы. Техника наша мощная, не такое может! Нужны люди, молодые, задорные.— В глуховатом голосе Арсентия

---

[1] А г у м-В а р н э-у т — чудовище, посылающее людям болезни.

звенели какие-то грустные нотки. Видно было, не первый раз он говорит это.— С кем все осуществить? Старики ведь будут по-своему делать, а молодежь не идет!

— А разве мы не молодые?— вдруг словно проснулся Ай-Теранти.

— Так вы побудете немного и при первом случае улетите, как птицы, почуявшие осень и ненастную погоду. За одну кочевку все не сделаешь!

Видно, слова эти задели Ай-Теранти за живое. В палатке будто забушевал Луи-вот-пыг — настоящий вихрь. Это Ай-Теранти так разошелся:

— И молодежь пойдет в оленеводы! Только надо по-новому организовать ведение этого хозяйства. А это нам с тобой надо думать, думать. А потом и предложить...

Лучше всего, наверное, такой способ выпаса оленей: три месяца пасет одна бригада, потом — другая. Одна пасет оленей, другая в это время отдыхает на центральной базе. Три месяца дальней дороги, три месяца солнца, три месяца вьюги, три месяца простора и воздуха, три месяца узнавания себя, три месяца романтики!

А месяцы отдыха на центральной базе будут такими полными, насыщенными воспоминаниями... А потом человек снова идет каслать,— ведь в предыдущий раз он не все сделал, не все свои идеи воплотил в жизнь. Много выдумки потребует от нас и даже будущих поколений наше древнее оленеводство!

В нашем Красном чуме словно теплее стало... Словно заиграли струи, прозрачные и бурные, и таяли льдинки, и жизнь неслась в едином русле к единой цели.

А за ледяной палаткой бушевала вьюга. Но, кажется, за снежной пеленой уже вставал рассвет...

Ай-Теранти

Вот таких, как люди, беспокойных,
Вот таких прямых
На земле немало сосен стройных,
Вековых.
И пускай под топором певучим
Застоялый рушится сосняк,
Но встает и цепко держит тучи
Устремленный к небу молодняк.

Рождается Человек. Рождается безымянный. Потом ему дают имя. И он живет, растет вместе с ним. Если

человек плачет, плачет и его имя; если он смеется, имя кажется ярче северного сияния.

Ай-Теранти... Маленький Теранти... Почему к имени Теранти прибавили слово «ай»? Слово «маленький»? Может быть, родители считали, что он, как и они сами. всегда будет маленьким, неприметным человеком? О, тогда они ошиблись. Очень ошиблись. Ай-Теранти — человек большой. Не беда, что он мал ростом, но сердце у него большое и крылатое. В глазах у него — лето теплое.

Я помню его детство. Мы росли в одной деревне. Называлась она Аргинтур. Трудно было матери Ай-Теранти воспитывать детей. Но у нас на Севере все дети рано начинают трудовую жизнь. И Ай-Теранти рано начал ее. У него, как и у многих других ребят, не было своей лодки и ружья. И мальчик, чтобы заработать на хлеб, помогал другим. Он греб, кидал невода, ставил сети, караулил на перевесе[1] уток. И не раз он тонул в ледяной воде, дрожал под светом холодных звезд, как и многие другие дети Севера.

Трудное было то время. Война докатилась и до нас. Да, у нас в Сибири не разрывались снаряды, не падали бомбы, но синие лучи стужи пронизывали нас до костей, и желтые лучи голода морщили наши исхудавшие детские лица. Мы оказались живучими — вместе со своими всемогущими матерями, вместе со своими отцами, сражавшимися где-то далеко с фашистами, мы выжили и победили.

Может быть, мы и не выросли бы, не набрались ума, если бы не русская учительница. Она заменяла нам мать. Она заменяла нам сестру.

Наши матери и отцы умели читать лишь звериные следы — она научила нас читать книги, и мы как бы заново увидели мир, широкий и огромный, мудрый и противоречивый. И, удивляясь, восторженно глядели в будущее. И, окрыленные мечтой, стремились вперед.

...Много лет мы не виделись с Ай-Теранти. Он окончил среднюю школу-интернат, ту же, что и я. Как и другие северяне, он мог бы поехать учиться в институты Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Свердловска. Но родная земля потянула его к себе.

Нет, он не мог уехать со своей родины. Здесь плещется Обь, а Ай-Теранти — прирожденный рыбак. Там, почти на середине Оби, качается бочка — конец сети. К ней ластятся чайки-хохотуньи. Они зовут в сеть и

[1] Перевес — сеть, которую вешают между деревьями в специально вырубленной просеке

одетых в зубчатую броню богатырей-осетров, и бойких тупоголовых язей, и нежных муксунов. А где кончается плавной песок и начинается обрывистый берег с заводью, пляшут и тонут бревна и на волнах дрожат лодки, там надо скорее снимать сеть. Это самое интересное на плаве. Один правит лодкой, другой тянет сеть. А в ней вьется серебристый муксун. Ай-Теранти не сможет уехать, не налюбовавшись вдоволь этим песком, не ощутив всей душой северянина такой красоты.

А рыбная ловля в разгаре. Вот и бочка пляшет почти у лодки. Виден конец сети. Свою неизменную песню — «тра-та-та!» — запел мотор, и лодка медленно, но все настойчивей и настойчивей ломает сопротивление течения и спокойно, уверенно набирает скорость. Рыбаки поднимаются вверх по течению, чтобы снова забросить сеть, чтобы наполнить лодку серебряным трепетом рыб.

Рыбы разные, как и люди. И кажется, многое в характере людей от рыб.

Как хорошо ступить на теплый песок берега, после того как сдана вся рыба! Счастье! Оно наполняет весь мир. Ступишь на вечерний песок — он от июльского солнца нежный и теплый, усталость словно уйдет в землю, а в мышцах почувствуешь новую силу, рожденную доброй землей. И этот июльский вечер на плавном песке покажется самым счастливым вечером на свете.

Вон горит костер. Звезды падают на землю. Искры летят в небо. Лишь люди неизменно остаются у костра. Там их песни, сказки и тихий сердечный разговор. Там поют сердца, там они добреют, становятся богаче. Сердца ведь тоже могут петь и летать. Горит костер, говорят люди, говорит уха, говорит вечер...

Ай-Теранти подходит к костру, запах ухи подскажет ему, что наловили много рыбы, что в лодке есть живые стерляди. Может, вы подумаете, что стерлядь — рыба грубая. Нет, пусть она и колется, пусть она и в броне, а когда ешь ее — она нежная.

Вот Ай-Теранти берет острый нож и снимает кожу со стерляди. Он не знает, что из этой кожицы в древности его предки шили себе одежду. Не знает об этом потому что сам ходит в модных брюках, сшитых на фабрике. О былом помнят лишь небо, вода, лес да сами рыбы. Зато Ай-Теранти знает, что перед ухой надо поесть трепещущей живой стерляди. Не просто знает — так ему хочется. Уж очень вкусна она сырая!

А лес... Зимний лес... Тайга... Тишина. Таинственная

тишина. Не вспорхнет ни одна снежинка. Стройные священные лиственницы будто оделись в серебристую чешую рыб. Они блещут под лучами большого зимнего солнца, выглядывающего из-за белых шпилей бесконечного леса.

Белки. Огненные белочки... Какое наслаждение идти по первой пороше, по сияющему лесу и слушать мелодичную песню лайки! Вот она нашла белку. Огненный хвост не дает ей покоя. И лайка зовет хозяина.

Лес. Нет, он не безмолвный. Ай-Теранти умеет его читать и слушать. Вот на снегу нарисовал узоры горностай. А вот тут сидел заяц, здесь кто-то его вспугнул — и заяц полетел, едва прикасаясь к снегу. Он так летел, что с кустов сыпался снежный бисер.

Здесь, в этих снежных лунках, спали куропатки. Они проснулись совсем-совсем недавно: помет не успел даже побелеть и замерзнуть. Они где-то тут рядом, не в хвое, конечно, а в кустах на берегу маленькой лесной речки. А тут лисица охотилась на мышей. Юркнула мышь в снежную норку, а лисичка и давай копать. Покопала-покопала, а мышь перебежала под снегом в другую норку. Интересно читать зимний лес. Не может Ай-Теранти куда-нибудь уехать, не поскользив вдоволь на широких лыжах по родному снегу, по родному лесу, не почуяв тайну, не услышав сказку, не может он уехать! А мать? А колхоз? А родные люди? Тут без слов все понятно. Ай-Теранти едет в свой родной колхоз.

Кем он там будет? Конечно, рыбаком. А зимой охотником. И будет лес валить он, и на оленях ездить, возить колхозу сено и, может, даже воду, и строителем он будет — все сумеют руки, все обнимет сердце... А для чего, вы скажете, он окончил десять классов? Для чего учился? Как для чего? А кто станет читать лекции в колхозном клубе? Он, Ай-Теранти.

Подари небу песню она сказкой к тебе вернется. Подари реке силу рыбой тебе вернется. Подари земле юбовь счастьем к ебе вернется.

Сегодня я рядом с Ай-Теранти Нас зовет и манит вперед одна дорога. Я слышу в сердце счастье. И кажется, от этого счастья солнце стало выше, ает снег и несмелыми горностаями выбегают из-под снега первые ручейки. А сколько там, под снегом, жизни и движения!.. Любят манси соболей, любят ханты стерлядь, любят северяне край таежный свой. Все там еще не тронуто. Но все знакомо, мило. И каждая тропинка, и каждый ручеек. Здесь качалась люлька моя берестяная; править

юркой лодкой я научился здесь; здесь впервые я почувствовал и нежный трепет рыбы и человеком себя почувствовал. Как же, как же можно сюда не вернуться!

Большие дела закружили Ай-Теранти. Он секретарь райкома. Секретарь... Это слово объяснять не надо. Каждый, каждый знает это. И свое имя несет Ай-Теранти по жизни только с честью.

Я счастлив, очень счастлив. И горд. И не потому только, что Ай-Теранти любит лес, снег, рыбу; не потому, что живет и трудится вместе со своим народом, но и потому, что Ай-Теранти учится. Часто в большой город ездит, сдает в институте экзамены.

...Весна жизни! Он с каждым годом все смелей и смелей входит в тайгу. Солнце все выше и выше! Поют ручьи. Они сливаются и шумной рекою бегут к Оби. А там раздолье! Широта и глубина. Спокойное и торжественное течение в будущее.

Ларкин ушел к геологам

Но найдет к костру дорогу
Путник из таежной чащи,
В котелке рыбак наварит
Золотой ухи дымящей,
И свои кисы просушат
Звероловы у костра!

У нас были геологи. Целый день праздновали встречу. Они угощали нас сыром, сайрой, вином... А мы их — свежей олениной. Говорили, как птицы на рассвете, пели, танцевали.

Нет в тайге радостнее праздника, чем встречи людей! И нет горше расставания, потерь! Мы потеряли Ларкина. Он ушел к геологам. Ему нравится эта специальность. Давно он говорил о них как-то по-особому. И вообще, какое может быть сравнение геологии с оленеводством! Там романтика... Ушел комсомолец... Больше всех огорчен Ай-Теранти...

Нам будет тяжело. Силька ушел. А теперь Ларкин... Лишь Микуль и Ай-от — настоящие пастухи. Итья Татья и Йикор — новички. Вун-ай-ики уже тяжеловат. Арсентия и меня за пастухов не считают, хотя и мы принимаем активное участие во всех делах.

Сейчас нам придется по-настоящему работать... Приближается самое ответственное время — отел.

Хозяин тайги

Мы решили поехать в гости во вторую бригаду. В чуме остались лишь Вун-ай-ики со старухой да невестка Окра.

Долго продвигались к Уралу. Соскучились по людям Встретились хорошо, как в сказке.

А в чуме нашей стоянки вот что произошло. Давно потухло пламя в печке, старик курил трубку, старуха мяла ровдугу [1], невестка мыла блюда, а мальчик спал в люльке Все тихо-мирно. Даже не слышно было, как паслись олени возле родного чума...

Вдруг вздрогнула земля, застучали копыта... «Что это такое?» — заинтересовался старик. Старуха откинула шкуру, прикрывающую вход, и ахнула: «Он идет!» И с оледеневшими глазами бросилась в постель, прикрывшись своей шубой. Шубами укрылись невестка и старик. Под тяжелыми шагами хрустит даже талый снег. Шаги все ближе, ближе... Вот кто-то могучей рукой, как огромным камнем, бьет по шкуре чума. И слышно, как шкура рвется.

«Нет, это не человек!— думает невестка Окра.— Человек к людям входит только через дверь. Он найдет ее в чуме. Так кто же это такой? Может, менква-великан?»

Кто-то уже в чуме. Он дышит тяжело, даже посвистывая. Откуда знать Окре, кто это такой? Ведь она не знает, что старики не зовут медведя по имени, просто «он» величают. Это ведь хозяин тайги, древний предок манси, древний предок ханты. Его назовешь по имени — значит, назовешь его зверем, и медведь тогда обидится...

А зверь, бурый и большой, ходил уже по чуму, как хозяин. Он был зол и голоден. Зол на тех, кто разбудил его так рано. Он ведь мог еще спокойно лежать и сосать свою лапу. А вот разбудили. Придется искать себе добычу. Недоспал. Голова кружится. Как пьяный. Ему теперь все равно. Первое, что привлекло внимание хозяина, было маленькое спокойное лицо мальчика среди шкур. Может, ребенок напомнил ему морды его медвежат? Он подошел в молчании. Послушал, как мальчик спокойно дышит. И, вспомнив, что он очень голоден, поставил люльку на другое место, почти у входа. Запах сушеного мяса нестерпимо щекотал широкие ноздри. Медведь по-

---

[1] Ровдуга — мягкая, выделанная шкура оленя.

дошел к мешку, подвешенному к жерди, разорвал его острыми когтями и, с жадностью чавкая, похрустывая, начал пожирать вкусное сушеное мясо.

...Старик Вун-ай-ики прожил долгую жизнь. Стал белее Кев-ики — старика Урала. Много раз падал снег с тех пор, как он родился, не знает, сколько раз таял снег с тех пор, как он родился, много раз ходил с оленями на Урал, много волков бил. А медведя не убивал.

Молния сверкнет и растает. А мысли еще быстрее, еще острее, когда над головою медвежья лапа висит: за одно мгновение в мыслях вся жизнь вдруг пролетит. Это было давно. Тогда Вун-ай-ики был молод, тогда он был строен и высок, как молодой лось; и задорен был, как порывистый северный ветер.

Однажды охотники стали собираться на медведя. Старшие называли его почтительно. Ни одного худого слова о нем. Тихо собирались охотники. Шумел лишь один молодой охотник. Яковом его звали. Он хвалился своей смелостью, а хозяина тайги ни во что не ставил. Старики просили его быть поскромнее. Но он не слушался, как вьюга.

И вот тридцать человек под корень кедра смотрят. Тридцать рогатин и копий нацелены в темноту под корень. И длинный шест смотрит тоже в темноту. Лает-бесится собака, кусая темноту... И вдруг, как висар вихрь крылатый, вынесся из берлоги Мойпыр. Копья и рогатины, как во сне, чуть вздрогнули, но не полетели. Дальше всех, в стороне, под ветвистой елью, стоял Яков. Никого не тронул сын хозяина Верхнего мира — Нуми-Торума, а Якова отыскал и с головы его, буйной и хвастливой, снял кожу с волосами. Но кровь за кровь! В сердце хозяина тоже торчали копья... Сразу двух кровных «родственников» — Якова и медведя — везли со скорбью люди...

Часто в чаще непролазной
Он с медведем в бой вступал
Перед схваткою опасной
Ноги он кривил, сгибал,
Чтобы у лесной берлоги
Тверже стать, и оттого
Крепкие, как корни, ноги
Чуть согнулись у него.

Вот ведь как бывает. И сегодня хозяин тайги сам пришел. Даже под теплыми шкурами деду было холодно, даже под мягкими шкурами он, как в мороз, дрожал

А между тем хозяин уже подобрел. Мясо уж больно вкусное. Никогда хозяин не ел такого лакомства! И захотелось ему на солнце, к свежести тайги. Острыми когтями снова разорвал чум, яркими лучами взглянуло в глаза медведю солнце. Медведь прищурился, слизнул языком вокруг пасти крошки сухого мяса, увидел нарту с мягкой оленьей шкурой, забрался в нее и прикорнул...

В это время возвращался с утреннего обхода оленей пастух Ай-от — младший сын старика Вун-ай-ики. Приближаясь к стоянке, он заметил, что олени чем-то очень встревожены. Понял он, что поблизости какая-то опасность. Ай-от снял с плеча винтовку. Проверил, заряжена ли она. И, приготовившись к бою с неведомым противником, пошел быстрее к чуму. «Что же произошло?» — думал, волнуясь, Ай-от. Почему-то чум не курил. Куда делись люди? Собаки? Вдруг Ай-от заметил на нарте что-то черное, необычное. Не успел он сообразить, что это такое, как, почуяв железо, поднялся на дыбы медведь и пошел на него с раскрытой пастью. Ай-от выстрелил. Медведь упал почти у ног. Ай-от растерялся, как ребенок. Все произошло в одно мгновение. Даже испугаться он не успел. А потом застучало сердце, затрепыхалось в груди, как маленькая рыбка... Ай-от, как в тумане, вошел в чум. В чуме светло, солнечно. Лоскуты шкуры свисают с жердей с отпечатками когтей хозяина. Люлька с младенцем стоит почти у порога в чум. Глаза малыша летают, как радостные утренние птички. Ай-от поражен увиденным. Малыш веселый, и никого, кроме него, нет... Странно!

— Где мама?— спросил он сына.

Вдруг шкуры зашевелились: показалась голова старика. Она стала белее белого оленя. В глазах его оледенел ужас. Ай-от не мог смеяться...

...Снег, снег, снег... Неужели разыгралась вьюга? Не может быть: ведь светит теплое весеннее солнышко. Снег, снег, снег... Малицы белые, щеки белые, ресницы белые... По щекам струями текут слезы. Нет, это не слезы — это на лицах тает снег. Снежки над чумом, снежки на поляне. Играют в снежки олени, играют в снежки собаки. Они носятся по поляне. А маленькая Мань-аги стоит серьезная, удивляясь, как это большие дяди и большие тети никогда раньше не играли, а теперь играют... Снег, снег, снег... Смех, смех, смех... Начало Медвежьего праздника.

Игра игрой, праздник праздником, но надо трудиться! Какой праздник может быть без труда? Оленеводы снимают шубу медведя, делают чучело его головы. Какой же праздник в тесноте! Решили праздник проводить в Красном чуме. Я, конечно, помогаю, и чтобы не испортить праздничного настроения, я тоже, как и все, не называю медведя по имени, не укоряю людей, что это пережиток прошлого.

Пусть будет праздник! Ведь люди потрудились на совесть: много недель не знали отдыха, кочевали по Уралу, под открытым небом, под холодными звездами, по холодному снегу. Жизнь без отдыха — как лось, попавший в яму; жизнь без праздника — как могила; с песнями и с плясками жизнь словно сказка!..

Пусть повеселятся, пусть покажет каждый, на что он способен. Ведь душа не может жить без крылатой песни, чудной-чудной сказки. А лекцию о пережитках я прочитаю после, когда настанут будни...

И вот на поляне перед Красным чумом горит костер, как солнце. Над костром висит большой котел. В нем — голова хозяина. Уже горит вечерняя заря. По небу кочуют стада звезд. От костра к небу тоже летят звезды, яркие и горячие. На свежевыпавшем весеннем снегу лежат длинные синие тени, а у костра пылают лица малышей. Они сегодня особенно радостные: и снежинки, и звездное небо, и медведь, и костер... Но они не знают, что еще веселее будет дальше, в Красном чуме... Там затевают что-то интересное.

В самом чистом месте, посреди палатки, на столике низеньком, утиноногом стоит «его» голова.

Рядом с ней чашки с печеньем, с конфетами и бутылка спирта. Медведь любит полакомиться, а пить не любит. Зато люди любят, чуть-чуть людям можно. По левую сторону, рядом с хозяином, посадили виновника — охотника Ай-ота. По правую сторону почему-то меня. Я спрашиваю: почему именно я должен сидеть? Они молчат, кивают головами: мол, так нужно. Спрашивать нельзя. Потом я узнал, что это почетное место. Раньше здесь всегда сидел шаман. Он разговаривал с хозяином, узнавал его мысли и желания, предсказывал будущее. А теперь кто знает больше? Врач, учитель, ученый. Они разговаривают с книгами, они тоже знают о болезнях и о будущем. Вот они и должны сидеть рядом с головой.

На столике появилась большая деревянная чаша. Она дымилась, как озеро в летнее утро. И пахла не травами,

не туманом, а чем-то живым, вкусным. А может, этот запах усиливается от подожженного сэныг? Когда горит сэныг, чум наполняется ароматом, которым дышат боги А кто боги? Кто духи? Конечно, мы! Все, сидящие полукругом на мягких оленьих шкурах: и Микуль, и Ай-от, и Ай-Теранти, и Вун-ай-ики, и Йикор, и Потепка, все наши женщины, образовавшие, по древнему обычаю, свой полукруг. Вот Микуль подносит каждому большую чашу. Каждый берет себе кусок мяса, кусок вкусной головы медведя. А Потепка разливает спирт в граненые стаканы и тоже раздает. Ай-от — виновник праздника. Он сидит, опустив голову, скромен и тих, как вечер. Микуль подносит ему душистые глаза. А самый зоркий глаз, правый глаз сына хозяина Верхнего мира Нуми-Торума, дали мне. Раньше давали шаману. Почему давали шаману? Шаман по-мансийски — саман. Глаз по-мансийски — сам Самынг по-мансийски — глазастый. Самынг саман — глазастый шаман.

Рядом со мной сидит Вун-ай-ики — самый старший человек среди нас. Он больше всех бывал на медвежьих праздниках. К нему подходит Микуль и спрашивает:

— А что делать дальше? Ты, дед, как неживой или как олень уставший. А мы на тебя надеялись, как на вожака-оленя. Что делать, мы и не знаем.

— Что делать?— слышу я глуховатый старческий голос старика.— Просто живите, пляшите, веселитесь! Я уже старик. Раньше мы много делали. Шаман был — он все знал. Он говорил, что нас ждет впереди, что думают духи, сам Нуми-Торум. Все говорил. А потом мы веселились, плясали, тулыглахтысув — показывали сцены из жизни. Спрашивайте Потепку, он больше меня, наверно, знает, все же он...— старик запнулся, потом продолжал: — Да вы все сами знаете. Вспомните, что помните, и веселитесь. Только не много пейте. Спирт не веселье, а болезнь. Главное-то — веселье.

Вун-ай-ики говорил тихим, глуховатым голосом. Он сидел рядом со мной, но казалось, он где-то далеко-далеко от меня. Словно не человек говорит, а журчит обмелевший таежный ручей...

Ойнга-писинга — звенят стаканы. Чуть-чуть шумнее стало.

Вдруг... Словно налетела большая птица, рассекая могучими крыльями свистящий, звенящий воздух. И вот птица уже парит высоко-высоко. Будто замерли тайга, снег и звезды. И лица людей сначала вздрогнули, повер-

нулись к голове медведя. Это были звуки санквалтапа Потепка играл уй-тан — гимн медведю. Я залюбовался руками Потепки. Похожий на лодку, почерневший от времени санквалтап под его руками оказался чудом; в сторону отодвинуты куски медвежьего мяса, граненые стаканы... Лица просветлели, как небо утром. А я почувствовал себя древним-древним, словно взглянул в душу медведю и услышал думы медвежьей головы.

...Плавно, высоко парящая птица вдруг рванулась вниз, словно ястреб, и, как утки, встрепенулись люди.

Глаза действительно пылали у всех. Может быть, ярче всего пылали у той, которая кружилась посреди чума, задевая сидящих шелковой бахромой шали. Кто она? Ведь ее глаза закрыты шалью. Наверно, это Итья Татья..

«У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу!» Это прибежали тулыглахтын махум [1]. Лица их прячут берестяные маски — саснелы. Сас по-мансийски — береста, нел — нос. У саснелов нос длинный-длинный. Над узкими щелочками глаз — длинные ресницы и черные брови дугой. Саснелом называют и владельца маски. Саснел может говорить все, смеяться над всеми, даже над медведем и присутствующими.. У него ведь лицо не человеческое, а берестяное. Береста все вынесет!

«У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу!» Вот два охотника. Они в масках, в легких охотничьих малицах, подпоясанные мансийскими поясами, на которых висит сипаль с большим острым ножом и зубы медведей. В руках у них ружья Один целится вниз, себе под ноги. А... это он разыгрывает охотника, убившего зверя. Раздается треск, напоминающий выстрел. Второй охотник нагибается и тянет что-то тяжелое-тяжелое. В руках у него чучело, изображающее хозяина.

— Не я тебя убил,— говорит он медведю,— а убило тебя ружье...

«У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу!» Пляшут пальцы Потепки поют струны. Берестяные маски снова вертятся, размахивая руками, вьются по полу налимами, порхают птицами..

«У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу!» Санквалтап замолкает. Входят трое саснелов. Двое из них одеты в облезлые тонкие малицы. Это, конечно, бедные манси. А третий — с бородой, длинной и широкой, как веник. С животом большим, как у важенки перед отелом. Он не в малице, а

---

[1] Тулыглахтын махум — люди, участвующие в сценических представлениях.

в шубе. Это, конечно, купец. Он достает из мешка что-то блестящее, яркое.

— Вы любите бусы?— спрашивает он голосом теплой, ласковой речки, в которой можно утонуть.

— Это люблю не я — любит моя жена!— говорит один из манси.

— Коль любит, дай белок,— говорит купец.

Охотник протягивает пушистые шкурки.

— Вы любите колокольчики?— журчит еще нежнее голос купца.

— Конечно!— говорит другой охотник.— Без колокольчиков тайга нема, как карась.

— На́ тебе колокольчиков, дай мне песцов.— Голос купца чуть слышен, словно по снегу легкими шажками проходит песец.

Охотник вынимает шкуры песцов, голубых, как утро.

— Нам нужен порох и дробь!— говорят оба враз.

— Пороха и дроби нет. Есть водка! Вы же любите такую водичку?— воркует купец.— Несите соболей!

Охотники несут соболей. Пьют. Пьянеют...

— А теперь платите ясак!— как вьюга, воет купец.

— Больше у нас ничего нет!— говорят охотники.

— Тогда копайте себе яму. Буду вас хоронить, коль не расплачиваетесь!

Охотники покорно копают яму. Летают лопаты, летают земля и снег.

— Померьте, какая глубина ямы,— приказывает купец.

Один манси встал в рост — яма только по грудь.

— Надо еще копать. А то вылезти сможете.

Опять копают охотники.

Купцу уже надоело ждать.

— Больно долго вы копаете! Ничего не умеете делать, медведи и то поворотливее.

— Мы и правда не умеем. Покажите нам, пожалуйста, как надо правильно копать.

Охотники вылезают. А купец спрыгивает в яму. Только он нагнулся — охотники начинают забрасывать его землей. Так и забросали. С тех пор на земле не стало купцов и хорошая жизнь пошла, как в веселый Медвежий праздник,— вот в чем смысл этой сценки.

«У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу!» Саснелы исчезают.

Опять звенят ручьи. Женский танец. Вместо женщин танцуют ребятишки. Трехлетняя Мань-аги накинула свой платок на голову, закрыв лицо и глаза, и стала кружиться в плавном танце. Трудно удержаться на месте, когда иг-

рает музыка. Под ее звуки пляшут в речке рыбы, на деревьях — белки, на земле — люди... Рядом со мной стоял радиоприемник «Родина». Я включил его. Говорила и пела Москва. Кажется, она была рядом, совсем рядом. В эти дни я словно жил в другом веке, на другой планете. Соскучился. И вот Москва... Я предложил всем послушать.

— Правильно!— сказала Итья Татья.— Какой праздник без радио, без новой музыки?

Все собрались у радиоприемника. Передавали концерт по заявкам геологов.

— Замечательный концерт! Геологи достойны его. Сколько богатств открыли они в нашем крае! А ведь совсем недавно он был местом холодной ссылки. Одни снега, волки, мороз.

От бедности и нищеты кому-то снилась знаменитая «золотая баба». На нее указывали римляне в XII веке, и русские промышленники говорили о таинственной «золотой бабе», а манси поклонялись Сорни-най — огненной богине. Но никто не догадывался об истинных богатствах нашего Севера.

А вот геологи догадались. И пошли сквозь дебри, болота, снега и мороз. И нашли не «золотую бабу», а черное золото — нефть, не Сорни-най — огненную богиню, а пламень земли — газ. Открыли клад, какого в мире не было. Это богатство и гордость страны! Это смогли сделать только романтики, только герои!

И кочуют они так же с места на место, любят смотреть новые земли, совсем как оленеводы, и спят они под звездами, на холодном снегу, совсем как оленеводы. Так могут только настоящие романтики!

— Какая веселая у них музыка!— подсаживаясь ближе к приемнику, произнесла тетя Сана.— В Москве, наверно, тоже Медвежий праздник?

Микуль, Итья Татья и я засмеялись, как чайки над Обью.

«У-ку-лу-л! У-ку-лу-лу!»

Прилетели какие-то две важные птицы. Одна разукрашенная, ходит гордо, как куропатка. Другая птица черная-черная, словно она только что вылетела из трубы. Это ворона. Она хлопает крыльями. Дышит тяжело. Устала с дороги. На зиму она улетает туда, где морозы помягче. Вот сейчас только, в вороний праздник, вернулась на Север.

Черномазая ходит около сороки, которая остается здесь. Вертится около нее, заглядывает на нее и сбоку,

и снизу, танцует танец восхищения «героиней». И спрашивает с вороньим любопытством сороку-белобоку:

Всю-то зиму ты, сестрица,
Возле чумов зимовала;
Что ты сделала, сестрица,
Для друзей большеголовых?

Ей отвечает важная птица, почесывая бороду:

Всю-то зиму, всю-то зиму
Я людей большеголовых
Супом досыта кормила.
Ноги я в котел совала,
Чтоб навар густой и крепкий
Дать родне большеголовой.
Видишь, ноги, как тростинки?
Видишь, нос мой, как иголка?
Это мной питались люди,
На моих летали крыльях!..

И ходит она важно, свысока поглядывая на всех, почесывая странную бороду, как будто на самом деле северяне выжили в суровую северную зиму только потому, что питались мясом сороки. И ворона, убегающая от настоящей зимы, поражается ее героизму.

А откуда-то сверху раздались слова:

Ну-ка, люди, поищите
Вы среди своих собратьев,
Поищите и найдите
Тех клювастых, тонконогих,
Что себе в заслугу ставят
Все, что сделано другими.

Это говорил кто-то из старых оленеводов.

Острые слова заставили людей оглянуться друг на друга: нет ли подобных «героев» среди нас? И все вспомнили Митри. Он одним летом ездил на Урал в качестве пастуха. Сколько с ним было оленеводам мучения! А когда вернулся в село, то ходил среди остальных колхозников как настоящий герой. Рассказывал истории, которые и во сне увидеть трудно.

«У-ку-лу-л! У-ку-лу-лу!..»

Что такое? Разве я ослышался? Нет!

«У-ку-лу-л! У-ку-лу-лу!» — звенит, как тоненький ручей, скачущий через камушки. Где камешек — там звонче, где песок — глуше. Голос глуховатый, женский:

Меж зеленых деревьев я по бору
шагаю,
Меж красных деревьев я по бору
шагаю,

Двумя сияющими озерами
я смотрю на мир,
Двумя чуткими лосями слушаю мир:
Языком озорного мальчика кто там
щелкает?
Кедры стоят, словно кудрявые
облака.
Шишками они словно просмолены:
Так много шишек!
Так много шишек!
На вершине кедра кто там щелкает?
Ус-ворын-нэ — ронжа
трещит-щелкает.

Это посреди чума, чуть согнувшись, ходит, напевая, старая медведица, шагает, как по родному бору. Пришла она сама, чтобы рассказать о своей трудной жизни, о своих радостях и печалях.

Все слушают ее. И каждый по-своему.

Вот сидит, как скрючившаяся старая ива, Яныг-турпка-эква — мать Сильки и Ай-ота. Она не помнит, сколько зим, сколько светлых весен прожила на земле. Голова ее словно обросла белой берестой. Глаза ее, узкие, почти бесцветные, все же что-то говорят. Может быть, в них просто безмолвная, спокойная благодарность за то, что медведица родила первую женщину. А потом появились и настоящие люди. Время от времени Яныг-турпка-эква повторяет, чуть вздыхая: «Веселитесь, детки, веселитесь!..» И сама покачивается, как старая корявая ива...

Вун-ай-ики сегодня особенно строг и молчалив. Для него медведица, наверное, воплощение истинной справедливости: она губит только тех людей, которые в чем-то провинились...

А голос медведицы льется. Он обращается к своей подружке-ронже, сидящей на ветке кедра:

Милая кумушка Ус-ворын-нэ,
Летаешь ты на крыльях, сидишь ты
на ветках,
Брось мне шишек, длинных,
как кар [1],
Брось мне шишек, толстых,
как кар,
Бросишь мне шишки — спинной
будет жир,
Долгую зиму спать будет мягче,
Бросишь мне шишки —
жир будет в лапах,
Темную зиму веселей коротать!

---

[1] К а р — непереводимое слово, в смысле большой.

Глаза у маленького Епы сияют, как снежинки на солнце. Он вспоминает лето, качающиеся на ветках смолистые шишки. Сколько раз он сам, как эта медведица, смотрел на ронжу, без труда достающую шишки с жирными кедровыми орехами с высокого кедра. Что крылатой ронже стоит сбросить шишку? И быть может, оттого, что медведица повторила его думы, глаза у малыша сияют, как снежинки при ясном солнце... Епа помнит, что ронжа всегда ворчала, а смысла ворчания он не понимал. А медведица все понимает. Вот что ронжа ответила медведице:

Между небом и землей звенит
твое имя,
Громче грома громкое имя!
Имени такого я не имею:
И то не прошу! И то не прошу!
Вот какое нынче золотое лето!
На короткую зиму можно вдоволь
Запасти утренней еды,
вечерней еды!

«Вот какая хвастунишка!» — думается мне. Летать на крыльях, сидеть на ветках, шелушить орешки — много умения не надо. А легко ли бескрылому карабкаться вверх по смолистым скользким веткам? Не каждый это сможет!..

В деревне мне казался легким труд пастуха. Ведь оленям, думал я, готовить корма, как коровам, не надо: они сами достают ягель из-под снега. И ухода особого не требуют. Оленеводы лишь ездят на них да едят мясо.

Многие так думают, не один я... Но медведица снова обращается к ронже:

Нет у меня крыльев — я прошу
у тебя в долг,
Будешь в беде — тебе помогу!..

В ответ слышится только смех:

Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!
Имя, как гром, а просит, просит!
Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!

И летит под ноги медведице обглоданная шишка Возьми, ешь!

Рядом с Вун-ай-ики по кругу сидит Микуль. Он сейчас о чем-то задумался. Конечно, не о том, что медведь «кровный родственник» и перед ним надо преклоняться Нет! Ведь Микуль не старик! Он думает над словами медведицы. Это о жизни людей поет она.

Что было бы со стадом, если не было бы пастуха Айота, Арсентия, даже Йикора, Итьи Татьи и всех женщин! Микуль один не справился бы с оленями. Стадо разбежалось бы. И горе перед глазами стояло бы. Люди есть — сердце другое рядом, помощь всегда рядом. И нет на земле горя, когда слышишь: «Тебе помогу!»

И я думал о том же: «Медведица не попрошайничает. Она просит помощи. На рыбалке, например, у кого нет лодки, снасти, сетей, можно взять это у любого другого манси — так уж заведено извечно, никто не откажет. И даже просить очень не надо. Главное ведь — нужно ловить рыбу: она не каждый день ловится. Медведица выкладывает древние думы наших предков. Надо послушать, как они думали...»

А ронжи, оказывается, есть и среди нас, даже среди пастухов. Вон медведица близко подходит к Йикору, и едва не прикасается лапами к его улыбающемуся налимьему лицу, и, приплясывая перед ним, напевает:

Ах, чванливое животное,
Ах ты, жадная тварь, не знающая
товарищества!

Был бы ты внизу —
Превратила бы тебя в шкуру,
Из которой шьют голые няры [1],
Превратила бы тебя в шкуру,
Из которой шьют рукавицы!..

Йикор сидит на мягкой оленьей шкуре, скрестив ноги. В ответ на колючие слова он гримасничает, шевелит ушами, а веки глаз завернул и на медведицу уставился красными светилами,— даже лесная женщина отпрянула. Но продолжала петь о том, с каким трудом она вскарабкалась на кедр, настукала шишек и как дразнила ее купчиха-ронжа, бросая под ноги ей обглоданные шишки. В песне летели проклятия...

И Йикор кривляется, не зная, куда деть свое лицо. Татья улыбается, Вун-ай-ики сидит хмурый, опустив голову, загадочное что-то видит тетя Сана. Все слушают древнюю песню, и каждый по-своему.

А медведица пела о том, как, набравшись жиру, проспала зиму в берлоге «сном долгим и толстым, как корень», как услышала она голоса птиц и зверей и пенье ручьев, как опять хозяйкой зашагала по родным борам меж зеленых и красных деревьев и как увидела на вер-

[1] Няры — обувь из гладкой, выделанной кожи.

шине кедра черную пушинку. Вся она высохла. А как хвалилась!..

И кто-то шепчет: «Ты, Йикор, так же дергаешься — вот так же высохнешь, станешь легким и никчемным, как пушинка!» И немолодой женский голос поет в лад со струнами, вливаясь в души:

Что нажила я с трудом великим
Под смех твой злой и дикий,
На весь год хватило
И на весну осталось!
Не насмехайся — помогай другому:
Смех вернется плачем,
Шедрость — весенним счастьем!..

Медведица замолчала. И все дружно захлопали в ладоши. И громче всех — Ай-от, не выдержал. Он должен был сидеть скромно и тихо, а то медведица обидится. Но сегодня все нарушали обычай. И никто не боится: медведь все равно не слышит. И мало кто верит, что чучело слышит. А поют и справляют праздник просто для души.

«У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу!» Входит в чум какая-то женщина в красивой ягушке [1], в длинной шали, в берестяной маске. Идет она вперевалочку, пошатываясь, позванивая колокольчиками.

«У-ку-лу-лу! Пася, олэн!» [2],— тянет пискляво, как кукушка.

— Пася, пася!— говорят сидящие, кивая головами.— Кто ты?

— Я бревно с семью отверстиями.

— Какое ты бревно? Ты человек.

— Я не человек, я ящерица.

— У ящерицы есть хвост, у тебя нет,— говорят сидящие полукругом, внимательно наблюдающие за проделками неведомой женщины.

— Хвост я отрубила. Пусть отвечает за мои проделки хвост, пусть он крутится в чужих руках до заката солнца. А у меня, коль нужно будет, новый вырастет.

— Зачем тебе хвост?

— Раньше шаманила. Ко мне ходили все оленеводы. Теперь никто не ходит. Иногда и теперь потихоньку шаманю, говорю сказки. Вот и нужен мне хвост.

— Ну, если ты ящерица, пусть у тебя вырастет хвост. А, не вырастает! Никакая ты не ящерица!

---

[1] Ягушка — шуба женская с узорами.

[2] Пася, олэн!— Здравствуйте, живите!

— У меня-то хвоста нет, посмотрите у Яныг-турпка-эквы: у нее есть хвост, она хитрая старая ящерица...

Яныг-турпка-эква, сидевшая почти у входа в чум, побледнела, как белая ровдуга, когда ее разомнут крепкие, умелые руки. Только сейчас все узнали, что под маской не женщина и не ящерица, а Йикор. Это он нарядился в женщину-ящерицу. Он, видно, решил высмеять Яныг-турпка-экву. Медвежий праздник — самый подходящий случай для этого.

Йикор-напар. Недаром к его имени прибавили слово «напар» — сверло. Всех просверлил, всех осмеял, выкрикивал самые едкие, самые низкие слова... В берестяной маске можно!..

Тут не выдержал Ай-от. Вскочил. Глаза его загорелись негодованием: так относятся к его родной матери! И кто бы! Этот подслеповатый, никчемный Йикор. И что она сделала Йикору?

Видно было, что Ай-от готов был превратить Йикора в воду, затоптать в снег. Но идет Медвежий праздник. На празднике можно драться, но не кулаками, а острым, колким словом, песнею-стрелою, огненными плясками. Ай-от вышел из чума.

«У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу!» Раскачиваясь, как дерево в пургу, ввалился в чум саснел. Ветра не было, а он качался, бури не было, а он шумел и трясся, как осина:

Йикор, Йикор, хапйив [1] Йикор,
Йикор, Йикор, напар Йикор,
Если каплю водки выпью,
Стану шумным, как осина,
И затреплется язык мой,
Словно шумный лист осины...

И посреди чума трепетали листья осины — разноцветные лоскутки шкур. Они летели вместе с руками пляшущего, дрожали на его плечах, болтались на ногах. Летели острые слова, дрожали, как брызги волн на Оби во время шторма...

«Что чувствует сейчас Йикор?— думал я, глядя на него.— Не скажет ли: «Нет, это не я, я не такой страшный». Или Йикору все равно?»

Отомстив Йикору, Ай-от задумался. Все-таки слова напара кольнули его. Доля правды в них есть — ведь из-за матери и отца поссорился Силька с красивой и любимой Настой. Родителям перечить нельзя, а жена ушла из дому.

---

[1] Хапйив — осина.

И Силька остался один...

Ай-оту больно. Может быть, он сегодня впервые здесь, на Медвежьем празднике, подумал о своей матери, о том, какие разные отцы и дети, как по-разному глядят на жизнь.

А у медвежьей головы, наверно, своя дума о жизни...

«У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу!»

Вертится саснел, одетый в длинные резиновые сапоги и в фуфайку. Это, конечно, рыбак. Вслед за ним летает птичка — тюл-тюлнэ — кулик.

— Тюл-тюлнэ, тюл-тюлнэ — какая хорошая птичка!— поет старик рыбак.

И довольная птичка гладит свои перья, кружится в плавном танце.

— Тюл-тюлнэ, тюл-тюлнэ, ты совсем нехорошая птичка, ты кукушка, не любящая детей. Раз интернаты есть, детсады есть, мать теперь не нужна — так ты рассуждаешь, все на государство валишь!— снова поет седой рыбак.

Птичка замирает на месте, поникает смущенно головой.

— Тюл-тюлнэ, тюл-тюлнэ, ты хорошая птичка, весной прилетаешь, людей веселишь, радость в душу приносишь!— продолжает петь старик.

И снова птичка радуется, перья поглаживает, в танце кружится.

— Тюл-тюлнэ, тюл-тюлнэ, ты сварливая птичка, как сварливая жена председателя колхоза.

— Тюл-тюлнэ, тюл-тюлнэ, ты лектор из города, говоришь монотонно, как осенний дождь, и мы уже выспались.

— Тюл-тюлнэ, тюл-тюлнэ, ты совсем не птичка, ты комсомолец Ларкин. Не хочешь быть оленеводом, хочешь быть героем-геологом?..

И птичка нахохлилась, встопорщилась, как воронье гнездо...

Все долго смеялись. И над тюл-тюлнэ, и над теми, кого называл старик. Хорошо! После смеха легче на душе. и тело, кажется, становится легче, словно был в жаркой летней бане.

Баня... Почему она вспомнилась мне? Только и потому, что больше месяца я не мылся, или потому, что вспомнил слова дедушки: «Как побываешь в жаркой бане да постучишь по горячему телу сначала нежным веником, потом острыми зубьями щуки, выпстишь дурную кровь — сразу помолодеешь!»

Медвежий праздник — это совсем не праздник медведя,

не религиозный праздник, как утверждают некоторые, а праздник охотников, жаркая баня с острыми словами, крылатой пляской; нежной песней, волшебной музыкой!

Последняя песня

Никогда не ведаешь покоя.
Вечно, как метелица в горах,
Зреет в тебе доброе, лихое,
И любовь цветет врагу на страх,
Светит солнце, над землею рея,
Не боится солнце ничего.
Но ровесник мой душой щедрее.
Жарче солнца сердце у него.

А вот и солнце. А рядом с ним — горы, они серебристо-синие. Кажется, они колышутся, нежно покачиваются. Это не горы колышутся — это струится воздух теплый. Это ласкается синий ветер. В нем запах морошки и ледяных вершин Урала, дыханье вновь рожденных оленят и юных оленеводов.

...У большого камня на мягком ягеле на корточках, чуть пригнувшись, сидит Итья Татья. Грудь ее круглая колышется, а черные глаза кажутся синими. Она словно цветок на этой поляне между скал, где стадо остановилось на отел.

В руках у Итьи Татьи олененок. Он еще мокрый. Но уже радостный и живой. Причмокивает язычком, что-то ищет губами. Только что родился, а как он хочет жить, двигаться, сиять глазами!.. А ведь станет большим, рогатым...

Молодой олень,
Молодой олень,
Тебе не лень
Бегать целый день.
По колючим мхам,
По сырой траве
Носишь ты дерево
На своей голове.
Но придет зима,
Холода придут —
Люди в нарты
Тебя запрягут...

Олененок смотрит на Итью Татью. Глаза его смолистые, ласковые, как глаза любимого. В них нет ни высокомерия, ни лжи, ни укора. Свет их ясный, теплый.

Они греют человека в пургу. Дают ему крылья — и он етит на своей нарте, словно вьюга.

Я люблю глаза оленьи —
Полных две луны,
В них не лживое томленье—
В них отражены
Наши дали, наши елки,
Чистый снежный наст
Все, что в памяти и в сер
Навсегда у нас.
И летит со свистом нарта
Вдаль по целине,
И возвышенней не надо
В мире счастья мне.

Итья Татья улыбается. И все улыбаются, как тогда, когда Мань-пыг был спасен умными руками Итьи Татьи.

А еще... Глаза ребенка...
Радость в них живет.
Взглянут — кажется, что звонко
Запоют вот-вот.
Это две рассветных птицы,
Вешних два ручья...
Хоть и не слаба — пред ними
Беззащитна я...

...Над скалами вьются лучи солнца. Они садятся на заснеженную спину горы. От их ласки просыпаются и поют ручьи и на холодных вершинах начинается жизнь.

ад оленями тучи оводов.

огда тысячи оводов нападали на оленя и тысячи личинок буравили его кожу, ясные глаза оленя закатывались. Много оленей тогда гибло. А теперь стало меньше.

И все это потому, что в бригаде есть новый оленевод, молодой оленевод Арсентий. Если бы не цветная ковбойка с короткими рукавами, трудно было бы отличить его от оленей на берегу прозрачной горной речки.

Боятся его крылатые тунеядцы, жмутся к нему друзья рогатые: Арсентий их чем-то опрыскивает. Наверно, проверяет свой новый препарат.

А рядом с Арсентием — Микуль. Хотя и жарко, он все одет в своем синем кувсе [1], подпоясанном широким поясом. Он слушает Арсентия, как слушали когда-то шамана. Видно, очень хочет быть новым оленеводом! Скоро их будет много-много — ведь за это взялся комсомол района! Ай-Теранти подберет, конечно, самых достойных.

[1] Кувсь — длинная рубашка с капюшоном, сшитая из сукна; надевается через голову.

И тогда старики останутся дома. Там, где будут стучать копыта оленей, сказки новые зазвенят...

А на склоне горы — тоже олени. Они цепочкой яоких бус тянутся ввысь вдоль склона. Там, почти под облаками, ходит Ай-от. Его отсюда не видно. Слишком высоко забрался он.

...Ветер и снег, колючий мороз и скользкая слякоть кочуют с оленеводом. Ночью на него смотрит небо. Внизу снег, наверху холодные звезды. А он спит. И даже во сне не чувствует себя героем, не жалуется светилам и не требует внимания. А утром — опять дорога. И стадо движется. И жена и дети в нартах. У губ маленьких северян морозец играет белой струйкой. Он так и скачет около малыша. Прильнет к щеке — и она белая, прильнет к ушам — они горят. Но малыш не жалуется и не плачет. Бегут олени, бежит дорога, пляшет мороз — и так всю жизнь!..

...Тысячи оленей в стаде. А пастухов пятеро. На земле есть злые волки. Они любят мясо. Глаз да глаз тут нужен. А чуть ослабнет внимание — и волчья пасть раскрыта, лежат рога оленя, ручей журчит у горла, и ярче зари снег...

Хищник не знает меры. Пятнадцать — двадцать зорь пылают на снегу, пятнадцать — двадцать оленей навечно припали к земле... Но стадо оленье растет! А какой он, этот человек-оленевод? Не из камня ли он вытесан, не из льда ли он слеплен, не северными ли ветрами он на свет рожден? Для меня это порою тайна...

Пока над моим письменным столом со стопой ученических тетрадей светила электрическая лампа, а от белой русской печи струилось мягкое тепло, жизнь казалась мне яснее дня. И не было сказок и тайн... И думалось мне, что я знаю оленевода. А он оказался сложным и непонятным... Только в каслании, только в дороге открылись мне его настоящие черты: его мужество и стойкость, его доброта, его стремление к красоте.

Снова и снова я вспоминаю нашу дорогу.

Олени бегут, бодают небо... А на рогах пляшут одни и те же светила, и не меняются зори... Таинственно кивают кедры, да сияет снег, снег, снег... Едешь ночь конца не видно, едешь месяц — конца не видно, едешь год — конца не видно. Только тишина и снег, снег, снег И я начинаю понимать, открывать...

Человек — тайна. Человек — сказка. Человек — неспетая песня. Песня складывается в пути...

Пойте, люди, свою песню! Выходите в дорогу!



Владимир Санги

Женитьба Кевонгов

Роман

Посвящается моему сыну Позвейну, первому нивху, родившемуся в Москве

Автор

Глава I

Еще в дни ледохода стойбище имело два топора. И если бы не этот окаянный Наукýн... Старейший рода Кевонгов скудоволосый и седой Касказúк велел сыновьям заготовить шесты: ожидался рунный ход горбуши, а солнце должно еще провялить древесину и съесть смолу. Братья — Наукун и Ыкилáк — ушли за стойбище к подножию кручи. Здесь, на средней террасе, над пахучим багульником и упругими кустами голубицы поднимался светлый лесок молодого лиственничника. Деревца тонкие, стройные, высокие. Братья рубили не спеша, выбирая длинные и ровные.

Ыкилак уже закончил рубить и ошкуривал, когда услышал резкий дребезжащий звон. И тут же — досадливый вскрик. Почувствовав неладное, юноша поспешил к старшему брату. Тот разглядывал топор, держа его лезвием к себе. В прошлом году отец выторговал этот тонколезвый топор за две крестовки [1]. И сейчас вот чуть не половина лезвия откололась.

Вечером братья вернулись домой, и Наукун, как старший, сообщил о проделанной работе.

— Двадцать штук,— сказал он, опустив голову. Пальцы машинально сдирали с ладони прилипшую смолу, скатывали шарики.

— Хватит. Там, у переката, восемьдесят прошлогодних. И здесь — шестьдесят старых да двадцать новых. Хватит

Братья продолжали стоять, опустив головы. Старик насторожился. Вроде бы все в порядке. Поработали крепко.

---

[1] Крестовка — темная дорогая лиса.

В чем же дело? Наконец глаза старейшего скользнули по топору, зацепились за изломанную, с острыми краями, щербину.

— Хы! — Старик схватил лежавший рядом толстый сук, с размаху ударил по плечу старшего сына. Наукун, уклоняясь от новых ударов, подставил спину. Но злости у отца хватило еще лишь на один удар.

Старик выдернул топор из рук Наукуна, чтобы закинуть в реку, но передумал, стал внимательно разглядывать лезвие. Блескучая зернистость на изломе. Металл, гладкий снаружи, внутри как бы спрессован из мелких зерен. Охваченный удивлением, Касказик засунул топор под мышку и пошел в то-раф [1].

Наутро отец сказал за чаем:

— Теперь ночи для вас не будет.

Потом ушел к берегу, сел на корточки и внимательно осмотрел тополиное долготье, будто глазами хотел прощупать всю толщу древесины, определить, насколько она просохла. В прошлое лето сыновья в два топора срубили дерево-великан, разрезали на части: одна в семь махов [2], другая — в пять с половиной.

Жители Охотского побережья любят большие лодки. У них свои мерки. «О-о, хорошая лодка,— говорят обычно и тут же поясняют: — Три лахтака и еще две нерпы можно погрузить». А Касказик приведет две новые, без единой трещины. Уже давно приморские нивхи не видели лодок, сделанных руками Касказика. Однако и по сей день те, кто выходил во льды на его лодках, помнят: легкие, с крутыми, невысокими бортами челноки устойчиво держались на волне и при ветре, даже резком, не ложились набок, легко разрезали волну, слушались рулевого весла.

Вскоре после путины пригонит Касказик к туманному морскому берегу две новенькие ладные лодки. Все приморское стойбище — стар и млад — сбежится поглядеть на нивхов с Тыми, позавидовать их лодкам. Нет, Касказик не задержится на берегу — сразу в ке-раф [3] старейшего.

Около месяца сыновья долбили и рубили дерево. За это время их мать Талгу́к успела связать неводок из крапивы. В прошлое лето она нарезала крапиву и пучками вывесила на ветер. Пучков было много — заняли четыре шеста. А в короткие зимние дни среди множества хлопот она находила время и сучила из расщепленных волокон

---

[1] То-раф — зимнее, основное жилище нивхов.

[2] Мах — единица измерения длины, равен размаху рук.

[3] Ке-раф — летнее жилище.

нитки. Дня зимой всегда не хватает. И Талгук сучила и в темноте, засиживаясь допоздна, чуткими пальцами безошибочно определяя толщину ниток.

Отец же возводил новые х' асы — каркасные вешала для юколы — или подправлял покалеченные зимними буранами старые. И каждый день до изнеможения возился с покалеченным топором. Касказик сточил уже несколько крупных брусков, выбранных им из речного галечника. Лезвие, казалось, почти не стачивалось. Но упрямый старик добился своего. В день, когда брусничник распустил маленькие, круглые, как бусинки, нежно-розовые цветочки на тоненьких ножках, торжествующий старик держал в руках тот же топор, но с укороченным сверкающим лезвием. А когда на перекатах забились первые серебристые гонцы горбуши, он велел сыновьям залить грубые, похожие на неумело сделанные большие корыта долбленки речной водой: стенки намокнут, станут податливыми.

Через несколько дней Кевонги вылили воду из долбленок и заранее приготовленными сухими деревянными распорками аккуратно и очень ровно развернули борта. Долбленки простоят на солнце до конца лета, просохнут, и только тогда старик доведет их: острейшим топором выточит борта и дно, придаст корме и носу нужную форму.

Закончив работу, братья наложили на израненные ладони мясистые листы подорожника, обвязали берестой...

Глава II

В начале осени Касказик вынул из угла завернутый в тряпку топор — тот, который спас неимоверным трудом. И наказав сыновьям ловить кету, занялся лодками.

Наукун и Ыкилак положили новенький неводок в старую долбленку, спустились по Тыми к перекату. Люди стойбища Ке-во знали урочище как свои ладони: помнили каждый мыс, каждую излучину и даже кусты на берегах и камни на перекатах.

Ыкилак стоял на носу и, отталкиваясь шестом, вел лодку по быстрому течению. Река стремилась закружить лодку, и юноше все время приходилось быть начеку.

Шест больно отдавал в грубые ладони. На поворотах и Наукун брался за свой шест.

Через два поворота, за мысом Комр-ах, длинным, похожим на язык, река сломалась: течение уперлось в подвод-

ные камни, вскинулось и круто упало. За перекатом русло глубокое и течение спокойней.

Братья пристали к песчаному берегу чуть выше переката и стали наблюдать за рекой. Дождей давно не было, и мыс вытянул свой язык чуть ли не до середины реки.

Прошло какое-то мгновение, и Наукун воскликнул:

— Вот! Вот! Вот!

Ыкилак взглянул туда, куда показывал брат. Между камнями, там, где течение бугристо срывалось вниз, что-то мощно стрельнуло. Это могла быть кета — большая и сильная рыбина. Наукун глядел победителем — как-никак он первый заметил, что кета уже пришла из моря. То здесь, то там длинные бурунчики указывали путь рыбин.

Братья стояли молча, радостно ошеломленные: пришло главное для жителей берегов Тыми время — время лова кеты.

Можно было метнуть невод. Но не хотелось действовать наугад: неизвестно, проскочившие между камнями рыбины — от косяка, который остановился у переката, или сильные гонцы-одиночки, которые первыми спешат к нерестилищам. Вечернее солнце отражалось в реке, било в глаза слепящими бликами. Какое-то время братья стояли в нерешительности. Конечно, можно закинуть — хоть несколько штук, да поймается. Но неводок у них новый, еще не был в деле. Хотелось начать с доброй добычи. Есть примета: каков первый замет — такова будет и уловистость невода.

Ыкилака осенило — он нашел на берегу высокий тополь и взобрался на него. Сверху толща воды просматривалась, но Ыкилак не увидел привычного темно-серого дна реки. Дно было почему-то черное. Какое-то время он соображал, с чего это дно так почернело. И тут заметил: в сплошной черноте то и дело проскакивало что-то продолговатое, белое. Вгляделся — голова закружилась: рыбины стояли так густо, что задним, чтобы пройти вперед хотя бы на длину своего тела, нужно было с силой растолкать передних. А те разевали острозубые пасти, давали знать, что без боя не уступят места.

Ыкилак скатился с дерева, второпях неловко перехватился рукой, ободрал кожу. Сунул кровоточащий палец в рот, отсосал кровь и крикнул:

— Рыба стоит, большой косяк!

Братья сняли летние торбаза, сшитые из скобленой, без шерсти, кожи ларги[1], засучили штаны. Осторожно, придерживая лодку за борт, спустили за камни переката.

[1] Ларга — крупный вид нерпы.

Наукун взял конец и оттолкнул лодку. Конец достаточно длинный — двадцать махов. Это оттого, что неводок короткий,— при замете он должен захватить ту часть реки, где больше рыбы. А рыба часто стоит в тайхурах — ямах посредине реки. Ыкилак взмахнул шестом, резко распорол воду впереди у борта, достал дно, оттолкнулся. Потревоженные рыбины стрельнули в стороны.

Надо побыстрее закруглить невод. Несколько сильных толчков, и лодка свернула к берегу. Невод остался позади, и лишь подрагивающие деревянные поплавки указывали, где он находится.

Братья кое-как подтянули неводок, но притонить не сумели: рыбы попало слишком много. Надо что-то делать, иначе большая удача обернется бедой: сильные рыбины могут разорвать неводок.

Ыкилак подскочил к брату, подал мокрый скользкий конец:

— Держи!

А сам, сбросив одежду, полез в невод. Рыба словно взбесилась, колошматила его хвостами, спинами. Ыкилак шел в глубину, с трудом пробивая дорогу в бьющейся массе.

Наукун стоял, раскрыв рот: что там еще задумал младший брат. А когда сообразил, крикнул:

— С ума сошел! Зачем отпускать то, что уже есть!

Но Ыкилак не слышал. А если бы и слышал, поступил бы все равно так, как решил. Еще много рыбы они поймают. Если, конечно, спасти невод. И Ыкилак схватил за подбору, дернул вверх.

Задыхавшиеся в темноте рыбины почувствовали свободу и заметались, определяя, в какой стороне они могут найти спасение.

Через миг-другой, словно влекомые невидимой силой, дружно устремились в глубину, туда, где стена невода была приподнята над галечным дном. За неводом взорвались буруны — это освободившиеся рыбины удирали подальше от ловушки.

— Хватит! Хватит! — орал Наукун. Но Ыкилак продолжал держать подбору на вытянутых кверху руках. Оглядываясь, он прикидывал, сколько еще нужно выпустить.

Откуда-то сзади вырвался крупный серебристый самец: голова в четыре кулака, сам толстый и широкий, нос крюком. Сметая на своем пути другие рыбины, он набрал скорость и таранил Ыкилака в спину. Юноша качнулся, руки опустились. Самец звучно шлепнулся в реку за спасительной чертой.

Наукун видел все. Он хохотал, явно издеваясь над братом. А Ыкилак ругал себя: «Сам виноват, не заметил вовремя, а то бы бросил подбору, вцепился руками и зубами в его здоровенную голову. Сколько там хрящей и жира — вкусная! — Голую спину саднило.— Ну и рыбина: чуть человека не прикончила», — восхищался Ыкилак.

Видя, что брат замешкался, Наукун потянул на себя оба конца. Ыкилак долго выбирался к берегу, шагая по плотным скользким спинам. Наукун хохотал над неудачей младшего брата.

Подтянуть-то невод подтянули. Всего маха на три-четыре. И опять в неводе стало угрожающе тесно. Ыкилак вновь полез в воду, но на этот раз по колено. Он хватал крупные рыбины за хвост и бросал на пологий песчаный берег. Иногда попадались такие крупные, что удержать за хвост оказывалось просто невозможно.

Уже в темноте братья перетаскали улов к голым пока вешалам, которые завтра оживут красной, аккуратно нарезанной юколой.

Талгук сегодня развела огонь не во дворе, а в очаге — по ночам уже прохладно и надо, чтобы то-раф потихоньку прогревался. Уже и мужа накормила, а сыновей все не было.

— Даже еды с собой не взяли,— сказала она тихо.

Касказик ничем не выдал себя; о чем думает старик, Талгук не знает. После долгого молчания он спросил:

— Где твои ножи? Проржавели небось.

Более двух месяцев, со дня последнего лова тайменя, лежат ножи, обернутые в тряпку. Талгук сняла их с полки, размотала тряпку.

Касказик протянул руку и этим вконец сразил старуху. В какие годы и в какие времена почтенный старейший рода позволял себе такое пустяковое занятие — точить женские ножи?! Он мог сделать невероятное: спасти изуродованный топор. Но заниматься женскими ножами...

Длинные, в три четверти руки, узкие, с загнутыми концами ножи Касказик выковал из самурайской сабли. Долго отпускал сталь на жарких березовых углях. Каленную докрасна и податливую перековал, вытянул в длинную узкую полоску. Разрезал на четыре неодинаковых куска. Из одного, среднего, сделал себе охотничий нож. Из самого короткого — кривой строгальный. Чтобы он не тупился, калил на огне, а затем опустил в холодную воду. Из двух остальных кусков получились ножи — узкие и длинные, чтобы удобно было пластовать самую крупную рыбу. Этих ножей Касказик не закалял — мягкая сталь лучше сколь-

зит в сырой рыбе, разрезая ее на тонкие ровные полосы. Да и точить такие легче. К тому же при соприкосновении с гравием острие из каленой стали крошится.

На глазах изумленной Талгук Касказик вынул из-под нар деревянный ящичек и на ощупь нашел плоский камень-точило. Выправить лезвие ножей — дело несложное. И Касказик при отблеске очага принялся за работу, которую обычно выполняла Талгук сама, перед тем как разделывать рыбу.

Наутро старейший не взял в руки топора. Пришло время промысла. В дни промысла нивхом овладевает азарт Тот, непохожий на все другие страсти, азарт, который возникает только у добытчиков. Эта страсть зажигает огнем угасшие взоры стариков. Она поднимает с постели больных, кружит им головы и, обезумевших, гонит за добычей.

Братья после утренних заметов отогревались у костра, когда подошли родители. С ними прибежала и собака. Окинув взглядом две горки рыбы, Касказик молча подсел к костру и произнес, ни к кому не обращаясь:

— Начался рунный ход.

Талгук же зачарованно глядела на добычу сыновей, считала улов — хвосты. В счете своем она уже перевалила за сотню, когда старик движением плеч показал, что недоволен ее бездействием. Талгук знала, чего требует муж. Она схватила плоскую деревянную миску и средний по размерам нож, отобрала крупную рыбу — самцов. Наточенный нож входил легко, и Талгук отрезала одну голову за другой. Много рыбы под низом, сотни две будет. А другая горка и того больше. Талгук улыбалась своим мыслям, но вдруг оглянулась, словно ее уличили в нехорошем. «Добрый дух, не смотри на меня сердито. Я знаю, нельзя быть жадной и грех считать твои дары: сколько бы ты нам ни дал — много ли, мало ли,— мы всегда благодарны тебе. Не сердись. Не обходи нас».

Талгук кинула крупные головы в студеную воду, ловко смыла густую слизь и принялась разрезать. Жаберные крышки и костяные обводы пастей с большими загнутыми зубами она легко убрала короткими движениями ножа. Отделила челюсти.

Чай пусть себе греется пока. Касказик положил в рот полоски нежнейших челюстных мышц с тонким мягким хрящом. Потом разжевал мясистые щечки и следом же — большие, разрезанные пополам глаза. К тому времени, когда старик добрался до главного лакомства — крупных носовых хрящей, запел чайник.

Братья тоже ели головы. Но, стремясь быстрее насытиться, избавляли себя от лишних хлопот — срезали только хрящеватые носы, жевали крупно и смачно.

Запасливая Талгук прихватила с собой щепоть чая, завязав ее в тряпочку. Мужчины наелись, потом пили обжигающий душистый чай, радовались добыче, старались хоть на сегодня забыть о больших, но дальних заботах. В довершение радостей с наветренной стороны жаркого костра пеклась распластанная кета. Красная рыбина от жара становилась еще краснее, испускала дразнящий аппетитный дух, исходила соком и жиром.

Талгук подобрала кости и недоеденные хрящи от кетовых голов, бросила собаке. А сама в это время мысленно разговаривала с Курном — всевышним духом: «Видишь, как мы хорошо поступаем: ни одной косточки от твоего дара не пропало. Делай нам всегда хорошо».

Талгук не стала ждать конца трапезы — принялась резать рыбу. И старик допивал чай в одиночестве — сыновья занялись мокрым неводом. Нужно очистить его от травы и развесить на шестах, чтобы побило ветром. Нити из крапивы боятся сырости, и, если после замета оставить невод комом, быстро может погибнуть.

Сыновья пробудут на мысу дней десять. Потом рыба пойдет вверх и перед тем, как устремиться на нерестилища, задержится в Пила-Тайхуре — Большой Яме: будет ждать, пока созреет икра. Вместе с сыновьями все дни на мысу проведет и мать. Ей предстоит очень много работы: ни одна кетина не должна пропасть. А у переката рыба жирная, мяса в ней много. И приходится срезать по две, а то и по три полосы с каждого бока. Тонкие полосы быстрее схватит солнце, и ветер быстрее провялит. Правда, в долине Тыми дождей меньше, чем на морских побережьях, но и здесь иногда случаются многодневные дожди, особенно во второй половине осени. В сырую погоду рыба портится, и юкола получается плохая, заплесневелая. Об этом знает любой нивх, и в сезон заготовок юколы каждый молит богов, чтобы светило солнце. В долине Тыми всегда больше солнца, потому и юкола у здешних жителей лучшая.

Сыновьям и жене предстоит много работы. Надо, чтобы им было где укрыться от дождей. И Касказик после утренней еды принялся за шалаш. Когда наступило время полуденной еды, шалаш из ветвей и травы был готов.

Потом старик сходил в стойбище, принес немного нерпичьего жира и посуду. В тот день он был благодушен и лишь подумал с досадой: «Как мальчишки — нет бы сразу за-

хватить с собой в лодку. Теперь приходится мне спину ломать».

Ыкилак помогал матери, рогатиной с длинным черенком поднимал на вешала шесты с юколой. Касказик удовлетворенно наблюдал за спорой и красивой работой жены: все полосы — с боков вместе с кожей и с середины ближе к хребту — срезаны аккуратно, без порезов. Такая юкола не только радует глаз, когда вялится. Если сыро, влага быстро скатывается с гладкой поверхности. А на трещинах и порезах влага держится долго. Оттого-то плохо сделанная юкола обычно и портится.

Красиво режет рыбу жена. У нее всегда хорошая юкола. Такую не стыдно подать самому почетному гостю.

После того как подняли на просушку неводок, Наукун лег в высокую плотную траву, закинул за голову руки и, ни о чем не думая, глядел в белесоватое нежаркое небо. Наукун ловил себя на том, что сегодня его раздражает все. И то, что рыба так обильно пошла, и то, что Ыкилак догадался на дерево влезть и оттуда разглядеть рыбу, и то, что мать так быстро и старательно режет ее. Раздражало, что отец доволен уловом. Правда, он никак не проявил радости: ни словом, ни жестом. Но Наукун знает отца, тот от радости еще больше уйдет в свои мысли, ни с кем не поделится ими — разве только с матерью, да и то, когда сочтет нужным. Лишь глаза, вдруг потеплевшие, и глубокое нечастое дыхание выдают его.

Солнце уже пошло к закату. Стало прохладно. Наукун поднялся, взглянул в сторону вешал. Уже почти с половины перил гигантскими языками свисает свежая юкола. Наукун отвернулся, отошел в сторону, зло пнул валежину. Ыкилак занят юколой и хребтинами, на которых мать оставляет изрядный слой мяса. Хребтины тоже вывесят на солнце, чтобы зимой кормить собак... Пусть и ваши собаки подавятся!

Наукун нашел сухие валежины и развел костер.

Перед вечерним чаем мужчины решили снова полакомиться. Пока старик и сыновья с хрустом разжевывали сочные хрящи, Талгук сварила и подала рыбьи сердца Это блюдо красит собой трудный, но радостный день кетового промысла

Вечерний костер набрал силу, и его нужно было только поддерживать. Ыкилак приволок сушняк, разломал, ударив о землю.

Злость не проходила. И чтобы хоть как-то избавиться от нее, Наукун сказал:

— У нас был бы больший улов. Все из-за Ыкилака — мы притонили очень много, а он выпустил.

Ыкилак рассердился: «Порвал бы невод!»

— Ничего бы с ним не случилось — новый.— Наукун чувствовал свою неправоту и от этого еще больше злился.

— «Не случилось бы, не случилось»! — передразнил Ыкилак. Он знал: не соглашается из упрямства. Только из упрямства. Да еще потому, что уродился вот такой злой.

Касказик протянул руку к костру, нашел ветку и горящим концом сунул в черное чрево трубки, донышко которой прикрывал тонкий слой табачной трухи. Затянулся жадно, загнал дым в легкие и долго не выпускал, наслаждаясь. Потом сделал длинный выдох, медленно выпуская чудодейственный дым.

— В давнее время, когда только-только нивх поднялся на ноги, не было реки Тыми. Не было тогда на нашей земле никаких рек. Но уже жили на этой земле нивхи — совсем немного родов. Плохо им жилось, трудно им жилось. Не было тогда зверя в обилии, не было и рыбы в обилии. И быть может, совсем бы не поднялись нивхские рода, если бы однажды Тайхнад — сотворитель всего живого — не ступил на нашу землю. Он вышел на землю там, где сейчас Тыми с морем встречается. Вышел на землю Тайхнад и пошел в глубь суши. Там, где прошел Тайхнад, остался глубокий след. Щелкнет бичом влево — останется на земле след. Щелкнет вправо — такой же след.

Вслед за Тайхнадом вода пошла волной. След Тайхнада стал рекой Тыми, а следы от бича — притоки. Длина дороги Тайхнада — четыре дня езды на собаках.

И вот однажды Тыми забурлила. Запенились ее притоки. Это Тайхнад послал к берегам нашей земли, в реки, несметные стаи горбуши. Чтобы нивх не умер с голоду Чтобы нивхских родов было много. Чтобы в нивхских родах было много людей. Тайхнад тогда сказал нивхам: «Пусть каждый возьмет себе рыбы, сколько нужно ему и его собакам».

Но некоторые люди забыли слово бога. Рыбы было очень много, и эти люди, поймав горбушу, откусывали вкусные носы — хрящи, а рыбу выбрасывали в воду. Много рыбы сгубили. И это рассердило Тайхнада. Он сделал так, что в следующее лето в реки пришло мало горбуши. Но люди думали, что рыба еще пойдет, и снова откусывали носы, а саму рыбу выкидывали. И вот пришла осень — а стаи осенней кеты так и не подошли. Зима оказалась очень трудной — в стойбищах людей поубавилось.

Снова пришло лето. Рыба устремилась дорогой Тайхнада. Сытость пришла к нивхам. А когда человек сыт и вокруг пищи много, он теряет память, его ум становится не длиннее его носа. Люди опять ели только голову, а рыбу выбрасывали. Тогда Тайхнад сделал так: два лета подряд нивхи видели в своих реках лишь редкие хвосты горбуши. Только тогда люди научились беречь рыбу — свою главную пищу. Теперь не пропадала ни одна рыбина. С тех пор и повелось: горбуши приходит много только раз в три лета. А в остальное время — мало. И у нивхов теперь уже никогда не пропадает ни одна рыбешка.

Братья поняли, почему отец вспомнил это предание. Ыкилак подумал: «Хорошо я сделал — выпустил часть рыбы: сегодня тепло и рыба бы пропала раньше, чем мать управилась». Наукун же исподлобья взглянул на отца: «Что я — хуже всех, что ли?»

Утром Касказик вернулся в стойбище.

Несколько дней ловили у мыса Комр-ах. В шесть рук резали рыбу. Все вешала — шестов семьдесят — завешаны юколой. Дни стояли ясные, и первая партия юколы уже завялилась. У мыса больше делать нечего — кета проскочила перекат и ушла выше. К тому же негде развешивать рыбу.

На девятый день Талгук спустила с вешалов первые шесты и связала упругую подвяленную юколу в большие связки. Братья загрузили лодку и двинули ее вверх, к стойбищу. А Талгук вернулась домой пешком.

Еще издали сквозь шум течения братья расслышали гулкие звуки — отец мастерил лодки. Ыкилака охватило нетерпеливое любопытство: много ли сделал отец за их отсутствие? И велико же было его изумление, когда, поднявшись на берег, увидел совершенно готовые, стройные, ровно оструганные долбленки. Отец наносил последние удары острым поделочным топором. Плоские щепки взлетали после каждого удара и, повисев в воздухе, словно большие белые бабочки, плавно оседали на траву. Закончив работу, Касказик положил топор на удлиненный козырек кормы, старательно вытер пот со лба горячей от работы ладонью и улыбнулся: «Любуйтесь!»

Глава III

Ланьгук стояла на краю крутого берега — лодку братьев высматривала. Ланьгук не терпелось. Она сама сегодня

наточила длинный нож. Сколько помнит Ланьгук, нож этот всегда был при матери. Им она ловко чистила любую рыбу: и некрупную красноперку весной после ледохода, и летом — горбушу, и крупную кету — осенью. Теперь девушка с легким волнением ожидала возвращения братьев. Она аккуратно и чисто разделает кету — так учила мать. Пусть глаза матери увидят: Ланьгук не посрамит. В последние дни уловы богатые, и в стойбищах А-во резали юколу все женщины — Псулк, Музлук и Ланьгук. Правда, как ни стремилась дочь, поспеть за матерью и женой старшего брата никак не удавалось. Ланьгук нарежет три шеста красной рыбы, мать — четыре! У матери гладкая чистая юкола. И у Музлук, жены старшего брата Хиркуна, хорошая юкола. Она умеет резать кету — ее нож словно сам входит в рыбину. Пусть Ланьгук нарежет меньше, но зато ее юкола мало чем уступит знаменитой юколе Кевонгов. Придут морозы, станет река, и Кевонги получат гостинец, развернет его Талгук — обрадуется: дочь Авонгов уже готова стать хозяйкой. Талгук позовет сына, скажет Ыкилаку: «Гостинец из А-во, поешь...»

Ланьгук высматривала лодку братьев, ждала их с уловом, но услышала отдаленный лай собаки.

Из-за мыса показались две лодки. На первой — Лидяйн и Хиркун — словно указывали гостям дорогу.

Ланьгук внимательно всматривалась в тех, кто ехал во второй лодке, пытаясь разглядеть кто они. И узнала. Это были Ньолгун и его приятели из стойбища Нгакс-во, что на берегу туманного Пила-Керкк — Охотского моря. Однако опять везет водку и подарки, везет нартовую собаку. Опять... Потом отец снова в присутствии Ланьгук будет говорить о Ньолгуне хорошие слова, называть его достойным мужчиной...

Уже к обеим лодкам вырезаны уключины из еловых сучьев и прилажены, а сами лодки спущены на воду. Уже на берегу Тыми у родового жилища почти все вешала были заполнены юколой, когда из-за нижнего мыса появилась долбленка. Ее заметила Талгук — она чистила рыбу утреннего улова. «Сейчас все стойбища по Тыми заготавливают юколу, а эти путешествуют... Самое близкое к нам селение — А-во, стойбище наших ахмалков [1]. Они? Что-нибудь случилось?»

На всякий случай Талгук решила известить мужчин, которые отдыхали после замета Первыми спустились на

---

[1] Ахмалк — человек из рода тестей.

берег сыновья. За ними не спеша, словно новость совсем и не касалась его, появился старик.

Лодка узкая и длинная, должно быть речные люди, у приморских охотников лодки пошире. В лодке — трое. Двое — один на носу, другой на корме — стоят в рост. И по тому, как они плавными, но быстрыми движениями выбирали из воды шесты, по тому, как отталкивались длинно, ловко перехватывая шесты и рывком завершая толчок, по тому, как лодка шла ровно, словно ее тянули вдоль берега на привязи, Касказик решил: да, это могли быть только речные люди. Но кто? Из какого стойбища?

— А посредине сидит женщина,— Ыкилак разглядел это.

— Хы! — догадка осенила старейшего.— Наверное, ахмалки, люди рода Авонгов.

Долбленка шла ходко. Вокруг нее то и дело всплескивали волны, и вскоре у Кевонгов не осталось сомнения: да, это ахмалки. На носу — широколицый резкий Лидяйн, младший из Авонгов, ровесник Ыкилака. На корме — Хиркун, уже почтенный мужчина зим около сорока от роду, старший брат Лидяйна. А посредине — Ланьгук.

Ыкилак стоял на галечной кромке берега, у самой воды, обозначая место, куда должны пристать гости.

Наукун поддернул штаны и ушел в свой то-раф. Он не хотел видеть ахмалков. Гостей встретил сам глава рода. Так что Наукуну вовсе не обязательно улыбаться и, усердствуя, тащить их лодку на берег — пусть это делает Ыкилак. Дурак! Наверное, прыгает от радости и заглядывает в глаза Ланьгук. И та, дура, рада-радешенька. Не на ней свет клином сошелся. Найдутся женщины. И покрасивей тебя. Однако зачем они явились? Что привело их?

Касказик приветствовал гостей сдержанной улыбкой. В ответ Лидяйн улыбался широко, уверенно. Он из рода тестей и требовал к себе почтения. Хиркун тоже ответил на приветствие улыбкой, на его лице усталость, и улыбка получилась вялая. Касказик увидел посреди лодки груду невода с крупной ячеей — удивился: «С какого они промысла? Или за осетром приехали?»

Хиркун переступил борт, помог Ыкилаку подтянуть лодку. Ланьгук только на миг глянула на него черными глазами и как-то бочком проскочила мимо, низко опустив голову. Толстые косы аккуратно заплетены, и концы соединены за спиной тесемкой. Косы тяжело перекатывались по спине, а желтый халат с голубым орнаментом бился, заплетая девушке ноги. Что-то означал взгляд Ланьгук...

Но что? На сердце стало тревожно. Хотелось броситься за девушкой, догнать, спросить. Да нельзя вот так взять и побежать. Пусть даже невеста она тебе. Нельзя оставлять мужчин, тем более — ахмалков. К тому же обычай говорит: девушка не должна вступать в разговор с мужчинами. Она разговаривает только с женщинами. И это до тех пор, пока не станет женой. Тогда она может разговаривать с мужем. И с младшими его братьями, если они у него есть. Потому что младшие братья мужа тоже будут ее мужьями, хотя и вторыми, пока сами не заимеют своих жен. И в случае смерти мужа ее заберет кто-нибудь из младших братьев.

Ланьгук подошла к Талгук, улыбнулась, подала ей маленький узелок, который Талгук, не мучая себя ожиданием, тут же развернула. Глаза засверкали от неожиданной радости — ситцевый платок с голубыми полосками. Талгук с благодарностью взглянула на девушку, но та отвела глаза и всем видом показывала — печальна. Что же с ней?

Гости, сопровождаемые старейшим Кевонгом и его младшим сыном, прошли в родовой то-раф. Лидяйн держался независимо и важно. За чаем сказал:

— Мы к вам только заглянуть. Пусть Пила-Тайхур будет к нам добр.

Лидяйн смолк. И Хиркун молчал. И можно было счесть, что разговор кончен. «К чему им осетр? Или какой важный гость пожаловал?» — томился в догадках Касказик. Но ничего не остается — надо поймать осетра: ахмалки требуют.

Пока мужчины возились с неводом, Ланьгук убежала в лес с маленьким туеском. И когда вернулась, мужчины уже лакомились сырой белой рыбой. В лодке же шевелил хвостом огромный, в человеческий рост, осетр. «Двух поймали»,— подумала Ланьгук и поискала глазами вторую рыбину.

— Вон там, за нашей лодкой,— сказал Ыкилак и подал свой нож.

Ланьгук отрезала кусочек от хрящевого хвоста. И поставила перед мужчинами туесок, полный брусники. Хороша брусника после осетрины!

Она быстро справилась с едой и на миг, только на миг, снова взглянула в глаза Ыкилаку. У юноши захолонуло сердце. Он стоял, а ноги дрожали. Девушка повернулась и медленно пошла за стойбище в сторону Вороньей ели. Ыкилаку неловко оставлять ахмалков. Но с ними отец, глава их рода ымхи, и Ыкилак потихоньку-потихоньку

отошел в сторону, а скрывшись за то-рафом, побежал к Вороньей ели.

Стесняясь своей решительности, Ыкилак подошел к Ланьгук близко. Так близко, что казалось, глаза девушки вдруг расширились, и юноша видел теперь только одни эти глаза, черные, блестящие.

Девушка порывисто обняла Ыкилака. Дальше все словно провалилось куда-то. Ыкилак только помнит боль в спине, так сильно она притянула его к себе. Потом обрывок песни:

Это птенчик, это птенчик
Крыльями затрепетал...

Так Ланьгук рассказала ему о себе. Но о чем она, эта тревожная песня?..

Ыкилак потом много раз пытался припомнить ее. Но отчетливо помнил только слова Ланьгук: «Ньолгун, он опять приехал. Гостит у нас». Кто он, этот Ньолгун? И зачем приехал?..

После страшной битвы с людьми туманного Нгакс-во Касказик ни разу не спускался по Тыми до устья — опасался встреч с жителями морского побережья. И вот уже больше половины своей жизни глава рода Кевонгов утешал себя: да, их урочище не знает себе равных. Велика река Тыми: четыре дня и четыре ночи требуется, чтоб спуститься по ней от истоков до устья. Много богатых урочищ по реке и ее притокам. Но богаче урочища Кевонгов не сыскать. В Пила-Тайхуре несметно набивается кеты, а это главная нивхская рыба. Только в Пила-Тайхуре и зимой, и летом водится крупный осетр, налим, красноперка, таймень... А в лесах по распадкам и сопкам живет медведь, соболь, олень. На памяти людей еще не было случая, чтобы Кевонги умирали от голода. Случались голодные весны, но чтобы кто-то погиб — такого Касказик не слышал ни от покойного отца, ни от деда.

И теперь, когда в роду Кевонгов снова появится женщина, когда урочище их огласится звонкими голосами внуков,— Касказик принял мудрое решение: чтоб прошлое не повторилось, надо помириться с людьми Нгакс-во. Те должны пойти на мир: они потеряли меньше, да и времени прошло достаточно, чтобы остыла в жилах кровь и угасла жажда мести. Касказик чутко ловил слухи о морском побережье, по его подсчетам получалось, что многих из тех, кто требовал крови, сейчас уже нет в живых.

И после путины, когда по ночам травы уже одевались

в иней, Наукун и Ыкилак повели по течению две спаренные лодки, сверкавшие свежими бортами. Сам Касказик плыл в старенькой, но еще крепкой долбленке.

Лодки нагружены знаменитой тымской кетовой юколой, вяленым осетром, оленьими шкурами и тремя крупными нартовыми кобелями. Те, кому собаки предназначены, используют их по своему усмотрению: может быть, принесут в жертву Всевышнему, чтобы увидел он кровь, снимающую давнюю вину с людей.

Глава IV

Чочуна — по-якутски «дикий человек», «дикарь». Так прозвали его еще в детстве. Все из-за того, что задирист он и драчлив. Подросток был сущей бедой деревушки Нельма, что спряталась в глухой Олекминской тайге. Не проходило дня, чтобы шумная игра ребятишек не обрывалась дракой, и какой-нибудь мальчик, хныча, не размазывал по лицу кровь.

— Чо-чу-на-а-а! — вопили матери избитых мальчишек и гонялись с палкой за обидчиком.

— Чо-чу-на-а-а! — кричала его мать сквозь слезы.— О, несчастье мое! В табун бы тебя, в табун...

Табун... Длинногривые, вольноногие, не знавшие ни седла, ни оглобли кони черной тучей проносились над широкой рекой, диким ржанием тревожа тихую деревню. От топота их содрогается земля, осыпается крутой берег...

Семен Аянов, отец Чочуны,— бай. Шла молва о его крутом нраве. Будто резкий свист его кнута обрывался выстрелом не на тучной спине вольных коней, а на костлявых спинах батраков. Бай похвалялся, что у него батраки лучшие во всей округе, безропотные, работящие.

Любил старший Аянов бывать в табуне. Брал с собой сына, который, как говорится здесь, научился сперва сидеть в седле и уже потом ходить.

Вечерами у костра под умиротворенное похрустывание пасущихся на молодой траве лошадей кто-нибудь из усталых батраков запевал олонхо. Особенно нравилось Аянову то место в этом древнем сказании, где к герою подводят коня. Бай, обычно сурово насупленный, преображался.

...И приводят коня
Черногривого, огненно-рыжего.
Конь, резвясь, бьет ногами —
Не сдержать в себе силушки буйной.

Накрывают коня широченным, как море, потником
И седлают седлом, что подобно двуглавому облаку..
И руками взмахнув, глухарю боевому подобен,
Он взлетает легко, на седло опускается прочно.

А потом батраки ушли. Ушли неблагодарно. Словно не баю они, нищие, обязаны жизнью своей. Словно конина стала менее вкусной. Словно за работу им бай давал теперь меньше мяса.

Ушли батраки от бая, от табуна, который пасли еще их отцы и деды. На заработки ушли, на прииски, которых множество по всей Якутии. И даже в соседней, никогда и ничем не привлекавшей людей речушке, тоже нашли золото. «Погодите! — грозился бай.— Еще вернетесь. Придете как миленькие! Я вас заставлю жрать навоз...»

Аянов с двумя оставшимися мужиками пытался хоть как-то сохранить стадо. Но, неуправляемое, оно разбилось на несколько табунов и пошло себе бродить по бесчисленным ивняковым островам — объедать сочные побеги. Узнал Аянов, что пришлый лихой люд стреляет его коней, как диких зверей,— на мясо. Иные же ловили лошадей, уходили на них подальше от Нельмы — в поисках счастливых ручьев. Аянов, возмущенный, в ярости, написал жалобу губернатору. Но быстро понял: пока примут меры, растеряет он все стадо. К тому же наступило межсезонье, бездорожье.

Кое-как собрал коней, сколько мог, большую часть забил, спустил по хорошей цене — благо зимой в этом краю всегда голодно, а деньги у людей завелись.

В последнее время объявилась у бая еще одна забота: не отправить ли сына в город — вдруг да устроится в гимназию. Того гляди, выйдет в люди.

Старый бай решал, как ему поступить, когда в деревню из города приехал погостить Сапрон, его племянник. Он согласился взять Чочуну в город.

В деревне вздохнули облегченно — наконец-то! А поп, отец Порфирий, маленький и сухой, со смешной козлиной бородкой и слабым, слышным только на придыхе голосом, пищал: «Сатана Чочуна, сатана! Футь! Футь!» — и дергал костлявой рукой, будто отгонял от себя нечисть. Чочуна еще в первый год в школе прозвал попа Корягой. С тех пор ребята иначе его и не именовали.

Правда, молодая учительница Софья Андреевна не сочувствовала дружной неприязни к Чочуне. Поговаривали, будто она дочь большого человека, чуть ли не самого губернатора. Что толкнуло ее в глухую якутскую деревню —

никто не знал толком. Но ходили слухи, будто не сладила с родителями при выборе жениха, отвергла множество предложений и, спасаясь от них, бежала в тайгу. Так или иначе, Софья Андреевна прожила в Нельме почти год.

Чочуна и сам того не заметил, как негласно взял молодую учительницу под защиту. Был такой случай. Кешка Мординов, приятель Чочуны, первый забияка и тоже переросток, заупрямился. Софья Андреевна не стала настаивать. Зато Чочуна после уроков неожиданно для себя нещадно избил друга.

Как-то во время урока Чочуна заметил, что взгляд учительницы все чаще останавливается на нем. Изредка они встречались глазами. Тогда она замолкала вдруг и о чем-то на миг задумывалась. Ученики терпеливо пережидали.

Это было весной, незадолго до ее отъезда. Чочуна в упор смотрел на нее. И то ли сила такая была в его взгляде, Софья Андреевна не сумела отвести глаза. Она прервала рассказ, белое лицо ее словно осветило заходящим солнцем, и — это видели ученики — на красивой длинной шее забилась невидная ранее жилка. А Чочуна цепко удерживал взгляд Софьи Андреевны и, сам наливаясь необычным волнением, весь подался вперед. Дети смущенно переглядывались...

Весь остаток дня Чочуна ходил в каком-то странном состоянии, когда не чуешь ни ног под собой, ни комариных укусов.

Едва закатное солнце ударило лучами в бревенчатые стены изб, сделав их теплыми и будто мягкими на ощупь, Чочуна прокрался в палисадник и, пригибаясь, чтоб не поцарапать лицо о кривые ветки низкой березы, заглянул в окно. Софья Андреевна в чем-то белом лежала на постели, облокотясь о большую подушку, читала. Прорвавшиеся сквозь окно лучи осветили ее шею, тонкие пальцы, державшие книгу. У Чочуны перехватило дыхание. «Оторвись от книги, оторвись»,— просили пересохшие губы. Но Софья Андреевна, казалось, жила совсем другой жизнью, далекой, непонятной. Чочуна озлился, будто его обманули, будто ради потехи нагишом выставили перед народом. Он отпрянул от окна.

Глава V

Уехала Софья Андреевна из Нельмы в начале лета в пору цветения морошки, когда болотистые поляны сплошь

покрыты белыми, похожими на мотыльки, цветами. Чочуна в последнее время и сам подумывал о городе. Нет, не гимназия привлекала его. Софья Андреевна... Она теперь ни днем ни ночью не отпускала.

Уехал Чочуна в город. У Сапрона четверо детей. Ютились все в небольшой комнатенке в бараке портовых рабочих. Чочуна спал под столом на кухне — другого места ему не нашлось.

Сразу же по приезде ринулся на поиски. Бродил по городу, останавливал редких извозчиков — спрашивал, не знает ли кто Софью Андреевну, учительницу. Она почти год жила в таежной Нельме. Говорят, дочь большого начальника.

— Кого? — переспросил извозчик, русский седоусый старичок.— Садись, подвезу.

Кривая, пыльная улица разделяла ряды одноэтажных бараков и двухэтажных домов. Гое-где торчали одинокие, объеденные лошадьми, полуживые деревья. Иногда попадались дворы, где за аккуратным штакетником зеленел кустарник.

Бричка долго колесила, подпрыгивая по немощеной улице. Наконец остановилась. За высоким дощатым забором поднимался стройный ряд белоствольных берез, сквозь густую листву которых коричневыми пятнами пробивалась крашеная крыша особняка. За березовым рядом — кустарник, подстриженный до неправдоподобия ровно. Широкую, покрытую речной галькой дорожку, ведущую к подъезду, подметал высокий мужик — серая рубаха подпоясана витым ременным поясом, окладистая борода подстрижена так же неправдоподобно аккуратно, как и кустарник за березовым рядом.

Дворник отвлекся от своего занятия, пристально взглянул на парня:

— Шо тебе?

— Позовите Софью Андреевну,— попросил Чочуна.

— Кого? — Дворник направился к нему, держа метлу так, словно собирался ударить.

— Софью Андреевну. Учительницу. Дочь начальника.

— Какую тебе дочь? Какую Софью Андреевну?

Дворник вышел за калитку.

— Дочь большого начальника. Учительница. Она была у нас в Нельме,— умоляюще объяснил Чочуна, ожидая, что дворник сейчас же пойдет за Софьей Андреевной.

— А ну! — вдруг грозно закричал тот.— Брысь отсюда, не то голову сверну! Дикарь! — и поднял метлу.

— Эй, не дури! — закричал извозчик.— К тебе по делу обращаются, а ты зверем.

— Никакого нет дела! Вон, говорят!

— Садись, парень,— сочувственно сказал извозчик.

Оскорбленный, юноша отступил, не сводя с бородача ненавидящих, налитых кровью глаз.

Глава VI

Чочуна утерял всякий интерес к городу и как-то, уныло бродя по улицам, оказался в порту.

Грузчики таскали соль — отсюда она пойдет во все уголки Якутии.

Брезентовые куртки отсырели от пота, соль просачивалась сквозь них и разъедала спину. К середине дня Сапрон едва держался на ногах. Его молча обходили. Грузчики обычно не прощают, если кто-то сделает меньше заходов. Перекур — отдыхают все. Работа — все работают. Никто никого не обгоняет, никто не должен пропускать свой черед.

Размеренно-удручающий ритм был взорван криком:

— Товарищи! Товарищи!

Люди остановились. Их усталый безразличный взгляд вопрошал: «Кого еще принесло?»

Какой-то коренастый русский, странно подвижный на фоне усталых грузчиков, махал руками, подзывая людей. Чочуна не расслышал, что говорил этот человек. Только разобрал отдельные слова: «приискн... расстрел».

А вечером Сапрон привел домой несколько русских. Среди них и тот, которого видел Чочуна в порту.

Сапрон прогнал домашних спать, прикрыл за ними дверь. И на кухне при свете восковой свечи они допоздна беседовали.

Люди на улицах были хмурые, взбудораженные. Кажется, сегодня никто не работал.

Чочуна быстрым шагом направился было в сторону порта. Но навстречу ему двигалась толпа. Он остановился, чтобы решить, куда дальше податься, но толпа подхватила его, увлекла за собой.

Чочуна шел с краю. Он вытягивал шею, пытаясь отыскать в этой пестрой толпе Сапрона. И увидел. Тот шагал в центре потока, рядом с коренастым русским, который нес знамя. Большое красное знамя!

Толпа выглядела внушительно. Казалось, она сметет

все на своем пути. А в нее все вливались и вливались — слева и справа. Чочуна же старался идти с краю. Улица вывела людей к крутому берегу. Здесь она, кривясь, потянулась влево над рекой. Немногочисленные зеваки стояли, оттесненные к обрыву. И тут на повороте Чочуне попался на глаза тот человек с окладистой бородой. Вспомнился грубый окрик: «А ну! Брысь... Не то голову сверну!»

Дворник, усмехаясь, разглядывал людей. Чочуна вдруг обрадовался, как-то нехорошо, зло: «Ну, теперь сквитаемся, гад!» И, проходя мимо, легонько, но расчетливо, толкнул локтем в грудь. Дворник, взмахнув руками, полетел с откоса... «Он меня узнал... А если не разбился? Что тогда?» — Чочуной овладел страх.

Он бросился было бежать, но обойти впереди идущих не смог — люди шли тесно.

За поворотом юноше удалось вырваться из толпы. И вовремя — там, где улица расширялась и выходила к площади, стояли полицейские, как на подбор, одетые в свою нарядную и страшную форму. «Много-то их как!» Чочуна пригнулся и припустил изо всех сил.

Весь следующий день он не выходил из дому. Как зверь, опасливо прислушивался к звукам и шорохам. И каждый раз, когда снаружи доносился топот, неслышным прыжком оказывался у кровати, напряженно прислушивался. Там, под матрацем, он спрятал заряженную отцову берданку.

Поздней ночью Чочуна вышел из барака и задворками, тесными улочками пробрался на окраину города. Рассвет застал его уже далеко. Запыхавшийся, озирающийся, он уходил все дальше и дальше от выстрелов, все дальше и дальше от безумных людей, которые толпой зачем-то идут на выставленные против них штыки...

Глава VII

...Степное солнце. Пронзительное. Оно залило степь с ее холмами и оврагами. Даже камни, казалось, расплавились и стали мягче. Такое солнце, наверное, только в Забайкалье. В диких степях Забайкалья.

«По диким степям Забайкалья»...

Чочуна слышал эту песню не раз. Ее любили не только русские мужики, но и якуты. Эту песню пели и портовые рабочие. Песня будила в очерствелых сердцах полузабытые

чувства, глаза печально теплели, и тогда мужики жалели друг друга и, похоже, могли отдать все, даже самое последнее, лишь бы каждому из них было хорошо.

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах...

Вот именно: в горах. Никакая тут не ровная степь. Все, хоть мало-мальски грамотные, знают одно: степи ровные, как стол. Но это где-то... А тут — горы. Надо самому увидеть. А так и не понять это странное сочетание слов: «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах...»

Золото? Золото... Я ушел из той стороны, где золото. И пришел туда, где золото.

Однако в каких же горах роют золото?..

После долгих блужданий Чочуна появился в Нерчинске. Нерчинск — городок богатых и бедных. Купцов и извозчиков. Золотопромышленников и беспросветной голытьбы.

У железнодорожной станции было предостаточно убогих, залатанных вкривь и вкось домиков, похожих на тот, в Якутии, где жил Сапрон. «Наверное, по всей земле дома бедняков одинаковы»,— и Чочуна постучался в первый. Ожидание не обмануло: впустили.

Хозяин дома — по лицу, похоже, бурят, но слегка утративший остроскулость, глаза пошире, хотя и с раскосинкой, и бороденка жидкая — лежал на топчане, раскинувшись поверх грязного ватного одеяла. Он долгую минуту рассматривал вошедшего. Потом дернулся, чтобы подняться, но передумал — лишь облокотился.

— Откуда? — спросил хозяин вместо приветствия.

— Якут, я якут. Из дому,— ответил Чочуна.

— «Из дому»,— передразнил хозяин.— Из Якутии, что ли?

— Из Якутии, ага,— закивал головой Чочуна.

— Это у вас там стреляют в людей?

Чочуна насторожился. Сказать, что он из той местности, где произошел расстрел,— не известно, что на уме у этого похожего на бурята русского.

— Нет. Стреляли где-то далеко от нас. Я сам слышал от пятого человека,— ответил Чочуна так, чтобы дать понять, что ему безразлично, где и в кого стреляли. А сам подумал: «Быстро бежит слух, меня опередил».

— Ты кто?

— Охотник я, охотник,— отозвался Чочуна.

— А-а-а! — Хозяин свесил с топчана разутые белые ноги.— Молодец, что охотник.— И только теперь перенес

взгляд с лица Чочуны на его руки, вернее на завернутое в тряпку ружье.— Молодец, что охотник. А то золото, золото... Все с ума посходили от золота... И у нас тут тоже Чего уши развесила, не видишь, человек с дороги?! — прикрикнул он на сухую тонконосую женщину.

И лишь за столом — краюха хлеба и кусок какой-то красной рыбы — рассказал немного о себе

Фамилия его Гурулев. Гуран.

— В жилах гурана — кровь русских, казаков и бурят Так? — обернулся Гурулев к жене.

— Бог тебя знает, каких ты помесей...

— Думаешь, я не мыл золото? Мыл! По молодости мыл,— громко сказал Гурулев. По тону трудно было определить, рад он тому, что мыл золото, или, наоборот, клянет себя за это.

— Ухватистый, ох и ухватистый был покойный Михаил Дмитриевич. Пятьдесят приисков прибрал к рукам! Свои пароходы имел. По Шилке и Амуру спускался аж до Николаевска и дальше. В Америке побывал!

Гурулев бросил на Чочуну быстрый взгляд:

— Или ты не знаешь, про кого я говорю? Так и скажи А то я мелю, мелю, а тебе — что барану кукиш

Чочуна засмеялся. Но Гурулев его не понял:

— Что, не веришь?

— Слова понравились. Хорошо сказал — «...а тебе — что барану кукиш».

— Тьфу! — в сердцах плюнул хозяин.— Ему о Бутине, а он — «слова».

Только теперь Чочуна осмыслил сказанное гураном

— Неужто пятьдесят приисков?

— Говорю тебе: пятьдесят!

— И все один?

— Один! Все мы на него работали. Здесь купцов было много, но он — самый сильный. Ох и ухватистый был Михаил Дмитриевич! Пароходы у него. Заводы. Вино гнал! В новом городе его дворцы стоят — сам царь таких не имеет!

— В каком «новом городе»?

— Отсюда несколько верст. Перенесли на высокое место. Чтобы на затопило. А я в Дарасуне мыл. Но бросил.

— Почему бросил? Вымыл?

— Не то. Сволочи, загадили все. По миру пустили

— Кто?

— Да завистники все. Те же купцы, помельче которые

А их много всегда, завистников-то. Выбрали время, когда дожди кончились и промывка встала, да и все вместе разом потребовали долги. Как ни богат был Бутин, а расплатиться не смог. Вот и отобрали у него прииски. Многие тогда поуходили, потому что новые хозяева дело развалили. И я ушел. Правда, Михаил Дмитриевич потом вернул свои прииски, наладил дело. Но я ушел. В извозчики. Извозчичье дело повыгодней золота оказалось. Купцам чего подвезти людей — глядишь, и деньжата завелись.

Чочуна разглядывал хозяина.

Ему, пожалуй, уже много лет: голова седая, сутуловат, зубы поисточились.

— Золото, оно любит фартовых. Все промышленники должны кланяться в ноги тунгусу. Тунгус открыл родовую тайну, указал Бутину золотое место в верховьях Дарасуна. А ведь мог показать другому, не Бутину. Мне не пофартило: по молодости хотел свое золотишко найти, да в наемные пошел. Потом и извозчичье дело зачахло: дорога треклятая появилась, железная. Держал восемь коней. Не кони — звери! Лучшие были в Нерчинске. Теперь один остался, да и тот хворый.

Гурулев рассказывал, а сам все подергивал бородку, видно, воспоминания молодости, когда он искал «свое золотишко», тревожат и по сей день.

— Ты ешь, ешь,— спохватился хозяин, хотя есть уже было нечего.— Как рыба — понравилась?

Хотя Чочуна и крепко проголодался, все же уловил сквозь соль вкус неизвестной ему рыбы: она была жирная, сочная.

— Кета. Полно ее на Амуре. Особенно в Николаевске — баржами возят. Рыба купеческая,— похвалился гуран и велел жене: — Дай человеку поесть вдосталь. Земля-то наша богатая. Только фарт надо иметь в жизни, своего тунгуса. Да и ухватистость. Как Михаил Дмитриевич. Ох и богат был. И на редкость человек-то хороший, со светлой головой и сердцем добрый. В неурожаи народ кормил, школ и домов для сирот понастроил. Такому и своего фарта не жалко. Потому как, приди ко мне фарт, миллионы золота что бы я с ним делал? Как распорядился? Знает бог кому давать фарт. А ты молодец. Молодец, что охотник. Изюбря подвалить или сохатого. Тоже надо иметь фарт. Сейчас и за золото сохатинки не поешь. Извели. А мы с тобой проскочим. Я знаю, где еще водится сохатинка.

Чочуна понимал: ни за какой «сохатинкой» гуран не «проскочит» — так, дразнит себя. В молодости гонялся за

фартом — не догнал, пошел внаймы. Завел лошадей — железная дорога отобрала заработок. А теперь ему бог охотничка подослал — сохатинки захотелось. И конечно, раз у человека ружье — к нему сохатый сам прибежит. Тунгуса, видите ли, на него не сыскалось...

«А ты бы нашел свой фарт?» — вдруг жестко спросил себя Чочуна. Даже перехватило дыхание. И сердце дернулось, будто тесно ему в груди. «Нашел бы! Нашел!» — закричало все в Чочуне...

Глава VIII

Рассказ старого гурана о необыкновенном человеке — Бутине — казался выдумкой. Якут никак не мог поверить, что один человек может владеть пятьюдесятью приисками, пароходами, заводами! Конечно, если человек добрый, он сделает людям доброе. Это еще как-то воспринималось якутом. Но чтобы иметь столько денег, чтобы строить школы за здорово живешь! Откуда такие деньги берутся? Золото! Из земли. Значит, здешняя земля настолько богата? Конечно, сотни и сотни людей, подобных Гурулеву, гнут спины на бутиных. Но почему Гурулев не стал Бутиным? Своего тунгуса не дождался... Хе-хе!

Да, рассказу старого гурана о неслыханно богатом человеке Бутине трудно поверить. Но Чочуна был прямо-таки потрясен, когда своими глазами увидел: гуран говорил правду.

На другой день Чочуна оказался в новом городе. Сперва он увидел дом, собранный из толстых сосновых бревен. Внимательно осматривая этот необычно большой дом, Чочуна обнаружил, что он рублен. Топором, без пилы. И удивился: сколько усилий было затрачено на один этот дом! А в обширном дворе ряд к ряду стояли большие амбары, тоже рубленные из соснового долготья. В Нельме дом самого зажиточного якута куда меньше, чем любой из этих амбаров. Значит, очень богат хозяин рубленого дома, коль для хранения его добра потребовалась целая деревня огромных амбаров!

А дальше, за просторной площадью, глазам Чочуны предстали сказочные белые дома. Казалось, сооружены из морской пены — настолько воздушны и легки.

Чочуна и понятия не имел об архитектуре, и, если бы кто-нибудь сейчас сказал, что перед ним образец мавританского стиля, это абсолютно ни о чем не сказало бы. «Какая надобность тратить столько сил лишь на то, чтобы

сделать дом невероятно красивым? Ведь от дома и требуется, чтобы был он теплым, укрывал от дождя и ветра, сохранял от морозов...»

Уже догадываясь, кому принадлежит дом, Чочуна все же спросил у прохожего:

—Бутина дом?

Получив утвердительный ответ, Чочуна подумал еще. «Зачем одному такой большой дом?»

Чочуна, недоумевая и восхищаясь, еще долго крутился вокруг бутинского дома. И отошел лишь тогда, когда почувствовал, как под ложечкой тягуче засосало. Чочуна обошел площадь, вышел к белокаменному гостиному ряду. Но и тут, прежде чем оглядеть торговцев, некоторое время стоял перед домами, теперь уже деревянными, любуясь сложной и тонкой резьбой. «Однако на украшения затратили трудов и времени больше, чем на сам дом»,— подумал Чочуна.

Под ложечкой безжалостно сосало. А у Чочуны в кармане не было ни гроша. В гостином же ряду бойко торговали мясом. Голод и вид парного мяса придали ему решительности.

Нашел на вид здорового, похожего на быка, мужика который часто и тяжело отдувался. «Наверно, сердце»,— подумал Чочуна. Подошел кстати: мужик стаскивал с телеги большие, в треть туши, куски мяса, кряхтел, возясь с тяжелой ношей.

— Дай подсоблю,— предложил Чочуна и, не дожидаясь ответа, широко ухватился за самую большую часть. Тяжеленный огузок крупного быка въехал за прилавок. Вслед за ним и другие части быка уместились на деревянных плахах.

Чочуна взялся за топор с широченным плоским лезвием. И не успел торговец еще и подумать, как распорядиться,— Чочуна бросил на прилавок несколько аккуратно отрубленных кусков.

— Ты торгуй, торгуй,— сказал Чочуна, так и не дав хозяину опомниться.

Очередь, действительно, собралась. Мясник еще раз оценивающе посмотрел на работу откуда-то взявшегося помощника, удовлетворенно хмыкнул и стал за весы.

Торговля шла бойко — на парное мясо был большой спрос. Очередь все росла и росла. Через каких-то полтора часа была распродана вся задняя часть. Мясник клал деньги в карман, а когда карман наполнялся, сгребал их крупной ладонью, совал в мешок, который лежал у ног.

Вот распродана и передняя часть. Чочуна накидал на

прилавок горку нарубленного мяса, выпрямил натруженную спину, бросил рядом с горкой кусок грудины и сказал:

— Это мне за работу. Я отойду на минуту, покурю.

— Иди, иди, друг,— добродушно сказал мясник, кивая головой в знак согласия.

Чочуна постоял секунду-другую за спиной мясника, вытирая руки о мешковину...

Мясник видел, как тает горка нарубленного мяса, ощущал, как набухает правый боковой карман, и, раза два пройдя глазами по небольшому куску грудины, удовлетворенно думал: «Я ждал, что попросит куда больше. А он — всего лишь кусок».

Карман оттопырился, и мясник схватил кучу денег, нагнулся и, не глядя под ноги, привычно пошарил свободной рукой. Рука прошла по доскам пола, коснулась носка сапога, дальше опять ощутила голый пол. Глянул вниз — мешка не было. Обернулся вокруг — мешка с деньгами не было. От неожиданности разжал руку, деньги посыпались на пол. Тяжело дыша, пробежал мимо других торговцев. Над рядами пронесся панический крик: «А-а-а! А-а-а! Ограбили!»

Глава IX

Никогда Чочуна не имел столько денег. Он приоделся в городское и выглядел щеголем. Уже не первый вечер Чочуна проводил в прокуренном грязном кабаке, где вдоволь было водки, китайского листового табака, жареного мяса, малосоленого омуля и крепкосоленого мата. Мат и табак — они поначалу заставляли юношу из якутской тайги воротить нос. Но вскоре Чочуна перестал отворачиваться, хотя и не пристрастился ни к куреву, ни к мату. Водку пил с заметным удовольствием. И заедал мясом. А мясо — какой же якут без мяса!

Чочуна подходил к хозяину кабака и небрежно кивал: «Грудинку! В долгу не останусь». «В долгу не останусь» — эти слова он слышал здесь же в кабаке от кого-то. Слова понравились — они имели магическую силу. И действительно, на столе у якута появлялась дымящаяся хрящеватая, сочная грудинка. Якут поедал ее, запивал водкой, на глазах добрел и кидал на стол деньги, не считая.

Как-то вечером в кабак вошли двое русских, по одежде

скорее из деревни: рубахи навыпуск, перепоясаны, на ногах у одного яловые сапоги, у другого стоптанные башмаки. Тот, что в сапогах, был постарше и держался независимо. Сели они за соседний стол.

И Чочуна заметил вдруг: глядя в его сторону, переговариваются, произносят незнакомое слово:

— Хунхузик! Хунхузик!

Чочуна насторожился. Кто они? О чем говорят? Двое их, но не крепкие. В случае чего, справится.

Вошедшие заказали водку. Тот, что помоложе, настойчиво разглядывал якута и приговаривал: «Хунхузик, хунхузик». А Чочуна мысленно решил: «Только подойди. Я покажу тебе «хунхузик»!»

Парень встал из-за стола, слегка пошатываясь, подошел к Чочуне, уперся обеими руками в стол и, покачиваясь вперед-назад, сказал:

— Ты хунхуз?

По тому, как он держался, Чочуна понял: нет у него злых намерений. Скорее любопытство.

— Что? — не понял якут.

— Ты хунхуз?

— Не понимаю.

Парень помолчал. Потом снова задал вопрос:

— Ты китаец?

— Нет, не китаец. Якут.

Старший, услышав это, заитересовался, обернулся, всмотрелся внимательно в лицо Чочуны и, словно узнав знакомого, вскинулся:

— Якут? Откуда? — подошел быстрым шагом, положил руку на плечо.— Я был в Якутии. На заработки ходил. Сплавлял лес на Лене.

Незнакомцы оказались из какой-то деревни в тридцати верстах от Нерчинска. Старшего звали Нилом, того, что помоложе,— Гришей.

Допоздна сидели тогда они втроем, пили водку и оживленно беседовали.

Чочуна с легкостью согласился принять участие в деле. Если решение ограбить мясника пришло нежданно-негаданно, то сейчас он знал, на что идет.

На днях в гиблом таежном месте группа хунхузов напала на обоз с золотом, который шел из Иркутска в нерчинск. Хунхузы выскочили из кустов с обеих сторон дороги. Зарезали стрелка и возницу, разграбили средний воз, унесли на плечах драгоценный груз. Охранка забеспокои-

лась, когда кусты уже сомкнулись за спинами грабителей.

— Такая у нас, у здешних, исстари ведется забава: хунхузы грабят обозы, а мы охотимся за хунхузами. Голого хунхуза бить — что толку? А вот когда он с золотом...— и Нил потирает темные потрескавшиеся руки.— Я уже ходил. И не раз. Но мне все не фартит.

Нил и Гриша приехали в Нерчинск за оружием. И, если бы не встретили Чочуну, неизвестно, как бы дальше пошли события: купить ружье оказалось делом не легким.

По расчетам Нила, хунхузы, рассыпавшиеся после ограбления по тайге и пробирающиеся к югу, со дня на день должны переходить степь. Нил почти наверняка знал, что они предпочтут идти пешком и в основном ночью.

Нил привел Гришу и Чочуну к невысокой холмистой гряде с большими островками рощиц.

— Здесь будем ждать.

Первые сутки оказались безрезультатными. Чочуна уже стал терять терпение. Но утром, когда степные птицы, еще полусонные, только-только начинали лениво перекликаться, зоркие глаза охотника засекли на фоне знойно-оранжевого небосвода две далекие, до пояса скрытые в темной траве, фигуры. Чочуна растолкал своих спутников.

Решено было обойти стороной, выйти вперед и поджидать в одном из березовых колков.

В том, что это хунхузы, сомнений не было,— никакая нужда не заставит местных выйти ночью в степь, где так часто пошаливает бродячий люд. К тому же они обычно едут на лошадях.

Трое затаились в густой траве на краю колка.

Чочуна чуть впереди с берданкой, Нил и Гриша с ножами наготове.

Солнце еще не поднялось, но даль уже хорошо просматривалась. Из жиденькой рощицы вышли двое и направились точно туда, где поджидала засада. Чочуна подумал: «Словно волки, прячутся. От куста к кусту, от холмика к холмику, где удастся — оврагами. Так можно далеко уйти. А Нил знал, где ждать. Молодец».

— Слушай, Чочуна,— жарко прошептал Нил.— Ты фартовый. Вышел — и сразу! А я сколько хожу и вот первый раз...

Чочуна пожал плечами:

— А может, это не хунхузы...

— Кто же, как не хунхузы! — Нил не сомневался.

У обоих в руках палки — так удобнее в долгом пути.

За спинами — котомки. У заднего через плечо перекинуто ружье.

Уже можно разглядеть и лица. Первый с обычной для маньчжур редкой бороденкой, сухой и поджарый. Второй совсем молодой. Оба заметно утомлены. Идут не скоро, молча.

Нил толкнул Чочуну. Тот весь сжался. Пусть подойдут ближе — они ведь спят на ходу. Пусть подойдут. Нужно прыгнуть, связать им руки и осмотреть котомки. Вдруг убьешь — а в котомках ничего. Зачем зря убивать человека?

Нил еще раз толкнул Чочуну и прошипел:

— Стреляй!

Чочуна не стрелял. Он прижался к земле, слился с нею. Хунхузы прошли совсем близко, ничего не подозревая. «В спину будет стрелять»,— решил Нил. Но Чочуна не стрелял. Он неслышно поднялся. Трех прыжков ему хватило, чтобы догнать старшего, вырвать болтавшийся на правом боку нож. Чочуна повалил жертву, быстро отобрал ружье.

Нил опередил Гришу, первым достал молодого хунхуза, поймал за котомку. Тот, не оборачиваясь, занес руку назад-вверх. Нил вдруг странно согнулся, покачался какое-то время и молча повалился на бок. Гриша стоял в нерешительности. Молодой хунхуз стремглав кинулся в сторону, к деревьям. Чочуна крикнул: «Догоняй!»

Но Гриша не сдвинулся с места. Чочуна бросил ему берданку. Тот поймал ружье на лету, побежал.

...Эх, Нил, Нил! Неудачник ты. Как же мог так оплошать? Ведь знал, что это золото так просто не отдадут. Неудачник ты.

...Не-у-дач-ник... не-у-дач-ник... не-у-дач-ник — стучали колеса поезда. Чочуна думал о смерти Нила. Но жалости не было. Наоборот, радость переполняла его, вырывалась наружу.

— Чтой-то ты такой радостный? К невесте, что ли, едешь? — спросила сидевшая напротив старушка в черном платке.

— Да, да... к невесте,— не задумываясь, соврал Чочуна.

— То-то и видать.

...Нил сам виноват. Жадность ослепила тебя, Нил. Себя вини. А Гриша... Как он сейчас?

...Гриша бежал не долго. Выстрелил. Не попал, конечно. А в ружье-то был всего один патрон. Хунхузик запетлял

между деревьями. Гриша не рискнул бежать дальше. Струсил, что ли? А может быть, подумал, что золота хватит на всех.

Чочуна перерыл всю котомку. На самом дне лежал круглый и узкий, как колбаса, мешочек из серой прочной материи. Чочуна торопливо вспорол ножом уголок — в траву высыпались мелкие кусочки золота. Золотые зернышки были тяжелые, а поверхность их на ощупь казалась текучей и мягкой — то ли руки запотели, то ли и в самом деле золото на ощупь мягкое.

Чочуна оторвал тесемку — перетянул надрезанный уголок. И тут почувствовал на себе взгляд. Вскинул голову — Гриша смотрел в упор, ожидающе.

— Это твое,— сказал Чочуна, указав в траву, где поблескивала маленькая горка металла.

— Еще давай,— потребовал Гриша.— Мне и Нилу.

Чочуна перехватил мешочек посредине и стал мелко трясти. Золото стекало струйкой.

Чочуна глянул на Нила — тот лежал скорчившись и тихо стонал. Чочуна отсыпал треть мешочка, быстро перевязал, бросил в котомку.

— Хватит тебе на всю жизнь. Вот тебе ружье,— он протянул ружье хунхуза, но тут же одумался. Винчестер. Чочуна понимал толк в ружьях. Американские ружья пользовались самым большим спросом у охотников. Не отдавать же! Чочуна еще раз окинул оценивающим взглядом винчестер, положил на траву, придавил коленом.— Возьмешь берданку. Тоже хорошо бьет.

Чочуна полез в карман, нащупал патроны. Гриша молча наблюдал за ним. И, угадав в этом взгляде что-то, Чочуна спрятал патроны. Поспешно закинул котомку за спину, схватил винчестер, рывком поднялся и шагнул в степь.

— Патроны! — Гриша подался было вслед за Чочуной, но наткнулся на дуло винчестера.

Он отшатнулся и заплакал. Наклонился над Нилом, попытался было раздеть его, но подкосились ноги, и, упав на плечо своего старшего товарища, он заголосил горько и безысходно. Чочуна, кажется, впервые ощутил в сердце щемящую жалость. Он постоял в нерешительности. И тут увидел, как старик хунхуз, воспользовавшись тем, что его забыли, перекатился по траве, сумел подняться и рванул в открытую степь. Старик бежал странно и смешно: руки связаны за спиной, ноги высоко вскидываются и при этом колени углом выпирают далеко вперед. Чочуна усмехнулся.

... Не-у-дач-ник... Не-у-дач-ник ..

Глава X

Чочуна поездом добрался до Сретенска, а оттуда пароходом спустился в Хабаровск. Около года болтался там. Для начала приоделся во все лучшее, что смог достать в городе. Потом покрыл золотом все зубы. Купил у ювелира бриллиантовый перстень и золотые часы с цепочкой. Среди хабаровских мещан Чочуна прослыл наследником якутского князя. Он не знал, кто пустил такой слух, но эта версия льстила. И когда Чочуна увидел, что его серый мешочек порядком опустел, подался вниз по Амуру — в Николаевск, в город, который славился обилием предпринимателей, промышленников и всякого делового люда.

Уже на второй день после его приезда в городе стали поговаривать, что объявился здесь сын якутского князя, богатый, весь в золоте и бриллиантах.

Теперь Чочуна знал: надо драться, как волк, только так добьешься своего. Гнуть спину, как дядя Сапрон,— угробишь себя. Идти со знаменем против царя — убьют. Жаждать счастья, но согнуться перед неудачами, как Гурулев,— останешься ни с чем. Нил — вот был человек! Или отец. Но он дурак — время сейчас другое, а он все кнутом размахивает...

Вскоре Чочуна познакомился с богатым рыбопромышленником Никифором Трошкиным, которому принадлежал большой засольный цех под оцинкованной железной крышей, полтора десятка смоленых кунгасов и два паровых катера. Жилой дом из красного кирпича и производственные помещения располагались удобно, на высоком берегу.

Трошкин имел на лимане заездок длиною в полтора километра. Этот гигантский забор-ловушка, построенный нивхами на путях рунного хода кеты, каждую осень приносил владельцу сотни тысяч пудов знаменитой серебрянки[1], специальный посол которой хранился в строгой тайне. Рыба эта завоевала магазины и рестораны Николаевска, Хабаровска и Владивостока, проникла в Пекин и Токио. У Трошкина много конкурентов. Но и работники у него — нивхи и ульчи — самые дешевые. К тому же у Трошкина на Амурском лимане и на Сахалине «свои люди», предприниматели калибром поменьше. Не имея сил для успешной борьбы, они служили «Бате»— так величали Трошкина на обширном Амурско-Охотском побережье.

---

[1] Серебрянка — так называли кету, которая еще не вошла из моря в реки. В реках, пресной воде, кета теряет «морской», серебристый цвет становится бурой и теряет вкусовые качества

Чочуна прожил в Николаевске лето и начало осени. Желание испытать себя в большом деле держало его на привязи. Но серьезность предприятия заставляла быть осмотрительным. К тому же его сердце таежника не лежит к морским туманам и соленой мороси.

И тут подоспела новая встреча, которая решила вопрос, как быть. К Бате приехал с Сахалина его зять Тимоша Пупок с братом Иваном. Привезли больше ста пудов дорогостоящих жирных кетовых брюшков — «пупки». Изумлению якута не было границ: сколько же нужно пропустить через руки рыбы, чтобы получить столько брюшков!

За бутылью водки Чочуна спросил:

— А саму рыбу куда девал-то?

Тимоша, довольный произведенным впечатлением, бросил небрежно:

— Куда? Да гилякам и их собакам.

Собакам?! Такую рыбу и — собакам?

Потом Тимоша рассказывал, что местные жители промышляют соболя и кочуют со своими стадами оленей.

Тунгусы ловко берут зверя. Гоняют на оленях, а собаки ихние давят соболей, как кошек,— только поспевай сдирать шкурки! Нонче весной привозил четыреста! Больше бы мог, да там другие балуются, ездят по стойбищам.

«Этого я уже знаю: ловит рыбу и скупает соболей. Только чем же он больше занимается: рыбой или пушниной? И кто эти «другие»? — в голове Чочуны возникали новые планы.

— Как же другие смеют тебе мешать? — вкрадчиво спросил Чочуна.— Ты большой хозяин. Большой хозяин большой земли.

Тимоша покрутил головой.

— Хозяин... Я хозяин?! То-то и оно, что земля большая. Пока я езжу по своему берегу, на другом Иванов или еще кто всех гиляков обдерет. А по Тыми я не поднимаюсь — только морем хожу. Пробовал один раз. Шхуна добралась до середины — там перекаты пошли. А гиляк и в верховьях живет.

«Ясно»,— мысленно подытожил Чочуна разговор с Тимошей.

Батя молчал. Видно, беседа якута с Пупком его совсем не интересовала. Он молча пил водку, крупно ходили челюсти, хрустел, грызя малосольную кетовую голову. В конце трапезы сказал лишь:

— Ты там смотри, Тимоша, чтоб гиляк рыбу не оставлял у себя.

— Отучили их, Батя, отучили.
— Все равно смотри.

Тимоша прихватил на Сахалин Чочуну. Так, «для огляда». Он, конечно, и помыслить не мог, кого привез в свои исконные, как полагал до сих пор, владения.

Чочуна накупил в Николаевске водки, чаю, табаку, сахару, охотничьего снаряжения и четыре новых берданы.

Глава XI

По пути домой Тимоша останавливался в нивхских стойбищах, раздавал муку и спички, сатин и водку, чай и бусы, иголки и металлическую посуду, табак и разноцветные нитки. Взамен нивхи запасут рыбу в бочках, которые Тимоша развез еще в начале сезона. Те жирные брюшки, что сейчас в складе у Бати, от летней кеты. Через полмесяца Тимоша обойдет стойбища, заберет набитые рыбой бочки, раздаст пустые. Нивху соленая кета редко требуется. Он вялит рыбу. Режет на тонкие слои и вялит. Юкола называется. А пресную юколу из русских мало кто приучен есть. Так что гиляку, чтобы иметь выгоду, приходится солить. Гиляк же не умеет делать тару. И всю рыбу он солит в Тимошкиных бочках. Правда, надо быть начеку, а то гиляк тоже пошел ушлый: насолит бочку и, если вовремя не забрать, отдаст на сторону. А потом опять принимается солить и не всегда успевает наполнить — кета не стоит в заливе, уходит в реки.

Тимоша родился на острове в семье ссыльного каторжника из Воронежской губернии. Каторжник отбыл срок, но вернуться на родину денег не было. Так и прижился здесь. С великими муками раскорчевал участок, смастерил деревянную соху и пахал землю — на удивление нивхам, которые и слышать не слыхивали о таком занятии. Северная земля хотя и скудна, но давала кое-какой урожай картофеля и ржи. Отец Тимоши понял: не прокормиться здесь земледелием. Два сезона он ловил кету и, засолив, возил в Николаевск. Потом сообразил, что лучше заготовлять не саму рыбу, а икру и жирную брюшину, или «пупок», как говорят на Амурском лимане. Бочка жирного «пупка» во много раз дороже, чем бочка цельной рыбы. К тому времени, когда Тимоша стал хозяином, отец оставил ему добротную пятистенную избу с баней, две коровы, две лошади, свинью с поросятами и трех нахлебников.

Настоящую фамилию ссыльного крестьянина помнили разве только старики. В рунный ход кеты русский обычно ходил по стойбищам и за чарку водки уговаривал добродушных и отзывчивых нивхов подарить ему «всего лишь малость — кетовые пупки». Так и прозвали его Пупком. Кличка закрепилась за бывшим каторжником и перешла к его семье.

Тимоша перенял от отца русское трудолюбие, непоспешную практичность. Восемнадцати лет женился на дочери николаевского промышленника. Когда отец отдал богу душу, он имел двух своих едоков да принял по наследству еще трех отцовых. Став хозяином пятистенной избы, Тимоша с оглядом на будущее стал строить рядом другую пятистенку. Два лета ставил вместе с братьями. А когда достроил, женил второго брата, Ивана. Женил на дочери нефтепромышленника. Думал Тимоша таким образом породниться с богатыми и влиятельными людьми края. Но нефтепромышленник-одиночка прогорел и неизвестно куда сгинул. Осталась лишь его красивая дородная дочь — жена Ивана.

А Иван немногое перенял от отца. Хотя был здоров и силен, к делу мало интереса проявлял. И был у старшего брата на подхвате. Серьезных дел Тимоша не доверял ему. Только и знал Иван, что липнул к своей красивой и пышной Федосье. Чтобы хоть как-то брат участвовал в нескончаемых заботах о семье, оставленной покойным отцом и народившейся после, Тимоша препроводил в его избу младшую сестру.

Младший брат, Прокопий, в отличие от Ивана, пошел в старшего. Окрепнув, затевал с гиляками дальние поездки, бил нерпу, ловил кету. И был крепким помощником... Не успел развернуться Прокопий... Погиб в шторм вместе с гиляками... С той поры Тимоша стал жалеть своих близких. Ведь они одни в этом проклятом краю.

А где-то далеко-далеко за морем, за бескрайней глухой Сибирью, о которой он знал лишь по каторжанским песням и воспринимал не иначе как огромную бесконечную тайгу, там, в дальней дали, есть и его земля, его родина. И всегда «родина» появлялась в воображении так: тайга — Сибирь глухая и жуткая где-то кончалась, а за нею открывалась необычная земля. Там тоже есть леса, но леса светлые, веселые. И не бесконечны они, леса — островками. Земля покрыта хлебами и тяжелыми, увесистыми колосьями. А над ними в мареве знойного воздуха плывут русские бабы и девицы. Плывут в расшитых сарафанах и коф-

тах. В руках у них — серпы. Поют женщины раздольные песни. И все наклоняются, наклоняются — режут серпами богатые хлеба. А над головами, повязанными цветастыми платками, редкие белые облака. И текут из небесной глуби звенящими струями тучные пучки солнечных лучей...

Глава XII

Ыкилак поворачивал голову, ловил в прибрежном лесу нечастые просветы, всматривался пристально, не завьется ли струйка дыма, не прорвется ли лай собаки — ведь за двумя поворотами реки стойбище невесты. И хотя не уговаривались, придется ли погостить у ахмалков и сколько уйдет на это и времени и подарков,— Ыкилак с радостным нетерпением ждал последнего между двумя таежными стойбищами поворота.

Там, где ожидался фарватер, буруны вспороли реку и сквозь пенистые струи проглядывала каменистая мель.

— Приставай! — крикнул отец, ехавший чуть позади.

Наукун ловко сработал рулевым веслом. Лодка прижалась к прибрежному ивняку.

«Зачем?» — хотел было спросить Ыкилак, но спохватился: отец велел, значит, надо.

— Чай будем пить,— сказал Касказик.

— До наших ахмалков всего два поворота,— просительно вымолвил Ыкилак.

Наукун повернулся к брату спиной, достал из лодки топор, принялся усердно рубить сухостойную лиственницу. А когда стемнело и отдельные серые стволы берез слились с черным лиственничным лесом, три лодки — две спаренные, одна чуть позади — неслышно проскользнули по черной воде мимо стойбища ахмалков. Старейший Кевон решил не показываться сейчас им на глаза — не время, явится зимой с богатым выкупом. А сейчас ждут другие дела, не менее важные, чем женитьба: нужно навсегда наладить мир с людьми рода Нгаксвонгов. Навсегда...

Глава XIII

Дорога, она всегда клонит к раздумьям. Думы приходят не только к тем, кто в дороге. Думы охватывают и тех, кто пожелал им удачного пути.

Век нивхской женщины короток. Сорок затяжных, бура-

нистых, голодных зим-близнецов, сорок горячих от работы лет-близнецов, до десятка мучительных родов — и к женщине обращаются «мамхать» — старуха.

Она стояла с непокрытой головой, маленькая Талгук, мать быстроногого юноши Ыкилака и жена седовласого, крепкого, как пень от недавно срубленной лиственницы, Касказика.

Когда Талгук привели в род Кевонгов, чтобы сделать женой удачливого добытчика, крепконогого Касказика, род этот занимал стойбище на берегу нерестовой реки. И еще их мужчины жили на лагунах Пила-Керкк — Большого моря [1].

Ее сватали несколько родов. Каждый сторожил время, когда можно будет ее забрать. А люди из далекого стойбища Нгакс-во, что на берегу туманного моря, пытались увезти ее еще маленькой девочкой. Но отец не дал им сделать это. Пусть дочь доживет в его то-рафе до своей поры, а к тому времени ымхи соберут выкуп...

В то лето ей исполнилось тридцать три ань [2]. Было тогда много водки, но еще больше крови...

Люди из Нгакс-во поднялись вверх по Тыми на двух долбленых лодках. И по сей день перед глазами Талгук — груда собольих шкур и горностая, богатая шапка из лисьих лапок старейшему рода и нерпичьи шкуры — на одежду и торбаза, белая кожа морского льва — на подошву для торбазов и шкуры морского котика, сало свежее и топленое, штуки синего китайского ситца, айнский чугунный котел, топор, шомпольное ружье... И водка. Водки на два дня повальной пьянки. Да, был могуществен род людей Нгакс-во, что живут на холодном берегу моря.

Но раньше этих людей приезжали седовласые сваты с верховьев Тыми. Отец согласился тогда отдать Талгук в род Кевонгов. Дело задерживалось из-за выкупа, который дружно собирали ымхи — люди рода зятей. К зиме Талгук должна была переехать в верховья Тыми.

Пока Кевонги собирали выкуп, нагрянули люди с морского побережья. Сучок-дед, как звали отца Талгук, сперва отказался разговаривать с приезжими — боялся нарушить слово, данное Кевонгам. На второй день беспробудной пьянки сам Сучок-дед полез к гостям с мокрыми губами.

...Талгук почувствовала себя созревшей еще за две зимы

---

[1] Нивхское название Охотского моря.

[2] Раньше нивхи вели летосчисление по временам года. Ань означал зиму или лето. Год равнялся двум ань. Сейчас летосчисление унифицировано: ань приравнен к году. В романе ань дается в старом значении.

до того, как приезжали сваты. Она поначалу перепугалась, не зная, что с ней, прибежала к матери. Та долго и терпеливо объясняла дочери...

В ту зиму что ни день Талгук не узнавала себя. Она тайно, когда нет других глаз, прикасалась к груди, которая, незаметная прежде, теперь быстро наливалась. Плечи, бедра округлились. Вокруг перешептывались: «Дочь Сучка созрела, спеет большая выпивка».

Талгук не представляла себя в роли жены. Но уже тогда внушала себе, что будет старательной, расторопной хозяйкой — ведь таких ценят. И еще она ощущала в себе какую-то новую силу. Эта сила по ночам не давала спать. При встрече с мужчинами девушка не смотрела им в глаза: а вдруг догадаются... Иногда ловила себя на мысли: скорей бы.

И когда пьяный отец сказал, что она жена человека из Нгакс-во, Талгук безропотно смирилась. Она никогда не перечила старшим, отцу — тем более. Отец сказал — значит, так надо.

Все стойбище, горланя, вышло провожать отъезжающих. Мужчины скользили на прибрежной глине, валялись в ней и хрипло орали:

— Охо-хо, наш любимый зять! Охо-хо!

А «наш любимый зять» — криволицый, зим двадцати от роду. Кто-то из приехавших с ним проговорился: этот жених однажды пытался увести чью-то жену. Но нарвался на мужа, и тот прошелся по его лицу тяжелым остолом [1]. Жених долго лежал без памяти, но каким-то чудом выжил...

В полдень обе лодки пристали на отдых. Выбрали красивый галечный мыс, развели костер. Снова пили. А потом пьяный жених увел невесту в наскоро срубленный из ивняка шалаш.

Талгук оцепенела от страха, когда он грубо полез к ней. Была боль. Страшная раздирающая боль.

Она не помнит, сколько он терзал ее. Но вдруг услышала вопль:

— Вот он! Вот он!

А рядом кто-то истошно кричал:

— Нашли вора-росомаху! Нашли! Бей его! Бей!

В шалаш заглядывал человек. В руках — копье. Но в тесноте действовать копьем несподручно. И человек, пригнувшись, прыгнул на криволицего. Тот ударил его ногой. Человек, падая, выдавил стену шалаша. Криволицый

[1] Остол — тормоз, используемый при езде на нартах. Древко делается из прочной древесины (береза, дуб), наконечник — металлический.

вскочил и сам перешел в нападение. Он кинулся на лежащего противника, но наткнулся на мощный удар обеими ногами. Прутяной шалаш разлетелся в стороны. Тускло сверкнули лезвия узких охотничьих ножей. Противники сцепились, сопя и рыча и быстро-быстро орудуя ножами. Кто-то ойкнул, протяжно застонал. С земли поднялся криволицый — из бока хлестала кровь. Пошатываясь, он побежал к лодке. Трава от шалаша до реки покрылась кровью. И тут копье, брошенное чьей-то точной рукой, проткнуло ему спину между лопаток. Криволицый повалился в реку. И вода стала тоже красной. Может быть, река была красной еще от вечерней зари, полыхавшей в полнеба. Но хищные рыбы, почуяв кровь, суетливо всплескивали у пустой лодки.

У разбросанного шалаша мучительно пытался приподняться человек. Он встал на четвереньки, при этом голова с толстой косой волочилась по земле. Приподнимался, руки его подламывались, и, скрежеща зубами, он вновь и вновь падал лицом в траву.

Сородичи криволицего, не ждавшие нападения, разбежались в панике. Когда они собрались с духом и вернулись к потухающему костру, по следам прочитали, что сталось с криволицым. Одна лодка стояла на месте. В ней ничего не тронуто. Вторую, окровавленную, прибило к поваленному дереву.

...Талгук не успела узнать имени мужа. И не знала, кто такие — напавшие. Она послушно позволила посадить себя в лодку, где с шестом стояли двое плечистых молодых мужчин, а на корме, тоже с шестом,— пожилой. Талгук села посреди лодки. Рядом с нею отталкивался шестом охотник, очень похожий на того, кто сидел на корме. «Наверно, отец и сын»,— подумала тогда Талгук. Раненого везли во второй лодке.

За большим поворотом пожилой обратился к тому, кто на носу:

— Нгафкка [1], пристанем к берегу, узнаем, что с аки [2] Касказика.

И Талгук поняла. Пожилой — отец. С ним два сына. Один из них по имени Касказик — младший. Он стоит рядом с Талгук и, усердно отталкиваясь шестом, ведет лодку против течения. Второй сын, старший,— это тот, кто

---

[1] Нгафкка — форма обращения. Буквально: товарищ, приятель, друг.

[2] Нивхи обычно не называют старшего по имени. К нему обращаются: отец того-то или старший брат того-то.

ранен. Касказику помогает, по-видимому, ымхи — человек из рода зятей. Те двое, что в лодке, скорее всего тоже ымхи.

Ахмалки — люди рода тестей — часто распоряжаются мужчинами рода зятей, особенно когда то или иное дело требует много людей. Ымхи добросовестно выполняют требования рода тестей — так было всегда.

Только в своем стойбище, куда приехали утром следующего дня, Талгук узнала, что новым ее мужем будет кто-то из братьев рода Кевонгов.

Сучок-дед лежал пьяный. Увидев чужих людей, и одного из них — окровавленного, он мигом протрезвел. На дочь не обратил внимания, будто никто ее не увозил.

В тот день здешний шаман сказал: все три рода — род Сучка, род Кевонгов и люди стойбища Нгакс-во совершили тяжкий грех. Сучок-дед нарушил обычай, отдав другим просватанную дочь. Люди Нгакс-во — воры: напоили Сучка и забрали у пьяного дочь. А Кевонги пролили свою и чужую кровь. Курнг — всевышний дух — не простит.

Через два дня Кевонги добрались до родного стойбища. Свадьбы не было. Но были похороны...

Талгук тихо вошла в новый род, стала хозяйкой. Как бы ни был велик улов, летнее солнце не успевало попортить ни одной рыбешки — так проворно нарезали юколу маленькие руки. И еще она следила за очагом. И рожала... Старшая дочь рано научилась держать тонкий длинный нож. С нею было легко, с Иньгит...

Талгук позволила сейчас себе много. Она обычно с утра до ночи бывает занята делами, большими или малыми, но всегда нужными, а сейчас она стояла тихо у то-рафа, и вот уж можно было бы выкурить целую трубку листового маньчжурского табака — так долго стоит она, ничего не делая. И смотрит куда-то в сторону и ничего не видит, вся в том далеком времени, когда ее увез к себе крепконогий Касказик...

Первым ребенком ее была дочь. Старые бабки, которые сидели у входа сооруженного по случаю родов шалаша, охраняя роженицу от вездесущих злых духов, приняли младенца и принесли весть в стойбище. Касказик не проявил при этом никаких чувств, будто ничего и не произошло. Талгук долго убивалась, будто она повинна в том, что не принесла продолжателя рода Кевонгов. Будто она обманщица, на которую с укором и презрением смотрит весь мир.

Много месяцев суровый муж не подпускал к себе жену.

Беспокойными ночами, замучив себя до смерти, Талгук умоляла мужа, чтобы он взял еще одну жену — может быть, с нею придет к нему счастье...

Как-то ночью, когда на очаге жарко вспыхивали крупные угли от догоравших лиственничных дров, суровый Касказик молча лежал без одеяла на оленьих шкурах. Талгук, справившись уже с хлопотами, разделась, по-рыбьи, изогнувшись, прильнула к его крепкому мускулистому телу и, лаская нежно и преданно, умоляюще сказала: «Милый, я принесу тебе сына, поверь мне. Так будет. А девочка — это хорошо. Она будет нянчить своих братьев. Девочка, она быстро подрастет, моя помощница».

И по сей день Талгук не знает, что возымело тогда действие. Чтобы ласка и нежность жены взяли свое, Талгук никогда не позволит себе так подумать: нельзя брать на себя много. Но и по сей день она помнит ту ночь, беспредельно обильную любовью. Касказик был неутомим. И она вновь и вновь загоралась желанием. Кажется, именно в ту ночь Талгук по-настоящему прозрела как женщина. Потом как-то стихла. Все дни, как и прежде, в нескончаемых домашних хлопотах. Но теперь она все делала тихо, неслышно, без резких движений.

Однажды Касказик вернулся из тайги, где после бурана переставлял ловушки, с устатку выпил горячего чая и едва дотянулся до лежанки, как захрапел. В ту ночь он видел прекрасный сон. Касказик ходко шел на широких охотничьих лыжах. Подбитые нерпой лыжи неслышно скользили по снегу. И вот он заметил: по распадку спускается какой-то небольшой зверек. Покажется меж кустов — исчезнет, мелькнет между деревьями — скроется. Касказик остановился, высматривая, куда же пойдет невиданный зверь. А тот спустился по распадку, свернул было в сторону, но увяз в глубоком снегу. Касказик подлетел, схватил зверя...

Наутро он пришел к шаману, рассказал о сне. Шаман ответил: «Того, кто видел сон со зверем, ждет радость».

Касказик не стал мучить себя догадками. Вернулся домой и увидел: его жена продолжает лежать в постели. Неслыханный случай! Жена всегда вставала раньше мужа, и к тому времени, когда просыпался муж, очаг пылал костром и завтрак ждал хозяина. «Подойди ко мне»,— услышал Касказик голос жены. Обескураженный глава рода подчинился. Когда муж наклонился, Талгук обвила его шею руками, сказала на ухо шепотом: «У Иньгит будет брат». Касказик ликующе вскрикнул, перевел дыхание, порывисто обнял жену, да так, что та едва не задохнулась.

За одну неполную луну до рождения ребенка Касказик нарубил черемухи и настругал длинные ленты нау — священные стружки. Собрав их в султанчики, обвязал у основания лыком, обмазал кончики стружек брусничным соком и повесил по углам то-рафа. Священные стружки должны передать Курнгу — всевышнему духу — просьбу Касказика. А у Касказика одна просьба: пусть родится продолжатель рода Кевонгов.

В середине лета, когда горбуша тысячными косяками устремилась на нерест, родился сын. О, крепконогий Касказик сразу стал почитаемым человеком. Он обменял у проезжего русского торговца шкуру соболя и перья орла на водку. Счастливый отец и удачливый добытчик щедро угощал соседей. И подтвердил этим свое имя — имя доброго человека.

Младенец, еще безымянный, обычно покоился в берестяной зыбке, подвешенной за поперечину у потолка. Однажды, расшалившись, раскачался в своей зыбке. Нау, что висели у потолка, сорвались и, шурша, упали на ребенка. Касказик увидел в этом доброе предзнаменование, сказал: «Нау-куть» — упали нау. Эти слова старейшего рода превратились в имя — Наукун. Ребенок будет счастливым, решили в стойбище, и принесет счастье своему роду.

Глава XIV

Прошло еще несколько ань. Иньгит научилась шить торбаза, накладывать заплаты. А Наукун бегал по мелководным ручьям и на перекатах бил горбушу костяной острогой. Рыбу он волочил по земле и с великим трудом добирался до то-рафа, а осилить-то надо было всего какую-то сотню шагов.

По Тыми за лето не раз проезжали разные люди: нивхи, лоча — русские, маньчжуры. Разные причины заставляли их двинуться в нелегкие путешествия: одних — торговля, других — какие-то непонятные нивхам дела, третьих — нужда навестить родственников.

Чаще других проезжали лоча. Они были самыми непонятными для нивхов. Маньчжур — тот понятно зачем ездит: он торговец. И среди лоча встречались торговцы, военные и еще какие-то там с бумагами. Знали жители Ке-во: далеко в сторону полудня за хребтами на берегу моря в местечке Руй вооруженные саблями и ружьями лоча держат себе подобных, закованных в цепи. И зачем-то заставляют несчастных рушить горы, пробивать сквозь них

отверстия такие большие, что могут пройти сразу десять человек. И еще слышали нивхи, что те, кто в цепях, иногда убегают из-под стражи и бродят по тайге и сопкам. Говорят, они страшнее медведей-шатунов.

Этих сбежавших нивхи звали «к'итьк». Никто из Кевонгов не видел этих людей и не знал, каковы они.

Но однажды они побывали в Ке-во.

Талгук не хотела, чтобы в памяти поднималось то, что тогда случилось, но память не подчинилась воле женщины. И голова налилась жаркой болью, пошла кругом. Талгук глотнула холодного воздуха. Еще раз глотнула. Голове немного полегчало, но опять прошлое всплыло в своих страшных подробностях.

Стояло знойное лето без дождей. Тайга накалилась и дышала жаркой духотой.

В тот день Касказик и два его брата Ненон и Лайргун на двух лодках поднялись выше стойбища и поставили сети — наступало время хода горбуши.

Братья помогли поставить сети и вернулись в стойбище, чтобы починить вешала, а Касказик остался снимать улов. Талгук согрела чай и напоила братьев. Лайргун торопливо ел и не сводил глаз с Талгук. И даже несколько раз прикасался к руке жены старшего брата. Ненон, самый старший из братьев, напускал на себя безразличие, делая вид, что ничего не замечает. Несчастный Ненон был женат. Но чем-то прогневал Курнга — всевышнего: жена родила сына и тут же ушла в Млы-во — потустороннее селение. Ребенок ушел следом за матерью. И с тех пор Ненон остался холост. Еще до того, как он потерял жену, в одну весну ушли в Млы-во старики — отец и мать. И власть старейшего рода перешла к старшему брату. Но оставшийся без жены и ребенка, Ненон предался горю. Жизнь стойбища его мало трогала. Теперь дела вертелись вокруг Касказика, у которого была семья.

Обычай запрещает старшему общаться с женами младших братьев. Зато младшим дает право на жен старших. Касказик знал, что в его отсутствие Лайргун спит с Талгук. Но не было случая, чтобы он проявил недовольство,— тут обычай на стороне Лайргуна.

Лайргун самый красивый из трех братьев. Он еще юноша, но уже в том возрасте, когда подобает его называть мужчиной.

Последний раз выдался случай дней двенадцать назад, когда Касказик поехал нарубить жердей. Талгук была во дворе — варила собакам корм. Едва Касказик пересек се-

редину реки, Лайргун, жадный до любви и всегда нетерпеливый, схватил возившуюся у костра Талгук и унес в то-раф.

И сегодня ему повезло. Когда поставили сети, Касказик обратился к Ненону:

— Ака [1], я, однако, останусь. Если будет удача, сниму улов. Возвращайтесь домой.

Потом обернулся к притихшему в оживлении Лайргуну:

— А ты сними рыбу с вешалов.

Это надо понимать так: Касказик просил старшего брата заняться юколой, но обычай не позволяет младшему повелевать старшим. Поэтому то, что нужно было сказать Ненону, было сказано младшему — Лайргуну.

Лайргун был несказанно обрадован таким поворотом дела. Быстренько сел за весла и так сильно греб, поочередно занося весла далеко назад, что лодка скользила то вправо, то влево, грозя перевернуться.

Талгук знала своего мужа лучше, чем его родные братья. Он мог бы оставить Лайргуна сторожить сеть, а сам с Ненoном заняться юколой. Но он, добрый и жалостливый, видел, как томится младший брат. Вот и отправил его в стойбище.

Лайргун уже кончал чаепитие и бросал ненавидящие взгляды на старшего брата, который в ленивой раздумчивости потягивал чай. Наконец Ненон поставил чашку, безразлично зевнул и, почесывая живот, удалился к себе.

Лайргун, весь клокочущий, вскочил и торопливо, рывками стал сдирать с Талгук одежду. Единственное, чего опасалась она тогда, чтобы не оборвал подвязку на штанах.

Потом залаяли собаки. С чего бы? В стойбище все свои. Ненон отдыхает у себя в то-рафе. Иньгит и Наукун — играют на галечной косе. Но собаки опять залились. Сперва гавкнула сука, за ней — подросшие щенки.

— Кто-то там? — насторожилась Талгук.

Но Лайргун и ухом не повел.

— Кто-то там,— повторила обессилевшая Талгук.

Теперь уже лаяли все собаки стойбища. По голосам определила: одни лаяли с любопытством, другие — яростно и злобно.

Талгук быстро оделась, открыла низкую дверь. Увидела сперва собак, потом двух, похожих на людей. Длинные всклокоченные бороды, волосы, свисающие на лоб. Палками они отмахивались от наседавших собак. Кто это? Люди?

---

[1] А к и — старший брат. Ака — форма обращения к старшему брату.

Но разве бывают такие? Да и ростом больше нормальных. И рыжие, как листья осенней березы. Может быть, это и есть пал-нивгун — полулюди, полудухи, живущие, как рассказывают старцы, в недоступных для простых людей горах? Примета есть: кто видел духов, тот будет счастливым. Талгук, едва увидев духов, уже боялась, как бы они не исчезли. Они могут исчезуть неслышно, на то ведь они и духи. Они исчезнут, а собаки еще долго будут лаять. Но нельзя, чтобы они так быстро ушли.

— Пойди сюда! — позвала Талгук, приглашая Лайргуна посмотреть на духов: пусть и он будет счастлив.

Духи тоже увидели Талгук. Она побежала к собакам, разогнала их пинками. Собаки отошли в сторону, недоуменно взглядывая на хозяйку.

Лайргун нерешительно топтался на месте. Дух, что с бородой до пупа, медленно, на плохо сгибающихся ногах, с отставленной рукой, в которой держал увесистую палку, прошел мимо Талгук, опасливо оглядываясь на собак. Талгук удивилась: духи, а собак боятся. Духи, они обычно невидимые, но, когда хотят сделать хорошее, оборачиваются людьми и приходят в стойбище или к охотникам. Так говорится в преданиях.

Дух с длинной бородой обошел Лайргуна, прошел в то-раф. Второй, что поменьше ростом, остановился в нескольких шагах от Талгук.

А она рассматривала их и гадала, что могли они принести жителям Ке-во. «Духи, оказывается, тоже бывают разных возрастов, совсем как люди. Вот этот, однако, молодой — на лбу не видно морщин. А глаза! Странные, будто водой морской налиты». И тут она услышала треск. Оглянулась: Лайргун, этот красивый юноша, младший из трех Кевонгов, медленно оседал. Не успела Талгук сообразить, что произошло, ее втолкнули в то-раф. Духи о чем-то заговорили на своем языке. Потом тот, кто покрупнее, оттолкнул меньшего, кинулся на женщину.

В голове помутилось. Перед глазами проплыло лицо большого бородатого духа. И полуживая женщина еще думала, как понять происходящее: счастье ли привалило или беда...

Оголенное плечо саднило. С чего это? На плече лежала большая жилистая, немыслимо волосатая рука. А на руке — железное кольцо с обрывком... цепи. Странное украшение... Железо растерло ей плечо до крови, а дух и не замечал, что ей больно. Хоть бы убрал руку, хоть бы убрал... Дух... Добрый дух... И тут от страшной догадки Талгук вздрог-

нула: это к'итьк! Женщина на какой-то миг потеряла сознание, а когда вновь пришла в себя, увидела лицо другого к'итьк...

Потом оба набросились на сырую рыбу, что лежала у порога. Талгук приходила в себя, но великий страх вновь и вновь повергал ее в забытье.

А к'итьк, как голодные собаки, в спешке засовывали в рот рыбу, хрустели костями, по бородам стекала густая рыбья слизь...

Девочка... Моя маленькая девочка. Зачем же ты вошла в то-раф? Ведь Наукун, увидев злодеев, схватил тебя за руку и потащил в кусты. Там и надо было сидеть до конца. Как Наукун. А ты не выдержала, сердце твое жалостливое вытолкнуло тебя из укрытия.

Даже изувеченное тело дяди не отпугнуло тебя. Ты потянула дверь. Она неслышно перекосилась на ременных подвесках. Ты увидела меня на лежанке, истерзанную. Глаза твои наполнились ужасом, но ты не убежала, вскрикнула и бросилась ко мне. О, зачем так?

К'итьк разом забыли о еде. Первым схватил тебя тот, что помоложе. До сих пор слышу твой крик. Больно мне, больно... Не могу. Не могу... О-о-о, больно. Лучше бы они меня убили. Лучше бы они меня живую изрезали на куски... О-о-о... Старший схватил младшего за волосы и так дернул, что тот завопил дурным голосом. Мне бы взять топор да снести обоим башку. Но ноги, мои презренные ноги, совсем отнялись. О-о-о. Почему вы, боги, не пришли мне на помощь? Почему?

Потом младший убежал в дверь и тут же опять появился. А ты, моя маленькая дочь, кричала, звала меня. О-о-о, ноги, мои презренные ноги! В руках у младшего сверкнул топор, старший растянулся на земляном полу с пробитой головой.

О-о-о! Зачем только я родилась на свет. О-о-о! О-о-о! И тут откуда-то у меня взялись силы. Наверно, боги услышали меня. Я вскочила, но и злодей поднялся на ноги... Когда я пришла в себя, была ночь. И мне хотелось, чтобы то, что произошло, было сном, кошмарным сном. Но два изуродованных трупа... Голова болела и кровоточила. Где же ты, моя маленькая девочка?

Я кричала, звала тебя. Я обежала стойбище, вышла на берег. И тут в кустах услышала голос сына. О, боги! Добрые боги! Вы сделали так, чтобы у моих детей хватило ума спрятаться. О, боги! Спасибо вам, боги! Я взяла их за руки, и мы побежали в родовой то-раф. О-о-о,

о-о-о! Почему вы, боги, на нас в гневе? Почему вы так безжалостны к роду Кевонгов? Едва переступив порог, мы споткнулись о что-то твердое. О-о-о! О-о-о! И старший из Кевонгов был убит. Я только и знала, что кричала. Всю ночь прокричала. Горло мое вспухло и болело невыносимо, голос пропал. Но я кричала и кричала. Кричала и плакала.

Вместе с утром появился Касказик. Увидев, что произошло в стойбище без него, он, преисполненный горя, молча, как пень, сидел на берегу Тыми.

Вечером запылал большой костер. Касказик отдал своих братьев одному огню.

Тело рыжего злодея уволокли подальше от стойбища, бросили в распадке на съедение воронам...

До той поры глава старинного рода непоколебимо верил, что его таежное стойбище надежно укрыто от всяких человеческих бед и случайностей. Неожиданное нападение беглых каторжников заставило Касказика призадуматься. Но куда деваться?

Вниз по Тыми — там враги. В верховьях много стойбищ. В Выск-во, что в одном дне ходьбы через тайгу и сопки,— род Высквонгов, они с древнейших времен зятья Кевонгам. Касказик решил навестить их, и по тому, как Высквонги примут его, он решит, отдавать ли им сейчас Иньгит. Нивхи испокон веков поступали так: девочку из рода тестей еще маленькой отдавали в род ее будущего мужа. Мальчик и девочка вместе растут, играют в детские игры, взрослеют, потом и сами становятся родителями.

Когда Высквонги прослышали, что у Касказика родилась дочь, тут же явились, радостные, почтительные, привезли много подарков. По случаю приезда людей ымхи, Касказик выловил в Пила-Тайхуре осетров. Пир длился два дня. Касказик и Талгук тогда особое внимание обратили на мальчика Чиндына, будущего мужа Иньгит.

Высквонги намекнули, что хотели бы забрать Иньгит в возрасте десяти ань. Но Касказик сказал: человечье жилье без детского голоса не жилье. Старейшие договорились: Высквонги возьмут Иньгит, как она «себя увидит» — едва превратится в девушку. Теперь Касказик, чтобы скрыть свое намерение, прихватил шкурки белок и немного лисиц — скажет, что пришел за табаком и чаем.

Вооружившись копьем, двинулся Касказик сквозь тайгу и сопки старинной нивхской тропой, которой сейчас пользовались одни медведи.

Последний раз был он в Выск-во перед рождением до-

чери. Стойбище тогда имело четыре то-рафа и жило в нем человек двадцать. Сейчас девять жилищ.

Хорошо встретили Высквонги своего ахмалка. Этот род брал женщин и в стойбищах, расположенных еще выше по Тыми, у самых истоков, и в большом селении Руй на западном побережье, где теперь, как говорят знающие люди, появился пост Александровск с большой тюрьмой. Касказик так толком и не понял, что такое тюрьма — яма, что ли, в которую сажают людей за всякие провинности.

Одноглазый Фулфун, старейший рода Высквонгов, и другие почтенные мужчины угостили Касказика хорошим чаем, водкой, медвежатиной, редким лакомством — русским хлебом.

Касказик узнал, что стойбище Выск-во увеличилось не потому, что в роду стало много людей. Это приехали с верховьев Тыми люди других родов — их оттуда вытеснили тюрьмы.

Чиндына не было ни в родовом то-рафе, ни в других жилищах, куда Касказик заглянул на чай. Фулфун угадал мысли Касказика.

— Сын у Брони[1],— сказал он, часто мигая слезящимся глазом. И пояснил: — Ссыльный какой-то. Только непохожий на других. Записывает нивхские предания, легенды, учит наших детей грамоте. Чиндына обучил русскому слову, писать научил. Пойдем в русское стойбище, сам увидишь.

Броня перебрался в южные стойбища, забрал своего ученика с собой — чтобы переводил тексты сказок.

Фулфун провел поречной луговиной, и за излуками Тыми показалось селение — свежерубленые избы в два ряда.

Первый, кто попался на глаза,— молодой нивх, странно одетый. На нем лихо заломлена фуражка с красным околышем, револьвер на боку. Но еще более странным было его поведение. Вихляющей походкой переходил он от дома к дому, бесцеремонно приставал к прохожим. Увидев сородичей, глянул на них исподлобья, заплетающимся языком произнес оскорбляющие достоинство человека слова.

---

[1] Б. О. Пилсудский (1866 — 1918) — ученый-этнограф. В 1888 году студентом Петербургского университета был арестован по делу А. Ульянова в связи с покушением на царя Александра III и сослан на Сахалин. На острове вел большую научную работу. Опубликовал несколько статей по этнографии и фольклору нивхов, собрал богатую коллекцию по этнографии айнов. Составил словари: айнский, нивхский, орокский и магунский (ольчей). Автор известной публицистической статьи «Нужды и потребности сахалинских гиляков». Первый просветитель нивхов и айнов, просветительную работу вел на свои средства.

Фулфун рассказал, кто это — никем не уважаемый человек, ленивый и лживый. По имени Кворгун. Дадут ему водки понюхать, а он придуривается, изображает пьяного.

Здесь вначале надзирателем был военный. Поселенцы поили его водкой, и он, шатаясь и распевая песни, добирался поздними вечерами домой.

В прошлое лето вызвали несколько нивхов в округ. Среди них был Кворгун. Из окружного центра он вернулся в фуражке, при бляхе и револьвере. Оказалось, вызванным зачитали приказ начальника острова, в котором говорилось: «Ввиду крайней необходимости в людях, хорошо знакомых с местностью, и для облегчения сношений местного начальства с инородцами нанимать гиляков в надзиратели, поощрять их в этом деле, за каждого пойманного (или убитого) беглого награждать положенным денежным вознаграждением — 3 рубля за одного человека». Так нивх Кворгун стал надзирателем, «Большим Начальником», как сам себя именовал. А спотыкается и нехорошие слова говорит — это он подражает прежнему надзирателю, считает, что начальнику положено так вести себя.

То, что пережил Касказик, и то, что он сейчас видел, было слишком далеко от его понимания. Порой ему казалось, что это сон, страшный сон.

Вблизи одного селения произошла встреча, никак не отразившаяся на жизни Касказика, но о которой потом узнает весь просвещенный мир. А всему причиной собака, двухлетний кобель, увязавшийся за хозяином.

Глупый кобелек запропастился куда-то. Касказик остановился у дороги и увидел необычную нарту — на больших колесах, ее весело тянули две лошади. Кроме каюра-возчика еще двое: один в генеральской форме, другой в штатском. Штатский, увидев нивха, близоруко сощурился. Бледное, заметно одрябшее от долгой дороги лицо оживилось.

«Однако большие тянги-начальники,— подумал Касказик.— Неловко отвлекать важных людей...»

— Эй, стой! — крикнул все-таки он.— Не видели ли где мою собаку? Молодую, хорошей породы...

Нивху не суждено было узнать, с кем его столкнула судьба. Для штатского глава вымирающего нивхского рода был просто «гиляк», а для Касказика великий русский писатель Чехов — одним из «больших тянги».

— Ничьей власти они над собой не знали и знать не хотят. Красивый, гордый народ. Но, видно, век их уже определен,— сказал Чехов, когда тарантас тронулся.

— Мною издан приказ принимать инородцев в окружной лазарет за счет казны. В голодные годы выдаем им пособия мукой, крупой. Но смотрители, старосты, надзиратели нашли здесь возможность обирать инородцев. Пришлось издать приказ, чтобы у них не отбирали имущества за долги.

Чехов внимательно слушал генерала-губернатора, ощущая в душе холодок отчуждения, пытаясь определить, откуда и почему он возник.

— Я издал приказ принимать гиляков в надзиратели, ибо это нововведение имеет целью и обрусить,— продолжал губернатор.

Тогда великий писатель сказал:

— То, что близость тюрьмы к гилякам не обрусит, а лишь вконец развратит, доказывать не нужно. Гиляки далеки до того, чтобы понимать наши потребности. Если уж необходимо обрусить и никак нельзя обойтись без этого, то, я думаю, при выборе средств надо брать в расчет не наши, а их потребности.— И помолчав, продолжал: — Впрочем, обрусение началось задолго до вашего приезда. А началось оно с того, что у чиновников, получающих даже самое маленькое жалованье, появились собольи и лисьи шубы, а в гиляцких жилищах — русская водочная посуда.

Фулфун и Касказик пришли в большое, в одну длинную пыльную улицу, селение. В годы юности Касказика здесь была тайга и небольшое стойбище встречало приезжих громким лаем сытых собак. У причудливого дома — церкви — Касказик услышал подозрительный звон. И увидел невероятное зрелище: по площади медленным шагом проходила группа бородатых, мрачных людей, закованных в цепи. Он побелел лицом: те разбойники, что побывали в его стойбище,— из этих людей!

Чиндына нашли в небольшом, чисто прибранном доме. Броня, стройный, высоколобый, с пристальным взглядом молодой человек, обрадовался, увидев гостей.

Касказик удовлетворенно заметил: Чиндын возмужал. Но чего он так привязан к этому пришельцу?

Броня хлопотал, накрывая нехитрый стол: коврига хлеба, жареная рыба, чай. Ему помогал могучего роста человек, примерно одного с ним возраста, назвавшийся Громовиком.

В отличие от многих Громовик не носил бороды. Глаза веселые. Когда гостям постелили, Громовик со смехом рассказал о своей судьбе. Он из-под Киева. А попал на Са-

халин вот после какого случая. Жандарм своими притеснениями озлобил мужиков. Те подловили его однажды и расправились, как могли. Нет, не бил Громовик жандарма, даже пальцем не тронул. В тот злополучный час он сидел на лавочке у своей хаты и орал на всю деревню, взвизгивая и потирая ладони от удовольствия: «Так його. панского холуя! Так його! А зараз пид рэбра йому, бисову сыну, пид рэбра!»

Нет, не участвовал Громовик в мужицкой расправе, но и его отправили в каторгу на Сахалин — за «длинный язык».

Недавно его, как исправляющегося, перевели в поселенцы. Теперь он плотничает. Многие ссыльнопоселенцы застраиваются, вот и приглашают подсобить.

После чая Броня сказал:

— Сегодня не будем заниматься сказками. Вот пишу письмо в Петербург. Мы с Чиндыном набросали. Послушайте-ка, пожалуйста, некоторые места. «Очень прошу посодействовать найти благотворителей в Петербурге, которые бы захотели помочь делу устройства гиляцких школ на Сахалине. Мой опыт за эту зиму дал хороший результат. Выучилось читать и писать более 10 человек. Жалко будет, если первый опыт остановится на этом... Дал пока средства губернатор из фонда — 150 рублей, но я не уверен, будет ли так же добр на этот год. А в Петербурге, быть может, есть люди, которые не прочь укрепить это хорошее дело и связать его со своим именем. Гиляки — симпатичный, способный народ, безусловно, заслуживают внимания и заботы. Посодействуйте, пожалуйста, просвещению инородцев. Ведь в Петербурге большой круг лиц, которых вопрос об российских инородцах сильно интересует. Известно, среди таких лиц имеются богатые и влиятельные. Нельзя же только брать с инородцев, надо же что-либо и дать им».

Встреч и впечатлений у Касказика было в те дни больше, чем за все годы его жизни. Не все понял Касказик.

Поразила его и последняя встреча. Они втроем — Касказик, Фулфун и Чиндын — возвращались в Выск-во. В лесу наткнулись на толпу каторжан — одиннадцать человек. Касказик выхватил нож. Бородатые же люди хохотали, указывая на него и хватаясь за живот. Поодаль от них — Кворгун с револьвером. Кворгун улыбался и заговорщицки подмигивал. Чиндын презрительно сплюнул, попытался объяснить так ничего и не понявшему Касказику. Эти каторжники — «вечники». За прежние побеги и дру-

гие провинности им дали немыслимо большие сроки каторжной работы, некоторым до ста лет. Они заранее условились с надзирателем, бежали из тюрьмы и встретились с ним в лесу. За каждого «беглого» казна по три рубля выплатит. Деньги заберут «беглецы», Кворгуну же от каждого достанется по полтиннику.

Мудрое решение принял Касказик: отдал единственную дочь в большой род рыбаков и медвежатников. Вырастет Иньгит в этом сильном роду, принесет ему продолжателей.

Глава XV

Касказик — прозвище. Оно привилось уже в юношеские годы. Мальчик старательно исполнял указания старших, был жаден до работы, не сидел без дела. Вот и назвали подростка Касказик [1]. Прозвище так и сохранилось за ним, перейдя в имя.

И теперь Касказик не сидел без дела. Но делал все неспешно, углубляясь в какие-то свои думы.

От былого сильного рода Кевонгов осталось всего два человека — Касказик и его сын Наукун. А старик надеялся, что падение священных стружек нау на сына — добрая примета.

И все же судьба оказалась милостивее...

Жара навалилась внезапно. Нетеплая еще земля дышала паром; леса по утрам плясали в позрачных струях марева; река разлилась широко, затопила пойму с ее болотами и ручьями, кустарниками и кочками.

Ярко разнаряженные селезни и скромные серые утки от зари до зари носились в воздухе, суетливо и страстно преследовали друг друга, заполнив мир нетерпеливым кряком и торопливым посвистом крыл.

А вечерами с мелководных заливов призывно доносился плеск. Щука у нивхов — неглавная рыба. Но в конце межсезонья, когда еще нет ходовой, щука занимает на столе почетное место.

Касказик бросил в лодку-долбленку мягкий ком — сетку, положил на дно острогу. Во время разлива течение несильное, челнок хорошо слушается весла. Рыбак напрямик переехал место, где еще несколько дней назад был длинный мыс — теперь он под водой.

---

[1] Касказик — расторопный, старательный.

И следующий мыс ушел под воду. В разлив расстояния намного сокращаются. «Вольно-то, вольно как!» — вдохнул широко Касказик и направил лодку туда, где торчащие из воды тополя обозначили третий мыс. На низине здесь после спада воды обычно болотина. Небольшой ручей и дожди постоянно питают ее, образуя озерки, а в летнюю жару высокая трава бережет от раскаленного неба. На это мелководье и выходит нереститься щука.

Касказик вел челнок уверенно, ловко лавируя между деревьями. Слева, справа и прямо по носу плескались утки и рыба. «Я еду посмотреть мыс. Как-то давно здесь проезжали люди. Они останавливались у мыса, старушки варили чай. Добрые были старушки, хорошие были старушки. Может быть, я их увижу» [1],— негромко, но чтобы его услышали щуки, бормотал Касказик. Он знал, что делать: даже если щуки как-то проведают о его намерениях, не так уж разгневаются — ведь Касказик называл их уважительно.

Выбрав сухой бугор, Касказик аккуратно причалил, привязал челнок к жесткому кусту карликовой березы, которая густой подушкой разлеглась у основания белоствольной могучей березы, словно бурая собака у ног хозяина. Деревья отражались в воде и от этого становились как бы вдвое длиннее.

То тут, то там разлив оживал крутящимися бурлящими воронками. И Касказик, недолго раздумывая, протянул сетку от прибрежного кустарника в глубь разлива. Сетка из волокон крапивы, еще прочная. Правда, недлинная, но сейчас обилие рыбы — все равно будет улов. Камни-грузила унесли нижний край сетки на дно, верхняя подбора привязана к колу. Теперь можно и чай сварить.

Касказик пил чай, а сам нетерпеливо поглядывал на верхнюю подбору, нависшую над речной гладью. Но рыба кружилась вокруг, а в ловушку почему-то не шла. «Что сделал я такого, что щука отвернулась от меня?» — мысленно спрашивал себя рыбак, а вслух произнес совсем другое:

— Старушечки, добрые старушечки, куда вы подевались? Чай давно скипел, я напился досыта, а вас все нет да нет...

Но время шло, а рыба не ловилась. Касказику ничего не оставалось, как переставить сетку. Одному несподручно

---

[1] Наговор, имеющий целью обмануть щук. Нивх, отправляющийся добывать рыбу, называл ее иносказательно или говорил о других вещах, иначе, как полагал нивх, рыба узнает о его намерениях и заблаговременно уйдет в другие места, обойдет ловушки, не станет его добычей.

ставить-переставлять: надо и сеть распутывать, растягивать ее и одновременно править лодкой. «Один, все один. Не с кем переговорить, никто не поможет»,— думал свою привычную горькую думу глава маленького рода.

Лишь когда стемнело, забурлило вдруг. «Порвет, порвет сеть!» — забеспокоился рыбак и энергично столкнул челнок. Щука крупная, сильная. Касказик осторожно опутал рыбину сетью, сделав ее мешком, и, убедившись, что рыба теперь не уйдет, рывком поднял, перекинул в лодку. Дважды хлестко опустил на плоскую голову палку-колотушку, успев сказать между ударами:

— Видишь, я не мучаю тебя. Пожалей меня, сделай удачливым.

Касказик долго распутывал рыбу в темноте и еще больше времени потратил, чтобы выправить сеть.

Луны нет. А улов — одна лишь щука, крупная, но одна. «Ночь короткая, на рассвете поколю острогой»,— решил Касказик. Березовым сушняком пошевелил костер, положил сверху толстое ребристое корневище — выворотень: долго гореть будет.

...Солнце палило нещадно, а Касказик колол и колол рыбу острогой. Лодка заметно осела — так много рыбы. Потом на бугре, где пил чай и ночевал, нашел старинный многослойный прочный лук. Из таких луков древние нивхи отбивали нападение айнов. С такими луками удалые и храбрые охотники ходили на медведей. Касказик сильно натянул тетиву и пустил стрелу вверх. С коротким свистом она взвилась в небо и канула — такой тугой, хороший лук нашел Касказик. Долго смотрел стрелок туда, куда улетела стрела,— должна она воротиться назад, воткнуться в землю. И зоркие глаза охотника высмотрели маленькую — меньше, чем мошка,— точку. Вот она увеличивается, увеличивается, падает стремглав. Едва успел отвести голову — стрела мелькнула перед глазами, пригвоздила ногу к земле. Касказик пытался оторвать ее, но стрела не дает. Тянет Касказик ногу, тянет. Глухая боль разбегается по ноге вверх... Тянет, тянет... Боль, боль...

Касказик еще не проснулся, но уже почувствовал: беда. Торбаз на правой ноге горел. Двумя прыжками слетел с бугра в воду. Нога невыносимо заныла. Но, к удивлению, боль быстро отпустила, и ноги теперь ощущали лишь холод воды.

Касказик выбрался на бугор, развязал кожаные тесемки, снял истлевший торбаз — пальцы красные, а на большом — водянистый пузырь. «Только обжег пальцы —

удачно отделался»,— облегченно подумал рыбак и, внимательно осмотрев обувь, нашел, что она никуда не годится,— забросил с каким-то неизъяснимо легким сердцем.

Солнце уже висело над сопками, обещая опять жаркий день.

В пальцах вновь проснулась боль, но рыбаку не до нее: надо проверить сетку да поколоть щуку.

Сетка вся перепуталась, в нескольких местах зияли большие дыры с рваными краями. «Крупная рыба, очень крупная рыба побывала в моей сети»,— почти радостно и горделиво подумал Касказик и направил челнок к отмели, где торчали из воды рыжие макушки кочкарника.

То ли вода еще не замутилась (не подошли дожди), то ли другая причина, но рыба не подпускала на верный удар. «Надо было ночью лучить, а не спать. Но одному опять несподручно». Поняв бесполезность своей затеи, комом выбрал сетку, повернул челнок в направлении стойбища. Обиженный на щук за их недоброту к себе, рыбак громко произнес слова, далеко не почтительные:

— Вы не старушки — вы щуки! Щуки вы худые и зубастые!

С этими словами Касказик сделал несколько сильных гребков и почувствовал, как проходит раздражение и на душе вроде полегчало...

Что за сон приснился? Острога... Лук со стрелами... Острога — куда ни шло: все же был на рыбалке. А лук и стрелы? Однако это добрые духи стрельнули по моей ноге, чтобы разбудить,— иначе сгорел бы... О, спасибо, добрые духи! Спасибо, спасибо. Делайте, чтобы мне всегда было хорошо...

Касказик теперь с особым значением поглядывал на правую ногу с обгорелым коричневым ногтем и крупным водянистым волдырем на большом пальце. «Сами добрые духи меня пометили»,— с неясной, потому и волнующей, надеждой подумал он.

Но Касказик неверно разгадал сон. Его ждала неожиданная и большая радость. Проезжая второй мыс, Касказик увидел на зеленой полянке жену. Поляна черемшиная, богатая, родовая. «Решила, что муж привезет много рыбы,— пошла рвать черемшу»,— усмехнулся рыбак и хотел было проехать мимо, но передумал. «Помогу нарезать».

Выбрался на берег и... обомлел: жена стояла с закрытыми глазами, подставив солнцу оголенный смуглый живот.

Что это с ней? Неужели? Неужели...

Касказик присел, пытаясь унять волнение. Не получилось: сердце рвалось из груди, голова загудела, закружилась, деревья запрыгали перед глазами; река пошла вспять. Нельзя, чтобы жена его видела. Сейчас в мире должны быть только двое, она и солнце. Нет, трое: она, солнце и он... А вдруг случится не он, а она?.. Но ведь сон... Острога... Лук со стрелами... Острога и лук — снаряжение добытчика. Хороший сон!

Чтобы не заметила жена, Касказик поплыл дальше, прижимая челнок к обрывистому берегу.

Жена появилась следом, в подоле принесла черемши. Ее лицо таинственно светилось. И лишь сейчас Касказик вдруг вспомнил: такое лицо у жены — вот уж целая луна! За суетой и делами он не придал тому никакого значения, не обратил внимания.

— Ездил за рыбой, привез сон,— сказал Касказик после завтрака.

— Сон, говорю, видел. Острогу и лук со стрелами видел. Хороший старинный лук...

Талгук не ответила.

— Не мужской сон, однако. Женщинам такие сны приходят, когда Курнг[1] жалеет род.

— Это мой сон пришел к тебе. Я его видела раньше, еще в прошлую луну. Острога, лук и копье... Это мой сон,— поспешно сказала Талгук.

— Чего молчала?— укоризненно сказал муж.

— А тебе все некогда и некогда. Не до разговору было,— уклонилась Талгук от ответа, чувствуя, что муж наливается радостью.

— Поешь щуки. Одну всего словил,— оправдываясь, чтобы не обнаружить нахлынувшую нежность, попросил Касказик.

Настали дни, радостные и томительные. Касказик заблаговременно съездил в селение А-во за Псулк, женой Эмрайна, старейшего рода Авонгов: она должна помочь в родах и принять ребенка.

Талгук уже несколько лун не прикасалась к игле. А то, что сшила в дни беременности, распорола. И красивые, прочные мужние оленьи торбаза распорола. И заплатку, которую наложила на халат, отодрала, и узлы всякие развязала — чтобы роды легко прошли.

А у мужа свои дела. Он обошел путики[2], снял все

---

[1] Нивхи считали, что, если в момент зачатия женщина видела во сне предметы мужского обихода,— родится сын, женского — дочь.

[2] П у т и к — охотничья тропа.

петли, разрядил ловушки — это чтобы пуповина не стянула шею ребенка. Затем в стороне от родового то-рафа срубил маленький шалаш, накрыл еловыми лапами, на землю положил ветки и сено.

Кажется, сделал все, чтобы роды прошли удачно. Нет, еще не все. Надо развязать ременные крепления у нарты, завязки на одежде и обуви, расплести косу...

Касказик уже несколько дней только и делал, что развязывал узлы, разнимал закрытые туески и берестяные коробы. Ну, теперь, кажется, все. И заботливый муж лениво ходил от нары к наре, зевая от тоскливого безделья. Или лежал на шкурах, предпринимая мучительные попытки припомнить, где еще прячется тот или иной узел.

Талгук до последнего дня рубила дрова и ходила к проруби за водой — так советуют старые люди: беременной нужно двигаться.

Она и радовалась и страшилась. Радовалась, что в стойбище мужа станет одним человеком больше. Страшилась, потому что надо родить, и не просто родить — мальчика. И еще боялась непогоды и сильных морозов: три дня, если родится мальчик, и четыре, если девочка, ей с ребенком предстоит пробыть в шалаше. Плохо рожать зимой, трудно рожать зимой. А попадется нерасторопная помощница, может застыть ребенок и умереть...

Был ветреный день, когда Талгук поняла: пора в шалаш. Она накинула на себя второй, на собачьем меху, халат, надела лисий малахай, меховые рукавицы и, ничего не сказав, вышла из теплого уютного то-рафа. Вслед за нею поспешила Псулк, тихая, исполнительная.

В шалаше лежал, поблескивая лезвием, топор. Его положил, конечно, предусмотрительный Касказик. Топор отбросит злых кинров — духов, которые только и ждут появления ребенка, чтобы забрать его душу. У дальней от входа стенки — небольшая горка из елового лапника. У Талгук потеплело на душе, муж заботится, чтобы удобнее было ей рожать — нужно опереться головой и руками об это возвышение, все легче будет.

Псулк обвязала живот роженице и сказала:

— Только не стони и не кричи, когда ребенок начнет опускаться, — испугаешь, и он поднимется вверх, больше мучиться будешь.

Когда Талгук молилась об одном — чтобы роды прошли удачно и чтобы ветер не перешел в пургу, донеслись скрип снега и голос мужа: «Все узлы, завязанные тобой, я развязал. Все вещи, которые я сделал раньше, разобрал на части;

все вещи, которые я сделал позже,— разобрал на части. Все разнял, все разобрал».

Сказав эти ободряющие слова, Касказик развел костер у входа в шалаш. Талгук была благодарна ему — добрый, всегда сделает так, чтобы хорошо было.

Касказик подбросил в огонь лиственничные плахи, ушел в то-раф, чтобы не мешать жене и не навлечь злых духов...

Ждал Касказик долго, много раз выходил в снежную заметь и уже опасался, не приключилась ли беда, когда сквозь темень и завывание ветра услышал крик ребенка. Муж Талгук и отец новорожденного подскочил к шалашу, у которого уже нарастал сугроб. Костер беспомощно и жалко боролся с пургой: над тлеющими углями взвивались не языки пламени — плясали снежные вихри.

Псулк смогла сохранить огонь. Отошла от него лишь тогда, когда начались роды. С чувством благодарности к этой молчаливой и доброй женщине Касказик оживил костер, поставил со стороны ветра плахи так, что они нависли над огнем.

А ребенок все кричал и кричал. Крик приглушенный — это Псулк, приняв мокрого беспомощного человечка в заячью шкурку, быстро перевязала пуповину, отрезала, спрятала живой сверточек под одежду, прижала к голому телу, согревая своим теплом.

Касказика терзало желание знать, кого же принесла жена: сына? дочь? Псулк знала о мучениях мужчины и не заставила долго себя ждать.

— Гость поехал на собаках, гость! — произнесла она словно в никуда: соблюдала обычаи, нельзя женщине говорить с чужим мужчиной, смотреть ему в глаза. Да и сказать, что родился в Ке-во сын, значит выдать злым духам строго охраняемую тайну.

Счастью не было предела. Род Кевонгов увеличился! Род Кевонгов растет! Но тут же радость сменила озабоченность — пурга. В шалаше уже намело снегу. Ребенку будет плохо. И Касказик решился на отчаянный шаг — забрать и ребенка и мать в то-раф, в теплый родовой то-раф, где в очаге и день и ночь горит огонь, Жаркий, живой огонь. А дров много, еще с осени запасли.

— В то-раф бы лучше, однако,— сказал Касказик.

О, нет! Талгук — любящая, верная жена. Она поступит так, чтобы в детей не вселились злые силы — не болели чтобы. Злые духи охотятся за душами детей, надо строго соблюдать обычаи предков. Она не перешагнет сейчас по-

рог то-рафа, иначе навлечет на род мужа болезни и мор. Пусть пройдут положенные три дня,Талгук примет ритуал очищения — вот тогда вернется к людям, домашнему очагу.

— В то-рафе бы лучше, однако,— громко и повелительно повторил Касказик.

Правда, случалось, что в жестокие бураны некоторые женщины-роженицы убегали в то-раф. Им, неочищенным, отводили самое плохое место — у порога или у ближнего края боковой нары. Духи не любят, когда переступают обычаи, поэтому-то в тех родах дети часто болеют, умирают.

Измученная родами женщина вдруг закричала:

— Отстань!

И Касказик отстал. Но притащил сена и веток, утеплил шалаш. Из кольев, елового лапника и снега соорудил навес — чтобы ветер не бил в щели. Притащил оленьи шкуры на постель и еще теплой одежды. И, решив, что сыну и женщинам не грозит теперь холодная смерть, стал готовить еду. Лишь к рассвету Талгук и Псулк поели горячей пищи и выпили чаю. Талгук же просила еще и еще налить ей.

Касказик не знал сна: присматривал за костром у шалаша, поддерживал огонь в то-рафе, кормил роженицу. И все дни дул ветер, переметал снег. Касказик и молил ветер, задабривая его ласковыми словами, и уговаривал, но тот был глух. Хозяин Ке-во уже намеревался стрелять[1] в ветер, но за хлопотами и заботами прошли сроки, и, когда наступил третий день, обиженный и рассерженный Касказик плюнул настречу ветру:

— Теперь хоть лопни — зла мне уже не причинишь. Тьфу! — еще раз плюнул.

Псулк сунула в костер заранее припасенный камень. У входа в шалаш лежала связка тальника — она нарезала ее загодя. Теперь, сделав поперек ствола надрез, Псулк легко освободила его от коры. И стала соскабливать ножом стружку. Тоненькая, белая, мягкая стружка, извиваясь, легко сходила со ствола. Целая гора стружки, на подушку хватило бы! Псулк разделила ее на две части. Выкатила из костра каленый камень и положила на стружку, а на камень еще набросала стружку и велела Талгук сесть на нее. Кислый дым, подхваченный ветром, сообщил хозяину стойбища Ке-во,— началось окуривание роженицы.

---

[1] Раньше у нивхов во время большой и длительной пурги было принято «стрелять в ветер» — пускать против ветра стрелу, и тогда якобы «убивали» ветер и на земле устанавливалась хорошая погода.

Настал очень важный миг. О, Касказик хорошо подготовился к нему. Поставил медный котел у порога, положил в него кремень. Широкую лопату принес в то-раф и поставил у боковой нары. Самое главное теперь — отвлечь злых духов. Они, конечно, невидимые, толкутся у входа и в самом то-рафе, ждут ребенка, чтобы забрать его душу. И Касказик должен обмануть их. Он хорошо продумал, как это сделать: расщепил три тальниковых прута, вставил в расщеп распорки, воткнул прутья цельными концами в снег: один у порога, второй — в шаге от первого, а третий — еще дальше. Теперь пора идти за ребенком. Псулк завернула мальчонку в свежую заячью шкуру, которую нагрела сперва у огня, а сверху еще хорошо выделанная щенячья шкура. Только Псулк знает, как удалось ей сберечь ребенка. Подставляла к огню живот, к которому под одеждой был прижат живой сверток, и дыханием отогревала его, и делала все, чтобы самой не заснуть, и постоянно пила в большом обилии горячий чай — чтобы согреться.

— Х'ана![1] — крикнул Касказик.

Псулк быстро сунула сверток в расщеп. Отец принял его с другой стороны и выбил распорку — прут сомкнулся. Так была закрыта дорога духу, который наверняка гнался уже за ребенком, как зверь за добычей. Пропустили ребенка и сквозь второй, и третий расщеп и тоже выбили распорки. Приняв сына, Касказик переступил порог, развернул шкуры-пеленки, опустил сына ножками в котел так, чтобы они коснулись дна. Теперь будут охранять сам кремень и его дух — огонь. Теперь он защищен от бед и на воде — под ногами его всегда будет твердь — ведь у котла крепкое дно. А чтобы сбить с толку духов, которые могли проникнуть в то-раф, Касказик положил сына на лопату, набросал сверху мусора и прелого сена. Глядите, духи!! Во все глаза глядите! Это не ребенок — разве положат ребенка на лопату, которой выгребают всякую нечисть? Это не ребенок, это мусор! Обыкновенный мусор. И чтобы убедились, что действительно нет здесь ребенка, Касказик сунул лопату под нары. Убирайтесь, духи. Убирайтесь из то-рафа, вам здесь делать нечего!

Касказик забрался на нары, отогнул постель у стены, раздвинул плахи и в образовавшуюся щель вытащил сына.

Талгук же вошла в то-раф позднее и одна — пусть видят, нет у нее никакого ребенка.

---

[1] Х'а н а — приблизительно означает: «давай» (пора, начнем).

И чтобы вконец обмануть духов, младенца назвали Ыкилак — Плохой. А плохой никому не нужен, и дурной глаз обойдет его.

Удачно Касказик обвел духов. В детстве сын побаливал, но не столь опасно, чтобы бояться за его жизнь Даже шамана ни разу не приходилось приглашать.

И вот теперь Ыкилак — юноша!

Глава XVI

В конце второго дня, пройдя мимо нескольких таежных стойбищ, люди Ке-во выплыли к местечку Чачфми. Крутая береговая терраса разрезана здесь родниковыми ручьями. Еловое темнолесье тянется большим массивом и уходит в глубь сопок. Противоположный берег Тыми, наоборот, низкий и покрыт мшистыми марями.

Кажется, ни один нивхский род не занимал этого урочища постоянно. Лишь в отдельные годы иные приезжали сюда на зиму, промышляли соболя и вновь возвращались на свои заливы — поближе к морской рыбе и зверю. Иногда ороки, племя таежных оленеводов, в своих бесконечных блужданиях по тайге зацеплялись за это веселое местечко, пасли оленей и тоже срывались в другие нетоптаные урочища.

Касказик знал: от Чачфми до устья Тыми по воде — неполный день хода. И было бы хорошо встретить здесь кого-нибудь, расспросить о людях Охотского побережья. И потому обрадовался, когда за поворотом увидел два крытых берестой островерхих чума. «Ороки»,— с облегчением подумал Касказик. Старик, хотя и шел на мир с родом Нгаксвонгов, опасался встретить кого-нибудь из них в стороне от людского глаза.

Ыкилак и Наукун никогда не уходили от своего стойбища так далеко и впервые видели жилище ороков. Ыкилаку издали даже показалось, что это не человечьи жилища, а кан-даф — жилье для собак. По прибрежной гальке разгуливала желтомастая собака — по размерам и виду напоминающая нивхскую ездовую. Ее раньше заметили нартовые кобели и подняли лай. Желтомастая ответила громко, визгливо.

Из чума вышли женщины и кривоногий старик.

Старик спустился к воде, приветствовал приезжих по-орокски:

— Сороде, сороде!

Узнав давнего знакомого, обрадовался.

— Ты, однако, это!— сказал по-нивхски, вконец изумив Ыкилака. Обнял Касказика, легонько похлопал по спине.

— Давно не видались! Однако долго мы с тобой живем! Сыновья твои? Вон какие выросли! Последний раз виделись — тот, старший, едва ходил. Меня не помнишь?— обратился к Наукуну.

Наукун покачал головой.

— Вот видишь, как долго не встречались!

— А ты, Лука, куда уходил?— осведомился Касказик.

— Везде уже побывал. Но больше жил на самом севере, на Миф-тёнгр[1]. Хорошие места, ягельные и зверя много. Но там теперь землю ковыряют, кровь земли льют, ягель портят. А те пастбища, что еще не сгубили, заняли пришлые — эвенки, якуты... Мало им своей земли, что ли?..

«Сам приезжий, а местным считает себя»,— взревновал Касказик.

Узнав от отца, что орока зовут Лука Афанасьев, Ыкилак удивился. И отцу не без труда удалось объяснить сыну, что ороков не в столь отдаленное время русские попы обернули в свою веру и нарекли русскими именами. Но многие из них наряду с русскими имеют и свои имена. Луку Афанасьева обычно зовут Нгиндалай, или Нгинда-Собака. Оттого, что у него всегда водились собаки. Подохнет одна от старости или задерет медведь — обзаводится новой. Собаки помогали таежнику: охраняли оленей от медведя и росомах. Касказик еще пояснил, что Нгиндалай-Лука сам называет себя ороком. Но он не орок. Эвенк, с материка. Породнился с орокским родом — вот и считает себя ороком.

За чаем словоохотливый Нгиндалай разглагольствовал:

— Ты совсем одиноко живешь. Совсем. Заперся в тайге — ни к кому не ездишь, никого не зовешь к себе,— качал Нгиндалай головой, то ли жалея, то ли осуждая.

Слова его заметно опечалили старого Кевонга, словно на больную мозоль наступил. Уж Нгиндалай-Лука знает, что заставило Касказика засесть в тайге. Не надо шутить над бедным человеком.

— С той поры так и не вылазишь?— сочувственно спросил Нгиндалай.

Касказик утвердительно мотнул головой.

---

[1] Миф-тёнгр — Голова земли, исконное нивхское название полуострова Шмидта, северной оконечности Сахалина.

— А теперь куда держишь путь? Не за невестой ли — вижу, с подарками?

— Нет, не за невестой.

Касказик вздохнул. Нгиндалай понял, что опять задел за живое молчаливого нивха. И тогда решился выложить новость, что просилась на язык с самого начала встречи.

— Нгакс-во сейчас большое стойбище. Нивхи там, русские.

— Какие русские? Не те, что с Николаевска приезжают, купцы?

— Не те. Свой купец объявился. Тимоша Пупок. Слыхал?

— Нет, не слыхал. Как это «свой»?

— Из местных. Сын каторжника. Купец не купец, но лавку имеет.

— Не слыхал. Не слыхал. А давно это... Нгакс-во стало большим стойбищем?

— Как Тимоша построил лавку. Ань семнадцать, однако, прошло.

— Нет, не слыхал...

Касказик задумался, не зная еще, как отнестись к такой вести.

— А люди рода Нгаксвонгов... Как они позволили? Ведь их родовое стойбище заняли другие?

— А Пупок и не спрашивал позволения. Место ему понравилось: тихая бухта, устье большой нерестовой реки. Нивхи вокруг опять же. А Нгаксвонги... их теперь вроде и не осталось.

— Как это не «осталось»?

— А так, не осталось. Рода не осталось.

— Что же случилось такое?

Касказику не верилось, чтобы род Нгаксвонгов, который славен добытчиками, мог исчезнуть.

— А ты правду говоришь? Может, о другом роде речь ведешь?

— Правду говорю, правду.

Глаза оленевода были грустны. Да и предмет разговора не допускал шуток. Весть поразила Касказика так, что он не мог вымолвить ни слова. Сводило челюсти, и вместо слов из нераскрытого рта вырывалось что-то похожее на стон.

Сыновья и оленевод недоуменно взглянули на Касказика. Наукун не мог понять, что так взволновало отца. Казалось бы, надо радоваться — теперь у Кевонгов нет врагов. Но отец произнес:

— Наш ум был короче рукоятки ножа. Наши головы не знали боли, мы не мучили их думами: споры решали быстро — ударом копья. Пролили кровь, словно ее не жалко, словно ее, как воды в море. И Курнг наказал, никого не обошел: и нас, и их.

Лука негромко, с хрипотцой, сказал:

— Они не умерли от старости. Они не умерли от болезни. Они погибли. И погибли не в битве за свой род...

— На весенней охоте во льдах?

— Нет, не на охоте. Когда появились купцы, люди Нгакс-во выстругали просторные лодки. И не для того чтобы взять больше нерпы — промысел этот они бросили. Построили большие лодки, чтобы набрать на борт больше товару. Тем они и жили, что перевозили купцам товары.

— Бросили нерпичий промысел?— Касказик удивился, как же так жить, только товары перевозить?

— А они уже не живут,— спокойно сказал Лука,— был шторм. Большой шторм. Люди отказывались выйти в залив, но Тимоша заставил. Обещал хорошо заплатить — те и вышли. На двух лодках вышли. Даже брата своего меньшого не пожалел купец. Так и погибли.

— Весь род погиб?

— Весь. Кажется, весь.— Нгиндалай-Лука сморщил лоб, напряг память.— Кажется... Постой. А Ньолгун — из их рода?— Он обернулся к Касказику.

Ыкилак вскинул голову, второй раз слышал он это имя. Первый раз от Ланьгук там, у Вороньей ели.

— Не знаю,— пожал плечами Касказик.— Я знал всех взрослых Нгаксвонгов. А детей не помню.

— Ньолгун из Нгаксвонгов,— сказал Лука.— Теперь я вспомнил: он из Нгаксвонгов,— твердо повторил он.

— Только один и остался?— встрял в беседу Наукун.

— Один.

— Тогда зачем идти с миром — ведь мириться-то не с кем?— сказал Наукун. Он быстро оценил обстановку: «И мне останется на выкуп».

— Заткнись! — вскипел Касказик.— Ублюдок! Один человек — тебе не человек? Пока жив хоть один человек, род его живет!

Снаружи послышался звон боталов.

— Сыновья мои. Оленей привели,— Лука встал.— Собираемся тоже в Нгакс-во. Тимоша обещал привезти товары. Ты по реке, а я напрямик через сопки. Но ты ненамного отстанешь, может, на полдня всего.

Глава XVII

Привычная для нивхов морского побережья двухпарусная шхуна, словно чайка, лихо проскочила устьевые белопенные бары, вошла в лагуну и, умело используя постоянный напор Тланги-ла[1], медленно пошла против течения. Босоногие нетерпеливые ребятишки убежали далеко от стойбища и у пролива встретили белоснежное судно. Они кричали, размахивали руками, прыгали. «Радуются. Дикари есть дикари. Тимоша сдерет с них последнюю шкуру, а они радуются»,— мрачнел молодой якут. Он видел: купчика на этом берегу ждут.

Длинная и узкая, словно палец, песчаная коса защищала от морского прибоя неширокий залив, где только рябь и мелкие всплески оживляли пустынную гладь. Но залив казался пустынным лишь поначалу. Чочуна присмотрелся и заметил на ее воде какие-то черные кругляши. Сперва принял их за обгорелые куски дерева. Но кругляши то исчезали в глубине, то всплывали и двигались не только по течению, но и против. «Нерпы!»— сообразил Чочуна. Он видел их в Амурском лимане. В море же якута свалила качка и двое суток он ничего не видел и не слышал. И только удивился, как это русских не брала эта проклятая, выворачивающая все нутро тягучая качка.

Нерпы в заливе много. Темноголовые с белыми и черными пятнами, они с любопытством рассматривали проходящее судно, без страха подплывали близко и, нырнув, вновь появлялись чуть дальше или с другого борта. Огромные белоснежные чайки степенно кружили над фарватером, высматривая добычу — селедку, корюшку и прочую рыбью мелочь.

Быстроногие мальчишки обогнали шхуну и принесли в стойбище весть: на судне кроме Пупков еще человек, обличьем смахивает на нивха. «Нанайца или амурского нивха наняли в помощники»,— решили в Нгакс-во.

А Чочуна тем временем озирал берега столь далекой от Якутии земли. Песчаная коса с невысокими дюнами, по бокам к ним прицепились низкорослые кустарники. Длинная и ровная коса у основания разбита буграми, бугры переходят в лесистые сопки, обрамляющие залив с другой стороны. В глубине его широкая низинная полоса, разрезанная в нескольких местах зеркальными плесами, над

---

[1] Тланги-ла — «олений ветер», юго-восточный морской ветер, обычно сильный и холодный.

которыми висит белесый пар,— видимо, устье реки. Стойбище раскинулось у основания косы. Странные дома — не то рубленые, не то сложенные из жердей. По форме они четырехугольные, без труб. И крыш вроде нет. Окна маленькие — едва кулак проскочит, без стекол. Ниже домов, у кромки воды — вешала. Их много. На них стройными рядами висит распластанная рыба. Ее так много, что она загородила собой стойбище, и дома виднеются лишь в просветах между вешалами.

У каждого дома, слева или справа, высятся похожие на чумы сооружения. «Эвенки?»— обрадованно забилось сердце.

Привязанные к поперечным жердям-перекладинам, рвались с цепи огромные псы. «Собачье жилье»,— догадался Чочуна.

Неизвестная земля... Незнакомый народ. Как удастся сойтись с этими людьми?

Среди встречающих отдельной группой стояли люди в меховой одежде. И когда за толпой Чочуна увидел рогатые оленьи головы, обрадовался, словно родственникам, от которых уезжал так далеко. Эвенки? Якуты?

Несколько в стороне от нивхских жилищ две приземистые с просторными дворами рубленые избы. «Русские везде остаются русскими: дома у них всегда прочные, хозяйство — крепкое»,— не то с уважением, не то с тоской подумал якут.

Три русские бабы, дебелые, розовощекие и улыбающиеся, вышли наперед, полезли в воду, высоко задрав сарафаны и оголив полные, белые ноги. И тут в один миг странные нивхи с их добродушными лицами и могучими собаками, оленеводы с их рогатыми друзьями, песчаный берег с буграми и кустарниками, низкое небо с плотными черными тучами — все исчезло. И только женские ноги, невыносимо белые, казалось, заполнили весь мир.

— Тимошенька, ты мой родненький! — Певучий ласковый женский голос. Чочуна зашатался, его словно толкнуло что-то в сторону.

Укачало человека,— посочувствовал Тимоша и тут же добавил: — Море — оно тебе не Якутия.

...К удивлению Чочуны, Тимоша оставил весь груз на шхуне. Только поглядел на небо, определил ветер, вытащил якорь на берег, закрепил между корнями гигантского тополя, выброшенного бурей к подножьям песчаных бугров. Чочуна сказал все же:

— Надо выгрузить, наверно?

— Зачем? Сегодня отдыхаем. Завтра выгрузим,— сказал Тимоша таким тоном, что стало понятно: на этом побережье чужое не трогают.

— Идем,— позвал Тимоша,— а то бабы заждались.

Чочуна нерешительно топтался. Тимоша-то, конечно, хорошо усвоил здешние нравы. И если уж оставил все добро без надзора — значит, останется в целости, никто не тронет. И тем не менее он пребывал в нерешительности.

Тимоша взвалил на плечи тяжелый куль — наверно, с гостинцами.

— Ну, чего стоишь? — Тимоша полуобернулся.

— Я зайду к тебе,— поспешно пообещал Чочуна.— Познакомлюсь с людьми и приду.

— Как хочешь. Хозяин — барин,— и, разгребая большими сапогами воду, Тимоша пошел к берегу навстречу визжащим от радости женщинам.

Глава XVIII

Но Чочуна так и не попал к Тимоше. Замученный дорогой и опасениями — не ровен час, эти дикари растащат все,— остался у костра, раскинутого на берегу оленными людьми. А коль костер и люди у костра — запах жареного мяса поплыл окрест.

На огонек подходили степенные нивхи — разузнать, что за человек, схожий с ними по виду, объявился на побережье. Они без стеснения рассматривали якута. Чочуне как-то нехорошо стало под их прямыми, добродушными взглядами. «Словно зверь невиданный. Дикари». Нивхи же, изучив лицо приезжего, нашли, что он совсем не похож на них. Глаза большие — чуть поуже, чем у русских, нос крупный, тоже не нивхский. И цвет лица светлый. Только волосы черные и прямые, как у них... Нет, не нашли нивхи в лице Чочуны привычной мягкости очертаний.

Удовлетворив любопытство, они разошлись по своим странным домам. Забот всем хватает: завтра Тимоша будет раздавать товары...

Оленные люди оказались ороками. Чочуна слышал о такой маленькой народности, язык которой близок к гольдскому и отдаленно созвучен с тунгусским. Ороки раскинули костер неподалеку от избы молодого, крепкого нивха. Этот нивх с тугой, толстой косой раза два выходил из своего полузасыпанного землей рубленого жилища и обращался

к орокам по-нивхски, похоже, приглашал к себе. Ороки что-то отвечали, и нивх исчезал в черном провале низких открытых дверей.

Изба молодого нивха отличалась от других жилищ. Те большие, сложены из толстых жердей, стены покатые, без чердачного перекрытия, с дымовым отверстием в засыпанном землей потолке. Окон нет — лишь маленькие дырки в стене. А у него изба рублена, как у русских. Только маленькая она, с маленькими окнами, словно зимовье таежных охотников.

Чочуна знал тунгусский и спросил старшего орока:

— Ты человек какого рода?

Лука-Нгиндалай от изумления вздернул бороденку.

— Назвался ведь якутом!

— Мы жили с тунгусами в одном селе. Так какого же ты рода?

— Из рода Высоконогого Оленя.

— Где живет твой род?

Нгиндалай, прищурясь, взглянул на якута, словно прикидывал, стоит ли связываться с этим пришельцем. Покрутил в руках вертел с обжаренным мясом и сказал что-то по-орокски. Молодые ороки вытащили из ножен узкие ножи, пододвинулись к костру.

Чочуна поднялся на шхуну, достал початую бутылку спирта. Ороки, увидев бутылку с огненной жидкостью, оживились...

Сухой плавник — добрые дрова. Костер горел размеренно, без вспышек, отдавая большой жар. Подвыпивший Лука-Нгиндалай поведал о себе человеку из далекой Якутии.

Лука — не орок. Он шилкинский эвенк. Еще в юности был наслышан о какой-то земле гиллы [1], что лежит далеко на востоке прямо посреди моря. Говорили: та земля покрыта нехоженой тайгой, соболей в лесах — хоть палкой бей. Несколько отчаянных смельчаков из соседних урочищ уже хаживали на ту землю. Уходили надолго. Не охота отнимала у них время — дорога. Дорога дальняя, опасная. Зиму-две ждали их в стойбище. И они возвращались. Полные мешки соболя привозили с собой.

Отец умер рано, завещал детям стадо в двадцать оленей и русскую христианскую веру, от которой остались лишь имена да нательные железные кресты.

Прошли долгие годы после смерти отца. Уже седина

---

[1] Гиллы — так ороки и нанайцы называют нивхов.

появилась на голове старших сыновей, да и стать не та, и походка не столь стремительная, а их дети уже помогали пасти оленей. И, наверно, братья не решились бы тронуться с родовых земель, так и жили бы, пасли свое стадо и ловили пушного зверя, поредевшего, правда, в последние годы. Но вслед за новой верой в урочище Шилки пришла дорога — железная. Она разрезала тайгу и сопки, разогнала зверя. А в один из зимних дней, когда олени переходили путь, поезд задавил больше половины стада. Тогда и решили старшие братья податься на землю гиллы. Жены и дети, сестра и младшие братья наказали вернуться весной сразу после промысла. И в конце лета два брата на шести ездовых оленях тронулись в дальний путь по тропе отчаянных и рисковых смельчаков.

...Осенью по чернотропу объехали они много урочищ и добыли более сотни соболей — намного больше, чем пешие охотники — нивхи. Когда же тайга побелела от снега, эвенки пристали к нивхским охотникам, у которых имелся балаган в верховьях одной из нерестовых рек. Было темно, но тепло. И удивились эвенки еще вот чему: нивхи никак не проявляли недовольства тем, что пришлые охотятся в их угодьях. Напротив, все сделали, чтобы незваных гостей не обошла удача. Показали места, излюбленные соболями. Отдали свои широкие лыжи, подшитые нерпой. И радовались каждому их успеху. Странные люди, эти нивхи.

В феврале нивхи подняли силки на деревья — закончили сезон зимней охоты — и распадками спустились к стойбищу Ке-во. Эвенки следовали за ними на лыжах, которые смастерили между делом в дни буранов. За собой эвенки вели оленей. Братья были довольны: добыли двести семнадцать шкурок. Их ждали благополучие и почет среди сородичей, к которым они вскоре вернутся.

Погостили у приветливых людей рода Кевонгов, соорудили себе нарты и подались в Нгакс-во, чтобы продать часть соболей русскому купцу.

Вечером после торгов кому-то из жителей стойбища вдруг захотелось посмотреть гонку на оленях. Подвыпившему Луке и его брату эта просьба польстила. Уж кто-кто, а эвенки, оленные люди, умеют ездить на оленях. Взлетели братья на неоседланных оленей — к чему седла таким ездокам! Седла — удел стариков и начинающих наездников. С криком погнали оленей. Стойбище зашевелилось, зашумело. Со всех сторон доносились возгласы восхищения и остервенелый лай нартовых псов, привязанных к жердям и кольям. Кажется, давно Лука не ездил так красиво: ноги

выброшены вперед и хлестко бьют оленя по груди, корпус наклонен, а доха, как крылья орла, взметнулась за спиной.

Проехали эвенки по реке в одну сторону, повернули оленей. Назад в стойбище. А собаки вновь подняли гвалт. И тут чей-то пес сорвался с привязи, бросился на оленя и... Лука с большим трудом вылез из сугроба. Огляделся. Где же олень? А олень уже несся далеко за стойбищем. За ним след в след летел огромный пес, к которому присоединились еще несколько. Лука схватил палку и припустил что есть силы, но куда там. С каждым шагом он отставал. Мимо промчался брат. Но оленю с наездником на спине не угнаться за собаками. И брат видел, как далеко впереди псы нагнали ездового.

Застрял Лука на острове. Брат один отвез мешки с пушниной в Николаевск — там меха ценились дороже. Договорились, купит он пару оленей и вернется за Лукой. Но шли дни — брат не являлся. Уж лед на реке заторопился и задвигался — а брата нет и нет. «Наверно, ушел на Шилку. Вернется осенью»,— думал Лука. Но прошло лето, прошла осень, настала зима. Появились на острове другие эвенки с материка, но брата все нет как нет. Лука подстерегал каждого приезжего: эвенка ли, нивха ли, русского — расспрашивал о брате. Описывал приметы, но ничего утешительного в ответ не услышал. Вот так и остался Лука на нивхской земле. Нивхи же свято соблюдали обычаи, кормили загостившегося иноплеменника. Тот как мог участвовал в жизни их стойбища: дрова рубил, ходил на охоту, рыбачил.

Как-то Лука чинил прошлогодние лыжи. Было солнечно и тихо, морозец нерезкий, приятный, бодрящий. И тут почудился подзабытый уже, родной с детства звон. Звон повторился. На этот раз отчетливей. Лука замер и опять услышал: «Бол-бол-бол...» — «Неужто звон боталов?» — эвенк поднял голову. В стороне от стойбища (чтобы не дразнить собак) проходило стадо оленей. Впереди наездник в дохе, в островерхой меховой шапке — совсем эвенк. Всякие предположения нахлынули на Луку. Может, брат уговорил шилкинских, те согласились покинуть оскудевшие места и переехали на остров? Лука отбросил лыжи и, задыхаясь от волнения, побежал по некрепкой целине, проваливаясь по колено. Он бежал, бежал, бежал... А стадо, не убыстряя своего движения, спокойно удалялось. «Э-э, э-э-э!» — кричал Лука, размахивая шапкой. Пастух, замыкавший караван, остановил оленей. Вся поза пастуха выражала недоумение. Что надо этому человеку? Может,

не в своем уме он? А Лука бежал. Он боялся: вдруг пастух ударит оленей и помчится вслед стаду. И тогда... Лука не знал, что будет «тогда». Знал одно: он должен догнать пастуха, расспросить его.

И Лука нагнал. Порывисто и резко схватил за уздечку.

— Что вы за люди? — задыхаясь спросил Лука. Пастух, совсем еще юноша, непонимающе качнул головой. Тогда Лука сказал по-русски: — Твой Амур ходи сюда? — и жестом помог: показал рукой сперва вдаль, потом ткнул себе под ноги.

Лицо пастуха смягчилось, исчезла настороженность.

— Твой... эвенк? Орочон? — вопрошал наездник.

— Эвенк,— отвечал Лука.— Мой эвенк, мой эвенк.

— Как твой сюда попади? — удивился пастух.

— Мой... мой...— Лука подбирал слова, но видел, не удастся им объясниться на русском. Пастух, очевидно, тоже это понял. Он сказал:

— Твой — эвенк. Сапсем хоросо.

Потом указал рукой на стойбище:

— Ходи туда. Мой скор туда ходи будет.

Ударил ногами в бок оленю, пустился вслед за удалявшимся стадом. А Лука стоял, обескураженный, не понимая, почему пастух отвязался от него. Ведь он хотел... А что он хотел? Что? Лука повернулся и медленно поплелся назад, как-то машинально ступая в свой след.

Он вновь занялся лыжами, но то и дело вскидывал голову, взглядывая на синеющую борозду — след оленьего стада. И тут заметил, два наездника лихим аллюром выскочили из-за поворота. У заднего на поводу мчался еще один олень...

— Это были они,— Лука кивнул головой в ту сторону, где сидели молодые ороки.

Эвенк насыпал в трубку крошеный табак, прижал большим пальцем, задымил.

— Это были они, мои спасители и мои дети.

Чочуна недоуменно вскинул глаза.

— Да, да, мои дети,— подтвердил Лука.— Сперва они взяли меня в свой род, кормили и одевали, как родственника. А когда умер их отец — он был совсем немощный,— я стал отцом юношей, принял их язык и веру... Теперь они считают меня своим, ороком.

«Ишь, какой ловкий! — то был нищий и бездомный, а теперь он — отец этих взрослых ороков и хозяин их стада. Нашелся папаша!»

А Лука продолжал спокойно, негромко:

— На Шилке у моих орокских детей есть братья — эвенки. Их дядя — мой старший брат,— однако, удачно вернулся домой. Привез и моим детям много соболей. И дети позабыли голод и болезни. Но что-то долго не возвращается дядя моих сыновей. Если нынче не появится, я поеду на Шилку. С моими здешними сыновьями поеду. За их братьями и сестрами.

Чочуна был изумлен. Как по русской поговорке: не было ни гроша, да вдруг алтын.

Костер неслышно угасал. Плавник на глазах истончался, и лишь пепел — ветра совсем не было — сизыми перистыми полосками перечеркивал кострище.

...Чочуна рывком поднял голову. Вокруг шевелились люди, переносили груз, сваливали неподалеку от лежавшего у костра якута.

Тимоша, засучив рукава, с каким-то нивхом выбирал из трюма тюки, подавал стоявшим на палубе. Те в свою очередь перекидывали груз на плечи жителей стойбища.

С удивлением Чочуна заметил: весь его небольшой груз выбран из шхуны и аккуратно уложен горкой. Поначалу якута так и подмывало проверить, все ли в целости, но усилием воли он взял себя в руки и тоже стал помогать.

После выгрузки Тимоша открыл свою лавчонку — небольшой дощатый сарайчик. Чочуна еще вчера приметил его. Никогда бы не подумал, чтобы хоть мало-мальски благоразумный человек держал товары в таком ненадежном помещении. Ну и порядки!

Сперва в ход пошла водка. И когда народ стал нетверд на ногах и словоохотлив, Тимоша начал торги. У нивхов не было ничего ценного, кроме кеты, которой они расплачивались за прежние долги, и Тимоша только успевал заносить их имена в долговую книгу. Лишь у Луки с сыновьями оказалась пушнина — немного соболей. Запасливые таежники придержали их во время весенних торгов, чтобы потом было на что выменять табаку, чаю и муки. Но тут Тимоша окончательно сразил якута: драл с опьяневших оленеводов три, а то и четыре цены! Захмелевшие таежники требовали в счет будущей пушнины водку, продукты и холст на палатку. Тимоша наотрез отказал. «Гиляк — он народ привязанный, а эти бродяги — не угонишься за ними в тайге»,— объяснял он Чочуне.

Глава XIX

Над устьем реки, где столкнулись теплая речная и холодная морская вода, нестойкий туман. Едва лодки Кевонгов выбрались из него, Касказик заметил белое судно. Оно отчетливо выделялось на темном фоне стойбища. Такого большого судна Касказик никогда не видал. Судно имело высокие борта, а длина его раза в два превосходила длину шестивесельной лодки-долбленки.

Стойбище Нгакс-во сильно разрослось. Раньше в нем стояло восемь ке-рафов — летних жилищ, теперь их, пожалуй, более двадцати. Поставлены они прочно, утеплены корьем и землей, и в них, как видно, живут и зимой. Значит, не все здешние на зиму перекочевывают на противоположный, «материковый», берег залива, где в густолесье еще их предками воздвигнуты теплые то-рафы.

Кевонги подъезжали к берегу. У Касказика теперь лишь одна забота — как в таком большом стойбище отыскать родовой ке-раф Нгаксвонгов.

Жители Нгакс-во давно заметили лодки, приближающиеся со стороны Тыми. Они вышли на берег, расселись на прибрежных буграх и переговаривались, гадая, что это за люди едут к ним. Лодки подошли уже близко, и жители Нгакс-во стали спускаться к воде. Но встретить гостей им не пришлось. Они увидели, как Пупок влетел в избушку Ньолгуна. Люди услышали сперва ругань и крики. Потом низкая дверь, прилаженная к косяку лахтачьей кожей, дернулась, и двое — Тимоша Пупок и Ньолгун,— сцепившись, вывалились из избы. Ньолгун, заикаясь от возбуждения, твердил: «Ты мне пустую бочку давал — бери свою пустую бочку. А за муку я соболь давал».

Разгневанный Тимоша схватил подвернувшуюся под руку палку и со всего маху ударил нивха. Ньолгун, сам крепкий и не малый ростом, молча сносил побои. Но терпению его пришел конец: он плюнул в лицо Тимоше. Пупок на какое-то время замер, опустив руку с палкой,— будто осмысливал происшедшее. Потом бросился было за нивхом, но тот уже отошел на почтительное расстояние и продолжал уходить по твердому, накатанному прибоем берегу залива.

Озверевший Тимоша вбежал в избу, выскочил оттуда со связкой соболей. И нет, не успокоился купец. Вытащил спички и трясущимися руками поджег избушку. Крытую

корьем лачугу огонь охватил мгновенно, и горела она ярко и быстро. Тысячеязыкое пламя бесилось над оголившимися балками, прыгало и взлетало, будто хотело покинуть жилье несчастного нивха, но балки и лиственничные стены цепко удерживали огонь, обугливались, истончались и рушились к ногам притихшей в страхе толпы. И лишь Ольга, младшая сестра Тимоши, бегала вокруг догоравшей лачуги и причитала:

— Люди! Люди! Что же вы смотрите!

Потом схватила головешку и с растрепанными волосами подскочила к избе старшего Пупка. Дуня, дородная баба, жена Тимоши, вырвала у нее головешку, при этом обожгла пальцы, и, морщась от боли, крикнула:

— Вот дура-то, свое спалить хочешь.

Глава XX

Несмотря на уговор, Чочуна не пошел к Тимоше. «Такой же узкоглазый, как гиляк, потому и жалеет их»,— объяснил сам себе Пупок и, закрыв лавку, исчез в избе.

После его ухода притихшие нивхи и ороки несколько оживились. Но они то и дело поглядывали на покрытые пеплом угли — все, что осталось от дома Ньолгуна,— и тогда в глазах их вновь вспыхивал страх.

Ньолгун весь день просидел на черных головешках, уперев локти в колени и опустив голову. Жители стойбища сочувствовали, но благоразумно не приставали — чем могли они помочь, разве только впустить к себе пожить, пока вновь не поставит хижину.

Вечером Чочуна подошел к Ньолгуну. Он сумел разговорить убитого горем человека. Еще весной Тимоша раздал голодающим нивхам подопрелую муку в счет будущего улова. Ньолгун отдал тогда за кулек муки двух отличных соболей. Остальную пушнину оставил себе — собирался жениться. В начале лета Тимоша развез по стойбищам бочки, наказал всем, чтобы рыбу заготовляли только для него. Другой купец — Иванов — летом промышлял севернее «владений» Пупка. Узнав о поездке Тимоши в Николаевск, он совершил быстрый рейд на юг. И Ньолгун, которому нужны были деньги для подарков, продал Иванову брюшки и еще два длинных шеста копченой кеты.

— Теперь все пропало,— горевал Ньолгун. И Чочуна поймал себя на том, что ему жалко гиляка. Но тут же

отогнал жалость подальше от сердца, спросил, стараясь придать голосу мягкость:

— Что «пропало»?

Ньолгун, то ли в силу нивхской доверчивости, то ли надеясь найти хоть в этом иноземце защиту, рассказал подробно о своей беде.

Нивхи берут жен из других родов. Мать Ньолгуна из А-во, что на берегу большой реки Тыми. В том стойбище у Хиркуна, хорошего добытчика, подрастает Ланьгук.

Ньолгун последние годы каждую зиму наезжал в А-во, привозил гостинцы, цветной материал — женщинам, прочные нити для сетей, табак, чай и водку — мужчинам. Авонги принимали гостинцы. Старейший рода Эмрайн молча пил чай, молча курил, молча обдумывал свою думу.

В прошлую зиму, когда Ньолгун после удачной осенней охоты привез богатые дары, Эмрайн сказал: «До времени, когда дочь сможет покинуть стойбище отца-матери, ползимы, весна, лето, осень и еще ползимы». Ньолгун счел его слова обещанием. Верным и надежным. Теперь только и живет тем, что собирает выкуп. И вот, когда подготовился к главной зиме, когда у него уже и меха были... Что сейчас делать, как дальше быть? Ланьгук заберут другие, уведут из-под носа...

— Не убивайся,— сказал Чочуна, твердо глядя в глаза.— Сколько тебе лет?

— Не знаю.— Потом задумался.— Мне было столько, сколько вон тому мальчику, сыну погибшего моего дяди.— Ньолгун показал рукой на мальчишку в рваной одежде. Стесняясь взрослых, тот делал вид, что играет с огромной, похожей на медведя, нартовой собакой, а сам то и дело бросал исподлобья то ли любопытствующий, то ли голодный взгляд.— Тогда осенью в шторм выбросило кита. Нивхи радовались: Тол-ызнг, хозяин моря, милостью своей дал им и собакам их пищу. Через одно лето я узнал: в роду старого Эмрайна родилась девочка Ланьгук. На третью весну она тяжело заболела — вся кожа покрылась красной сыпью. Через четыре зимы весной мой отец и его братья вместе с меньшим братом Тимоши погибли на воде — перевозили груз Пупка.

Два лета еще прошло. Наступила штормовая осень. У многих нивхов сети порвало. И зимой был голод. В осень Большого шторма я ушел в верховья нерестовой речки и нашел там удачу, заготовил юколу из нерестовой кеты. Юкола, правда, сухая, как палка, но в голод и она пища. Я имел силы и мог ставить ловушки. В ту зиму Тимоша

совсем плохим человеком стал. Голодные отдавали ему за куль муки десять, а то и двенадцать соболей. Я подождал. И когда ни у кого не осталось соболей, показал своих. У Тимоши глаза на лоб полезли, аж подпрыгнул. Тут уже я цену называл. Хорошо торговал. Вот тогда-то я приехал в род Авонгов, чтобы посмотреть Ланьгук. Она уже была подросток. Очень красивая. Оставил им муки, риса, сахару, чаю и табаку — месяца на два, не меньше.

С той поры каждую зиму наезжаю в стойбище А-во. В прошлую зиму был четвертый раз.

Ньолгун говорил негромко, почти не меняясь в лице, лишь иногда останавливаясь, чтобы вспомнить то или иное событие. И тогда на его гладком лбу обозначались две-три еле заметные бороздки. Закончив, он обратился к собеседнику:

— Ну так сколько же мне лет?

Чочуна, не проронивший ни звука, словно очнулся. Ну и счет у этих гиляков! Любопытный счет. Теперь Чочуна почти все знал о Ньолгуне. Шустрый парень. Далеко пойдет. А Пупки — живодеры, хуже волков.

— Сколько мне лет, спрашиваю? — повторил Ньолгун.

— Ты так долго говорил, что я сбился со счета.

— Вот видишь! — с важностью сказал Ньолгун.— Ты сбился со счета, потому что я долго говорил. А долго я говорил, потому что мне немало лет.

— Около тридцати есть?

— Не знаю,— ответил нивх. Потом возмутился.— Зачем «около», когда можно точно! Ты же умеешь считать? Тогда загибай пальцы, а я буду говорить. Значит так, выбросило кита — мне было столько, сколько вон тому мальчику, который уже не трогает собаку, а копается в пепелище, на второе лето родилась Ланьгук, на третью весну Ланьгук болела тяжелой болезнью; через четыре зимы весной погиб мой род; в то лето родился мальчик. Прошло еще два лета, и зимой наступил большой голод, и в ту зиму я ездил смотреть Ланьгук. С той поры я каждую зиму езжу в А-во. В прошлую зиму был четвертый раз. Сосчитал? Сколько получилось?

— Шестнадцать или пятнадцать... без мальчика,— сказал неуверенно якут.

— А мальчику?

— А мальчику семь лет.

— Сколько же мне? — нетерпеливо требовал Ньолгун.

— Тебе... тебе... двадцать три года.

— А тебе сколько?

— Двадцать.

— Вот видишь! — торжествовал нивх.— Я старше тебя! — Ньолгун смотрел вызывающе.

Чочуне не понравилось это. «Голодранец, а еще так смотрит!» — с неприязнью подумал он. Но и на этот раз Чочуна овладел собой и сказал только:

— Не горюй, друг, человеком будешь. Твой дом сгорел — новый построишь. И выкуп соберешь. Богатый выкуп соберешь... Тебя будут уважать. И бояться.

Ньолгуну понравилась речь якута. Он заискивающе посмотрел ему в глаза и, не очень веря в услышанное, спросил:

— Ты правду говоришь?

«Вот так! Всегда так будет!» — в глазах якута мелькнул желтый огонь. Нивх встрепенулся, но Чочуна сказал мягко:

— Я помогу тебе. Я сделаю тебя богатым. Тебя никто больше пальцем не тронет. Тебя будут бояться.

Чочуна вытащил из чехла поблескивающее воронью ружье, подал Ньолгуну:

— Возьми. Это ружье сделает тебя сильным.

Ньолгун упал на колени, пытаясь поцеловать ноги якуту. «Вот так всегда и будет!» — твердо сказал вполголоса якут.

Ньолгун поднялся, схватил ружье, засуетился, не зная, куда девать бесценный подарок, который сделает его могущественным, возвысит над людьми. Он сунул ложе под мышку, крепко прижал локтем, огляделся. Стоящие поблизости нивхи и ороки молча наблюдали за происходящим. На их глазах большое несчастье оборачивалось для потомка вымирающего рода Нгаксвонгов внезапным счастьем.

Чочуна в это время скликал мальчишек, которые, словно пугливые щенки, то приближались, то прятались за спинами взрослых.

— Иди сюда. Иди сюда,— звал Чочуна. Но ребятишки не понимали чужого языка. Маленький оборванец, который, сам того не зная, помог определить возраст Ньолгуна, стоял ближе всех. Ньолгун и сказал ему по-своему:

— Мылгун, подойди. К этому большому начальнику подойди. Он хороший, жалеет нивхов.

Мальчик нерешительно топтался, звучно шмыгал носом, пытаясь скрыть страх и смущение. Но когда Чочуна вытащил из мешка крупный, с кулак, кусок сахара, вприпрыжку помчался к нему. Рваные штанины хлопали по

грязным босым ногам. Мальчик торопливо вырвал белоснежное редкое лакомство, словно боялся, что кто-то другой овладеет им. Чочуна подозвал мальчишек, которые оказались рядом, дал по куску сахара. Заметил: больные с похмелья ороки смотрят на него со странным детским ожиданием. Неприязненно поджал губы, отвернулся.

Чочуна размышлял некоторое время, как дальше поступить. Он знал, наступил случай, когда нужно действовать.

Чочуна оглянулся через плечо — оленные люди с кислыми физиономиями мучились в нетерпеливом ожидании.

У Луки на шее под расстегнутой серой грязной рубашкой виднелась тонкая веревочка. Еще вчера Чочуна обратил на это внимание, но не придал значения. Шпагатик охватывал шею и сходился на груди. Он был темный, пропитан жиром и потом.

Чочуна осторожно протянул руку, двумя пальцами тихонько потянул шпагатик. Из-под рубашки, словно зверек из норы, выскочил маленький металлический крестик.

— Крест. Крест. Я Лука Афанасьев. Лука,— со значением говорил Нгиндалай. Эвенк разговаривал с якутом на языке символов. А это означало: «У меня не эвенкийское имя, хотя я настоящий эвенк. Мы, эвенки, крещеные. Мы тоже дети великого русского царя».

Чочуна оглядел щупленькую, неказистую фигурку хозяина маленького рода таежных бродяг, сказал:

— Все люди — братья!

— Братья! Братья! — охотно подтвердили ороки.

— Подойдите ко мне, братья!

Якут выхватил из мешка красивые бутылки, поблескивавшие на солнце.

— Подходите все! Все подходите! — Чочуна взмахивал руками, словно хотел обнять все стойбище.

Сначала подошли степенные нивхские старики и полные достоинства мужчины-добытчики. Юноши почтительно держались поодаль.

Степенности у нивхов хватило на глоток водки. Старики велели юношам принести низкие столики, рыбу в резной деревянной посуде, нарезанную юколу, топленый нерпичий жир, соленые рыбьи брюшки. Появились женщины, притащили лакомства — сырую нерпичью печенку, сырую голову кеты, вареное нерпичье мясо. На середине столиков в фарфоровых чашечках — соляной раствор, в который нивхи обмакивали хрящи кетовой головы и кровавые куски печенки.

Мелконарезанная печенка с черемшой и без черемши — отличная закуска. Она хорошо шла после водки. Чочуна это сразу оценил.

После закуски подали вареное мясо — большими кусками, на крупных костях. Нарезанную кетовую юколу нивхи брали щепотью, обмакивали в топленый золотистый нерпичий жир и, запрокинув голову, клали в рот.

— Все люди — братья! — повторил торжественно Чочуна.— Вы гиляки, ороки. Я — якут. Но мы братья, потому что мы все люди! Будем жить вместе, помогать друг другу.

Нивхи слушали говорливого якута со смешанным чувством. «Все люди — братья», это верно. Нивх всегда впустит к себе другого человека — будь то нивх, орок, эвенк или русский. Накормит, согреет теплом своего очага. И человек будет жить у нивха до тех пор, пока не изволит продолжать путь. Добро не требует, чтобы о нем говорили. Люди говорят о необычном. Добро — оно обычно у нивхов, как и окружающая их природа с ее обычными ветрами, дождями, снегопадами. А якут все твердит и твердит о вещах, которые известны даже краснозадым младенцам. Будто открыл что-то необыкновенное. Странный этот якут. Но, наверно, хороший, раз такой щедрый.

Уже смеркалось. И Чочуна Аянов наделил гостинцами каждого, кто принимал участие в пире, дал по полплитки чая и горсти табака.

Люди начали было расходиться, но их остановило пение полупьяного Ньолгуна. Он сидел на песке, поджав под себя скрещенные ноги, и раскачивался с закрытыми глазами.

Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Мы, нивхи, сколько помним себя,— жители этой земли.
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Курнг в своей доброте не забыл наши урочища:
Реки в наших урочищах полны рыбой,
В лесах наших урочищ всегда зверя много.
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Нам бы жить — зверя добывать,
Нам бы жить — рыбу ловить.
Но поселился среди нас злой человек.
Только о себе ночами и днями думает,
Только о том, как сильно разбогатеть, думает.
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Жадностью большой сам себя ослепил,
Из-за этой жадности человечье лицо потерял.

Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
У него — свои духи, свои боги.
Но Курнг — наш бог — нас услышал:
На счастье нам с далекой земли якута прислал,
Якута богатого и доброго прислал.
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!

Глава XXI

...Высокий, худощавый человек размеренно вышагивал по песчаному берегу залива. Лицо, давно не бритое, шея тонкая, худая. Лохматую грязную голову венчала мятая светлая шляпа. Вот уже много лет не расстается с этой шляпой топограф.

— Девяносто семь... девяносто восемь... девяносто девять...

Каждую сотню шагов он заносит в тетрадь. А вслед за новыми и новыми сотнями — на графленом планшете тянется ломаная линия — берег залива.

В прилежащих к низовьям Тыми урочищах обнаружили выходы нефти. Но чтобы приступить к поисковым работам, необходимо было иметь план местности. Известный топограф получил задание покрыть маршрутами нефтеносную полосу побережья. Помощником и проводником он нанял Громовика.

Десятки сотен шагов... сотни сотен шагов... тысячи сотен шагов... А в каждом шаге семьдесят шесть сантиметров. Ни на сантиметр больше, ни на сантиметр меньше. Натренированный, выверенный годами точный шаг топографа.

— Сорок пять... сорок шесть... сорок семь...

— Семен Семенович! — слышится радостный крик.

...Пятьдесят четыре... пятьдесят пять... пятьдесят шесть...

— Тимоша прибыл! Вон шхуна жмется к берегу.

...Шестьдесят один... шестьдесят два... шестьдесят три...

Топограф словно оглох. Казалось, ударь его гром — он все так же будет вышагивать и вышагивать.

Лишь отмерив последний шаг и внеся запись в тетрадь, Семен Семенович перевел дыхание, вытер шляпой испарину со лба. А ведь не так уж и жарко.

— Послезавтра к полудню придем к Нгакс-во, как раз и замкнем залив. А там — дальше,— словно отгоняя какие-то сомнения, сказал Семен Семенович и бросил ко-

роткий, усталый взгляд на помощника.— А там двинемся дальше, Коля,— повторил он.— На юг надо идти.

— Здесь проходили Крузенштерн, Бошняк...

— А проверить бы их не мешало. У Крузенштерна много приблизительного. Вот Бошняк — тот все пешком исходил да на лодках. Но он больше на гиляков полагался.

Нет, не пошли топографы на юг. Они появились в Нгакс-во на второй день после пожара. Узнав о случившемся, потрясенный Семен Семенович собрал нивхов и написал от их имени жалобу губернатору.

— Строчишь? — вызывающе усмехнулся Тимоша. И сам же ответил: — Строчи! Строчи, коли грамотный. Только ворона, что ли, отвезет твою писулю губернатору? Ха-ха-ха-ха-а-а...

Тимоша редко смеялся. Озабоченный, он был постоянно хмур. А тут развеселил его этот топограф. Когда, в какие времена жаловался гиляк на кого-нибудь? Бьют его, а он молчит. Грабят его, а он молчит. Молчит, как скотина немая. Только и разница, что на двух ногах ходит.

— Ха-ха-ха-ха-а-а, рассмешил ты меня, грамотей.

— Смейся, живодер! — зло оборвал его Семен Семенович.— Найдется и на тебя управа.— Голос у топографа срывался.

— И буду смеяться,— вдруг посерьезнев, сказал Тимоша.— Только не ко мне ли в лавку поскребешься? Али гиляку уподобился, сырой камбалой довольствуешься?

Семен Семенович понимал: гиляки внимательно следят за их перепалкой, знал, что гиляки относятся к ним обоим настороженно, недоверчиво. И откуда бы взяться другому отношению, когда европейцы только затем и приходили сюда, чтобы грабить. И надо было сейчас, сию же минуту найти такие слова, чтобы гиляк понял: не все они одним миром мазаны.

Семен Семенович отвернулся — в левой части груди побаливало,— он сделал вид, что полез в карман, просунул руку под куртку, помассировал.

— Живодер, найдется на тебя управа! — И обернулся к жителям стойбища: — Кто из вас понимает русский?

— Мой говори мало-мало есть,— торопливо и громко ответил Ньолгун, словно боялся, что на него не обратят внимания.

— Его говори тозе,— кто-то ткнул пальцем в Чочуну, который с любопытством наблюдал за происходящим.

— Вы говорите по-русски? — Семен Семенович только

сейчас заметил этого человека, одетого даже щегольски: хромовые сапоги, рубаха с русским вышитым кушаком, на голове лихой картуз.

— Я приезжий, якут. По-ихнему не понимаю,— объяснил Чочуна.

— Тогда вы, пожалуйста, переведите мои слова,— обратился Семен Семенович к Ньолгуну.— Объясните своим соплеменникам, что лавочник Тимоша Пупок дерзко нарушает царское указание, за что ему несдобровать. Там сказано, чтобы вам, гилякам, никто не чинил препятствий в ловле рыбы — кеты, горбуши, чтобы такие, как этот,— и он кивнул головой в сторону Тимоши,— не посягали на ваши рыболовные тони. А Пупок отобрал у вас лучшие. Вот тут, в этой бумаге,— Семен Семенович ткнул темным, обветренным пальцем,— я обо всем написал.

Чудо свершалось на глазах. Непроницаемые, казалось, безразличные лица нивхов вдруг оживились, потухшие глаза загорелись. Нивхи потянулись к бумаге, словно хотели убедиться в могущественной ее силе, которая способна покарать злодеев и вернуть их тони и сытую жизнь.

Эта ночь была для Касказика тяжелой...

К'итьк — каторжники, злодеи... Пупок — купец, тоже злодей. И вот — Семен Семенович... Обличьем схожи, крови одной, но такие разные. Никто не защитил бедного Ньолгуна, а этот русский заступился. И не только за Ньолгуна — за всех нивхов стал... За эту ночь старейший Кевонгов переворочал в своем усталом мозгу множество самых сложных мыслей.

...От стойбища Нгакс-во отошел караван, груженный тюками Чочуны. Он направлялся в островную тайгу.

...Караван уходил. И никто и не заметил в этой сумато́хе, как, прислонившись к теплой, нагретой солнцем стене дома, стояла в оцепенении Ольга, младшая сестра Тимоши. Лишь глаза печально смотрели вслед каравану, да нежные губы раскрылись в неслышном вопросе.

Ольга родилась в нивхском стойбище. Играла с раскосоглазыми своими сверстниками, бегала с ними босиком по берегу моря, собирала в лесу ягоды.

Отец всегда был чем-то занят. Теперь-то Ольга понимает: сколько сил пришлось убить ему, чтобы ни она, ни братья не знали нужды.

Ольга любила красные закатные вечера, когда по стойбищу от края и до края перекатывается заунывный вой ездовых собак. Какая-то неизъяснимая тоска в нем. Тоска огромная, беспредельная. Услышав вой во дворе, отец зло

оглядывался, энергично заносил руку, будто с маху хотел кого-то ударить, и с перекошенным лицом говорил: «Каторжники». И как-то жалко согнувшись, поспешно уходил в избу и долго сидел там в углу, ни с кем не разговаривал и никого не подпускал к себе. «Любила», пожалуй, не то слово. Просто Ольга не представляла себе жизнь иной, вне этого стойбища. После смерти отца жила Ольга у брата своего Ивана.

Целыми днями хлопотала она по дому, радуя своим усердием Федосью. Хлопотала, а у самой в сердце с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем нарастала горечь. Она теряла сон, аппетит, нервничала по пустякам. «Жанишок ей нужон. Жанишок»,— подтрунивал Тимоша в такие минуты и обещал в следующую поездку в Николаевск найти «подходящего». Но этих «следующих» уже сколько было, а «жанишка» все нет как нет.

И когда жители стойбища вышли встречать шхуну, Ольга перво-наперво сосчитала людей на палубе. Трое... Она тихо вскрикнула, накинула на плечи шаль, выскочила на берег и вместе с Дуней и Федосьей полезла в воду, встречать долгожданного.

Но Тимоша и Иван, как обычно, обняли сестричку и не представили третьего человека. А тот прошел мимо нее, к орокам. «Недосуг, верно». Измученная напрасным ожиданием, на другой день Ольга поймала во дворе Ивана:

— Кто это?

— Кто? — не понял тот.

— Ну, кто с вами приехал.

— Не знаю. Погостить, что ли, к гилякам.

...Караван уходил. Караван уходил в тайгу.

— Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!

Чочуна придержал оленя, оглянулся, кто же это поет? Кешка, старший сын Луки, и Гоша Чинков — зять и батрак Луки и его сыновей, ехали след в след, и видно было, что каждый занят своими мыслями. Ньолгун замыкал караван. Это он раскачивался в седле, вертел головой по сторонам и пел. «Что за народ — эти гиляки? — не переставал удивляться якут.— Только что у него сожгли дом, а он уже и позабыл о горе своем, поет!»

В тайге полно медведей, соболей и всякого другого зверья. Ньолгуну радостно от этого. Над караваном пролетали вороны, сойки и прочие птицы — Ньолгун разговаривал с ними.

Навстречу каравану, раздвинув широко плечи сопок, торопился, подскакивал на камнях ручей.

Глава XXII

Касказик видел, как встречавшие их жители Нгакс-во вдруг разом отхлынули от берега, словно их унесла волна. И тут же запылала чья-то хижина. Касказик осмотрительно пристал выше стойбища и со стороны наблюдал за событиями. Наукун и Ыкилак бегали смотреть пожар и вернулись озадаченные и удивленные. Их поразило то, что никто в стойбище не осмелился помешать купцу. «Когда же это успели так запугать всех нас,— подумал Касказик,— что ни у кого рука не поднялась остановить злодея?»

Касказик и в молодости редко общался с жителями морского побережья, мало кого знал и теперь ловил себя на мысли, которая давно уже засела в его старой голове и которую грех произносить вслух: хотелось древнему корню Кевонгов, чтобы его сверстников Нгаксвонгов не осталось в живых, чтобы ничьи уста сегодня не могли поведать людям о давней кровавой битве. Касказик твердо знал: его род не может жить в одиночестве. Детям древнего рода нельзя без общения с людьми большой и богатой их земли. Древо Кевонгов должно вновь зазеленеть!

К некоторому огорчению старейшего Кевонга, привели его к деду, который был намного старше самого Касказика. Дед крупный, ширококостный, с большой белой, как полярная сова, головой и прищуренными, слезящимися глазами. Он восседал прямо на голом песке в какой-то неземной отрешенности, словно не видя и не слыша, что творится вокруг. Рядом чернели угли и пепелище.

— Аткычх! Аткычх! [1] — обратились к нему люди.

Дед никак не откликнулся.

Кто-то прикоснулся к его руке — но дед оставался глух. Тогда дернули его за рукав, и дед неожиданно резко вскинул голову.

— А-а-а!

— Дедушка, дедушка, человек к вам!

— Чего? — Дед приставил ладонь к уху и весь собрался, даже спина выпрямилась.

— Человек к вам.

— Какой человек?

— Старейший рода Кевонгов с сыновьями.

— Как, как?

— Кевонг с сыновьями.

---

[1] Аткычх — дедушка, уважительная форма обращения к старику

— Какой Кевонг?

— Мы не знаем такого рода. Он сказал: приехал встретиться со старейшим рода Нгаксвонгов.

Касказик понял теперь, с кем имеет дело. Орга́н — древнейший человек на побережье, старейший Нгаксвонг. А Касказик-то полагал, что его давно уже нет в живых...

— Кевонг... Кевонг...— старик задумался, что-то припоминая, и вдруг тревожно сказал:

— А разве есть еще такой род? — резко обернулся и закричал: — Мылгун! Мылгун! Где ты, мой сын?

Откуда-то выскочил и подбежал к нему маленький оборванец.

Орган обхватил его обеими руками, рывком усадил рядом, прижал к себе:

— Сын мой! Сын мой!

Голос древнего нивха сорвался. И люди услышали рыдание, хриплое и негромкое, горькое мужское рыдание.

Окружающие недоуменно переглянулись. Несколько молодых женщин наклонились к седой, дергающейся от плача голове:

— Атк [1], пошли домой.

Теперь Касказику все ясно: род Нгаксвонгов тоже на грани вымирания. Их тоже осталось всего трое: старец Орган, Ньолгун и мальчик Мылгун. Но у них много родственников по материнской линии: есть кому приютить, обогреть Мылгуна. И если бы у мальчика было несколько братьев, пожалуй, всем хватило бы невест: вон сколько женщин назвали старика «атк».

— Купим товары и поедем домой,— сказал Наукун. Касказик знал, почему возникла у старшего сына эта мысль. Он не принимал в счет престарелого Органа и маленького Мылгуна. Ньолгун же покинул старейшего рода и племянника — оставил на попечение сестер и тетушек. И Наукун решил: никто здесь не знает о Кевонгах, никто не помнит о давнем. Чего же лучше? Часть мехов нужно оставить на выкуп, а на другую — товары! При этом Наукун пекся не столько о младшем брате, сколько о себе: ведь ему должно теперь перепасть. С богатым выкупом легче найти невесту.

Сучий сын! — не оглядываясь, прошипел Касказик. И приказал: — Ступай, узнай, в каком то-рафе Мылгун.

---

[1] А т к — дядя по женской линии, брат матери.

На другой день стойбище Нгакс-во потрясло новое происшествие: какие-то люди, назвавшиеся Кевонгами, передали маленькому несмышленышу, отпрыску рода Нгаксвонгов, неслыханно богатые дары: собольи меха, юколу, оленьи шкуры и новую лодку, сильных ездовых собак, мужскую одежду. При этом Касказик, старейший Кевонгов, молвил: «Пусть ты вырастешь большим и станешь великим добытчиком. Пусть между родами и племенами всегда будет мир. Пусть добрые дела всегда сопутствуют людям. Пусть в твоем роду народятся кормильцы, а не братоубийцы».

А потом жители Нгакс-во увидели: от их берега отошли две лодки: Кевонги в опустевшей старой, а во второй, новой,— русские топографы. За длинными, любовно и мастерски выточенными из лиственницы веслами первой лодки — крепкорукие Наукун и Ыкилак. Касказик с трубкой в зубах — на корме, ловко подлаживаясь под гребцов, молодцевато взмахнул рулевым веслом. Люди уже знали, что топографы продолжат свою мудреную работу в долине Тыми, в урочищах рода Кевонгов и других нивхских родов. И еще знали они, что люди во второй лодке везут бумагу, написанную от имени нивхов русским человеком Семеном Семеновичем. Все жители стойбища и гости поставили свои подписи — замысловатые или простые закорючки. Некоторые по чьему-то совету прижали чуть пониже текста засаленные пальцы — отпечатки.

Когда вошли в реку, где встречное течение усилилось и где потребовалось весла заменить шестами, Касказик перебрался во вторую лодку: он заметил, что русские неумело действуют шестами.

Глава XXIII

Лука не понукал оленя — верховой знал тропу, шел споро, а на некрутых спусках переходил на рысь. Ничто не отвлекало Луку от его дум — ни пение несчастного гиллы, ни восторженные восклицания якута («Ой, сколько рыбы!» — когда переходили нерестовый ручей, или «Ягоды-то, ягоды сколько!» — когда двигались мимо рябинника). Якут всего-то и попросил поохотиться вместе зиму. А весной вернется домой. Так и сказал: «Добуду триста соболей — поеду домой». Чего же не помочь человеку? Попросил человек — надо помочь. Ведь и Луке помогли люди, не дали сгинуть. И если сегодня он хозяин стада —

пусть небольшого, но стада,— благодарить надо добрых людей. А этот человек дармоедом же не будет. Богат он: восемь оленей везут его груз. И щедрый: сколько табаку, сахара и чая раздал просто так, водкой всех угостил. Ньолгуну и мне ружье подарил. Пусть себе охотится, добрый человек.

А Ньолгун пел. Ему было хорошо. Он благодарил судьбу, несчастье для него обернулось счастьем. Он владелец невиданного ружья — ни один нивх с побережья не может теперь тягаться с ним. А нагрянут морозы, Ньолгун явится в стойбище, привезет мясо диких оленей. Накормит стариков и детей. Люди увидят, Ньолгун помнит отца своего и его братьев — были они лучшими на побережье гребцами. Слава о них еще долго жила после их гибели. А лодку, необыкновенно большую и многовесельную, которая за несколько лет успела перевезти столько груза, вытащили и поставили у могил утонувших — пригодится она им в потустороннем мире. Правда, корма у лодки покалечена. После похорон, когда народ разбредался по домам, старик Орган внезапно, словно взбесившись, рубанул ее топором. Ньолгун видел это своими глазами, но не понял, что привело старейшего в такую ярость.

После той большой беды односельчане редко брали Ньолгуна на промысел нерпы или за рыбой: в роду Нгаксвонгов не было ни промысловой лодки-долбленки, ни охотничьего снаряжения. А какой из безоружного человека добытчик?

Тимоша то и дело приглашал Ньолгуна к себе, просил помочь в домашнем хозяйстве. Свободный от летнего промысла, Ньолгун охотно откликался на этот зов,— тем более лавочник угощал необычной для нивхов русской едой — хлебом печеным, кашей, зеленым чаем с кусочками сахара. А иногда давал с собой табаку на две-три трубки.

Ньолгун отдавал старику Органу все гостинцы, пусть хоть на миг отбросит горестную мысль, что внук его — не добытчик. Одна затяжка крепкого табака могла сделать сердитого человека мягким и добрым...

А потом, чтобы трубка чаще была набита, Ньолгун стал сам предлагать лавочнику всяческие услуги: дрова поколоть, сено косить. Тимоша держал странных больших животных — коров.

И еще знал Ньолгун, что сородичи перешептываются: мол, приятель он сильному русскому человеку. И хорошо становилось от этого на сердце. И позволял себе Ньолгун

в разговоре то и дело такие слова: «Мой друг русский купец Тимоша...»

Едва переждав лето, Ньолгун уходил в тайгу. Промышлять соболя — здесь не нужно ни лодки, ни хитрого снаряжения. Силки всего лишь, терпение да ноги. А ноги у Ньолгуна неутомимые.

...Зверь этот Тимоша. Хуже, чем зверь. И откуда он узнал о моих соболях? Я копил долго, потихоньку, тайно. А он отобрал. Все отобрал, хоть я и не должен ему. И еще дом сжег. Первый у нивхов настоящий дом. Правда, холодный был — щелей много. Но похож на русский. Сколько я сделал для Тимоши: дрова, сено... Даже коров его рогатых находил, когда пропадали в тайге! Поди, сам попробуй найди — заблудился бы, самого пришлось бы искать... Зверь ты, Тимоша. Хуже, чем зверь. Теперь Ньолгуну не нужна дружба русского. Теперь Ньолгун сам сильный человек. У него ружье, такое же, как у Тимоши, даже лучше. Хороший человек якут. Хороший. Так, задаром, отдать ружье! За такое ружье мне пришлось бы две, а то и три зимы охотиться. А этот задаром. Хороший человек...

...Лука ожидал. И когда подтянулись все, показал палкой на противоположный склон распадка. Чочуна от радости едва не слетел с седла: в кустарнике пасся большой медведь. Даже отсюда видно было, как на его широких боках ходила и лоснилась черная шерсть. Добрый, жирный медведь. Первым желанием было — пустить оленя вскачь, подъехать к медведю и выстрелить в голову. Чочуна даже отвел пятки, чтобы ударить в бока оленю, но Лука резко схватил его за рукав. Ничего не сказал, только глаза сказали: «Не суетись. Не так надо». Чочуне не понравился взгляд эвенка — в нем уверенность, превосходство.

Ньолгун выдернул ружье из чехла, зарядил. Лука жестами велел Чочуне спешиться. Тот повиновался, но дальше дал знать,— не нуждается он ни в чьих советах. Бросил поводок в руки Луке и, определив направление ветра, спустился к ручью, чтобы перейти его. Ньолгун шел следом. Охотники перепрыгнули ручей и стали карабкаться по сырому травянистому склону распадка. Ньолгуну хотелось, ему очень хотелось, чтобы первый выстрел, первый в жизни выстрел принес добычу. И, когда медведь, обирая малину, оказался на виду, Ньолгун поднял ружье. Ствол ружья длинный и непомерно тяжелый. Ньолгун еще не знал, что нужно крепче прижимать к плечу приклад. Чочуна тоже остановился. Ньолгун, опередив соперника, дер-

нул спусковой крючок. Он и так нетвердо стоял на крутом склоне, а тут ударило неприжатым прикладом.

Чочуна инстинктивно присел — пуля с жестким свистом распорола воздух, и медведь неожиданно легко подпрыгнул. Пуля ударила низко. Не дав медведю опомниться, Чочуна разрядил ружье: медведь опрокинулся на спину и покатился по скользкому склону.

— Прекрасный охотник! — восхищался Лука, глядя на Чочуну.

Глава XXIV

Отец будто испытывал терпение Ыкилака, все молчал, и ничто не предвещало, что пора собираться в распадки. Уже прошли осенние дожди. Запоздалые кетины выбрались из Пила-Тайхура и по высокой воде проскочили галечные косы — перекаты, тревожа своим шумным трепетом по-осеннему затаившиеся берега. А отец молчал и молчал. Целые дни проводил на своей лежанке, подсунув под спину скатанную оленью шкуру и всякий хлам. Жиденький дымок нестойкой струйкой поднимался от обгорелой трубки, повисал меж лежанками и плотным рядом закоптелых потолочных жердей. Табаку оставалось мало, и Касказик смешивал его с мелко накрошенной чагой. Курево получалось некрепкое. Кевонги лишь в редчайших случаях позволяли себе курить чистый табак. Обычно добавляли примесь из чаги или терпких трав. И чем меньше оставалось табака, тем большую долю занимала в их трубках противная, пустая на крепость и запахи примесь.

Лишь когда трава совсем смякла и мертвая легла на потемневшую землю, а по утрам на невыбранном кроваво-красном брусничнике засверкал иней, старик словно очнулся от полусна. В течение дня он починил крошни. Легкие, плетеные крошни Касказика из тонких, прочных на разрыв тальниковых прутьев. Многое можно унести в них.

Мать разложила по крошням тугие связки кетовой юколы, положила две плитки чая — все, что осталось от недавней поездки в Нгакс-во,— наполнила кисеты куревом. Каждый взял еще по собачьей шкуре и по обтрепанной, облезлой оленьей дохе.

Пока мужчины собирались в путь, Талгук приготовила чай, принесла из родового амбара заготовленный вчера мос — пищу богов, нарезала юколы.

Чаепитие длилось недолго. Торопливо отрыгнув,— значит сыт и пора в путь,— Касказик поднялся, привязал к крошне Ыкилака латунный маньчжурский чайник, взял в руки короткое копье, и трое мужчин — весь род Кевонгов — отошли от полузасыпанного землей то-рафа.

— Подожди,— позвала Талгук. И по тому, как был ее голос нежен, мужчины поняли: мать обратилась к младшему.

Ыкилак приостановился, обернулся, всем видом показывая, что сейчас не время. Талгук подошла к нему, протянула руку — на ладони упругим кольцом лежали тонкие аккуратно сплетенные силки.

Ыкилак шел и рассматривал петли. Волосяные. Теперь уже не сосчитать, из скольких волос мать сплела эти петли. Однако из десяти — двенадцати. И что это за волосы — длинные и черные? Правда, попадаются белые... Что это? Седина?..

Ыкилак шел, слегка отставая от отца и брата. На плечи его давили крошни, а ноги переступали легко. И на сердце легко. Чтобы не поддаться нахлынувшей нежности, Ыкилак сказал вполголоса: «Когда она успела сплести? Вроде бы и времени-то на это не было».

Едва отошли от стойбища, один за другим поднялось несколько выводков глухарей. Большие птицы тяжело взмахивали широкими крыльями, гремели ими, словно горный ручей галькой, и, вытянув шею, уходили восвояси.

Вековой, не тронутый ни пожаром, ни человеком лиственничник просматривался насквозь. В нем не было кустов, которые обычно создают густое непроглядье у самых комлей деревьев. Лишь изредка попадались береза или ясень — словно для того, чтобы глазу было за что зацепиться. Высокий и светлый лес, скинувший уже хвою, встретил молчанием. Ыкилак слышал только свое дыхание да торопливый шорох сухих лишайников под кожаными подошвами.

Хорошо идти в лиственничнике. Легко. Не мешают тебе ни кусты, ни болота — их не встретишь в таком лесу. Копнешь лишайниковый дерн и всегда наткнешься на крупный песок.

Лишь в распадках, где тенисто, где неумолчны студеные ручьи, кряжисто и подбоченясь от важности поднимаются ели вперемежку с березой. Елям есть отчего важничать. Мыши и синицы, соболи и горностаи, выдра и рябчики — все они любят ельник. Выдра ловит в ключах рыбешку; мышь собирает ягоду и орехи, подбирает остатки от обеда выдры; рябчику нужна ягода, хвоя; соболь

ловит мышь и рябчика, лакомится ягодой. Хороши распадки с ручьями и ельниками. Хороши.

Но и в лиственничниках много ягоды — брусники. Дятлы любят такие леса. И соболь заходит в лиственничники.

Идут охотники по лесу, у каждого свои заботы. Ыкилак думает об одном: богаты ли нынче их леса и распадки соболем. Будет ли милостив Курнг, пошлет ли в их силки драгоценного зверя.

— Пришли,— вдруг сказал Касказик.

Ыкилак осмотрелся, чтобы убедиться, действительно ли наступил конец пути. Они стояли у развилки быстрых ключей, по обеим склонам распадка теснились ели. Ыкилак и не заметил, когда и где пересекли лиственничник. Скажи ему найти обратную дорогу — нет, не найдет.

Распадок незнаком. Ельник большой. По развилкам он поднимался на склоны сопок. А ниже, там, где ключ терял свою стремительность и дно ручья местами темнело ямами, берега окаймляли кустарники.

— Здесь я был тогда, когда Ыкилак едва ползал на четвереньках. Больше не бывал.

И это означало, что отец привел сыновей в богатое угодье.

«Солнце не прошло еще всего дневного пути, а мы уже на месте. Не очень далеко»,— обрадовался Наукун.

— Люди так и называют это угодье Ельник рода Кевонгов.

Потом Касказик указал на невысокий, ровный, сухой мысок, возвышающийся над ручьем.

— Смотрите, вон жерди — все, что осталось от нашего балагана.

Ыкилак разглядел гнилые, изорванные ветром и снегом жерди, некогда составлявшие остов балагана.

Братья перешли ручей по перекинутому от берега к берегу мертвяку — сухой, еще крепкой ели. Касказик остановился на середине, посмотрел вверх навстречу течению, потом вниз; русло ручья во многих местах перечеркнуто поваленными деревьями и деревцами. «Готовые мосточки, чтоб соболь перебегал».

По берегам ручья валялись кости отнерестившейся кеты, в ямах против течения стояли крупные почерневшие, с бурыми полосками по бокам самцы. Они еще должны найти себе самок...

Несильные порывы ветра срывали подмороженные скрюченные листья, и те, без летнего кружения, как-то

винтом поднырывали под ветви и сухим шуршанием тревожили увядшую траву, зеленую подушку из мха в тени вековых деревьев.

Снег вот-вот выпадет, а пока Ыкилак чувствовал себя неуверенно, словно слепой, которому на ощупь надо отыскать в лесу тропинку. Снежный покров — он лучший помощник: смотри, соображай, какой, когда, куда и зачем прошел здесь зверь.

Хороший ли, плохой ли добытчик Ыкилак — и не сказать. Еще маленьким с помощью обрывка сети сооружал ловушки в амбаре для крыс. Здесь требовалось терпение — крысы, большие и хитрые, вскоре распознали в том обрывке врага и спокойно обходили, грызли юколу в каких-нибудь двух шагах от затаившегося мальчика. Тогда он придумал другое — деревянный давок с насторожкой. Наделал несколько штук, поставил у прогрызенных крысами щелей. Касказик тогда не поленился — пришел, полюбовался изобретением сына. «Сам придумал? — спросил, хотя знал, что никто в их пустом стойбище не мог подсказать малышу.— Такой штукой не только крыс — горностаев и белок можно брать. Почти готовая плашка». А через день Ыкилак уже стрелял из лука. У то-рафа долгое время валялась сухая рябина, срубленная для какой-то надобности,— кажется, чтобы выстрогать коромысло. Но деревцо оказалось для такого дела тонким — вот теперь пригодилось.

Касказик выточил связку стрел: легкие, остроконечные — чтобы стрелять на дальнее расстояние; тяжелые, оканчивающиеся тупым набалдашником,— чтобы сшибать цель, не попортив ее. Первыми мальчик стрелял рябчиков, вторыми — бурундуков, которые подпускали близко, на несколько шагов. Оперенные, стрелы хорошо шли к цели, не отклоняясь при несильных порывах ветра.

Наукун посмеивался над младшим братом. Зачем лук, когда бурундуков можно шестом бить. В следующую весну Наукун нашел тонкую и длинную черемуху, срубил ее, аккуратно ошкурил и долго, более месяца, сушил на ветру, привязав стоймя к высокой березе. К тому времени Ыкилак истратил почти все стрелы. И Наукун с важным видом использовал младшего брата в качестве загонщика: спрячется зверек в кусты, Ыкилак должен выгнать его на брата, который почти без промаха опускал легкий, послушный шест на полосатую спину юркого зверька.

Ыкилаку вскоре надоело быть подручным. Но просить отца он не решался: вечно тот чем-нибудь да занят. К тому же Ыкилак уже не такой маленький, надо испытать свое

умение. Настругать прямые стрелы из колотой лиственницы, как это делал отец,— не удастся. Зато вдоль речек растет краснотал. Прямые и тонкие ветки можно выбрать для стрел. Ыкилак так и сделал. Нарезал целую охапку длинных, без единого сучка ветвей. Отец научил делать заготовки для стрел. Сперва вымочить в горячей воде, затем подвесить к шесту, привязав к нижнему концу тяжесть, и прутья станут прямые, как натянутая тетива.

Ыкилак уже сделал заготовки, очинил концы, но чем оперить — не знал. Отец снова помог: маховые перья от вороньего крыла мало уступают орлиным.

Наукун издевался: «Ворона — не бурундук, у нее крылья: загоняй не загоняй, все равно под мою палку не полезет». Тогда Ыкилак смастерил ловушку — такую, какой ловил крыс. Но понятливые птицы сразу учуяли неладное и не шли ни на какую приманку. «Стрелой добуду»,— упрямо решил мальчик. Но неоперенные, они вдруг сворачивали в сторону или касались ворон боком. «Только пугаешь»,— сердился Наукун. «Прошлогодние стрелы все порастерял?» — спросил отец. «Поломанные есть. Кажется, две или три».— «Принеси»,— отец сам и подкараулил ворону. Первый же выстрел оказался удачным — стрела пронзила ее насквозь.

К концу лета Ыкилак овладел луком настолько, что ему не стоило большого труда подстрелить не только бурундука, но и белку. А однажды принес большого черного глухаря. Радости матери не было конца. Талгук все говорила-приговаривала: растет кормилец, растет кормилец.

Юноша обычно охотился в лесу вокруг стойбища — далеко уходить не было нужды. И всегда в первоснежье был с добычей: тогда следы помогали, наводили на добычу или показывали места кормежки...

Осенний день короток, а Ыкилак, как младший, должен еще заботиться о костре. Эта обязанность поначалу его раздражала. Но ничего не поделаешь. Надо и дрова запасти, и утеплить лапником и сеном балаган.

Через два дня и отец, и Наукун вернулись с добычей: отец принес крупного соболя — самца, а старший сын двух дикуш — черных рябчиков. Тогда Ыкилак сказал себе: «Все равно мне нужно рубить дрова,— побольше заготовлю,— и не зря пройдут дни».

Желание поскорее добыть ценного зверя не давало ему спать по ночам. А отцу вроде бы все равно, что Ыкилак крутится вокруг балагана и дров. Может, думает, что он ставит

ловушки после их ухода и возвращается раньше, чтобы вскипятить чай?

— А ты сделал миф-ард [1], кормил землю?

Так и есть. Отец считает, что сын нарушил таежный закон, потому Курнг и не шлет в ловушки зверя.

— Я еще не выставлял силки.

— Хм! — изумился отец.— Когда ж думаешь выставлять?

— Не знаю, как ловить: снега ведь нет еще.

— Хм! Ты что же, только после снегопада берешь?

— Да,— Ыкилак опустил голову.

— А я-то думал... Где же ты родился? В тайге?

Глава рода никак не мог взять в толк, что сын, его собственный сын, не умеет добывать по чернотропу.

Ночью Ыкилак видел сон. Молодая девушка, нарядно одетая, стояла на противоположном берегу ручья и говорила ему, а голос у нее такой же, как у Талгук: «Ты не бойся — испытай себя. У тебя хорошие силки — будет удача».

Утром после чая отец сказал: «Пошли!» Наукун счел, что это относится к нему, обрадовался.

— Не ты — Ыкилак!

Наукун обиженно глянул на отца исподлобья.

— Ты тоже.

До последнего дня отец полагал, что дети его умеют все. Человек, родившийся в тайге, вместе с молоком матери впитывает и умение своих предков. Сейчас он напряг память, вспоминая себя в возрасте Ыкилака. И сказал сам себе: я уже знал все. Передавал ли ему кто-нибудь из старших свое знание? Просто Касказик смотрел, как делают взрослые, и старался поступать так же. Потом тайга сама научила. Соболь, обходя хитрые ловушки, сам учил добытчика, как его ловить. И дети Касказика должны все уметь. Но оказалось — нет. Как же получилось, что они не знают чернотропа? Потом вспомнил, что в последние годы, едва покончив с заготовкой юколы, срывался в дальние походы. Брал двух ездовых собак и уходил через сопки в отдаленные стойбища искать невест для сыновей. Странствовал долго. Съедал всю пищу, взятую с собой. Изнашивал одежду и обувь. Обменивал соболей на одежду и еду и ходил, ходил, ходил. От перевала к перевалу, от залива к заливу, от стойбища к стойбищу, от рода к роду. Добрые люди принимали путника. Угощали чаем и табаком, обменивались родовыми преданиями, стелили ему постель, сочувствовали его горю,

[1] Миф-ард — «кормить землю», то есть «кормить» духа, хозяина данной местности

но дочерей не отдавали. В дальних странствиях Касказик убедился: чем горестнее молва, тем быстрее ее полет. О роде Кевонгов, вымирающем роде, знали даже в самых отдаленных уголках земли нивхской.

Заросший, измученный, с тусклыми глазами, возвращался Касказик домой уже по глубокому снегу. Он шагал сквозь тайгу, через нехоженые горы. Как находил он свое крохотное стойбище — известно лишь богам, добрым и милостивым, хранящим несчастного человека.

И сыновья, предоставленные самим себе, каждый как мог постигали законы тайги...

Касказик подвел сыновей к уродливой черемухе, перекинувшей свой кривой пестрый ствол через ручей.

— Смотрите!

Братья удивленно оглядывали дерево. Ничего не найдя, старший отвел глаза. Дурак дураком! Касказику стало до боли обидно за свои горькие неудачи, пустые далекие походы, насмешки недобрых людей. Обидно за попусту истраченное время. За то, что его сыновья, такие взрослые, ведут себя в тайге, как дети.

— Болван! Болван ты!

Касказик едва не заплакал и, желая хоть как-то свалить с души непосильную тяжесть, замахнулся и ударил старшего.

Чтобы успокоиться, ему потребовалось много времени. Такого с ним еще не случалось. Расстроится, бывало, разойдется, но остывал, отходил быстро.

А сейчас он горестно смотрел на старшего сына. И сыновья видели, как ему тяжело. Ыкилак стучал носком по обнаженным корням черемухи и слушал шуршащий тупой звук.

Наконец Касказик взял себя в руки. Но еще дышал часто и шумно.

— Подойдите ко мне! — сипло сказал старик.

Сыновья подошли, напряженные в ожидании.

— Соболь, он ходит широко по тайге. Но есть у него любимые места, где он охотится, есть любимые места — где спит. И переходит ручьи по одним и тем же мосткам. Вот это дерево. Смотрите: чуть выше и здесь. Видите, кора сбита? Это соболь. Один и тот же соболь.

И тут открылась перед Ыкилаком одна из тайн тайги. Оказывается, зверь ходит по своим охотничьим дорожкам след в след не только зимой, но и летом. Только летом не всякий увидит в тайге следы. Хвоя, остатки мертвых деревьев, сухие опавшие ветви образуют подушку, на которой следы

мелкого зверя не заметны. Надо быть очень наблюдательным и хорошо знать тайгу, чтобы и летом видеть ее, как зимой.

А Ыкилак считал, что зверь ходит по своему следу только зимой и лишь оттого, что пробиваться сквозь целинный снег тяжелее, чем идти по готовой тропе. И еще полагал, что тропа потому плотная, что топчет ее не один зверь. Конечно, любой зверь может воспользоваться и чужим следом. Но у каждой местности — свой хозяин. Он пробил след — он и ходит по нему. Других он просто-напросто гонит из своих владений.

Отец показал летний след соболя.

Значит, не только глубокий снег причина тому, что зверь идет по своей тропе след в след. Ыкилаку словно развязали глаза, теперь он знает: земля, черная бесснежная земля, на которой и не видно следов, тоже может помочь.

— Ставьте петли. Только не забудьте сделать мифард,— отец хотел уйти, но передумал.— Вместе покормим землю. Принеси,— кивнул он головой.

Ыкилак понял, к кому относится последнее слово. И знал, что от него требуют. Он сбегал к стану, принес завернутый в бересту мос — студень с ягодой, сушеные клубни сараны, немного юколы, щепотку табака и маленький кусок плиточного чая. Касказик взял все это в руку, повернул ладонь в сторону сопки за распадком и обратился к Ызнгу — хозяину местности:

— Мы к тебе пришли. К доброму хозяину богатых угодий. Дали бы тебе больше, но мы бедные люди. Покормили бы лучше, но у нас нет. Бедные люди мы, неимущие люди мы. На, прими. Делимся с тобой последним. Не серчай. Сделай, чтобы нам было хорошо. Бедные люди мы, неимущие люди. Чух!

Касказик швырнул под куст приношения, повернулся и молча прошествовал к шалашу.

Глава XXV

Наукун сказал, что попробует поймать соболя — хозяина кривой черемухи.

Ыкилак нарубил дрова, принес воды и тоже отправился искать переходные мостки.

Он вышел к реке в стороне от той самой черемухи. И тут сперва услышал странный звук — кто-то бил по ветвям. Потом увидел, как над кустами стоймя плывет тонкий березо-

вый шест. Так оно и есть: Наукун! Он хранил в тайне свой, не очень солидный для добытчика, способ охоты. Шест прятал в лесу, чтобы не навлечь насмешки отца и брата.

Ыкилак обошел куст шиповника. Наукун выглядел со стороны смешно. Ссутулившись, он вышагивал, словно цапля. Шест, который держал на полусогнутых руках, раскачивался вместе с охотником. Наукун преследовал дикуш — смирных, лишенных страха черных рябчиков. Они крупнее обычных и живут в чернолесье, в одиночку или парами. Уважающий себя нивх не трогает этих божьих тварей. Они как бедные сироты из старинных тылгуров-легенд, очень доверчивы и, увидев человека, тянут шею навстречу, словно спешат узнать, что доброе несет он им.

А Наукун от усердия и жадности затаил дыхание. Вот он коротко взмахнул и ударил. То ли слишком напряженно дернул шест, то ли волновался от того, что добыча близка, но шест скользнул по хвосту дикуши, и птица, вместо того чтобы убираться подальше, перелетела на следующее дерево, села повыше и, вздрагивая побитым хвостом, вновь повернулась к человеку. Наукун рванулся было, но тут же споткнулся и с маху упал. Раздался треск. «Неужто раскололся себе череп?» — У Ыкилака похолодела спина. Но брат вскочил, схватил шест — тот был переломлен пополам. Наукун покрутился на месте. С какой-то тупой злостью оторвал свисавшую половину шеста, отбросил в сторону. Подошел к дереву — дикуша сидела высоко, не достать. Наукун все же нашел выход из положения. Прислонив обломок шеста к пихте, на которой сидела птица, обхватил шершавый ствол руками и ногами, поднялся до первого сучк , ухватился за него обеими руками, подтянулся. Сучок предательски треснул, и Наукун полетел вниз. Он катался по земле, выл от злости, от боли и бессилия.

Ыкилак хотел подбежать, чтобы помочь, но остановился: обойдется. Осторожно отступил и, скрываясь за деревьями, пошел своей дорогой.

Перебрался в следующий распадок, по дну которого протекал небольшой ручеек. Берега сырые, но не топкие. Сквозь гальку пробивалась редкая трава. Береза и ольха, рябина и чуть повыше — ель и пихта — лес хороший, доброе угодье. Ыкилак оглядывал лес, когда услышал жесткий частый треск. Оказалось, едва не наступил на выводок каменных глухарей — паслись на берегу ручья и на галечном островке, который разбивает ручей на две упругие струи, похожие на извивающиеся косы Ланьгук. Ниже этого крохотного островка струи вновь соединялись.

Испуганные большие птицы, едва добравшись до ближайших деревьев, расселись на ветках и с высоты поглядывали на человека, словно решая, как быть, опасаться ли этого двуногого или не обращать внимания. Ыкилак оставил глухарей в покое и пошел искать мостки. Их много — перекинутых через ручей деревьев. Но только на нескольких нашел он то, что искал: по коре видно, что этими деревьями пользуются соболи. Первое — наклоненная ольха — сразу у галечного островка, второе — береза.

Ыкилак насторожил силки — по три на дерево. Затем решил: глухарь тоже сделает ему честь, тем более, что еды с собой всего дней на пять-шесть. Поставил петли на галечном островке, привязав их к кольям, вогнанным в гальку. Галька уже оделась ледком, и пришлось повозиться изрядно. Глухарь — он бродит по всему островку, клюет мелкие камешки — должен запутаться в петлях.

Юноша вернулся к стану, когда день уже угасал. Костер горел без дыма — кончался. Поодаль, с наветренной стороны, на вертелах томилась распластанная кета. А рядом — тоже на вертелах — мясо. Значит, отец и Наукун ели.

— Ну, что видел? — осведомился старший брат. Он величественно восседал на коряжине рядом с кучей еловых веток. Ыкилак прежде, чем ответить, подумал: «Зачем так много лапника?»

— Ничего,— Ыкилак с трудом сдерживал смех — перед глазами всплыла охота за дикушами.

Отец, закрытый шалашом, что-то мастерил. Ыкилак обошел кругом — Касказик сооружал лабаз. «Медведь? Олень? Но как взял? Ведь у него — только нож и петли?»

Ыкилак подошел к куче лапника, приподнял ветви: да, мясо, темно-розовое оленье мясо. А вот и шкура — постелена на землю, и мясо грудой лежит на ней.

У Наукуна вид такой, словно это он добыл.

— Чего сидишь? — в голосе отца слышалось недовольство.

И Наукун стал сдирать с лиственниц кору — ею покроют лабаз.

Ыкилак с наслаждением съел целый вертел оленьего шашлыка, заел кетовой головой и подошел к отцу — чем помочь?

— Притащи жердей.

Когда в небе появились крупные звезды, лабаз был готов. А к тому времени, когда пробились и мелкие звездочки, мясо разрубили на куски.

Легли спать поздно. Ыкилак оказался посредине, и ему

было тесно. Он знал: ворочаться в шалаше не принято — мешаешь другим. Но Ыкилаку не спалось не потому, что тесно: так было и вчера, и позавчера. Его терзал вопрос: как добыл отец оленя? Не задушил же руками и не убил же палкой. Олень настолько чуток, что слышит шорох мыши на противоположном склоне распадка. Олень так зорок, что видит не хуже орла. Олень так быстр, что за ним не угнаться.

— Отец,— тихо позвал Ыкилак.

— Вот стукну, будешь знать, как мешать,— пригрозил Наукун.

— Отец,— снова позвал Ыкилак.

— Ыйть! — сердито прикрикнул Наукун и больно ткнул кулаком в бок, отвел руку, чтобы ткнуть еще, но тут послышался голос отца.

— Что, сын? — тихо спросил он.

— Как оленя достал: яму вырыл?

— Когда и чем? — По голосу было ясно, что вопрос позабавил старика.

— Знаешь, как медведь ловит оленей? — спросил в свою очередь Касказик.

— Так то медведь,— сказал Ыкилак.

— Нет, ты ответь: знаешь, как медведь ловит оленей?

— Подкрадывается, когда тот разгребает ягель. Да подходит так, чтобы не попасться на глаза другому оленю, сторожу.

— Я тоже подкрадывался, когда олень слышал только себя, и тоже так, чтобы не видел сторожевой.

— Но ты ж не медведь.

— А сделал то же самое, что медведь. Только дождался, когда олень оторвал морду от ягеля. А когда услышал и оглянулся, нож уже торчал в боку.

Глава XXVI

Когда завтракали, Ыкилак обратил внимание на то, что в стане у них нет дикуш. «Так и не раздобыл, бедняга»,— посочувствовал он брату.

Юноша оглядел лабаз, хорошо, что вовремя покормили Курнга,— оценил он их усердие и послал удачу. Теперь бы еще одного оленя, и весну можно встречать спокойно.

Проходя мимо того места, где Наукун охотился, Ыкилак увидел у одного мостика подвешенную вверх ногами дикушу. Значит, решил ловить на приманку.

У второго перекинутого через ручей дерева тоже висела

дикуша. И у третьего. «Наверно, перебил весь выводок. Рад стараться. Дикуш и так мало. Добытчик называется.— Ыкилак рассердился.— Пусть берет глухарей, их в лесу, как ворон у стойбища. Не умеет ловить настоящих птиц, вот и гоняется за дикушами».

Наукун шел впереди, победно поглядывая на брата, словно соболя уже лежали в его заплечном мешке. «Сперва добудь, а потом задавайся. Невидаль какая — дикуши! Тьфу!» — плюнул Ыкилак. Потом подумал: «Если Курнг благоволит тебе — пошлет в петли соболя. К чему тогда приманка?»

У отца был простой план: окружить стадо оленей и очень осторожно, используя ветер, подкрасться как можно ближе. Первый, кто подойдет на расстояние верного удара копьем, должен поймать случай. И, не дожидаясь остальных, бить зверя. Стадо в панике замечется. И тут может еще подвернуться удача.

У всех троих копья. Но только у отца — стоящее. А сыновья приспособили охотничьи ножи: привязали их крепко к длинным черемуховым черенкам.

Отец вышел к широкому распадку, где накануне достался ему олень. Растревоженное стадо покинуло угодье, но Касказик по следам определил, где искать. И действительно, за несколькими поворотами открылась просторная круглая марь, на которой паслось стадо. Ыкилак быстро пробежал глазами — голов тысяча. А по краям мари в лесах шевелились еще рога.

Окружить стадо — не выйдет: троим это невозможно. И Касказик принял решение. Углубиться в лес с заветренной стороны, разойтись так, чтобы, подходя к мари, охватить большую группу оленей.

Среднему нужно будет потревожить их — те побегут и, прикрываясь кромочным лесом, попытаются уйти в сопки. Они наткнутся на затаившихся с краю охотников, тогда уж не зевай.

Касказик отправил старшего сына вправо, младшего — влево, а сам остался стоять на месте. «Только очень осторожно»,— были его последние слова.

Старик выждал время и уверенным, но мягким шагом направился в сторону мари.

Первого оленя он увидел вскоре. Молодую самку. Она стояла на маленькой полянке, легко разгребала передним копытом снег.

Поодаль паслись еще самки и три самца — упитанных, крупных.

Но к ним не подойдешь — сколько сразу ушей и глаз!

Касказик внимательно оглядел лесок. Одинокий олень лежал удобно: головой на марь, глаза, похоже, закрыты. К тому же он не был крайним — за ним, несколько в стороне, паслись две самки. Значит, чувствуют себя спокойно.

Нужно только обойти ту, что ближе. Полянка маленькая, окруженная кустарниками. И Касказик сообразил, как ему поступить. Слабый ветер относил запахи назад и чуть в сторону. Касказик прополз меж кустами в нескольких шагах от оленя. Тот и ухом не повел.

Впереди — завал. Надо подбираться долго, терпеливо...

Наукун застыл, прислонившись к дереву, и смотрел не мигая. Огромный олень, однако, самый крупный в стаде, с большими тяжелыми рогами, уставился в сторону леса и тоже смотрел не мигая. Ему казалось подозрительным еле слышное шуршание, повторившееся несколько раз. Что бы это могло быть?

Наукуну незаметно бы отступить. Но олень так огромен, охотник еще не встречал такого.

Нужно стоять, как дерево, и тогда можно усыпить внимание. Так Наукун и сделал — стоял долго, без малейшего движения. Олень поскреб задним копытом гривастую шею. До мощной лиственницы, за которой можно спрятаться,— всего два шага. И тут олень резко обернулся и поймал глазами человека. Нет, он не слышал ни треска сучьев, ни шороха — их не было. Просто долгие годы владычества и охраны громадного стада научили слышать неслышное, видеть невидимое. И владыка перед тем, как опустить чуткую морду на душистый ягель, повернул ее и застиг человека в крайне неловкой позе — тот заносил ногу в шаге.

Олень не сразу побежал. Оглядел стадо и, когда убедился, что все на ногах, пошел неторопливо. Так за многие годы сотни раз поднимал он и сотни раз уводил их от опасности...

...Касказик благополучно одолел обе валежины: через первую пролез, а под второй прополз. Олень продолжал лежать. Уже можно было бросить копье. Но только длинное. Нет уж, лучше подобраться вплотную. Никто ведь не мешает ему, никто не торопит.

То ли почудилось Касказику, то ли в самом деле он расслышал: вроде вдалеке раздался глухой хриплый рык. Неужто?

В следующее мгновение оленя, до которого уже можно было дотянуться кончиком копья, не стало. Он исчез мгновенно. Только топот, сотрясающий землю. И тут перед глазами старого охотника запрыгала, заходила, замелькала

тайга с ее травянистыми, бурыми мшистыми марями, ощерившимися чернолесьем сопками, с быстроногими рогатыми оленями: светлыми и бурыми, серыми и пестрыми... Все. Это все...

А олени мелькают, мелькают, мелькают. Вот и хор — владыка. Он гнал стадо через марь — вывел его на открытое место, чтобы удобнее было определить и оценить опасность. Он не бежал во главе стада — там был другой, пестрый, тоже большой и сильный. А владыка шел поодаль, останавливался, поджидая отставших.

Касказик еще мог бросить копье — отставшие олени пробегали совсем близко. Но он, как завороженный, впился глазами в владыку. И восхищался старик не могучестью хозяина стада, не его сильными ногами или раскидистыми крепкими рогами. Старый, опытнейший добытчик стоял в непонятном оцепенении и шептал: «В прошлый раз мне удалось победить. Сегодня ты мне не оставил ничего. Сегодня ты победил! Меня и моих сыновей. Ты мудр, владыка! Мудр и велик! Сегодня ты победил...»

Телята и самки сгуртовались в середине, хоры вышли на край. Там, где кончается болото и начинается тайга, владыка возглавил стадо. Касказик знал: теперь он надолго уведет его. Далеко, за перевалы. Туда, где не ступает человеческая нога...

Ыкилак был уверен: и сегодня они с добычей. Он видел, как олени всполошились. Так бывает, когда их потревожат. Но что поразило юношу: никакой паники. Олени, словно ведомые чьей-то могучей рукой, сбежались к середине мари, сбились в стадо и в небыстром беге исчезли в сопках... Отец-то должен взять своего оленя...

«Похоже, я согнал стадо,— томился Наукун.— Надо же было выйти на вожака! И почему не послушал себя: ведь хотел оставить в покое этого проклятого хора, найти другого. Его бы все равно не взял, раз уж насторожился. Надо было другого брать».

Братья почти одновременно подошли к отцу. Ыкилак увидел его понуро сидящим на валежине.

«Сердитый. Не я один виноват, все трое охотились,— оправдывал себя Наукун.— Молчит. Стоит мне подойти, драться начнет. Он такой: всегда найдет виноватого».

Услышав шаги, Касказик поднял седую голову — облезлая коса поползла по спине вниз. Касказик вздохнул и сказал только:

— Запомните эту марь. Богата она всякой ягодой и ягелем Вокруг в лесах и на сухих буграх посредине полно

грибов. И все деревья вблизи окутаны мхом-бородачом. Олень любит эту марь. Пасется здесь и летом, и зимой. Потопчет марь, уйдет. Но едва оправится ягель — вернется. Оленья марь называется. Запомните.

Охотники вернулись к стану каждый своим путиком — промысловой тропой. Касказик принес двух соболей, темных, хорошо вылинявших. Наукун оказался удачливее — трех. «Когда успели попасться: ведь утром петли были пустые, одни дикуши болтались над ними?» — сокрушался Ыкилак, прикидывая, как сделать, чтоб соболь не обходил его ловушек.

Он принес глухаря — тот запутался ногой в петле. В глухаре мяса много — на всех хватит. Но как поймать соболя?

Через день и отец, и Наукун принесли еще по соболю. У Ыкилака петли оказались сбитыми.

— Отец, а ты как ловишь: на приманку? — спросил Ыкилак.

— Нет,— отозвался Касказик.— На переходах. И на следу.

«Снега нет, а он следы разглядел»,— затосковал Ыкилак, а отцу сказал:

— Наукун развесил приманки.

И старый охотник ответил то, что ожидал Ыкилак:

— Если Курнг не поможет, добычи не будет.

Ыкилак вернулся в распадок и у первого попавшегося трухлявого пня бросил жертву: клубни сараны и юколу.

— В прошлый раз мы с отцом плохо накормили вас, не серчайте. Сегодня я кормлю хорошо. Вот, берите. И простите меня.

Глава XXVII

До снега Ыкилак поймал только одного соболя. В первоснежье юноша вдруг увидел: соболь крутится у трухлявого пня, где оставлена жертва. «Их прислал добрый дух. За жертвой. Еще принесу». Но юкола кончилась, и Ыкилаку попалась в ручье только снулая отнерестившаяся кета. Он положил ее туда же, у пня.

После снегопада Ыкилак снял двух соболей — на мостках. Определив по следам, откуда и куда шли эти зверьки, подгоняемый смутной догадкой, он ринулся к трухлявому пню: да, снег вокруг истоптан, изрыт.

Галечный остров тоже подарил Ыкилаку добычу. Но глу-

харь, запутавшийся в силках, был без головы — соболь отгрыз. Ыкилак не тронул птицу,— раз уж соболь облюбовал этого глухаря, пусть доедает. Он был рад, что угодил соболю. Нет, нет, Ыкилак не тронет птицу. Он только расставит рядом силки.

Касказик доволен — сезон начался удачно. Снег еще не выше щиколоток, а на троих уже восемнадцать соболей. Оба сына приносят хорошо. Научились ставить петли. И, когда ударили морозы и выпал большой снег, старик решил — пора уходить из тайги. Сюда вернется кто-либо из троих. На лыжах. Напрямик через сопку — не долго идти: за день без особого труда обернется. Но тот, кто станет здесь охотиться, должен знать места.

Начали с распадка Ыкилака. Касказик обратил внимание на то, что младший сын ставит иначе, чем он. Касказик не трогает соболей там, где кладет жертвоприношения. Соболя уносят их духам. И место это священное. Касказик не топчет, ставит ловушки на переходах, и зверьки попадаются в петли по пути туда. А Ыкилак ловит прямо на священных местах. Это грех. И если Ыкилаку сходит с рук и его ловушки все же с добычей — значит, Курнг не в гневе на него. Наверно, потому, что Ыкилак молод: не все молодые чтят законы тайги. Старому добытчику, конечно бы, не простилось. На тропе Ыкилака насчитали двадцать ставок. Сегодня сняли одного соболя.

Тропа Наукуна длиннее — два распадка. Ловит он на переходах, как учил отец, но тоже вот полез на святые места. Касказик поморщился. Будь они не на промысле, где грех ругаться — духи могут услышать и отвернуться,— показал бы им, как нарушать обычай. Но ведь можно сказать и спокойно. И тут его внимание отвлек какой-то шорох в заснеженных кустах. Наукун вырвался вперед, сломя голову бросился в кусты и... заорал истошно. Крупный черный соболь бился в его руках. Глаза у зверя страшные, клыки острые, а между белыми зубами — кровь. От дикой боли юноша потерял рассудок, так дернул руку на себя, что порвал силок. Соболь почувствовал свободу и, круто изогнувшись, отпрыгнул далеко. Наукун, уже забыв о боли, бросился вслед за соболем, но куда там: только того и видели.

Касказик недовольно сказал:

— Жадность доводит до безумия. Чего хватать голыми руками? Можно было придавить палкой.

Наукун осторожно поддерживал раненую руку, крутился на месте и выл то ли от боли, то ли от досады.

— Замолчи! — прикрикнул Касказик.— Сам виноват Наукун продолжал выть.

— Да перестань же! Лучше отсоси кровь, а то потеряешь руку. Жадность доводит до безумия,— сказал Касказик, но тут же подумал: «И Наукун старается не для себя одного — для всего рода старается». И старый Кевонг пожалел сына-неудачника. Но в следующий же миг внутренний голос вновь заговорил: «Какой же он неудачник, соболи сами лезут в его петли!»

— Отсоси кровь,— мягко повторил Касказик.

— Больно,— простонал Наукун.

— Делай, что говорят! — властно произнес отец.

Наукун шел и плевался, оставляя на снегу красные пятна.

В следующем распадке сняли соболя — не очень черного и среднего по размерам. Касказик на какое-то время забыл, что сыновья ставят силки не там, где надо.

— Уже крови нет,— не то радуясь, не то жалуясь, сказал старший сын.

— Теперь приложи снег,— посоветовал старик.— А вернемся в стойбище, прижмешь подорожником. Мать насушила много этой травы.

По пути домой между братьями разгорелся спор, кому охотиться в Ельнике. Уж очень приглянулся он обоим.

— У тебя нет лыж,— говорил Наукун.

— Врешь. Есть лыжи у меня, только одна сломана. Но я починю,— твердо сказал Ыкилак.

— Пока починишь, снег завалит все ловушки. Их надо поправлять каждый день. А если и починишь, лыжина все равно не выдержит: вон какие крутые сопки.

Это был серьезный довод. И Касказик произнес решающие слова:

— Чего спорите? Кто будет проверять ловушки — неважно. Весь соболь на выкуп. Пусть Наукун бегает.

У Наукуна что-то не ладилось. Он сокрушался, просил у отца совета. Говорил, что не совершил ничего такого, чтобы разгневать духов — хозяев охоты.

Ыкилак и Касказик ловили вблизи от стойбища. У них добыча была хоть и не такая обильная, как в Ельнике, но все же.

Скончался месяц Лова, народился Холодный месяц [1], а Наукун так и не приносил ничего домой. Касказик сказал тогда:

— Зря ноги бьешь! Лови, как и мы, вокруг стойбища.

---

[1] Месяц Лова — ноябрь; Холодный месяц — декабрь.

Наукун не сразу нашелся:

— Послезавтра еще раз схожу. Если не будет ничего — брошу.

Но он принес двух соболей.

Глава XXVIII

Чачфми — удобное местечко. Здесь по обоим берегам Тыми обширные тундровые мари, отличные пастбища, да в окружающих ельниках полно мха-бородача.

Единственное, что мешает оленеводу,— семья росомах. Кровожадные хищники постоянно тревожат стадо. Лука ставил ловушки, но хитрые звери умело обходили их. Росомахи отвлекали от пушной охоты. И поэтому первое, что решил Чочуна,— уничтожить хищников, чтобы всем вместе потом заняться соболями. Лука согласился, и теперь ждали удобного случая. И случай этот не заставил себя ждать. Морозным ветреным утром прискакал Кириск, розовощекий сопливый подросток, и сообщил: росомахи задрали оленя. Схватив ружья, Чочуна, Ньолгун и Лука вскочили на верховых и помчались за мальчиком.

Проскочили длинный лесистый склон сопки, вышли на круглую заснеженную поляну-марь. И тут Кириск остановил оленя. Таежники уже сами приметили: у дальней кромки леса — два черных пятна, рядом — серый бугорок. Росомахи после трапезы охраняли добычу от ворон.

Охотники окружили поляну, спешились и, когда Лука взмахнул шапкой, стали сужать кольцо. Шум ветра в ветвях — хороший помощник, хищники поздно учуяли опасность. Азартный Чочуна не позволил другим сделать первый выстрел. Тяжело раненный зверь упал, но, подняв голову, ощерился. Чочуна снова поднял ружье, но крик Луки остановил его.

Второй зверь, укрываясь за одиночными чахлыми деревцами, понесся в чащу. Ньолгун торопливо разрядил ружье. Росомаха поддала крепче, только снежные комья взлетали из-под мелькающих лап. Ньолгун выстрелил еще. Зверь круто повернул, заметался, и тут Кириск, безоружный мальчик, как-то уж очень ловко кинул аркан. Гибкая петля догнала зверя. Росомаха дернулась, сильным рывком мальчика бросило в снег. Разъяренный зверь повернул назад и помчался к нему.

Ньолгун бросился туда же что есть силы, крича и стреляя в воздух. В этот опасный миг спокойнее всех вел

себя мальчик. Он не отпустил аркан. Росомаха приближалась крупными прыжками.

Кириск мгновенно вскочил на ноги и, когда зверю оставалось всего два прыжка, отпрянул за дерево. Взрослые подошли, когда мальчик, подобрав торчащий из снега толстый сук, добивал опутанного и уже не страшного хищника.

Чочуна восхищенно качал головой.

Теперь ничто не мешало переключаться полностью на соболей.

Лука-Нгиндалай и его дети добыли за осень знатных соболей, большую часть их отдали Чочуне, но и себе оставили: нынче оленевод поедет на далекую Шилку, к сородичам. Решили так: сперва Лука заедет в Николаевск вместе с Чочуной. С ярмарки Чочуна вернется назад, а Лука с молодыми ороками продолжит путь по Амуру до таежной эвенкийской деревни на Шилке.

Глава XXIX

Как всегда, с рассветом вороны стаями вылетели из голубого заиндевелого ельника, где, укрывшись в гуще разлапистых ветвей, зябко коротали длинную ночь.

Ельник взбирается по кручам высокой террасы, переходит в непролазную тайгу, которая разбегается по глухим нехоженым сопкам.

У подножия кручи в рощице черноствольной каменной березы не сразу приметишь маленькое подслеповатое стойбище Ке-Во. Снег засыпал его. И только не в меру высокие сугробы да сизый дымок от сухих лиственничных дров обнадежит проезжего: тут его ждет тепло.

Вороны расселись на вершине узловатой ели, которая, словно осердясь на своих сородичей, убежала из ельника и поселилась в рощице, среди каменной березы, сразу за стойбищем. Целая сотня ворон может спрятаться в ветвях этого дерева. Утром перед вылетом на кормежку или вечером перед сном вороны слетаются к ели со всех лесов, теснятся на ее вершине, дремотно вполголоса каркают. Потом, будто сговорившись, разом снимаются, взмывают вверх и гигантской черной тучей закрывают собой полнеба. На землю опускается сумрак.

Родовое предание гласит: вороны облюбовали ель в тот день, когда на берегу Тыми у подножия высокой кру-

чи появилось стойбище Ке-Во. Может быть, в далеком прошлом, люди, поселившиеся на берегу нерестовой реки, назывались не так, как сейчас. Но прошло много лет, люди позабыли свое прежнее имя и стали называться Кевонги — жители Верхнего селения.

Сегодня вороны медлили с отлетом, облепили оголенную вершину, с которой сбили хвою еще в незапамятные времена. Каркали, словно спорили, гадая, что предпримут жители стойбища.

В эту ночь к Ыкилаку так и не пришел сон. Он и виду не показывал, что его тревожит скорая поездка в стойбище А-во — Нижнее селение. Конечно, он с нетерпением ждал поездки. Осень ждал, зиму ждал. Ждал лето и еще осень. Ждал, но никак не проявлял нетерпения. Только несмышленыши-подростки позволяют чувствам овладеть собой. Даже от небольшой радости готовы прыгать полдня. А он — мужчина! Он уже кормилец. И должен держать себя в руках. Этому учил отец. Этому учила тайга. Учили все шестнадцать буранистых зим и шестнадцать лет: дождливых и сухих, обильных ягодами и рыбой.

Он не спал. Нет, не потому, что взволнован. Это милки[1] всю ночь строили козни. Это они отогнали от Ыкилака сон.

Им бы только напакостить человеку. То ночью в лесу заорут, и человек цепенеет. А потом хохочут над ним, одиноким, скованным страхом. Или в осенний ледостав направят туда, где лед тонок, и человек обязательно искупается в морозной воде. А то и утонет.

И в эту ночь проклятые милки отняли у Ыкилака сон. Хорошо, что никто не видел, как всю ночь он вертелся. В то-рафе на других нарах спал аки. Всю ночь свистел носом. Вот и зазвал этим своим свистом милков. А все потому, что завидует Ыкилаку. И злится на отца. Ланьгук должна была стать женой Наукуна — он старший. Но волею отца она станет женой младшего.

Зимняя ночь длинная. А эта особенно. Ыкилак ворочался с боку на бок, сбились мягкие, как замша, штаны из кожи тайменя. Они мягкие, пока сухие. Когда подмокнут и высохнут, станут как кора на лиственнице. Мни их потом. Долго и старательно мни. А штаны, ставь их на пол,— будут стоять колом.

Ыкилак повернулся на левый бок, взглянул в дымовое отверстие на потолке. Перед сном он сам закрыл его снаружи. Наверно, неплотно. И в щель Ыкилак увидел: небо

[1] Милки — злые духи, оборотни.

заметно посерело, будто густой до черноты чай разбавили кипятком.

«Еще полежу»,— он подтянул к подбородку старую собачью доху.

Еще от деда доха. Ее никто давно не носит — такая ветхая. Ыкилак не помнит, было ли у него когда-нибудь одеяло,— всегда укрывался дохой или еще каким хламом.

До полуночи в то-рафе обычно жарко. К утру остывает. Но если надеть халат из рыбьей кожи, накрыться дохой и лежать скорчившись, чтобы ноги не выглядывали, можно пролежать до утра и не замерзнуть. Только устанешь так лежать. Тем более что постель — оленья шкура, брошенная прямо на деревянные плахи,— давно выли-няла, и ощущаешь все неровности нар, как суставы на тощей руке стариков. За много лет Ыкилак приноровился к своей постели: передвинешься чуть-чуть в сторону, и бокам не так больно.

Мелкие звезды погасли, только крупные видны. «Еще немножко полежу»,— сказал себе Ыкилак.

И тут он вспомнил о выкупе. Долго, две зимы, собирали этот выкуп. Отец охотился. Ыкилак охотился. Охотился и Наукун. Но тот сердит на отца и припрятывает часть соболей. Ыкилак знал об этом, но молчал. Наукун еще скажет, младший брат не мужчина — только и ждет, чтоб за него другие работали. А ведь обычай велит: всему роду собирать выкуп. Потому что к ним придет женщина. И неважно, чьей женой она станет. Важно другое — принесет детей, продолжателей рода.

Выкуп собрали богатый, соболей большая связка — трижды по сорок шкурок, двенадцать лис, восемь шкур выдры. Ыкилак сам носил одежду из рыбьей кожи, а всю добычу отдал на выкуп.

Он вспомнил, что вчера вечером отец снес увесистый узел в амбар. Срубили они его из лиственничного долготья и поставили на сваи — собаки не заберутся. Но покрыт он корьем. Как бы лесной зверь не проник туда. Ведь для росомахи кора не препона.

Ыкилак откинул доху, быстро встал и, пока накопленное за ночь тепло не улетучилось, набросил халат на собачьем меху, нашарил в темноте нерпичьи торбаза, натянул меховые чулки.

Наукун не проснулся даже тогда, когда младший брат, обходя очаг, зацепил ногой за что-то. Ыкилак нагнулся, протянул руки — они коснулись низкого столика. Братья после вечернего чая не убрали его.

Согнувшись привычно, Ыкилак прошел узкий, тесный коридор, толкнул наружную дверь. Прилаженная к косяку с помощью ремня из сивучьей кожи, она неслышно отошла и, выпустив человека, снова закрыла вход. Ыкилак глотнул морозного воздуха — сна сразу поубавилось.

Мелких звезд не видать. Но крупные редкие звезды, словно подожженные кострами зари, вспыхивали и, мерцая, лучились на небосклоне. И если чутко вслушаться, услышишь, как мир тихо и умиротворенно досыпает еще одну ночь. Звезды в эту пору издают какой-то особый звон, от которого сон спокойный и полный...

В эту ночь не спала и Талгук. Завтрашняя поездка мужчин волновала ее не меньше, чем младшего сына. Она тоже ворочалась с боку на бок, стараясь ненароком не задеть мужа. Все-таки задела. Касказик открыл глаза, но не шевельнулся. Только сказал:

— Близко, что ли, утро?

— Нет, еще не близко,— приникнув к его плечу, прошептала Талгук.

— Ты что — не спала? Голос какой-то не сонный.

- Нет.

— Почему не спится? Холодно?

— Нет, не холодно.

— Тогда спи,— и Касказик отвернулся от жены.

Под оленьими шкурами тепло долго держалось. Лишь при вдохе ощущаешь студеную резь в носу. Талгук, чтоб не объяснять причину бессонницы, сказала:

— Нашим сыновьям зачем жить отдельно? Зачем два очага иметь? Зачем рубить дрова для двух очагов?

Касказик, никак не ожидавший такого ночного озарения от своей жены, с которой прожил столько зим и лет, дернулся от удивления всей спиной.

— Ты хоть думай, прежде чем сказать!— Касказик сейчас был добр. Тепло, идущее от рядом лежащей жены, смягчило его резкий нрав.— Сама знаешь: какое же это стойбище, если в нем один лишь то-раф? Раньше наше стойбище было словно птичье гнездовье: шум, смех, лай собак. Теперь хоть два то-рафа, но свое стойбище. Родовое. Со своим древним священным очагом.

Талгук знала, как обернется затеянный ею разговор. Но была довольна: маленькая хитрость ее удалась — муж принял разговор, и Талгук увела его от попыток узнать, почему ей не спится.

— Спи,— Касказик не изменил своей позы до утра...

То-раф родителей немо и смутно темнел в стороне на

сером снегу. Воронья ель черной громадой уходила в небо и будто касалась там ветвями крупных звезд, отчего и чудилось, что звезды звенят. Собаки в большой конуре, похожей на то-раф без коридора, услышали скрип снега, завозились, но, узнав по шагам своего, вновь уснули.

Ыкилак походил вокруг амбара. Убедился: в порядке Вернулся в то-раф. Наукун продолжал высвистывать носом. «Скоро утро. Милки боятся света. Они, однако, уже исчезли. Полежу еще»,— и Ыкилак не раздеваясь полез под доху.

Когда голова коснулась груды хламья — вместо подушки, откуда-то из небытия донесся тонкий серебряный звон. Он дрожал, разрастаясь и множась,— это небо звенело: спать, спать, спать...

— Хы, этот все еще спит!

Ыкилак поначалу не сообразил, чем недоволен брат, с трудом поднял голову. Наукун сидел на своей наре в накинутой на плечи оленьей дохе. Толстая жирная коса свисала сбоку. Наукун смачно обсасывал чубук и, наслаждаясь, выпускал дым тонкими струйками. В узкую щель в потолке проникал неясный свет наступившего утра.

Поза старшего брата выдавала нетерпение. Ыкилак знал, чего хочет аки. «Сам бы мог развести огонь. Теперь злой, ничего не сделает». Ыкилаку не хотелось оставлять теплую постель. Но вставать надо.

Он рывком поднялся. Нашел нож, насек щепок, настругал стружек от куска березы, сложил на очаге сухие дрова. Затем ногтем большого пальца разрыхлил чагу — березовый нарост, поднес огниво и кремень. Хорошая искра получилась на втором ударе. Она упала на крошку гриба, и крошка едва задымилась. Ыкилак раздул тлеющий уголек. Огонек разросся, перешел на кусок с ноготь величиной. Ыкилак, не переставая дуть, положил его на очаг под витые ленты бересты. Набрал полную грудь воздуха и снова подул сильнее. Уголек рассыпал вокруг себя искры, сухая береста вспыхнула прозрачным, еле видным пламенем. А Ыкилак дул и дул пока пламя не охватило крупные щепки. Огонь разошелся. Ыкилак разогнул спину и почувствовал, как отяжелевшая голова идет кругом. «Нельзя так долго дуть»,— и пошел к двери.

А Наукун все сидел в той же позе.

Отец переносил вещи из амбара к то-рафу. Мать выводила застоявшихся собак. Те лаяли и рвались с при

вязи. Непривязанная сука носилась рядом, дразня кобелей и мешая сборам.

Мать убрала длинные косы вокруг головы. От этого голова казалась очень большой, а сама мать еще меньше и походила на неокрепшую девочку-подростка. Собаки рвались из рук, и мать кричала на них, нагибалась, чтобы намотать привязь на кол. При этом у нее все время распахивался халат Она поспешно прикрывалась, завязывала шнурки, но, едва наклонялась, халат снова распахивался. «Что у нее — шнурки короткие? Или оборваны?» — Ыкилак наблюдал, как мать безуспешно пытается застегнуть халат. Он висел на ней мешком. Два года назад, тогда еще новый, сшитый из желтой материи, он сидел ладно.

— Спустим нарту,— сказал отец, не глядя на сына.

Придерживая, осторожно спустили нарту по покатой земляной стенке.

— Принеси потяг.

Ыкилак нашел в амбаре свернутый кругами плетеный потяг, с которым через постромки соединены попарно хомуты из широких полос кожи. Каюры обычно используют веревочный потяг. Но сегодня поездка особая, и глава рода велел принести плетенный из кожи.

Мать вывела семь нартовых кобелей и отправилась накрывать на стол.

Наукун не участвовал в сборах. Он явился в то-раф родителей, когда мать уже подала юколу, нерпичий жир и густой отвар из березового гриба — чаги. Чай давно уже редкая радость у жителей Ке-во.

После завтрака разгоряченные люди вышли из то-рафа и поначалу даже не почувствовали мороза.

Касказик уже дернул конец потяга, привязанный к столбу. Талгук умоляюще сказала:

— Запряги суку.

Касказик резко обернулся:

— Только твоя голова может придумать такое. Только твой язык слушается такой глупой головы!

— Сука сильная. Она потянет. А дорога неблизкая, и снег еще не улежался, тяжелый,— не сдавалась Талгук.

— Ыйть!— разгневанный Касказик замахнулся тяжелым остолом, чтобы отогнать жену, так некстати подвернувшуюся под руку. Кто видел, чтобы уважающий себя каюр впрягал в упряжку суку? Тем более в такую поездку. А сука тем временем взвизгивала, рвалась с привязи. Обычно ее не привязывают. Она вольно рыщет во-

круг стойбища, сама добывает себе пищу. Ведь велел же еще утром привязать, чтобы не путалась под ногами.

Старик ворчал, левая же рука привычно отвязывала закрепленный конец потяга. Собаки разом рванули — Касказик едва успел ухватиться за тормозную дугу, и все же его бросило на бок. Отчаянно ругаясь, он налег на остол с железным наконечником — впереди крутой спуск, нужно притормозить, иначе нарта ударится о торос и разобьется или подомнет под себя задних псов.

Ыкилак оглянулся: у низкого заснеженного то-рафа стояла Талгук. Наукун так и не вышел проводить.

Только спустилась нарта к реке, мимо лихим аллюром промчалась сука. Она бежала впереди, задрав длинный хвост[1] Кобели наддали, пытаясь догнать ее, нарта запрыгала по крутым застругам.

— Ыйть, проклятая! Чтобы ты разбилась об лед! А вы, безмозглые, чего радуетесь?— орал Ыкилак.— Выдохнетесь уже на третьем кривуне!

Вороны разом сорвались с ели, догнали нарту и некоторое время в смятении висели над нею черной тучей

Глава XXX

Пред тобою сугробы расступятся пусть,
Рыхлый снег твердым настом вдруг станет пусть.
Чтоб в дороге легки были ноги твои,
Шью тебе торбаза я.

Самой прочною жилкой я швы прострочу
Слов надежных и верных я не умолчу
Чтоб в дороге легки были ноги твои,
Шью тебе торбаза я.

Чтобы в долгом пути ты не встретил беды,
Древних предков узор осторожно кладу...
Чтоб в дороге легки были ноги твои,
Шью тебе торбаза я...

— Красивая песня!— восхищенно сказала Музлук, когда Ланьгук спела последние слова.— У тебя всегда красивые песни.

Ланьгук застыдилась искреннего восхищения невестки, низко нагнулась над шитьем.

---

[1] Нивхи обрубают кобелям хвосты, у сук же оставляют.

Вот уже дней восемь, прячась от глаз отца и братьев, Ланьгук шьет торбаза. Мужские. Из прочного камуса — оленьих лапок. Музлук помогла подобрать мех. Отобрали темно-коричневые. Отделали белоснежным камусом, нарядным.

А узор придумали втроем — мать тоже приняла участие. Поверху пустили крупный орнамент, ниже — шашечками белый и темный камус. Скоро должен приехать Ыкилак, красивый юноша, ловкий, удачливый добытчик...

...Древних предков узор осторожно кладу...

Пусть древний нивхский орнамент хранит тебя от всяких бед...

...На реке снег лежит ровно, без сугробов. Лишь кое-где на кривунах козырьками дыбятся заструги. Снег рыхлый. Полозья то и дело проваливаются. Упряжке тяжело. Постромки гудят, нарта скользит, дергаясь и подпрыгивая,— перескакивает через заструги.

На четвертом или пятом повороте, как и ожидал Касказик, упряжка перешла на шаг. Бока у кобелей запаленно вздымались, языки болтались, как мокрые тряпки. А сука, высоко задрав хвост, носилась вокруг, откровенно взывая к игре.

— Ыйть,— выругался Касказик,— ты у меня порезвишься!

Он затормозил. Кобели тут же встали, залегли, жадно хватая снег дымящейся пастью.

Касказик протянул руку, чтобы подозвать суку, но тут же застыл в замешательстве: как окликнуть ее? Четвертую зиму никто не удосужился дать ей имя. Может, потому, что не требовалась она в хозяйстве. Одно знала: плодила щенков для будущих упряжек. Но сука поняла, чего хочет человек. Она отбежала подальше и только тогда оглянулась. Касказик держит на вытянутой руке кетовую хребтину. Соблазн велик. Сука голодно облизнулась, завиляла хвостом, крадучись подошла. Медленно и осторожно, чувствуя подвох, потянулась к руке.

А человек ласково приговаривал:

— Вот тебе рыба. Вкусная рыба. На, возьми, съешь.

Рука отдаляется, отдаляется. Аппетитный запах бьет в ноздри, вызывает обильную тягучую слюну. Сука сделала короткий шаг. Еще шаг. Ноги дрожат от возбуждения. Она видит над своей головой распростертые пальцы дру-

гой руки. Внимательно сторожит глазами. Резко хватает кетовый костяк, выдергивает, и не успел человек опомниться, стрелой уносится к берегу, исчезает в кустах. Нартовые собаки, с любопытством следившие за ходом событий, завистливо скулят, бросаются вслед за ней, но лишь запутывают постромки.

— Ыйть, безмозглые!— пинает старик ни в чем не повинных кобелей, срывая на них зло.

Ыкилак в душе хохочет над отцом.

Касказик грубо растолкал кобелей, распутал постромки и крикнул:

— Та-та!

Упряжка пошла, но кобели все оглядывались, посматривали на берег, где в кустах догрызала свое лакомство сука.

Через несколько поворотов, когда упряжка вновь перешла на шаг и кобели из последних сил налегали на хомуты и хрипели, задыхаясь от собственных усилий, каюр смилостивился:

— Порш!

Кобели опять залегли в снег.

Касказик обернулся.

— Она боится меня. Попробуй ты.

Ыкилак соскочил с нарты, пошел к суке, которая сидела в стороне, ожидая, когда снова тронутся в путь. Увидев юношу, собака прилегла на снег, прижала уши, осклабилась в покорной улыбке. Позволила взять себя за загривок, тут же встала на ноги и, повинуясь руке, пошла рядом. Касказик надел на нее не алык-хомут, а простой ошейник — так проявил он свое презрение, привязал ее сразу же вслед за вожаком, приговаривая:

— Убеги на этот раз, добра не будет. Вот и далась в руки. Теперь ты у меня потанцуешь. Такой танец тебе выдам, какого ни один шаман не знает.

Он понимал, кобели, увидев перед собой суку, будут стараться настигнуть ее и сильнее потянут нарту.

Старик перекинул ногу, сел поперек, вытащил остол. Собаки дернули, легко понесли. Сука тянула сильно. На трудных участках, когда полозья исчезали в снегу и шли тяжело, будто по песку, она от усердия приседала, ее задние ноги подгибались, дрожали и, казалось, гудели от напряжения.

Долго каюр не давал передышки. Псы переходили на шаг, но старик кричал, размахивая остолом, и они боязливо озирались и тянули из последних сил. Сука, непри-

вычная к такой тяжелой работе, выдохлась раньше и еле перебирала лапами.

Конечно, ни один уважающий себя каюр не запряжет суку. И вообще, во всем виновата Талгук. Нарочно выпустила. Ыйть, старая дура, из ума выжила. Теперь, хочешь не хочешь, запрягать надо. Хорошо, хоть постороннего глаза нет. Касказик ругал жену, но в душе поднимался другой голос: это она сделала от добра, хотела помочь мужу и сыну в их трудном пути.

Лишь в конце дня, когда из-за последнего поворота показалось стойбище А-во, старик остановил нарту, освободился от суки. Та радостно взвизгнула, взмахнула длинным хвостом и снова помчалась впереди упряжки. Уставшие, еле волочившие ноги кобели приободрились, налегли на алыки, и нарта пошла быстрее.

Глава XXXI

Маленькое стойбище А-во встретило гостей остервенелым лаем, будто взбесившихся здешних собак. Но в их заливистом лае не злоба была. Скорее любопытство и радость от того, что наконец-то есть повод продрать горло. Редко когда сюда наезжали. Разве какой-нибудь дальний каюр с другого побережья в своей нелегкой поездке по родичам, разбросанным невесть где, останавливался в этом глухом таежном местечке, чтобы дать отдохнуть отощавшей в дороге упряжке и обменяться с жителями А-во родовыми тылгурами — преданиями и легендами.

Из большого то-рафа вышел сгорбленный старец. Это Эмрайн — старейший рода Авонгов. Он в синем матерчатом халате с волнообразным желтым орнаментом на полях. Седые редкие волосы заплетены в тонкую облезлую косу. Старец пристально всматривался в приезжих. Следом вышли два его сына — Хиркун и Лидяйн. Оба в накинутых на плечи цветастых халатах.

За ними выскочили две молодые женщины — одна совсем еще юная Ланьгук. Встретившись с Ыкилаком глазами, она покраснела, будто лицо ее окатили из жбана соком брусники. Девушка юркнула в то-раф — только косы взметнулись, как крылья. За Ланьгук степенно повернулась и исчезла другая женщина. Это Музлук — жена Хиркуна. «Наверно, чай пили — раз собрались все в то-рафе родителей»,— рассудил Ыкилак.

Эмрайн прикрикнул на собак, и те смолкли. Лишь некоторые поскуливали, завидев суку, которая нагло и независимо прогуливалась по стойбищу. Непривязанные кобели, тесня друг друга, обхаживали ее. «Ах, ты, бессовестная! Нахалка! Ведь срок твой еще не вышел!» — корил ее про себя Касказик, а вслух сказал, оправдываясь:

— Увязалась за нартой. Гнал, да разве послушается, тварь этакая. Всю дорогу только и мешала.

Эмрайн, криво ступая, подошел ближе.

— Как дорога? Наверно, нелегко было?

Лидяйн вполголоса спросил Хиркуна:

— Не за Ланьгук они?

— Откуда я знаю, разговора ведь еще не было?

И уже на правах старшего не счел нужным скрывать недовольство:

— Ты вечно спешишь. Сходи, позови женщин — пусть помогут распрячь упряжку да собак покормят.

Лидяйн ответил обиженным взглядом исподлобья, но повиновался. Не успел открыть он дверь, как ее толкнули изнутри. Вышли Псулк, Музлук и Кутан, младший брат Эмрайна, родовой шаман.

Ыкилак двигал плечами, размахивал руками, чтобы изгнать из себя холод,— день был безветренный, но морозный воздух, казалось, проник во все поры, выстудил кровь. «Еще подожду. Как пальцы отойдут, распрягу». Но ему не пришлось заняться этим. Подошли широкоскулая и плоская, как плашка для распялки шкур, Псулк — жена Эмрайна и с нею на редкость крупная и статная Музлук — жена Хиркуна.

— И-и-и,— улыбнулась Псулк младшему Кевонгу.— Какой большой и красивый стал мальчик.

Она широко и уверенно шагнула к упряжке. Нартовые псы, поначалу с подозрением встретившие женщин, повиновались умелым рукам.

Вечером после чая по традиции пришло время сказаний. Гости должны рассказать свой тылгур [1]. И когда Касказик почувствовал, что окружающие накурились и настроились слушать, рассказал короткое предание.

Три охотника — ымхи, человек рода зятей, и два ахмалка, люди рода тестей, пошли в тайгу ставить петли. Ымхи был бедный, неженатый. Ему нужно добыть соболей на выкуп. Ахмалки же — из богатой семьи, где было

---

[1] Тылгур — предание, сказание, легенда.

много мужчин-добытчиков. Ымхи, если охота окажется удачной, женится на сестре ахмалков.

Пришли охотники в сопки, срубили балаган, расставили ловушки. Ымхи поставил тридцать ловушек, младший ахмалк — пятьдесят, старший ахмалк — триста.

Прошел день, прошел второй. Пришли охотники проверять ловушки. Ни в одной ловушке нет добычи.

Принесли охотники Пал-ызнгу жертву: табаку, корни сараны. Старший ахмалк сказал: «Добрый дух, пожалей меня за все мои страдания — вон сколько ловушек я выставил».

Пошли на следующее утро охотники проверять ловушки. Шли, шли они по распадкам и сопкам, видят: идет по сопке красивая девушка, зовет: «Кыть, кыть, кыть!» Так скликают щенков покормить. Идет красавица по склону сопки, зовет: «Кыть, кыть, кыть!» И со всех склонов и распадков выскочили соболи, окружили девушку-красавицу, идут вместе с нею. А девушка что-то бросает в стадо соболей, соболи ловят на лету.

Стоят охотники, разинув рты. Стоят и смотрят, как лесная девушка, дочь земного Тайхнада [1], прошла по склону сопки вместе с соболями. Прошла дочь Тайхнада по склону сопки — исчезла.

После этого еще несколько дней соболи не шли в ловушки. Охотники ходили по сопкам и распадкам, переставляли ловушки, но все равно не было добычи.

Вечером, когда они сидели в балагане и думали о своей неудаче, кто-то стал спускаться по сопке к балагану. Охотники подняли головы, видят: входит к ним седовласый старец. Вошел старец, прошел к лежанке, присел: «Ух-ух-ух,— перевел он дыхание.— Вижу, что вас мучает неудача. Жалко вас — вы так стараетесь, а добыча не идет в ловушки».

Поняли охотники, к ним явился сам Тайхнад, сотворитель живого на земле.

Старец сказал: «С завтрашнего дня соболь пойдет в ваши ловушки. Вы ловите соболей, а я буду снимать шкурки, сушить». Охотники не знают, как отблагодарить. Покормили они гостя, положили спать. Ымхи подумал: «Хоть бы двадцать соболей послал в мои ловушки. Столько соболей, пожалуй, хватит на выкуп». Подумал так ымхи и уснул с этой мыслью.

Младший ахмалк подумал: «Знать, я наделен счастьем, раз сам Тайхнад пришел ко мне в гости. Сделай так, чтобы мои ловушки всегда были полны добычи». Поду-

---

[1] Тайхнад — сотворитель живого на земле.

мал так младший ахмалк и уснул со своей мыслью.

Утром охотники проснулись рано, пошли проверять ловушки. Увидели: в каждой ловушке сидит соболь.

Ымхи подумал: «Надо убрать ловушки. Если так будет ловиться, не успеем снять шкурки». Так же подумал и младший ахмалк.

А старший подумал: «Вон как ловится соболь. Хорошо! Я поставил много ловушек». Снова зарядил ахмалк свои ловушки. А добычу в мешках таскал к балагану несколько дней.

Пока он таскал соболей, во всех ловушках оказалась новая добыча.

Старик тогда сказал: «Не надо так много ловить, я не успеваю снимать шкурки. Они портятся».

Ахмалк ничего не сказал. Но и ловушки не снял. И накопилось соболей так много, что стало негде хранить.

Старик опять говорит: «Не надо ловить так много священных зверей — они портятся».

Ахмалк подумал: «Старик только мешает мне охотиться». Он знал: Тайхнад не любит, когда костер собирают из пихты: пихта, разгораясь, трещит так, что голова болит.

Ахмалк незаметно срубил пихту, незаметно положил в костер. Костер вспыхнул, затрещал. «Тэ-тэх-тэх!» — трещит огонь. «Ыйк-ыйк-ыйк!» — вздрагивает Тайхнад. Потом старец молча надел шапку и вышел из балагана.

На следующее утро охотники услышали шум, будто ветер прошел по лесу. И увидели охотники: по сопке проходит лесная девушка. Девушка шла и звала: «Кыть-кыть-кыть». И со всех склонов и распадков выскочили соболи, окружили девушку-красавицу, идут вместе с нею. А она все зовет: «Кыть, кыть, кыть». И тут соболи, которых старший ахмалк хранил в амбарах, ожили и помчались к девушке.

Схватился старший ахмалк за голову, побежал с криком: «Соболи! Соболи! Мои соболи!»

Долго бежал ахмалк. Но куда там. Ступит девушка — она на одной сопке, ступит еще — уже на другой сопке. А вместе с нею — стадо соболей.

Бежал охотник за соболями. Ымхи и младший ахмалк долго слышали, как по распадкам и ущельям разносился голос: «Соболи! Соболи! Мои соболи!»

Вернулись они в стойбище. Отдал ымхи отцу-ахмалку выкуп, забрал жену. Рассказали о случае в тайге. Их рассказ стал преданием.

Едва Касказик закончил рассказывать, раздался голос

Музлук: «Так и надо ему: одним жадным меньше стало».

Ыкилак впервые слышал от отца это предание. Другие, разные, отец рассказывал раньше, а этот тылгур о бедном ымхи и жадном ахмалке Ыкилак услышал впервые. Ыкилак слушал отца, видел себя на месте безымянного юноши и желал себе удачи...

Эмрайн не ответил на предание ни словом. Он понял старейшего Кевонга, тот предупреждал: нельзя быть жадным. Хитрый Касказик нанес удар, упредил...

Глава XXXII

Прошла ночь. Наступил новый день Кевонгов, может быть, самый важный для маленького рода. Но что это?

Касказик ощутил, что между ним и людьми А-во незримо встала стена холода.

Что же случилось, почему так внезапно все изменилось?

Два рода — Авонгов и Кевонгов — издревле кровно связаны. Авонги — род тестей, Кевонги — род зятей. Издревле было: женщины из А-во переходят в род Кевонгов. Правда, бывало в далеком прошлом (об этом гласят родовые предания), когда иные женщины из А-во уходили в род Нгаксвонгов на туманном берегу моря. Но такое случалось редко и лишь тогда, когда в роду Кевонгов у всех были жены, а взять вторую жену редко кто решался — лишний рот. Но о тех прекрасных временах, когда мужчинам хватало женщин,— об этих временах лишь в преданиях сказывается. И Касказик, сегодняшний старейший оскудевшего рода, с тоскливой печалью думал: «Были ведь такие времена...»

О, проклятые воры — люди из туманного Нгакс-во! Будь проклят тот, кто придумал огненную воду! Это с ее помощью лишили ума покойного деда Сучка и его братьев — иначе бы они не изменили своему слову! Будь проклят тот миг, когда пролилась кровь людей Нгакс-во. Это он, Касказик, в то давнее время, увидев убитого брата, разъярился и бросил копье в убегающего криволицего, пронзил его. О, будь проклят этот день: он стал началом кровной мести. Люди Нгакс-во не знали, что и Кевонги понесли утрату. Вернувшись к морю, они учинили резню — уничтожили тамошних Кевонгов, которые отошли от родового древа много ань назад. Жителей Ке-во потрясла неслыханная несправедливость: они убили одного из Нгакс-во, а те отняли три жизни! Как только Курнг не покарал

их! Кевонги мудро укротили свой гнев. Отвечать новой кровью значило наложить руки на себя, всему роду пришел бы конец. Касказик дал себе тогда слово: наступит час и он отомстит. Молил богов, чтобы помогли ему: хотел иметь сыновей, много сыновей. Они отомстят людям Нгаксво. Но боги обошлись с Кевонгом немилостиво. Прав был тот древний шаман, от которого сейчас и трухи не осталось: он сказал тогда, что Кевонги совершили тягчайший грех, пролив человеческую кровь...

Может, Курнг потому и оставил так мало Кевонгов, чтобы чувствовали свое бессилие?

Теперь не заботы о кровной мести занимали Касказика. Он будет виноват, если на его сыновьях оборвется род. Земля будет жить. И травы будут жить. И звезды, и зверье будут жить. А рода Кевонгов не будет! Эта мысль преследует Касказика. Где бы ни был он, на охоте ли, на рыбалке, спит ли с женой в своем теплом то-рафе — не отстает от него эта дума.

Ланьгук, конечно, должна была стать женой Наукуна — уж таков обычай, сперва женят старших сыновей. Но волею Касказика она станет женою младшего. Касказик принял это решение не потому, что любит Ыкилака больше. У него были свои расчеты.

Тогда Касказик надеялся: он сумеет найти своим сыновьям не двух, а трех жен. Ланьгук никуда не денется, она, еще не родившись, предназначена была роду Кевонгов. Наукун на семь ань старше Ыкилака. А пока Касказик в силе, он объедет стойбища, доберется до самых отдаленных, куда не проникали даже его предки, и найдет, конечно же, найдет двух женщин, пусть не очень молодых, пусть не очень красивых, пусть даже горбатых, но двух. И, пока Ыкилак и Ланьгук подрастут, Наукун уже будет иметь нескольких сыновей от обеих жен! Несколько сыновей! И дерево Кевонгов пустит новые ветви!

Вот почему двенадцать ань назад Касказик привез в А-во младшего сына. Тогда детям оголили ноги и обвязали их чныр-травой. Так символически соединили Ыкилака и Ланьгук. После этого обряда Ланьгук уже принадлежала не вообще роду Кевонгов — Ыкилаку.

С угрюмой настойчивостью Касказик пытался осуществить свой план. После осенних пеших походов он ненадолго задерживался в то-рафе. Снова оставлял жену и детей, гонял упряжку от стойбища к стойбищу, возвращался уже по насту.

Измученный долгими, бесполезными поездками, старей-

ший отвечал на немой вопрос жены виноватым взглядом. И в такой миг этот своевольный властный человек казался жалким, беспомощным. Талгук ничего не спрашивала, только жалела мужа тихо, ненавязчиво, как умеют жалеть нивхские женщины.

В дальних своих поездках Касказик понял, что смерть грозит не только его роду. В некоторых стойбищах ему рассказывали: в таком-то роду еще несколько ань назад было двадцать человек. А теперь только шестеро. В другом же роду всего трое. Касказик ужаснулся: нивхи, похоже, вымирают!

Они чувствовали беду, как птицы изменение погоды, и по-своему принимали спасительные меры. Едва появится у кого дочь, тут же совершают обряд чныр-юпт, а некоторые имели по две или даже по три жены. Но это доступно лишь людям крупных родов: за женщин теперь так много заламывают, что только могущественный род может собрать требуемый выкуп. Узнав, что Касказик из маленького рода, с ним и вовсе прекращали разговор: кому интересно иметь слабых и бедных ымхи!

Так жестоко время расправилось с планами старейшего Кевонга. Четыре ань назад, когда он узнал, что Ланьгук уже могла бы родить, сказал жене, что поедет рыбачить на дальнюю тоню, а сам примчался в А-во. Между старейшими состоялся разговор. И по сей день Касказик помнит каждое слово. Он (умоляюще): «Нгафкка, я затеял обряд чныр-юпт, я и нарушу его. Отдай мне свою дочь: она станет женой Наукуна». Эмрайн (настороженно): «Где это видано, чтобы нарушался кровный обряд?» Он (упавшим голосом, настойчиво): «Это нужно, чтобы мой несчастный род быстрее окреп». Эмрайн (пугливо и неуверенно): «Курнг может возгневаться». Он (все так же умоляюще): «Курнг не щадил мой род. Сколько бед натерпелись! Теперь мы достойны его жалости». Эмрайн (так же пугливо, но решительно): «Нет! Я не ищу гнева Курнга! Ты хочешь, чтобы и мой род постигла твоя участь».

Касказик вернулся назад сам не свой. Домашние сочли, что рыба не пошла в ловушки. Вот так и случилось, что Ланьгук окончательно должна стать женой младшего сына при живом и неженатом старшем.

...Касказик сидел на сложенной дохе, откинувшись назад и прислонившись к краю нар. Такую же позу принял и его сын. Старик ждал, когда ему подадут табак. Эмрайн протянул кисет младшему своему сыну Лидяйну, и тот положил его на колени гостю. Касказику не понравилось,

что хозяева заставляют его ждать. Закон гостеприимства требует, чтобы кисет положили перед гостями сразу же, как те поедят. Касказик пошарил рукой под халатом, где-то под мышкой нащупал трубку, вытащил, набил листовым табаком. Передал кисет сыну. Ыкилак тоже набил трубку, подошел к очагу, нашел сучок с тлеющим концом, подал отцу. «Что же это такое? — возмущался про себя Касказик.— Разве так обращаются с людьми из рода ымхи! Что все-таки произошло?»

Женщины у очага молча чинили одежду. Женщинам света белого не хватает на их нескончаемые большие и малые заботы. Мужчины медленно курили. На их угловатых скулах играло пламя очага. Чем больше тянулось молчание, тем явственнее ощущалось напряжение.

Неуверенность тяготила Ыкилака. Он целиком полагался на отца и бросал изредка на него вопрошающий взгляд. Ланьгук, та самая Ланьгук, при одном воспоминании о которой будто головой зарываешься в благоухающий багульник, сидела спиной к нему и, склонив маленькую головку на грудь, рассматривала узоры на полах халата, теребила кончики толстых кос, спускавшихся к бедрам, и по-детски шмыгала носом. Как самый младший член семьи, она не была обременена заботами...

Ыкилак смотрел на Ланьгук, и во всех подробностях встала перед ним их встреча у Вороньей ели.

...Это птенчик, это птенчик
выклюнулся из яйца.
Это птенчик, это птенчик
крыльями затрепетал.
А гнездо мое качают
ветры злые, и пугает
темь ночная. Только крики
страшных духов слышу я...
Упадет на землю птенчик —
крылья сложит и неслышно
затаится между кочек...
Будет ждать покорно птенчик,
как над ним сомкнутся когти,
и от крыльев, и от крыльев
пух и перья полетят.
Где же тот, кто в небо бросит
неокрепшего птенца?

Неужели ты забыла, когда родилась эта песня? Прошлая осень выдалась теплая, солнечная. Природа будто перепутала времена года, и вместо осени пришло весеннее тепло. Воздух был наполнен земными запахами, травы благоухали терпко, по-весеннему. Птицы сытно и беззабот-

но цвиркали в воздухе, кустах, траве. Будто им не надо сбиваться в стайки, чтобы покинуть наши края, куда скоро придут холода. В воздухе висели утренние паутинки. Они сверкали, переливаясь на солнце.

В тот год был большой ход кеты. Едешь по Тыми, и на каждом мысу — возведенные на скорую руку вешала. Они отдавали белизной свежей рубки, но были сплошь завешаны гирляндами красной распластанной рыбы. В мире ничего нет красивее увешанных юколой вешалов! Юкола обильно вбирала в себя солнце, становилась частью солнца, чтобы в самую стужу съел ее человек — и стало ему сытно и тепло. Когда у нивха солнечная юкола, его обходят болезни и неудачи...

Тогда и вы, люди А-во, и мы, люди Ке-во, набили свои амбары под самое корье плотными душистыми связками отлично провяленной юколы. А потом вы приехали к нам на лодке. Мужчины — чтобы в Пила-Тайхуре ловить осетра, а ты за брусникой. Ее, брусники, в ту осень уродилось как никогда. Все сопки вокруг были осыпаны крупной, темной, как сгустки крови, длинноветвистой таежной ягодой.

Вечером мы вытащили из Пила-Тайхура огромного, в полтора моих роста, жирного осетра, и все, кто находился в стойбище, вышли на берег каждый со своим ножом и вдоволь наелись. Ты подошла ко мне и подала маленький, узорчатый туес, полный брусники. Потом взглянула на меня. Сердце мое забилось совсем по-другому. А ты повернулась и, глядя на меня, медленно пошла из стойбища к Вороньей ели. Твои глаза тянули меня за собой. Ты обвила меня своими тоненькими руками и так прижала к себе, что заломило в спине. А я стоял как пень. Ты смотрела в мои глаза, а я, теленок-первогодок, от смущения не знал, как поступить. Твои глаза просили, умоляли. Шея и щеки горели. Я почувствовал на губах что-то тонкое, упругое. Это волос твой или паутинка? В ту осень было много ее, паутинки. Надо было целовать тебя, а я перебирал губами паутину. Ты сказала: «Послушай» — и тесно прижалась ко мне. Я не понял, что должен услышать. Ты взяла мою ладонь, прижала к своей груди и сказала: «Вот тут слушай». Ладонь ловила частые, сильные удары сердца. А ты тихо и печально пела:

Это птенчик, это птенчик
крыльями затрепетал.

Посмотрела на меня — в глазах мольба. Но в следующий миг я заметил: ты сердишься:

Упадет на землю птенчик,
крылья сложит и неслышно
затаится между кочек.
Будет ждать покорно птенчик,
как над ним сомкнутся когти,
и от крыльев, и от крыльев
пух и перья полетят.

Ты пела вполголоса. Я напрягал слух, чтобы не пропустить ни слова — так они были складны и красивы. Потом будто по голове меня ударило: о чем сказала эта песня? Я глянул в твои глаза. В них — мольба и... отчаяние.

Где же тот, кто в небо бросит
неокрепшего птенца?

Что ты этим сказала?

Ты резко повернулась и побежала в стойбище. А я остался.

На другое утро вы уехали, увезли с собой большую рыбину — ночью Пила-Тайхур подарил еще одного осетра...

Ланьгук, Ланьгук... Где тот взгляд, которым ты смотрела на меня у Вороньей ели? Что случилось?

— Офы! Офы!

Это прокашлялся отец. Что-то хочет сказать?

В то-рафе полумрак. Лишь огонь очага пляшет красной лисой.

— Офы! Офы! — еще раз прокашлялся отец и резко передернул плечами. Окружающие поняли: нет, не уйти от разговора. Двое старейших должны объясниться.

Касказик мудр! От того, как начнет он, будет во многом зависеть, удастся ли ему взять свое.

— Ы-ы-ы! — тянет Касказик. Как талая ледниковая вода нащупывает себе русло, так и Касказик ищет путь к сердцу ахмалка.

— Ы-ы-ы-ы! — Сколько память людская живет, столько живут два добрых соседа — два древних рода: Авонгов и Кевонгов.

Кажется, ручей пробил себе русло и помчался уверенней. Касказик перевел дыхание. Голос старейшего Кевонга звучал ровно:

Ы-ы-ы!
Ы-ы-ы!
С тех пор как солнце восходит в небо,
с тех пор как травы усеяли землю,
с тех пор как сопки покрылись деревьями
и в реке Тайхнад посылает лосося,
живут два рода, два древних рода.
Живут два рода, два древних рода,

собой оживляя долины и сопки,
тайгу оживляя делами и речью,
собой украшая великую землю,
живут два рода, два древних рода.

Касказик перевел дыхание, обратился к старейшему Авонгу:

Волею Курнга — Всевышнего духа,
род твоих предков стал родом ахмалков.
Был он могуч и цветущ, как долина
в теплые дни бестуманного лета.
Волею Курнга — Всевышнего духа,
род моих предков в ымхи превратился.
Добрые наши соседи ахмалки
в род наш своих дочерей отдавали.
Брали мы женщин и в стойбищах дальних,
но лучшие жены — из Нижнего стойбища.
Род наш Кевонгов окреп и разросся
деревом стал он с ветвистою кроной.
Быть бы всегда нам могучими, сильными.
Нет, отвернулися добрые духи.
Видишь ты сам,— здесь не нужен глаз юноши,—
дерево гибнет, остались две ветви.
Ветви без сока усохнут однажды,
дерево черви съедят.

Касказик сейчас не тот, каким его знали — властолюбивый, гордый. Он согнулся, голова свисает на грудь, глаза закрыты, голос печален и глух.

Сердце дорогу свою не забудет,
травы всегда будут к солнцу тянуться,
сопки всегда будут лесом покрыты —
рода Кевонгов не будет...

Вокруг напряженная тишина. Ланьгук потихоньку смахивает слезы. Псулк, жена Эмрайна, сердито дергает иголку, нитка рвется, и женщина долго мучается, пока дрожащей рукой проденет нитку.

Эмрайн нервно теребит бороденку, подслеповато мигает, ссутулясь перед очагом, молчит. Чуть поодаль, в тени, полулежат на нарах братья: Хиркун задумчив и хмур, Лидяйн поглядывает на отца с усмешкой.

Ланьгук всхлипнула. Опять тишина, напряженная, мучительная.

Эмрайн подкинул дров в огонь, и снова тишина. Наконец он выпрямился, словно сбросил какую-то тяжесть.

— Вы как снег в ясный день. Мы и принять-то как следует не смогли. А Ланьгук, какая из нее жена: плачет и плачет. Дитя совсем.

— Подождем,— сказал Лидяйн. Сказал так, будто его слово решающее.

«Ах ты, сучий выродок,— выругался про себя Касказик.— Совсем обнаглел. Будь ты моим сыном, я бы показал, как лезть не в свое дело». Потом старейший Кевонг поймал себя на тоскливой мысли: «Будь у меня третий сын, как бы я благодарил Курнга. Пусть бы даже такой выродок — все равно».

— Какой из Ыкилака муж — он и мясо-то не знает, как добыть.

«Опять этот негодяй. У-у-у... Скажи спасибо, что не мой сын...»

— У него жена на второй день помрет с голоду.

— Заткнись!

Это уже гневается Хиркун. Он — второе лицо в то-рафе. Уж он-то может прикрикнуть на младшего.

— Пусть докажет, что он мужчина,— обиженно говорит Лидяйн.— Пусть докажет.

Глава XXXIII

Пусть докажет... На ровной белизне снега кое-где торчали стебли пожухлой травы. Слабый низовой ветер чуть пошевеливал ими, и те подзенькивали еле слышно.

Марь переходила в неширокий распадок, где зябко теснились бурые оголенные кусты. Было видно, как распадок, сужаясь, врезался в крутобокую темнохвойную сопку.

По насту идти до распадка — две трубки выкурить. А сейчас снег рыхлый. В начале зимы он всегда рыхлый. Ноги утопают, как в лебяжьем пуху. Снег еще не слежался, ветер не сбил его, и мороз не успел схватить. Другое дело — мартовский наст. Особенно утром, когда мороз еще не отступил. Иди себе, приплясывай, только сухой хруст, словно снежные брызги из-под торбазов.

Ыкилак умел ходить. Все свои семнадцать зим и восемнадцать лет прожил в тайге. Ходил по ней и в лютый мороз месяца Орла, и в душные дни Горбушевого месяца [1]. Ходил и в дождь проливной, когда не найдешь спасения даже под густой елью, и в снег, когда валит он сплошняком и не видишь рукавицы на вытянутой руке. Ыкилак знал тайгу. И давно понял — ничего нет мучительнее, чем брести по ней в начале зимы, когда снег еще еле-еле прикрыл колдобины и кочки. Нельзя ни пешком — ноги побьешь в кровь, ни на лыжах — сломаешь о неровности, невидные под предательски мягким снегом.

---

[1] Месяц Орла — январь; Горбушевый месяц — июнь.

Будь его воля, Ыкилак не стал бы терзать себя. Но ничего не поделаешь — так пожелали ахмалки. А сами идут сзади. Им легче. Идти по следу всегда легче.

Надо высоко поднимать ногу, чтобы не пахать ею снег. Но так далеко не уйдешь — выбьешься из сил. Тогда юноша решил идти по кочкам. Они угадывались в пожухлой высокой траве. Если ступить на траву, точно угодишь на кочку.

Ыкилак нацелился на траву, торчащую редким пучком, уверенно опустил ногу. Прыгнул на следующий пучок — ступня не попала в середину кочки, соскользнула. Нога заныла. Ыкилак не подал виду, сжал зубы и пошел дальше, высоко вскидывая ногу, занося ее стороной.

Сзади крикнули:

— Хочешь, чтоб без ног остались?

Это Лидяйн. Ыкилак делает вид, что не слышит. Лидяйн самый что ни на есть дрянной человек. Никогда не сделает другому хорошо. Попадаются же такие!

И теперь, растянувшись на кочке, Лидяйн поносит его. Ыкилак не отвечает. Он сосредоточен на одном: поскорее бы одолеть эту гиблую марь. Жесткие брюки из кетовой кожи отсырели на сгибе. Колени холодит.

Третьим идет Хиркун. Как подобает уважающему себя зрелому человеку, не выказывает недовольства ни тем, что Ыкилак избрал не самый легкий путь, ни тем, что движутся они медленно.

Лидяйн смачно чмокает, глотая слюну, горькую от просоленного изжеванного чубука. Трубка давно потухла, табаку в ней ни крохи. Но Лидяйн и не думает заряжать трубку: табак надо беречь. И обсасывает горький чубук, и ощупывает под оленьей дошкой мешочек листового маньчжурского табака. Мешочек почти полный, и от этого на душе хорошо.

У Ыкилака защемило под ложечкой, свело челюсти. Нестерпимо хочется курить. Но кисет пуст. Скупые ахмалки так и не насыпали ему перед дорогой. Отправить в дорогу и не дать табаку — все равно что уставшего с дороги гостя оставить без чаю. Так люди не поступают. И еще не дали лук. Теперь одно спасенье — копье. Если бы ахмалки были добрые, они не послали бы его в сопки в такое время. Не стали бы испытывать в рискованном деле. Нет, Ыкилак не боится. А вдруг?

Как они все старались — Ыкилак, Наукун, отец. Две зимы ловили соболей, собирали выкуп. Голодали, холодали, а копили. Правда, Наукун припрятывал часть добычи.

Последнее время старший брат ходит злой. Еще бы — остаться без жены,— какая тут радость! Ыкилаку жалко его, но что поделаешь!

— Э!

Опять Лидяйн. Что за человек — идет по тайге и орет? В тайге не кричат — вполголоса разговаривают. Тайга — дом зверей и дом духов. Тут можно докричаться...

—Э! Ты что, оглох!

Ну, что ему сказать? Если бы не Ланьгук, трахнул бы по его собачьим ноздрям. Ей-ей, дал бы.

— Свернуть пора,— спокойный голос. Это Хиркун.

Оказывается, уже прошли марь. Ыкилак остановился. Тяжело дышит, вытирает со лба испарину.

Хиркун кивком головы показывает, куда идти, и сам выходит вперед.

Ыкилак не раз встречался с медведями — в лесу ли во время сбора ягоды, на речках ли в дни рунного хода горбуши. Тайга одна, речки одни — не разминуться. «Медведь совсем как человек, только на четырех ногах ходит да доху не снимает»,— говорит отец.

...В тот день Касказик рыбачил, а Талгук и ее дети рвали бруснику в редколесье на склоне сопки. Ыкилак, увлекшись, свернул в сторону. Из кедрового стланика выскочил пушистенький медвежонок. Ыкилак подскочил к зверенышу, наклонился, чтобы погладить. Тот ощерил зубки, царапнул острым коготком руку. Мальчик обиделся, надул губы, отошел. Надо к матери. Медвежонок с верещаньем помчался следом. Был он смешной — круглый и подпрыгивал косо-боко.

И тут появилась медведица, большая, как гора. Беспокойно озираясь, пошла на Ыкилака. Даже не остановилась — ткнула в лицо холодным шершавым носом, грубо толкнула твердым, как камень, плечом. Ыкилак заплакал. Прибежала Талгук. Медведица уходила, уводя детеныша. Талгук пыталась что-то сказать, но только мычание издала — скулы тряслись. Схватила сына, что есть силы помчалась в стойбище. Оставила сына в окружении нартовых собак, тотчас же умчалась обратно. Увидела: дочь, напевая, полными горстями сгребала ягоду. Иньгит так и не узнала о случае в редколесье. Касказик тоже.

Потом было много встреч. И чаще Ыкилак уступал дорогу. Тайга большая, богатая — всем хватит...

Теперь Ыкилак шел в сопки не для того, чтобы уступить. Не еды ради отправился сын Кевонгов в сопки — в амбарах припасов много: хорошо потрудились летом и Каска-

зик, и Наукун, и Ыкилак, и Талгук. Волю ахмалков попытается исполнить Ыкилак. Только пусть бог тайги и охоты Пал-Ызнг будет добр. Только пусть хозяин берлоги пожалеет Кевонга — подождет до его прихода. Берлога теплая, лежи себе, спи...

Кусты хлещут по лицу, цепляются за штаны, рвут потрепанную оленью дошку. Ыкилак устал. Устали и оба ахмалка. Лидяйн, тот и вовсе кое-как плетется. Ыкилак старается обойти кусты и длинные сучья лиственниц. Заденешь за ветвь — и на голову рухнет охапка снега. Снег сползает за шиворот, тает. Одежда сыреет и тяжелеет. А тут еще напоролся на острый сук, проткнул дошку.

Ыкилак сердится и кроет ахмалков — про себя,— вслух нельзя: обычай велит почитать всех людей их рода. Лидяйн — так тот самый что ни на есть дурной человек. Если случайно и сделает что-нибудь доброе, ночами потом спать не будет — все от злости. Это он сказал, что надо сделать испытание. Отец хорошо речь держал. Старик Эмрайн глубоко ушел в думы. Тут-то и напортил Лидяйн. Может быть, старейший Авонг собирался отдать свою дочь в род Кевонгов? Может, так и случилось бы. Но Лидяйн вылез:

— Этот негодник жену свою будет рыбьей костью кормить — собаки позавидуют! А если к его то-рафу медведь подойдет? Закроется изнутри и будет сидеть не дыша, пока или медведь не сдохнет, или сам...

Это неслыханно! Неслыханно! Даже Ланьгук, которой обычай запрещает смотреть на братьев, бросила на Лидяйна сердитый взгляд. Лидяйн требовал испытать молодого ымхи. Принято обходиться выкупом. А если и ворчат ахмалки, то лишь потому, что дочь, по их мнению, стоит больше... Но Кевонги привезли хороший выкуп... Эмрайн сказал: «Уйти Ланьгук в другой род — за этим, однако, дело не станет».

Почему старейший Авонг высказался неясно? Надо было прямо сказать: в род Кевонгов.

Эмрайн кивнул головой:

— Позови.

Сказал значительно, таинственно. И кивок головой, плавный и почтительный, был не куда-то в сторону, а в сторону — вверх. И обратился старейший родов не к Лидяйну, а ко второму по старшинству, Хиркуну.

Тот не спеша спустился с нар, накинул на плечи собачью доху, толкнул низкую дверь. Крутые клубы морозного воздуха ворвались, подкатили к очагу и исчезли, как привидения.

Эмрайн, не глядя ни на кого, отставил руку со старым, блескучим от грязи кисетом. Музлук будто сторожила его движение — подскочила, взяла кисет, обнесла гостей. И Касказик, и Ыкилак набили трубки крошеным листовым табаком. Расторопная Музлук выбрала в огне сучок с тлеющим концом, подала гостям.

Ыкилак помрачнел. Прислуживать гостям должна невеста: показать старательность, расторопность, жених ведь приехал! А Ланьгук сидит в углу, совсем безучастная.

«Эти Авонги что-то, однако, затеяли»,— теряется в догадках Кевонг.

Пока Хиркун ходил за шаманом, в то-рафе старейшего не произнесли ни слова ни хозяева, ни гости.

Но вот заскрипел снег, дверь бесшумно открылась, в то-раф, словно заиндевелые медведи, ворвались клубы морозного воздуха, и словно на них въехал Кутан-прямоспинный, средних лет, в оленьей дохе, без шапки, с длинной косой.

Глаза настороженные, выжидающие. Прошлой ночью он быстро ушел в свой то-раф и теперь, вызванный старшим братом, мучился в догадках.

Эмрайн головой указал ему, куда пройти: на средний понахнг, место почетных гостей. Шаман обошел очаг, сел на лежанку. Хиркун снова примостился около отца.

Эмрайн, ни на кого не глядя, протянул руку с кисетом. Опять подскочила Музлук, передала шаману. Тот не спеша набил трубку, прикурил от уголька.

Псулк занялась столом: нарезала тут же испеченную юколу. А Музлук принесла большой медный чайник с водой, поставила с краю очага, подвинула к нему крупные, пышущие жаром угли. Какое бы дело ни ждало вошедшего, его надо сперва накормить — таков обычай.

Шаман ел жадно, как собака, которую долго держали на привязи и без пищи. Видно, этот одинокий человек редко готовил себе, все надеялся, что позовут.

Шаман ел основательно, в сосредоточенном молчании, будто занимался очень важным, ему одному ведомым делом. Выпил чаю четыре большие фарфоровые чашки, купленные еще предками Эмрайна у какого-то маньчжурского торговца. Наконец, круглый, в испарине, отдуваясь, отвалился от стола. Музлук тут же подала кисет. Шаман сытно икнул, нашел на земляном полу ветку, кривым, как у орла, ногтем большого пальца расщепил ее и поковырялся в зубах. Потом прислонился спиной к краю нар, закурил, блаженно жмуря глаза. И только тогда узнал, зачем его собственно пригласили. Эмрайн сказал:

— Тот, кто может говорить с духами, помоги нам. Осенью мой старший сын нашел в глухом распадке теплый, добротно сделанный дом. Однако не зря хозяин утеплил его. Человек, который общается с духами, что говорят твои духи — залег ли хозяин в свой теплый дом?

Шаман, не знавший, чем обернется для него приглашение старейшего, сразу изменился, облегченно заегозил. Отвечал загадочно:

— О, мудрый и добрый корень почтенного рода! Я знал, что заставило тебя обратиться ко мне, а через меня — к духам. Завтра, как только заря распахнет свои крылья, придут ко мне мои духи. Я узнаю, что ответить тебе.

Шаман медленно поднялся, взял свою шапку, соскреб со стола в подол теплого халата недоеденную юколу и, сопя и кряхтя для важности, направился к выходу. Эмрайн вышел следом — проводил гостя...

...Хиркун негромко сказал:

— Теперь я поведу.

Ыкилак пропустил его вперед.

...Когда охотники исчезли из виду, Ланьгук вытащила новые нарядные мужские торбаза, щекой приникла к прохладному блестящему меху, взглянула на древний орнамент. И тут ей почудилось: орнамент ожил, обрел то ли человеческий лик, то ли звериный. Ланьгук тихо сказала: «Береги его. Сделай, чтобы удача не ушла от него!..»

Высокие облака стерли размашистыми крылами блеклое солнце, и оно едва теплилось в туманных прогалинах низенького зимнего неба. Ровный серый свет не струился — падал. Падал неслышно и медленно, как падают в оттепель хлопья снега. В тайге от этого света сумрачно. Косматые древние лиственницы стояли смиренные и молчаливые. Природа приучала даже этих великанов к покорности. Тишина необычная, давящая. Ни шороха, ни посвиста мимо летящей птицы. Лишь дыхание свое слышишь да неровный гулкий стук сердца.

Хиркун обошел заснеженный кустарник, остановился. Долго смотрел на вывороченную бурей громадину-лиственницу. Дерево вытянулось вдоль сопки. Могучие корни разворотили крутой склон ее, обнажили каменистую россыпь. Толстые длинные корни местами раздвинуты, местами отодраны и лежат в стороне. Кто-то могучий повозился здесь.

Хиркун кивнул головой. Ыкилак и Лидяйн подошли осторожно — след в след. Хиркун ничего не подсказал им: таежник должен сам распознать. По каким-то неуловимым признакам Ыкилак угадал под заснеженным выворотнем

провал. И еще заметил на выпростанных из-под снега корневищах куржак.

Хиркун отвел охотников на такое расстояние, чтобы можно было безбоязненно говорить. Дал Ыкилаку и Лидяйну задачу. Ыкилак должен ударом шеста взломать чело у берлоги и энергичным тычком разбудить Его. Когда Он, возмущенный, разъярится и выскочит — одновременно его принимают на копье двое — Ыкилак спереди в грудь, а Лидяйн — справа в бок. Сам Хиркун стоит сзади — на всякий случай. Он вмешается лишь тогда, когда убедится, что без его помощи не обойтись.

Ыкилак нашел стройную гладкую черемуху, неслышно срезал ее ножом, очистил от ветвей. И, держа шест на весу в правой руке, а копье — в левой, осторожно, словно ощупывая каждый свой шаг, направился к берлоге. За ним с копьем в руках следовал Лидяйн.

Чем ближе берлога, тем чаще и громче стук сердца. Вроде и одежда стесняет движения, мешает дышать свободно. Все ближе и ближе берлога. Медленней и короче шаг. Лоб покрылся испариной. Пот стекает на брови, набухает здесь, расползается, наплывает на глаза, заволакивает их и больно щиплет. Не видать ни берлоги, ни деревьев. Ыкилак нагибает голову, чтобы удобнее было достать, и, не выпуская копья, смахивает с глаз капли пота. Вроде бы лучше стало.

Вот и чело. Прикрыто снегом. Но снег здесь другой. Крупчатый, ноздреватый. А сквозь снег тихо поднимается кверху пар. Его легко заметить, надо только хорошенько вглядеться. Сейчас Он спит. Он, конечно, знает, что пришли люди. Он хороший и добрый. Он жалеет Ыкилака. Иначе проснулся бы раньше, и люди нашли бы покинутое теплое еще жилище. И ни о какой женитьбе не могло быть и речи. А тут Он спит и позволит Ыкилаку выдержать испытание.

Лидяйн зашел справа. Ыкилак заметил в его глазах какой-то странный блеск. «Боится?» Его и самого трясло.

Он оглянулся и, убедившись, что все наготове, с силой ударил торцом шеста в чело. Надеялся, что шест легко войдет в глиняную стенку, проскочит внутрь. Но шест наткнулся на корневище и больно отдал в руку. Раздумывать некогда. Ыкилак ударил еще раз — уже пониже. Конец шеста почти без задержки проскочил в провал и — это точно ощутил юноша — уперся во что-то мягкое, живое. «Тебе больно. Не сердись. Я не хотел этого. Мне только разбудить тебя. Не сердись»,— мысленно умолял Ыкилак хозяина берлоги. Но тут шест будто ожил, дернулся, заходил из стороны в сторону. Словно сама сопка с грохотом взорвалась. От неопи-

суемого громкого рева Ыкилак присел, почувствовал, как волосы потянуло вверх, а ноги... Ноги дрожали и подгибались. Комья глины и снега мелькали перед глазами, а справа что-то метнулось в сторону. Ыкилак не услышал скрип снега, но понял, что Лидяйн бежал. А Он с ревом уже взвился в смертельном прыжке...

...Отец поучал: удобнее всего принимать медведя, когда он встал перед тобой на дыбы. Резкий выпад навстречу с ударом в открытую грудь... А если медведь не встанет на дыбы, а попытается в прыжке достать тебя?..

Медведь редко так нападает. Охотник не всегда успеет направить копье. И тогда... Тогда мужчины всего стойбища преследуют убийцу. Преследуют дни и ночи. Преследуют до тех пор, пока не нагонят его где-нибудь на вершине сопки или в распадке и в гневе великом изрубят на куски, а мясо отдадут мышам на съедение... И еще отец поучал: если взвился медведь в прыжке, держи копье покороче, ближе к лезвию, крепче расставь ноги и встречным ударом насади на копье.

Все было проделано вмиг. Смертельная опасность одних обращает в бегство, других заставляет собраться. Ыкилак как-то удачно поднырнул, выставил копье, и медведь напоролся на острие. Упав на одно колено, Ыкилак сильно и резко дернул копье вверх и назад, медведь перелетел через охотника, уткнулся носом в снег. Не успел поднять голову, как Ыкилак, высоко подпрыгнув, оседлал его, схватил за уши, изо всех сил налег, помогая себе коленями, вдавил голову медведя в снег. Тот вдохнул вместо воздуха рассыпчатый снег, отчаянно и глухо закашлялся, но сильные руки юноши, который уже знал, что он победил, цепко держали. Тут подоспел Хиркун, четким движением набросил путы. Медведь крупно, всем телом, задергался, и люди поняли: это душа покинула его.

Хиркун подошел к Ыкилаку, сидевшему на плечах зверя, и, цокая языком, с восхищением смотрел на него.

— Удачлив ты, удачлив!— а сам пытался набить табаком трубку. Руки его непослушно дрожали, и табак сыпался мимо. Наконец он затянулся, протянул трубку Ыкилаку.

Только сейчас вспомнил о Лидяйне, который растерянно топтался за деревьями.

Лидяйн так и не понял, как все произошло. Он видел: перед ним в трех шагах словно вздыбился склон сопки и выстрелил из себя громадного разъяренного зверя. Маленькие злобные красные глаза, саблевидные желтые клыки, пенистая пасть и рык...

Опомнился Лидяйн лишь тогда, когда взобрался на следующий склон. Как же так? Ведь медведь бросился за ним! Наверно, отстал. Вот как быстро он умеет бегать! Подожду немного. Ему лезть на сопку, а мне сверху удобнее, я и встречу его копьем. Но где же он? Или убежал? А может, Ыкилак убил? Ыкилак-то? Скорее медведь размозжил ему голову. А Хиркун? И его задавил медведь? Или все-таки...

Лидяйн заставил себя вернуться к берлоге.

Хиркун и Ыкилак сидели на валежине, молча курили трубку, передавая ее друг другу. У их ног лежал медведь.

Лидяйн от стыда не знал, куда деваться.

— Иди сюда,— окликнул его Хиркун. «Лучше бы уж ударили. Или обозвали последними словами»,— с тоской думал Лидяйн.

Глава XXXIV

Медведя обдирали в три ножа. Лидяйн с молчаливым упорством возился с задней ногой, чтобы усердием хоть как-то загладить свой позор.

Разняли медведя на несколько крупных частей. Лохматую голову украсили нау — священными черемуховыми стружками и вознесли на сооруженный на скорую руку настил. Потом каждый занялся своим делом: Хиркуну, как главному, поручили изготовить крошни — плетеные сумки для переноски груза. Лидяйн, второе по важности лицо, ставил навес из еловых лап — для ночлега. Ыкилак, ымхи, собирал дрова.

Густой сумрак окутал мир, и тайга теперь чернела сплошной плоской стеной с неровным верхним краем. Лишь несколько ближних деревьев выпирали, словно вырезанные из темного русского сукна и приклеенные к черному фону, на котором уже пробились крупные мерцающие звезды.

Перед ужином каждый взял в руки табак, куски юколы и обратился к берлоге, а через нее — к духам, хозяевам этих мест, и к Пал-Ызнгу. Благодарим за удачу. Пал-Ызнг очень добр. Это он повелел медведю взвиться кверху, чтобы Ыкилаку сподручнее было достать копьем сердце. Потом у костра с аппетитом уплетали сочную грудину и, отдуваясь, долго пили чай, заправленный чагой. Чага быстро возвращает утомленному силы. Поэтому таежники любят этот отвар березового нароста.

Ыкилак еще до сумерек срубил две сухие лиственницы. Потом топором растеребил их, чтобы пламени легче было схватить древесину, и рядом с потухающим костром ближе к навесу ожила нодья — долгий таежный огонь. Всю ночь ровно и неторопливо нодья будет давать тепло.

Охотники вытащили головешки, на горячую золу настелили еловый лапник — вот и готова постель. Нагретые ветви обмякли, остро отдавали смолой. Голова Ыкилака налилась тяжестью от густого смолистого воздуха. Хотелось прилечь, но какая же нивхская ночь обойдется без тылгуров — старинных преданий и легенд?

Кто-то из троих должен начать. Ыкилак сказал:

— Люди из рода Авонгов хранят древние тылгуры. Как деревьев в тайге с каждым летом становится больше, так и время дарит Авонгам новые тылгуры... Ваш ымхи подарил бы свой тылгур, но он лишен дара рассказывать.

После такой речи кому-то из ахмалков придется поделиться своим тылгуром.

— Хонь!— попросил Ыкилак.

Наступило молчание. Слышно лишь, как потрескивает нодья. Лидяйн злобствовал: «Волей случая добился удачи и теперь требует, чтобы ласкали его слух».

Хиркун, не отрывавшийся от трубки, отсосал последние струи дыма, выколотил пепел о подошву, вновь заправил и уставился в костер. Потом тряхнул головой, положил руки на колени и без всякого вступления хрипловато начал:

— В большом стойбище, без отца, без родственников, с одной матерью, жил юноша. Он тяжко жил.

Вместе с соседями ездил на рыбалку, за весла сажали. Много рыбы поймают — ему только одну-две рыбки дадут. Соседи много нарежут юколы, так много, что уже негде хранить. А у юноши ни одной юколы...

На сопке глухо прокричал филин. Ночью звуки короткие. И слабое эхо ушло в ночную тишину, как стрела в мох.

Хиркун посасывал трубку, замолкая перед затяжкой, и можно было подумать, что короткого мига ему хватает, чтобы обдумать слова, которых ждут.

— Юноша-сирота пошел вместе с соседями в тайгу. Сами они охотятся, а сироте велят рубить дрова, за костром смотреть, чай кипятить. И кормят, как никудышную собаку: кусок прелой юколы кинут, чая глоток оставят.

Плохо жилось юноше в стойбище, а в тайге пошла совсем не жизнь.

И когда сирота уже не знал, как дальше быть, встретилась ему добрая дочь Тайхнада — бога тайги и охоты. По-

жалела она бедного юношу, дала ему две петли-ловушки.

В эти петли попадались самые редкие, неслыханно дорогие звери. Поймал он не много зверей — когда звери очень дорогие, много и не надо.

Поехал юноша в большой город, на торги поехал. Привели его к самому богатому человеку. Увидел богач шкурки — подпрыгнул до потолка. Сказал: за самую дорогую отдам все, что попросишь. А у богача — красивая дочь. Вот юноша и сказал: «Мы, добытчики, как и вы, торговцы, хорошо знаем цену своим словам. Возьми то, что хочешь, а мне дай в жены свою дочь».

Богач не ожидал такого. Но ничего не поделаешь: отдал. Снарядил богач большое судно, и увез наш юноша красавицу жену домой. Говорят, долго и хорошо они жили, много детей имели...

Ыкилаку по душе пришелся тылгур. Он так желал удачи безымянному сироте. Что-то общее находил между ним и собой. Может, то, что им обоим одинаково трудно вступать на тропу жизни? Юношу из тылгура осчастливил сам бог тайги и охоты. Говорят, редко кому давалось такое счастье. Да и то в старину...

Но и Ыкилак чувствовал себя счастливым. И не бог дал ему удачу — он сам добыл. «Завтра принесу в стойбище медвежью голову и шкуру. После праздника увезу Ланьгук. Не так красиво получается, как в тылгуре, но тоже счастье»...

От смолистого тепла люди разомлели. И вскоре тихо и мирно овладел ими сон.

Глава XXXV

Лидяйн взвалил на себя больше остальных: переднюю ногу и шкуру. Большая у медведя шкура, тяжелая. Лямки от крошни безжалостно давили, натирали плечи. Лидяйн, согнувшись чуть ли не до земли, шел вслед за старшим братом. Хиркун и Ыкилак предлагали взять часть его ноши, но он сердито отмалчивался. Казалось, взвали на него еще полмедведя — не сбросит. Хиркун знал: упрямый и злой Лидяйн казнил себя за малодушие.

Охотники оставили позади проклятую марь, в кровь сбили себе ноги и, уже не чувствуя ни боли, ни усталости продолжали идти и идти. Поднимаясь на сопку, они увидели дым. Кто-то поджидал их. Уж, конечно, не Эмрайн. Неужто Касказик? Долго гадать не пришлось. Из-за деревьев навстречу выскочил Наукун. На привязи — огромный пес,

чтобы тянул,— так легче идти. Наукун выскочил из-за деревьев, уставился на измученных парней, взмахнул руками, как крыльями, повернул назад, крикнул собаке: «Та!»

Он поджидал их с самого утра. Если бы оказались без добычи, возвратился бы с ними вместе. А тут надо сообщить радостную весть и опередить настолько, чтобы в стойбище успели подготовиться к встрече.

На вершине перевала Хиркун сбросил груз, присел отдохнуть — надо дать время Наукуну оповестить.

Когда младший Авонг предложил испытать Ыкилака, а сына поддержал Эмрайн, Касказик досадовал: «Чего только не придумают люди! Мало им хорошего выкупа, хотят пожрать медвежатины».

Только ушли охотники, Касказик обратился к Эмрайну:

— Нгафкка, ты хорошо знаешь, что Он залег?

— Берлогу обнаружил мой старший сын. Осенью. Потом после снегопада проверил. Приметы говорят, хозяин занял свой дом.

— Ых-ы,— вздохнул Касказик.

Какое-то чувство подсказывало ему: Ыкилак справится. Будь только не пустая берлога. Поэтому и решил Касказик:

— Поеду за Наукуном!

Эмрайн удивленно вскинул седые щетины бровей:

— Может, лучше подождем? А вдруг не так?

Но Касказик упрямо повторил:

— Поеду за старшим своим. Сегодня же.

— Тогда запряги и моих трех псов.

Касказик вернулся на другой день до темноты с женой и старшим сыном. Привез и выкуп. Не выпив чаю, он прихватил топор и отправился выбирать сухое дерево. Срубил его, отрезал бревнышко на два маха, очистил от коры, приволок к то-рафу. Вырезал на толстом конце голову медведя, а другой конец закруглил. И готов тятид-сххар — ударный инструмент. Легонько постучал по дереву топором — звук получился гулкий.

Когда примчится гонец с радостной вестью, тятид-сххар подвесят к двум молодым елкам, воткнутым в снег наклонно. У елок обрублены ветви и только на макушке оставлены в виде султанчиков.

Охотники приближались к стойбищу.

Едва показались они на тропе, загудел тятид. Это женщины в лучших своих зимних халатах встали по обе стороны тятид-сххар и одновременными ударами по бревну вы-

бивали торжественный ритм. Первой от «головы» стояла Талгук, мать рода Кевонгов. Она негромко, как молитву, шептала слова и тут же опускала то одну, то другую, то обе вместе палки. И гулкие, ликующие звуки разлетались по стойбищу.

Уж так принято в нивхских обрядах: женщины знают о большой удаче, но делают вид, что слышат о ней впервые.

О-тец во-рон
на вершину е-ли
сел. Одет он
в нау. Прыг-прыг.
«Кох-кох»,— кри-чит,
«Ках-ках»,— кри-чит...

Известно, ворон живет много лет. Он много видел и много знает. Долгая жизнь сделала его мудрым. Не зря его почтительно называют: отец. Но вот смотрите, прилетел отец-ворон, сел на вершину ели. Он взволнованно прыгает по веткам. Что его растревожило? Слышите, он кричит: «Кох-кох! Ках-ках!» Это радостная весть.

Но какая? Да взгляните же на него, взгляните: он одет в нау — священные стружки. Удача! Удача! И кленовые палки радостно и торжественно выбивают:

О-тец во-рон
на вер-ши-ну е-ли...

Касказик принялся строгать нау. Потом с Наукуном он будет рубить молодые елки — их сегодня немало понадобится.

Жители стойбища услышали зов тятида, потянулись к то-рафу Эмрайна. Те, кто с Авонгами не в родстве, тырнивгун — глазеющие. Они на правах гостей, правда, не почетных. Но их тоже не обойдут во время пира.

...Человек средних лет подошел, сел на кучу дров. На голове — потертый лисий малахай, на ногах — поношенные оленьи торбаза. Одет в рыжую собачью доху. Шаман Кутан. Достал из-за пазухи кисет с трубкой, закурил.

Охотники собрали последние силы, приободрились и чинно, один за другим вошли в стойбище. Сбросили ношу свою на еловый лапник, постеленный прямо на снегу, с трудом разогнули онемевшие спины.

Человек в рыжей собачьей дохе степенно встал. В праздничной суете никто и не заметил, как от крайнего то-рафа отошла упряжка. Кутан помчался в Нгакс-во.

Охотникам не до веселья. Стонет каждая мышца. Пройдет еще немало дней, пока боль утихнет. Ыкилак нашел в себе еще силы отметить: искусно выбивают ритм женщины. Он оглянулся: мать танцевала. Взмахи ее рук плавны. Опускаются разом, словно крылья птицы, преодолевающей ветер.

Тятид-сххар, привязанный к наклонно воткнутым молодым елкам, раскачивается, гудит.

Крайняя в ряду — Ланьгук. Она смущалась, но отбивала ритм старательно, вместе со всеми.

В то-рафе Хиркуна расторопная Музлук уже нарезала испеченную на углях юколу, кипятила чай. Она подала сначала охотникам по чашечке топленого нерпичьего жира — лучшее средство обрести силы. На низком столике Ыкилак увидел несколько ломтей лепешки из серой русской муки: «Нынче торговцы еще не приезжали. Однако из прошлого запаса».

Женщины отложили на время кленовые палки, занялись делом. Перво-наперво — приготовить пищу богов — мос. Для этого требуется тайменья кожа. И женщины принесли охапки белой душистой юколы тайменя.

Псулк торопливо отдирала кожу от мяса, отмачивала в теплой воде, соскабливала чешую. Обрабатывать таменью кожу хлопотно. И на помощь женщинам пришли старушки соседки. Целую груду молочно-белой кожи приготовили они. Потом варили ее и толкли в деревянных корытах с искусными орнаментами старых мастеров. Псулк помнит, чьи руки вырезали каждое корыто, хотя многих из этих мастеров уже нет в живых.

Получилось два полных больших корыта студенистой массы. Псулк насыпала сверху мороженой брусники, клубни растения хискир. Залила топленым нерпичьим жиром. Женщины перемешали все это лопатками, заровняли и поставили на холод. Нивхи готовят мос, когда нужно принести дары разным богам — таежным, речным, морским. Мосом потчуют знатных гостей, людей рода ымхи.

Было уже темно, и старики решили отложить торжество на завтра. В то-рафе Эмрайна собрались гости, чтобы послушать сказителей. Хиркун остался у себя, а Лидяйн увел Ыкилака в свой, малый то-раф, где он жил один. В то время, когда у Эмрайна, затаив дыхание, люди следили за необыкновенными походами безымянного героя через восемь небес на девятое и через семь морей на восьмое, стены то-рафа младшего Авонга сотрясались от могучего храпа.

Глава XXXVI

Тимоша был убежден: узкоглазые народы — одинаково не годны ни к чему. Что гиляк, что якут — один черт. И даже в ум не брал, что Чочуна может стать деловым человеком: побалуется, порастрясет дурь и рванет домой, в какую-то свою Якутию.

За осень и зиму быстроногие олени пронесли якута по всей тайге. Чочуна умело пользовался доверчивостью и добродушием нивхов и ороков, их обостренным чувством благодарности. Узнав о бедственном положении в том или другом стойбище, посылал Ньолгуна раздать муку или крупу, нерпичий жир или оленье мясо. Якут прослыл щедрым и добрым. Благодарные нивхи потом сторицей воздавали ему соболями и лисами. Чочуна скупал понемногу и оленей и к середине зимы владел стадом, достаточным, чтобы снарядить караван в Николаевск на ярмарку.

Тимоша, привыкший к тому, чтобы шли к нему со всех стойбищ, сам не бывал в тайге и не знал, что там творится. Чочуна же редко объявлялся в Нгакс-во, ловко держал купца в благодушном неведении.

Только зимой, когда якут возвратился с ярмарки, Тимоша распознал, кого он привез в свои владения!

А Чочуна с самого начала понимал: рано или поздно кому-то из них нужно убираться отсюда. Тимоша легко не уступит. Чочуна даже обрадовался, когда тот спалил дом Ньолгуна — настроил против себя все стойбище. К тому же на Тимошу написана жалоба. Упрям и справедлив этот топограф — дойдет до губернатора. Но начальство что-то молчит. Правда, ему сейчас не до Тимоши и не до гиляков — идет война с германцем. А тут поговаривают и насчет японца — того гляди, полезет.

Чочуна выбрал время поговорить с Ньолгуном. Тот уже несколько дней пребывал в мрачном настроении: узнал, что Авонги еще не отказали Кевонгам.

— Ланьгук ты возьмешь,— ласково, как ребенка, утешал Чочуна.

— Как же возьму, раз сосватана?

— Не беспокойся, будет твоей женой,— уверял его Чочуна.— Я помогу. Весной, после охоты, и сыграем свадьбу.

Ньолгун верил в Чочуну, как в бога. Еще не было случая, чтобы якут не сдержал слова. И сейчас Ньолгун счел неловким расспрашивать, как удастся им заполучить Ланьгук. Но раз Чочуна сказал... Хотя у нивхов и не нарушают священный обряд...

Поедем к Тимоше,— неожиданно предложил Чочуна.

Поезжай. Ты же, считай, его зять,— угрюмо отозся Ньолгун.

Вместе поедем.

Он сжег мой дом, а я чай пить к нему? Нет!

Ты же друг мне. А я ему, как говоришь, зять.

Мне легче пальнуть в твоего тестя!

Тс-с-с-с!— Чочуна оглянулся. Никто их не слышал.— Это ты успеешь,— не отступал Чочуна.— Но пока надо мириться. Надо!

Только теперь сообразил Ньолгун, что Чочуна вовлек его в новую игру.

...В просторной избе ярко горели восковые свечи. За столом шумно. Тимоша и Чочуна рядом, с краю — розовощекая Дуня, жена Тимоши. С другой стороны — Ольга. Ньолгун в углу строгал себе мороженую навагу. Тимоша, который чувствовал себя обойденным, досадливо крутил головой, приговаривал: «Значит, осенью в тайге встречались, ягодку собирали? Вот и отпускай одних баб за ягодкой».

Ольга ни разу не обмолвилась снохе хоть словечком о тайных своих встречах с Чочуной. Дуня вспомнила, как в солнечные осенние дни, никого не предупредив, Ольга уходила в лес. Возвращалась она обычно без ягод, говорила, что заблудилась, еле отыскала тропу домой. И никто бы не узнал о встречах, если бы Чочуна сегодня после третьего глотка вдруг не сказал хвастливо: «Ольга, ягода-то вкусная, пошли собирать!»

Тимоша все еще выражал свое недовольство, когда отворилась дверь и на пороге возник Кутан.

— Ольга, вот тебе ишшо жанишок!

Ольга хихикнула, передернула крутыми плечами — крупные груди заходили под пестрой кофтой. Чочуна набычился, поднял глаза на вошедшего и не здороваясь сказал:

— Сюда садись, жених.

Кутан присел с краю стола. Тимоша разлил водку.

Ну, бывай!— и все дружно подняли стаканы.

— Чего строгаешь навагу? Давай сига!— потребовал Чочуна.

Ньолгун выскочил в сени, принес несколько крупных серебристых сигов. Быстро, играючи настрогал. К строгании со всех сторон потянулись руки.

Люди Нгакс-во были удивлены, когда узнали, что Тимоша и Ньолгун, похоже, в мире. Гадали, каким образом Пупок смог откупиться. Или Чочуна уговорил забыть прошлое?

— Под строганинку!— снова предложил Тимоша, всем видом своим показывая, что настроен миролюбиво: он неуклюже подмигивал, игриво подталкивал Чочуну локтем.

Пока Тимоша разливал водку, Чочуна отобрал у Ньолгуна второго сига и стал сам строгать. Грубые, неуклюжие стружки церемонно положил на стол перед Ольгой. Та засмущалась — нежные маленькие уши стали как рябина, тихо, одними губами выронила: «спасибо». Большие глаза потупились, длинные темные ресницы запрыгали быстро-быстро. Хороша, чертова девка!

— Шо раззявил рот?— Тимоша хлопнул по широкой спине Чочуны.— Моя сестра — шо яблоко. Жанихайся. А то отдам первому, кто попросит.

— Заберу. В тайгу заберу. Царица тайги будет,— серьезно ответил ему Чочуна, а глаза жадно ловят просвет в пестрой кофточке.

— Забирай. Жалко, што ли?— добродушно соглашался Тимоша.— Давай ишшо под строганинку.

Со стола быстро исчезали изогнутые спиралью стружки. Ньолгун только успевал строгать.

Дуня ушла на кухню и через минуту появилась с миской, наполненной мясом. Поставила на середину стола, подцепила ножом грудинку, положила перед Чочуной, приговаривая:

— Кушайте, кушайте на здоровье.

Кутан взял ребрышко. Широкое и плоское, не как у оленя. Да и запах какой-то травяной. Пожевал. Мясо не сочное, волокнистое.

— Шо, друг, не то, да?— спросил Тимоша.

— Ничо!

Мясо действительно было «ничо». Можно есть. И шаман потянулся за вторым ребрышком. Он видел: Ньолгун с удовольствием поглощает кусок за куском.

— Говядина, оно, конешно, не оленина,— Тимоша поглядывал на Чочуну. И без всякого перехода:— А ишшо друг называется. Обижаешь меня. Ездишь, ездишь, и все мимо, мимо. Сам жрешь оленину, вон скоро лопнешь, а меня обижаешь.

— Ты богатый. У тебя все есть.

— Какой я богатый? Оленька, скажи, какой я богатый?— обратился Тимоша к младшей сестре. Потом вздохнул:— Последнюю коровку нонче зарезал.

Чочуна оторвался от кости, которую тщательно обгладывал:

— Врешь все.

— Не верит!

— Не верю!— твердо сказал Чочуна.

— Оленька, сестрица моя,— взмолился Тимоша.

Захмелевшая Ольга прыснула.

Кушайте, кушайте на здоровье,— суетилась хозяйка— сама доброта и щедрость.

Тимоша обнимает Чочуну, слюняво целует в губы. «Русские, как бабы,— в губы целуются»,— заметил про себя Кутан Шаман был удивлен, что никто из присутствующих ни хозяин, ни гости — не поинтересовались, зачем пожаловал к ним человек.

— Вот ты богат,— говорит Тимоша.

— Я? Всего сто олешков.

— Это што — мало?

— Будет тыща!— хвалится пьяный Чочуна.

— Будет!— убежденно подхватил Тимоша.— Сколько соболей успел набить?

— Сколько набил — все твои.— И Чочуна показал на тугой мешок. Тимоша только диву дается.

Не дав никому и рта открыть, Тимоша запел протяжно, неожиданно приятным голосом:

Про-о-ощай, Одес-та,
славный каранти-и-и-н.
Меня посыла-а-ют
на остров Сахали-и-и-н.

Бабы подхватили. Было видно: в этом доме любят и умеют петь. Чочуна слушал, и ему было хорошо. Не от слов этой странной песни хорошо — от слаженности и красоты голосов и еще от неожиданной душевности, которую вдруг выжало из себя зачерствелое сердце. И расплакался Чочуна, тогда Тимоша жалостливо затянул:

Каков был соло-о-овьюшек
сильный, храбрый богатырь.

Сквозь слезы, как сквозь туман, сперва неясно, расплывчато, но с каждым мигом ясней и ясней — Софья Андреевна. И странно, в груди у Чочуны не было того волнующего биения, какое он испытывал при встрече с живой, неумолимо манящей, но загадочной и далекой Софьей Андреевной. Лишь слабое, подзабытое, едва уловимое волнение. Даже не вол-нение, а скорее воспоминание о чем-то приятном, но далеком, которое сегодня уже не может взволновать — так давно оно было...

Я теперь, соло-о-овьюшек,
в остроге сижу-у-у..

Тимоша весь отдался песне, сам печалясь и вызывая у присутствующих ответную печаль. И Чочуна в эти минуты жил совсем в другом мире. Он словно спорил со своей непутевой, глупой, как он считал сейчас, юностью. Презирал ее. И видел себя могущественным, богатым. Верил, что в течение этой зимы все таежные нивхи и ороки станут его людьми У Тимоши, конечно, на уме свое: он хочет заполучить и зятя и дарового работника — сборщика таежной пушнины. Пусть надеется. Сейчас главное — усыпить внимание лавочника: он еще силен. Летом же... Зимой — оленьи караваны, летом — белоснежная шхуна! Ха-ха-ха!.. И громкое эхо а-а-а-а-а! Сопки и солнце, реки и тучи, олени и люди, медведи и собаки — все завертелось, закружилось. Ха-ха-ха!.. А-а-ааа! А-а-ааа!

Да что там Батя! Сам Бутин поднимется из гроба, чтобы снять шапку перед Чочуной!

Ха-ха-ха... ха-а-а! А-а-ааа!

И опять сквозь туман Софья Андреевна. Глаза большие. Ресницы длинные, жесткие. Прикоснись к ним — вонзятся в тебя, застрянут в душе, как заноза...

Чочуна вдруг обнял полные ноги Ольги и торопливо, словно боясь потерять, с жаром сказал:

— Вот она, вот она моя Софья Андреевна.— Последние слова тихо, на выдохе.

Все переглянулись: ну, конечно же, пьян человек.

— Да какая тебе Софья Андреевна! Это же Ольга! Ольга!— смеется Дуня.

Поздно ночью два человека, обнявшись, вывалились из дома Тимоши и, тревожа ездовых собак, прошли к соседней избе. Это Ольга увела к себе Чочуну...

Лишь близко к утру люди Нгакс-во узнали, зачем пожаловал к ним шаман.

В окне еще было совсем темно, когда мощные удары в дверь разбудили Ольгу. Чочуна продолжал храпеть, Ольга, испугавшись не на шутку, растолкала якута. Тот спросонья никак не мог сообразить, чего от него хотят.

Снаружи раздавался тревожный голос Ньолгуна:

— Эй вставай! Быстрей, быстрей вставай!

Ньолгун основательно подготовился к поездке в А-во. В Николаевске купил шелка, сукна, серебряные серьги, браслеты и еще много другого добра — Чочуна поделился вырученными от торговли деньгами. Хорошо подготовился Ньолгун и собирался появиться в А-во сразу после Николаевска, но Чочуна задержал на промысле. И теперь, получив весть, Ньолгун в какой-то миг собрался в путь.

Не успело еще солнце подняться над сопками, как шесть оленьих упряжек уже стояли у крыльца. К каждой нарте на поводке привязано еще по два оленя.

— Сукин сын, бежишь! Переспал с девкой и бежишь!— закричал Тимоша не по-мужски визгливо.

— Как же так? Как же так, не обвенчавшись-то!— причитала Дуня.

— Надо ехать. Человеку надо помочь. Через день вернусь. У нас все решено,— Чочуна был спокоен и тверд.

— Не дам! Не дам Ольгу! — вопил Тимоша.

Чочуна кивнул. Ньолгун отвязал оленя, трехгодовалого жирного самца, подвел к крыльцу. Вынул из чехла узкий охотничий нож.

А Дуня продолжала причитать:

— Нехристь! Как же так — не обвенчавшись-то!

— Замолчи, дура! — прикрикнул Тимоша.— А мы как появились на божий свет? Смотритель — вот кто был батюшкой. Кинул каторжнику бабу в постель, как собаке кость,— вот мы и появились. А то — «не обвенчавшись»,— передразнил он жену.

Чочуна подошел осторожно, без резких движений — полувольный олень пуглив. За уздечку держал Ньолгун. Мягко прикоснулся к шее, погладил по вздрагивающей голове, нашел округлую ямку у основания головы, приставил к ней блескучий тонкий нож. Придерживая левой рукой, приподнял правую и резко, ладонью, нажал на торец рукоятки. Олень упал, забил тонкими ногами.

— Молодец! Это работа! — Тимоша был в восторге.

Оленя быстро разняли. Тимоша тут же отрезал лакомые куски парного мяса — грудину, язык, сердце, передал жене. А сам вынес бутыль и, наполнив большую кружку, пустил по кругу. Каждый глотал, сколько мог, и закусывал горячей печенкой. Подошел черед Ольги. Она только пригубила. Но с удовольствием отведала нежной, сочной печенки.

Отправив гостей, Тимоша, мурлыча ему одному ведомую песню, взвалил на плечо оленя и, сгибаясь под тяжестью, направился к большому сараю.

У него был четкий план. Чочуна — бродяга, без дома. Не будет же Ольга таскаться с ним по сопкам. Будет жить в Нгакс-во, в доме Тимоши! Он обрежет якуту крылья, сделает ручным. Лучшего приказчика и не найти. Пусть мотается по тайге, собирает пушнину...

У разбитой острыми копытами топанины застыла притихшая Ольга. Она смотрела вслед уходящим наездникам и не видела их...

Глава XXXVII

...Летала птичка необычная: темная, с синеватым отливом крыльев. Летала плавно, как бабочка. Огибала кусты, налитые солнцем, изливающие нежную прозелень. Подлетала к смоляным стволам, повисала в воздухе, неслышно взмахивала округлыми крылышками, наискось падала в терпкую траву, но тут же вспархивала и вновь повисала, словно раздумывая, куда лететь.

...Бежал босоногий мальчишка. Бежал за необычной птичкой. Тянул мальчишка руки, ловил необычную птичку. Но птичка уходила из рук, как струя воздуха.

Бежал мальчишка за птичкой, бежал, бежал. Ловил. А та вилась у глаз, у губ. Никак не поймать. Потом она запела. Голосом Ланьгук запела:

Это птенчик, это птенчик
крыльями затрепетал.

Мальчишка коснулся руками. Но птичка опять бестелесно выпорхнула. И опять поплыла, как бабочка. Над кустами, напоенными солнцем. Между огненными стволами лиственниц. И опять доносится песня Ланьгук:

Упадет на землю птенчик,
крылья сложит и неслышно
затаится между кочек.
Будет ждать покорно птенчик,
как над ним сомкнутся когти
и от крыльев, и от крыльев...

Не надо, птичка, так не пой. Зачем тебе эта песня?

Летает птичка. Молчит птичка. Больше не поет она песню Ланьгук. Но мальчишка останавливается лишь на миг и снова бежит за птичкой.

Все тело налито болью. Сбросить бы ее, освободиться. Ыкилак медленно просыпается. Медленно просыпается. Просыпается, слышит боль во всем теле. Откуда она и почему?

Потом голоса, негромкие, приглушенные. То и дело доносится лай собак. Где он? А птичка? А мальчишка, который бежал за птичкой? Почему так холодно? Ведь были солнце, трава... Холодно. Ыкилак наконец понимает: не было никакой птички! Не было солнца и трав, и мальчишки не было!

Он с трудом садится. Оглядывается. Лидяйна нет. Ыкилака охватывает стыд. Ему, зятю, надобно показать усердие, чтобы люди видели: Ыкилак настоящий мужчина уж он-то не будет ходить по стойбищу и занимать в долг

дрова, чтобы его жена и дети не окоченели, не будут его дети ходить по соседям, смотреть на сытых людей глазами голодных воронят.

Авонги, конечно, ушли туда, где народ, где их ждут дела. Не разбудили его. Зачем же? Пожалели? Но ведь он устал не больше их.

А потом — что за сон приснился?

Долго гадать некогда — надо быстрее к людям. Накинул доху, выскочил из то-рафа. Его встретили солнце и белый-белый снег. Но снег вдруг стал черным. Ыкилак долго жмурится, ждет, когда глаза привыкнут к слепящему свету. Люди сновали по стойбищу, каждый занятый своим делом. Одни несли из лесу охапки черемухи. Другие утаптывали снег — готовили место для игрищ. Третьи тащили сухие бревна к то-рафу старейшего. У тропы, ведущей к месту для игрищ, сидят отец и Наукун. Они собрали священные черемуховые стружки в венчики с длинным извивающимся языком. Стволы елок освободили от коры, и они отдавали белизной, будто это не древесина, а обнаженное белое тело. Потом елки превратятся в стражей-посланников, будут сопровождать душу медведя к Курнгу — всевышнему, передадут ему просьбы людей.

А просьб у них много: чтобы зима принесла удачную охоту, чтобы в роду никто не болел и не умер, чтобы в стойбище раздавалось больше детских голосов... Самую высокую ель приставили к то-рафу старейшего. Вознесенная к небу вершина дерева и шелестящие языки нау с окрашенными брусничным соком кончиками оповестили мир: торжества начались! Люди древнего рода Авонгов приглашают всех, кого застал сегодняшний день в пути, всех, кто пришел в стойбище гостем, всех, кто вызвался помочь Авонгам в хлопотах,— всех, всех, всех!

Женщины в ярких нарядных халатах чинно стоят с палками в руках. Нос у деревянного медведя полит брусничным соком — так задобрили его душу.

Место игрищ утоптано, отделено четырьмя елками. На устремленных к небу ветвях гремят священные стружки. А женщины возле тятида. И снова первая — мать Ыкилака. И снова с самого края стоит Ланьгук. Она неуверенно поднимает палки и не всегда удачно вступает в игру. Что с нею? И почему отец мрачен? Да и Наукун отводит глаза в сторону.

Подвешенное на ремнях бревно раскачивается, как лодка на волнах. Густой гул перебивается четкой дробью и нарастает, как гром у скалистого берега во время шторма.

И... глядите, глядите! Кто это белой рыбой выплывает из толпы? Да это же Музлук. Хорошо одеты женщины рода Авонгов: белый халат из выделанной кожи тайменя с ярким орнаментом. Древний рисунок его радует глаз цветом ясного голубого неба и алой зари, полыхающей над сопками. Красивы женщины рода Авонгов. Стройная, с гибким станом, с горящими щеками и кроткими глазами, Музлук привлекает к себе все взгляды. Толстые длинные косы двумя ручьями стекают с маленькой аккуратной головы и падают на спину, как в раннее весеннее полнолуние ложатся черные тени берез на серебристый снег. Ноги в расшитых узором нерпичьих торбазах неслышно переступают, будто уносят ее вслед убегающим вдаль волнам.

Талгук незаметно отставила палки, постояла, словно раздумывая, и решилась! Скользящими шажками очутилась рядом с танцующей Музлук. Как она танцует! Не было в ней гибкости, которой отличалась женщина рода Авонгов. Вскинутые полусогнутые руки, в меру порывистые движения придавали танцу Талгук строгость и сдержанность. Каждому движению корпуса вторила сложная игра рук.

Наукун и Ыкилак привыкли видеть свою мать всегда за работой: очаг и домашние заботы не отпускали от зари до зари. Глаза всегда привязаны к чему-нибудь, неба не видят над собой. А тут...

Касказик на какое-то время забылся, глядя на жену. Струя дыма над обугленным чревом трубки вот-вот оборвется. Он спохватился, спешно зачмокал, втягивая воздух, в котором поначалу едва улавливался запах и вкус табака. А жена все танцевала и танцевала. Даже музыканты зачарованно смотрели на женщину рода Кевонгов. Касказик ударом о подошву выбил пепел, сдвинул лисью шапку набок, ожесточенно почесал голову и сказал только:

— Хе...

Глава XXXVIII

Появление Ыкилака вернуло отца к реальности. Он взглянул на сына растерянно.

— Сейчас я тоже...— поспешно начал Ыкилак, но Касказик прервал:

— Сперва зайди в родовой то-раф.

Отец сердитый: брови хмуро сведены, губы в ниточку,

побелели по краям. Ыкилак непонимающе застыл в полушаге. Касказик повелительно мотнул головой. Недоумевая, Ыкилак прошел к крайнему то-рафу и увидел шесть оленьих упряжек — по два крупных ездовых на нарту. Сзади привязаны еще по два оленя. Нарты длинные, с плетеными спинками. Уже разгружены. Судя по нартам и красивым лахтачьим хомутам, нетрудно определить — знатные люди прибыли. Зачем пожаловали? Наверно, услышали о празднике медведя. Быстро же разбежался слух по тайге.

У входа в то-раф Ыкилак стал сбивать снег с торбазов, прокашлялся — пусть знают, что к ним идут, потянул витой ремень. Дверь неслышно отошла. Пригнулся — иначе головой заденешь поперечную жердину. В нос ударил запах вареного мяса. Ыкилак только теперь почувствовал голод. Он проспал утреннюю еду. Теперь, однако, уже перевалило время полуденной трапезы.

Хозяева и гости восседали за столиком, смачно чавкали и нарочито громко разговаривали. Увидев вошедшего, они замолчали. Но Ыкилак заметил: Хиркун недостаточно быстро, как полагалось хозяину, приветствовал его. Вроде бы даже смутился...

За столом еще двое. Одежда из материи. Только на ногах оленьи торбаза да дохи брошены на лежанку, из оленьего и собачьего меха. Что за люди?

Гости разглядывали вошедшего и молча двигали челюстями. Хиркун наконец привстал и неуверенно, на полусогнутых ногах подошел к нему. Ыкилак подумал: «У меня тоже все болит, едва шевелюсь».

С трудом, словно язык одеревенел, Хиркун сказал:

— Пей чай с нами.

Значит, гости и хозяин уже приложились к арак[1] — к воде с таинственной силой. Ыкилаку и раньше приходилось пробовать эту жидкость. Обычно он макал палец и облизывал. Не потому, что не нравился ему арак. В Ке-во редко его видели.

— Кто это?— спросил молодой человек с круглым красивым лицом и быстрыми глазами.

— Это младший Кевонг,— ответил Хиркун.

— Хы! — вскинулся человек.

Сидящие почему-то замялись. Но другой гость уважительно сказал:

---

[1] Слово «арак», которым нивхи называют водку (вино), произошло от тюрко-монгольского «арака».

— Храбрый юноша! Я ем твою добычу. Ты удачлив, и эта добыча обещает тебе удачу на многие годы.

«Кто он — шаман, что ли? Если шаман, почему у него вид обыкновенного человека? Да и косы нет. Если не шаман, то как он узнал обо мне на многие годы вперед?» — мучается в догадках Ыкилак.

А тот продолжал:

— Я ем твою добычу. Мои друзья едят твою добычу. Слушай меня, человек рода Кевонгов. Ты храбр и удачлив. Нивхи всегда почитали таких людей. И мы приносим тебе наше почтение. Прими его вместе с этой веселящей водой,— и протянул фарфоровую чашку, наполненную прозрачной бесцветной жидкостью. Ыкилак взял чашку. Он никогда не пил столько арак. Говорят, когда ее выпьешь, в тебя вселяются неземные силы и ты говоришь с самими духами.

Ыкилак пил медленно, надеясь уловить тот момент, когда арак начнет действовать. Пил и ощущал невыносимую горечь и жжение. Но даже не поморщился, не подал виду. Только задохнулся было, но, задержав дыхание, усилием подавил неловкость в горле и при этом даже не оторвал чашку от губ. Где он видел этого человека?

Гость разлил водку, осмотрелся вокруг, словно боясь обойти кого-нибудь. Взял фарфоровую бело-голубую чашечку, которая в его большой руке вдруг стала крохотной, подчеркнуто почтительно подал Музлук, возившейся у очага.

В глазах Ыкилака заплясали языки пламени. Потом вспыхнул огонь. И дом, рубленный по-русски, выстрелил мириадами искр и рухнул, испепеленный. Ньолгун... Ньолгун... «Откуда и зачем? К нам в Ке-во редко когда кто приедет. А здесь только явились мы — глядь и другие тут как тут,— тоскливо билось в отяжелевшей голове.— А-во ближе к людям, здесь чаще бывают гости»,— как-то безысходно-примирительно додумывал свою несложную думу захмелевший Ыкилак.

Касказик нервничал. Он настругал стружек достаточно. А родовой то-раф молчит — что дальше? Женщины давно справились со своими делами и теперь отдыхали от тятида и танцев. И те, кто пришел на торжество ради любопытства и с надеждой, что с обильного стола и им кое-что перепадет, стали расходиться. Что-то уж очень долго тянут они там в то-рафе. Люди прибыли, конечно, почтенные — вон какие ладные упряжки, да и нарты нагружены. Видно, богатый товар. Но ведь главное — медвежьи торжества. А тут весь род закрылся в то-рафе. Авонги словно ума лишились. Нет, гости эти, конечно, явились неспроста.

Вот уже и сумерки пали на стойбище.

Касказик оперся руками о снег — пальцы обожгло, они мигом взмокли. «Горячие — хорошо поработали»,— как-то со стороны подумал о своих руках старейший Кевонг и выпрямил спину. Поясница глухо застонала. Касказик медленно, нерешительно направился к родовому то-рафу. Не хотелось лезть на глаза богатым, да и встревать в чужие дела не принято. Когда он увидел, как обрадовались Авонги оленьим упряжкам, у него в груди будто что-то оборвалось: этих людей здесь ждали!

Касказик покашлял перед дверью, какое-то время подержал в руке залосненный узелок дверного ремня и тихонько потянул на себя. В лицо ударили острые запахи съестного, пьяный гам.

Его не сразу заметили. Увлеченные застольной беседой, хозяева и гости словно соревновались между собой, у кого горло покрепче и слов побольше. Ыкилак сидел с краю, забытый остальными. Голова упала на грудь. «Напоили»,— огорчился Касказик. И тут его заметили. Музлук спохватилась:

— Проходите,— сказала она мягко.

Эмрайн, до этой минуты энергично жестикулировавший, замолк, взглянул исподлобья.

В животе нещадно сосало: старейший Кевонг с утра не положил в рот ни крохи. Голова закружилась быстро — с одной маленькой чашечки. И Касказик теперь налегал на еду: сперва на строганину из поздней тощей кеты, а потом на вареную оленину. Наскоро утолив голод, он повернулся к сыну, громко, со злостью сказал:

— Много дел! А он сидит здесь, арак пьет! Не время!

Хозяева круто обернулись. Всем сидящим в то-рафе ясно: старейший ругал не сына, а хозяев. Ругал за непочтение к великой удаче его сына. И то, что он повысил голос, восприняли как вызов.

«Горд этот старик!» — Ньолгун почтительно оглядел седую, аккуратно заплетенную голову, морщинистое сухое лицо.

Чочуна рассматривал Касказика с любопытством. Он, конечно, не запомнил его: прошлогодняя встреча в Нгакс-во была короткой, да и нивхи тогда казались ему все на одно лицо. Касказик же, едва глаза привыкли к полумраку, с удивлением узнал якута. Ньолгуна Касказик припомнил сразу. И раньше случалось такое: на медвежьих торжествах откуда-то брались и китайцы, и якуты, и русские — удивляться нечему. Но ведь Ньолгун не просто приехал

поглазеть. И Авонгов поит так обильно не зря. Что дальше будет?

— Много дела, а ты сидишь! — уже мягче повторил Касказик.

Вокруг наступила тишина. И жевать перестали. Лишь Музлук, согнувшись у очага, пыталась что-то делать.

— Нгафкка, что произошло? — это старейший Кевонг обращался к старейшему Авонгу.

Еще какой-то миг длилась тишина. Эмрайн сидел на черной собачьей шкуре, тяжело уронив голову на грудь, и медленно раскачивался вперед-назад. И люди даже не удивились, когда услышали глухое, горестное пение:

Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы!
Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы!
Курнг всемогущий меня не жалеет —
долгою жизью меня наказал.
Сколько распадков, хребтов исходил я —
нет, не погиб же...
Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы!
Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы!
Духи недобрые, где же вы ходите:
топкие мари, болота, озера —
где только ноги меня не носили!
Нет бы подохнуть...
Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы!
Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы!
Лучше бы небо сразило стрелою,
лучше бы воды меня поглотили,
лучше бы звери меня разорвали,
лучше бы черви меня обглодали.
Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы!
Честный и добрый Кевонгов старейший,
совести жалкой мучитель моей.
Руки крепки твои, гнев непреклонен —
бей, позабыв, что тебе я ахмалк!
Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы!
Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы!
Бей, ненавидя меня, как собаку.
Бей, как воришку, до смерти презрев:
я потерял человека обличье.
Бей меня, бей! Если можешь — убей!

И вдруг — гром, крик, звон, вой:
Кланг-кланг! Бум-бум! Кланг-кланг!
Кланг-кланг! Бум-бум! Кланг-кланг!

В уши остро ударил звон полых металлических побрякушек — рогов. Беспрерывно угнетающий звяк-бряк перекрывался оглушительным ревом бубна. «Когда только он успел надеть свое снаряжение?» — подумал Ыкилак, раздражаясь и наливаясь злостью.

Кутан, до последнего мига сидевший незаметно в углу,

словно взорвался. С грохотом прыгнул на середину то-рафа и, черный и страшный на фоне пылающего очага, извивался и подпрыгивал в дьявольском танце.

Кланг-кланг! — изогнулся, как червь.

Кланг-кланг! — прогнулся, как лук.

Бум-бум! — бубен вознесся над косматой головой.

Кланг-бум! Кланг-бум! Кланг-бум! — Кутан подпрыгивал и бил в бубен.

— Ха-а-а-й! Ха-а-а-й! — орал он, будто испугался чего-то страшного.— Ха-а-ай! Ха-а-ай!

Бум-бум-бум-бум! Бум-бум-бум-бум-бум!

Кланг-кланг-бум! Кланг-кланг-бум!

Злые духи всегда могут проникнуть в то-раф. Незаметные, невидимые, они прячутся в темных углах и ждут только случая.

Шаман прогонял их из то-рафа, чтобы не мешали связаться с духами предков,— те должны посоветовать, как дальше быть.

Бум-бум! Бум-бум! Кланг!

Колокола, звякнув, замолчали. Шаман пристально посмотрел поверх головы Ыкилака, прыгнул в сторону двери, закричал:

— Фыйть! Фыйть!

Загрохотал бубном, зазвякал колоколами-побрякушками. Метнулся к очагу, победно замахал руками и тихо, равномерно стал бить по бубну мягкой, обернутой в тряпку колотушкой. Кутан очистил то-раф от духов — теперь не причинят ему зла.

Притихшая в углу Музлук облегченно вздохнула — в торафе теперь нет злых духов, и Кутан будет говорить с духами предков, хранителями правильных мыслей и всего доброго!

«Куда сейчас повернет? — Касказик напряженно ждал.— Пусть шаману будет хорошо. Пусть встретится со всеми, кто нам желает добра. Пусть никто не помешает шаману в его пути».

А Кутан уже поднимался над всем живущим. Гром и грохот сопровождали его победное вознесение. А потом только судорожные подергивания, обессиленно-вялые взмахи рук, частое с посвистом дыхание говорили людям о том, каких трудов стоит это ему. Ыкилак подался плечом вперед. Юноше хотелось помочь шаману в его многотрудном пути. Но тот словно обмер, вытянулся в жердину, каким-то бессмысленным взглядом уставился в угол.

— Что это? — побрякушки звякнули тревожно.

— Кто это? — бубен забил тревогу.

— Кто ты? Кто ты? — заорал Кутан и стал прыжками, словно медведь, нападать на невидимого противника.

Кланг-кланг! Бум!

Кланг-кланг! Бум!

Музлук встревожилась: кто встретился на пути шамана?

Кевонги встревожились: кого еще принесло? Все шло хорошо, а тут ненужная встреча.

«Шаману встретился шаман», — решил всезнающий Касказик. Теперь не миновать битвы шаманов. И действительно, Кутан прокричал:

— Талгин! Талгин! Чирнг... Тыг'о [1].

Кутан прыгал, кривоного приседая и колотя в бубен. Шаман дерзко нападал, а Ыкилак напряг память, чтобы вспомнить, кто был человек, носивший имя Талгин. Юноша не раз слышал это имя. И произносили его обычно со смехом, издеваясь. Да это же их шаман, родовой шаман Кевонгов, ушедший в Млы-во, когда Ыкилак едва стал помнить себя! Талгин прославился тем, что его предсказания редко сбывались. Когда он умер, в стойбищах еще некоторое время рассказывали-пересказывали один случай: Талгин, молодой, начинающий шаман, поссорился с добычливым охотником. Обиженный в ссоре, Талгин решил самым жестоким образом отомстить за себя. Лето и осень ждал, когда охотник уйдет в тайгу. И, дождавшись, начинающий шаман всю ночь камлал, довел себя до изнеможения, даже упал без сознания — так ему хотелось наказать высокомерного, как он считал, человека, сделать так, чтобы под ногами у того провалился лед, а ловушки его оказались пустыми. О таком страшном камлании и узнали жители стойбища и начали было побаиваться недоброго шамана и с тревогой в сердце ждать вестей из тайги. Но в один из солнечных дней в конце охотничьего сезона люди с изумлением увидели — охотник, правда, усталый очень, но невредимый и с туго набитой котомкой за плечами, вышел из тайги. Он не понял тревожных, вопрошающих взглядов своих сородичей. «Ты не провалился под лед?» — спросили его односельчане. «Нет»,— ответил охотник. «И соболей наловил?» — «Наловил»,— ответил охотник. «И даже не болел?» — опять его спросили. «Нет, не болел»,— ответил охотник, недоуменно оглядывая односельчан, так странно принявших его возвращение.

---

[1] Т ы г' о — самое сильное нивхское оскорбление, после которого любой хоть мало-мальски уважающий себя человек должен принять вызов

С той поры среди нивхов мало кто верил Талгину, и только очень бедные приглашали его покамлать — за пару-три кетовых юколины.

Бум-бум-бум-бум!

Бум-бум-бум-бум!

Кутан вытянул шею, наклонил голову, прислушался. Но, видно, Талгин не согласен с Кутаном: загрохотал бубен, и колокола ожесточенно зазвякали — даже в зубах заломило у Ыкилака. Кутан, конечно же, сказал: надо помочь людям, ведь с женитьбой Кевонгов вон как складывается. Трудно, ой как трудно сейчас Кутану — люди ждут от него правильных слов. А Талгин, дурак Талгин, видно, не только не советует, как поступить, а, наоборот, мешает Кутану в его трудном пути к правде.

— Этот негодник зачем попался на пути?!

Возмущенные слова исходили от Касказика. Уж он-то знал своего усопшего шамана. Касказик и при жизни его не считал нужным скрывать своего непочтения. Терпеть не мог болтунов, хвастунов, завистников и просто злых людей. Когда Талгин ушел в тот мир, Касказик облегченно вздохнул: в этом мире стало чище.

— Бей его! Бей, собаку! — потребовал Касказик.

А Кутан вихрем пронесся над молчаливо сидящими людьми — видно, Талгин перешел в нападение. Кутан закрылся бубном и в длинном прыжке нанес сильный удар. Ликующий крик и победный грохот бубна означали, что Кутан взял верх.

— Ыйть, с-собака! Ыйть, хотел нам зла! — Касказик всячески подчеркивал свое презрение к Талгину. Старейший Кевонг открыто льстил Кутану, живому, умному шаману, добиваясь его благосклонности. Касказик знал: так, однако, не бывает, чтобы шаман встал на сторону чужого рода. Но безысходность вынуждала. И Касказик шел на все, даже делал вид, что не понимает, куда клонит шаман.

Ыкилак не мог знать всего, что происходило в душе у отца, но видел, как странно тот вел себя. Никогда таким не был. Сердце защемило, горлу стало больно, словно что-то твердое и острое застряло в нем. «Несчастные мы, несчастные. Уж лучше бы нам уйти отсюда. Или умереть»,— Ыкилак едва сдерживал слезы.

Но тут, уже в темноте (костер угас и в томс-куты светили звезды), замолкли колокола и бубен затих, и лишь шелест и тяжкое дыхание говорили о том, что камлание продолжается — шаман ушел от поверженного Талгина,

который, конечно же, хотел людям зла — иначе зачем Кутану сердиться?

Кутан один парил над миром, нашептывал что-то. Он звал тэхнг — духа-помощника, духа-советчика. Но вот и ветер затих. И шепот в полной тишине.

— Кыньган! Кыньган! — звал охрипший, утомленный Кутан.

Такого имени Ыкилак не слышал. Совсем отрезвевший, младший Кевонг вопросительно посмотрел на отца. В другом случае Касказик бы не удостоил ответом этого несчастного несмышленыша, который вроде бы потерял невесту. Кыньган — отец самого Эмрайна, умер ань семьдесят назад. Что он скажет своему сыну? Наверно, то, чего желает сын. Хитрит Эмрайн. Хочет уйти от обычаев предков, вон сколько водки выпил с Ньолгуном. И подарки, видно, принял. Но как он пойдет на нарушение обычаев? Тогда убить его — все равно что собаку никчемную убить...

— Как быть? Как быть? — вопрошал Кутан.

В то-рафе наступила тишина. Что же сказал дух усопшего, который оставил право быть мудрым и всесильным своему сыну.

Кутан тихо, умиротворенно ударил в бубен. Побрякушки звякнули легко, словно переговариваясь с бубном. И люди поняли: добрые слова сказал Кыньган, правильные. «Великий и мудрый Кыньган, ты ушел от нас, унес с собой хорошие мысли. Верни их, пусть они сегодня придут к Эмрайну, передай их через Кутана, нашего шамана»,— просила про себя Музлук, уверенная, что теперь уж никто не перейдет обычаи предков и девушка достанется настоящему зятю.

«Какой я негодный человек — так плохо подумал об усопшем. Его дух не простит мне такое, и если где неудача меня найдет — сам буду и виноват: нельзя так плохо думать об усопших,— казнил себя Касказик и решил: — Старею, потому и озлобился».

Музлук осторожно подправила, казалось бы, давно угасший очаг. Огонь занялся, выхватив из темноты сосредоточенные лица. А Кутан, вконец измученный трудной дорогой к духу мудрого предка Авонгов, хранителя хороших мыслей, упал на четвереньки и тут же повалился на бок, неловко подвернув одну руку и закинув за голову другую.

Эмрайн подскочил, приподнял его голову, влил в рот чашечку водки. Тот даже не поперхнулся. Эмрайн нашел оленью шапку шамана, положил под его голову.

— Он великий шаман,— сказал Ньолгун негромко, но чтобы все слышали.

Пусть уйдет в себя: ему нужно главные слова передать нам,— сказал Эмрайн.

«Собаки вы, собаки. Обманщики. Воры и обманщики таких не видали нивхи!» — Касказик еще не знал, какие слова скажет Кутан, но уже чувствовал: его обманули. Обманули самым бессовестным образом. Возмущение, обида, злость закипали в нем. Что делать? Что делать? И, увидев вопрошающий взгляд сына, всегда старательного, доброго и любимого сына, Касказик резко ударил пятерней по чистым, честным юношеским глазам.

Глава XXXIX

...Какой-то жалкий человечек, худой, нечесаный, в истлевшей оленьей дошке, пытался приблизиться к Касказику. Этот человек весь подался вперед, трудно переступал кривыми ногами, а руками делал движения, будто плыл против течения. Его словно держали на невидимой привязи, он не приближался ни на шаг. Странно: ведь солнце — и ни малейшего ветерка, а человек не может продвинуться ни на шаг. Кто это? Что ему нужно? Касказика взяло любопытство, он пошел навстречу. И был немало удивлен — это Талгин, давно усопший человек из рода Кевонгов, плохой шаман. «Ты пошел ко мне — хорошо сделал. Пусть память мою ты не чтишь и плохие слова про меня говоришь — не сержусь я. Ты и я — люди одного рода. И я тебе помогу. Прерви священные обряды — Пал-Ызнг покарает Авонгов. Медведь не наш. Пал-Ызнг показал Авонгам берлогу, и медведь их. Ты же знаешь обычаи: кто нашел берлогу, тот и будет хранить череп медведя, тот будет говорить с Пал-Ызнгом. Прерви обряды — ответят Авонги...»

Касказик проснулся раньше всех — было еще темно. Очаг еле тлел, его ночью слабо поддерживали — хозяева пьяные. Касказик положил на сизые, подернутые пеплом угли толстые лиственничные сучья. Старику стало полегче, будто и не было тревожных и мучительных переживаний. Теперь он знал, как поступить. Спасибо тебе, Талгин. Спасибо.

Касказик, победно ухмыляясь, вонзил ненавидящие глаза в спящего Эмрайна, который трудно сопел во мраке на дальней от двери наре. Шамана, лежавшего на земляном полу в прежней позе, даже не удостоил взглядом... Еще у берлоги Хиркун и Лидяйн аккуратно вырезали уйхлаф— священные места: толстое сало со спины между лопатками, сало с пахов и передней части груди.

Уйхлав нужно жарить на отдельном огне, так же как и другие священные места: голову, язык, грудину, печень, горло, три верхних ребра, сердце, крупные мышцы и сухожилия лап — в них сила медведя. Касказик хорошо знает законы. Ахмалки потом разрежут уйхлаф на мелкие куски особым священным ножом. И в последний день праздника, в день усаживания почетных гостей, подадут в красивых деревянных чашах эти священные куски почетным людям — ымхи. Только после этого можно будет приступить к самому главному обряду — проводам души медведя к Пал-Ызнгу, великому богу гор и тайги. Медвежий праздник — самый главный, самый святой праздник нивхов. И ни один человек не посмеет нарушить обряд. Иначе Пал-Ызнг ниспошлет на отступников голод и болезни, направит на них своих слуг — медведей, сделает так, что человеку откажут ноги и руки, изменит глаз и он будет разорван зверем. Никто не посмеет преступить вековые обычаи. Но Касказик преступит! У него нет выбора. Авонги сами нарушили не менее святой обычай — хотят сосватанную дочь отдать другому. Касказик прервет обряды и этим вызовет смертельный гнев Пал-Ызнга. Но гнев падет не на род Кевонгов — Кевонги только исполнили волю своих тестей, взяли тело медведя. Гнев падет на настоящих виновников — на род Авонгов, ведь им показал берлогу великий, всемогущий Пал-Ызнг. Пал-Ызнг проучит их. И этот неслыханный случай превратится в предание, и его будут передавать из уст в уста, из поколения в поколение — в назидание всем людям чтобы никто не посмел пускать в свое сердце подлый обман.

О-тец во-рон!
О-тец во-рон!

Созывали нарядно одетые женщины заспавшихся жителей стойбища и гостей на место игрищ. Кленовые и черемуховые палки выбили гулкую дробь. И этот гул, нарастая, бежал по стойбищу накатом осеннего прибоя. Собаки, уютно переспавшие в снегу, как-то тоскливо заскулили. Елочки кивали своими необрубленными верхушками в такт ударам: да, сегодня праздник, второй день медвежьего праздника. Будет пир! Большой пир!

Все наедятся досыта!
Идите, люди!
Идите!
Все наедятся досыта!

Женщины знали свое дело. Ночь не спали, скоблили добела моченую кожу гоя [1], освободив ее сперва от провя-

[1] Гой — сахалинская разновидность лососевых, похожая на тайменя. Достигает 50 кг весом.

ленного мяса и чешуи. Целую охапку начистили, до полуночи варили в котлах. Потом разлили горячую студенистую массу по большим корытам, засыпали мороженой брусникой и вареными клубнями сараны, залили топленым нерпичьим жиром и вынесли в коридор остудить. Немного моса дадут собакам, которые пойдут с грузом гостинцев провожать душу медведя к богу Пал-Ызнгу — хозяину гор и тайги, немного моса оставят на родовом священном месте жертвоприношений, а все остальное должны съесть гости. Хозяева же только по кусочку в рот положат. А потом гости съедят мясо. А мяса много — большой медведь стал добычей удачливого и счастливого Ыкилака, младшего Кевонга

О-тец во-рон!
О-тец во-рон!

Женщины знали свое дело. Женщины делали свое дело. Люди неторопливо потянулись к месту игрищ — недалеко от родового то-рафа. Первые стали утаптывать снег, пришедшие позднее тоже включились в эту нетрудную работу. Утоптали гости снег — подготовили место. Сегодня узнают люди, кто среди них самый сильный, кто самый ловкий, кто самый меткий.

Расселись люди вокруг большого костра — наступило время утренней еды.

Талгук обошла всех гостей, положила перед каждым по толстой, в четыре пальца, плитке моса...

А родовой то-раф молчал. Там ждали слова шамана. И Касказик сказал. Он не спешил. Авонгам ничего не останется, как поступить по обычаю: ни один разумный человек не сделает так, чтобы навлечь гнев Пал-Ызнга на свой род. Пусть скажет Кутан — вечером он говорил с духом мудрого предка. Пусть скажет. А если начнет крутить, как лиса, учуявшая глубоко под снегом мышь, тогда поведет разговор старейший Кевонг.

Многочисленные зеваки, всегда готовые наброситься на дармовую пищу, шумно трапезничали, когда из родового то-рафа вышли сперва Хиркун, затем Ньолгун и Чочуна. После них вышли и остальные — размять ноги. Хиркун прошел к местечку, огороженному со всех сторон положенными в ряд жердями,— священному кострищу, и люди поняли — ему не до них, ему надо заняться уйхлаф.

Якут и Ньолгун улыбались. Ньолгун называл якуту селения, откуда тот или иной человек родом:

— Этот из Пото-во. Эти,— показал на плохо одетых стариков,— из Чир-во. Соболиные у них места, богатые.

Мехов пропасть! А сидят холодные и оборванные — Тимоше туда не добраться: здесь олени нужны.

Он обходит людей, продолжая называть имена родов и стойбища. Чочуна познакомился со званными и незваными гостями и просил Ньолгуна передать: пусть жители всех нивхских стойбищ знают: Чочуна пришел на их землю с добрым сердцем, хочет помочь нивхам в их трудной жизни. Сейчас не те времена, что при дедах-прадедах. Есть еще нивхи, на которых одежда из рыбьей кожи. Одежда из сукна теплее, удобнее, дольше носится. Нивхи еще ловят соболей силками. Железные ловушки уловистее, надежнее. Многие охотятся еще с помощью луков и копий — ружье лучше, добычливее и вернее. Во многих стойбищах не хватает котлов, железной посуды, иголок, топоров, пил, ножей, сеток. Тимоша за халат требует сорок — сорок пять соболей. Это очень дорого! Таежные нивхи! Речные нивхи! Вам не нужно будет ехать за товарами к жадным купцам-обманщикам. Чочуна сам привезет нужные товары. На оленях привезет. Не спешите отдавать соболей и лисиц русским и маньчжурским купцам-грабителям. Только Чочуна, добрый друг нивхов, даст за ваших соболей настоящую цену. Те, кто привез с собой шкуры, сами могут убедиться, якут честный, как нивх, добрый, как нивх. Подходите к нам, подходите! Сперва выпейте по глотку веселящей воды. Подходите и те, у кого ничего нет, Чочуна — щедрый человек, Чочуна — добрый человек — угостит всех!

Касказик чувствовал, как голову его охватил жар. Он спрашивал вполголоса:

— Что вы делаете, люди? Что вы делаете — святой медвежий праздник превратили в торги!

Наливали всем — и старикам, и юношам, и мужчинам, и женщинам. Ходили кружки по кругу, опустошались и снова наполнялись. Пейте, друзья нивхи! Якут угощает всех: и тех, кто пришел со шкурами, и тех, кого обошла удача. Пейте и закусывайте. Потом друг нивхов покажет свои товары.

...Ньолгун был занят, когда его позвали. Шаман говорил. А слова были такие. Он долго советовался со своим тэхнгом [1], и вот как порешили. Духи жалеют обоих — и Ыкилака, и Ньолгуна: оба они из слабых, вымирающих родов. И пусть будет по-справедливому, пусть сами решат между собой. Тэхнг сказал: «Пусть с помощью зар-тяр [2] решат».

---

[1] Тэхнг — дух-советчик.

[2] Зар-тяр — фехтовальные палки.

Ньолгун окинул всех вокруг победным взором. Глаза его остановились на Ыкилаке, который сидел рядом с отцом, словно хотел укрыться за его спиной.

— Нет! Нет! — крикнул Касказик.— Мой сын устал и рукой двинуть не может, а вы хотите, чтобы он бился. Нет, так не будет!

Эмрайн спокойно ответил:

— Ты ведь сам был на камлании. И своими ушами слышал слова шамана.

— Мой сын выдержал ваше испытание! Выдержал! И мы с тобой, Эмрайн, совершили священный обряд чныр-юпт. Слышишь ты меня, Эмрайн?

Но Касказика никто не слушал.

А сон? А совет Талгина? Ведь еще миг назад он считал себя сильным, потому что знал: никто, даже самый что ни на есть негодяй не нарушит святая святых — обряд проводов души медведя. Так было при отце Касказика и при отце Эмрайна, так было при деде Касказика и деде Эмрайна. Так было с того дня, когда на земле появился первый нивх!

А они что делают? Ведь Авонги — древний нивхский род. Что с ними происходит? Злые духи вселились в них. Злые духи отняли у них человеческую душу. Иначе никак нельзя объяснить их поступки. Старейший рода Эмрайн и шаман Кутан — они хотят отнять жену у Кевонгов.

На какое-то время в голове мелькнула мысль послать старшего сына в верховья Тыми в селение Выск-во в род Выскевонгов — за помощью. Выскевонги откликнутся — они ведь зятья Кевонгов. Ведь Иньгит, дочь Касказика, принесла Выскевонгам много детей...

Стоит только позвать — примчатся. С копьями и луками примчатся, а может, и с ружьями. Но тогда будет кровь. Опять будет кровь!..

Глава XL

Те, кто находился за пределами родового то-рафа, не могли знать всего, что произошло там. Но уже пошли разговоры о том, что дела-то вот как складываются. Кевонги выполнили все, чего требовали хозяева, и удача сопутствовала им. К тому же ранее был совершен священный обряд чныр-юпт. И сомнений не должно быть — Ланьгук принадлежит Кевонгам. Но Эмрайн повел себя очень нехорошо, нечестно. Люди понимали, что Эмрайна купили.

Ланьгук внешне безучастно относилась к тому, какие дела решаются в родовом то-рафе. Не ее забота. Ыкилак сделал все, чтобы она перешла в их стойбище. Мать говорила: обычай никогда не нарушался. И теперь еще Ыкилак доказал всему миру, что в его груди сердце храбреца. Отец и братья, однако, потому так долго сидят в священном то-рафе, что им нужно мягко и вежливо отказать человеку из Нгакс-во. Кевонги дали хороший выкуп. Если Ньолгун потребует вернуть подарки, можно отдать часть выкупа. Так, однако, и сделает отец...

Под бе-ре-зой,
под бе-ре-зой,
рябчик
    мо-ло-дой
то сожмется в ком,
    то снова
виден над тра-вой...

Ланьгук увидела, как из родового то-рафа вышел Ньолгун. Он нес в руках хорошо оструганную фехтовальную палку. Ланьгук часто видела игру — фехтование на палках. Особенно любил эту игру Лидяйн. Он не упускал случая вызвать на соревнование своих сверстников из соседних стойбищ, когда те приезжали к ним в гости или когда сам оказывался в их селении. В крупных стойбищах все юноши умело пользуются фехтовальными палками. Везде любят эту игру, игру ловких.

Ланьгук подумала, что игры на медвежьем празднике начались.

Но что это? С такой же палкой появился Ыкилак, вслед за ним почтенные старики. И почему-то они суровы, даже мрачны.

Ньолгун вышел к утоптанному месту для игрищ. Затем отпустил пояс, чтобы одежда не стесняла движений, расставил ноги, поднял палку двумя руками на уровень бровей — требует нападения. Ыкилак встал, напротив, взмахнул коротко.

Он держался скованно. Нет, он не боялся битвы. Он не хотел этой игры после того, как ему удалось пройти главное испытание — одолеть громадного, могучего медведя. К тому же и руки и ноги вышли из повиновения.

Да, Касказик ждал чего угодно, но не такого поворота. Не ожидал старейший Кевонг, что проиграет так крупно... Нет, он еще не проиграл. Еще есть надежда... Сын должен нанести удар. Один удар по голове этого человека из Нгакс-во, потомка тех могущественных людей, в кровавой битве

с которыми много лет назад Кевонги выиграли право продлить жизнь своего древнего рода...

Зеваки окружили соперников. Одни кричали просто так — забавы ради, другие пытались подзадорить.

Ыкилак собрался с силами, ударил. Палка его переломилась. «Дали треснутую»,— похолодело в груди.

Ланьгук позже других поняла, что идет не игра — идет битва! Битва за нее. Она швырнула черемуховую палку, припустилась было бежать, но увязла в снегу. Слабая надежда заставила ее повернуть к шумящей, орущей толпе.

Но, оказалось, подошла она, чтобы увидеть, как от удара Ньолгуна ее жених зашатался, ухватился за разбитый, расщепленный конец палки, покачался какое-то время и упал.

Над притихшим стойбищем взлетел пронзительный крик, и люди увидели, как Ланьгук вбежала в то-раф, выскочила с новыми мужскими торбазами в руках, пронеслась к нартовой дороге Кевонгов и помчалась по ней что есть силы.

— Ха-ха-ха-ха-ха!

Лидяйн смеялся и дурашливо указывал пальцем вслед сестре:

— Вот безмозглая-то! Далеко не убежишь!

Он быстро и привычно набрал кругами лахтачий ремень, бросил на нарту, запряг собак.

Ньолгун поступил, как требовал обычай: перевязал голову поверженному сопернику.

Люди расходились. И лишь Касказик, растрепанный и жалкий, сидел на истолченном множеством ног снегу, вскидывал руки и спрашивал:

— Что же произошло, люди! Что случилось в этом мире? Что случилось, лю-ю-ю-ди?

Ложный гон

Предки зовут

Маленькие медвежьи глаза Мирла злобно сверкнули. На могучем загривке предостерегающе вздыбилась жесткая шерсть. Низко наклонив округлую медвежью голову, он зарычал, обнажая острые клыки. Необычная обстановка нервировала собаку.

Будто гром ударил рядом, и все вокруг заходило упругой дрожью.

Мирл попятился, трусливо прижался к Нехану, жалобно взвизгнул, будто над ними занесли палку, и бросился под сиденье. Только два зеленых огонька по-волчьи мерцали в сумраке.

Кенграй же прижал уши, нервно замигал припухлыми, мягкими веками и доверительно положил удлиненную лисью морду на колени Пларгуна. В глазах собаки было удивление: что происходит?..

Пларгун ласково почесал пса за ухом. Мелкая дрожь пробежала по вылинявшей спине Кенграя.

Мотор надсадно взревел. Вскоре рев перешел в напряженный вой. Вертолет оторвался от земли и криво взмыл. Пларгуна точно вдавило в жесткое сиденье. Казалось, кто-то невидимой рукой схватил сердце юноши и потянул вниз. Плоская земля вдруг накренилась, стала на ребро и покатилась навстречу. Пларгун, опасаясь упасть, крепко вцепился в жесткие края сиденья.

Лучка не по возрасту проворно соскочил на верткий, как лодка-долбленка, пол, распластался на нем, пытаясь обхватить его руками. Он боялся, что этот ненадежный пол вывернется из-под него и сбросит его в пустоту.

Только Нехан не волновался. Широко расставив ноги, он сидел прочно.

Нехан глянул на распластавшегося старика и весь затрясся в хохоте. Пларгун слышал сквозь гул мотора: будто грохотал о камни осенний прибой. Юноша позавидовал силе легких знаменитого охотника. С такими легкими не страшны никакие переходы, никакие перевалы. А Нехан, запрокинув голову, трясся всем своим крупным телом, и казалось: это он могучим хохотом растряс машину.

Вертолет, описав над полем полукруг, выровнялся и, набирая высоту, пошел ровно, без срывов.

Старик вначале встал на четвереньки, потом медленно поднялся и, убедившись, что машина надежно держит его в воздухе, сел на сиденье, конфузливо улыбаясь. Оправляя жиденькую бородку, он повертел головой в разные стороны.

А Нехан все хохотал. Мясистые, наплывшие друг на друга веки совсем сомкнулись, и из узких щелей по щекам катились слезы. Он вытирал их пухлой ладонью.

Пларгун отвернулся. В круглом окошке неслась навстречу темная бесконечная тайга, местами разреженная бурыми проплешинами — марями с четко вырезанными на них окнами — озерами.

Пларгун увидел: в бесконечной тайге с сопками, марями, реками и озерами проложены узкие светлые полоски. Это трассы, прорубленные геофизиками и лесниками. Когда они только успели сделать это?.. А вон на сопках и возвышениях желтые пятна, с высоты напоминающие куропачьи лунки. Они разбросаны на многие десятки километров. Это ищут нефть.

Слева, отсеченный от моря длинной бугристой косой, покрытой кустами ольшаника, открылся залив Нга-Биль со множеством островов, темнеющих густыми рощами приземистой лиственницы. Серое, местами покрытое туманом море уходило далеко влево и обрывалось где-то за изогнутым белесым горизонтом. Длинные извивающиеся волны зарождались прямо из темной пучины, вздымались, обрастая белой гривой, и выбрасывались на пологий песчаный берег, далеко выкатывая живую пенную кайму.

— Смотри! Смотри! — закричал старик Лучка, уже совсем оправившийся от испуга.— Вон, внизу, слева! Реч-

ка идет от озера в залив! И поселок у озера!.. И река и поселок называются Къ'атланг-и.

Пларгун утвердительно закивал головой: да, да, он знает эти места. Как-то вместе с одноклассниками он приезжал на экскурсию на нефтепромысел Хатагли.

— Къ'атланг-и... Къ'атланг-и,— повторил старик.— Нгафкка, а ты знаешь, откуда это название пошло?

Гул мотора, больно сверливший уши, стал тише.

— Эта река называется Къ'атланг-и. А русские на своих картах написали Хатагли. Потому что их ухо плохо слышит нивхскую речь.

Старик еще раз взглянул на узкую, извивающуюся речку, тускло блеснувшую щеками-заводями.

— Река как река,— сказал старик.— Но вода в ней совсем негодная. Где-то в нее нефть втекает. Вода в реке, как наваристый чай, густая и очень вонючая. Таймень, что из залива в реку уходит, керосином пахнет. За цвет и запах так реку и назвали: Къ'атланг-и — терпкая значит. Вон на берегу залива большие, как дома, красные баки. Видишь? В эти баки японцы нефть качали, здесь была японская концессия. Давно это было, до войны. Весь залив нефтью испоганили. Им-то что заботиться о заливе, об этой Земле. Знали: временно они здесь. Им нефть была нужна... Но вот пришли наши. Но и наши не очень-то берегут залив... Залив-то Нга-Биль называется — Место крупных зверей. На косах были лежбища нерп и сивучей. Много рыбы в заливе водилось. А где рыба и зверь есть, там человек поселится. На побережье много стойбищ было... Испоганили залив. Зверя отпугнули, рыбу керосином заразили. Только одно название и осталось Нга-Биль...

Нехан сидел напротив и тоже смотрел в окно, задумавшись. Пларгун украдкой с восхищением поглядывал на него.

Если бы не Нехан, Пларгун болтался бы сейчас в поселке, слонялся по берегам остывших тусклых озер в поисках запоздалых уток... Октябрь — межсезонное время. Рыбаки уже заканчивали осеннюю путину, повытаскивали на берег лодки и мотоботы, ждали, когда станет лед, чтобы выйти на подледный лов наваги...

Своего отца Пларгун не помнил. Когда ему было три года, отец ушел промышлять нерпу во льды Охотского моря и не вернулся.

Пларгун рано научился обращаться с луком — подар-

ком дяди Мазгуна, за лето добывал несколько сотен пушистых, полосатых бурундуков. Дядя Мазгун радостно говорил· растет охотник, достойный отца!..

Когда Пларгуну исполнилось двенадцать лет, дядя подарил ему настоящее ружье — одностволку двадцатого калибра.

В начале лета дядя Мазгун чинил лодку-долбленку. Над бугристым берегом низко пролетали краснозобые гагары и глухо кричали: «Га-га-га!», «Нгах-ваки!», «Нгах-ваки!». А на прибрежной отмели шумели суетливые кулики: «Чир-р-р! Чир-р-р!»

Дядя Мазгун вслушивался в привычный гомон птиц и строгал дощечку для сиденья. Вдруг совсем рядом бухнуло. Дядя Мазгун вскинул голову и увидел: гагара, сложив крылья, со свистом камнем упала в воду и осталась на воде, бездыханно покачиваясь. На дюне стоял Пларгун. Он переломил ружье и по-взрослому спокойно продул ствол. Сизый дым медленно поплыл над охотником.

— Ох! — удивленно воскликнул дядя.

Когда Пларгуну исполнилось пятнадцать лет, дядя Мазгун подарил ему новенькую двухвесельную лодку-долбленку.

— Теперь ты взрослый; единственный мужчина в доме. Ты должен быть настоящим кормильцем семьи,— сказал он.— Матери одной трудно. Да и рыбы совсем не стало в заливе.

— Нет! — отчаянно закричала мать.

Пларгун удивился: мать посмела повысить голос на мужчину? И не просто на мужчину — на мужчину родственника.

— Нет! — повторила мать.— Мой сын не бросит школу! Пусть хоть он не тянет лямку рыбака! И мне не так уж трудно: сын живет в интернате.

Дядя Мазгун будто не слышал слов женщины. Он обратился к Пларгуну:

— Ну, сколько тебе можно учиться! Восемь классов — это много. В нашем колхозе кто с таким образованием? Да к чему тебе большое образование? Все равно директором рыбзавода не станешь. Будешь учителем. Пошлют тебя на лесоучасток, где нет нивхов. И будешь работать в маленькой школе. Уйдешь от сородичей, от родных, от охоты и рыбы. Какой же будешь нивх? Да и какие заработки у учителя? Чтобы получать такие деньги, можно вовсе не учиться. Рыбаки в иные годы больше получают. А ведь не кончали институтов. Ты же охотник!..

...Да, конечно, соблазнительно иметь собственную лодку... Удачно выбрав хорошее течение, попутный ветер, выйдешь на воду у своего поселка на охоту и вернешься в низко сидящей лодке, нагруженной тяжелой добычей!.. И охотника встретят степенные, сдерживающие радость мужчины и старухи. А молодые женщины и девушки будут стоять на прибрежных дюнах, не смея спуститься к воде!.. Соблазнительно...

Нынче весной Пларгун окончил школу.

Признаться, он еще не решил, в какой институт поступать. Кое-кто из выпускников учится в педагогическом институте в городе на Неве. Говорят, Ленинград — самый красивый город в мире. Учиться там — высшее счастье... Конечно, можно стать и педагогом. Или пойти в медицинский, в рыбный... Но юношу больше привлекает профессия, связанная с природой,— географ или егерь, например...

Еще в седьмом классе в руки Пларгуну попал многотомный, красочно иллюстрированный Брем. Он так увлекся, что не расставался с ним ни днем, ни ночью, пока не прочитал, а прочитав, вновь и вновь возвращался к нему... В мечтах Пларгун оказывался во всех уголках земного шара: охотился с индейцами, разукрашенными перьями орлов-кондоров; преследовал ягуаров в густых, сумрачных и сырых лесах Амазонки; на болотистых берегах тропических рек ловил страшных аллигаторов; его душила в железных кольцах восьмиметровая анаконда; его лодку где-то в безбрежии океана таранила громадная меч-рыба. Сильный и смелый, Пларгун предотвращал нападения льва в Африке или преследовал леопарда-людоеда в дебрях индийской реки Ганг...

Вертолет ровно гудел. Скоро впереди отвесной стеной встал Нга-Бильский хребет. Прошли вдоль него, огибая отроги.

Внизу в тайге, как белые нитки, случайно оброненные на зимнюю медвежью шерсть, сверкнули извилистые истоки рек и ключи. Справа хребет кончался полого. Но за ним, несколько в отдалении, выступил другой. С обожженными ветрами и морозом скалистыми склонами, он круто повернул влево, обрываясь в море. Сверху казалось, что какое-то фантастически громадное животное наполовину вылезло из моря, на мгновение замерло, раздумывая, что ему дальше делать...

Если бы не Нехан, неудачно началась бы трудовая жизнь Пларгуна. Поэтому так велика была радость юно-

ши, когда он встретился с Неханом и тот решил взять его в свою бригаду.

В поселке Тул-во Нехан появился три года назад, летом. Сильный, как медведь, общительный и веселый, он быстро стал своим человеком. Его приняли мотористом на пузатый беспалубный рыболовный бот.

До Нехана мотодорой командовал Накюн. Парень явно не ладил с упрямой и кичливой «дорой», как рыбаки уважительно называли бот. Часто в ожидании, когда подойдет за ними мотодора, рыбаки скучающе зевали или играли в «дурака». А Накюн, молодой моторист, взлохмаченный и весь черный от сажи, совал в цилиндр зажженный факел из пакли и остервенело крутил ручку завода. Говорят, очень скромный, он быстро научился ругаться по-русски и не стеснялся при старших демонстрировать свои познания в этой области.

Бригада, как правило, выезжала на тонь, когда другие рыбаки уже успевали метнуть невод, и их «доры» бойко тащили через залив рыбницы с трепещущей живой сельдью.

С появлением нового мотористa «дору» будто подменили: она стала покладистой и безотказной, как выкормленная собачья упряжка у хорошего хозяина.

Бригада единодушно назначила мотористу повышенный пай. А подходы сельди были дружные, и Нехан прилично зарабатывал.

Никто точно не знал, откуда Нехан родом. Ходили слухи, будто он с западного побережья. Кто-то, может быть даже сам Нехан, сказал, что он из рода Ршанги-вонг, который в прошлом населял отдаленные урочища побережья. В наши дни этот род разъехался по всему побережью и группами или поодиночке влился в селения других родов. Жители поселка Тул-во не помнят, чтобы Нехан соединил свой родовой огонь с огнем какого-нибудь местного рода. В наше время, когда старые обычаи забываются, на это мало кто обращал внимание. Лишь некоторые старики, ревностно хранящие старину, иногда намекали: в поселке живет безродный...

В позапрошлое лето рыба подошла к побережью жидкими косяками. И никаких прогнозов на зиму не было. Нехан бросил рыбалку и вместе со стариком Лучкой и охотником Тахуном соболевал где-то у подножия Нга-Бильских гор. Вот тогда-то о нем и узнал весь район.

В самом начале охотничьего сезона Тахун вдруг вернулся в Тул-во. Объяснил: старая болезнь — ревматизм —

вновь ударила в ноги. Тахун стал промышлять лис на косе. Односельчане только пожимали плечами: на лису ходит, а на соболя не мог. А ведь на лису нужно тратить не меньше сил, чем на соболя.

Заведующий заготовительным пунктом молодой парень Миша Сычев набросился на Тахуна: «Дезертир! Испугался тайги! А план? Вдвоем не возьмут плана!»

Односельчане осуждающе смотрели на охотника: бросил в тайге товарищей... Такого еще не было на побережье. А может быть, не договаривает что-то?..

В конце зимы старик Лучка и Нехан вернулись из тайги. Они подтвердили, что Тахун после месяца охоты начал жаловаться на больные ноги. Да и дров не успел завезти домой, семья осталась без огня. И они отпустили его. Но это не помешало им перевыполнить план еще на пятьсот рублей! И Миша Сычев ликовал!

На страницах районной газеты появился улыбающийся Нехан, руководитель охотничьего звена.

А Нехан из вырученных больших денег подарил Тахуну добротную двустволку. На этот факт люди особого внимания не обратили: у нивхов в обычае делать подарки.

Нынешнее лето было опять безрыбное. И Нехан устроился буровым рабочим в нефтеразведку где-то на севере побережья.

В конце сентября он появился в Тул-во и стал сколачивать звено охотников-промысловиков. К нему снова пошел старик Лучка. Третьего найти было трудно: все мужчины готовились к зимней путине, к экспедиции на другие заливы. И Нехан решил взять Пларгуна.

— На... на... наш... рай-а-а-йон д-д-дали лицензию на... на четыреста соболей и... и... и сорок пя-я-ять выдр,— до ломоты в скулах заикался Миша Сычев. Всем известно, что Миша заика, но сегодня он нервничал и заикался, как никогда.

Высокий, сутуловато-изогнутый, будто готовая к прыжку рысь, он настороженно всматривался сквозь табачный дым в лица охотников. Он прекрасно знал, что сейчас спокойный ход районного слета охотников нарушится.

Вон во втором ряду возле стенки сидит человек в одежде из оленьего меха. На нем облезлая доха и шапка, похожая на капюшон с обрезанным верхом. Жухлая, с трещинами, обветренная кожа, раскосые вопрошающие глаза. Это старый орок-оленевод из северного поселка Валово. Сейчас у оленеводов горячая пора — они в тайге, с оленьими стадами, и на слет послали старого Мускана, от которо-

го в тайге мало проку. Сычев на секунду задержал взгляд на его лице... Спокойно попыхивает трубкой... Смирный старик. На горло не будет наступать. Он и языка-то русского не знает... Ему достаточно и десяти соболей. Другим пастухам дам по пять штук. Когда таежники пастухи спохватятся, отвечу: скажите спасибо, что оставил вам по пять соболей, вас на слете не было...

Вон, в центре, наклонившись вперед, сидит Ржаев, работник звероферм. Он приезжий, но давно живет на побережье. Лицо обожжено морозом, исхлестано ветром и дождями. Если бы не серые, потускневшие от возраста глаза и светлые взлохмаченно-вьющиеся с сединой на висках волосы, его трудно было бы отличить от местных жителей — нивхов. Летом он работает на звероферме, зимой соболюет. Ржаев напряженно застыл. Он весь — внимание. Давно потухшая папироса повисла, прицепившись к выпяченной нижней губе. Тяжелый пепел не обломится, не осыплется. Ожидающе прищуренные глаза уставились на Сычева. Горлохват... От него не отделаешься и пятнадцатью соболями... сволочь... Вчера пришел с бутылкой «капитана» [1] и с пьяного взял слово: двадцать пять соболей! А утром откуда-то вытащил бутылку спирта. У-у-у...— Гудит голова.

За клубами дыма видна серая макушка чьей-то головы. А-а, это старик Лучка. Сидит, безучастный, в дальнем углу, чтобы не мешать людям, когда им вздумается выйти или войти.

А это еще кто такой в четвертом ряду? Совсем еще мальчишка. С молчаливым восхищением смотрит на промысловиков. А-а, это парень Нехана. Нехан вчера говорил о нем — возьмет в подручные. Тоже мне, охотник нашелся.

Лица... лица... Обожженные грубые лица... десять соболей... двенадцать... десять...

За длинным столом, наспех сколоченным из досок и покрытым линялым сукном,— президиум: Нехан, русоволосый Горячев — начальник таежной метеостанции — и еще несколько человек.

Нехан приехал за четыре дня до открытия слета. Все дни он пропадал у Сычева. Вечерами в доме Сычева раздавались громкие голоса и песни. Подпевал Сычев. В это время он не заикался... Нехан просил семьдесят пять на троих.

---

[1] «Капитан» — коньяк «четыре звездочки» *(жаргон)*.

Лица... Лица... Обожженные лица... десять... двенадцать... десять...

Пларгун впервые на слете охотников. Вокруг — знаменитые промысловики, соболятники, медвежатники, добытчики лисиц и нерп. Юноша с восхищением оглядывает их.

Утром выступал представитель райисполкома. Он поздравил охотников с открытием сезона. Сказал, что труд охотников так же почетен, как труд зимовщиков Антарктиды. Потом наградил передовиков прошлого года ценными подарками. Нехан и Лучка получили красивые Почетные грамоты и золотые наручные часы с центральной секундной стрелкой.

После обеденного перерыва представитель райисполкома отсутствовал. Кое-кто, отметившись, ушел по своим делам, и только к концу слета, когда решался самый главный вопрос, явились все.

Дым под потолком. Дым в груди. Дым в глазах.

Пларгун не курит. И ему хочется откашляться.

— Все-все... всего четыреста со-болей,— повторил Миша Сычев, молодой «пушник». Так коротко называют охотники начальника заготовительного пункта.

Пушник говорил, что нынче план на соболя срезали на сто пятьдесят штук, а план по сдаче пушнины увеличили на несколько тысяч рублей. Значит, план нужно выполнять в основном за счет цветной пушнины: лисицы, норки, ондатры, белки.

На звероферме летом был большой падеж. Значит, на норку мало надежды. Остается лисица.

А лису, как всем известно, добывать труднее всего. Нужно иметь неутомимые ноги, чтобы перехватить скорого и чуткого зверя.

И пушник предлагает: промысловикам, чьи участки находятся в тайге, план таков — соболь и лиса один на один; охотникам с морского побережья, где лисы больше, а соболя мало,— один на два. Значит, таежнику Ржаеву план: двадцать соболей и двадцать лис.

— Врешь! — взрывается Ржаев. Папироска дернулась кверху. Пепел обломился, рассыпался по колену. Но Ржаев не заметил этого. Его округлые росомашьи глаза уставились на сутулого пушника.— Врешь! Я таежник. Зимой лиса у меня. Где я ее изловлю? Не надо мне лисы. Замените ондатрой!

Пушник выдерживает нападение Ржаева. Тут пушника поддерживают:

— Ондатру ты и без плана поймаешь.

— Ондатра — дармовые деньги,— это из президиума бросает реплику Нехан.

— Дармовые? — защищается Ржаев.— Да что ты в ондатре понимаешь? Ты живую-то ондатру видел?!

Нехан, житель побережья, действительно мало понимает в ондатре, которую только десять лет назад выпустили на обширные болота. Ондатра привилась и размножилась по таежным озерам, старицам и болотам. Вот уже третий год как разрешили на нее промысел.

— А я где возьму лису? — вмешивается в разговор метеоролог Горячев.

Тут поднялся Нехан.

— Вот что, товарищи,— сказал он медленно, чеканя каждое слово.— Все вы знаете, что соболя не так много в нашей тайге. Было время, когда он почти совсем исчез. Но теперь соболь развелся, и на него отпускают лимит.

— Это мы знаем и без тебя! — выкрикнул Ржаев.

— Тихо! — Нехан поднял руку.— Так вот, на одном соболе план не выполнишь. Нужно добывать лису, ондатру, белку, нерпу. Конечно, никому неохота бегать за лисой. Чтобы выполнить план по соболю и цветной пушнине, я предлагаю следующее.

Наступила тишина.

— Предлагаю всем создать звенья из трех человек. Хватит охотиться по старинке, время охотников-одиночек давно прошло.

«Как он здорово говорит! Совсем как школьный учитель»,— подумал Пларгун.

— Что это даст? — спросил Ржаев.

— Зачем это? — раздается из левого угла.

— А затем,— говорит Нехан,— что план Сычева ни одному из нас не по плечу. Приморцу при десяти соболях нужно добыть двадцать лис! А это невозможно. Что он, ракета, что ли, чтобы летать с моря в тайгу и обратно! А если организовать звенья, получится так: двое уходят в тайгу на осеновку [1], берут ондатру и до глубокого снега ловят соболя. А третий с лета разбрасывает на косах приваду и всю осень ловит приваженную лису. Зимой двое подключаются к нему. А весной все трое уходят во льды бить нерпу.

Гул прокатывается по залу. Табачное облако закружилось, завихрилось, прорвалось в нескольких местах.

---

[1] Осеновка — охота по осени.

— Ловко придумал!

— Голова.

— Хе, до него, наверно, одни дураки были.

Ржаев лукаво прищурил глаза.

— А кто и в какие звенья пойдет, а? — с издевкой спросил он.— Неужели Горячев, который живет в тайге на своей метеостанции, опускает в прорубь градусник, получает зарплату и подрабатывает на соболе, пойдет ко мне? Или я пойду к нему? Или кто другой пойдет к третьему? Два медведя в одной берлоге не живут...

— А вот я организовал звено! — перекричал гул Нехан.

В зале притихли.

— Вот мое звено: старик Лучка, молодой охотник Пларгун и я!

К вечеру все присутствовавшие на слете охотники подписали договора. В договоре Нехана стояло семьдесят пять соболей...

Перед отлетом Нехан и Миша Сычев долго сидели над крупномасштабной картой, выбирали промысловые участки. Сошлись на бассейне горной реки Ламги. Оттуда в тридцатых годах нивхские роды ушли на север, в рыболовецкие колхозы. С тех пор этот район посещали только охотники, да и то изредка: уж очень далек он и труднодоступен. В сорока километрах к северу от этого места за перевалом находится маленькое стойбище Миях-во. В нем живет род Такквонгун: несколько мужчин, несколько женщин и их дети. Было известно, что род Такквонгун в тридцатых годах тоже покидал свое побережье. Он целиком вошел в первый нивхский земледельческий колхоз, образовавшийся в долине реки Мымги. Но спустя некоторое время этот род по какой-то причине снова вернулся на опустевшее побережье.

И вот вертолет оставил на крутом берегу таежной реки Ламги трех человек. С ними две собаки, брезентовая палатка-времянка, три жестяные печки, охотничье снаряжение и провизии на три месяца. В основном рассчитывали на подножный корм.

Как только вертолет улетел, старик вошел в чащу, походил там минут двадцать и, вернувшись, сказал:

— Нынче урожайный год. Орех есть — мышь есть, мышь есть — соболь, лиса есть.

Места для промысла были выбраны заранее. Нехан облавливает сопки, распадки и ключи по среднему течению

Ламги. Его промысловую избушку решили срубить в двенадцати километрах от берега моря. Зимой лисы уходят на побережье из тайги, где им трудно передвигаться по рыхлому снегу. И Нехану будет удобнее охотиться на них, одновременно промышляя соболя.

Зимовье Лучки разобьют южнее, в двенадцати километрах от Нехана, у места слияния трех ключей. А избушку Пларгуна — в глубине тайги у повернутого к югу притока Ламги.

Таким образом, зимовья располагаются треугольником, с тем, чтобы путики смыкались где-то в середине треугольника в пределах пятнадцати километров от каждой избушки.

Этот план предложил Нехан. Сказал, что в тайге всякое может случиться. Охотник, проверяя капканы, проходит по своему кругу. В точке смыкания путиков видит следы своих товарищей. Если там нет свежих следов кого-нибудь из троих — надо идти к нему: может, нужна человеку помощь.

На третье утро Пларгун проснулся совсем разбитый: все тело ныло, болела каждая мышца. Хотелось лежать не шевелясь. Но раздался властный голос:

— Ты что, отсыпаться в тайгу приехал?

У Нехана удивительная способность: он в любом случае умел повелевать, говорил так, чтобы и мысли не было поступить иначе, ослушаться его. Пларгун не обижался на окрики. В самом деле времени в обрез: начались заморозки, скоро выпадет снег, а избушка еще не готова. Своей очереди дожидаются еще два сруба.

Первый день охотники с утра до вечера валили лес на сопке, резали его на равные кругляши. На второй день сплавляли их по реке к полянке, окруженной вековым лесом.

Юноша резкими, короткими ударами топора очищал кругляши от сучьев, от коры, «разделывал» бревно. Топор не всегда подчинялся еще нетвердым рукам. Иногда лезвие проходило чуть левее или правее сучка, топор отлетал в сторону. Тогда в воздухе раздавался звон непослушного инструмента, в лицо стреляло осколками крепкого, как кость, сучка. Лицо Пларгуна было в царапинах. Саднило ладони. Старый Лучка посоветовал работать в рукавицах, и это спасло руки от кровянистых мозолей.

Пларгун ошкуривал бревна, а старшие вооружились плотничьими топорами. И полетели во все стороны смолистые щепки. Крикливые кедровки окружили становище и с любопытством оглядывали людей. Вокруг суетились наг-

лые сойки. Они так и высматривали, чем бы поживиться. Ночью к стану подходили сторожкие лисы, обнюхивали его и, уловив запах людей и собак, спешили убраться восвояси. Но к стану подходила не только безобидная тварь...

Пларгун заставил себя подняться. Когда он вышел из палатки, первое, на что обратил внимание,— Мирл и Кенграй лежали неподалеку от дымного костра. Их бока запаленно вздымались — собаки дышали надсадно и часто. Что произошло? Почему собаки не на привязи? И чем они взволнованы? Наверно, опять подрались — они не терпят друг друга.

Старик гремел у реки кастрюлей и чайником. А Нехан сидел спиной к палатке и, согнувшись, что-то делал. «Заряжает»,— подумал Пларгун.

— Гуси сели на болото,— сказал Нехан.

Пларгун достал несколько патронов с дробью на рябчика и перезарядил их гусиной дробью.

— Ты тоже идешь? — не глядя, спросил Нехан.

— Да.

— Собаки где-то пропадали. Долго их не было.

— А где болото? — спросил Пларгун. Нехан не ответил. Пларгун закинул на плечо одностволку и молча пошел следом.

Нехан шел сквозь чащу с такой уверенностью, будто перед ним расстилалась прямая тропа.

Вскоре лес поредел, и перед глазами Пларгуна предстала обширная марь. На мари то здесь, то там возвышались бурые бугры. Они сплошь заросли брусникой. Кое-где пробивалась бледная зелень корявого кедрового стланика.

Из-за дерева Нехан внимательно осматривал марь. Над марью — плотная пелена тумана. Казалось, бугры повисли в воздухе.

Пларгун глянул вправо и не поверил своим глазам: на бугре, повисшем в воздухе, стояли три медведя. Точно такие, каких он видел в какой-то книге с иллюстрациями. Но вот самый крупный валко переступил. Пларгун молча схватил Нехана за руку. Нехан перевел взгляд вправо и не подал вида, что заметил зверей. Только черные узкие глаза его сверкали жадно и хищно. Правая рука чуть приподнялась, и ладонь сказала: тихо.

Нехан взял в левую руку четыре патрона и отступил назад. Повернулся и, прикрываясь деревьями, сторожким, быстрым шагом ушел вправо. Только раз он обернулся и кивком головы сказал Пларгуну: «Стой здесь».

«Что он задумал? Ведь у него патроны с дробью! — заволновался юноша.— И кажется, ножа не взял».

Нехан шел неслышно, будто тень. Вот он промелькнул в том месте, где деревья стояли не очень плотно. Потом, пригнувшись к земле, появился на оголенном мысу против бугра, где были медведи, и остановился у чахлого березового кустарника. Дальше нельзя — голая марь. До бугра далеко. Медведи вне выстрела. Да и что сделается с медведем, если даже пальнуть в него дробью на расстоянии десяти шагов. Пларгуна совсем смутило легкомысленное поведение знаменитого охотника. Хоть бы не стрелял. Хоть бы отступил. Пларгун чувствовал, как дрожат ноги. Увидев, что Нехан поднял ружье и прицелился, хотел крикнуть. Но из ружья Нехана вырвался шлейф дыма, и через мгновение до юноши докатился гулкий грохот.

Пларгун вздрогнул, точно выстрелили в него. Медведица, рывшая бурундучью нору, подпрыгнула, будто ее ужалили. Со всего размаху влепила оплеуху ни в чем не повинному пестуну. Многопудовый пестун несколько раз перевернулся в воздухе и шлепнулся в марь, на всю тайгу завопив дурным голосом. Медведица встряхнулась, потянула ноздрями и, не уловив ничего опасного, занялась снова норой. Видно, ее зацепила всего одна дробина.

«Уйди, уйди, пока еще можно уйти»,— умолял в душе Пларгун. Но охотник снова поднял ружье, прицелился и выстрелил. Медведица впрыгнула на вершину бугра, оглянулась и с устрашающим рыком помчалась по мари на Нехана. Казалось, никакая сила не остановит ее, огромную, всесокрушающую. В один миг медведица пролетела через марь, в два прыжка оказалась на мысу. Тут на мгновение ее остановил новый выстрел. Но только на мгновение. Еще три прыжка, и она настигла охотника.

Следующий выстрел поймал ее в прыжке. Медведица мотнула головой и дико взревела, но не остановилась, подалась вся вперед. Еще прыжок. Последний прыжок. Пларгун в ужасе закрыл глаза. Тут он услышал еще один выстрел. Когда открыл глаза, медведица грузно рухнула — охотник едва сумел отскочить в сторону. Пларгун сломя голову помчался к мысу.

Глаза Нехана сверкали. Было видно, какого громадного усилия потребовала от него эта схватка. Медведица лежала со снесенным черепом: выстрел дробью в упор, когда дробинки идут плотно, как единая свинцовая пуля, страшен. У разбитой головы зверя валялись четыре стреляных гильзы. Юноша поднял их — они были еще горячие и пахли

порохом. Пларгун удивился не тому, что Нехан дробью убил громадную медведицу: где-то в душе он верил, что знаменитый охотник способен на невозможное, удивило его другое — человек в какой-то миг сумел трижды переломить ружье, заменить пустые гильзы заряженными и выстрелить по мчащемуся зверю три раза. Это невероятно. Хотя Пларгун своими собственными глазами видел это минуту назад... Нехан перезаряжал только правый ствол. А левый держал на крайний случай. Последний прыжок медведицы, когда она уже разинула клыкастую пасть, еще не был крайним случаем — левый ствол так и остался неиспользованным. Что же тогда является крайним случаем для этого человека?

— Куда девались медвежата? — спросил Нехан.

— Я смотрел только на медведицу,— признался Пларгун.

— Ничего, далеко не уйдут. Мы их поймаем. Нужно только собак привести. Они мигом нагонят,— спокойно, будто звери уже добыты, сказал Нехан. .

Он схватил медведицу за плечи, сильным рывком перевернул зверя на брюхо и вытянул лапы. Медведица приняла позу человека, который, распростерши руки, забылся глубоким сном...

Высокое подслеповатое солнце разогнало туман, а Лучка все строгал и строгал черемуху. Острым ножом снимал с дерева тонкие длинные стружки. Они свивались упругими кольцами, образуя пышный венчик. Чтобы венчик не распался, старик связывал стружки лыком. Затем высоко поднимал дерево и встряхивал. Стружки выбрасывали длинные языки, шелестели, вновь свивались кольцами и умолкали.

Пока старик выстругивал священные стружки — нау, Нехан и Пларгун успели отлить в формочке штук двадцать тяжелых круглых пуль.

Закончив строгать нау, старик с трудом выпрямился, утомленно кряхтя, поднялся на кривые затекшие ноги и медленно пошел в чащу.

«Долго он еще будет возиться? Только теряем время!» — недовольство черной тенью скользнуло по широкому лицу Нехана. Но тут же он уступил: «Ладно. Медведица — первая добыча. Хотя бы поэтому нужно соблюсти древний обычай. Да и обижать старика не хочется. Пусть потешится». Так думал знаменитый охотник. Сам-то давно

не верит в святость ритуалов. Но иногда нет-нет да закрадется в его душу сомнение...

— Твой свинец давно сгорел! — ни с того ни с сего разозлился Нехан.

Пларгун схватил банку и вытащил из костра: в капле жидкого, как ртуть, свинца плавал твердый кусок. Юноша недоуменно глядел на Нехана, так и не поняв, почему тот, обычно сдержанный и спокойный, вдруг рассердился.

Вскоре вернулся старик с полной кружкой крупной таежной брусники. Ягодным соком обмазал кончики свя-шенных стружек и сказал:

— Хала! Идемте к месту, где удача нас навестила.

Старик сказал «нас». Если в тайге кого-либо одного обходит своим вниманием Курнг — всевышний, удачи не жди. А тут большая удача. И не важно, кто добыл зверя. Считай: удача пала на всех троих.

Нехан проводил старика и юношу к месту, где он убил зверя. Собаки со злобным азартом подскочили к медведице, вцепились в гачи [1] и стали их рвать, захлебываясь яростью.

— Ну храбрецы на мертвого зверя! — сказал Нехан и разбросал собак ударами ноги. Трое охотников схватили медведицу за передние лапы и за загривок и, подражая голосу зверя, с криком «хук» дружными рывками поволокли его вокруг вековой лиственницы против хода солнца.

Тяжела добыча, и охотники с трудом совершили с нею четыре положенных круга. Отдышавшись, Нехан закинул за спину двустволку и скрылся в чаще. За ним побежали псы.

Старик обвязал сплетенными стружками морду медведицы чуть пониже глаз, второе кольцо приладил вокруг головы позади ушей, соединил оба кольца посередине лба и украсил голову султанчиком из стружек, предварительно обмазав их соком брусники. На медведицу надели символический намордник. Если в звере есть хоть немного злого духа, он укрощен.

Затем перевернули зверя на спину...

Пларгун впервые свежевал медведя. До этого он только иногда ел вареное медвежье мясо из чугунного котла на медвежьих праздниках, которые созывались в честь удачи какого-нибудь охотника. А «праздников домашнего зверя» Пларгун вообще никогда не видел. Такие праздники приходятся на конец февраля — начало марта. В это время Пларгун учился. А школа-интернат находится в районном центре. Праздники домашнего медведя проходят куда бо-

---

[1] Гачи — длинная шерсть на звериных ягодицах.

лее пышно и торжественно. Еще бы: медвежат вылавливают, когда им всего несколько месяцев, откармливают несколько лет до возраста половой зрелости.

Пларгун свежевал медведя впервые. Точнее, помогал свежевать. Самое сложное, оказалось, «раздеть» лапы. Но старик ловко расправился с двумя задними лапами. Оттягивая кожу, чтобы старику удобнее работалось, Пларгун внимательно следил за его действиями. Потом Пларгун вытащил свой нож, звякнул по лезвию ножом старика и склонился над левой передней лапой.

Нож непослушно натыкался на многочисленные упругие жилы, вонзался в толстую мозолистую подошву, скрежетал по костям, где, как полагал Пларгун, должен быть мягкий хрящ сустава.

Когда наконец Пларгун высвободил последний палец лапы и стал снимать с ноги «чулок», он почувствовал, что на него смотрит Лучка. Пларгун не поднял головы. Только по разгоряченному лицу текли струйки пота. Быстрее заходил ножом. Но спешка не привела к хорошему — на коже оставались куски сала. Приходилось вновь и вновь возвращаться к ним.

Но вот с лапой покончено. Юноша распрямил гудящую спину и осмотрел свою работу. С многочисленными кровянистыми порезами лапа выглядела так, будто ее изжевали собаки. Три другие лапы слепили ровной белизной. Пока Пларгун «раздевал» лапу, Лучка успел разделаться с брюшной частью.

У потухшего костра сидел Нехан и спокойно пил чай. Даже не подумаешь, что он прошел большой путь по тайге, да еще с тяжелыми шкурами молодых медведей за плечами.

Кенграй подошел к хозяину, вяло виляя хвостом, и низко опустил голову с прижатыми ушами.

«Почему ты так унижаешься? Что с тобой?»— глазами спросил Пларгун. Собака словно поняла хозяина — не поворачивая головы, бросила на Нехана настороженный взгляд.

Помимо шкур Нехан принес еще и медвежью желчь. Сказал, что настиг пестунов далеко. Надо взять мясо. Остальное пойдет на приваду для соболей и лис. А желчь зачем? Стоило ли...

— Ты останешься. Растянешь шкуры, вот тебе... как оно называется... образец,— сказал Нехан, показав на ви-

сящую перед палаткой на гнутых растяжках шкуру медведицы.— И еще сваришь желчь. Только не перевари. Лучше вари на печке, а не на костре. Надо варить на спокойном огне.

Еще вчера старик между делом поставил полог — на случай дождя, чтобы было где готовить пищу.

Старшие, закинув за плечи пустые рюкзаки, удалились. Кенграй остался лежать, удобно положив голову на лапы. Только глазами их проводил.

Соорудить растяжки из молоденьких стройных лиственниц — дело не трудное. А вот натянуть на них сырую «живую» шкуру — куда сложней. Пларгун только к полудню справился с этой работой и сразу же принялся варить желчь. Юноша перевязывал проточные канальцы и чувствовал, как они, тонкие и скользкие, никак не хотели подчиняться его неуверенным пальцам. Он боялся, как бы ненароком не прорвать нежный мешочек желчного пузыря.

Сухо потрескивая, топилась жестяная печка. Пларгун поставил на нее большую эмалированную кастрюлю с водой и, подождав, когда она нагреется, бросил три желчных пузыря.

Печка гудела. Искры, вылетев из трубы с горячим дымом, вспыхивали, тускнели и оседали на траву, на полог...

Спокойно лежавший Кенграй встрепенулся и сел. Большие острые уши вскинулись, быстро заходили в разные стороны, сблизились. Пес суетливо повел носом, шумно и глубоко втягивая воздух. Пларгун понял: кто-то посторонний подошел к стану. Его спина покрылась мурашками. Что будет, если это медведь? А вдруг не просто медведь, а шатун? Наверно, почуял мясо и, голодный и злой, пришел на запах. Эта предательская коптилка разносит дух мяса на всю тайгу.

А может, не один? А два. Или три? Озираясь, Пларгун потянулся за ружьем. Трясущейся рукой нащупал пулевой патрон, вложил ствол. Ружье невесомо взлетело к плечу. И только теперь молодой охотник почувствовал: до чего ружье хрупко и ненадежно!

Вдруг что-то толкнуло в грудь. Пларгун, внимательно смотревший вправо, в кусты, резко откинулся. Никого... а-а, это сильно вздрогнуло сердце. О, как оно стучит!

Кенграй вскочил и бросился было в чащу, но Пларгун остановил его:

— Порш!

Ветер с той стороны, куда бросился пес. Значит, тот,

кто в лесу, не должен чуять их... А вдруг он из-за деревьев наблюдает за мятущимся человеком.

Кенграй сорвался и размашистым карьером понесся в чащу. Через секунду там раздался треск, будто кто-то разом сбил все сухие сучья в тайге. Между деревьев мелькнуло что-то бурое и серое и, как само спасение,— рога! Олени! Юноша облегченно и радостно вздохнул. Исчезла неизвестность, а с ней и страх. Пларгун со всех ног бросился вслед за Кенграем.

Олени — это прекрасно! Оленем он откроет охотничий сезон! И не только сезон. Этой прекрасной добычей он начнет свой путь охотника-промысловика!..

Он бежал, ничего не видя перед собой, инстинктивно сторонясь деревьев, в кровь царапая лицо и руки. Спотыкался, падал и вновь поднимался. Его лихорадило. Что это: обыкновенный охотничий азарт? Тщеславие молодого охотника? Или проснулась доселе дремавшая жажда добычи?

Он бежал, задыхаясь, хватая ртом холодный воздух. И вдруг остановился, будто натолкнулся на невидимую стену. Вокруг ни звука. Куда девались олени? Где Кенграй?

— Кен... Кен...— И наконец из горла вырвался не крик, а скорее — стон, переходящий в хрип:

— Кен-гра-а-ай-и-ии.

В голове пронеслась мысль: я один в лесу... Пларгун вновь впал в такое состояние, когда ноги перестают подчиняться. Глаза прикованы к валежинам и кустам, будто там обязательно кто-то затаился... И тут Пларгун понял: он боится тайги. Да, да, боится!..

— Кенграй!..

Где же собака? Куда подевалось все живое?

Ну хоть бы какой зверь или птица выскочили вон из-за той колодины. А какой зверь?

Какой? Ноги повели в сторону. Что за зверь?.. Вон какая горбатая тень от него. Приготовился к прыжку... Ноги несут в сторону... Глаза прикованы к тени. Пларгун бросается назад, но сильный удар в темя чуть не сбивает его с ног. «Медведь!»— мелькает в помутневшем сознании...

Пларгун, шатаясь, оборачивается — ружье стволом упирается в узловатый наплыв лиственницы... Юноша еще не совсем понимает, что с ним случилось. Прошло еще некоторое время, когда он почувствовал: воротник у левого плеча мокрый. Ощупывает. На руках — кровь. Пальцы побежали выше — по щеке, шее. Что-то теплое и мягкое. В ла-

дони — темный сгусток крови. Он застонал, когда пальцы коснулись черепа. Опухоль в полкулака. Мягкая, как живая: бум-бум-бум. Она отвечает на удары сердца. А череп как? Если пробит?.. Надо перевязать голову. Пларгун сбрасывает ватную куртку, снимает рубаху. Разрывает ее на широкие ленты. Выщипывает из куртки вату. Перевязывает голову. Надо возвращаться к лагерю. Надо...

— Ав! Ав! — чуть слышно.

Снова:

— Ав! Ав!

Да это же Кенграй! Далеко. Посадил зверя... Иначе бы с чего ему так яростно лаять? И будто не было страха и сильного ушиба — напрямик на голос! Через завалы, кусты. Только слышно, как трещит одежда. И все громче и больнее стучит в голове: бум!.. бум!.. бум!..

Крупный олень-самец стоял, низко опустив ветвистые стройные рога. Перед ним носился Кенграй. Собака пыталась наскочить сбоку, но хор вовремя наставлял рога. Несколько раз сам бросался на пса, норовя поддеть его рогами. Но Кенграй успевал вывернуться.

Пларгун залюбовался оленем. Сразу видно, что дикий олень отличается от домашнего. Домашний более приземист, очертания его спокойные, нрав вялый. А этот высок, стройные сухие ноги «в чулках» ровной белизны, холка взбугренная, и на ней зверовато дыбится серая шерсть. Могучая грудь. Голова изящная. Рога удивительно симметричные, пышные. Нрав крутой. А шерсть будто причесанная. Могучий красавец отвлек врага на себя, дав возможность уйти самкам.

Услышав хозяина, Кенграй с новой яростью бросился на хора. Олень сдвинул сухие ноги, пружинисто оттолкнулся и скакнул навстречу.

Пларгун вскинул ружье. Надо ударить чуть ниже передней лопатки. Олень мотнул головой, и тут же раздался выстрел. Хор вздрогнул, но не упал — пошел прямо. Кенграй отпрыгнул в сторону, чтобы не попасть под острые, как топор, копыта. Пларгун полез в карман, но не нащупал патронов. Полез в другой — тоже пусто. Отчаянью его не было предела, он вспомнил, что, зарядив ружье пулевым патроном, забыл прихватить еще. А олень уже уходил.

— Ту! Ту! — прокричал Пларгун, натравливая пса, и сам пустился следом.

Кенграй легко нагнал хора и, не останавливаясь, прыгнул сбоку, схватив за шею. Даже его могучие клыки не смогли удержаться на горле хора, защищенного густой

длинной шерстью — «бородой». Олень повернул в сторону — по спине текла кровь. Высоковато ударил. Кенграй кашлянул совсем по-человечьи, тряхнул головой, чтобы освободить пасть от набившейся шерсти. И тут же вцепился оленю в бок и так рванул, что ослабевший от ран хор споткнулся и упал, неловко подвернув переднюю ногу. Озверевший Кенграй вскочил на холку оленю, зажал в смертельные тиски шею, придавил голову к земле. Охотник мигом оказался рядом, выхватил нож и, глубоко всадив в нижнюю часть шеи, перерезал горло. Кровь фонтаном брызнула во все стороны. Пларгун стоял над своей жертвой в исступлении, будто хор был повинен в том, что Пларгун боится тайги, как беззащитный ребенок...

А кровь лилась. Кровью испачканы руки, одежда, лицо. В крови собака. В крови — трава и кусты...

— Кенграй, наверно, уйхлад[1],— таинственно сказал Нехан, набивая рюкзак мясом.— Пес очень подозрительно вел себя. Как будто меня не было рядом: воет и глаза устремлены в сторону горы Нга-Биль.

— Хы... Туда медведи зимовать уходят. Там их берлоги. Говорят, там Пал-Ызнг живет,— сказал старик, разрезая тушу на большие куски.

— Я и думаю: не поселился ли в собаке чужой дух,— сказал Нехан, пристально глядя на старика.

— Собака — зверь человека. Медведь — зверь Пал-Ызнга, его собака. У каждого зверя — свой хозяин, свой дух,— медленно и негромко проговорил старик.

— Я и говорю, собака очень странно вела себя. Очень странно. Так обычно собаки не ведут себя. Эта наверняка уйхлад. Она может навлечь на нас грех...

...Они шли, согнувшись под тяжестью ноши. Нехан исподлобья глядел на Лучку: крепок еще старик. Сподручно с ним в тайге. Не докучлив, все время чем-то занят. Отлично знает законы тайги... И большой умелец — замечательно мастерит легкие охотничьи лыжи. И если б не он, так быстро не поставили бы сруб...

А шкуры, ох какой умелой руки они требуют! Чуть не так, и уже мех может пойти не первым сортом. Только на сортности иные теряют сотни и сотни. Хорош старик. Чудостарик...

«Нынче пошли люди,— неспешно думал Лучка,— к жиз-

---

[1] Уйхлад — совершивший грех.

ни совсем не приспособленные. Парню восемнадцатый год, а он еще и тайги не видел. В его возрасте я четырех человек кормил. Обеих жен и двух мальчиков. Старшего брата черная смерть забрала...»— Старик вовсе не был настроен на воспоминания. Но разве воспоминания приходят и уходят по велению?..

«Осталась жена брата Халкук с двумя малышами. Ее, по обычаю, я и забрал к себе. Зачем бы я ее другому человеку отдал! Халкук сдружилась очень с моей женой Ангук. Они никогда не ссорились. Во всех домашних делах помогали друг другу. Хорошие жены. Дружно жили. Очень жалел, когда умерла маленькая Ангук. Умерла, когда хотела подарить сына... Мои сыновья на фронт ушли. Хорошие были парни. Зачем обоих взяли? Хоть бы одного оставили... Они добычливыми ловцами были. Оба не вернулись...

А теперь что? Стрелять-то по зверю не каждый умеет Тяжело, ох тяжело будет Пларгуну. И что такое с его собакой случилось? Почему она уйхлад стала? Да разве узнаешь почему? Может, хозяин чем-то нагрешил, а может, сам пес пошел против закона тайги, или его к себе злой дух зовет. Хороший пес. Но что поделаешь? Воля не наша...»

— Кровь нужна, жертва нужна,— сказал Нехан.

Они подходили к стану. Старик ускорил шаги. Тревога передалась и Нехану. Внезапно тайга кончилась, они вышли на поляну. Где же полог? На месте полога — пустота. Стоит одинокая потухшая печь, а на ней обгорелая кастрюля...

— Полог сгорел,— спокойно сказал Нехан, рассматривая обрывки брезента.

— У нас второго нет,— озадаченно отозвался старик.— Да где же Пларгун?..— Нехан снял крышку, заглянул в кастрюлю и — весь побелел. В следующее мгновение лицо его налилось кровью.

— Что наделал! Что наделал! — в гневе прошептал Нехан.— Три желчи сжег! Ограбил меня, подлец!

Лучка слышал от людей, что медвежью желчь ценят дороже золота.

— Сопляк! Молокосос! Тайги захотелось?! Соболя захотелось?! Я тебе покажу соболя! Я тебе покажу тайгу!..

...Молокосос — вот ты кто. А еще тайги захотел. Настоящей тайги. С оленями, соболями, медведями. С зимовкой в избушке... Молокосос! Ты же боишься тайги! Для

тебя тайга — враг. Потому что ты ее не знаешь. Ты боишься тайги. Да, да, боишься! Хотел за жестокостью спрятать свое малодушие. Живодер — вот ты кто!

— А-а-а... Голова... О, как она гудит. А череп цел? Хоть бы череп был цел. А там как-нибудь выживем. Куда я иду? Правильно ли иду? Где Кенграй? А-а, вот он! Впереди. Он идет уверенно. Верно ведет, правильно.

...Мирл нервничал. Ругань вызвала в нем желание пустить в ход надежные свои клыки. И, как только он почуял в лесу движение, вскочил и, еще не зная, кто там, понесся к кустам, низко, по-медвежьи, опустив голову. Навстречу выскочил Кенграй. Но перестраиваться было уже поздно. Да и Кенграй понял намерение Мирла. А Кенграй, опытный боец, участвовавший во многих смертельных собачьих поединках, привык сам нападать. Он помчался аллюром.

Мирл, словно раздумывая, несколько сдержал прыть. Кенграй принял это за неуверенность. Инстинкт подсказывал: наступил момент вцепиться в горло. Мирл отлично знал: стоит чуть повернуться боком, мощный удар сшибет его с ног. И он грудью встретил Кенграя. Псы сшиблись, вздыбились. Совсем как люди, обхватили друг друга сильными лапами и наносили удары клыками.

Пларгун выбежал на яростный захлебывающийся рык. У нивхских каюров и охотников существует своеобразный этикет: когда люто дерутся псы разных хозяев, подоспевший хозяин сильно избивает свою собаку, деликатно отстраняя чужого пса. Озверевших собак можно растащить только с помощью палки.

Пларгун прикладом отбросил Кенграя. Не успел Кенграй прийти в себя от ошеломившего его удара, как Мирл повис на его загривке. Теперь нужно было убрать Мирла, и юноша ударил его по плечу. По спине нельзя: можно повредить позвоночник. Юноше с трудом удалось разнять разъяренных псов.

— Болван!— вскочил Нехан, когда Пларгун подошел к костру.— Ты что, первый день на свете живешь: не знаешь, что ружьем бить собак нельзя!

И, поймав на себе удивленный взгляд юноши, пробурчал.

— Для тебя же стараюсь.— И посмотрел на старика.

— Грех, сын, собаку ружьем наказывать,— сказал старик.— Грех. Звери и птицы откажутся подставлять этому ружью удобное место.

Пларгун молча подсел к низкому столику — пыршу и стал закусывать остывшим мясом и юколой.

— Собрались сниматься?— спросил он, не глядя ни на кого.

— Почему ты решил, что мы собрались сниматься?— вопросом ответил старик.

— Полог-то зачем сняли?

— Сам сжег и еще спрашивает,— сдерживая злобу, сказал Нехан.

Пларгун недоуменно взглянул на то место, где стоял полог, и увидел обгорелые лоскуты брезента, остывшую печь и черную от сажи кастрюлю. Без слов было понятно, что полог сгорел от искры.

Пларгун закусил губу. Искра могла упасть и на жилую палатку. А там — зимняя одежда, спальные мешки, охотничье снаряжение... От тяжести вины стало невмоготу. Он громадным усилием подавил вырывающееся рыданье.

Смотреть в глаза старшим было невыносимо, он уставился застывшим взглядом на противоположный берег реки.

Его о чем-то спрашивали. Голоса доносились откуда-то издалека, приглушенные, невнятные, как из-под земли. Пларгун ничего не понимал.

Он очнулся, когда к его плечам прикоснулись руки старика.

— Спрашиваю тебя: что случилось с головой?

Пларгун непонимающе взглянул на старика.

— Что с головой случилось, спрашиваю.

Только теперь Пларгун почувствовал, как болит голова...

Старик легонько прикоснулся к голове, снял повязку, внимательно осмотрел ушибленное место.

— Большая ссадина. Может, серьезно. Волосы остричь надо, рану йодом облить надо. Повязку хорошую сделать надо. У нас же есть походная аптечка.

Подошел Нехан. Участливо поцокал.

— Да-а, серьезное это дело.

Пока старик накладывал повязку, Нехан молча смотрел на потухший костер и о чем-то думал.

Йод мучительно жег. В голове стучало. Слезы выступили на глазах.

— У него очень серьезная рана,— сказал Нехан так, будто Пларгуна здесь не было.

— Она скоро затянется,— предположил Лучка.

— Я считаю, что Пларгуна нужно везти в больницу,— ни на кого не глядя, продолжал Нехан.

— Как его повезешь отсюда? На чем?

Пларгуну хотелось заснуть, положить голову на что-нибудь мягкое, теплое. Разговор старших совсем не интересовал его, будто говорили не о нем. И смысл разговора не доходил до сознания.

— Километрах в сорока отсюда есть стойбище рода Такквонгун — таежных охотников. Там помогут. Где на лодках, где пешком. Нашему другу надо в больницу.

— А дойдет ли пешком?— усомнился старик.— Ведь это далеко. Нужно идти через перевал.

Не найдя решения, Лучка отрешенно попыхивал трубкой.

И тут старшие увидели, как юноша медленно обернулся к ним. Лицо его, до этого безразличное ко всему, стало осмысленным.

— Что вы говорите?..

Старшие молчали. Нехан глянул на Лучку, как бы прося поддержки.

— Слушай, нгафкка,— сказал он.— Мы еще не знаем, к чему приведет твоя ссадина. Может случиться осложнение. И мы со стариком ничего лучшего не нашли, как отправить тебя в поселок. Тебе необходимо в больницу, к врачам.

Пларгун молчал. В тоне Нехана — явно подчеркнутое участие. А может быть, это только казалось?.. Спокойно и уважительно, как подобает говорить со старшими, Пларгун ответил:

— Я очень огорчен, что своим нелепым поступком причинил вам столько хлопот. Но вряд ли вы будете спокойны, если в таком состоянии я пойду через тайгу в сопки. Череп, к счастью, не поврежден. Ссадина залита йодом. А йод — сильное лекарство. Давайте подождем немного. Если будет хуже, я приму ваше мудрое предложение.

Пларгун сам удивился себе. Как это он сумел сказать все так хорошо и складно?

Нехан нетерпеливо повел плечами и сказал мягко:

— Нгафкка, ждать никак нельзя. Я же сказал, может быть осложнение. Тогда врачам будет трудно. Ведь повреждена голова, а не что иное!— Нехан многозначительно постукал пальцами по виску.

Мудрость юноши только проклюнулась мокрым птенчиком и умерла тут же под строгим взглядом Нехана. И ничего он не нашел лучшего, как сказать:

— Все-таки надо подождать. Я думаю, все будет хорошо...

— Я старший здесь! Я начальник!— закричал вдруг

Нехан.— И отвечаю за всех! Я требую не возражать мне.

Старик пристально, с прищуром, взглянул на разошедшегося Нехана.

— На пострадавшего человека грех кричать, нгафкка...

Прошло еще два дня. Ссадина затягивалась. Голова прояснилась, освободившись от тупой и нудной боли. Никто не возвращался к разговору об уходе Пларгуна в поселок.

За это время Нехан и Лучка справились с избушкой. Звеньевой отстранил Пларгуна от работ — тому нужен покой. Юноша трудно переживал вынужденную бездеятельность. И нет-нет да подсоблял в чем-нибудь.

Было решено — не задерживаясь, перекинуться к Трем ключам и в два-три дня поставить избушку для Лучки. Но Нехан вновь завалил медведицу, и это задержало переброску на юг.

К тому же Лучка настаивал, чтобы ритуал проводов медведицы к Пал-Ызнгу был соблюден до конца. У тайги свои законы, утверждал старик. Они от человека не зависят. Надо эти законы соблюдать. Нельзя гневить Пал-Ызнга. А то он болезни и неудачу на людей напустит.

Все сознавали, что время торопит, но Нехан понял: возражать нельзя. Старик не простит неуважения к обычаям.

Игрищ не было, да и не могло быть: людей-то всего трое. Зрелищная часть праздника начисто исключалась. Из-за отсутствия нгарков — представителей рода ымхи — ритуал сократился до крайнего минимума. Оставалось только изобразить финал — проводы медведя к хозяину гор. Для этого требовались жертва и гостинцы.

Гостинцами могут быть клубни саранки, крупа и обязательно мос — своеобразное блюдо, приготовленное из ягод и студня из вареной рыбьей кожи. Мос — пища богов. А в качестве жертвы приносят обычно собаку.

Увешанный всевозможными гостинцами, сопровождаемый собакой, медведь, а точнее — душа медведя, отдавшая свою плоть людям, идет к Пал-Ызнгу — богу охоты и тайги — и передает ему просьбы людей. А просьб у людей много: чтобы охотнику способствовала удача, чтобы голод не посещал селения, чтобы никто в роду не болел.

Нехан предложил было отдать Кенграя в жертву. Тем более Кенграй — уйхлад. Старик, внимательно слушавший Нехана, вовлеченный в сложную игру обычаев, упорно молчал, потом недовольно крякнул, всем видом выражая несогласие.

И мос не стали варить — дело это хлопотливое. Да и не взяли с собой юколу тайменя, толстая кожа которого идет на студень. Жертва символическая: немного юколы, горсть крупы, несколько пачек махорки, папирос (хорошо, хоть старик курит) и спичек, несколько кусков сахару.

Старик сколотил «дом»— ящик с двускатной крышей, положил в него кости и головы медведей и вознес его на настил лиственницы. Нехан помог поставить у «дома» прунг — священные молодые елки, украшенные священными стружками — нау. Все предметы, имевшие какое-либо отношение к святому зверю, должны лежать в одном месте, которое отныне становится священным. У этого священного места нивх обращается со своими нуждами к Пал-Ызнгу. Но и здесь допустили нарушение. На священное место отнесли только символическую жертву: «гостинцы», испачканный кровью медведя еловый лапник, который подкладывали под мясо, импровизированные носилки, головешки от костра. Никто, конечно, и не намеревался пустить в ход рюкзаки, посуду и другую утварь, тоже имевшие какое-то отношение к медведю...

На все это ушел еще один день... Только с рассветом нового дня с набитыми рюкзаками пошли они по распадкам в сторону полудня, к Трем ключам.

Было решено не отвлекаться на охоту, чтобы сразу приступить к постройке избушки для Лучки.

Три ключа — это падь, место слияния трех ключей, которые, извиваясь, врезались в темнохвойные сопки. Сопки богаты брусникой. По обеим берегам ключей — мари, красные от клюквы. Отличное охотничье угодье!

Сруб рубили буквально от зари до зари. К исходу второго дня избушку накрыли крышей из жердей и корья, насыпали поверх земли. Ночевали у нодьи — долгого таежного огня...

Крикливое воронье хищно кружилось над деревьями. Подгоняемые тревогой люди выскочили на поляну. Собаки с азартом и визгом помчались к противоположной опушке леса. Что-то темное мелькнуло за деревьями.

Стан был разгромлен и разграблен. Тут каждый лесной житель в меру своих возможностей приложил лапы и зубы. Наибольший вред принесли, конечно, росомахи. Сильные и наглые, они разворотили лабаз с копченой медвежатиной, сожрали и растащили большую часть запасов. Они проникли в избушку, расшатали крышу, изгрызли дверь. Даже коптилку и потухший очаг не обошли своим вниманием: от коптильни осталась бесформенная куча жердей,

а к очагу росомахи обращались после сытной трапезы — он стал у них удобным отхожим местом.

Собаки мигом нагнали зверя и яростно лаяли: зверь взят. Услышав приближение людей, псы осмелели.

Кенграй хваткой в заднюю ногу отвлек росо́маху, и Мирл в точном броске сомкнул свои могучие челюсти на горле хищника.

Подбежали люди. Нехан сверкнул глазами.

— Так, так его. Рвите. Рвите его...

— Хватит! — крикнул старик и отогнал рассвирепевших псов. Затем, изловчившись, ударил росомаху ножом.

Весь день до вечера они шли через тайгу по узкой долине Ламги к ее истоку.

Нехан только помог донести вещи, ему нужно было починить покалеченное зимовье. В тот же вечер он ушел и обещал прийти через два дня.

Охотничье угодье юного охотника — верховье реки Ламги, там, где в реку впадает небольшой приток. Хвост Ящерицы. Повернутый к югу приток тонок и извилист. Он действительно похож на струящийся хвост ящерицы.

Охотники недолго выбирали место для сруба. После короткого совета остановились на высоком спокойном возвышении, устланном ковром ягельника.

И вот на таежном возвышении, может быть впервые за все века существования, вспыхнул костер.

Вскоре люди легли под кустом кедрового стланика. Их спины всю ночь ласкало тепло огня.

Земля перестала отдавать душистой прелью. Лишь в полуденное безветрие земные запахи оттаивали и, еле уловимые, парили в остывшем воздухе. С ветвей уже давно слетала листва.

В щелях узких распадков густо теснились ели. Оголенная лиственница заняла просторные склоны сопок. Березы, невыносимо белые на мрачном осеннем фоне, кокетливо выглядывают то тут, то там из сумрачных ельников.

Под кедровыми кустарниками, что облепили наветренные склоны сопок, на лишайниковых проталинах в лиственничном редколесье краснела брусника.

Пларгун, вспотевший от напряженной работы, стоял над речкой, которая мчала свои холодные струи вниз по узкому дну распадка.

Берег реки был усеян трупами лососей, дряблыми после нереста. На перекатах плескались, преодолевая сильное течение, сотни больших рыбин, еще не успевших отдать мелководным плесам свое потомство. Когда-то они еще дойдут до своих нерестилищ!..

— О-хо-хо-о-о!— тревожа таежную тишину, чуть слышно доносится снизу.

Через секунду, усиленный крутыми склонами сопок, повторяется человеческий крик. А сзади раздается приглушенный грохочущий звук, мало похожий на крик человека. Это человеку ответили горы, крутосклонные и зубчатые, с высоким перевалом в северной части.

Пларгун подсунул под лиственничный обрубок заостренный конец ваги из каменной березы, рванул ее вверх. Обрубок сперва медленно, потом все быстрее и быстрее покатился по галечному склону, криво подскочил на камнях, звучно и тяжело шлепнулся в воду и высоко плеснул брызгами.

Поддел вагой второй обрубок. Спрыгнул с обрыва, обвязал веревкой оба бревнышка, обмотал другим концом бечевки левую руку и оттолкнул ногой спаренные бревна. Течение бойко подхватило их и понесло.

Пларгун, в длинных резиновых сапогах, шел сзади, удерживая и уводя бревна в сторону от цепких коряг.

На излучинах бревна непослушно выскакивали на мели или, подхваченные завихрившейся струей, рвались, как собаки в упряжке, к середине реки. И юноша с трудом сдерживал их, направляя по прибрежной струе.

Идти по галечному дну легко. Течение подталкивало сзади, и достаточно было оторвать ногу от дна, как струи сами несли ее вперед.

Пларгун шел крупным шагом, вслушиваясь, как упругие холодные струи бьют по ногам. Казалось, силы горной реки вливаются в молодое тело.

Первая пороша

Деревья будто покинули тайгу — их совсем не слышно. Еще днем светило солнце. К вечеру белесая синева осеннего неба потускнела. Откуда ни возьмись, появились тучи. Нет, ты не заметишь, чтобы их принесло откуда-нибудь. Они появляются будто из глубин космоса. Не видно и не слышно, как тени, опускаются ниже, ниже, густеют, медленно

проявляются и вот уже толпятся над твоей головой, тяжелые, плотные и неподвижные. Нет ни малейшего ветра. Земля, обложенная облаками, приглушает звуки. Все притихло в ожидании чего-то нового, важного.

...Свеча горит ровно, слабо освещая короткую чурку, на которой она стоит, стол, вытесанный топором из нескольких лиственных поленьев, положенных одно к другому и приколоченных к двум толстым чурбакам. Свет мягко играет на маленьком черном квадрате окна, выделяет круглые, небрежно ошкуренные венцы. Между ними неровно выпячиваются сплющенные желтовато-серые слои мха, используемого в тайге вместо пакли. В двух шагах от двери, в которую можно войти только пригнувшись, горит сдвинутая к углу жестяная печка. Горит спокойно, бесшумно. Свет от нее и от свечки упирается в низкий потолок, сложенный, как и стены, из лиственного долготья. В дальнем от двери углу грудятся темные мешки, набитые продуктами: мукой, крупами, макаронами, сахаром, солью. На стене — ружье, патронташ и охотничий нож в чехле из толстой кожи сивуча[1]. На чехле вырезан нивхский орнамент. Над печкой у самого потолка висят две пары широких лыж, вытесанные стариком из сколотой пихты. Старик выгнул их с помощью деревянных распорок. Обещал через неделю принести нерпичий мех и обшить им лыжи.

Пларгун лежит в теплом лыжном костюме, заложив за голову сцепленные руки, а в голове вяло ворочаются ленивые мысли. Под спиной приятно ощущается мягкость спального мешка и оленьей шкуры.

В избушке не просто тепло — жарко. Но раздеваться не хочется. И скоро все равно нужно будет одеваться: дрова догорят, и тепло постепенно уйдет. Юноша ждет, когда накопится уголь, чтобы закрыть трубу. Кенграй развалился на боку у двери и дремлет. Ему, сытому и довольному жизнью, нынче крепко спится. Он разлегся сразу же, как наелся наваристой похлебки из свежей оленины. Разлегся и позевывает, вытягивая розовый язык и умиротворенно поскуливая.

Признаться, трудно представить, что ты оказался один на один с тайгой, с ее законами, которые ты плохо, очень плохо знаешь, с ее ночами, полными неизвестности и страха.

Теперь ты один, как на маленьком островке среди пустынного океана. Когда-то Пларгун читал увлекательную книгу о Робинзоне. Сейчас он сам как Робинзон. У того хоть

---

[1] Сивуч — крупный вид тюленя (морской лев).

был Пятница, его раб и друг. Правда, с Пларгуном его друг Кенграй. Только неизвестно еще, кто из нас Пятница, думает юноша.

Утром Пларгун вышел из своей избушки, не зная, за что взяться, с чего начать свой первый день самостоятельного охотника-промысловика. О, как он ждал этого дня! И вот он наступил. Наступил как-то сразу — с уходом из его промысловой избушки старика Лучки. «Пусть добрые духи тебя не покидают. Не разгневай их. Пусть будет удача тебе!»— сказал старик. Его сутуловатая сухая спина еще некоторое время мелькала между ветвями, пока тайга не поглотила его. Ушел, оставив в душе смятение и неуверенность.

Пларгун долго сидел на пне от молодой лиственницы, которая еще несколько дней назад шумела ветвями, а теперь стала венцами избушки. Его взгляд безотчетно следил за черным муравьем с рыжеватым брюшком. Луч скупого осеннего солнца чуть-чуть прогрел маленькое зябкое тельце, и муравей, на миг очнувшись от сна, стремился успеть что-то сделать. Он куда-то тащил бурую высохшую хвоинку кедрового стланика. Тащил, не зная куда. А может быть, знал, для чего ему понадобилась эта хвоинка...

...Из гущи леса раздался резкий взволнованный крик сойки. В ту же секунду, приглушенный расстоянием, донесся сухой треск, будто под большой тяжестью сломался толстый сук. Что это могло быть?

Треск. Еще треск. Волнение пробежало по всему телу. Первая мысль: к избушке идет громадный медведь. Это под его тяжестью хрустят сухие сучья. Наверно, его привлекли запахи мяса. Хотелось вбежать в избушку и там уже, как в крепости, принимать осаду зверя.

Вновь заверещала сойка. В ее голосе слышались не тревога, скорее, любопытство. Через секунду ей ответила вторая сойка. Из глубины леса поспешила напомнить о себе третья. Низко над избушкой, торопясь, пролетели в сторону звуков две голубокрылые лесные птицы.

Пларгун взял на поводок забеспокоившегося Кенграя и, пересиливая волнение и неуверенность, медленно пошел через поляну.

Теперь соек собралось множество. Они кричали азартно и часто. Казалось, идет какое-то представление, а сойки — лесные зрители — отзываются темпераментно и бурно.

Кенграй нетерпеливо взвизгнул, сильно потянул поводок. Пларгун, увлекаемый могучим псом, пошел быстрее. Пес, по-видимому, уже знал, кто находится в лесу: его чут-

кий заостренный нос заходил ходуном и вмиг повлажнел.

У колодины Пларгун остановил пса, Кенграй недоуменно глянул на хозяина: «Что ты?»

Пларгун оттянул пса в сторону, обошел колодину: все норовишь напрямик. Тебе колодины и выворотни — ничего. Ты бы, конечно, с маху взял их и... запутал поводок. А тут вдруг насядет на нас медведь, и я отбивайся один... Я хоть и молод, но не обладаю звериной прытью.

Впереди посветлело. Оттуда раздавались сап и возня. Медведь? Что он делает? Возится с выворотнем, чтобы из-под него достать бурундука или какого-то другого зверька? Кенграй вздыбился, рванулся и протащил охотника на несколько шагов вперед.

То, что увидел Пларгун, сразу уняло волнение, вызвало только любопытство.

Охотник осадил пса. Кенграй, разгоряченно дыша, прилег на землю.

На поляне, голова к голове, застыли два огромных хора. Они уперлись раскидистыми рогами и, тяжело пыхтя, напирали друг на друга. Сначала они напоминали неуклюжих борцов, которые силятся столкнуть друг друга со светлой полянки.

Но вот олени разошлись. Головы опущены низко, глаза, налитые кровью, навыкате.

Слева хор — с мощным кустом рогов, широкий в костях, приземистый, плотный, даже несколько полноват для вольных дикарей. Под его серой шкурой ходят бугры мышц. Высокую холку венчает широкая кисть седой шерсти.

Справа — бурый хор на высоких сухих ногах, будто одетых в белые чулки. У него более редкий куст рогов, но отростки длинные и острые. Шея стройная, длинная. Грудь вся обтянута буграми мышц.

Бурый нетерпеливо вытанцовывает боевой танец. Но серый собрался в один миг. Под богатой длинношерстной шкурой пробежала волна мышц, все четыре ноги сошлись в одну точку, и в следующее мгновение серый, будто выброшенный пружиной, бросился на противника. Бурый принял нападение точно на рога. Раздался треск. Кто-то из соперников хрипло взревел. Мощный удар отбросил громадные тела друг от друга. На какое-то мгновение задние ноги бурого подломились. Это скорее почувствовал, нежели увидел, серый — испытанный боец. Не давая опомниться противнику, он нагнул голову и кинулся на бурого. Но бурый, быстро оправившись от удара, ушел в сторону, и толстяк грузно проскочил рядом. Бурый по ходу успел дважды вса-

дить свои рога в бок толстяку. Олени развернулись и вновь сошлись.

«Вот безмозглые твари,— подумал Пларгун.— Кажется, взрослые, а дерутся, как дети».

Кенграй порывался вмешаться в драку исполинов, но рука хозяина лежала на его шее: не шевелись!

Длинные ветвистые рога противников мудрено переплелись между собой, и теперь оленям ничего не оставалось, как пытаться любой ценой отцепиться. Но и в таком положении они, уловив миг, наседали друг на друга. Толстяк надавил. Под мощным напором согнулась длинная шея бурого, его опушенные короткой шерстью губы задевали о мерзлую землю. Из ссадины выступила кровь. Запах крови ударил в чуткие ноздри старого бойца. И он, победно рявкнув, пошел напролом. Бурый, отступая, ловко бросил свое тело в сторону.

Толстяк ожидал яростного сопротивления, но никак не предполагал такого хода. Он споткнулся, припал на передние колени. Шея как-то неловко подвернулась. И тут молодого хора будто подменили. Словно где-то внутри его могучего тела сохранялся неизрасходованный запас сил. Оттолкнувшись ногами, он взлетел в воздух и всей массой обрушился на замешкавшегося противника. Острые рога глубоко вонзились в упругий бок старого хора. Тот как-то странно рявкнул, обмяк и в следующее мгновение рухнул на землю. Бурый еще раза два поддал его рогами и отошел в сторону, тотчас забыв о противнике, который мучительно пытался встать на ноги. Победитель, высоко подняв голову, повел окровавленными рогами, чутко вслушался во что-то и внимательно уставился в кусты.

«Что там?— подумал охотник.— Еще соперник? Хватит и одной жертвы!»

Пларгун хотел было прогнать с поляны самоуверенного хора, но заметил: там, куда так пристально смотрел победитель, кусты зашевелились. И через секунду оттуда вышла молодая стройная самочка.

Маленькие пышные рожки подчеркивали ее элегантность. Она шла, явно играя стройными ножками, поводя аккуратной головкой на длинной шее, кротко и кокетливо глядя на победителя. А он, страстно всхрапывая, поджидал, когда самочка подойдет к нему.

Какой-то внутренний протест овладел всем существом юноши. Он с презрением смотрел на самку, из-за которой произошла кровавая драма. С ненавистью и с восхищением — на могучего хора... У кого силы больше — тот и

хозяин. Победитель получает все, побежденный — ничего... И если он не повержен насмерть, то ему уготовлено жалкое существование. А то вовсе съедят его другие, более мелкие звери...

Самка даже не взглянула на поверженного богатыря. Она, ласкаясь, потерла рожками грудь могучего красавца, ее куцый белый хвостик нервно и страстно задергался.

Поверженный богатырь мучительно силился подняться.

Вокруг торжествующе и хищно закричали красивые птицы сойки — маленькие лесные разбойники.

В тайге действуют законы тайги. Они, точно тысячи духов, притаились и внимательно следят за каждым шагом юноши, рискнувшего войти в их владения. Притаились, выжидая, когда назреет время, чтобы встать поперек его дороги и зловеще захохотать: «А вот и мы! Попробуй-ка, одолей нас!..»

Пларгун, оставшись один, растерялся, не знал, за что взяться. Дел оказалось множество. Он хватался за все и тут же бросал. В первый день руки просто-напросто опустились.

Пларгун свалил в кастрюлю пшенную крупу и подстреленного рано утром рябчика и пытался сварить суп. Получилась бурда. Крупа так и не проварилась, и ее вместе с бульоном пришлось отдать Кенграю. Но и тот, выхлебав наваристый бульон, как истинная нивхская собака, брезгливо отвернулся от растительной части варева.

Чтобы хоть как-то занять день, Пларгун нарубил сухостойной лиственницы, снес к избушке, сложил небольшими штабелями. Дрова всегда нужны, все равно когда-то надо потратить на них время...

Печка, чуть потрескивая, ровно гудит. В душе — смятение.

В поселке ребята сейчас собрались в клубе. Накюн, конечно, неважный моторист, но парень хороший. И баянист хороший. Сам научился играть. Помнится, за участие в районном смотре художественной самодеятельности клубу вручили баян. Какая это была радость! А до этого все крутили старую радиолу, которая в последнее время стала хрипеть и странно подвывать. Сколько раз обращались к председателю с просьбой купить баян, но тот возмущался: на ремонт квартир нет денег, а тут подавай им баян! Но все-таки добились ребята своего: председатель уступил. И тут оказалось, что баяна нет ни в одном магазине района. Обращались в торгующие организации, в управление куль-

туры — везде ответ: мы не фабрика музыкальных инструментов...

И вот, когда в один из тоскливых осенних вечеров ребята и девчата собрались в своем старом клубе и скучающе рассматривали на стене пожелтевшие плакаты, вбежал Накюн.

— Друзья! — воскликнул он.— Ведь есть на свете Союзпосылторг!

— Ура-а-а! — закричали ребята.

— Качать его! — И подбросили Накюна, так что бедный моторист не рад был своей находчивости.

Говорят, авиаписьмо идет из областного центра в Москву всего два-три дня. Возможно, люди, которые пишут в Москву и оттуда получают ответы, говорят правду. Ребята подсчитали, что на переписку с Союзпосылторгом понадобится всего-навсего две-три недели, не больше. На пересылку денег телеграфом, на получение этих денег в Москве, на упаковку посылки, отправку, на время пути уйдет дней двенадцать. В общем, к Октябрьским праздникам, если не раньше, баян будет в колхозе.

Дни потянулись томительно и длинно, хотя осенние дни коротки, как миг. Вот уже застыли лужи. Вот и болото у поселка замерзло. Вот и озеро за болотом покрылось льдом, и ребятишки, забывая об обеде, целыми днями катаются там — кто на резиновой подошве, кто на самодельных салазках, а кто и на коньках.

Вот по заливу поплыло «сало» — шуга. На смерзшихся комках молодого льда — нерпы. У молодежи появилось новое занятие — охота на нерпу.

Незаметно подошли праздники, и тут вспомнили о баяне. Даже ходили на почту: не затерялось ли там письмо из Москвы. Почтарь Будюк, угрюмый и сильный украинец средних лет, приехавший на побережье по вербовке, воспринял их визит как оскорбление почтенной организации — советской связи. Он обругал их и выпроводил за дверь.

Глубокой зимой пришел наконец из Москвы пакет с прейскурантом.

Чего только не было в том прейскуранте! Там было все, от карандашей до лодочных моторов. Последние так заинтересовали рыбаков, что баян отошел на задний план...

Наступили сроки смотра-конкурса. И председатель, посадив в тракторную будку бригаду рыбаков в двадцать человек, сказал трактористу:

— Насчет первенства — не знаю, но чтобы всех привез обратно в целости и сохранности.

Плохо ли, хорошо ли выступали рыбаки, никто в колхозе не знает. Об их выступлении не писала даже районная газета. Сами артисты, как подобает истинным талантам, тоже не рекламировали себя, скромно помалкивали.

Тракторист выполнил наказ председателя. На другой день к вечеру привез обратно не только рыбаков, но и... баян — привез за активное участие в районном смотре художественной самодеятельности!

Однако танцев в тот вечер не было. Накюн, известный во всем поселке гармонист, без которого не проходит ни одна свадьба или вечеринка, лихо взял в руки призовой баян, удобно уселся на услужливо предложенный кем-то стул и, чувствуя себя в этот миг самой важной персоной если не на всей планете, то, во всяком случае, в поселке, взял аккорд и растянул мехи. Получился какой-то нестройный звук. Пальцы побежали было по клавишам, но вдруг споткнулись. Накюн, обветренный до цвета лиственничной коры, покраснел и стал похож на перезрелую клюкву.

— Испорченный,— сказал кто-то.

— Дурак, расстроенный,— солидно поправил другой.

Тогда заведующий клубом разрешил Накюну взять баян домой — пусть переквалифицируется из гармониста в баяниста.

Прошло всего каких-нибудь полгода, и на вечере, посвященном Первомаю, Накюн появился с баяном.

Мнение присутствующих было единодушно, музыкант совершил большой подвиг. Он играл на баяне не хуже, чем на гармошке!

Кто-то даже сказал: если Накюн будет расти такими темпами, то будет играть не хуже баяниста из районного Дома культуры.

...Сейчас молодежь собралась в клубе и танцует. Кто не умеет танцевать, столпились на маленькой сцене и играют на бильярде.

Пларгун чаще всего проводил вечера здесь, ловко вгонял в лузы металлические шары, проигрывал и снова занимал очередь, украдкой поглядывая в зал: кто танцует с Нигвит?

Нигвит, маленькая и круглолицая, выделялась необычайной бойкостью. После выступления на смотре художественной самодеятельности она отрезала свои черные косы и ходила с какой-то мудреной прической. Ее голова теперь напоминала осеннюю болотную кочку: будто кто повыдергал волосы, а жалкие остатки топорщились в разные стороны, как обожженная холодным ветром жесткая болотная трава.

— В райцентре давно уже никто не носит косы,— сказала Нигвит подругам.

...Темным сентябрьским вечером Пларгун шел прибрежными буграми, торопился в клуб. Вдруг под песчаной дюной послышалась возня. Пларгун поначалу подумал, что это шумит приливное течение. Вслушался. Казалось, кто-то силится поднять что-то неподатливое. Услышал и глухой прерывающийся шепот. Это говорил Накюн. Только он мог говорить так быстро, заглатывая слова.

— Нет! — полушепотом ответил женский голос.

Снова шепот. И снова шелест.

— Нет! — отчаянно сказал тот же голос.

Пларгун, устыдившись, быстро зашагал в сторону клуба.

Сзади послышались торопливые шаги.

— А, это ты, Пларгун? — будто обрадовавшись неожиданной встрече, сказала Нигвит.

Она засеменила рядом. Пларгун смотрел под ноги, точно боялся споткнуться, неловко переступая, чувствуя, как дрожат колени.

До самого клуба Пларгун так и не нашелся, что сказать.

Следом за ними появился Накюн. Подошел к бильярдистам и безучастно уставился на шары, будто видел их впервые. Его попросили сыграть на баяне. Он долго отказывался, потом уступил. Играл вначале вяло, потом разошелся.

Маленькая Нигвит поднялась на сцену и подошла к Пларгуну:

— Идем, потанцуем!

Пларгун не помнит, как они ушли из клуба. Все произошло как в полусне.

Они шли по прибойной полосе песчаного берега. Бугры молчаливо подняли головы, настороженно и чутко вслушиваясь в ночь. На их склонах кое-где цеплялся узловатый кедровый стланик. Легкий ночной ветер притаился в этих кустах и перешептывался с буграми. Справа у самых ног, мерцая и фосфоресцируя, клокочет черная вода. Она дышит холодом и сыростью. Невысокие волны длинными светящимися складками накатываются на берег, выплескивая брызги и пену, шелестят галькой, морской травой и, журча, откатываются.

Была холодная ночь. Но молодые шли медленно, прижавшись друг к другу. Нет, они не сговаривались, куда идти. Ноги сами несли их от поселка в ночь.

И вот теперь один в таежной избушке за много-много километров от человеческого жилья Пларгун вспомнил тот вечер.

...В поселке сейчас танцуют. Кто танцует с Нигвит? Думает ли она обо мне? А мы вместе учились в школе. Только Нигвит была классом старше. И жили через улицу, а вот случилось же — будто встретились впервые...

Не тебя ли выискивал я среди других девушек? Не на тебя ли поглядывал я украдкой, когда ты, все облепленная мерцающей чешуей, озорно смеешься после хорошего улова?

Даже чайки, услышав твой звонкий голос, шумно срываются с дальней косы и долго кружатся над заливом, радуясь своим сильным крыльям и легкому парению...

С кем ты танцуешь, Нигвит?

...Его отвлекла от воспоминаний необычная тишина. Вслушался: дрова в печурке уже прогорели. Надо сохранить тепло, пока оно не вылетело в трубу. Поднялся. Нет, тишина слишком необычна. Мягкая тишина... Что происходит?

Кенграй мигом вскочил и, радостно повизгивая, нетерпеливо уставился на дверь.

Пларгун натянул нерпичьи торбаза и, не затягивая шнурков, толкнул дверь.

Что это?

Снег.

Падает густыми хлопьями, медленно, торжественно, сознавая всю свою важность. Не зря так сладко зевал Кенграй!

Темные ели будто накинули на плечи белые вязаные шали. Земля притихла под свежим теплым одеянием. Только кое-где в белом лесу чернеют выворотни.

Тихо, совсем тихо. Лишь слышен бесконечный, волнующий, как хорошая музыка, шелест падающего снега.

Кенграй ошалело понесся вокруг избушки, остановился, вспахал носом мягкий снег, шумно и отрывисто принюхался к своему же следу...

Старик налегке уходил от юноши, но в душе уносил тревогу. Под самое сердце закралось сомнение: сможет ли этот совсем еще неопытный мальчик выстоять против одиночества? Правильно ли поступили они, взрослые, взвалив на его неокрепшие плечи эту неимоверную тяжесть? Не лучше ли было бы оставить мальчика с кем-нибудь из них?

В первый день, когда юноша уходил на речку за водой, Лучка высказал свои сомнения Нехану. Тот, еле сдерживая гнев, ответил:

— План дали большой. Надо охватить побольше угодий. И тайга — не курорт, чтобы, объевшись жирного мяса, валяться на шкуре. Никто гробиться за него не будет.

Потом уже тише, не сводя прищуренных глаз со старика:

— Мы и вдвоем бы взяли план...

Пларгун еще совсем мальчишка. А Нехан тяжелый человек. Разве так добрые люди поступают? Какой же нивх на его месте принял бы такое решение? Да, Пларгун — совсем мальчишка. Правда, в его возрасте я уже был посвящен в основные тайны охоты и кормил семью и стариков... Сегодня люди взрослеют позднее, нежели в мое время. Молодые, пока возьмут на свои плечи заботу о продолжении рода, уж очень долго готовятся: учатся в школе, потом еще где-то. Сегодняшняя жизнь — совсем не такая, какая была в годы моей молодости. В ней много сложностей. Молодые люди умеют разбираться в этой жизни и распутывают ее узлы, как охотник распутывает следы хитрющей лисы.

Но ведь много людей не понимают жизни тайги. Для них тайга — это такая сложность, какой является для меня их жизнь... Вот, к примеру, случай. По годам мне давно полагается пенсия, но я до прошлого года не ходил просить ее: слава богу, ноги еще держат меня, глаза, правда, стали видеть слабее, но еще могу направить мушку на убойное место зверя. Но слышал я, что другие почтенные люди, у которых наступает пенсионное время, идут к властям. Их встречают с распростертыми объятиями и тут же вручают пенсию. И они каждый месяц получают эту пенсию, хотя и не работают. Некоторые из них еще довольно крепки. Но раз наступил пенсионный возраст — подавай им пенсию.

Я сперва стеснялся просить пенсию. Последние годы охотился на нерпу. От нерпы, правда, заработков никаких, но кормиться ею можно. Небольшая пенсия могла бы быть подмогой. Ведь нерпа не всегда бывает. Да и на одном мясе не проживешь. Вот и набрался духу. Да и сородичи подбивали меня на это. «Чего ты, говорят, отказываешься от денег. Что, они лишние, что ли?» Рассмешили. Да у меня никаких денег не было. Откуда им взяться?..

Вот и я пошел за пенсией. Пришел к председателю

колхоза. Они меняются часто, председатели. Этот председатель недавно в колхозе, второй год. Его прислали из области на место прежнего, которого почему-то убрали.

Председатель обрадовался моему приходу, будто я ему приятель какой, по которому он сильно соскучился.

— О-хо-хо! — воскликнул он, раскрыв широкие объятия.— Кто пришел! Проходи, Лучка, садись! — Взял меня под руку и посадил на стул у большого стола. А стол у него покрыт свежим красным сукном. Раньше, у других председателей, скатерть была одна и та же, потертая, с порезами и залитая чернилами. А этот сразу купил новую скатерть. Стоит, улыбается. Загорелый, только вернулся из отпуска. Отдыхал у Черного моря. Интересно, почему-то дальнее море называют «черным»? Может быть, потому что люди там обугливаются от сильного солнца? Далеко то море. Но рыбаки ездят туда отдыхать. А чего не ездить, когда поездка им дается бесплатно, колхоз платит? Правда, далеко не все нивхи ездят туда. Года два назад побывал там рыбак Лиргун. Вернулся похудевший вконец и черный, как будто его все время держали над очагом.

«Жарко,— сказал он.— Кое-как выжил до конца срока. Нивху лучше не ездить туда!»

А этот улыбается. Радость так и брызжет из него.

— Ну, чем могу быть полезен тебе?

— Пришел за пенсией,— сказал я.

— За какой пенсией? — удивился председатель.

— Ты что, не видишь, что я стар?

— Вижу, вижу. Но ты не рыбак. Колхоз наш рыболовецкий.

— Ну и что же, что не рыбак. Я старый человек. Есть такой закон: старому человеку полагается пенсия.

— Есть такой закон,— соглашается председатель.— Но нужен стаж работы для пенсии.

— Чего нужно?

Кое-как понял, что такое «стаж».

— А я что, бездельничал, по-твоему? Я всю жизнь охотничал и рыбачил.

— Но ты же сейчас не рыбак,— спокойно говорит председатель.

— Я сейчас старый человек,— говорю я.

Потом вспомнил, что несколько лет рыбачил в бригаде.

— Я рыбачил в колхозе. Все старики подтвердят это.

— Сколько ты рыбачил? — опять спокойно спрашивает председатель. Он уже перестал улыбаться.

— С перерывами — около десяти лет.

— Мало! — коротко сказал председатель.

Сказал, будто отрезал.

— Но я всю жизнь охотничал и рыбачил!— в отчаянии кричу я. А в сердце такое чувство, как будто качусь вниз по мокрой глинистой круче и не за что зацепиться, а впереди клокочет ледяная вода.

Председатель молчит.

— Что, разве охота — не работа? — кричу я.

— Работа,— отвечает председатель.

— Ну, так давай пенсию!

— Не могу,— спокойно, очень спокойно говорит председатель. Мне уже кажется, что этот сытый человек издевается надо мной.

— Давай пенсию! — требую я.

— Пойми, Лучка, колхоз тебе пенсию не может дать, потому что у тебя нет стажа работы в колхозе. Да ты давно уже и не колхозник. Ты охотник. Охотишься на Заготпушнину, а не на колхоз.— Очень длинно отвечает председатель.

— Что же мне делать? — совсем убито спрашиваю.

— Не знаю, чем помочь.— Потом, подумав, добавляет: — Иди в сельсовет. Там скажут, что делать.

Пошел в сельсовет. Председатель там женщина, уже в возрасте. Все в поселке знают: она добрая женщина. Она-то даст пенсию.

— Пенсия? — спросила она.— Надо обратиться в колхоз.

Маленькая надежда, которая толкнула меня подняться по крутой лестнице сельсовета, погасла тут же, как только вошел в сельсовет.

Поехал я через неделю в район, обратился к пушнику. Он меня уважает — я же, считай, всю жизнь сдаю пушнину.

— Да ты что, в уме ли? Где ты видел, чтобы Заготпункт выдавал пенсию охотникам? У нас есть штатные работники, им полагается пенсия. А ты хоть и охотник-промысловик, но охотишься по договору только на период охотничьего сезона.

Вот и все. Я не знаю, как убедить людей, что я — промысловый охотник, работаю всю жизнь: зимой охочусь на пушного зверя, весной и осенью — на нерпу. Летом, конечно, ни один охотник не охотится — не сезон. Летом я рыбачу, заготовляю юколу, чтобы зимой кормить себя и упряжку собак. Пушник посоветовал обратиться в райсобес. Там могут дать пособие по старости. Но мне пособие

не нужно — я не нищий. Я всю жизнь трудился. Мне нужна заслуженная помощь, а не подачка!

И вот по совету людей я обращаюсь к прокурору. Есть такая должность со странным названием «про-ку-рор». Точно не знаю, чем он занимается. Но, говорят, он помогает обиженным людям находить справедливость.

Ожидал увидеть старого мудреца. Ведь, чтобы восстанавливать справедливость, много надо знать, много мудрости иметь. А он оказался совсем молодой. Даже бороды и усов не носит. Ну, думаю, разве он сможет что-нибудь сделать, когда люди почтенного возраста ничем не помогли мне. А он внимательно выслушал, что-то записал для себя, спросил, где я живу, кто у нас руководитель, и отпустил, попросив дней через десять снова к нему обратиться. Но мне так и не удалось зайти еще раз к этому человеку: уехал в тайгу. Весной обязательно зайду к нему.

Очень сложный и запутанный мир...

Хорошо в тайге. Все здесь родное, близкое и понятное. Ни к кому не надо обращаться: ни к председателю, ни к прокурору. Здесь я сам и председатель, и прокурор. Извини меня, Пал-Ызнг, за подобные мысли. Будь благожелателен ко мне и пошли в мои ловушки зверя. Хорошего зверя. Мне с тобой быть наедине всю зиму. А потом мне нужно будет возвращаться в селение. Помоги, пока я у тебя дома. Помоги и двум моим товарищам, чтобы удача не обошла их. Особенно будь внимателен к мальчику. И если он допустит непочтительность к тебе, не очень гневайся — он с детства оторван от тайги и плохо разбирается в обычаях.

Нехан не подошел ни через два дня, ни через три. И не избушка задержала его. Опытный таежник, он знал, что наступило жесткое время, когда дни — да, да дни! — решают успех промысла.

В несколько часов Нехан справился с небольшими повреждениями сруба. Амбар почти не тронул, только подтесал топором пазы и — венцы осели, плотно прижались один к другому. Подогнал крышу.

Уже стоял некрепкий морозец. Он схватил землю, оледенил травы, и те звенели, будто из жести.

На другой день чуть свет Нехан отправился исследовать свой участок, чтобы подготовить его к облову. С карабином за плечами и маленьким топориком в сумке-крошне он прошел распадком, который обрывается у реки в ста шагах ниже избушки за грядой невысокого увала. В нескольких местах потревожил выводки рябчиков, видел глу-

харя на сопке. На песчаных берегах ключа нашел отпечаток перепончатых лап с острыми когтями — следы выдры. Ключ образует неширокие заводи. В одной из них метнулась стая мелкой разномастной рыбешки. Тальниковые берега — прекрасные места для куропатки и зайца...

На изгибах ручья Нехан срубил нетолстые сухие обомшелые лиственницы и перекинул их с одного берега на другой. Этими мостками обязательно воспользуются соболи. Нехан шел не спеша, примечая поперечные распадки, лес на склонах, мысы и уступы, лома — битые поваленные деревья и каменистые россыпи.

К ночи Нехан оказался у крутого хребта-водораздела с зубчато-неровным гольцом на вершине, к югу от которого начались владения старика Лучки. Переночевал у костра под елью. Утром перевалил седлообразную сопку и пошел на запад.

Два часа спустя он уже шел поймой неширокой долины, образованной звонким ключом. И здесь Нехан перекинул через ручьи мостки. Найдя дуплистое дерево, прорубил в нем «окна», в которые через некоторое время поставит ловушки. Чтобы дерево на срезе не отпугивало зверя своей свежестью, втирал в места, которых касалось лезвие топора, хвою, лишайник, торф.

У одной сопки на ягоде вспугнул медведицу с двумя медвежатами нынешнего помета. Мирл понесся наперерез медведям, но куда там — разве догонишь медведицу, когда она спасает детенышей!

Поздно вечером, усталый и голодный, охотник вышел к реке Ламги и спустился берегом к стану.

Весь следующий день Нехан потратил на подготовку капканов: счищал с них смазку, спиливал, выпрямлял или слегка подгибал насторожки, ругая при этом тех, кто создал такие неуклюжие самоловы. Потом долго и терпеливо вываривал ловушки в ведре, куда бросил вместе с капканами и ветки кедрового стланика, чтобы убить запах металла. После этой процедуры крючковатым суком выуживал их из ведра, нанизывал на вываренную в том же ведре мягкую проволоку и вывешивал на сук дерева — пусть продует таежным ветром.

Ночью шел небольшой сухой снежок. Он даже не задержался на ветках деревьев — его сдуло ветром, и он не долетел до земли — застрял на сухих листьях травы и на ягеле.

При снеге и небольшом морозе средний по силе ветер становится промозглым. И это сигнал медведям: наступает время ложиться в берлогу. Медведи не боятся легких мо-

розов, для этого они тепло одеты. Не морозы гонят медведя в берлогу — снег. Глубокий снег для медведя — все равно что путы на ногах, далеко не уйдешь. К тому же для него нет в тайге страшнее врага, чем его сородич. Более сильный зверь отыскивает своего собрата по следу, оставленному на мелком снегу, догоняет, давит его и пожирает. Вот почему медведи спешат залечь в берлогу еще по чернотропу. Застигнутые врасплох первым снегом, они осторожно пробираются к логову, стараясь ступать по бесснежным местам.

Нагулявшие сало медведи уходят с побережья по узким долинам рек к истокам, где у подножия гор в непролазной чащобе выкопают себе уютные берлоги. Небо заботливо накроет их теплым одеялом из мягкого снега. И всю морозную зиму над берлогой будет виться легкий парок — свидетельство мира и спокойствия...

Нехан был уверен, что сегодня на переходах он перехватит не одного медведя.

...Когда старик Лучка по дороге к своему стану завернул к Нехану, чтобы дать ногам отдохнуть и обговорить ближайшие планы, он, к своему изумлению, увидел: на распорках висело восемь медвежьих шкур разных размеров — от пушистого маленького лончака до громадных шкур с седой шерстью.

Идет снег.

Он медленно опускается на седые поредевшие волосы, на расслабленные плечи, мягким пухом ложится на брови и ресницы, приятно холодит уши, тает на лбу. Капли трепетно дрожат, срываются и неслышно исчезают в шерсти потертой оленьей дошки.

Лучка стоит неподвижно, будто всевышняя сила сковала его навечно. О чем он думает?.. Может быть, он думает о том, что жизнь его на закате и перед ним осталось уже совсем немного зорь?..

А может быть, он вспомнил свое детство, которое прошло в отдаленном стойбище у подножия обрывающихся к морю скал, окутанных туманом, продуваемых промозглыми ветрами?..

Может быть, вспомнил день, когда на берег реки прибежал взлохмаченный, оборванный старший брат и, не доходя до жилища, дико прокричал:

— Курнг прогневан! Черная смерть опустилась на землю! Черная смерть!

А когда отец и мать уложили скудные вещи в долбленку и тащили к лодке упирающихся собак, старший брат вдруг

схватился за живот, страшно выкатил помутневшие глаза и упал будто подрубленный.

А может быть, вспомнил, как однажды отец после голодной зимы собрал всю накопленную за два года пушнину и увез в большое селение, что вдали от побережья, но вернулся почти без припасов. То было время холодной затяжной весны... Уж который раз отец возвращался из лесу без радующего тяжелого груза за спиной, смотрел отсутствующим взглядом, напивался с горя и пел долгую, заунывную, переходящую в надрывный плач песню. Дети забивались в темный угол, испуганно таращили глаза и тесно жались друг к другу, пытаясь хоть немного обогреться.

После одной из таких попоек отец уснул. Уснул и не проснулся. Родовой шаман сказал, что отец взял на свою душу не нивхский грех и тем прогневал Курнга.

Вскоре Лучка стал добытчиком. Потом он отделил от родового очага свою долю огня: женился.

Спустя еще несколько лет в мире произошли перемены. Время помчалось с быстротой нарты, запряженной сильной, откормленной упряжкой,— даже не успеваешь осмотреть, какие мимо тебя проносятся берега. Несколько десятков лет — это много...

И это «много» пролетело незаметно, в напряжении, в заботах, в постоянном стремлении к чему-нибудь нужному...

И теперь, когда старик задумывается над своей жизнью, он ловит себя на таком ощущении, будто в отяжелевшей его голове бьется маленькая живинка: а жизнь-то прошла!

Идет снег. Еще один снег...

Охотники еще раньше сговорились: при первом сколько-нибудь значительном снеге, когда уже можно будет различать следы, всем троим собраться у Нехана на совет. И на следующий день после ночного снегопада Пларгун и Лучка почти одновременно появились у Нехана.

Нехан встречал гостей приветливо, как подобает уважающему себя нивху. Заслышав скрип снега, он выходил из избушки и, радушно улыбаясь, шел навстречу гостю с протянутой рукой.

— А-а, пришел,— говорит он.— А я жду. Уже сварил свежей оленины.

Нехан держался уверенно, и окружающие должны принимать его поступки как должное. Но эта покровительственная интонация и уверенность, сильное рукопожатие не очень понравились старику Лучке. По нивхским обычаям, Нехан должен бы скромно, без шума, с почтительной

предупредительностью встретить старшего. И вовсе не надо хватать руку и трясти ее так, будто хочешь вытрясти из нее костный мозг.

С Неханом Пларгун чувствовал себя как-то скованно. Дни, проведенные вместе со стариком, были блаженной свободой. Лучше быть в тайге наедине с собакой, чем бесконечно ощущать на своих плечах тяжелую, властную руку, от которой невозможно освободиться. Поэтому шумная встреча порадовала юношу. Сегодня Нехана будто подменили. Он стал вдруг таким внимательным, разговорчивым, радушным.

Хозяин избушки подцепил дымящееся мясо чефром — длинной заостренной щепкой, похожей на вертел, и один за другим выложил прямо на низкий столик большие сочные куски жирной оленины. Избушка наполнилась аппетитным запахом мяса. Нехан вытащил из-под нар початую бутылку спирта и, как бы извиняясь, сказал:

— Вчера так продрог, что вынужден был раскупорить бутылку. Иначе хрипел бы сейчас на кровати.

Как-то трудно было представить себе этого могучего человека поваленным недугом.

— Хорошо, что был спирт. Ведь не интересно свалиться от болезни, когда охота только началась,— сказал Пларгун с нарочитой грубоватостью и поймал себя: сказал совсем не то, что было на уме. Откуда эта фальшь? Что творится со мной: то дал себе вольность не поверить в искренность поступков знаменитого охотника, то позволил себе сказать совсем не то, что вертелось на языке?..

Нехан вышел к лабазу и принес холодной соленой кеты — на закуску.

Старик нарезал свежеиспеченной лепешки, а Пларгун подложил в огонь мелко наколотые поленья и поставил на раскалившуюся докрасна печку медный чайник с водой.

— Ну, нгафккхуна, за начало! — Нехан поднял кружку чистого спирта.

Пларгун поднял полкружки разведенного спирта, Лучка — столько же.

Сказав короткий тост, Нехан уже поднес было кружку к мясистым, округло раздвинувшимся губам, но его остановил старик. Он вдохновенно произнес:

— Пусть никто не думает, что мы пришли в тайгу за соболем,— нет, мы не за соболем пришли. Пусть никто

не думает, что мы пришли в тайгу за выдрой,— нет, мы не за выдрой пришли. Пусть никто не думает, что мы пришли в тайгу за лисой,— нет, мы не за лисой пришли. Пусть никто не думает, что мы пришли в тайгу за глухарем,— нет, мы не за глухарем пришли. Пусть все население тайги знает, что мы не за ними пришли. Верно, нгафкка? — обратился старик к Нехану.

— Верно! Верно! — торжественно подтвердил Нехан.

Пларгун с раскрытым ртом слушал длинную и странную речь старика. Сперва Пларгун принял ее как начало удачной шутки. Но чем дольше говорил старик, тем больше сомневался Пларгун своей догадке. И когда старик с пафосом обратился к нему: «Верно, нгафкка?» — он чуть слышно, с покорностью ответил:

— Верно! Верно!

— Слышите, вы? — Старик повернулся к правой стене.— Слышите, вы? — Старик повернулся к задней стене.— Слышите, вы? — Старик повернулся к левой стене.— Слышите, вы? — Старик обернулся к двери.— Все вы слышали, что мы, трое людей, пришли в тайгу вовсе не за вашими дорогими шкурами. Носите их сами. Не бойтесь нас! И выходите все! Выходите из своих нор, из своих логовищ, из своих дупел и расщелин, из-под валежин и коряг. Выходите все! Занимайтесь своими делами. Бегайте по тайге, по сопкам! Оставляйте больше следов! Больше! Больше! Больше!

Старик вошел в экстаз. Он уже не кричал — хрипел. Он дышал часто и тяжело, желтая пена каймой обложила потрескавшиеся губы, вспучилась по углам рта. Узкие глаза округлились и отрешенно уставились, застыли на мгновение. Потом старик очнулся и вернулся в бренный мир из того неведомого для других мира, в котором пребывал. Он вспомнил о кружке со спиртом, поспешно обхватил ее дрожащими руками, поднес ко рту и опрокинул. И Нехан привычно, одним духом проглотил целую кружку спирта гольем.

— Ты что? — повелительно гаркнул Нехан на замешкавшегося Пларгуна. И юноша, не в силах противиться, поторопился выпить.

Жидкость обжигающей струей вошла в него, горячим пламенем растеклась в теле, ударила в голову.

— Закусывай, друг, закусывай,— уже мягче сказал Нехан и сунул в руку Пларгуну кусок холодной соленой кеты.

После длинной дороги по морозному воздуху и выпитого

спирта аппетит у всех был зверский. Дымящиеся куски оленины исчезли со стола один за другим.

Юноша усиленно двигал челюстями, разламывая крепкими зубами неподатливые волокна плохо проваренного мяса, а в помутневшем мозгу билась одна и та же мысль: в чем суть длинной и странной речи старика? И пришел ответ: да это же ритуал первобытных людей! Язычники наивно полагали, что подобными заявлениями можно скрыть свои истинные намерения, обмануть Пал-Ызнга — хозяина гор и тайги — и вместе с ним всех зверей и птиц. И обманутые звери становятся добычей ловких охотников.

Первобытный ритуал и космические полеты!..

— Ха-ха-ха-ха-ха! — не выдержал Пларгун.

От смеха изо рта вывалились непрожеванные куски. Пларгун схватился за живот и перегнулся пополам.

— Пьян,— сказал Лучка.

— Слабак,— брезгливо усмехнулся Нехан.

...Пларгун проснулся от душераздирающего визга собаки. Сбросив с себя оленью доху, он мигом открыл низкую дверь и услышал безудержный мат на смешанном нивхско-русском языке. Перепрыгивая через порог, он все равно больно задел головой притолоку.

Нехан отвел назад ногу и со всей силой пнул в живот пытавшегося подняться Кенграя. Кенграй спиной ударился о толстый столб лабаза. Мирл злобно набросился на своего недруга. У злых собак есть особенность — они никогда не упускают случая, набрасываются на избиваемого сородича, загрызают его до смерти. Заметив Пларгуна, Нехан отшвырнул ногой Мирла, и не в бок, а в безопасное место — в мясистую ляжку.

— Сволочи! Воры! Грабители! — ругался Нехан в сильнейшем гневе. Потом сокрушенно нагнулся над ящиком со сливочным маслом. Вернее, над пустым ящиком из-под сливочного масла.— Сволочи, сожрали все масло! — Нехан замахнулся, чтобы снова ударить собак.

— Стой! — вне себя от возмущения крикнул Пларгун. Кенграй истошно выл, извивался в страшных муках.

Пларгун подскочил к своему другу, попытался поднять его. Но едва притронулся к спине, Кенграй завыл еще пуще, будто снова его ударили. Было ясно, что Кенграй получил тяжелые увечья.

— Три дня назад росомахи проникли на чердак, разорвали мешки с мукой и солью, все смешали с корьем и землей. А сейчас наши же собаки ограбили своих хозяев! — не унимался Нехан.

Пларгун стоял спиной к нему. Весь его вид выражал протест. Смысл сказанного Неханом не доходил до его сознания.

Лучка оперся об угол избушки. Руки его были безвольно опущены. Уж он-то знал всю меру обрушившейся на их головы беды.

Люди завтракали вяло. После вчерашней попойки всех охватила апатия. От Нехана несло перегаром. «Неужели еще от вчерашнего?» — неприязненно подумал Пларгун.

В отличие от гостей хозяин избушки энергично заворочал челюстями, уминая розовые куски душистой кетовой юколы, и заел ее медвежьим салом. После юколы он приступил к оленине. И все это запил кружкой густого терпкого чая.

Пларгун вышел посмотреть собаку.

Кенграй лежал на древесном мусоре у штабелька колотых дров и осторожно вылизывал языком ушибленный бок. Завидев хозяина, пес виновато прижал уши, слегка зажмурил умные глаза и, нагнув голову, чуть осклабился. Опушенные редкими длинными усами губы нервно задергались. Пес тонко повизгивал. Пларгун легонько опустил ладонь на голову собаки и нежно провел по шерсти. Кенграй положил голову на бок и лизнул руку хозяина.

— Ну, походи, походи,— попросил Пларгун.

Узнать меру увечья можно, когда заставишь собаку пройти. Пларгун отошел на несколько шагов, присел на корточки, протянул руку с раскрытой ладонью, ласково позвал:

— Кенгра-ай, Кенгра-ай.

Кенграй поднялся. Жалобно повизгивая и занося зад в сторону, приковылял к хозяину. Было очевидно, что увечья серьезные. Надо полагать, что ушиблен позвоночник и повреждены ребра. У нивхов запрещено бить собаку по позвоночнику и в бок — это может привести к непоправимым последствиям. Когда необходимо наказать собаку, ее бьют чаще всего по шее и по голове. При несильном ударе голова более безопасна, чем хрупкий позвоночник.

«Нехан — опытный охотник. Он должен знать, как обращаться с собаками»,— с горечью думал Пларгун.

Нехан вышел за дровами. Наложил на левую руку столько поленьев, сколько в связке на спине мог унести Пларгун, легко поднялся, открыл правой рукой дверь и, обернувшись, сказал:

— Зайди на совет.

Лучка полулежал в углу на скатанной постели, дымил новой трубкой, вырезанной на днях из плотного березового корня.

— Ну что, кажется, главное для начала сделали,— как-то слишком спокойно, обыденно сказал Нехан.— Избушки построены — есть где зимовать. Теперь наступила пора охоты. Соболь уже полностью переоделся в зимнюю шубку, мех крепкий.— Сидя на полу, он достал из-под нар скомканный темный рюкзак, вытащил округлую темно-коричневую шкуру с нежной, шелковистой шерстью, встряхнул ее и подул на мех. Длинная ость заискрилась, обнажив густой голубоватый пух — подшерсток.

— Три дня назад он сам вышел на меня в распадке. Вскочил на дерево и стал преспокойно посматривать оттуда. Наверно, хотел отдать мне свою дорогую шкурку,— явно адресуясь к старику, сказал Нехан.— И чтобы не обидеть Курнга, я снял этого зверя для пробы,— спокойно, будто шел разговор о чем-то несущественном, закончил Нехан.

— Хы! — изумился старик. Вытащил изо рта трубку, положил прямо на пол, протянул руку. Встряхнул привычным движением шкурку, пронаблюдал, как лег мех, провел по нему пальцами.

— Вот это «проба»! — уважительно сказал старик и передал шкурку Пларгуну.

Пларгун никогда не охотился на соболя, но много раз видел шкурки, но такие темные, как эта, встречал редко.

Нехан бросил шкурку в рюкзак и продолжал прерванный разговор:

— Соболь сменил мех полностью. Пора.

Нехан не говорил, как охотиться. В начале охотничьего сезона, когда снегу мало и зверь бегает где ему угодно, ловушки — дело второстепенное. Тут нужно промышлять ружьем. Об этом знает всякий охотник. И Пларгун вновь в мыслях вернулся ко вчерашнему. Как же ему быть без собаки?! Кенграй сильно покалечен и не скоро поправится.

— Когда пойдете осматривать свои участки, наткнетесь на седлообразную сопку, что стоит примерно на одинаковом расстоянии от наших трех избушек. Сопка небольшая, ее легко обойти за полтора часа. Она изрезана распадками. В сторону полудня, если идти от этой сопки, возвышается невысокий, но длинный хребет с гольцом на одной вершине. Хребет расколот в нескольких местах поперечными впадинами. Седлообразная сопка полого опускается в ту же сторону и упирается в одну из его впадин. Думаю,

у стыка сопки с хребтом и будет место встречи наших путиков. Путики пробьет каждый, когда сочтет нужным. Увал-хребет уходит от побережья в глубь тайги. Он и будет границей наших участков. А седлообразная сопка разделит наши с тобой участки,— Нехан кивнул на Пларгуна.— Вот, кажется, и все.

Нехан умолк. На его широком, мясистом лице играли темные тени. Он повернулся к собеседникам спиной, нагнул голову так, что побагровела шея, и сказал, придав голосу озабоченность:

— Вы уже знаете, что продовольствие растаскали воры-росомахи, а масло сожрали собаки. Я наскреб немного муки и соли. Килограммов на десять муки и горсти по четыре соли на брата — вот и все, что удалось наскрести. Это от силы месяца на полтора. А дальше не знаю, как быть. Придется жить на одном мясе.

Установилось тягостное молчание. Сухие дрова живо потрескивали в печке, в окно цедило блеклым светом осеннего дня.

— Что будем делать?

Этот вопрос ввел Пларгуна в такое состояние, будто его подвесили на чем-то непрочном и подняли в воздух. Чем дальше тянулось молчание, тем, казалось, его поднимают выше.

— Может быть, кто-то из нас вернется в селение за продовольствием?— Нехан ни на кого не смотрел. Он настороженно потупил голову и ждал, когда ему ответят.

Идти сквозь тайгу сотни километров через заснеженные хребты и непроходимую чащобу — это почти самоубийство. К тому же ясно, старому Лучке это непосильно — он отпадает. Оставались Нехан и Пларгун.

— Что будем делать?

Пларгун почувствовал, как в его висок впился цепкий взгляд. Пларгун даже перестал дышать.

Нехан обернулся к Лучке, но тот угрюмо молчал.

— Э-э,— прервал затянувшееся молчание старик. Нехан резко обернулся. Его требовательный взгляд спрашивал: а ну, что ты скажешь? — Э-э, дело ведь такое, совсем даже не безнадежное. Разве когда-нибудь люди умирали, когда вокруг бегает столько мяса, а у людей в руках оружие? Да и продовольствия какой-то запас есть. Не-ет, мы не в безнадежном положении. А идти кому-то в селение — вот это дело почти безнадежное. Когда он еще дойдет до него! Да и реки еще не все стали. Только в древности могли нивхи сюда на собаках проникать. Но каким путем они ездили?

Нехан нервно и нетерпеливо слушал старика.

Пларгун облегченно перевел дыхание.

...Кенграй плелся позади. Он тяжело прихрамывал, жалобно скулил, взвизгивал.

Они шли по своему следу вдоль реки. На поворотах Пларгун останавливался, поджидая собаку. Кенграй подходил медленно, преданно смотря на хозяина умными карими глазами, в них была мольба: не бросай меня.

Но вот за одним из поворотов человек не дождался своей собаки.

— Ке-е-е-нгра-ай!

Собака не появлялась.

— Кенгра-ай! Кенгра-ай!

Собака не появлялась.

Пларгун сбросил тяжелый мешок и помчался назад.

Он нашел пса у трухлявой заснеженной колоды. Кенграй, обессилев, лежал под сгнившим деревом. По-видимому, он пытался перелезть через толстый ствол — на стволе был сбит снег,— но силы покинули его.

Голова безжизненно лежала на лапах, пасть беззвучно раскрывалась, источая густую слюну; изредка сквозь неслышный стон пробивался визг.

— Кенграй! — позвал Пларгун, подбегая.

Пес попытался подняться, но ноги его подломились, и он упал.

Пларгун опустился на колени.

Сперва раздался всхлип. Потом еще. Еще. Окружающие деревья и кусты впервые услышали, как плачет человек.

Он шел пошатываясь, будто находился в глубоком опьянении. Рубаха промокла насквозь и прилипла к горячему телу. Промокли и ватная телогрейка и теплые брюки. Все тело налилось жаром. Жар пробивался через одежду и клубился тяжелым паром.

Спина ныла, ноги мелко дрожали, натруженно гудели. День на исходе...

Уже вечер окутал мир... Ноги требуют отдыха... Уже звезды пробились в темно-густом небе... Каждый стук сердца отдается в ногах. Потом все онемело: и ноги, и согнутый торс, и спина, и руки. Притупились чувства... Только бы не упасть. Надо идти, идти, идти. Упадешь — больше не встанешь. Никогда. «Идти... идти... идти...» — упорно стучит в замирающем сознании.

Он еще помнил, как уложил ношу, как отодвинул лесину, которой подпирал дверь...

Лучка подобрался под самую ель, громадную, раскидистую. Дерево своими лапищами коснулось старика.

...Ночью ему снился предок, большой и суровый. Лучка хотел было подойти к нему, но предок отошел от него. Лучка сделал еще несколько шагов — предок отошел от него на столько же.

«Чем я тебя прогневал, отец? Почему ты холоден ко мне? Иду ли я в тайгу, в сопки, выхожу ли я в море, во льды — всегда обращаюсь к твоему образу, а через тебя к еще более древним предкам. Попаду ли я в беду или какая трудность встретится мне — всегда обращаюсь к твоему имени. Так почему ты обижаешь меня?»

А предок сказал глухо, как из-под земли:

«Я знаю, что произошло у вас. Мне больно слышать, как оскверняют люди законы тайги. Человек, прежде чем войти в тайгу, должен оставить плохие мысли. Мне казалось, что ты достаточно мудр, чтобы в священной тайге всегда царили мир и добро. Как ты это мог, старый человек?..»

Лучка стоял у ног предка — маленький и смятенный. Он воздел руку кверху, но предок исчез, словно дым.

«Разве я не делал все, чтобы мы принесли в тайгу мир и согласие? Да, я старый человек, должен был сделать все, чтобы предупредить ссору. Я должен был своими советами направлять умы людей. Но я не в силах сделать это. Нехан утвержден нашим бригадиром самим районным начальством. Разве он послушается меня? Извини, тайга, людей, что они позволили переступить обычаи предков. Извини. И сделай все, чтобы нам хорошо было. Чух!» — широким движением Лучка рассыпал горсть рисовой крупы, взятой с собой специально для жертвоприношений. Разложил у основания дерева несколько папирос.

Затем старый человек подошел к огромной лиственнице и обратился к ней с просьбой не гневаться на людей. И еще попросил благополучия. В той лиственнице наверху есть дупло. Оно прикрыто толстым многоветвистым суком. Дупло — дом соболя. Лучка видел его однажды на рассвете. Он черной молнией мелькнул вверх по обомшелому стволу и юркнул в дупло. Только и заметил старик — соболь отменной черноты, вороной. У охотников этот самый дорогой сорт называется головкой.

Лучка обрадовался, будто соболь обещал ему удачу. И каждый день, проходя мимо дерева, высматривал только ему видимые приметы, следы соболя... Нет, он не будет преследовать его. Пусть себе живет рядом со стариком.

Соболь, как талисман, как наговор могущественного шамана... Потом старик крадучись отходил в сторону и шел по своим делам. Соболь рядом — значит, есть надежда на удачу. Старик дал соболю имя — Пал-нга [1]. Этим старик выделил его среди других соболей и приблизил к Пал-Ызнгу.

И на этот раз он тихонько подкрался к дереву и увидел свежие следы зверька. Лучка вздохнул облегченно и, надеясь, что все обойдется, ушел в избу.

В это время на соседнем участке Нехан спешил разбросать приваду и ругал погоду самой отборной бранью.

К вечеру разыгрался первый в этом году буран.

Пларгун мгновенно открыл глаза и некоторое время соображал, где он. Потом вспомнил о собаке. Где же Кенграй?

Хотел было встать, но по телу будто молния прошла, и в глазах помутилось. Он тихо застонал. И тут почувствовал на своем лице что-то мягкое, теплое. А Кенграй продолжал лизать своего друга и спасителя. Живы! Но как смог он осилить неимоверный груз — тяжелый рюкзак и собаку?..

Пларгун не помнит, как он забрался в спальный мешок. Теперь, когда проснулся, почувствовал: лежит очень неудобно. Отлежал бок и руку. Надо вставать.

Большого усилия стоило преодолеть боль в разбитом теле.

Первым делом надо затопить печку, а то избушка так настыла, что в ней стоит колотун, от которого мигом околеешь.

Пларгун толкнул дверь. Но тут в него будто дунули сразу сто чертей, захватило дыхание, в лицо вонзился мелкий колючий снег. Дверь больно ударила по голове, отбросила его назад, захлопнулась. Был сильный буран. Когда он только успел разыграться? Сколько же я спал?..

Желание выйти на улицу как рукой сняло. Он плотно прикрыл дверь, вернулся к нарам. Сел. Руки безвольно повисли. Хотелось забраться в мешок, закрыться с головой, обогреться дыханием.

...Род Койвонгун произошел от дерева кой-лиственницы. Раньше на земле не было никакой жизни. Да и земли никакой не было. Было только одно огромное море.

На море жила одна-единственная птица, маленькая утка — чирок. Утка летала по небу, плавала в море. Одна на все небо и на все море. Но не могла она жить одна. Старея

---

[1] Пал-нга — Горный зверь.

и чувствуя приближение смерти, она решила оставить после себя жизнь. Но куда положить яйца? Они не могут лежать на воде.

Как-то в тихий солнечный день утка спокойно сидела на море и чистила перья, смазывая их жиром. С груди слетело перо и медленно поплыло по морю. Такое бывало и раньше. Но на сей раз утка погналась за пером, положила под себя и стала ощипывать с груди перья, сбивать из них круглое гнездо.

Снесла яйца. Из яиц проклюнулись маленькие желтенькие утята. Мать выкормила их. А дети, став взрослыми, тоже повыщипывали из своих грудок перья. Образовалось много гнезд. Их соединили вместе — получился остров. Утки снесли яйца. И многочисленные дети сделали то же самое.

С тех пор прошло много времени. И тот остров вырос в огромную землю. На этой земле появилась всякая живность: травы и насекомые, птицы и звери, деревья и люди... Люди появились позже. Сперва выросло дерево кой-лиственницы. На солнце и в вольном воздухе оно поднялось до самого неба. Сильное дерево держало на своих ветвях сотни птиц и зверей с их гнездами, кормило их своими семенами. На земле развелось живности неисчислимое множество. Но в дереве было много силы, и она пробилась сквозь толстую кору и смолою стала стекать на землю. Только коснулась смола земли, из нее появился человек. Люди других родов появились от других предков. Есть нивхи, которые пошли от орлов. Но род Койвонгун, веткой которого является Лучка, произошел от лиственницы...

А чирки, они осенью улетают в сторону полудня, весной возвращаются обратно. Вы думаете, почему они делают далекие перелеты? Они ищут конец земли, но земля стала настолько огромной, что ни конца ни края не видно. А чирки и по сей день выщипывают свои перья. Им все мало. Хотят, чтобы земля росла и живность на ней умножалась.

Три дня продолжался буран. К вечеру третьего дня небо посветлело, образовав в нескольких местах голубые окна. Края туч подернулись розовой морозной каймой.

Две вороны, преодолевая слабеющие порывы ветра, косо прочертили небо, сели на сук ближайшей лиственницы, с голодным любопытством наклонили хищные головы и прокричали:

— Ка-ак? Ка-ак?

...После случая у Нехана Пларгуна все угнетало. Было больно за Кенграя, больно, что Кенграй стал виновником

ссоры. Только непонятно, как ящик с маслом оказался на земле? Он же был в лабазе, а лабаз на высоких столбах. Собаки не могли сами стащить ящик. Тут что-то неясно. Может быть, Нехан спустил ящик для чего-нибудь, а поднять забыл?.. Да, тут дело неясное. А Нехан страшен в гневе. Пларгун радовался, что теперь он далеко от этого человека.

Кенграй уже мог ходить, даже пытался преследовать рябчиков в прибрежном ельнике. Он увлекся и неосторожно зацепил за сухой сук, взвизгнул от боли, заскулил протяжно; еще долго боль будет давать о себе знать...

Когда неверный свет раннего утра просочился в маленькое окошко, Пларгун проснулся, как от толчка. Спросонья никак не мог понять, что его разбудило.

Непонимающе посмотрел вокруг. Взгляд упал на патронташ, на ружье, приставленное к стене,— резко хлопнул по голове: ведь собрался же с утра выйти на охоту и боялся проспать!

Кенграя оставил в избушке — ему нельзя, он еще не поправился.

Тайга молчала. Лишь маленькие и легкие, как пушинки, синички копошились на нижних ветках старых елей, ворошили космы провисших черных лишайников, внимательно всматривались блестящими круглыми глазенками в трещины коры, отщипывали от нее чешую и, уколов тишину тонким писком, перелетали на следующее дерево.

На чистом снегу аккуратные крестики — следы рябчиков. От дерева к дереву словно два ряда бисера. У основания дерева в сугробике дырка, будто снег пронзили прутом. Это следы мыши.

А вот белка размашисто чиркнула по пороше и взлетела на ель. Пларгун осторожно обошел дерево, внимательно всматриваясь в тени между ветвями. Если белка на дереве, она должна дать о себе знать: шелуха ли упадет от еловой шишки, ветка ли покачнется или снег посыплется сверху. А может быть, она притаилась? Пларгун всматривался до рези в глазах, но никаких признаков белки не обнаружил.

Он отломил сухой сук и ударил им по стволу ели. Всмотрелся. Прислушался. Дерево молчало. Охотник забросил палку и углубился в чащу.

Следы зайцев и лис попадались часто. Но разве настигнешь этих быстроногих тварей! Их можно взять на лежке или когда они случайно нарвутся на выстрел. Но где она, лежка?

Потом Пларгун увидел свежие следы оленей. «Хорошо бы свалить одного — для привады»,— подумал он.

Олени то шли гуськом, то рассыпались. Местами снег взрыхлен, истоптан. Охотник прочитал по следам: самцы то и дело сходились и упорно бились.

Стадо не могло уйти далеко. И действительно, через полчаса быстрой ходьбы Пларгун нагнал его на замерзшей мари.

Два молодых хора беспокоили стадо. Третий, высокий, могучий, хор набрасывался на соперников, отгоняя их от важенок. Пларгун вдруг узнал в стройном хоре того бурого самца, который еще до снегопада выиграл на лесной поляне жестокий бой у стареющего великана. И юноша обрадовался встрече со старым знакомым.

Теперь хор-владыка обзавелся гаремом. В тайге сильный владеет всем. От него идет жизнестойкое потомство. И этот закон тайги вполне оправдан.

Юноша заметил в стаде облезлого тощего хора с побитыми рогами. Он внимательно следил за могучим хором и, когда тот, преследуя соперников, покидал стадо, норовил отбить самочку.

Бурому нелегко бороться сразу с несколькими соперниками.

Тощий старый самец выбрал удобный миг, выскочил из-за деревьев, кинулся к стаду и стал нагло распоряжаться в нем. Пларгун быстро поднял ружье. Выстрел разбросал стадо. Самки шарахнулись к деревьям и исчезли в чаще. А бурый хор выскочил на марь, грозно оглянулся кругом и грациозно поскакал вслед за самками. Пларгун некоторое время соображал: почему он выстрелил именно в старого самца? И нашел ответ: старый самец портит стадо. Молодой охотник только помог навести порядок...

Он углубился в ельник, местами разреженный березой и кустами кедрового стланика. И тут наткнулся на округлые парные следы. Соболь!

Мягкие вмятины округлой формы пролегли от дерева к дереву, от куста к кусту. Соболь никогда не идет шагом. Он скачет, оставляя парные следы. С удивительной точностью, ноготь в ноготь, ставит он задние лапки в следы передних. И никогда не оставляет «бороды». Его побежка[1] изящна и аккуратна.

Пларгун отломил прут, коснулся им следа. Прут мягко прошел в снег — след свежий, мороз еще не успел прихватить.

---

[1] Побежка — цепь следов мелкого зверя.

В нескольких местах на снегу обозначились мелкие парные следы. Встретившись с побежкой соболя, они обрывались, уходили под снег. Это следы маленького, но алчного хищника — ласки. Соболь не любит соседства с этим злобным зверьком и всегда старается изгнать его из своих владений.

Четкий соболий след повел от кустов к лежащему дереву. И по снегу, что пластом прикрыл его, протянулась цепочка.

Сердце молодого охотника забилось взволнованно. Участилось дыхание. Глаза азартно проследили за направлением побежки. Цепочка оборвалась у валежины.

Ноги сами потащили к валежине. Соболь обошел валежину вокруг и, не найдя здесь ничего интересного, проскакал дальше.

Зверек не мог уйти далеко. Наверно, он где-то поблизости... Пларгун в азарте помчался по следу. Ему казалось, где-нибудь рядом зверек выскочит из кустов или из-под колодины и, спасая свою шкуру, взлетит на дерево. А там... Пларгун умеет стрелять.

Он бежал уже полчаса. А след вел дальше и дальше, петляя и кружа, не оставляя без внимания ни одного поваленного дерева, ни одного дупла, ныряя в лома — нагромождения мертвого леса, заскакивая на гнилые пни. Потом ходил спокойными размеренными скачками. А дальше этот след пересек следы другого соболя, проскакал по нему немного. Пларгун остановился в нерешительности, он еще не умел различать следы одинаковых зверей.

Тогда молодой охотник решил: надо при пересечении выбрать поздний след и идти по нему. Так и сделал...

Кажется, уже за полдень. А следу не видно конца. Пора бы возвращаться назад... Но тут вышел он к следам человека. Кто мог здесь ходить? След овальный с ровным обмином. Тоже, значит, в торбазах. Неужели вышел на участок Нехана?

Через час или больше опять наткнулся на человеческий след. Пларгун внимательно осмотрел его. Человек преследовал соболя. «Да это же мои следы!— холодом ударило в сердце.— Неужели заблудился?!» В голове теснились лихорадочные мысли. «Что делать? Что делать?»— стучало в висках. «Заблудился, заблудился!»— злорадствовал невидимый бес.

Пларгун глянул на небо. Оно прикрыто высокими спокойными облаками: погода не изменится. Это хорошо. Очевидно, все-таки лучше идти от места пересечения навстре-

чу пересекаемому следу... Неизвестно, как далеко сейчас находится Пларгун от избушки. В любом случае путь от пересекаемого следа короче. «Пожалуй, засветло дойду до избушки»,— решил он. И, приняв разумное решение, пошел быстрым, широким шагом, теперь время решало все.

Слева в отдалении открылась сопка с частым ельником на пологих склонах. Охотнику показалось — он ее видел раньше. От нее до избушки около часа ходьбы. А не пойти ли к ней напрямик? К тому же уставшие ноги просили пощады. Но след тянул к себе, держал цепко. Юноша боялся, что, уйдя от следа, больше не найдет его в темноте. Тогда придется ночевать в тайге.

А небо темнело на глазах. Может, уйти от следа и срезать путь напрямик через сопку?

В лощинах скопилось много свежего снегу. Снег прикрыл все, и ноги часто проваливались в ямы. Мягкие торбаза, отлично приспособленные для ходьбы по ровному и по твердому, плохо предохраняли от ушибов, ноги садняло от ударов об острые сучья и камни.

Когда Пларгун взобрался на сопку, на небе уже зажглись звезды. Они, высвеченные потухающей зарей, мерцали, мелкие и слабые. Охотник осмотрелся с вершины сопки. Перед ним тайга, тайга. Бескрайняя тайга, окутанная синей тенью.

В каком же направлении избушка? Он вглядывался в темнеющие дали, но перед ним были только деревья. И ему стало страшно. Возвращаться к следу было бессмысленно: ночь застанет на полпути и тогда...

Надо срочно собрать дрова для ночного костра.

Пларгун спешил. Но, как назло, поваленные бурей деревья были так громадны, что соорудить из них костер — невозможно. Пларгун вытащил из рюкзака маленький топорик и стал срубать сучья.

Сухие сучья тверды, как металл, а топорик слишком мал, чтобы с маху перерубить их. Он годен разве только для городских охотников-любителей, которые и тайги-то не видели, и костра-то настоящего не разводили...

Топор отскакивал от сучьев, как от стальной пружины, больно отдавая в руку. Пларгуну стоило больших усилий нарубить сучьев для костра.

Ногами он разгреб снег у искари — вывороченного корня громадной ели, разложил дрова. Ножом насек щепок, настругал стружек от сухой ветки пихты. Пихта, хотя и дает тепла меньше, чем лиственница, но легче схваты-

вается огнем. Смолистую пихту, как и бересту, используют в тайге для растопки.

Маленькое пламя от спички охватило свившиеся узором стружки, вспыхнуло, перешло на щепки, пробежало по ним, точно чуткие пальцы слепого, и, убедившись в их способности гореть, подожгло. Вскоре огонь, треща и разгораясь, схватил снизу бестолково сложенный сушняк.

Пламя от костра высветило из темноты ближайшие деревья, отдаленные же отбросило в черный провал. Мир сузился предельно, до размеров охватываемого светом костра.

Костер весело трещал, пламя гудело, будто ветер в трубе. На душе стало веселей. Врешь, не возьмешь меня! Гори, костер! Гори!

И он горел. Горел быстро, неэкономично, потому что сложен был неумело. Приходилось возиться с валежинами, рубить мелкий сухостой. На это уходили силы.

Натаскав дров, Пларгун сел поужинать. Достал из рюкзака смерзшийся кусок оленины и небольшой ломоть хлеба. Никогда в жизни не ел он ничего вкуснее.

Только съев последний кусок мяса, почувствовал, как нужен горячий чай. Пларгун полагал, что уйдет недалеко, и не взял с собой чайник.

«Идешь на день — бери на три дня!»— кто-то мудро сказал. В следующий раз без чайника и шагу не сделаю. А сейчас придется заесть снегом.

Пларгун прислонился к нагретой искари, как к теплому щиту. Тело разомлело от жары. Голова налилась тяжестью и клонится, клонится к груди. Уставшие от напряжения мышцы блаженно расслабились, приятная истома растеклась по всему телу. Веки стали тяжелые-тяжелые, будто налились свинцом.

Не засыпать!

Пларгун пытается открыть глаза. Но все усилия напрасны. А в голове стучит: не спать! не спать! Пларгун пальцами пытается раздвинуть сомкнувшиеся веки. Пальцы будто одеревенели: неповоротливы и непослушны. Наконец ему удается разомкнуть веки. И видно: перед ним струится и пляшет ярко-красное пламя, будто льется свежая кровь-костер.

Гори, костер. Гори!

А голова падает... падает...

— Ну, так когда же придет хозяин?

Кенграй еще днем начал проявлять беспокойство: вста-

вал, нервно ходил от стены к стене, садился, внимательно всматривался в дверь, вслушивался.

Теперь беспокойство овладело им настолько, что он уже не находил себе места в избушке.

— Ну так когда, говорю, придет хозяин?

Кенграй в ответ взвизгнул, нетерпеливо заходил передними лапами, опять уставился на дверь.

— Вот кончу обшивать лыжи, затопим печь и горячим чаем встретим хозяина.

Время шло. Уж вечер опустился на тайгу, а хозяина все нет и нет. Теперь волнение собаки передалось старику. Шутливый тон сменился беспокойством:

— Хы, однако, уже ночь!

...Они шли по следу. Полная луна поливала обильным светом ночной мир. Каждое дерево, каждый куст, каждая ветка и каждая вмятина на снегу резко выделены и оттенены.

Старик запыхался. Кенграю было еще тяжелее. Через несколько шагов он останавливался, взвизгивал от боли, но, собравшись с силами, продолжал упорно уводить в ночь. «Далеко ушагал. Как он сейчас там?— беспокоился старик.— Может быть, выстрелить в воздух? Авось откликнется»,— старик стаскивает с плеча ружье...

Кенграй поднял голову, навострил уши, помчался к валежине, перевалился через лиственницу.

Старик обошел искарь кругом и увидел его. Он сидел, привалившись к искари, подогнув ноги, сиротливо обхватив себя руками спереди. Голова безжизненно склонилась к груди. Легкий ветер тихонько пошевеливал выбившуюся из-под ватной стеганки кисть шарфа.

Перед ним — груда пепла и несгоревшие концы сушняка. Старик снял рукавицу, тронул пепел. От прикосновения пепел вспучился. Его неслышно подхватил ветер, снес в сторону. Пепел был чуть теплым. Холод волной окатил старое, видавшее всякие беды сердце. Кровь отхлынула от лица, мороз ожег спину.

Лучка подошел к юноше. Не веря возникшей у него страшной мысли, притронулся к спине. Затем крепче схватил за плечо, дернул.

Пларгун, не меняя позы, повалился на бок. Ударился о мерзлую землю, шевельнул ногами, вытягивая их. Потом открыл глаза. Заиндевелые ресницы недоуменно захлопали.

— Нгафкка, вы замерзли.

— Что?— Пларгун не понял, что происходит вокруг. Облокотился и попытался встать, но зашатался и упал.

Старика будто подменили. Острый топор, перерубая сучья и сушняк, зазвенел на всю тайгу.

Вспыхнул большой языкастый костер, обдал жаром. Лучка набил чайник снегом, поставил к огню.

Пларгун немного отошел. Встал, но не смог разогнуть окоченевшие ноги и спину. Так и ходил, согнувшись в три погибели.

— Походи еще!— скомандовал старик, когда Пларгун присел на обрубок сушняка.

Чайник тонко запел. Старик бросил в него еще ком снега. Вскоре крышка подпрыгнула, из-под нее клубами вырвался пар.

Старик налил кружку горячего чая и дал ему немного остыть, чтобы Пларгун не обжегся.

Пока юноша отогревался чаем, старик перенес костер в сторону, на горячий пепел накидал елового лапника и скомандовал:

— Ложись.

Снял свою доху, накрыл юношу, сверху завалил лапником.

— Будет очень жарко. Терпи.

Старик подсел к костру, не спеша заварил себе чай. У него незыблемый закон: в тайге ни при каких обстоятельствах не отказывать себе на ночь в горячем чае.

— Жарко!— раздалось из-под груды лапника.

— Терпи!

Старик вытащил кусок вареного мяса, подержал его над огнем, опалил слегка.

— Жарко!

— Терпи.

Старик поел. Медленно, наслаждаясь, потянул из кружки чай, потом подошел к груде лапника, скомандовал:

— Переворачивайся на другой бок!

Поправил доху и еловые ветви, вернулся к костру, налил полную кружку чаю.

— Мечтал о шашлыке из медвежатины, а сам превратился в шашлык,— глухо донеслось из-под груды лапника.

Пларгун ожидал, что после злополучного ночлега в тайге с ним будет плохо. Но — обошлось.

Когда к концу второго дня старик заявил, что утром уходит, Пларгуном овладела паника. Со стариком, добрым, всемогущим стариком, и уютней, и теплей, и чувствуешь себя человеком. А тут вновь закралось сомнение в своих возможностях, и опять он ощутил бессилие и свое ничтожество...

— Ваш участок рядом с моим. И должно быть, скуден зверем. А у меня участок — вся тайга! Зверя хватит не только на двоих,— быстро, будто боясь не успеть, проговорил Пларгун.

Старик ответил пристальным, суровым взглядом.

В эту ночь юноша допоздна не мог заснуть. И хотя Лучка не шевелился, Пларгун уловил: он тоже не спит...

Лучка уходил утром. Он ни разу не оглянулся. Пларгун стоял долго, прислонившись к двери, и растерянно мял шапку, которую почему-то не надел, хотя было ветрено и морозно...

В последние дни он все чаще и чаще возвращался в мыслях к дому... Там тепло сейчас. Пусть даже и не ловится рыба, но там тепло. И ничто не страшит тебя. Хорошо ребятам — они вечерами в клубе. Нигвит... Как ты? Скучаешь ли по мне?.. Пларгуну очень хотелось, чтобы ей не хватало его... Дядя Мазгун... Если бы ты знал, как нелегко мне стать тем, кем ты хочешь меня видеть...

Может быть, зря я уехал так далеко от дома? Ведь есть же участки неподалеку от поселка. Я бы через каждые десять дней наведывался домой... Домой... Наверно, мать вся извелась, тоскуя. Зря я мучаю и мать и себя. Ведь есть же охотничьи участки неподалеку от поселка. Правда, небогатые. А мать каждый день с утра выходит на залив и под пронизывающим до костей ветром долбит тяжелой пешней толстый лед... Сорокаградусный мороз... тяжелая пешня... неподатливый лед... А рыба? А рыбы нет. Ее нет уже много лет. На побережье ее всю выловили. Говорят, и в океане ее мало стало... И мать с тупым ожесточением долбит на заливе лед.

Нет, мать, я привезу соболей. Да, да, привезу. Я обязательно привезу соболей!

Уходя, старик вручил Пларгуну отличные охотничьи лыжи, обшитые мехом, и проговорил торжественно, как при исполнении ритуала:

— Пусть творение рук старого человека поможет молодому человеку в его первых шагах на трудной тропе охоты! Удачно идти!

Старик ушел и унес с собой хорошую погоду. Из-за дальних хребтов налетел ветер, завихрил снег, перемел, сдул с открытых мест, завалил распадки, трещины, бочаги.

Потом явились тучи, чем-то напоминающие большие темные машины, которые доводилось видеть Пларгуну. Подошли тяжело груженные тучи-самосвалы и разом сбросили свой груз на тайгу.

Когда установилась погода, Пларгун стал на лыжи. Легкие, послушные, они мягко скользят по рыхлому снегу.

Он взял с собой Кенграя. За три недели пес оправился от ушибов и теперь охотно шел в тайгу.

Пларгун согнулся под тяжестью рюкзака, заполненного олениной на приваду. В руках — ружье. Палку решил не брать. Пларгун хороший лыжник, а на подъемах мех на лыжах хорошо сцепляется со снегом, не скользит назад. Так что палка просто не нужна.

Охотник прошел вверх по берегу реки, дошел до первого распадка, склоны которого густо облеплены ельником, прошел по ключу в сторону истока. Распадок у устья неширок. Пойма покрыта ивой, березой, ольхой. Выше распадок сужается клином. Здесь местность очень привлекательна: склоны распадков покрыты старым ельником. В чаще Пларгун нашел две пересекающиеся колоды и бросил около них приваду.

Свежих следов мало. Но соболь должен подойти к приманкам, и охотник разбрасывал приваду у каменистых россыпей, на обвалившихся склонах бугров, у мшистых валежин и у нагромождений поваленного леса. Все заприваженные места отметил затесами на деревьях.

Скоро распадок вклинился в невысокое светлое лиственничное плато. Кенграй, до этого рыскавший поблизости, принюхиваясь к старым следам, вдруг сорвался — только снежная пыль взмыла за ним и медленно, искрясь, оседала, запорашивая его же следы.

Соболь! Соболь! Наконец-то! Охотник помчался по пологому склону вверх на плато. Он часто семенил, подминая под собою снег и радуясь совершенству охотничьих лыж; они даже на самых крутых склонах нисколько не отдавали, позволяя быстро взбираться на возвышенные места. Он мчался вверх, не глядя ни по сторонам, ни под ноги. Он знал, что собака нагоняет дорогого зверя, и тому ничего не останется, как спасаться на дереве. Зверь на дереве — верная мишень. К нему можно открыто подойти совсем близко. Даже немного полюбоваться им.

Пларгун мчался, вслушиваясь, не залаял ли пес. Спешил быстро одолеть подъем. И уже на самом верху склона задел ногою за толстый сук от валежины, споткнулся и, неловко балансируя, опрокинулся на спину.

Лыжи, сдав назад, глубоко ушли в снег

Пларгун лежал в мягком, удобном снежном ложе.

Хотел было подтянуть ноги, но их будто взяли в тиски: лыжи прочно вошли в снег. Попытался облокотиться, но

снег предательски разверзся, и рука провалилась на всю длину. Попытался сесть без помощи рук, но мешала одежда и тяжелый рюкзак. Надо скинуть рюкзак. Действуя руками и чуть поворачиваясь влево и вправо, сбросил лямки. Освободившись от груза, вновь попытался встать. Но стоило ему напрячься, как снег под спиной осел. Теперь молодой охотник лежал в вырезанном по форме его тела глубоком снежном ложе. «Снежный гроб»,— мелькнуло в голове, и Пларгун вздрогнул. Панический, нечеловеческий вопль огласил тайгу.

Потом он услышал лай Кенграя. Заливистый, азартный. Загнал все-таки на дерево. Цепко держит.

— Кен-гра-а-а-ай!

Лай Кенграя далекий, зовущий. Перекатывается, гулко дробясь о стволы лиственницы.

— Кен-гра-а-а-ай!

Зря, совсем зря не взял лыжную палку. Круг на палке сплетен из лозы ивы. Он хорошо держит палку на снегу, не топит. Старик — мастер, каких не часто встретишь. Зря, совсем зря не взял палку... А небо, оно серое... Черт возьми, где же Кенграй?

— Кен-гра-а-а-ай!

Уже совсем негромко раздается лай. Охрип бедняга. Не дождется меня.

Вскоре где-то совсем рядом заскрипел снег. И в то же мгновение Пларгун почувствовал на лице горячее прерывистое дыхание.

— Кенграй, друг мой. Ну, что же это такое, а? Почему мне так не везет?

Кенграй, нетерпеливо повизгивая, суетливо бегал вокруг. Ему было непонятно, почему хозяин ничего не делает, когда соболь сидит на дереве.

— Кенграй!— простонал Пларгун.

То ли голос подсказал псу, что человек находится в беде, то ли сам понял это, но подскочил к хозяину, схватил зубами за плечо, стал тянуть. Тянул сильно, бестолково.

Пларгун выпростал из снега руки, повернул пса головой вверх, по склону, взял его за складку кожи на загривке.

— Та-та!

Могучая лайка сильно дернула, и Пларгун сел. Помогая себе движениями корпуса и опираясь на собаку, подтянулся вперед, встал на ноги. Резкими рывками вытащил лыжи. Поднял рюкзак и, еще не веря своему спасению, вдруг рванул наверх. Он помчался быстро, будто за ним гналась смертельная опасность.

Увидев человека, соболь кинулся еще выше, винтом обежал макушку дерева, пытаясь найти безопасное место.

Соболь сидел на самом верху лиственницы у основания сдвоенного сука. Темно-коричневый на спине и чуть светлее на брюшке. Спина изящно изогнута, хвост молодым месяцем лежит на суку, ветер чуть слышно теребит его конец. Какой красавец!

Пларгун скинул с плеча ружье, переломил его, чтобы зарядить патроном с дробью средних размеров. И тут увидел, что ствол ружья забит тугой снежной пробкой. Поднес его ко рту, чтобы продуть. Но, как ни тужился, пробка оказалась сильнее его легких. Пришлось вырезать тонкий прут, и только тогда пробка поддалась, раскрошилась и высыпалась серебристой пылью.

Спокойно прицелился, нажал на гашетку. Соболя подбросило в воздух вместе со щепками, отколотыми от ветвей, Кенграй подскочил, на лету поймал зверька, несколько раз стиснул его зубами и подал хозяину.

Первый соболь!

Снег падал день и ночь. Падал медленно, крупными хлопьями. Лег на ветках и лапнике толстыми пластами, будто кто аккуратно, чтобы не сорвались, разложил их как можно больше. Ветви провисли под тяжестью, деревья притихли, покорные и безропотные.

Молодые гибкие березы не выдержали груза, смиренно приникли головами к земле, образовав то тут, то там причудливые арки.

Серое небо без движения. И все — в молчаливом ожидании. Только слышалось через короткие промежутки, будто кто-то устало вздыхал тяжело:

— Пфых!

Пларгун прислушался. Где-то он уже слышал подобные звуки. Да, вспомнил! Это было на море, когда он выходил с дядей охотиться на нерпу во льдах. Огромное бурое животное плавало в чистой ото льда воде, выгнув спину, уходило на дно, через минуту-другую показывалось на том же месте. Сперва слышалось натруженное «пфых!». Потом появлялось само животное. Это сивуч пасся на подводных колониях морских моллюсков. Но то было в море...

Пларгун стоял молча, прислушиваясь. На него с дерева свалился огромный пласт снега. Обсыпал с головы до ног, облепил лицо — дышать стало трудно, проник за шиворот, промчался леденящей струей по горячей спине под одеждой.

Пларгун хотел было обломить ветвь ели, чтобы сбить с себя снег, но только прикоснулся к дереву, как по голове и плечам ударил целый залп.

Снег таял на лице, на руках, на спине. Промокла ватная куртка, промокли теплые, стеганые брюки.

А вокруг только и слышится плюханье комьев: пфых! пфых!.. Ветви, сбросив тяжелый груз, как крылья, взмывают кверху, раскачиваются, радуются своей легкости.

Вот огромный ком сорвался с высокой ели, угодил в сугроб, захоронивший вершину березки. И береза, вырванная из западни, распрямилась упругой пружиной, взмыла вершиной в небо, удивленно и испуганно оглянулась кругом — еще не верит в свое освобождение.

Лыжню завалило, и Пларгун шел по памяти, ориентируясь по редким зарубкам на деревьях. Снег был настолько рыхлый, что даже широкие охотничьи лыжи проваливались глубоко. Пларгун добрался только до первой привады, что у искривленной старой ели. Поверхность свежего снега изрешечена упавшими с деревьев комьями. Иногда охотник принимал мелкие лунки за долгожданные следы соболя...

В первый день после обильного снегопада ни один лесной обитатель не спускался на снег. Сидит в своем гнезде на дереве. Просыпающаяся тайга с ее извечными шорохами, звуками зовет зверя, но рыхлый снег страшит его: в рыхлом снегу даже самые сильные беспомощны.

Все зверье знает: через день снег осядет, ночью мороз схватит его, образуется наст, пусть непрочный, но достаточный, чтобы удержать их на осторожном ходу.

Сперва покинут свои гнезда те, кто не успел перед снегопадом наесться настолько, чтобы спокойно проспать ненастье. В голод и самые теплые гнезда покажутся холодными. Сегодня, а может быть, и завтра, следов не будет.

И Пларгун повернул назад.

А увидев, как Кенграй с головой проваливается в снег, как ему трудно достается каждый шаг, молодой охотник понял, что упустил самое добычливое время охоты с лайкой по малоснежью. И в душе, вскипая, поднялось смешанное чувство досады, ярости, бессилия, обиды на Нехана...

Эй, человек!

После обильного снегопада снова пришлось пробивать лыжню. Целинный снег был рыхлый и глубокий, и охотник

проваливался по колено. Вскоре Пларгун почувствовал, что занесенный след твердо прощупывается под слоем свежего снега. И молодой охотник двинулся медленно и осторожно, как слепой, нащупывая палкой тропу. А пройдя еще несколько шагов, убедился, что занесенный след легко уловить лыжами: они не глубоко уходят в снег, если точно ложатся на невидимую лыжню. И наоборот, тут же проваливаются, стоит соскочить с нее. Через какую-то сотню шагов Пларгун, приспособившись, уже точно знал, легла ли лыжа всей своей поверхностью на след, или только половиной, или четвертью.

Соболь побывал у большинства приманок, долго кружил вокруг, чуть притрагивался к мясу.

Молодой охотник ставил капканы, как учил старик Лучка: сначала подрезал снег под след подхода деревянной лопаточкой, что соединена с верхним концом лыжной палки, просовывал руку с ножом в образовавшуюся под следом пустоту, осторожно срезал оставшийся слой рыхлого снега, и, когда твердый смерзшийся наст на следу станет настолько тонким, что сквозь него можно будет видеть, как тенью движется темное лезвие ножа,— считай, след обработан. Теперь надо осторожно, чтобы не разрушить пленку снежного навеса, просунуть под него настороженный капкан. Затем свежим снегом присыпать ямку под следом, натрусить кухты и, убедившись, что капкан отлично замаскирован, заякорить его незаметно. Второй капкан ставить под след ухода.

На протяжении путика юноша насторожил около восьмидесяти капканов.

Два дня ожидания показались вечностью. Думалось, времени достаточно, чтобы соболь облюбовал приманку, пошел смело.

Пларгун две ночи видел сны: чуть не во всех капканах сидели соболи, один темнее другого. И, подгоняемый нетерпением, он отправился осматривать ловушки.

Еще за несколько шагов до первого капкана заметил: он сработал. Пларгун увидел голубоватый нежный мех, чуть припорошенный переновой — переметенным снежком. И он не подошел — подлетел к добыче, порывисто схватил ее. И тут как-то весь погас: руки опустились, ноги ослабли. В капкане оказался не соболь, а лесная воровка сойка, которая всегда сует свой нос туда, куда ее не просят... Пларгун разжал челюсти капкана, брезгливо отбросил сойку, будто это была не птица, а смерзшийся ком грязи.

— Ка-ак? Ка-ак? — раздается над головой, и черная

тень проскользнула по валежине. Ворона села на макушку ели и, любопытствуя, наклонила голову.

Черная ворона... черная кошка... пересекла дорогу... Нет, Пларгун никогда не был суеверным. Но все-таки неприятно, когда имеешь дело с вороной. Ворона — верный признак несчастья. Она спутница кровавых драм... Она пожирает трупы, выклевывает глаза... У нее всегда дурные намерения. Я ей нужен мертвый. Чтобы выклевать мои глаза... Черт возьми, откуда у меня такие дурацкие мысли?

— Ка-ак? Ка-ак?

Какого черта тебе надо? И голос у тебя противный... Черная птица... черная кошка... Накликает беду... Или неудачу.

— Ка-ак? Ка...

Но ворона не успела сказать свое злорадное «как?». Пларгун никогда еще не стрелял с таким мгновенным «навскидку». Приклад не успел даже прикоснуться к плечу, а ворона уже билась у ног. Кончилась твоя разбойничья жизнь. Теперь послужишь охотнику приманкой для соболя.

У подъема на плато, там, где несколько дней назад Пларгун чуть не остался в снежном гробу, он наткнулся на стаю рябчиков. Они не боялись человека. Выстрелом он сбил сразу двух. Один упал замертво, а второй споро помчался прочь, волоча подбитое крыло. И Пларгун нагнал его, придавил палкой. И тут его осенила мысль: использовать на приваду живого рябчика! Соболь — большой охотник до рябчиков. Зверек, услышав живую птицу, забудет об осторожности.

Пларгун снял ближайший капкан. Нашел старую ель с норой под корневищем, накинул петлю на лапку рябчика, привязал нитку к корневищу. Рябчик юркнул в нору. Сиди себе в норе. Только смотри не замерзни.

Капкан поставил на ходу к норе, но на таком расстоянии, чтобы птица в него не угодила. Хорошо стоит ловушка с отменной приманкой, ветер идет снизу по распадку, и запах птицы выносит на сивер — на темно-хвойный лес, что занимает склоны возвышения.

Было еще темно, когда Пларгун проснулся. Наскоро позавтракал засохшими кусками лепешки, размочив их в кружке горячего чая, заел консервированной уткой.

Едва деревья зарешетились на фоне белеющего неба, Пларгун ступил на лыжню.

У двух колодин пришлось подумать еще над одной задачей. Соболь подходил к приваде. Подходил близко.

И в каком-то шаге от хорошо замаскированного капкана шарахнулся назад и понесся своим следом что есть сил.

В чем дело?

Предположить, что он почуял запах железа, трудно. Ведь капканы выварены стариком Лучкой. К тому же соболь подходил и раньше и не бросался от привады сломя голову, а спокойно обходил кругом, неуверенно топтался на месте и уходил. Это обычная осторожность зверя. А тут шарахнулся, будто его стегнули прутом.

Ответ не заставил долго ждать. Соболь вышел на жировку еще в потемках. Сразу поймал чуть слышный запах замерзшего мяса и поскакал своим старым следом. Теперь он шел уверенно, потому что и места хорошо знакомы, и мясо, откуда-то взявшееся, лежало там же, никем не тронутое. Соболь мчался широкими прыжками. Спешил. Голод подгонял его. И когда подскочил к колодам, вдруг наткнулся на что-то черное, огромное, страшное, притаившееся в темной щели под перекрещенными деревьями. Соболь, насмерть перепуганный, рванулся назад, оставляя на снегу кровавые испражнения.

Черная ворона в темноте может напугать не только соболя — самого беса оставит заикой. «Ты и здесь сыграла со мной злую шутку!» — расстроился Пларгун. Но вскоре понял, что дохлая ворона ни при чем. Ведь он сам подстрелил ее и бросил у капкана с привадой. Пларгун схватил замерзшую ворону и закинул на дерево. Но и тут ворона осталась вороной: от резкого броска едва не вывихнулось плечо. Рука после этого долго болела...

Юноша отправился к следующему капкану.

Еще издали услышал лязг металла. Кто-то попал в ловушку. Жестоко обманутый в своих ожиданиях и замученный неудачами, Пларгун не допускал и мысли о соболе. Никак несчастный рябчик дотянулся-таки до капкана и угодил лапкой и теперь от боли не находит себе места. Греми, греми. Сегодня ты пойдешь в суп. Это будет очень кстати, а то мяса осталось всего на несколько дней...

Но кто бы это мог быть?

Из норы выглянул шустрый зверек. Он испуганно уставился круглыми глазками, повел изящной головкой, показав темные плечи. И, загремев металлом, мгновенно исчез в провале под корневищем.

Пларгун суматошным движением вдруг задрожавших пальцев оттянул лыжные крепления, сбросил лыжи — без них ловчее под деревом, где твердо и снегу мало.

Хотя знал, что капкан прочно заякорен, бросился к норе

и упал на нее, накрыв животом выход: всякое бывает. Случается, добыча выскальзывает буквально из рук. Чтобы ловчее схватить соболя, сбросил меховые рукавицы и запустил руку в длинную нору. Не успел он дотронуться до мягкой, шелковистой шерсти, как почувствовал острую боль в руке. Больших усилий стоило, чтобы не взвыть. Онемевшими пальцами Пларгун нащупал шею зверька, схватил ее крепко и вытащил соболя вместе с капканом. Левой рукой сжал челюсти с боков. Соболь не отпускал руку. В маленьких, точно бусинки, глазах зверька не было испуга. Была ярость, смертельная ярость. И ненависть. Охотник что есть силы сжал челюсти зверя, даже пальцы побелели. Челюсти хрустнули, сдали, освободили руку.

Пларгун отсосал из раны кровь, палкой сшиб с березы желтый гриб-чагу — раскрошил его, спалил и рану присыпал грибным пеплом. Затем обмотал руку лоскутом от нижней рубашки.

Покончив с рукой, вспомнил о рябчике, которого намеревался отправить в котел. Но рябчика что-то не было видно. Запустив руку в нору, нащупал маленький кусочек с перьями. Оказывается, соболь, уже в капкане, притерпевшись к ужасной боли, все же решил позавтракать.

Молодой охотник погладил нежный дорогой мех: «Я подарил тебе живого вкусного рябчика, а ты мне — свою шкурку. Так что мы квиты».

Проходя путиком, Пларгун переставил несколько ловушек — ветра не слышно, но на неразреженных местах появилась перенова. По-видимому, ночью все-таки дует.

И еще отметил молодой охотник: соболь, выйдя на охоту, не оставляет без внимания ни одной валежины, ни одной колоды. Обязательно завернет, проскочит по ним. И охотник перенес приваду и часть ловушек к колодам.

Спустившись с плато к ключу, что идет от увала мимо сопки, проверил ловушки на выдру. Велика была радость, когда в одной из них оказалась добыча: длинный, как охотничьи лыжи, коротконогий усатый зверь.

Нехан растопил печь, вытащил из мешка сверток со свинцовыми слитками. Потом развернул газету, в которую был завернут свинец, бросил слитки в банку из-под рыбных консервов. Подхватил банку щипцами и просунул в печь.

В ожидании, пока расплавится свинец, охотник разгладил газету и равнодушно скользнул по ней глазами. Вни-

мание его привлек снимок. На нем был изображен небольшой человек в иностранной военной форме. Он бесстрашно позировал рядом с громадным тигром. Нехан подивился смелости этого человека. «Наверно, какой-нибудь дрессировщик»,— подумал он. Но опытный глаз охотника тут же обнаружил подвох: тигр не тигр, а чучело тигра!

— Так любой дурак может,— сказал он, оглядывая обманувшего его человека в военной форме. И подумал: «А еще, наверно, какой-нибудь начальник. Не солидно, друг мой, не солидно».

Нехан поднял газету, чтобы узнать, что это за человек. С трудом прочитал стершиеся строки. Звали его Кхань. «Кхань — Нехан, Кхань — Нехан»,— невинно скаламбурил Нехан, уловив созвучие имен. Но кто такой Кхань? Подпись под снимком гласила: Кхань — южновьетнамский генерал, один из тех, кто правил страной после многочисленных переворотов.

— Ничтожество! Ничтожество! Ты не только тигра — паршивого шакала боишься! И такое ничтожество правит страной! Да я бы одной рукой задавил тебя!

Нехан почувствовал себя жестоко обворованным.

— Да ты по сравнению со мной пигмей! Я медведей, как зайцев, травлю! Медве-дей!.. Пигмей несчастный... Мне бы... мне бы... Я бы тоже мог быть королем или императором! Только у нас дальше председателя колхоза мне не пойти.

Расстроенный Нехан скомкал газету и бросил в печь. Пламя подхватило бумагу — вскоре печь загудела напряженно и ровно.

Через несколько минут Нехан забыл о ничтожном человеке. Припав на одно колено, он просунул обмотанную тряпкой руку со щипцами в печь, откинувшись на длину руки и закрыв левой ладонью лицо от нестерпимого жара, нащупал щипцами закраину мятой банки, расшевелил пышущие жаром угли, чтобы не сбить их на пол, вытащил банку, аккуратно наклонил ее над формочкой и отлил точно порцию свинца. Нехан готовил пули. Тяжелые пули. На его оголенных плечах плясало пламя. По горячему лицу, по вздувшейся от жары и усердия шее стекал пот, пропитывая грязную, линялую майку неопределенного цвета.

Как-то незаметно для самого себя Нехан стал мурлыкать сымпровизированную тут же мелодию. У охотника в последние дни хорошее настроение — для этого достаточно причин: заприваженные еще до снегопада соболи облюбовали его участок и сейчас что ни день есть до-

быча — будь то соболь или горностай, выдра или лиса.

Умело организованная удачная охота радовала его. Удачная?.. Что такое удача? Ну, кто скажет, что такое удача? Допустим, рыбак, желая сварить уху, наткнулся на большой косяк рыбы или старатель на заброшенном участке нашел самородок... И говорит: удача... Нехан усмехнулся. Это не удача — а случайность. Надо не ждать случайной удачи, а делать ее собственными руками! Да, да, своими! Надо быть хозяином своей судьбы...

Покинув долину Мымги, он спустился на побережье к рыбакам. И сразу отметил: добродушные, непосредственные, они до сих пор не научились строить свою несложную жизнь. Объединившись в рыболовецкие артели, прибрежные нивхи отказались от охоты на пушного зверя. Многие, особенно кто помоложе, уже потеряли навыки, накопленные их предками-охотниками. Странные люди: зимой и летом черпают неводом пустой залив, а в тайгу идти не хотят, или никто их не надоумит. Странные... Ну, бог с ними. Меньше шататься будет в тайге неудачников. Пусть уж лучше черпают свой оскудевший залив. А то появился в тайге один... Тоже мне охотничек. Упрям, черт. Ну, ничего. Мы еще посмотрим!.. Надо быть хозяином своей судьбы... У меня будут хорошие деньги. Будут! И слава. И тогда...

Нехан вспомнил последний разговор с женой.

— Ты все-таки уходишь? — Она стояла у занавешенного окна в ночной сорочке. Длинные густые пряди падали на плечи. Скупой свет предосеннего утра слабо проникал в комнату, и все казалось серым. Жена стояла к нему спиной, слегка запрокинув голову. Нет, она не плакала. И в голосе — суровая сдержанность. И она говорила, будто не спрашивала, а сообщала о свершившемся.

— Я не знаю, что меня ждет.— Нехан повернулся в постели. Жена молчала.

— Я не знаю...

— Не надо,— прервала жена.

— Я буду помогать.

— Не надо,— сказала она.

— Я помогу воспитать дочь.

— Не надо.

На рассвете, когда проснулось маленькое село в долине Мымги, Нехана в нем уже не было...

Пларгун, натянув шкурки на распялки, соскребал остатки жира и разговаривал с собакой:

— Что ты облизываешься? Голоден? Думаешь, я не хочу есть? Я тоже хочу. Только у тебя есть, что есть, а у меня все на исходе. Муки осталось на неделю, мясо кончилось, консервов тоже мало. Скоро кончится соль. И сахару-то осталось на неделю-две. Что я буду делать? Тебе-то что, ты будешь есть соболей... Тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить бы. Вот закончу со шкурками и сварю тебе двойной суп из соболя и выдры. Какая собака пробовала подобное блюдо? Ну, скажи! А выдра, видишь, какая жирная. Отменный будет суп.

Кенграй стоял рядом, внимательно следил за движениями хозяина.

— Можно подумать, что ты проходишь курсы по первичной обработке шкур. Смотри, смотри. Хорошо бы, если б у нас с тобой было разделение труда: я бы ловил соболей, а ты — снимал с них шкурки. В этом деле главное — не скатать шерсть, не сбить ости,— поучал Пларгун, вспоминая наставления старого Лучки.

— Ну что, идет?

Но собака не сказала ни нет, ни да. Она выжидающе уставилась на дверь.

— Что это?

Пларгун приоткрыл дверь. Донесся морозный скрип снега, потом появился человек в ватной телогрейке и оленьей шапке. Человек легко скользнул по охотничьей лыжне.

Это был Нехан.

Почему он шел по путику, а не напрямик вдоль реки?

Нехан, разгоряченный дорогой, подкатил к избушке и, встретив недоуменный взгляд хозяина, сказал, будто оправдываясь:

— Я ходил по своему кругу и, чтобы не делать большого обхода, прошел твоим. У меня к тебе дело...

Выждав минуту, добавил:

— Хорошие места у тебя, богатые зверем. Ну, как дела?

А сам глянул на Кенграя, который выскочил было навстречу, но вдруг остановился, повернулся и отошел в сторону.

Нехан втиснулся в дверь, сел на листвяжный чурбак. Глянул на распяленные шкурки и поднялся, пощупал мех.

— Охо! Вот это добыча! Соболь и выдра в один день! Здорово! Здорово!

В голосе Нехана звучала фальшь, восхищение какое-то не настоящее. А может быть, просто показалось? Ведь Пларгун мало знает этого человека.

Пока варили чай, шел разговор.

— Значит, тайга не очень скупа? — переспросил Нехан.

— Как сказать, щедра ли она ко мне. Наверное, я сам такой неловкий на удачу — всего два соболя и одна выдра.

— Что ты говоришь? — удивился Нехан.

— Я пропустил малоснежье.

— Как так?

— Кенграй... Он долго болел после вашего удара.

— А-а-а-а... Черт возьми. Они, гады, сожрали все масло. Оставили нас ни с чем. Я, может быть, малость погорячился тогда. На моем месте всякий поступил бы так. Нельзя же допускать, чтобы из-за собак мы все подохли с голоду.

Лицо не лицо, а тугой мешок с кровью надвинулось, нависло над юношей. Маленькие, запрятанные под толстыми веками глаза так и сверлили Пларгуна.

— Ты упустил не только первоснежье. Ты упустил все. Охоты больше не будет! Настали большие снега. Теперь и собака не поможет. Соболь сыт и не пойдет на приманку. Ты все потерял. Плана тебе никогда не взять! Тем более съестных припасов ни у кого не осталось. Я-то еще как-нибудь продержусь на мясе. А ты? Ты и десяти дней не протянешь. Я рос в другое время, когда нивхи ели мясо и рыбу. А ты рос на русской пище — на хлебе и овощах. Ты отвык от пищи предков. Ты не протянешь и десяти дней!

Нехан говорил жарким полушепотом, будто вводил юношу в самое сокровенное.

— И мяса-то у тебя нет. Олени ушли в малоснежные сопки. А глухари еще не спустились с хребтов. Как ты будешь жить? Как?

Юноша угрюмо молчал. Его самого преследовал этот вопрос.

— Вот что! — Нехан наседал на юношу, как медведь на растерявшегося оленя.— Тебе надо подумать о своем положении. И серьезно подумать, что тебе делать!..

— Карр! — скрипуче вмешалась в разговор ворона.

Затем донесся радостный лай Кенграя. Через секунду зарычали собаки.

— Это старик с Мирлом,— сказал Нехан, обрывая тяжелый разговор.— Я забыл тебе сказать, что завтра идем будить медведя. Я уже давно заприметил берлогу. Но выжидал, чтобы хозяин облежался, крепко заснул...

Собаки шли сзади по умятой лыжне.

Нехан вел прямо, будто через реку, лес и сопки видел цель. Пробивали лыжню споро, по очереди. В полдень охотники подошли к подножию отвесной сопки.

Собак взяли на сворки. Нехан дал последние указания. Договорились, что медведя тревожат с двух сторон Лучка и Пларгун. Нехан станет напротив лаза и, как только появится медвежья голова, будет стрелять.

— А теперь — осторожно и тихо,— сказал Нехан и вышел вперед. Пларгун и Лучка пошли следом, придерживая псов.

Вошли в сивер — гущу леса на склоне сопки. Нагромождения сухих деревьев изрядно мешали. Даже широкие лыжи утопали глубоко. Пларгун чувствовал, как ноги начали мелко дрожать. Сердце стучало громко и часто. Вокруг — напряженная тишина.

Пларгун уже заметил, что следы зверей стали встречаться реже, а вскоре совсем исчезли.

Через несколько шагов Нехан остановился и показал рукой вперед. Метрах в двадцати от них за вывороченной с корнем елью — чуть приметный бугор, какой, на первый взгляд, в тайге можно встретить на каждом шагу. Пларгун затаил дыхание. Вгляделся. Над бугром струится чуть заметный пар. На ветвях ели и кустах, нависших над бугром,— густая бахрома куржака. Почему собаки безразличны к берлоге? И, заметив, в каком направлении сносит пар, понял: Нехан подвел так, чтобы ветер шел от берлоги не на них, а в сторону. Иначе бы собаки преждевременно подняли лай.

Нехан отвел охотников с собаками обратно по лыжне на расстояние, чтобы шумом не потревожить зверя.

Срубить две молодые лиственничные лесины, связать из них залом в виде крестовины, накинуть на концы веревочные петли — дело пятнадцати минут.

У Нехана два ружья. Он придерживает собак. Лучка и Пларгун понесли крестовину к берлоге. Несли осторожно, внимательно всматриваясь под ноги, чтобы не наступить на сук или, что еще хуже, не зацепиться за него. Лучка шел чуть впереди. Старый охотник не раз обкладывал берлоги и знал, что делать. Очень осторожно подкрались к челу, или лазу, как называют охотники вход в берлогу, положили на него тяжелую крестовину. Концы крестовины привязали к крепким кустам. Потом вооружились жердями.

Охотники утоптали снег, чтобы удобней было действо-

вать. По знаку старика Нехан отцепил сворки. Собаки поначалу не поняли, что от них требуют.

— Кха! — позвал старик.

Собаки подбежали к охотникам, вертя пушистыми хвостами, но вдруг отпрянули назад. В глазах вспыхнул огонь страха и злобы: в ноздри терпко ударил близкий дух медведя. На загривках вздыбилась шерсть. Собаки яростно набросились на чело берлоги.

Охотники взломали чело, затолкали жерди в берлогу и стали с силой тыкать ими в разных направлениях. Пларгун почувствовал, как его жердина попала во что-то мягкое, и тотчас же из-под земли раздался такой рев, что юноша чуть было не упал. Крестовина вскинулась, но веревки крепко держали ее концы. Громадная бурая голова уперлась в крестовину. Маленькие, налитые кровью глаза обозначились из темноты, заходили из стороны в сторону.

Собаки залились отчаянным лаем. Медведь снова исчез в черном провале, накрест перечеркнутом заломом. Лучка энергично сунул в пустоту жердиной. И тут же его рвануло вперед с такой силой, что старик, не удержавшись на ногах, упал на бок, но не отпустил жерди.

Пларгун в оцепенении смотрел на происходящее.

— Пихай! Чего стоишь! — заорал Нехан.

Пларгун пришел в себя, понял, чего от него требуют, и с силой пропустил жердину в чело. Медведь пронзительно рявкнул, схватил ее зубами и рванул на себя. Потом снова набросился на залом. Собаки отскочили. Медведь вцепился в крестовину и могучими рывками силился втянуть ее в берлогу. Нехан прицелился. Но не стрелял. «Почему не стреляет?» — подумал Лучка, но, увидев, с какой быстротой мелькает медведь за крестовиной, решил: трудно выцелить голову.

Наконец раздался выстрел. От крестовины отлетела щепка. Медведь исчез, но в следующее мгновение вновь навалился на залом. Раздался второй выстрел. Опять слетела щепка от крестовины. Нехан схватил второе ружье. Но тут под напором медведя разрушилась часть «неба» — крыши берлоги, и разъяренная голова высунулась наружу. К тому же пробитая пулями крестовина выгнулась под мощным напором и грозила вот-вот разлететься на части.

Пларгун отскочил в сторону. Отскочили и собаки, визжа и скуля.

Нехан целился, долго целился. Надо стрелять. Стреляй!

Медведь повернулся боком, выпростал лапы со страшными когтями.

Стреляй!

Медведь плечами выставил еще часть «неба».

Стреляй же!

Медведь, подгребая лапами, вылез наполовину.

Стреляй!

Медведь рванул, крестовина разлетелась на две половины, и его будто выбросило сверхсильной пружиной.

Стреляй!

Медведь на мгновение замешкался, на кого броситься: на человека в оленьей дохе, который так настойчиво досаждал ему колючей жердью, или на человека слева, который больно его ударил.

— Стреля-я-яй!!!

Собаки подскочили сзади и в слепом азарте вцепились в гачи. Медведь резко обернулся. Собаки, взвизгнув, отпрыгнули к Пларгуну. «Вот сейчас насядет на меня!..» В глухой панике Пларгун сорвался с места, но увяз в снегу по пояс. Чувствуя приближение смерти, он вобрал в себя голову и закрыл ее руками.

— А-а-а-а-а!

Пларгун не видел, как собаки схватили зверя, уже приготовившегося к прыжку на беззащитную жертву.

— Стреляй! — вне себя закричал старик.

Зверь обернулся назад, взмахнул лапой, пытаясь схватить собак, но те ловко увернулись от его растопыренных когтей.

Тогда медведь бросился за стариком и в два прыжка настиг его.

Пларгун не видел развязки, а она наступила мгновенно. Старик, как подкошенный, упал навзничь. Но не успел еще медведь после прыжка опуститься на лапы, как запутался в своих же внутренностях: рука старого таежника сработала точно и четко.

Кенграй вцепился медведю в ухо, Мирл — в горло.

Медведь, собравшись с силами, медленно поднялся над обагренным кровью снегом, поднял на себя вцепившихся намертво собак и обхватившего его ногами старика. Одна рука старика крепко держалась за богатую шерсть медведя, а другая, с ножом, нащупывала сердце. Еще секунда, и зверь рухнул, подмяв под себя маленькое тело старого человека.

Когда Пларгун, еще не веря в спасение, оглянулся, старик с трудом вылезал из-под медведя. А зверь силился поднять голову.

Нехан, будто только что вспомнив, вскинул ружье.

— Уж не надо,— старик сделал останавливающий жест и посмотрел на Нехана так пристально, точно увидел его впервые.

Собаки оставили зверя, повернули к берлоге. Мирл с остервенелым лаем исчез в ней, вслед за Мирлом в берлоге оказался Кенграй. Послышалась возня, раздались неимоверные вопли, и вскоре собаки вытащили отчаянно сопротивлявшегося медвежонка ростом побольше их, шире и толще.

Нехан снял телогрейку, повесил ее на сук и, закатав рукава теплого шерстяного свитера, сделал надрез на коже над челюстью медведя.

Освежевать медведицу — дело не быстрое.

По обычаю, хозяином медведя является не тот, кто убил его, а тот, кто нашел берлогу... И хотя в этом случае хозяин не имел какого-нибудь особого преимущества, так как мяса взял каждый столько, сколько мог унести, шкуру и желчь забрал Нехан.

Во время разделки туши, когда ножи притупились, Нехан попросил Пларгуна:

— Достань брусок из кармана телогрейки.

Пларгун смыл снегом кровь с рук, выпрямил натруженную спину, шагнул к дереву, на котором висела телогрейка, потянулся к карману, нащупал камень. В кармане, кроме бруска, были еще какие-то крошки. Сперва юноша уловил терпкий запах табака и уже потом рассмотрел на ладони зеленовато-бурую пыль махорки. Махорка? Ведь Нехан не курит. Откуда она у него? И для чего?

Нехан оглянулся на замешкавшегося Пларгуна.

— Ты что там? — в его голосе была настороженность.

— Махорка...— сказал Пларгун.

— Так это для жертвоприношений! — быстро сказал Нехан, удивив юношу: он-то знал, что Нехан плевал на предрассудки.

...Кенграй ел хорошо, зато его хозяину мясо надоело до невозможности. Он всячески изощрялся в своих скудных кулинарных навыках: мясо шло в виде шашлыка или печеное, в вареном виде или с бульоном. Но все-таки наступило такое время, когда один вид мяса стал вызывать тошноту. К тому же десны стали медленно, но заметно припухать. Зубы ныли тупой болью. Недомогание, одиночество и бесконечные, непрекращающиеся неудачи терзали молодого охотника.

Уже несколько недель соболь отказывался идти в ловушки. Каждое утро чуть свет поднимался юноша, не спеша готовил завтрак, без всякого желания ел кусочки мяса, запивал кипятком и становился на лыжи.

Каждый раз он уходил по лыжне с пугливой надеждой на успех. Но ловушки встречали охотника с открытой пастью: они сами изголодались по добыче. Иногда в них оказывались воровки сойки. Юноша отметил: оказывается, у сойки хорошо развито обоняние. Иначе как бы она нашла занесенное снегом мясо? У молодого охотника совсем пропала надежда на успех.

Может быть, надо было попросить Нехана взять на себя часть плана? Ему ведь ничего не стоит выловить не двадцать пять соболей, а, скажем, сорок. По всему было видно, что завышенный план не удовлетворил знаменитого охотника. Нехан все время сердился. Даже несмышленому мальчику было бы заметно: присутствие в тайге Пларгуна раздражает Нехана. Почему он так недружелюбно относится к новичку?

Чем тот не угодил знаменитому охотнику?

Другой, внутренний, голос возражал: «Отдать ему часть плана? Да ты, друг мой, совсем потерял веру в себя! Ты что, приехал в тайгу на экскурсию? Хе-хе, отказаться от плана... Хорош охотник, который не умеет наладить отношения с тайгой. А ты думал над тем, чего добивается Нехан? Подумай!»

«А чего он добивается? — раздраженно спросил первый голос.— Что ты мелешь? Думай, что говоришь!»

Вялость и апатия одолели совсем. Теперь Пларгун топил печь один раз в день, кормил собаку мерзлым мясом и ложился спать в настывший спальный мешок. Обходил ловушки сперва через день, потом через два. И уставал. Страшно уставал. Обход ловушек теперь ему стоил больших усилий.

Как-то Пларгун вышел из своей холодной избушки собрать сучьев на растопку и услышал громкое, зовущее:

— Эй!

По тайге, затухая, пробежало эхо.

Пларгун не поверил своим ушам.

— Эй! — послышалось опять.— Человек! — отчетливо и ясно выкрикнул тот же голос.

Пларгун медленно, точно выходя из оцепенения, обернулся.

Тайга глушит звуки

Тяжело переступая короткими широкими лыжами, человек поднимался на крутой заснеженный берег. Было видно: он пришел издалека через тайгу и набрел на одинокую избушку как на спасение.

Одет он был в короткую, удобно сшитую доху из собачьих шкур и оленью островерхую шапку, отороченную заячьим пухом. На ногах — длинные оленьи торбаза, расшитые округлыми нивхскими узорами. За плечами — ружье. Уже потом Пларгун разглядел — это не какой-нибудь там дробовик, а новый пятизарядный карабин.

Несмотря на усталость, он подходил широким скользящим шагом, отталкиваясь палкой в правой руке, взмахивая левой, как крылом. Отличный ходок!

— Человек! — переводя дыхание, глухим голосом обратился незнакомец, и клубы пара на миг закрыли его лицо.

Юноша смотрел изумленно, еще не очень веря своим глазам. Кенграй с любопытством вертелся вокруг, всем своим видом показывая дружелюбие.

Наконец человек отдышался, опершись грудью о палку, воткнутую между концами лыж. Потом привычным движением сбросил лыжи, скинул с себя карабин и прислонил к стене. Лицо незнакомца было совсем юное, нежное, разгоряченное долгой ходьбой. Ростом он был на голову ниже Пларгуна.

Человек рывком снял шапку. И Пларгун увидел: перед ним стоит девушка, нивхская девушка! Откуда? Как?..

— Хы! — изумился Пларгун. Но спохватился и сказал, стараясь сдержать волнение: — Входите!

Он толкнул дверь и отступил, пропуская вперед гостью.

Она села на низкий лиственичный чурбак, подперла голову обеими руками и молча уставилась на хозяина. Она смотрела пристально и жадно, будто никогда не видела человека.

Пларгун смутился. Надо угостить девушку чаем. Таков обычай: сперва накорми гостя с дороги, а расспросы — потом.

За все время, пока юноша неумело и торопливо копошился у печки, гостья не изменила позы, не произнесла ни слова. Только смотрела на него пугливо-дикими прекрасными глазами и изредка тяжело вздыхала.

— Садитесь к столу,— сказал Пларгун, выложив из кастрюли дымящуюся оленину и наливая в кружку кипяток.

Девушка не ответила на приглашение.

— Садитесь,— повторил юноша и взглянул на гостью.

Вдруг руки девушки подломились, голова ее упала на грудь. Раздался безудержный плач, громкий, захлебывающийся.

Пларгун засуетился, не зная, чем помочь.

Прошло немало времени, пока девушка успокоилась.

— Я знала, что найду вас... Я... Я долго шла...— Девушка говорила торопливо, сбивчиво. Черные глаза ее блестели в полумраке.

— У вас другой мир. Маленькой я однажды видела его. А младший брат совсем не был там... Вот этот карабин оттуда.

Пларгун внимательно слушал девушку, но смысл ее несвязной речи слабо доходил до него.

— Раньше мои сородичи жили в вашем мире. Но потом вернулись в тайгу, в родное стойбище. Я просила увезти меня к людям, но старший брат отца запретил уходить в другой мир. Только отцу разрешает ездить туда, чтобы сдать пушнину.

Девушка устала. Она говорила уже шепотом. Вскоре ее глаза сомкнулись, плечи расслабленно опустились. И когда Пларгун прикоснулся к ней, она уже спала.

Юноша осторожно поднял девушку на руки, перенес к нарам, положил на оленью шкуру и накрыл дохой.

Наступила ночь. Полная луна выкатилась на небо, остановилась, оглядывая уснувшую тайгу круглым ярким глазом.

Мягкий лунный свет играл на лице девушки, серебрил густые волосы, выделял обнаженную шею.

Пларгун лежал рядом в мешке, ощущал ее горячее тепло, слышал легкое, как у младенца, посапыванье и неотрывно смотрел на лицо, прекрасное в своей невинности и безмятежности.

Иногда он силился думать о делах, которые ждут его впереди, но тут же забывал обо всем. Перед глазами, точно из тумана, выплывало юное лицо спящей девушки. Она приближалась, открывала глаза, смотрела пугливо-ожидающе, о чем-то настойчиво прося. А то вдруг превращалась в Нигвит...

А потом кто-то заслонил окно, и серебристый свет луны тотчас погас. Послышалось нетерпеливое поскрипывание снега. Кто бы это мог быть? Эй, тайга! Теперь ты уж

ничем не удивишь меня! Кто там еще толчется и не решается зайти? Заходи!

А лицо девушки прекрасно. Оно спокойно. Вот оно уплывает в тумане и вновь возвращается. Раскачивается слегка. Глаза открыты и смотрят перед собой.

— Это он! — сказали бледные, плотно сомкнутые губы.

— Конечно, он,— беззвучно отвечает Пларгун.

— Это он!

— Ну и пусть «он».

И тут Пларгун приподнимается:

— Кто «он»?..

— ...Он шел за мной. Я кормила его сперва мясом из крошней, потом стреляла глухарей. Он всю дорогу шел за мной. Ночью подходил прямо к костру. Я так боялась! Он не должен съесть меня, пока я не увижу человека из другого мира. Теперь он пришел сюда и требует жертвы. Дайте ему что-нибудь. Дайте!..

Уже несколько зим стоит он над нашим стойбищем. Приходит с первым большим снегом. И всю зиму держит нас в страхе. Мы отдаем ему свою добычу: рыбу, птицу, оленей. Уходит лишь тогда, когда первая трава покроет землю. Но за зиму так обирает нас, что мы еле дотягиваем до лета...

С ним совсем не сладишь. Он не знает смерти. Если даже направишь на него ружье, он не умрет. Он просто отдаст шкуру и мясо, а сам станет еще более лютым.

В первый год старейший встретил его пулей. Он тогда еще не знал, что имеет дело со злым духом. Злой дух отбил пулю, и та улетела в небо. И старик, чтобы не вызвать гнев Пал-Ызнга, запретил трогать духа в обличье медведя. С тех пор мы каждую зиму приносим ему жертву...

Нынче он появился рано и помешал нам в охоте. Мы не успели сделать запасов на зиму. И хотя еще не испытываем голода, знаем — недолго ждать, когда начнем делить съестные припасы на дни. А дней у зимы впереди много-много, а заготовленного мяса совсем мало. Пришлось бы делить припасы на такие малые куски, что они не смогли бы в лютые морозы поддержать силы.

И отец не стал ждать, когда наступят эти страшные дни. Он нарушил запрет старейшего. И... поплатился двумя собаками. Дух преследовал его до самой двери нашего жилища.

Видно, мало жертв мы приносили ему.

Старейший рода говорит: мы ушли от злого человека, посягнувшего на жизнь и честь рода Такквонгун. Мы ушли

от него в свое стойбище. Закрылись от него горами и тайгой. И прожили тут много благополучных мирных лет. Но злой дух явился к нам. И нет от него никакого спасения.

Я знала: где-то рядом с нами есть человек из другого мира. Мне о нем сообщил дух Ночного Покоя — дух Сна. Я его видела но ночам и слышала его зов...

Я знала: где-то за хребтами — другой мир, прекрасный мир. Каждую зиму отец уходил туда с мехами и возвращался с богатым грузом. Я так хотела побывать в том мире, но не смела заговорить об этом.

И вот теперь с осени меня навещает дух Ночного Покоя и шепчет, что в нашей тайге появился человек из другого мира. Я порывалась пойти к нему, но злой дух держал нас в стойбище. Он съел все наши скудные запасы.

Он не хотел щадить нас. Он хотел, чтобы род Такквонгун весь ушел в Млы-во — селение Вечного Покоя. Съестные припасы скудели и скудели. Мы потеряли осеннюю охоту. Скоро наступит ложный гон. Злой дух не пустит нас в тайгу, мы останемся без мехов.

И вот я сказала отцу, что отведу злого духа от нашего стойбища. Не знаю, что подействовало на стариков: отсутствие тропы, на которой люди нашли бы спасение, или страх омрачил их мудрые умы, но они молчаливо согласились со мной. Помню их глаза — полные скорби. И еще в них теплилась слабая вера. Я молила добрых духов помочь мне в пути. А желание видеть человека из прекрасного мира придавало силы и заглушало страх.

Я набила полные крошни копченой олениной — последние остатки наших запасов. Отец на всякий случай сунул мне в руку карабин. Только отошла от стойбища, злой дух уже шел по моему следу. Я шла быстро. Глубокий снег мешал ему догнать меня. Только к концу дня он приблизился ко мне. Тогда я бросила ему пять оленьих ребер. Ночь застала меня на склонах хребта. Я развела костер. Всю ночь не спала. И он не спал. Ходил вокруг костра. Иногда его громадная тень появлялась у ближайших деревьев.

Утром он получил еще полребра. Пока ел оленину, я успела уйти довольно далеко. На хребте добрые духи помогли мне добыть глухарей, и я оставила их у лыжни. На северном лесистом склоне хребта снегу навалено много. Мои приношения наконец задобрили духа, и он отстал. Добрые духи пожалели меня и позволили подойти к оленьему стаду. Жирный хор подставил убойное место. И я при-

несла свою добычу в жертву злому духу. Два дня не слышала его и не видела.

Я верила, что увижу человека из другого мира. И не обманулась. Я нашла вас. Нашла. Но злой дух и здесь нагнал меня. Он не хочет слышать мольбу людей из рода Такквонгун. Наш род ушел от человека с плохим сердцем. Тот человек, однако, давно в Млы-во, но оставил на этой земле свой дух, злой дух...

Пларгун слушал девушку в странном забытьи. Голос ее то слышался явственно, то затихал. И эта ночь казалась дурным сном.

Веки невыносимо отяжелели и слипаются, слипаются... Голова, будто налитая свинцом, тяжело падает на грудь.

— Дочь тайги, чье имя ты назвала? — хотел он спросить или спросил, но собственного голоса он не слышал.

...Род Такквонгун покинул урочище последним.

Уже давно ходила пугающая весть: роды́ собирают вместе и из них организуют какие-то артели. Знающие люди утверждали: артель, колхоз — это новый укрупненный вид рода. «Какой же это будет род, когда произойдет смешение крови разных родов?» — спрашивали недоуменно старики.

Род Такквонгун удален от других селений, и старейший рода Ковзгун, тогда еще крепкий и добычливый мужчина, уговорил своего младшего брата Вилгуна и других сородичей пока воздержаться от объединения.

Несколько раз приходил и уходил сезон дороги, после того как другие роды ушли через хребет, а люди Такквонгун продолжали жить своей жизнью. Мужчины по многу дней пропадали в тайге, преследуя соболей и оленей. Подростки обучались мудреным способам ловли зверя. Женщины выделывали шкуры, шили из них одежду и варили корм для многочисленных ездовых собак.

И вот зимой, когда лютый месяц Орла был на исходе, к стойбищу подъехала нарта дальней дороги — в упряжке тринадцать заиндевевших собак.

Оба приехавших были одеты в белые тулупы и меховые шапки. В каюре Вилгун признал нивха. Нивх был молод, лет двадцати, крупный телом.

— Как люди Такквонгун поживают? — спросил он густым, как у медведя, голосом и протянул продрогшую руку. Вилгун почувствовал сильное рукопожатие и удивился поведению человека: какой же уважающий себя гость

сразу кидается на хозяев с вопросами? Будто впереди нет времени для обстоятельной беседы.

— Ковзгун в стойбище? — опять спросил приезжий человек и этим совсем обескуражил хозяина, приветливо встретившего далеких гостей. В его вопросе — нетерпение и озабоченность. С чего это?

Когда второй гость снял тулуп, Вилгун определил — милиционер. Он был одет в форменный китель, перепоясан широким ремнем, на котором висела кобура с наганом.

И только после чая приезжий представился. Родом он с западного побережья. Но сейчас он живет в селении Кор-во, где организован нивхский колхоз. Зовут его Нехан. а приезжал он сюда по делу: власти хотят видеть старейшего рода. Нет, нет, ничего тут плохого нет. Просто хотят побеседовать с мудрым человеком.

Конечно, плохо, что род Такквонгун отказывается жить новой жизнью. Жители Кор-во зовут людей Такквонгун и ожидают их приезда не позднее конца месяца Орла. К сожалению, не удастся погостить долго. С рассветом нового дня они покинут стойбище. С ними поедет Ковзгун.

...Ковзгун уехал. Вилгун остался за старшего. На стойбище опустилась тревога. С каждым днем она нарастала, как снежный ком, который катится по склону горного хребта.

Уже прошел месяц Орла, а Ковзгуна все нет и нет. Тогда Вилгун решил повести свой род в долину Мымги, в селение Кор-во. Его успокаивала мысль: в Кор-во съехались многие роды. Если бы им там жилось плохо, они бы разъехались по своим урочищам. И повел свой род на трех собачьих и на четырех оленьих упряжках.

Дорога была трудная — через два высоких, крутых, заснеженных перевала.

Ковзгуна в селении не оказалось. Одни говорили: Ковзгуна, как мудрого старейшего рода, увезли в областной город для разговора и вскоре он вернется большим начальником.

Другие предполагали совсем обратное — Ковзгуна посадили в глубокую темную яму, которая называется «тюрьма». За что посадили — никто не знал.

Через несколько лет Нехан стал председателем колхоза. До него колхозники занимались охотой и рыбной ловлей. Новый председатель начал с невероятных новшеств — потомственных охотников и рыболовов превратил в земледельцев.

О первом нивхском земледельческом колхозе много

шумели в газетах и по радио, а фотография необыкновенного председателя появлялась частенько на страницах газет. Кое-кто из этого колхоза был участником Всероссийской сельскохозяйственной выставки и награжден серебряной медалью. Но, как выяснилось, медали не могли прокормить бывших охотников и рыболовов, а скудная северная земля давала мало картофеля,— рыба и мясо, привычная пища нивхов.

И жители долины Мымги постепенно стали покидать родные места, переезжать на побережье в рыболовецкие колхозы.

Затем в Кор-во вернулся Ковзгун, постаревший, ссутулившийся и подавленный. Он будто поклялся не говорить о том, что с ним было за эти годы. Только в первый же день один на один встретился с Неханом.

А через неделю запряг собак и на двух нартах уехал куда-то со своей семьей. По последнему весеннему насту, когда Нехан готовился к полевым работам, вслед за старейшим подался и Вилгун с семьей...

Говорят, Нехан руководил колхозом лет десять, пока не довел хозяйство до разорения. Потом его все-таки сняли с высокого поста. Он куда-то исчез, бросив жену и дочку. Одни утверждали, что его перевели руководителем рыболовецкого колхоза, другие предполагали — угодил в тюрьму, третьи слышали, что он умер...

Он, конечно, умер. Иначе откуда было взяться злому духу? Это дух Нехана. Нехан ушел в селение Вечного Покоя, а дух его остался. И преследует род Такквонгун...

...Пларгун напрягает волю из последних сил. Перед глазами, то проваливаясь в небытие, то всплывая из тумана, раскачивается круглое, как луна, лицо девушки. Лунный свет то затухает, то вновь бьет в маленькое окно, расплывается по грязному полу. А в окне мерцают голодные хищные глаза...

— Дух бродит. Он преследует род Такквонгун!..

— Я его убью!

— Грех поднимать на него руку!

— В твоих руках прекрасное оружие. Из него не глухарей надо стрелять. Я убью его.

— Грех так говорить!

— Убью...

Потом Пларгун почувствовал, как в легкие ударил морозный воздух, услышал рык Кенграя и увидел огромного, размером с дом, черного духа. Дух глянул на юно-

шу ожидающе. И не спеша, вперевалку, пошел навстречу.

Пларгун не слышал выстрела. Только почувствовал сильный толчок в плечо. Потом и зверь, и девушка, и тайга со снегом и луной провалились в бездну...

Бывает с человеком такое, когда он в состоянии полусна ясно слышит вокруг себя все. Пларгун слышал шаги девушки. Слышал звон посуды. Но это происходило будто во сне. Во сне? Да, да, это был сон. Сон? Нет. Это было в действительности. А что было?

Пларгун мучительно силится выйти из этого состояния. Но не удается. И снова и снова он проваливается куда-то в пропасть.

— Тебе совсем плохо...

Это сказано наяву. Девушка? А ты разве не приснилась?

Пларгун попытался шевельнуть рукой. Но рука отяжелела настолько, что не сдвинуть ее с места. Отяжелели и ноги, и голова. Хоть бы крикнуть. А-а-а-а-а... Кажется, удалось крикнуть.

— Да, с тобой совсем плохо,— тот же грудной голос, и в нем — чувство сострадания и беспокойства.

В ноздри ударил терпкий запах хвои, и во рту стало горько. Что это?

Потом опять провал.

Пробуждение происходило медленно и долго. Сон и недуг нехотя отпускали его.

— Теперь будет лучше. А мне надо идти.

— Куда ты?

— Мне надо идти. Надо...

Глаза до боли слепит.. Пларгун долго жмурится, пока глаза не привыкают к свету.

Засыпал — была ночь. Сколько проспал?

Первое, что он почувствовал, когда проснулся,— во рту горький привкус и ощущение, будто набил оскомину.

На чурбаке у печки сидит Лучка и задумчиво смотрит на огонь. Лучка? Пларгун заморгал, не веря своим глазам. Кто же с ним разговаривал?

— Как ты здесь, аткыхч?— обрадовался юноша.

— Теперь тебе станет лучше.— Старик улыбнулся уголками глаз.— Хорошо, что девушка появилась вовремя. У тебя плохая болезнь — цинга. Ее напустил злой дух.

— Как ты здесь?— нетерпеливо переспросил Пларгун.

— Как здесь, как здесь,— передразнил Лучка.

Потом объяснил:

— А так, что два раза ходил по своему кругу, а твоего следа не видел у места встречи. Вот и пошел посмотреть, что с тобой случилось. Подхожу к твоему дому, смотрю — из трубы дым идет. Ну, думаю, жив парень, но почему он не проверяет ловушки? Неужели обленился? Иду, а сам смотрю себе под ноги и у порога чуть не умер от разрыва сердца: медведь лежит под дверью. Странно: дым в трубе и медведь у порога.

— Какой медведь?— не понял Пларгун.

— Как «какой»?— в свою очередь не понял старик.

— Какой, спрашиваю, медведь у порога?

И теперь Пларгун начал мучительно припоминать, что произошло в ту ночь.

— Где девушка?

— Она готовится в дорогу.

— Я хочу видеть ее.

Старик открыл дверь, высунул голову.

— Она ушла.

— Как ушла?

— Уже ушла. Она очень спешила. Это она спасла тебя напитком из кедрового стланика и шиповника. А теперь ушла. Она очень спешила в стойбище.

Пларгун в отчаянии застонал.

— Она двое суток не отходила от твоей постели. Я только вчера пришел.

Помолчал. Потом опять заговорил:

— Да, я же не рассказал, что дальше было. Значит, чуть не умер от страха. Неужели, думаю, мой друг сидит под караулом? Надо, решаю, освободить его от такого плена. Вскинул ружье, а медведь как лежал, так и лежит. Взял палку да и бросил в него. Палка в голову угодила. По звуку понял — голова у зверя мерзлая. Только тут заметил: на снегу пятна густой убойной крови. Подумал: «Плохо нам будет — медведь у избушки неспроста, где-то не поладили с Пал-Ызнгом». Потом стал прощупывать его — чуть пальцы себе не отбил: в нем одни кости. Бедный, от него отказался могучий бог Пал-Ызнг. И он превратился в злого духа. Я знаю, он уже несколько зим преследует стойбище рода Такквонгун.

Пларгун облокотился, спустил ноги на пол. Шатаясь, прошел к двери и открыл ее. Старик вышел за ним.

— Это не злой дух,— сказал Пларгун.— Это медвежий выродок — шатун, которого приняли за злого духа.

Никакого духа нет. Все это выдумка самих людей Такквонгун. Выдумали себе злого духа и кормят его много лет вместо того, чтобы влепить в него пулю. Темные люди эти Такквонгун.— Пларгун почувствовал, что говорит раздраженно, но не мог сладить с собой.— Посмотри на этого владыку тайги. У него передняя левая лапа кривая. Человек перебил ее, и она срослась криво. Покалеченный, он не мог догнать оленей. Вот и явился к своему мучителю — человеку, объел его да от души поиздевался над ним.

Старик слушал в молчании. Сейчас Пларгун ему не нравился. Старик с укоризной посмотрел на дерзкого молодого человека.

— Нет никакого злого духа! Нет вообще никаких духов! — почти кричал Пларгун, тяжело дыша.

— А чем объяснить твою неудачу?— медленно, отчеканивая каждое слово, сказал старик, пронзительно глядя в глаза Пларгуну.— Нехану осталось совсем немного до плана. Я, худо ли, хорошо ли, взял восемь соболей. А ты — всего два. Так чем же объяснить твою неудачу? А время — идет!

— Просто я никчемный охотник! — сказал наконец Пларгун. В его охрипшем голосе была подавленность.

— Врешь! — Старик сейчас напоминал пригнувшуюся для прыжка старую облезлую росомаху.— Врешь! Я видел, капканы твои поставлены правильно. А соболь обходит их на расстоянии десяти —пятнадцати прыжков. Вот теперь и подумай!

Потом быстро отошел, повернулся в сторону деревьев, согнулся.

До Пларгуна донеслось всего несколько слов. Старик молил Пал-Ызнга простить молодого человека, не смышленого в таежных делах, в обычаях предков, и его, старого человека, вышедшего из ума и принявшего участие в столь непристойном разговоре...

Слабость валила с ног. Пларгун вошел в избушку, выпил из чайника целебный напиток и лег на нары. Старик в угрюмом молчании сел на чурку. Но тут же вскочил и вышел. Принес потрепанную охотничью сумку, достал мясо, нарезал большими кусками и бросил в кастрюлю с растопленным снегом. То ли от усердия, то ли еще от чего старик сопел шумно, с присвистом. В ожидании, когда сварится мясо, он сидел на чурке в позе уснувшего филина.

«Зря все-таки я обидел старика,— мучился Пларгун.—

Он тут ни при чем». Но чей-то беспристрастный голос спросил: «А ты подумай хорошенько. Разве не старик своим невежеством вселял в тебя сомнения и сковывал волю? Этого тебе мало? А разве не он вместе с Нехаком чуть было не отправили твою собаку в жертву духам? И этого мало? А разве не он...»

— Хватит! — заорал Пларгун, вяло переворачиваясь на другой бок.

Лучка недоуменно вскинул седую голову. Потом неторопливо снял с печи кастрюлю, заостренной палкой подцепил кусок мяса и выложил его на стол. Отлил бульон в миску. Затем снова нагнулся к своей сумке, вытащил вяленый кусок кеты, бросил Кенграю, следившему с неотступной жадностью за всеми его движениями.

Не сказав ни слова, толкнул дверь и исчез за морозным облаком, что плотными клубами вкатилось в натопленную избушку. Через минуту послышался скрип утоптанного снега — звуки лыж.

«Ушел»,— с тревогой подумал Пларгун.

К вечеру недомогание несколько прошло, и Пларгун почувствовал себя лучше. Поужинал. Накормил Кенграя. И когда уже засыпал, услышал выстрел. Он, казалось, раздался над ухом.

Кенграй вскочил, его уши заострились, заходили в разные стороны, ловя звуки.

Раздался скрип снега, кто-то быстро подходил. Открылась дверь, в темную избушку ворвались клубы морозного воздуха, закрыли проем в двери, оставив узкую щель наверху, через которую виднелись освещенные луной ветви.

— Вставай! Иди за мной! — голос старика прерывался от одышки. Старик загремел чайником и снова исчез в густых клубах морозного облака.

Пларгун накинул доху, надел шапку и, выйдя следом, замер.

Шагах в двадцати от избушки, запрокинув точеную голову с великолепными пышными рогами, судорожно бился дикий олень.

Уже потом, в избушке, после того как добычу освежевали, старик объяснил: зная, что в глубокий снег олени не любят делать переходы, он пошел по следу девушки, которая рассказала, что в четверти дня ходьбы отсюда пасется стадо оленей. Глубокий снег тяжело преодолевать тонконогому оленю. Поэтому его нетрудно нагнать на лыжах. И старик отбил хора и пригнал его к избушке, как домашнюю скотину...

Старик выхватил нож, пригнулся и точным движением вскрыл вену на шее оленя. Кровь хлесткой струей ударила в подставленный чайник.

— Пей! — приказал старик.

Пларгун упал на колени, подрезал струю сложенными лодочкой ладонями и припал иссохшими губами к горячей крови.

Он пил долго и жадно: истощенный организм, замученный цингой, требовал немедленной помощи...

Держался некрепкий мороз, к которому легко притерпеться. Если находишься в движении, даже становится жарко, хотя на тебе только ватная телогрейка.

Ловушки давно ждут хозяина. А за эти дни Пларгун заметно окреп.

Оба охотника ушли вместе по лыжне Пларгуна. У хребта с вершиной-гольцом старик сойдет на свою лыжню.

Когда стали на лыжи, Лучка кивнул на медвежью тушу.

— Что ты будешь делать с ним?

— Да ничего. Оставлю мышам.

— Будет корм — будут мыши. Будут мыши — будут соболи,— сказал старик.

Охотники двигались легко — впереди Пларгун, за ним — старик.

Накатанная лыжня сверкала под сильным солнцем, вела по распадкам и взгоркам.

Пларгун обратил внимание на то, что сучья и колоды, ранее спрятанные под толстым слоем снега, теперь чернеют тут и там, будто кто сдул с них снег.

Следы соболей испещрили тайгу вдоль и поперек. Вся лесная живность воспользовалась затишьем, спешила пополнить свои запасы. Мыши и те вышли из-под снега и прострочили сугробы мелкими убористыми стежками.

У первой ставки охотники остановились изумленные: капкан черным крестом выделялся на снегу. Лучка досадливо покачал головой: кто же так маскирует капкан — он весь на виду.

— Просто-напросто снег испарился сверху.

— Что ты сказал?— переспросил Лучка.

— Снег, говорю, испарился сверху, над капканом.

Старик нерешительно покачал головой.

Через минуту-другую открытие заставило их задуматься. На снегу рядом с капканом и оголившейся, источенной мышами привадой будто кто-то насыпал мелкой древесной трухи. Но труха была слишком правильных размеров и странного зеленоватого цвета. Пларгун нагнулся,

ногтем выковырял сперва одну крошку, потом вторую. Помял пальцами и понюхал.

Старик внимательно следил за ним.

— Что это?

Но Пларгун от обиды и ярости уже не слышал старика.

...Снег... Берлога... Куртка Нехана... Махорка в кармане... Испуганный взгляд Нехана и торопливое: «Это для жертвоприношений!» Подлец, вот как ты приносишь жертвы!

— Что это?— переспросил старик.

— Дух! Злой дух! — гневно закричал юноша.

Старик наклонился над желтыми крошками, дрожащими крючковатыми пальцами выковырял несколько штук, растер о мозоли на подушечках пальцев и поднес к носу.

Махорочные крошки нашли и у второй ловушки, и у третьей...

— Вот он, злой дух. Злой дух — человек! А не какой-нибудь там всевышний или еще кто, которого никогда и нигде не было!

Гнев придал юноше силу, он шел широким шагом. Старик едва поспевал за ним.

У стыка Округлой сопки и хребта с гольцом охотники переступили на лыжню Нехана.

Мирл лежал под сугробом с подветренной стороны наполовину занесенной снегом избушки и нежился на солнце. Нехан не имел обыкновения держать собаку в избушке — считал, что домашние запахи притупляют у собаки нюх, и даже в самые лютые бураны не впускал Мирла в дом.

Мирл услышал скрип снега, поднял толстомордую голову, повел обвисшими ушами в белесых шрамах — память о многочисленных драках с другими собаками, негромко гавкнул.

Нехан приоткрыл дверь, высунул лохматую густо-черную голову: по его лыжне не спеша приближались двое.

«С чего они решили навестить меня?»— подумал он и, накинув на плечи телогрейку, вышел навстречу.

Двое подходили медленно и сурово. Даже не поздоровались. Нехан, привыкший к тому, что его почитали, сразу почувствовал что-то неладное,

Охотники молча сняли лыжи и повесили на сук корявой лиственницы, что стоит у избушки. Туда же повесили котомки и ружья.

Молча вошли в избушку, молча сели на чурбаки.

Нехан сходил в амбар за мясом и юколой. Все время, пока он возился у печи, старик и юноша не произнесли ни слова.

Нехан чувствовал: молчание похоже на предгрозовое затишье. Он еще не знал, что затеяли эти двое, и лихорадочно искал причину, побудившую их явиться к нему вместе. «Наверное, пронюхали о провизии,— подумал он.— Но когда они сумели это сделать? Пларгун ни разу не бывал у меня с тех пор, как разошлись по своим участкам. Может быть, Лучка? Но он, кроме избушки, ничего не мог видеть».

Молчание тяготило. Прервать его каким-нибудь пустяковым вопросом? Или непринужденно рассказать о чем-либо смешном? Нет, не надо. Все эти старания будут выглядеть нелепо и лишь подчеркнут возникшую между ними неприязнь. А может, спросить о делах? Ведь я все-таки начальник. И уже хотел было задать вопрос, но вовремя спохватился и промолчал. Он понял, что одно его слово станет той искрой, которой не хватает для взрыва. Нехан выставил на низкий столик нехитрую снедь, налил кипятку в кружки, поставил чайник обратно на раскаленную печь.

Он уже взял себя в руки и терпеливо ждал, когда они сядут к столу. Такой уж обычай: будет разговор приятным или окажется неприятным, а надо накормить людей с дороги.

Первым, не заставляя себя долго ждать, к столу придвинулся старик, за ним — Пларгун. Лучка сидел плотно, ссутулившись над краем стола, удобно подтянув под себя скрещенные кривые ноги. Левой рукой он выхватил дымящийся кусок оленины, прикусил редкими зубами, правую с ножом поднес под мясо и коротким, резким движением отрезал кусок у самых губ. Прожевал его и с шумом проглотил.

Он быстро отрезал куски мяса, при этом сверкающее лезвие ножа энергично ходило у самого приплюснутого носа, а глаза довольно щурились, отчего казалось: на его лице вместо глаз остались только две черточки.

Пларгун жевал с угрюмым усердием, машинально глотал, совсем не чувствуя ни вкуса мяса, ни запаха чая. Он с испугом заметил, что его решительность тает по мере насыщения желудка. И поэтому опасался, как бы злость не прошла совсем. Надо быстрее закончить затянувшееся чаепитие. А старик даже и не думает кончать трапезу. Вот как смачно чавкает. Как будто для того только и прошел

трудный путь, чтобы сесть к столу и больше никогда не вставать из-за него.

Пларгун уже отодвинулся к стене. Старик же взял левой рукой новый, большой кусок.

«С таким аппетитом и до ста лет можно дожить»,— сердито думал Пларгун.

Прошло еще много долгих минут, пока наелись и напились чаю.

Старик отодвинулся к стене, сложил дошку валиком и удобно прилег. Он дышал тяжело, сопел со сладким присвистом.

Нехан отщепил от полена щепку, разодрал ее ногтем и, причмокивая и чавкая, стал ковырять в зубах.

Все трое знали: молчание не может быть бесконечным. Где-то оно должно прерваться.

— Погода-то какая стоит, а? Курнг нам благоволит.— Нехан знал, в какую цель бить. Но старик сытно икнул, ожесточенно почесал давно не мытую голову, негромко сказал:

— Погода-то стоит хорошая. Да злой дух насыпал нам на приваду отпугивающей трухи.

Пларгун зло уставился на Нехана:

— Хватит строить из себя невинного оленя! Мы знаем все! Зачем вы это сделали?

— Что я сделал? Я ничего не делал!— растерялся Нехан. Признаться, он опасался, что Пларгун обнаружит следы его преступлений. В отношении старика Нехан не волновался нисколько — тот все объяснит кознями злых духов. А этот сопляк упорно будет доискиваться причин невезения.

Нужно было отвлечь внимание Пларгуна до снегопада, который спрячет все следы. Для этого случая Нехан приберег берлогу. Конечно, он мог один добыть медведя. Но медведь был нужен, чтобы оторвать людей от ловушек хотя бы на несколько дней! А за это время или выпадет снег, или порошей присыплет махорку. На медведя Нехан возлагал и другие надежды... Но он бросился не на того, болван.

А сейчас предательское солнце и ветер съели верхний слой снега, и крошки всплыли. Положение такое, что не отвертеться...

— Вы сделали все, чтобы меня преследовали неудачи. Вы покалечили Кенграя и лишили меня охоты по первоснежью. Вы бы, конечно, пристрелили пса, но я бы все равно нашел следы преступления, как нашел их сейчас. Вы пытались сделать все, чтобы я покинул тайгу. Вы хорошо

обдумали свой грязный план. На случай, если я откажусь идти в селение, у вас было готово другое решение — взять меня измором. А потом еще стали давить на мою душу, на мое самолюбие. Знали, что, терпя неудачи, я дойду до отчаяния и сознание собственного ничтожества выгонит меня из тайги. Вам это едва не удалось. Но не вышло! Не вышло! Вы жестоко просчитались. Это преступление — последнее!

Нехан весь как кипящая кастрюля с плотно закрытой крышкой. То он грозно распрямлял плечи, вскидывая голову, и порывался что-то сказать, то сгибался, как под непосильной тяжестью.

— Я знаю, зачем вы хотели меня изгнать. Вы хотели забрать деньги. Все деньги! Теперь ясно: это вы изгнали старика Тахуна из тайги.

— Врешь, негодяй! Клевещешь на человека. Это тебе даром не пройдет!— Нехан приподнялся было с чурбана, но, встретив решительный взгляд юноши, не выдержал. Отвернулся.

Лучка, услышав последние слова Пларгуна, в упор взглянул на Нехана. В широко раскрытых глазах старика недоумение, но уже через секунду оно сменилось гневом.

Пларгун перевел дыхание и продолжал:

— Конечно, вы бы могли поймать не только семьдесят пять, но и сто соболей. Благо, нынче урожайный год. Вы без особого труда взяли бы план со стариком. А старик вам нужен для обработки шкурок. Меня же взяли, чтобы выбить повышенный план. А потом — изгнать. А план-то остается прежний! И деньги все ваши! И слава. И вы...

— Что ты мелешь, негодяй! Клеветник! Ты ответишь за клевету! Старик Лучка свидетель...

— Да, старик Лучка свидетель. Но свидетель ваших преступлений!

Старик сидел молча, на его побледневшем лице играли тени необычных сомнений.

— А теперь открывайте лабаз и чердак!

Нехан не шевелился. Он злобно и тупо смотрел под ноги.

— Открывайте!

Нехáн взорвался:

— Кто ты такой? Кто? Сопляк! Мразь!

Пларгун уже не смотрел на Нехана, будто того и не было.

— Идемте,— сказал он. И по тону было ясно, к кому он обращался.

Старик Лучка, крайне удрученный резким оборотом

дела, медленно привстал, секунду покачался на отсиженных ногах, в которых легонько покалывало и, щекоча, забегали сотни мелких мурашек.

Как и ожидал Пларгун, в лабазе нашли куль муки, пол-ящика масла, кислую капусту в стеклянных банках, сахар в мешке, консервы и чай. Но продуктов оказалось намного меньше, чем могло бы быть. Очевидно, часть продовольствия Нехан предусмотрительно снес куда-нибудь в чащу или уничтожил. Оставил ровно столько, сколько потребуется ему одному до весны.

После осмотра лабаза Пларгун хотел было подняться на чердак, но его остановил Нехан. Устрашающе сощурив глаза и отведя руку с ножом назад, он прошептал:

— Убью!

До бурана Пларгун поймал одного соболя.

Но сильный четырехдневный снегопад, который занес избушку по крышу, прервал охоту. Все эти дни и ночи охотники почти не спали. Чуть ли не через каждый час они поднимались с нар, на которых дремали, налегали плечом на дверь, отталкивали нарождающийся сугроб, выметали выход.

Старик Лучка лежал с открытыми глазами на сложенной оленьей постели, молча курил трубку. Иногда вытаскивал из-под кровати тяжелый плоский ящик с охотничьим снаряжением, долго рылся в нем, гремя металлом, наконец находил трехгранный мелкосетчатый напильник и ожесточенно садился точить ножи или пилу...

После бурана Пларгун еще раз переставил ловушки и поймал двух соболей. Один соболь темный с дымчатым подшерстком.

К этому времени дни заметно удлинились, и солнце уже не спешило скатиться за стену высоких хребтов.

Пларгун заметил вскоре, что соболи перестали интересоваться привадой. Они не то чтобы специально обходили приманки, а будто потеряли нюх и, проходя рядом с привадой, не останавливались, а шли своей дорогой дальше. И еще заметил молодой охотник: соболь пошел по тайге широко и часто — приглядываясь к побежке другого соболя. Создавалось впечатление, что зверьков больше не интересовали ни мыши, ни рябчики, ни другая живность.

...Пал-нга терпеливо пережидал непогоду в своем теплом гнезде. Высокое старое дерево покачивалось и скрипело.

Пал-нга чутко прислушивался к шуму бурана и при каж-

дом скрипе дерева вздрагивал. Обычно соболь спокойно пережидал непогоду: в гнезде тепло и запасенной пищи хватало на несколько дней. Но этот буран он пережидал в каком-то томительном нетерпении. Он даже не притронулся к мыши, которую поймал накануне ненастья и воткнул в щель рядом с дуплом.

Пал-нга еще задолго до прекращения бурана почувствовал его конец. Обычно после снегопада соболь не спешил покидать гнездо — снег рыхлый, не держит.

Но теперь, едва стих ветер и прекратился снегопад, он осторожно осмотрелся вокруг и быстро спустился по испещренной трещинами и желобками коре.

Сначала он не знал, в каком направлении идти, и минуту топтался на месте, пробуя снег. Снег мягкий, рыхлый. Пал-нга широко распустил густо опушенные жесткой остью лапки и легонько прыгнул на сугроб.

Скок. Еще скок. Ноги сами понесли к густому ельнику в сторону хребта с гольцом на вершине. Соболь скакал широко, не останавливаясь ни у валежины, ни у коряг и колод, под которые раньше он непременно бы заглянул.

Вскоре он наткнулся на след другого соболя. Прежде бы он не обратил на него внимания, но сейчас этот след всколыхнул сердце, притянул к себе.

Соболь помчался по следу. Не сделал он и сотню прыжков, как заметил: по следу, опередив его, проскакал еще один соболь. Теперь Пал-нга мчался по двойному следу. А этот след перевалил хребет и повел в сторону сопки, густо поросшей ельником...

Как только прекратился буран, старик стал на лыжи и, подгоняемый радостным предчувствием, покатил к старой ели.

Так и есть, Пал-нга покинул дупло раньше, чем снег осел. Старик прошел его торопливой побежкой и вскоре убедился в своем предположении: Пал-нга искал другую побежку. Началась долгожданная пора в длинной зимней охоте — ложный гон!

В конце зимы соболи будто теряют разум, забывают об осторожности. И пища уже не так их занимает, как прежде. Они всецело подчинены древнему и самому сильному зову — продлению рода. Самцы неустанно и с непреодолимым упорством рыщут по обширной тайге — ищут себе подружку. Чаще по следу одной самки идут два-три, а то и больше самцов. Они протаптывают тропы в самых тесных чащах и логах.

А самка всячески уходит от самцов: сейчас не время течки.

У соболей течка бывает летом. А к концу зимы, когда солнце уверенно идет к весне, в тайге повсюду заметно наметившееся пробуждение: почки, еще скованные прозрачным ледяным панцирем, сверкают необыкновенным блеском и будто даже заметно припухают, вороны, сойки и кедровки перебираются в более северные края. И соболь чувствует приближение весны. И у него просыпается потребность к гону. Но это не истинный гон. Это, как говорят охотники, «ложный» гон, во время которого соболи забывают об осторожности и легко становятся добычей охотников.

Сейчас Пларгун не может объяснить, чем вызывается у соболей ложный гон. Когда-нибудь он найдет ответ и на этот вопрос.

А пока он ловил обезумевших соболей. Бывали случаи, когда соболь, наскочив на лыжню, охотно шел ею. Пларгун обнаружил эту особенность соболей в самый разгар ложного гона и воспользовался им: ставил капканы не только на тропах, но подрезал прямо под свою лыжню и таким образом поймал несколько самцов.

Он научился выделять среди многих следов округлый изящный след самки. И зная, что запоздалые самцы обязательно помчатся за нею, подрезал под ее след.

Пларгун занимался шкурами, когда за дверью раздалось рычанье Кенграя. Он приоткрыл дверь, высунул голову: к избушке устало подходил человек в легкой дохе. Это был Нехан. Как и подобает хозяину, Пларгун вышел встретить его.

Нехан подкатил к избушке, шумно отдышался, смахнул рукавицей серебристый куржак с бороды и шапки, поздоровался негромко. Чувствовалось, что он настроен миролюбиво.

— Как дела?— спросил Нехан, входя в низкую дверь. И, заметив связку шкурок, сам себе ответил:— Ничего дела, ничего.

Потом доброжелательным тоном добавил:

— Не надо держать шкурки на свету. Лучше заверни во что-нибудь цветное. Или повесь в темное место.

Что ему надо?!

— Последний буран чуть не похоронил меня заживо,— говорил Нехан за чаем.— Если бы не Мирл, стала бы мне гробом собственная избушка. Проснулся ночью по нужде, толкнул дверь, а она — ни туда ни сюда, будто кто при-

гвоздил ее большими гвоздями к косяку. Я толкать ее плечом, а она только поскрипывает. И топора нет, чтобы прорубить в ней отверстие. Вечером, после колки дров, вогнал его в стену, чтобы не занесло порошей. Слышу, снаружи на уровне головы повизгивает собака. Мирл мой дорогой! Я рвусь к нему, он — ко мне. Слышу — визг ближе, слышней, и через минуту он стал царапаться в дверь. Я наклонился к полу и снизу зову его: «Мирл! Мирл, друг мой!» А он нетерпеливо повизгивает и роет сверху вниз. Я налегаю на дверь, шевелю ее, а пес мой сильней роет. Так и спас меня мой верный друг.

В голосе Нехана — умиление. Оно совсем не шло этому жестокому человеку.

— Вот что, мой друг,— сказал он уже серьезно, без всякого перехода.

Пларгун насторожился. Кажется, сейчас Нехан выложит цель своего визита.

— У тебя сколько соболей?

— Я еще не взял плана,— ответил Пларгун.

— Я спрашиваю, сколько у тебя соболей?

— Мм... вот с этим будет шестнадцать,— Пларгун головой показал на сырую, вывернутую мездрой шкуру, которую еще не успел натянуть на распялку.

— Вот что, Пларгун.— Голос Нехана был тверд и решителен.— Скоро конец сезона. Тебе, сам понимаешь, не взять плана. Но главное — ни к чему: я поймал больше положенного. И все мои соболи черные.

«Врешь, хитрец,— сообразил Пларгун.— Ты, конечно, поймал гораздо больше, чем говоришь. Светлые шкурки спрятал, отобрал только черные, но и тех оказалось гораздо больше, чем требовал план. Браконьер...»

— Я это сделал специально, чтобы помочь тебе. Предвидел трудности. А мне это особого труда не составляет. Значит, поступим так: я отдаю своих соболей в счет твоего плана, а деньги пополам. Идет?

Пларгун медленно (ох, как медленно!) поднимал голову.

— Нет!

И по тому, как он произнес, было ясно: его не переломишь. Но Нехан попробовал.

— Слушай, не валяй дурака. Мои девять черных соболей дадут в три раза больше денег, чем твои девять рыжих. Ты получишь в полтора раза больше! Подумай!

— Нет!— повторил Пларгун.

Нехан выдержал его взгляд. Тяжелые веки Нехана на

мгновение вскинулись, и округлившиеся глаза полыхнули злобой. Он привстал, шагнул на полусогнутых ногах. Руки отставлены в сторону, растопыренные сильные пальцы напоминают когти медведя.

— Ты что — хочешь, чтобы я сел в тюрьму?

Нехан устрашающе пригнулся, отчего еще больше напомнил вздыбившегося медведя. Ярость желтой пеной выступила на губах.

— Ты что... ты что...— Нехан задыхался. Он уже вплотную подошел к юноше, но тот стоял не шелохнувшись. Пларгун услышал тяжелое звериное дыхание.

— Последний раз спрашиваю: возьмешь соболей?

— Нет!

Нехан засуетился в глухой панике.

— Хочешь посадить... хочешь посадить... ы-ы-ы-ы,— Нехан хотел еще что-то сказать, но голос дрогнул, сорвался. Толстые губы провисли, лицо передернулось, и в тот же миг тайгу всполошил пронзительный душераздирающий крик:

— А-а-а-а!

Как будто из-под ног Нехана выбили опору — он грохнулся на пол. Нехан намертво вцепился зубами в свою руку и с диким воплем покатился по земляному полу.

Кенграй недоуменно глянул на странное существо и вопрошающе уставился на хозяина.

Пларгун накинул на себя дошку, открыл дверь. Вместе с ним выскочил Кенграй.

Легкий морозец покалывал разгоряченные щеки.

Юноша долго стоял не шевелясь. От него шел прозрачный пар, сквозь который преломлялись деревья, сопки, заходящее солнце, наступающий сумрак.

Солнце скатывалось за горы. На небе пробились крупные звезды и изумленно смотрели на человека, который, забывшись, одиноко стоял посреди громадной сумрачной тайги.

Пларгун опомнился лишь тогда, когда его стало знобить.

Он вернулся в избушку.

Нехан угрюмо сидел на нарах.

Когда Пларгун сбросил дошку и подсел к потухающей печи, тот жалостливо попросил:

— Ну, будь человеком.

Эти слова подействовали так, будто в душу Пларгуна бросили раскаленных углей.

Он хотел сказать в ответ: был ли ты, Нехан, человеком, когда много лет назад надругался над Ковзгуном, а вме-

сте с ним — над всем родом Такквонгун?! Был ли ты человеком, когда в погоне за личной славой и благополучием разорил целый колхоз? Был ли человеком в те годы, когда жил где-то вдали от побережья,— ведь никто не знает, чем ты там занимался. А сегодня кто ты, Нехан? Кто?

Пларгун хотел было сказать все это Нехану, но сдержался. Только подумал с досадой: «Человек всю жизнь лез из кожи вон — во имя чего? Во имя себя, своего живота! Но только ли это? Нет, во имя того, чтобы стать над людьми. Над людьми! При этом не брезговал никакими средствами... Да может ли когда-нибудь случиться, чтобы у людей такого сорта заговорила совесть? Без совести им удобней. И легче добиться своего».

Пларгун соорудил себе постель на полу, а Нехана положил на свое место — на нары.

Пларгун лежал, отвернувшись к стене, и долго не мог уснуть. Далеко за полночь, когда луна щедро обливала землю голубоватым светом, Нехан оторвал голову от подушки. Но его предупредил спокойный и совсем не сонный голос Пларгуна:

— Хватит сторожить друг друга. Нам к людям возвращаться?

Утром Нехан уходил. Но, исчезнув за деревьями, он так же поспешно вернулся. «Что-то забыл или что-то хочет сказать?»

Нехан подошел к Пларгуну:

— Что ты с ним будешь делать?

— С кем?— не понял Пларгун.

— С ним.— Нехан постучал лыжной палкой по запорошенной снегом хребтине шатуна.

— Ничего,— небрежно ответил Пларгун.— Пусть лежит себе. Будет отличный корм для мышей, соболей, лис.

Нехан торопливо скинул лыжи, сбросил доху, попросил топор. Подошел к огромной застывшей туше, сильно замахнулся и, сверкнув широким лезвием топора, с силой опустил его под хребет медведя. Ему потребовалось минуты три, чтобы вырубить в медвежьем боку просторное окно, отделить с кусками печени объемистый желчный пузырь и сердце шатуна. Нехан заботливо завернул их в тряпку, положил в походную сумку и через минуту скрылся в чаще.

Последние дни Пларгун занимался готовыми шкурками — очищал мездру от прожилок жира, спиртом вытравливал смолу на мехах, мягчил шкурки, осторожно разминая их руками.

В связке оказалось двадцать шесть шкурок.

До окончания охотничьего сезона было еще недели полторы-две. Это видно по луне, которая пошла на ущерб. Охотники договорились сойтись у Нехана в первый день после новолуния. У Пларгуна оставалось достаточно времени, и он не спеша перетаскивал к Нехану охотничье имущество.

По всему было видно: Нехан еще не собрался к отъезду. Снял он ловушки или нет, Пларгун не знал. Но их не было в коридоре, где торчат толстые гвозди, предназначенные для того, чтобы вешать на них тяжелые связки капканов. Их не было и в избушке, в одном из углов которой беспорядочно грудится куча одежды и мятых вещмешков. Может быть, они в лабазе? Но зачем они там, когда пора уже связывать их и укладывать в вещмешки?

Нехан встретил Пларгуна с холодной сдержанностью и всем видом показал — тот его стесняет. И у Пларгуна не было никакого желания оставаться у Нехана. Он быстро подкрепился с дороги, сразу стал на лыжи и, свистнув Кенграя, бросил через плечо обрадованному Нехану:

— Пойду к старику, помогу в сборах.

Уже ночью Пларгун перевалил хребет. Он не торопился и шел с прохладцей. Лыжня старика хорошо видна между деревьями, от которых в тайге сплошная густая синь с желтовато-серебристыми прогалинами лунных пятен. Накатанная, она отблескивала, как лезвие ножа, от яркой, но уже на ущербе, луны.

В полночь откуда ни возьмись посыпала изморозь. Пларгун переживал восемнадцатую зиму. Изморозей на его веку было сколько угодно, а вот такой тонкой и нежной не видел. Небо, насколько хватал глаз, было чистым, безоблачным. Откуда же взялась изморозь? Будто родилась от мороза и щедрой луны.

Изморозь не скрывала ни звезд, ни луны. Только делала их матовыми, чуть расплывчатыми.

Каждая кристаллинка, прежде чем упасть Пларгуну на ресницы или нос, десятки раз перевернется в воздухе, сверкнет гранеными боками, будто хвастаясь: вот какая я красивая.

Кенграй трусил впереди, не отвлекаясь, задумавшись о чем-то своем. Изредка он останавливался, поджидая хозяина. И тогда вытягивал отточенную лисью морду, тоскливо смотрел на луну, будто мучительно вспоминая что-то далекое, древнее. Может быть, вспоминал то отдаленное время, когда его предок, умирая от голода, подполз к пещере полудикого существа, который поделился с ним об-

глоданной костью, и в благодарность собака вывела это существо из логова и помогла ему стать человеком?..

Пларгун не поверил своим глазам — дверка избы старика была приперта колом. Давно ли ушел Лучка? Пларгун сбил в сторону кол, дернул на себя дверную деревянную скобу. Избушка дохнула настоем из теплоты и жилых запахов: ушел сегодня. Чтобы проверить свою догадку, юноша коснулся ладонями печки — она уже остыла: рано ушел. Юноша зажег спичку и при ее неверном мерцании поискал свечку. Кривой и короткий огарок притулился в углу, правее занесенного снегом окошка. Второй спичкой зажег огарок, полез в ящик под нарами, порылся в нем, гремя металлом и деревом, нашел прохладный и мягкий на ощупь длинный стержень воска.

Старик появился, когда Пларгун уже растапливал печь.

— Не ожидал, что приедешь так рано,— сказал Лучка в дверях. Потом сутуло прошел мимо Пларгуна, сел на пол у стены, устало прислонился к ней.

— Ух-ух-у-у-у,— перевел он дыхание.

Печка загудела. Пламя охватило поленья, и избушка наполнилась сухим треском.

— Взял, говоришь, план... Молодежь пошла непочтительная: что она со стариками делает! — сказал Лучка с наигранной горечью.

Пларгун знал: это нужно принимать как комплимент. Он почувствовал, как к лицу приливает кровь. Хорошо, что сидит у печки, можно подумать: лицо покраснело от жары. А возможно, старик и не заметил в таком полумраке его смущения.

Пларгун еще не знал, что даже по затылку очень легко узнать, смущается человек или нет.

— Думаешь, я припозднился случайно? Думаешь, я где-то блуждал? Не-ет, не блуждал. Соболя совсем не стало. Всех выловили. На моем участке осталось всего три следа. Вот и подался в сторону полудня. Хожу туда часто. Уж месяц, как я там брожу. Но и там соболя мало. Наверно, еще осенью весь перебрался в заприваженные участки. Совсем мало осталось. Совсем мало. Мне еще нужно взять двух соболей. Да разве возьмешь, когда он кончился! — Старик пристально посмотрел на юношу.— Совсем зря не согласился с Неханом, когда в середине предлагал мне двенадцать соболей. Черные они, пушистые,— старик горестно сокрушался, а сам не спускал с юноши внимательно изучающих глаз.

Юноша порывисто обернулся. В его глазах — ярость. И этим было сказано все. Значит, и у него побывал Нехан, понял старик. И конечно же, получил отказ. Этот мальчик еще доберется до Нехана... И старик отвернулся. Отвернулся, чтобы скрыть удовлетворение. Очевидно, он забыл, что и по затылку можно судить о состоянии души человеческой. А возможно, надеялся, что по молодости своей Пларгун еще не научился по внешним признакам отгадывать истинные чувства.

Старик посапывал тихо и мирно. А юноша все лежал с открытыми глазами, хотя и устал с дороги. Его тревожили новые мысли. Сколько трудностей преодолел он за эту зиму! Сколько опасностей осталось позади!..

А как бы обернулась охота, если бы они приехали в «неурожайный» год? Они бы обловили участок начисто и все же не взяли бы плана. А соболь был бы выведен...

Еще несколько дней назад он не размышлял об этом. А теперь и старик сказал: «Совсем мало осталось. Совсем мало...» Во все века человек только брал от природы. И мало возвращал.

«Кем ты будеш-ш-шь?»— Откуда-то взялось странное существо. Глаза черные, маленькие, злобные. Усики редкие, черные. А клыки длинные, хищно загнутые, острые.

«Кем ты бу-деш-ш-шь?»

Существо отплывает, поворачивается боком. Показывается изящная головка, гибкая белая спинка, белый хвостик... Ласка. Злобная хищница... Она шипит еще некоторое время, потом уходит короткими прыжками... Пларгун засыпает.

Утром Пларгун неожиданно сказал:

— Я схожу в стойбище рода Такквонгун.

Старик, чистивший одностволку, медленно поднял голову:

— Зачем?

— Надо посмотреть, как они там живут. Ведь они почти не связаны с остальным миром. Живут, как медведи в берлоге, и никуда не выезжают.

— Хе, а зачем им выезжать? У них там есть все: и мясо, и рыба, и пушнина. А раз пушнина — есть ружья, одежда. Что еще надо человеку? А стариков кормит род. И не надо им заботиться о пенсии.

— Много, очень много надо человеку. Вы даже представить себе не можете, как много надо человеку!

Пларгун умолк, задумавшись о своем. Потом сказал:

— У них еще и дети есть. Как же им без школы?

— Гм-м-м,— протянул старик.— Значит, пойдешь родителей агитировать, чтобы они детей в интернат отпустили? Ух-ух-у-у, как давно я этого не видел. Давно, в те годы, когда мне было немногим больше, чем тебе, по поселкам ездили девушки-учительницы агитировать в школу. Однажды зимой поехал я в соседнее стойбище. Вышел на залив, смотрю: что-то чернеет впереди на снегу. Думал, нерпа. Даже гарпун приготовил. Подъехал — человек. Русская женщина. Сидит прямо на снегу, подогнув под себя полу тулупа.

— Чего ты здесь?— спрашиваю ее по-нивхски. Она что-то хочет сказать, а язык — как палка. И не шевельнется. Сильно озябла.

— Садись,— говорю. А сам рукой приглашаю. Она ни с места — до того продрогла. Поднял ее, посадил на нарту и поехал назад. Оказалось, в соседнем стойбище, чтобы отвязаться от нее, сказали, что недалеко через залив есть большое селение, где много детей. Темнота, что они знали тогда? Кто-то пустил слух, что детей забирают от родителей, чтобы где-то вдалеке обучить их военному делу, а потом послать на войну... А девушка та послушалась их и пошла через залив. Да разве в овчинном-то тулупе далеко ушагаешь? Бедняга, совсем из сил выбилась, села отдохнуть. Так бы и не встала, если бы я не ехал мимо...

Пларгун молча слушал, потом объяснил:

— Да я не агитировать. Просто поговорю с людьми. Они и сами понимают: без образования сегодня нельзя. Скоро и я поеду учиться в город. Вот здесь, в тайге, научился добывать зверей, а там научусь разводить этих зверей. Ведь соболя осталось мало. И меня научат разводить соболей...

Старик с недоверием посмотрел на него. Пларгун смутился.

— В общем, я поговорю с людьми.

— Но ведь скоро за нами вертолет прилетит! Ты можешь не успеть обернуться!

— Не надо меня ждать. Я вернусь на собаках с первым настом Кар-Лонга — месяца Грачей. Только вот о чем думаю: смогу ли я дойти до стойбища?

— Дойдешь, нгафкка. Местность не сложная. Пойдешь по тайге, все время видя по левую сторону хребет. И девушка была давненько. После нее уже десять раз перемело порошу, набило на ее следах снегу, обнажило их.

Пларгун надел лыжи.

— А Кенграя оставишь?— спросил старик, тоже надевая лыжи. Он решил проводить юношу до перевала.

— Нет, заберу. Я его потом впрягу в упряжку.

Всю дорогу до перевала оба молчали. Старик жалел, что охотничий сезон подходит к концу. Скоро за ними придет адова коробка с вертящейся головой на тонкой шее. Кто только умудрился выдумать ее? Самолет — это еще куда ни шло: у него хоть крылья есть. А этот на чем только держится в воздухе? И голова так вертится, что тонкая шея когда-нибудь обязательно оборвется...

Но вот старик подумал о приятном. Он вспомнил все подробности этой, возможно последней в его жизни, охоты. Вспомнил, как юноша впервые вошел в тайгу и сколько было у него нелепых случаев. И как его угораздило спалить полог, когда варил медвежью желчь?.. А теперь юноша — не юноша, а муж!

Старик ругал сегодняшних людей за то, что они забыли старые обычаи. А сколько среди них нужных и прекрасных! Забыли их, забыли. Потом старик удовлетворенно улыбнулся, вспомнив, как он легко справился с медведем у берлоги. Чего тогда Нехан не стрелял? Если бы не собаки, с Пларгуном случилась бы беда. Ай-я-яй, как могло получиться, что Нехан растерялся... У него было два ружья... А здорово все-таки я одолел громадного медведя! Такое даже в старину не каждому удавалось...

Потом старик снова вспомнил: сезон охоты подходит к концу. И уже совсем испортилось настроение, когда подумал о том, что нужно будет вновь ходить ко всяким людям, унижаться перед ними, выколачивая несчастную пенсию...

На перевале старик долго тряс руку Пларгуну. Потом потрепал Кенграя за уши.

Пларгун помахал рукой и, оттолкнувшись, быстро скатился вниз по другую сторону перевала. Уже далеко внизу обернулся: маленькая фигурка старика стояла неподвижно на перевале...

Пларгун шел широким шагом. Кругом было много лисьих следов. Мелкие стежки горностая испещрили сугробы. Кусты кедрового стланика высунули из-под снега игольчатые лапы, в которых держали кедровые шишки — корм для всякой таежной дичи, мышей и кедровок, медведя и лисы...

Пларгун и сам не заметил, как у него наладилось ритмичное дыхание, как размеренно и широко ступают окрепшие ноги. Он шел шагом дальней дороги...

Ш 51 **Шесталов Ю. Н.** Когда качало меня солнце: Повести. **Санги В. М.** Женитьба Кевонгов: Романы/ Предисл. Пошатаевой А. В.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987.— 560 с.

В пер.: 2 р. 60 к. 100 000 экз.

В книгу вошли произведения известных советских писателей лауреата Государственной премии РСФСР им А. М Горького Ювана Шесталова и Владимира Санги.

В романах и повестях воссозданы легенды и поверья многовековой уклад жизни, сегодняшние проблемы, быт и труд маленьких народов манси и нивхов

Книга выходит в контрпропагандистской межиздательской серии «Под полярными созвездиями».

Ш $\frac{4702010200\text{-}103}{M158(03)\text{-}87}$ 53-87

ББК 84Ма

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пошатаева. Мир и труд писателей-северян 3
ЮВАН ШЕСТАЛОВ
КОГДА КАЧАЛО МЕНЯ СОЛНЦЕ 11
СИНИЙ ВЕТЕР КАСЛАНИЯ 170
ВЛАДИМИР САНГИ
ЖЕНИТЬБА КЕВОНГОВ 289
ЛОЖНЫЙ ГОН 453

Юван Николаевич Шесталов

КОГДА КАЧАЛО МЕНЯ СОЛНЦЕ

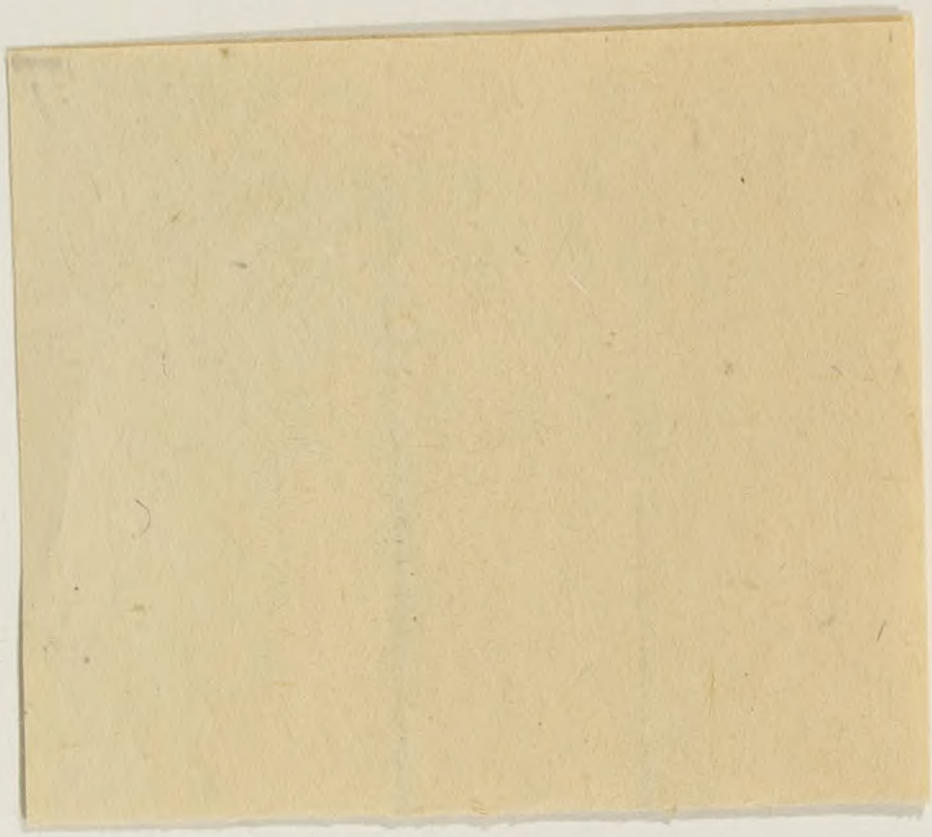
Владимир Михайлович Санги

ЖЕНИТЬБА КЕВОНГОВ

Редактор М. А. Федотовских
Художник М. М. Кошелева
Художественный редактор В. С. Солдатов
Технический редактор И. Ш. Трушникова
Корректоры М. Ф. Худякова, Т. Г. Калугина

ИБ № 1603

Сдано в набор 15.05.87. Подписано в печать 4.11.87. НС 12764. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4. Усл. кр.-отт. 29,4. Уч.-изд. л. 33,5. Тираж 100 000. Заказ 258. Цена 2 р. 60 к. Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.



97292004
Окружная библиотека

РНФ
Государственная библиотека Югры